

мастера современной прозы

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР



ЛТМ 7 106



**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



**МОСКВА
"РАДУГА"
1984**

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ • ФРАНЦИЯ

Редакционная коллегия:

**Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В.,
Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Чельшев Е. П.**

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

ВОСПОМИНАНИЯ АДРИАНА

РОМАН

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

РОМАН

Перевод с французского

ББК 84.4Фр
Ю64

Составитель *М. Добродеева*
Предисловие *Ю. Давыдова*
Редактор *М. Финогенова*

Ю64 Юрсенар М.
Избранное. Пер. с франц. / Составл. М. Добродеевой; Предисл.
Ю. Давыдова. — М.: Радуга, 1984. — 408 с.

Сборник включает два наиболее значительных романа крупнейшей современной французской писательницы: "Воспоминания Адриана", стилизованный под записки римского императора, и "Философский камень", посвященный эпохе религиозных войн в Европе. В своих произведениях, казалось бы не связанных с современностью, автор ищет ответа на самые животрепещущие вопросы, страстно протестуя против мракобесия, утверждая непреходящие духовные ценности.

Все произведения, вошедшие в настоящий сборник, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.

© Составление, предисловие и перевод на русский язык издательство "Радуга", 1984

Ю $\frac{4703000000-543}{030(01) - 84}$ 76-84

ББК 84.4Фр
И (Франц)

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РОМАНЫ МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

Два романа Маргерит Юрсенар (настоящее ее имя Маргерит Крэй-янкур), впервые предлагаемые нашему читателю в русском переводе, не исчерпывают всего литературно-художественного наследия этой разносторонне образованной писательницы, пишущей на французском языке, бельгийки по рождению. Перешагнувшая порог своего восьмидесятилетия, она печатается с начала двадцатых годов нашего века, то есть уже более шестидесяти лет. До второй мировой войны, прочертившей глубокую борозду и в ее творчестве, Маргерит Юрсенар опубликовала три романа — "Алексис, или Трактат о тщетном противоборстве" (1929), "Монета мечты" (1934) и "Последний выстрел" (1939). Кроме того, ей принадлежат циклы рассказов "Смерть в упряжке" (1934) и "Восточные новеллы" (1938), две драмы, опубликованные в 1954 и 1963 гг., и книга стихотворений в прозе (1936). Таков фон, на котором резко выделяются два последних романа писательницы — "Воспоминания Адриана" (1951) и "Философский камень" (1968), обозначившие наиболее знаменательные вехи ее творческого пути.

Мы не касаемся здесь переводческой деятельности Маргерит Юрсенар, ее литературоведческих экскурсов и эссеистики, равно как и многочисленных интервью писательницы, число которых возрастало по мере роста ее популярности, получившей общеевропейский характер после того, как

в 1968 г. она была удостоена премии "Фемина" (за свой последний роман), в 1971 г. принята в Бельгийскую королевскую академию, а в 1980 г. стала первой женщиной, принятой в число сорока "бессмертных" Французской Академии.

В отличие от послевоенных, произведения, написанные Маргерит Юрсенар до начала второй мировой войны, не свидетельствовали о преобладании в ее творчестве интереса к исторической и историко-культурной теме; поначалу она тяготела, скорее, к материалу непосредственно открывающейся ей действительности, живым пульсациям своего времени, не нуждающимся для их художественного постижения в скрупулезной исторической реконструкции. И хотя атмосфера домашнего аристократического воспитания, которое получила будущая писательница, благоприятствовала возникновению у нее интереса к генеалогии и истории вообще, эти особенности ее дарования лишь постепенно пробивали свой путь. Уже в первоначальных набросках и заметках Маргерит Юрсенар, относящихся к двадцатым годам, то тут, то там возникают исторические персонажи и ситуации, которые обрели свое место лишь в послевоенных романах, но тогда, на раннем этапе творчества, более близкие и непосредственно впечатляющие сюжеты вновь и вновь уводили писательницу от осуществления ее сокровенных замыслов. Быть может, их воплощению мешало еще и нечто иное — отсутствие у автора необходимого опыта, причем не только писательского и не только житейского, здесь нужен был еще и опыт совсем особый — всемирно-исторический опыт, которым писатели поколения Маргерит Юрсенар были обязаны второй мировой войне и тем глобальным переменам в мире, которые были с ней связаны.

Но когда органическое чувство истории, ощущение глобального масштаба исторических свершений нашли наконец свое наиболее полное воплощение в послевоенных романах Маргерит Юрсенар, отчетливо прорисовались черты ее поздней романистики, отличающейся глубокой проблематичностью — как идейного, так и специфически художественного порядка. Произведения, в которых писательница попыталась реализовать свой интерес к Истории, воплотить свое видение исторической действительности, свое ощущение масштабов исторического свершения, явно не уместались в традиционных рамках исторического романа, а подчас даже противоречили самому понятию этого жанра.

Исторический роман от других прозаических жанров отличается не только тем, что создается на материале фактов и событий человеческой истории, — этот материал вовсе не нейтрален в эстетическом отношении, а потому далеко не всякий способ его освоения удовлетворяет условиям исторической романистики. Этот жанр включает в себе совершенно особые возможности, использование которых изначально отличало историческую прозу от художественного постижения настоящего или нашедших свое литературное воплощение мечтаний о будущем. Возможности эти вытекают из особенностей переживания человеком событий безвозвратно минувшего прошлого, отделенного от него непреодолимой временной дистанцией. Переживание это возникает, словно из своего семени, из ощущения того, что интересующие нас события уже давно исчерпали возможности своего существования — и в этом смысле завершили себя, они при-

сутствуют уже не в чувственно воспринимаемой действительности, а в идеальном пространстве нашей памяти и в силу этого получает совершенно особые характеристики, отличные от тех, которыми отмечено все существующее в настоящем. Прошлое, заново порождаемое нашей памятью, неизбежно идеализируется — такова неизменная цена его спасения. События минувшего, возрождающиеся в идеальном измерении человеческой памяти и уже потому получившие значение идеальных также и в эстетическом смысле, приобретают специфическую окраску — на них ложится необыкновенный отсвет, напоминающий лучезарную "дымку", в какой перед мысленным взором каждого из нас встают порой события нашего детства. Вот эта "аура", имеющая, как видим, чисто психологическое происхождение, связанное с особенностями работы нашей памяти, и является зримым выражением особого эстетического переживания, которое осваивается и обыгрывается исторической романистикой.

Уже первый послевоенный роман Маргерит Юрсенар с достаточной определенностью свидетельствует о том, что писательница хорошо знает о драгоценных эстетических возможностях этого "эффекта ауры". Она умеет широко и вместе с тем ненавязчиво использовать "ауратические" свойства материала давно исчезнувших культур и эпох (исторические реминисценции, литературные памятники, памятники культуры, архитектуры и т. д.), не погрешив при этом против современного читательского вкуса и такта. Авторское пристрастие к тому, на чем лежит печать безвозвратно прошедшего, сообщаящая ему уникальную ценность, чувствуется в мелких и мельчайших, подчас как бы мимоходом — "боковым зрением" — отмеченных деталях, образующих клеточную ткань романа. Однако писательница не ограничивается здесь поверхностной реставрацией и утилизацией хрестоматийных примет времени.

Как вспоминала Маргерит Юрсенар впоследствии, первым побуждением написать роман о временах императорского Рима она была обязана посещению во время поездки в Италию знаменитой "виллы Адриана" — развалин здания, построенного для могущественного римского властителя в первой трети II в. н.э., неподалеку от столицы — в Тибуре (совр. Тиволи). Писательнице было всего двадцать лет, но уже тогда у нее возникло желание (осуществленное лишь три десятилетия спустя) заставить заговорить эти молчаливые камни, хранившие тайны без малого двухтысячелетней давности. А "оживить" их, пробудив от многовекового сна, она могла лишь одним-единственным доступным ей способом — воссоздав образ человека, для которого некогда была построена эта вилла. Так постепенно возник образ основного персонажа будущего романа — римского императора Адриана, чье имя хранили древние камни.

Но по мере того, как в центре этого давно уснувшего мира, пробуждаемого воображением писательницы, вставала фигура разносторонне образованного римского императора, которому Европа обязана первым возрождением еще более ранней, древнегреческой, культуры, разрастался под пером Маргерит Юрсенар и сам воссоздаваемый ею мир. Прежде чем идея романа обрела контуры реальности, писательнице пришлось реконструировать для себя всю культуру эпохи Адриана, с которой соприкасался император — как любитель поэзии и поэт; как любитель мудрости,

философ, и ученый; как человек, причащенный тайнам языческих мистерий, и мыслитель, достаточно скептически рассуждающий о религии вообще; как поклонник красоты и покровитель искусств. "Раритеты" древней культуры, по крупицам собранные писательницей в книгохранилищах и музеях Европы и Америки, должны были ожить, воссоздав духовную атмосферу, которой дышал герой будущего романа.

К числу важнейших "раритетов" относились скульптурные изображения Антиноя — рано погибшего фаворита Адриана, память о котором была увековечена по приказу императора. Антиной, канонизированный образ которого был, по словам Маргерит Юрсенар, вплетен в орфическую мифологическую традицию и в этом виде включен в официальный религиозный культ самого императора Адриана, занял в структуре будущего романа одно из существенно важных мест — ему была отведена роль основного философско-эстетического символа произведения. Он должен был выразить одновременно и идеал главного героя романа, и его, как высказалась писательница в одном из поздних интервью, "великое безумие"; он должен был выразить также и всю глубину триумфа обожествленного императора, стремившегося сопрячь власть и красоту, и вместе с тем выразить всю хрупкость и неустойчивость такого сопряжения.

Однако воскрешением реалий далекого прошлого, позволяющих квалифицировать "Воспоминания Адриана" как роман исторический, не ограничивался замысел писательницы. Как свидетельствует сама Юрсенар в одном из интервью, основным и решающим мотивом, побудившим ее сразу же после войны вернуться к довоенным наброскам повествования об Адриане, был мотив политического характера. Только что закончившаяся война, знаменовавшая крах агрессивных, милитаристских сил и планов, новые и новые заявления Организации Объединенных Наций, миролюбивые декларации крупнейших государственных деятелей — все это рождало оптимистические унастроения, надежду на возможность прочного и длительного мира на земле. Среди миллионов и миллионов людей, разделявших подобные надежды, была и Маргерит Юрсенар, увидевшая вдруг в герое своих предвоенных набросков фигуру, поразительно созвучную миролюбивому духу послевоенного времени — ведь царствование Адриана было отмечено окончанием завоевательной политики Рима, решительным разрывом с агрессивными устремлениями прежних императоров, стремлением нового властителя установить мирные отношения с соседними странами и освободить подданных империи от тягот, связанных с бесконечными войнами. Это и было первым, важнейшим звеном, способным, по мнению романистки, прочно связать давно уже привлекавшую ее фигуру далекого исторического прошлого с основным устремлением современности. Но это было не единственное звено. Все свои послевоенные надежды Маргерит Юрсенар возлагала на человека, одаренного государственным умом, а не на политическую систему, ибо, как выразилась она в одном из своих интервью, все системы "жестки", тогда как человек — гибок и способен значительно быстрее реагировать на изменение ситуации, чем любая, даже самая подвижная, система. По убеждению писательницы, Адриана, такого, каким он написан, сближало с нашей послевоенной современностью именно то, что он был государственным деятелем

подобного типа, предпочитавшим — несмотря на значительный опыт полководца — как раз мирные, а не военные способы решения межгосударственных проблем. Писательница не упускает ни одного случая, чтобы подчеркнуть "глобальность", как выразились бы мы сегодня, политического мышления Адриана, широкий размах его реформаторской деятельности в сфере экономической, правовой и государственной.

Роман, завершившийся в первые послевоенные годы, отвечал духу времени и в том смысле, что могущественный римский властитель предстал в нем не только как гениальный (и именно поэтому "божественный") государственный и политический деятель, но также как просвещенный монарх — философ, ученый, даже поэт, покровитель искусств и либеральный защитник религиозного синкретизма, открытый неевропейским языческим религиозным мирам; точно так же, как в сфере теоретической, он, несмотря на весь свой, характерный для римлянина, рационализм, был открыт запредельной разуму области "окультурного". И в то же время (что постоянно и подчас даже несколько преувеличенно подчеркивается в романе) это был *просвещенный гедонист*, умевший "вкушать" блага культуры и духовные с тем же наслаждением, с каким он пользовался благами земными, телесными.

Воспроизводя политическую и духовную жизнь далекого прошлого, Маргерит Юрсенар стремится понять и оценить ее с точки зрения "больных вопросов" нашей послевоенной действительности, устроив, таким образом, "очную ставку" двух различных эпох. Стремясь достигнуть здесь максимального эффекта, романистка подчас вполне сознательно нарушает хронологию исторических фактов, смещает их реальные соотношения. С этой же особенностью авторского замысла связаны и элементы "модернизации" стилистики, которая может показаться неожиданной (и порой даже шокирующей) на общем фоне безусловного соблюдения автором исторической достоверности. Подобные нарушения определенной жанровой традиции характерны не для одной только Маргерит Юрсенар; совершенно очевидно, что произведение подобного типа — это скорее философско-исторический роман, где элементы исторические, несущие свою стилистику, находятся в сложном взаимодействии с элементами интеллектуальной романистики.

Однако Маргерит Юрсенар не была бы крупным писателем, если бы не сумела превратить антиномию, едва ли разрешимую средствами теории, в *творческую художественную проблему*, приведшую к поиску новой романной формы, которая снимала бы ограничения каждого из этих жанров в новом, более высоком эстетическом синтезе. Этот поиск находит свое плодотворное отражение уже в самой форме, которая была придана произведению, получившему название "Воспоминания Адриана". Как бы усугубляя, "перенапрягая" традиционную форму исторического романа, писательница стилизует свое произведение под исторический документ. Наряду с действительными историческими реалиями, используемыми в романе, Маргерит Юрсенар создает как бы действительный, а на самом деле фиктивный исторический документ — записки-воспоминания императора Адриана, адресованные одному из его преемников. Причем именно такое усиленное акцентирование жанровой специфики исторического

романа открывает — как это ни парадоксально — дополнительные возможности для таящегося в его недрах интеллектуального, философского романа.

Придавая своему произведению форму исторического документа, Маргерит Юрсенар передоверяет свои авторские функции герою: она как бы заставляет эпоху отдаленного прошлого вспоминать о себе. Этим обеспечивается полная замкнутость эпохи, атмосфера совершенной автономии, абсолютного господства исторической стихии. Обращенное к самому себе, прошлое представлялось полностью отгороженным от современности, от "стороннего наблюдателя", и потому должно было свидетельствовать о себе с полнейшей объективностью и беспристрастностью, тем более что "мемуары" писались безнадежно большим императором, воплощавшим трезвость и ясность, "доведенные до предела".

Подобная гипертрофия формы исторического романа, полностью замыкавшая, казалось бы, историческое прошлое в себе, оказалась не только абсолютно созвучной читательским интересам, но и открывала еще одну плодотворную возможность выхода за пределы исторической стихии в живую современность. Предоставив эпохе далекого прошлого размышлять о себе на глазах читателя, вовлеченного в его атмосферу, Маргерит Юрсенар обеспечивала себе тем большую свободу в выборе способов этого размышления, не останавливаясь перед далеко идущими "модернизациями", которые послевоенный читатель не только оправдывал, но с восторгом принимал. Читательское воображение не могла не захватить тонко проведенная игра на контрасте — именно контрасте! — между *эффектом дистанции*, которая обеспечивалась по отношению к прошлому как общим построением романа, так и его клеточной тканью, сплетенной из достоверных исторических реалий, и *эффектом присутствия*, который возникал в поле напряжения вполне современно звучащих идей, чувств и переживаний героя.

Здесь нет необходимости вдаваться в детали фактографического анализа того, насколько образ действий Адриана, политика и реформатора государственных институтов, в точности соответствовал складу его мыслей. Ведь как внешнеполитические, так и внутривнутриполитические мероприятия римского императора, правившего со 117 по 138 год нашей эры, вполне подаются и совершенно иному истолкованию, нежели предложенное Маргерит Юрсенар, особенно если попытаться реконструировать конкретные цели римского властителя более объективно, отвлекаясь от его собственной точки зрения на свою деятельность.

Не случайно писательница сказала однажды, что иногда позволяла своему герою даже лгать, "присочиняя" к собственному прошлому то, чего в действительности не было или что имело совсем иной вид. Правда, в самом романе она ни словом, ни намеком не дает читателю понять, где, когда и как дает Адриан волю "макиавеллистским" свойствам человеческой памяти. Но ведь это исключалось самим замыслом романа, которому Маргерит Юрсенар подчинилась, словно закону, предписанному ею самой себе как автору романа-исповеди.

Для нас важнее понять образ мыслей Адриана, его основную идею, которая позволила романистке сделать своего героя олицетворением

"связи времен" — человеком, принадлежащим одновременно и седой древности, и самоновейшей современности. Речь идет об идее, с помощью которой мы — вместе с Маргерит Юрсенар — выходим за пределы жанровой специфики исторического романа и погружаемся в мыслительный поток романа интеллектуального, философского. Здесь читатель имеет дело даже не с тем, что постоянно изменяется во времени, а с тем, что вечно пребывает, позволяя нам возвыситься над его стремительным течением и перебросить мост над пропастью, разделяющей безвозвратно ушедшее и существующее" здесь и теперь".

Такой стержневой линией в романе является идея *земной* "божественности" человека, имеющая явно ренессансные истоки, хотя писательница наделила ею императора Адриана, жившего за тысячу лет до итальянского Ренессанса XIV—XVI веков.

Герой романа Маргерит Юрсенар богоравен именно потому, что он человек, которому не чуждо "ничто человеческое". Человек, вставший во главе могущественнейшей империи и использовавший открывшееся перед ним "пространство свободы" для беспрепятственного развития своих задатков, совсем не случайно был объявлен современниками "божественным" и стал предметом культового поклонения: он, по мнению романистки, и впрямь велик, и величие это сродни божественному, ибо человек должен обладать достаточной свободой для реализации своих, всегда индивидуализированных, потенций.

Идея человека как *единственно возможного бога* на земле открывала перед писательницей многообразные творческие перспективы, которые и обеспечили роману успех, причем он оказался более длительным, чем предполагала сама Маргерит Юрсенар, не ожидавшая, что идея, так волновавшая ее, многие годы остававшаяся ее "сугубо личной" идеей, будет длительное время волновать и других. Несмотря на ужасы недавно закончившейся войны, которые, казалось бы, должны были свидетельствовать об обратном тому, что утверждалось в романе (а скорее всего — как раз вопреки этим ужасам, вызвавшим у людей волю к противостоянию им), западные читатели с воодушевлением восприняли его лейтмотивную идею: жизнь *каждого* человека в основе своей божественна, но не каждый об этом знает, иначе говоря, если хочешь быть богом — будь им, уверуй в себя и поступай в соответствии с этой верой. Впрочем, важна была даже не сама конкретная формулировка этой идеи, а пафос оптимизма, ее одушевлявший и ею излучаемый, который был целиком и полностью созвучен умунастроениям людей, только что освободившихся от "коричневой чумы".

В одном из своих интервью Маргерит Юрсенар дала понять, что считает Адриана "человеком Ренессанса" и в этом смысле — гораздо более близким к нашей современности, чем к своей собственной эпохе. Суть здесь не только в том, что Адриан внес больший, чем какой бы то ни было другой римский император, вклад в дело возрождения греческой античности на почве римской культуры, в котором черпали вдохновение творцы более позднего Ренессанса, а и в том, что писательница вынесла из его деятельности понимание "божественности" земного человека гораздо более последовательное, чем ренессансная концепция "человека-бога". В этом

смысле Адриан оказывается гораздо ближе к эпохе, когда писался роман, чем к временам Ренессанса, у которых наш XX век заимствовал эту идею.

Носителем стержневой в романе ренессансной идеи является здесь не один только главный герой, в отличие от его предшественников обожествленный своими подданными еще при жизни, но и другой существенно важный персонаж произведения — Антиной. Фигура этого юноши греко-азиатского происхождения, веровавшего в Адриана как в бога и сознательно, как утверждает в романе, принесшего себя в жертву своему божеству, придает объемность, многокрасочность и символическую глубину идее, определяющей структуру произведения и сообщаящей ему необходимую целостность. Этому спутнику тех Адриановых времен, которые сам император считал периодом своего "высшего счастья", официально обожествленному по приказу римского властителя после его трагической и безвременной кончины, принадлежит в романе совершенно особая роль. Подчас она представляется настолько значительной, многогранной и сложной — как по своей специфически-художественной, так и по своей мировоззренчески-содержательной функции, — что, кажется, перенапрягает эстетические возможности этого образа.

С Антиноем связана *лирическая* модификация стержневой идеи романа. Лишь в свете Адриановых воспоминаний об Антиное со всей отчетливостью прорисовывается вся глубина одиночества "божественного" императора, заставлявшего его тянуться к человеческому теплу. Но это лишь одна плоскость той лирической темы, что раскрывается именно в связи с образом юноши, покончившего с собой, не достигнув и двадцати лет. При ближайшем, более пристальном рассмотрении — на широком философском фоне романа — проблема одиночества "божественного Адриана" обнаруживает свой гораздо более глубокий пласт. "Какое великое преимущество — быть человеком нового склада, одиноким... по существу, лишенным семьи, без детей, почти без предков, быть Улиссом, чья Итака существует только в его душе..." — таков лейтмотив всех прежних самооценок властителя Римской империи. И он находится в органической связи с другим откровенным признанием Адриана: "своей драгоценной персоне" он мог предпочесть лишь идеи, планы, представления о том, каким он "должен стать в будущем", то есть свою бесконечную и беспредельную *самореализацию* — высшую цель, для которой даже императорская власть была всего-навсего лишь средством. "Я хотел власти... главное, для того, чтобы, прежде чем умереть, сделаться наконец самим собой", — пишет Адриан. Люди, с которыми жизнь сталкивала "божественного императора", появлялись и исчезали как несколько измененные маски одного и того же лица ("правила игры требовали смены масок"). Императорское "я хочу", "я стремлюсь" и даже "я люблю" было целиком и полностью замкнуто в пределах его "я": "другому", именно как "другому", взятому в его самоцельности, самостоятельности, самоустремленности, там не было места. Вот почему Адриан долгое время был вполне удовлетворен — и в этом также по-своему "божествен". А это значит, что он долгое время не способен был признать такую же свободу и самостоятельность "другого", такое же его право на свободу самореализации.

Хотя Адриан утверждал, что всегда считал Антиноя таким же "божест-

венным", на деле он поверил в это лишь после того, как юноша противопоставил императорскому "ты должен" свое "я хочу", причем сделал это свое решение недосаждаемым для всепокоряющей воли римского владыки. Тот, кто долгое время следовал за Адрианом "как прирученное животное... как великолепный пес", доказал свою полную свободу и самоцельность своего волеизъявления. Юноша, действительно веровавший в "божественность" Адриана, доказал, что он судит и оценивает своего бога как существо, равное ему, а не как его раб. "...Ребенок, боявшийся все утратить, — говорит Адриан, — нашел способ привязать меня к себе навсегда".

Что же касается самого Адриана, для которого "лицо другого" приобрело всю полноту своей личностной значимости лишь после добровольного ухода этого "другого" из жизни, то описанная в романе "мистерия памяти", сопровождавшаяся официальным обожествлением Антиной, была достаточно убедительным свидетельством трудности поставленной императором задачи — "поддержать в человеке божественное начало, не жертвуя человеческим". И только в поисках реального, а не "головного" решения этой задачи обожествленный император смог осознать весь трагизм своего одиночества.

Еще один пласт той же лирической темы — Антиной как олицетворение любви римского императора к Греции, сознательно избранной им духовной родине. И не только к Греции: Антиной был греко-азиат, и отношение к нему должно было символизировать отношение Адриана не только к Греции, но и к Азии, ко всему тому, что проникало оттуда в европейскую культуру, синтезирующую, как это представляется автору романа, языческий религиозный синкретизм и римскую рациональность.

И наконец, с Антиноем, вернее, пресуществлением образа этого юноши в памяти Адриана, а затем и всей культуры его времени, связан сокровенный мотив, сопрягающий в своеобразной гармонии диссонанс двух жанровых форм — интеллектуальный роман и роман исторический. Это опять-таки тема воспоминания, памяти, однако философски и эстетически переосмысленная и выливающаяся здесь уже почти что в мистирию памяти — земной, человеческой, посюсторонней.

Чувство безвозвратной утраты прошлого, к которому обращается мыслью безнадежно большой властитель колоссальной империи, ждущий своего конца, ощущение коренной несовместимости принципов существования того, что "еще есть", и того, что "уже было", многократно усиливает переживание уникальности свершившегося однажды и в то же время сообщает ему новый смысл. Каждый частный, единичный факт стремительно пронесшейся жизни Адриана, всплывающий в разреженной атмосфере памяти, которой свойственно сохранять одно ценной утраты другого и затенения третьего, превращается в *единственный в своем роде*. В особенности если факт этот относится самим Адрианом к периоду, оцениваемому им как время его наивысшего счастья, когда он стал вдруг воспринимать свою жизнь — в ее официальных и неофициальных, государственных и бытовых, политических и интимных проявлениях — в качестве истинно божественной мистерии и ощутил непостижимую, сверхъестественную легкость во всех своих делах и начинаниях.

Идее живого человеческого воспоминания, с помощью которой внеш-

няя форма исторического романа переводится в план его глубинного философского содержания — в роман интеллектуальный, здесь соответствует также и стилистика образности — способ построения художественных образов. Как и во втором послевоенном романе, где воспоминания главного героя также играют важную конструктивную роль, персонажи романа об Адриане характеризуются ярко выраженной статичностью, которая в свою очередь ведет к определенной изоляции их друг от друга. Оправдывая эту особенность своих послевоенных романов, Маргерит Юрсенар утверждала в одном из интервью, что фигуры ее произведения воссозданы такими, какими они и должны были вставать в памяти героя, где они неизбежно характеризуются неподвижностью.

Эти фигуры, по словам романистки, являются более или менее мимолетными "манифестациями" — знаками, символами — прошлого, всплывающего в пространстве памяти героя, обладающей, как мы уже убедились, свойством "остановить" прекрасное мгновение и увековечить его. "Остановленное" в прошлом — на последней границе бытия и небытия — превращается таким образом в нечто вечно пребывающее, навеки равное самому себе. А это и есть "вечное возвращение", повторение одного и того же в различных образах, тождественных по своей внутренней сути, — "гераклитова идея", поразившая героя романа настолько, что он начал было работать над обширным по замыслу произведением, имеющим в качестве сквозной нити эту мысль великого философа досократовских времен.

Нетрудно заметить, что подобная "метафизика воспоминания", превратившись в важнейший инструмент романного творчества, должна была способствовать дальнейшему внутреннему преобразованию исторического романа в роман интеллектуальный. Речь шла уже не просто о "наполнении" внешней формы исторического романа философским содержанием, теперь уже и его образная структура, и вся стилистика оказались преобразованными в духе интеллектуального романа, явно праздновавшего в этом произведении Маргерит Юрсенар свой триумф.

О том, насколько этот триумф был полным, свидетельствует сама писательница. Характеризуя стиль "мемуаров" умирающего владыки Рима, романистка отмечает, что они не очень-то похожи на воспоминания в точном смысле слова. Это, скорее, монолог политического деятеля, хотя и содержащий немало интимных подробностей его биографии. В "правильности" построения этого монолога, в логичности содержащихся в нем рассуждений, в рациональности используемых здесь способов аргументации очень много — и писательница сознательно идет на это — от речи, которая могла бы быть произнесена в римском — да, пожалуй, не только римском — сенате. Хотя материалом этой речи были воспоминания, имевшие прямое отношение к биографии Адриана, а потому лично окрашенные, в ее стиле доминирует стихия сверхличного, всеобщего.

Можно объяснить эту особенность стиля повествования Адриана целями и задачами, которые ставил перед собой умирающий император, желавший оставить своему младшему преемнику Марку Аврелию нечто в роде политического (и в то же время философского) завещания. Нельзя не оценить государственную мудрость и благородство этого замысла,

приписываемого романисткой своему любимому герою. Попытка Адриана передать свой политический, теоретический и эмоциональный опыт тому, кто в недалеком будущем продолжит его начинания, выглядит в романе вполне оправданной. При этом вряд ли кого оставит равнодушным и пафос, одушевлявший императора, озабоченного судьбами тех, кому придется жить после него, и его стремление утвердить в сознании своих политических преемников — а через них и в сознании будущих поколений — такие ценности, как ясность мысли, доброжелательность, гуманность, счастье, свобода, красота, справедливость, которыми, согласно концепции Маргерит Юрсенар, ее герой руководствовался как основополагающими принципами Священной науки власти. В обращении Адриана к будущему его преемнику отчетливо улавливается призыв самой писательницы, обращенный к ее современникам.

Второй послевоенный роман Маргерит Юрсенар, публикуемый в русском переводе под названием "Философский камень", обладает теми же жанровыми особенностями — и соответственно жанровыми антиномиями, — что и первый. Поэтому сказанное о художественном своеобразии первого романа имеет самое непосредственное отношение также и ко второму. Сославшись на это обстоятельство, мы получаем возможность сосредоточить внимание на том новом, что принес с собой второй роман по сравнению с первым. Новое же это связано с дальнейшим развитием *концепции человека*, которая была предложена уже в "Воспоминаниях Адриана" в качестве основополагающей, определившей внутреннюю форму этого одновременно исторического и интеллектуального романа. От этой концепции человека мы будем теперь отправляться, двигаясь в направлении, некоторым образом противоположном тому, в котором мы двигались прежде, ибо тогда мы шли от "внешней" формы, то есть от жанровых особенностей исторического романа, каким он предстал у Маргерит Юрсенар, к "внутренней", задаваемой философской основой интеллектуального романа, затаившегося в глубинах исторического.

"L'Oeuvre au noire" — так звучит название романа во французском оригинале. Это термин, заимствованный из средневековой алхимии, с его помощью алхимики обозначали одну из трех стадий Великого Деяния, в процессе которого, по их убеждению, может быть извлечен философский камень, обеспечивающий возможность превращения ("трансмутации") неблагородных металлов в благородные — золото и серебро. В данном случае речь идет о самой первой, Черной, стадии Великого Деяния, и если бы можно было рассчитывать на адекватность читательского восприятия, то вышеупомянутое французское словосочетание стоило бы перевести буквально: "Черное деяние". Однако рассчитывать на такое восприятие нельзя — прежде всего потому, что слово "черное", да еще в сочетании с другим словом, которое можно перевести в данном контексте и как "действие", "дело", тесно связано в нашей культуре с негативной, отрицательной оценкой. А между тем замысел второго послевоенного романа Маргерит Юрсенар — не только чисто интеллектуальный, но и художественный — заключается именно в том, чтобы, обратившись к алхимической

терминологии, подвергнуть восприятие слова "черное" в нашей культуре определенному "остранению" — смысловому и эстетическому.

В алхимической терминологии Черная стадия (или стадия чернения) получает положительное значение уже потому, что это — необходимая фаза Великого Деяния, ведущего к получению философского камня; она не более, но и не менее необходима, чем и последующие, более высокие стадии: Белая, а затем Красная. Это стадия отрицания, разложения исходного вещества, осуществляемого с целью выявления его субстанциальной мощи, самобытной творческой силы, реализация которой совершается лишь на более высоких стадиях Великого Деяния. Как пишет сама Юрсенар, комментируя заголовок своего романа, формула "L'Oeuvre au noire" означает именно ту фазу процесса извлечения философского камня, которая считается в алхимических трактатах самой трудной. В самом же романе этой формулой обозначается "алхимическое расчленение", которое даже самим философам, причастным сакраментальным тайнам алхимии, представлялось делом настолько опасным, что они предпочитали говорить о нем лишь иносказаниями, и в то же время процесс этот считался настолько сложным, что для овладения им требовались долгие годы изнурительных усилий. Специфические трудности и опасности Черной стадии связаны, согласно алхимическим представлениям, с тем, что "чернодей" соприкасается с темными силами хаоса, из которого химические элементы и черпают свою субстанциальную мощь: возвращение в первозданный хаос казалось им необходимой предпосылкой творческого преображения вещей. Мироззренческие установки алхимиков, тени которых потревожила Маргерит Юрсенар в своем романе, сближали их с той мистической традицией, которую стремился возродить в противовес европейскому рационализму XIX века Шеллинг. Однако мистицизм алхимиков имел и черты, сближавшие их с наукой нашего века, расщепившей атом, веками считавшийся простейшим "кирпичом" мироздания. Алхимики принадлежали к числу тех, кто не мог преодолеть искушение "прикоснуться" к хаосу, соблазняемые космическими силами, дремлющими в его безднах, которые, казалось, обещали неограниченную власть над миром. Тьма извечного хаоса представлялась им исполненной столь фантастически невероятных возможностей, что она воспринималась как нечто гораздо более притягательное и манящее, чем свет упорядоченного и благоустроенного космоса, по-видимому, не обещавшего уже никаких тайн.

Так "мрачное", "темное", "черное" получало в рамках алхимического мироощущения положительную эстетическую характеристику, заключающую в себе если и не философский камень, то золотую жилу, которую начали разрабатывать сперва романтики, затем — сюрреалисты и, наконец, Маргерит Юрсенар.

Однако до сих пор мы рассматривали французский заголовок романа, в котором в предельно концентрированной форме был выражен интеллектуальный "миф" этого произведения, дающий ключ к его "внутренней" форме, лишь в связи с теми толкованиями, которые латинскому словосочетанию "opus nigrum" давали прагматически ориентированные алхимики — обычно их называли "раздувателями горнов". Хотя "раздуватели горнов" и обнаруживали наряду с чисто практическим также и более

широкий общетеоретический интерес, они резко отличались от другой группы алхимиков, для которых интерес этот приобретал первостепенное, решающее значение как интерес собственно философский: это были сторонники "метафизической" алхимии. Причем "метафизически" ориентированные алхимики обнаруживали тенденцию придавать алхимической терминологии, обозначающей стадии Великого Деяния, существенно иной смысл, скорее обращенный к самому алхимику, нежели к содержанию его дерзких экспериментов над "внешней" природой.

С точки зрения "метафизических" алхимиков, процесс "трансмутации" вещества в актах Великого Деяния — это лишь внешняя параллель, лишь доступная чувственному восприятию символизация гораздо более глубокого и сокровенного процесса — процесса преобразующего Делания алхимиком самого себя, его самопреобразования и самосозидания. В этом смысле философский камень, как высшая цель устремлений и надежд, усилий и действий алхимика, — это он сам в своей наивысшей потенции. Что же касается Черной стадии Великого Деяния, то она, как пишет Маргерит Юрсенар, разъясняя смысл названия своего романа, подразумевает опыты человеческого ума, освобождающегося от рутины и предрассудков.

Теперь, когда мы расшифровали обращенный к человеку, человеческой "метафизике" смысл алхимического термина, вынесенного в название романа, становится понятным эпиграф к первой части произведения, дающий общефилософскую формулировку "мифа", лежащего в его основе. Эпиграф этот взят из "Речи о достоинстве человека", принадлежащей известному мыслителю эпохи Ренессанса Джованни Пико делла Мирандоле. В эпиграфе выражена идея, которой, как утверждает итальянский философ-гуманист, должен был руководствоваться Творец, создававший человека: "Я не назначил тебе, о Адам, ни определенного места, ни особенного, одному тебе присущего дарования, дабы свое место и свои дарования ты возжелал сам, завоевал и сам распорядился ими... Я Поставил тебя в средоточие мира, дабы тебе виднее было все, чем богат этот мир. Я не создал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, дабы ты сам, подобно славному живописцу или искусному ваятелю, завершил свою собственную форму".

Человек определен здесь с помощью сплошных отрицаний: он ни растение, ни зверь, ни ангел, ни бог, но именно потому может быть кем угодно: "Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные", — пишет далее автор "Речи". Человек предстает здесь как "чистое ничто", единственным достоинством которого оказывается воля — воля к самотворчеству. Из этого *ничто* он должен сделать *все*, превратив абстрактную возможность в содержательную и конкретную действительность.

Главной проблемой и истинным смыслом человеческого существования оказывается, таким образом, проблема самотворчества, самосозидания или, пользуясь более близким нам языком, самовоспитания человека. Перед нами, следовательно, — *роман воспитания*, но воспитания, понятого "метафизически" — в самом глубоком и широком смысле: как акт *сотворения человеком самого себя*. Это задача, требующая от человека колоссального напряжения и долголетних усилий, причем — и на это

намекает французский заголовок романа — всей человеческой жизни может хватить лишь на то, чтобы пройти только первую, предварительную, стадию решения этой задачи. Не случайно герой романа — алхимик, медик и философ Зенон, перешагнув рубеж своего пятидесятилетия, приходит к печальному заключению, что одна лишь первая фаза Деяния потребовала от него всей предшествующей жизни.

Кстати сказать, смысл этой и множества подобных фраз, рассыпанных по всему роману, мы не могли бы верно понять ни в том случае, если бы отправлялись от одних лишь алхимических ассоциаций, связанных с названием романа, ни в том случае, если бы ограничились чисто "метафизическим" толкованием приведенной цитаты из "Речи" Пико делла Мирандолы. Только оба эти момента, взятые в совокупности, становятся ключом к пониманию внутренней сущности романа.

Дело в том, что "Речь" Пико делла Мирандолы была отмечена восторженным раннеренессансным оптимизмом, который вполне соответствовал надеждам и чаяниям Маргерит Юрсенар во времена завершения "Воспоминаний Адриана", но не отвечал умонастроению, владевшему ею в годы работы над вторым послевоенным романом, отделенным от первого семнадцатилетним интервалом. По свидетельству писательницы, для нее самой это были годы крушения безоблачных мечтаний о возможности разумного благоустройства миропорядка, который исключал бы глобальные катаклизмы и войны. Более того, ее все чаще посещали сомнения и тревоги: а выживет ли человечество вообще, избежав атомного самоубийства? Если при всем том романистка и не утратила "ренессансную" веру в разум, науку, свободу человека и оправданность всех человеческих влечений, тем не менее на светлое здание этой веры ложились все более мрачные тени — тени глубокой безнадежности, вызываемой вполне реальной перспективой атомного конца света. Вот эти-то умонастроения и побудили Маргерит Юрсенар одеть раннеренессансную концепцию человека, как абсолютно свободного существа, обладающего "божественной" беспредельностью и безграничностью возможностей, в форму алхимической "мифологии", с ее своеобразной символикой "черного", окружающего траурной рамкой изначальный оптимистический импульс.

Этому умонастроению писательницы, постоянно сопрягавшей то, чем началось Возрождение, с тем, чем оно обернулось во второй половине нашего века, отвечал и выбор героя романа — ученого, гонимого церковью и презираемого властью имущими, отчетливо сознающего опасные возможности своей науки; этим же определяется и выбор эпохи — период поражения Ренессанса, связанного не только с внешними, но и с внутренними причинами: уже обнаружилось раздравшие его противоречия. При этом алхимическая "мифология" — олицетворяемая прежде всего фигурой главного героя романа, врача и алхимика, — обеспечивала автору благоприятную возможность, с одной стороны, по-прежнему следовать ренессансной концепции человека, сообщая ей трагический оттенок, поражающий читательское воображение, а с другой — некоторым образом "дистанцироваться" от нее, не отождествляясь с нею полностью. Таким образом, можно было одновременно восторгаться возможностями разума и науки и выражать озабоченность безмерностью и безграничностью этих возмож-

ностей, соответствующую новому духу времени, пришедшему на смену обожествлению науки на Западе в первое послевоенное десятилетие.

Основной личной коллизией врача и алхимика Зенона оказывается непреодолимое противоречие между беспредельными возможностями научного разума, который он культивировал в себе как высшее человеческое достояние, и всеми его попытками поставить свой разум на службу людям, чтобы сделать их счастливыми. Начиная с изобретения ткацкого станка, внедрение которого на предприятиях богатого родственника Зенона привело лишь к озлоблению и бунту ремесленников, и кончая разгадкой тайны "греческого огня", который, естественно, тут же был использован в военных целях, — все практические результаты интеллектуальных усилий Зенона только увеличивали число орудий угнетения, подавления или убийства, используемых одним человеком против другого.

Даже деятельность врача, представляющая собою, казалось бы, самый гуманный способ применения научного знания, постоянно ставит Зенона перед новыми и новыми неразрешимыми моральными противоречиями. Излечивая больного от тяжелого недуга, он далеко не уверен, пойдет ли здоровье на пользу его пациенту. Когда же ему приходится лечить власть имущих, он, как правило, убежден, что если не самим его пациентам, то подданным этих особ вновь обретенное здоровье их господ должно принести очевидный вред. Яд, приготовленный им для себя самого (на случай, если бы с его помощью пришлось спастись от гораздо более мучительной смерти), был использован, чтобы отравить его старшего друга и покровителя, который помог ему скрыться от преследований.

Иначе говоря, традиционная фигура гонимого церковью героя и мученика науки, рыцарски чистого поборника разума и просвещения, начинает расплываться под пером Маргерит Юрсенар, испытывающей сильнейшее воздействие со стороны антициентистских настроений западной интеллигенции, заворуженной видениями атомного апокалипсиса. Пожалуй, не без некоторой неожиданности для нее самой — если иметь в виду первоначальные замыслы и наброски романа, о которых упоминает писательница, — врач и алхимик Зенон начинает фантазировать по поводу будущих адептов тайного алхимического знания, которые извлекут из темного хаоса Вселенной силы, способные сжечь нашу Землю, и, быть может, не устоят от искушения испробовать эту возможность.

Перед лицом очевидных противоречий ренессансной концепции человека, обнаруживших всю свою бездонную глубину именно в столкновении двух эпох, прошлой и нынешней, отчетливо выявляется функциональность — идейная и эстетическая — перевода этой концепции на язык понятий, представлений и ассоциаций алхимической "мифологии". Символика Черной стадии Великого Деяния, в атмосферу которой погружаются мысли, страсти и действия возрожденческого героя, уже в ранней юности определившего собственную жизнь как путь к самому себе, к своей истинной сути, позволяет эстетически "остранять" зияющие противоречия концепции "божественного" самотворчества человека, перенося их из теоретического плана в собственно художественный. Все, что при иных обстоятельствах читатель мог бы оценить как результат элементарной непоследовательности Зенона, непродуманности его позиции или даже известной

нравственной глухоты, с помощью этой символики обретает достоинство трагической мистерии.

Однако, чтобы верно понять эту идейно-эстетическую функцию алхимической символики в структуре романа, следует постоянно помнить о возможности двоякого истолкования каждого термина алхимии, на которую указывалось выше. Сама Маргерит Юрсенар в пояснениях к роману иллюстрирует эту возможность на примере алхимического термина, вынесенного в название, подчеркивая, что он может означать и то, что совершается во "внешней" природе, с химическими веществами, и то, что происходит с самим человеком, в его "внутренней" природе.

В первой половине романа, которая сохраняет многие черты близости к первоначальным замыслам писательницы, имевшим, по ее свидетельству, еще довоенное происхождение, алхимическая символика используется главным образом в своем прямом, изначальном смысле. Здесь она выполняла специфичную для обычной исторической романистики функцию характерной реалии эпохи. Если иметь в виду общее построение романа Маргерит Юрсенар, то такое использование в первой его части алхимической символики вполне оправданно: ведь Зенону потребовалось полжизни, чтобы постичь высший, "метафизический" смысл алхимии, в аспекте которого истинным "философским камнем" алхимика оказывается он сам — себя он, оказывается, и искал на протяжении многих десятилетий своей жизни.

Однако после того, как совершилось это открытие Зенона, означавшее для него подлинный духовный переворот, алхимическая символика обретает в романе новый смысл, который начинает доминировать над прежним, отчасти соседствуя с ним, а отчасти вытесняя его. С точки зрения "метафизической" истины алхимии, открывшейся герою, вся его прежняя жизнь с напряженными внутренними исканиями представляла отныне как предварительный этап, в известном смысле лишь подводящий к Великому Деянию, обретающему всю полноту своего значения лишь в тот момент, когда человек становится не только субъектом, но и объектом собственных свершений. Только теперь, когда алхимик сделал это главнейшее открытие, означавшее перелом в его жизни, он мог приступить наконец к самой трудной, но и самой сокровенной части Великого Деяния.

И с этого момента основное течение романного действия переходит из "внешнего" плана исторического романа во "внутренний" план романа интеллектуального, вовлекающего алхимическую "мифологию" в глубинную коллизию "драмы идей", для которой превратности индивидуальной человеческой судьбы есть лишь ее символы и олицетворения.

Впрочем, было бы неверным утверждать, что столь решительный идейно-художественный (а также и сюжетный) поворот, происшедший в середине романа, вовсе не был подготовлен всем предшествующим развитием действия. В этом произведении три части; и если первая из них, "Годы странствий", целиком остается в пределах традиционного жанра исторического романа, отражая первоначальные замыслы писательницы, то вторая часть, "Оседлая жизнь", где и происходит этот психологический поворот, начинается с определенной философской подготовки к нему. Об

этом уведомляет читателя эпиграф ко второй части произведения: "Иди к темному и неведомому через еще более темное и неведомое", — прямо переключаящийся с французским названием романа.

Когда в первой части своего романа Маргерит Юрсенар отдается на волю саморазрушительным стихиям, идеям и страстям мятущегося алхимика Зенона, для которого страсть к свободе была тождественна стремлению к магическому знанию, а стремление к знанию идентично влечению к сверхчеловеческой власти, она оказывается перед лицом слишком далеко зашедшего отрицания, во всех сферах упирающегося в пустоту. Энергия отрицания, поначалу не лишённого известных резонансов, незаметно обернулась безысходным скептицизмом, грозившим обесмыслить не только все действия и поступки бунтующего алхимика, но также идеи и цели, ради которых они предпринимались. Недаром Маргерит Юрсенар говорила впоследствии, что к концу первой части романа жизнь Зенона сгорела дотла, превратилась в пепел — в ней уже не было ничего, что могло бы вновь зажечь его страсти и надежды. Ренессанс со своей безоглядной посяторонностью, способной воодушевлять человека лишь до тех пор, пока в нем кипят жизненные стихии, и в самом деле "устал" и впал в черную меланхолию, когда Зенон пересек рубеж пятидесятилетия.

Поскольку же на этом неутешительном результате писательница не могла поставить точку, постольку дальше ей ничего не оставалось, как подвергнуть идейному (и соответственно эстетическому) "остранению" тот взгляд на мир, в незамутненном зеркале которого отразилась вся прошлая жизнь бунтаря-алхимика и его эпохи. А это уже требовало дополнительных художественных средств, больше тяготевших к современному жанру интеллектуального романа, чем к традиционному жанру романа исторического, в рамках которого, в общем, вполне уместалась первая часть произведения. Необходимость разрешения вполне определенных мировоззренческих трудностей, приведших к пессимистическому финалу первой части романа, вызвала к жизни потребность объединить в рамках нового — более широкого — художественного целого два, в общем-то, далеко не тождественных романских жанра, поставив перед писательницей нетривиальные творческие задачи.

Вот тут-то мы и становимся вновь свидетелями того "возведения в квадрат" эстетического эффекта (имеющего свой источник в психологических особенностях работы человеческой памяти), с каким впервые столкнулись в романе об императоре Адриане: память эпохи отдаленного прошлого о самой себе, пропущенная через воспоминания одного из центральных ее персонажей. Причем во втором романе мы имеем дело с памятью героя о прошлом, пропущенной сквозь дистилляторы "метафизической" алхимии.

С Зеноном первой части романа мы сталкиваемся дважды, видя его как бы отраженным в двух зеркалах. Один раз мы встречаем его таким, каким он фактически "был" в самой прошлой действительности, правда постигнутой сквозь призму ранневозрожденческой концепции человека, которая во второй и третьей частях романа если и не отвергается вовсе, то существенно корректируется как наивная и односторонняя. Второй раз Зенон первой части романа предстает в зеркале окутанных дымкой печали

воспоминаний "доктора Теуса" (под именем которого скрывается герой), умудренного не только новым жизненным опытом "оседлого" существования, но и переходом на новый — "углубленно-философский" — уровень толкования алхимического знания, а вместе с тем и смысла жизни.

Короче говоря, в первом случае "буря и натиск" полного сил Зенона отражаются с точки зрения Ренессанса, исполненного могучих стремлений и оптимистических надежд, а во втором — с точки зрения меланхолического "усталого Ренессанса", как назвала Маргерит Юрсенар период, когда герою романа пришлось жить под именем доктора Себастьяна Теуса.

Маргерит Юрсенар вспоминает, что в самых ранних набросках будущий герой романа о "северном Ренессансе", этом незаконнорожденном сыне классического итальянского Возрождения, предстал в образе "запоздалого радикала" 20-х годов нашего века: человек без иллюзий и компромиссов, мечущийся от одной крайности к другой. Однако в конце концов она отказалась от такой трактовки своего Зенона — как схематичной и упрощенной. Тем не менее герою первой части ее романа остается человеком крайностей и мятежных порывов — не случайно он рисуется в воображении романистки как "лед и пламень", слившиеся воедино: бледный и загорелый, скупой в жестах, но с горящими глазами — плод незаконной связи фламандки и итальянца. С раннего детства его жизнь предстает как сплошная цепь протестующих жестов отрицания.

В качестве незаконного сына богатой фламандки, не пожелавшего жить вместе с нею и отчимом, Зенон был, так сказать, "естественным противником" семьи. Незаконнорожденный, которого богатые родственники уже по одной этой причине должны были предназначить к церковной карьере, он с той же "естественной необходимостью" оказался противником католической церкви и христианской религии вообще. В силу той же "логики протеста" его изначальная оппозиционность должна была распространиться и на университетских преподавателей, склонных к компромиссу с властями предрежащими, и на самих властительных "хозяев жизни". И не было ничего удивительного в том, что этот бунтарский дух, толкавший его на крайне левый фланг Реформации, не нашел успокоения и здесь; единственным, что отвечало "духу универсального отрицания", которым был одержим Зенон, оказалась алхимия.

Алхимия фигурирует в контексте первой части романа как теоретическое выражение *тотального нонконформизма*, не удовлетворяющегося никакой частичной — а значит, недостаточно последовательной — формой отрицания действительности и ее нравственно-религиозного сознания. Сам же алхимик предстает здесь как изгой, не желающий идти на компромиссы с этой действительностью не только в силу изначально присущего ему бунтарства, но также и в силу того, что он обладает "тайным знанием", открытым сфере оккультного и магического, которое бесконечно высоко поднимает человека над убогой действительностью с ее ограниченным сознанием. Ощущение чужеродности алхимика Зенона среди его современников все время подчеркивается его репликами и рассуждениями, которые гораздо естественнее звучали бы в 60-е годы нашего века, чем в первой половине XVI столетия.

Как показывает Маргерит Юрсенар в романе (еще раз расшифровывая ту же мысль в одном из своих интервью), природа алхимического бунтарства Зенона была такова, что исключала для него как перспективу стать секретарем Маргариты Австрийской, так и возможность примкнуть к восставшим ремесленникам. И то, и другое ощущалось бы им как утрата глубины Отрицания, потеря Свободы, — хотя для обретения той истинной внутренней свободы, какой юный Зенон, как ему казалось, обладал уже в свои двадцать лет, ему потребовалась вся последующая жизнь.

Всеотрицающая свобода Зенона первой части романа находила свое мировоззренческое выражение в его атеизме, сохранявшем, впрочем, богоборческий оттенок, научное — в его алхимических и медицинских опытах, практическое — в "ночной" сфере его повседневной жизни, где за малейшее отклонение также грозило аутодафе.

Так же, как и у императора Адриана, у алхимика Зенона "язычески-ренессансное" убеждение в "земной божественности" человека ("я верую в бога, который произошел не от девственницы и чье царство — на земле") было неразрывными узами связано с уверенностью в том, что в действительности причастны истинной своей природе лишь немногие, постигшие эту истину. Но если Адриан извлекал это мудрое знание из своего счастья ("Переживаемое мною счастье почти всегда делало меня мудрым", — писал император), то Зенону поневоле приходилось извлекать его из своих невзгод и бедствий. Различает героев этих двух романов Маргерит Юрсенар также и то, что для Адриана основным путем овладения этим знанием была политика и государственная власть, тогда как Зенон избрал путь алхимии и магической власти. "Искушение властью", как выражается писательница, имело место в обоих случаях, причем глубинным корнем этого "искушения" было именно осознание каждым из героев своей исключительности, рождавшее у Зенона глубокую уверенность в том, что "со времен Адама мало было двуногих, достойных имени человека". Отсюда — "алхимическая" тень, окрашивавшая в темные тона самую благородную из форм деятельности, руководимых научным разумом, на которой в конце концов сконцентрировал все свои усилия молодой Зенон, — деятельность врача-хирурга. Сам Зенон достаточно выразительно характеризует свои врачебные занятия. Он признается в том, что "отправлял на тот свет" некоторых из своих пациентов, допуская "излишнюю смелость", хотя опыт, приобретенный в результате этого, помогал ему спасать других людей. А главное, как честно свидетельствует герой, раскрывая истинные мотивы своей "излишней смелости", — выздоравливали ли его пациенты или, наоборот, погибали, для него важнее всего было убедиться, насколько правилен был его метод и насколько верен прогноз.

Только тогда, когда во время одной из эпидемий погиб единственный близкий Зенону человек — мальчик-слуга Алеи, верно и бессловесно ему служивший, — он осознал наконец всю чудовищность смерти и всю бессмысленность своего ремесла. "Мрачный переворот", пережитый Зеноном в этот момент и даже побудивший его надолго отказаться от врачебной практики, был отдаленным предвестником более глубокого кризиса героя, следствием которого стала решительная переоценка смысла алхи-

мического знания и — соответственно — если не переоценка, то переакцентировка ценностей его прошлой жизни.

Но по мере того, как Маргерит Юрсенар пыталась найти выход из этого кризиса во второй части романа, обнажались новые противоречия — и опять-таки прежде всего мировоззренческого порядка. Становилось очевидным, что антиномии, возникшие в первой части романа как следствие безмерности раннеренессансной свободы, беспредельности рожденного ею отрицания, двусмысленности "алхимического" заигрывания с Хаосом, не могут быть решены с помощью простого перехода на позиции "метафизической" алхимии, переключающей проблему в план *философского самовоспитания* алхимика.

Было совершенно непонятно самое главное — что же толкнуло вчерашнего бунтующего алхимика, в конце концов озабоченного одной лишь реализацией заключенных в нем "божественных" потенциалов, на путь самоограничения, самопреодоления и самоконцентрации? Почему из пепла жизни алхимического бунтаря, зашедшего в безвыходный мировоззренческий тупик, родился аскетизм, временами соперничающий с монашеским, пафос самоотверженного служения людям, сочувствие к их страданиям, доходящее до готовности пожертвовать жизнью ради облегчения этих мучений? Неужели просто потому, что Зенон постарел? Вряд ли: старческая немощь не располагает к самопожертвованию. Так почему же?

Не дав удовлетворительного ответа на этот вопрос, оказавшийся вопросом Сфинкса, грозящего пожрать интеллектуальный срез романа, писательница в третьей части романа ("Тюрьма") ставит своего героя в "экстремальную" ситуацию и, пользуясь ею, просто располагает рядом две стороны неразрешенного противоречия между первым и вторым этапами жизни Зенона, заставляя его "освятить" смертью как свое "алхимическое" бунтарство первого этапа, так и свое "метафизическое" самопреодоление второго.

Не отвергнув, как специально подчеркивает Маргерит Юрсенар, ни одного из своих прежних атеистических убеждений, Зенон достаточно решительно отказывается от идей и особенно от мироощущения своей бунтарской алхимической молодости. Дело доходит до того, что герой воспринимает цитаты из своих студенческих записок, прочитанные во всеулышание во время суда, с тем же раздражением, с каким воспринимает их епископ, руководивший судебным процессом. Как это ни парадоксально, но в этом пункте он оказывается гораздо ближе к собственному противнику, чем к Зенону времен его бунтарской юности.

В целом же в этой последней части романа перспектива неминуемой гибели Зенона, которому грозит костер (его спасает от аутодафе только самоубийство), примиряет в сознании читателя ошибки экзистенциальной молодости героя и углубленную философскую самокритику его старости. Алхимия, исполненная волей к Хаосу и власти, как бы примиряется с "меланхолической" алхимией, уповающей на сознательное самопреображение человека, завершающееся его растворением в универсальном единстве бытия. Основное противоречие Зенона — противоречие между двумя знаками его жизни — остается нерешенным.

Между тем сквозь частокол мировоззренческих противоречий героя романа Маргерит Юрсенар, увлекавших ее на путь новых и новых художественных поисков, вовсе не бесплодных, как мы видим, с точки зрения эстетической, уже прорисовывалась иная, более высокая позиция, которую упорно не замечала (или не хотела замечать?) писательница, пытаясь "перескочить" ее с помощью "метафизической" алхимии Зенона, точно так же, как в "Воспоминаниях Адриана" она "перескакивала" ее с помощью "просвещенного гедонизма" философствующего императора. Эта позиция обнаружила всю свою значимость для Зенона, когда он решил отказаться от ритуального покаяния, ценой которого мог бы избежать неминуемой гибели. Причем сделал это даже не в силу фанатической приверженности какой-либо из прошлых своих идей, многие из которых он уже подверг пересмотру, а просто потому, что, как он выразился, начал "терять способность ко лжи". Прежде Зенон подчас "лгал, чтобы выжить"; теперь же он жертвует жизнью ради возможности не лгать — во имя Истины как таковой, взятой не в познавательном, а в этическом смысле: как выражение *верности человека самому себе*.

Проблема Истины, взятой в этом ее смысле, — это уже *нравственная проблема*, проблема различения правды и лжи, то есть этического самоопределения человека, которую Зенон скрывал от себя с помощью "метафизической" алхимии точно так же, как Адриан — с помощью гедонистического эстетизма. Теперь, в последние часы жизни Зенона, она раскрыла наконец всю полноту своего и жизненного, и мировоззренческого смысла, в свете которого раскрылась и тайна "обращения" бунтующего алхимика в "доктора Теуса", отдавшего всего себя служению "малым сим".

Итак, нам остается лишь подытожить главное и решающее, что обеспечило послевоенным романам Маргерит Юрсенар прочный и устойчивый интерес у читателя — интерес, с годами не только не угасающий, но, напротив, углубляющийся и расширяющийся. Прежде всего он связан с особенностями жанра, которым овладела романистка в итоге трудных и долгих исканий: его можно без преувеличения назвать жанром *исторических воспоминаний о будущем*. Он-то и обеспечил обращенность исторических разысканий писательницы, как бы глубоко они ни уходили в прошлое, — к нашей животрепещущей современности с ее болями и тревогами. Но дело, разумеется, не только в жанре, хотя, как свидетельствует наш анализ, эта проблема всегда выступала для Маргерит Юрсенар как глубоко содержательная, мировоззренческая проблема. Суть в том, что исторические поиски и размышления писательницы связаны с попытками постичь истоки того типа современного западного сознания (мы назвали его ренессансным), приверженцем которого она себя считала, хотя и чувствовала, как обострились в XX веке присущие ему внутренние противоречия. Поскольку же этот тип сознания до сих пор определяет мировоззрение достаточно широких кругов интеллигенции капиталистического Запада, постольку, честно обрисовав его антинормии, уходящие своими корнями в глубь веков, Маргерит Юрсенар дала тем самым и объективную картину современного состояния умов на Западе.

И, что для нас особенно ценно сегодня, писательнице удалось при этом выявить и подчеркнуть важнейший идейный мотив, сближающий устремления широких кругов честно мыслящей интеллигенции Запада с сегодняшними устремлениями и заботами всех людей доброй воли. Когда Маргерит Юрсенар устами своего героя говорит о том, как "опасно предоставлять безумцам возможность взорвать вселенское устройство и бесноватым — подняться в небо", читателям, в какой бы стране они ни жили, ясны и понятны эти опасения. Когда же ее герой, прямо обращаясь к нам, нашему разуму и совести, называет войну "самым кровожадным" проявлением "человеческой глупости", мы не можем не почувствовать в нем своего вовсе не случайного союзника по борьбе против атомного безумия.

Ю. Давыдов

ВОСПОМИНАНИЯ АДРИАНА

РОМАН



Mémoires d'Hadrien

Перевод М. Ваксмахера

Консультант доктор исторических наук Г. Кнабе

Animula vagula, blandula,
Hospes comesque corporis,
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos...

*P. Aelius Hadrianus, Imp. **

* Душа, скиталица нежная,
Телу гостя и спутница,
Уходишь ты ныне в края
Блеклые, мрачные, голые,
Где радость дарить будет некому...

П. Элий Адриан, Император (лат.).



Дорогой Марк!

Нынче утром я сошел вниз к моему врачу Гермогену, который только на днях возвратился на Виллу после довольно долгой поездки в Азию. Обследование нужно было провести натошак, и мы условились, что он меня примет в утренние часы. Я сбросил плащ и тунику и прилег. Избавляю тебя от подробностей — они были бы тебе так же неприятны, как и мне самому, — и от описания тела стареющего человека, которому предстоит умереть от сердечной водянки. Скажу лишь, что я послушно кашлял, дышал и задерживал дыхание, повинуюсь указаниям Гермогена; он был явно напуган столь стремительным развитием болезни и готов был свалить всю вину на молодого Иолла, который наблюдал меня в его отсутствие. Наедине с врачом трудно оставаться императором и не менее трудно ощущать себя человеком. В глазах Гермогена я был только скопичем жидкостей, жалкой смесью лимфы и крови. Нынче утром я впервые подумал о том, что мое тело, этот верный товарищ и преданный друг, которого я знаю лучше, чем свою душу, оказалось коварным чудовищем, которое в конце концов сожрет своего господина. Но полно... Я люблю

* Душа, скиталица нежная (лат.).

свое тело, оно верно служило мне во всех случаях жизни, и мне ли скупиться на заботы о нем. Однако, в отличие от Гермогена, я больше не верю ни в чудодейственную силу трав, ни в целебные свойства минеральных солей, за рецептами которых ездил он на Восток. Этот человек, всегда такой тонкий, стал вдруг рассыпаться в утешениях, настолько затасканных и пошлых, что они не могли меня обмануть. Он знает, что я не терплю подобной лжи, но тридцатилетние занятия медициной безнаказанно не проходят. Я прощаю верному слуге эту попытку скрыть от меня мой конец. Гермоген — человек ученый и к тому же мудрый; он гораздо честнее любого придворного лекаря, и, доверившись ему, я, наверное, был бы самым ухоженным на свете больным. Но никому не дано выйти за пределы, пред-указанные судьбой; распухшие ноги больше не держат меня во время долгих римских церемоний; я задыхаюсь, и мне уже шестьдесят лет.

Однако не делай из этого ошибочных выводов; я еще не настолько слаб, чтобы поддаваться химерам страха, почти столь же нелепым, как и химеры надежды, и, конечно, более мучительным, чем они. Если уж мне суждено обмануться, я бы предпочел быть излишне доверчивым: в этом случае я ничего не потеряю, зато страдать буду меньше. Мой срок уже близок, но это не означает, что он наступит немедленно, и я каждую ночь засыпаю в надежде дожить до утра. Внутри тех непреодолимых пределов, о которых я только что говорил, я могу упрямо защищать свои позиции и даже порой отвоевывать у противника несколько пядей отданной было земли. И все же я достиг возраста, когда жизнь становится для каждого человека поражением, с которым он должен мириться. Сказать, что мои дни сочтены, это ничего не сказать: так было с самого начала жизни; таков наш общий удел. Но неопределенность места, времени и способа смерти, мешающая отчетливо видеть цель, к которой мы движемся неуклонно и без передышки, уменьшается по мере развития моей смертельной болезни. Внезапно умереть может каждый, но лишь больной знает твердо, что через десять лет его не будет среди живых. Полоса тумана распространяется для меня уже не на годы, а на месяцы. Мои шансы умереть от удара кинжалом в сердце или от падения с лошади теперь уже минимальны; вероятность заразиться чумой ничтожна; проказе или раку меня уже не настигнуть. Мне не грозит больше риск пасть на границах империи под ударом каледонского топора или парфянской стрелы; бури так и не смогли меня погубить, и колдун, предсказавший мне, что я не утону, был, кажется, прав. Я умру или в Тибуре, или в Риме, или, самое дальнее, в Неаполе, и обо всем позаботится приступ удушья. Какой приступ, десятый или сотый, окажется для меня последним? Вопрос только в этом. Подобно путешественнику, который, плывя на корабле меж островов архипелага, видит, как к вечеру рассеивается над морем пронизанный солнцем туман и впереди проступает линия берегов, я начинаю различать очертания своей смерти.

Некоторые периоды прожитой мною жизни походят уже на опустелые покои излишне просторного дворца, в котором его обедневший владелец занимает теперь всего лишь несколько комнат. Я больше не охочусь; косули в этрусских горах могли бы теперь жить спокойно, будь я единственным, кто способен потревожить их мирные игры. С Дианой, владычи-

цей лесов, я всегда поддерживал отношения переменчивые и пылкие — отношения влюбленного к любимому существу; когда я был подростком, охота на вепря впервые дала мне возможность испытать, что значит властвовать над людьми и что такое опасность; тому и другому я предавался с неистовством; и все эти крайности вызывали недовольство Траяна. Кровавый дележ охотничьей добычи на поляне в Испании был для меня первым опытом смерти, мужества, жалости к живым существам и трагического наслаждения зрелищем их страданий. Став мужчиной, я отдыхал на охоте от тех тайных сражений, что мне постоянно приходилось вести с противниками, то слишком лукавыми или слишком тупыми, то слишком слабыми или слишком сильными для меня. Суровая битва между разумом человека и прозорливостью диких животных казалась в сравнении с человеческими кознями удивительно честной. Когда я стал императором, мои охоты в Этрурии помогли мне судить об отваге или находчивости высоких сановников; таким образом я отверг или приблизил к себе не одного государственного деятеля. Позже, в Вифинии, в Каппадокии, я использовал большие облавы на зверя в качестве предлога для праздника, для осенних торжеств в азиатских лесах. Но мой сотоварищ по последним охотам умер совсем молодым, и мое пристрастие к этим жестоким радостям угасло после его ухода. Однако даже здесь, в Тибуре, внезапного фырканья оленя в лесной чаще достаточно для того, чтобы во мне встрепенулся инстинкт, гораздо более древний, чем все остальные инстинкты, благодаря ему я ощущаю себя не только императором, но и гепардом. Как знать? Быть может, я всегда бережно расходовал человеческую кровь только лишь потому, что пролил так много крови диких животных, хотя нередко в глубине души предпочитал их людям. Но как бы там ни было, образы хищников по-прежнему преследуют меня, и я с немалым трудом удерживаюсь от нескончаемых охотничьих историй, чтобы не подвергать вечерами тяжкому испытанию терпеливость моих гостей. Разумеется, в воспоминании о дне усыновления меня Траяном много радостного, но и вспомнить о львах, убитых в Мавритании, тоже приятно.

Отказ от коня — жертва еще более мучительная: хищный зверь — всего лишь противник, конь же был мне другом. Если б мне было дано самому избрать свой удел, я бы хотел быть Кентавром. Отношения между Борисфеном и мной были математически четки; он подчинялся мне не как своему хозяину, а как подчиняются мозгу. Удалось ли мне хоть раз добиться того же от человека? Столь абсолютная власть всегда таит в себе Для того, кто обладает ею, опасность ошибки, но наслаждение, какое я получал, пытаясь свершить невозможное, когда брал на скаку препятствия, было слишком огромным, чтобы жалеть о вывихнутом плече или сломанных ребрах. Тысячу всяких, довольно зыбких, понятий, обычно прилагаемых к человеку, вроде звания, должности, имени, — все то, что так осложняет дружбу между людьми, — моему коню заменяло единственное знание, знание моего настоящего веса. Он был частью моих усилий; он очень точно — и, может быть, даже лучше, чем я, — знал, в какой точке моя воля расходится с моими возможностями. Но преемника Борисфена я больше не обременяю своей тяжестью — грузом дряблых мышц больного человека, слишком немощего для того, чтобы он мог сам взобраться на

шину верхового коня. Сейчас, когда мой помощник Целер объезжает его на Пренестинской дороге, мой так быстро канувший в прошлое опыт позволяет мне разделить с всадником и с животным ту радость, которую они оба получают от скачки, и по достоинству оценить ощущения человека, летящего во весь опор навстречу солнцу и ветру. Когда Целер соскакивает с коня, я вместе с ним чувствую под ногами землю. То же самое происходит и с плаваньем: я от него отказался, но все еще чувствую вместе с пловцом ласку воды. Пробежать даже самое короткое расстояние для меня теперь так же немислимо, как для статуи, как для каменного Цезаря, однако я еще помню, как мальчишкой носился по иссушенным холмам Испании, как бегал с самим собою вперегонки и валился с ног, задыхаясь, но твердо зная при этом, что мое молодое сердце и отличные легкие не замедлят вернуть равновесие организму; и всякий атлет, тренирующийся в беге на длинную дистанцию, находит в моей душе понимание, которого не достичь одним лишь рассудком. Так из каждого искусства, в котором я преуспел в свое время, я извлекаю какое-то знание, и оно частично возмещает мне утраченные радости. Я считал — и в добрые моменты поныне считаю, — что таким способом человек мог бы вобрать в себя существование всех людей, и это со-чувствование явилось бы одним из самых надежных видов бессмертия. Мне выпадали мгновения, когда это понимание готово было перейти границы человеческого, когда оно шло от пловца к волне. Но тут я не могу уже опираться на точные данные и потому вторгаюсь в область таких метаморфоз, какие являются нам лишь в сновидениях.

Чревоугодие — истинно римский порок, но я был умерен в еде, и эта умеренность была мне всегда в радость. Гермогену не пришлось ничего менять в моем режиме питания. Единственным, в чем он, пожалуй, мог меня упрекнуть, было нетерпение, с каким я в любое время и в любом месте стремился поскорей проглотить первое попавшееся кушанье, словно разом хотел покончить с теми ощущениями, которыми досаждал мне желудок. Конечно, человеку богатому, никогда не терпевшему лишений, кроме тех, которые он принимал на себя добровольно или к каким на недолгое время бывал принуждаем силою обстоятельств, не пристало хвастаться своим малоядением. Наестся в праздничный день до отвала всегда было честолюбивой мечтой, предметом радости и естественной гордости бедняков. Мне нравились ароматы жареного мяса и шум выскребаемой посуды во время солдатских празднеств, нравилось, что пиршества в лагере (или то, что почиталось в лагере за пиршество) были именно тем, чем они должны были быть, — веселым и грубым противовесом тяготам и лишениям будничных дней; я довольно легко мирился с запахом топленого жира на общественных площадях в дни сатурналий. Но римские пиры вызывали у меня такое отвращение и такую тоску, что несколько раз во время военных экспедиций, когда мне, казалось, грозила неминуемая смерть, я утешал себя мыслью о том, что мне по крайней мере уже не надо будет больше присутствовать на обедах. Не обижай меня, трагую слова мои как пошлый отказ от жизненных благ; процедура, которой мы предаемся два или три раза в день и целью которой является поддержание жизни, бесспорно, заслуживает наших забот. Съесть спелый плод — это

значит дать войти в нас чему-то живому и прекрасному, пусть инородному, но, как и мы, вскормленному и возвращенному землей; это значит принять жертвоприношение, которым мы ставим себя выше неодушевленных предметов. Надкусывая ломоть солдатского хлеба, я всякий раз с восхищением думал о том, что эта тяжелая и грубая пища способна превратиться в кровь, в тепло и даже, может быть, в мужество. О, почему мой дух, даже в лучшие мои дни, был наделен лишь малой долей той способности к усвоению, какой обладает тело?

В Риме на протяжении нескончаемых официальных обедов мне нередко приходила в голову мысль о том, что у нашей роскоши нет далеких истоков, о том, что этот народ скуповатых крестьян и нетребовательных к пище солдат, который всегда довольствовался ячменем и чесноком, позднее, во времена завоеваний, ворвался вдруг в кухни Азии и теперь с грубостью проголодавшихся мужланов жадно поглощает самые изысканные яства. Наши римляне обжираются ортоланами, накачиваются соусами, травят себя пряностями. Какой-нибудь Апиций так и пыжится от гордости, кичась затейливой сменой блюд, бесконечной вереницей кушаний, острых, сладких, тяжелых или, напротив, воздушных, из которых складывается пышный распорядок его застолья; добро бы еще каждое из этих яств предлагалось отдельно, вкушалось натощак, отведывалось знатоком, чьи вкусовые ощущения еще не притупились. Подаваемые вперемешку, затерянные в нагромождениях каждодневного изобилия, они создают во рту и в желудке отвратительную мешанину, где ароматы и оттенки вкуса теряют свои природные свойства, свою восхитительную неповторимость. Добрейший Луций когда-то тешил себя тем, что готовил для меня редкие кушанья; его фазаны пахтеты, с их изощренной дозировкой жира и специй, свидетельствовали о мастерстве столь же высоком, как мастерство музыканта или живописца; но мне было жаль, что в его страпне исчезал натуральный вкус великолепной дичи. Греция умела управляться с этими делами куда лучше: ее смолистое вино, ее обсыпанный кунжутом хлеб, ее зажаренная на вертеле, прямо у моря, рыба, с одного бока почерневшая от огня и приправленная хрустящими на зубах песчинками, отлично утоляли голод, не отягощая ненужными сложностями самое простое из наших удовольствий. В какой-нибудь таверне Эгины или Фалера я наслаждался пищей настолько свежей, что она оставалась божественно чистой несмотря на грязные руки слуги, настолько скромной и при этом сытной, словно она заключала в себе самую сущность бессмертия. Мясо, изжаренное вечером после охоты, тоже таило в себе нечто почти сакраментальное, возвращавшее нас к первобытным временам, к исконным корням народов и племен. Вино приобщает людей к вулканическим тайнам земли, к скрытым в ней минеральным богатствам: чаша самосского вина, выпитая в яркий солнечный полдень или, наоборот, зимним вечером, когда ты устал, и мгновенно наполняющая тебя ощущением приятного тепла в желудке и бодрящего жара во всем теле, одаряет нас чувством почти священным, порой даже слишком сильным для человеческой головы; выходя из пронумерованных римских подвалов, я уже не испытываю этого ощущения во всей его чистоте, и педантизм знатоков изысканных вин меня раздражает. С еще большим благоговением пью я воду;

когда мы зачерпываем ее ладонью или припадаем к источнику ртом, в нас входят таинственные соли земли и излившийся с неба дождь. Но и вода теперь, при моей болезни, стала для меня запретной радостью, мне и здесь предписано строгое воздержание. И все-таки даже в агонии, сквозь горечь последних микстур, я буду пытаться почувствовать на губах ее пресную свежесть.

В свое время я пробовал было воздерживаться от мяса — в духе тех философских школ, которые проповедают, что нужно испытать на себе все существующие режимы питания; позже, в Азии, я видел, как индийские гимнософисты отворачивались от дымящихся ягнят и газельих туш, которые предлагались гостям в шатрах Хосрова. Но этот обычай, столь привлекательный для твоей юношеской суровости, требует хлопот еще более обременительных, нежели чревоугодие и гурманство; он слишком резко отделяет нас от большинства людей в одном из главных телесных отправлениях, которое почти всегда происходит публично и чаще всего подчинено велениям государственности или дружбы. Я предпочел бы всю жизнь питаться одними цесарками и жирной гусятиной, только бы не давать моим гостям повода обвинять меня за каждой трапезой в том, что я чванюсь перед ними своим аскетизмом. Мне и без того бывало нелегко с помощью горстки сушеных фруктов и единственной чаши вина, которое я медленно цедил целый вечер, скрывать от моих сотрапезников, что фигурные торты приготовлены моим поваром не столько для меня, сколько для них, и что я давно равнодушен ко всем этим яствам. Государь здесь лишен той свободы действий, какая есть у философа: он не может себе позволить отличаться от окружающих по многим вопросам одновременно, а боги знают, что вопросы, по которым я расхожусь с людьми, и так уж чересчур многочисленны, хоть я и льщу себя надеждой, что многие из них остались незамеченными. Что же касается религиозных сомнений гимнософиста и его отвращения к окровавленному мясу, меня это, может быть, и растрогало бы, если бы мне не приходилось задаваться вопросом: чем страдания травы, которую косят, так уж разнятся от страданий овец, которых режут, и не объясняется ли наш ужас перед убийством животных прежде всего тем, что мы с нашей чувствительностью принадлежим к одному с ними царству. Но в некоторые моменты своей жизни, например в периоды ритуальных постов или во время приобщения к таинствам, мне довелось познать не только преимущества, но также и опасности, какие представляют собой различные формы воздержания или даже добровольного изнурения плоти, познать те состояния, близкие к помутнению рассудка, когда тело входит в чуждый ему мир, предвосхищающий холодную бесплотность смерти. В иные минуты этот опыт позволял мне прикоснуться к идее постепенного самоубийства, к идее кончины путем истязания плоти, которой были одержимы некоторые философы, к этому безудержному плотскому разгулу наизнанку, доводящему человеческое начало до полного уничтожения. Но я никогда не любил разделять до конца какую бы то ни было доктрину, и мне не хотелось бы, чтобы укоры свести отняли у меня право объедаться колбасами, если бы на меня вдруг напало такое желание или если б одна только эта еда оказалась у меня под рукой.

Киники и наставники мудрости согласны между собою в том, что любовные наслаждения — радости грубые, и помещают их в один ряд с удовольствиями, доставляемыми питьем и едой, объявляя их, однако, менее необходимыми, поскольку без радостей любви человек может якобы обойтись. От наставника мудрости я готов ожидать чего угодно, но меня удивляет, что так заблуждаются киники. Остается предположить, что и те и другие преисполнены страха перед терзающими их демонами, с которыми они борются или перед которыми пасуют, и стараются принизить свое наслаждение, дабы отнять у него грозную силу, под бременем которой они изнемогают, и лишить его странной таинственности, в которой они видят свою погибель. В правомерность приравнивания любви к чисто физическим наслаждениям (если допустить, что таковые вообще существуют) я поверю в тот день, когда увижу, как гурман, сидя перед своим излюбленным блюдом, рыдает от восторга, словно любовник на юном плече. Из всех наших утех только любовь способна потрясать душу, и только в любви мы всецело отдаемся исступлению плоти. Совсем необязательно, чтобы человек, пьющий вино, непременно терял рассудок, однако не теряющий разума любовник отказывает своему богу в должном повиновении. Во всех прочих сферах воздержание или невоздержанность, завлекая в свои сети человека, имеют дело лишь с ним одним, без партнеров; любое же проявление чувственности (если не считать случая Диогена, ограничения которого и самый характер рассуждений говорят за себя) ставит нас перед лицом Другого, неминуемо требуя от нас выбора. Я не знаю иных областей бытия, где поступки человека диктовались бы побуждениями более простыми и более непререкаемыми; где избранный нами объект оценивался бы более точно, в зависимости от истинного веса доставляемых им наслаждений; где любитель докапываться до сути вещей имел бы больше возможностей судить о человеке в его первозданном виде. В любви меня поражает все, начиная с обнаженности, которая подобна обнаженности в смерти, и до смирения, которое глубже, чем смирение людей, потерпевших поражение в битве или возносящих молитвы богам; я всякий раз изумляюсь этим сложнейшим комбинациям отказов, боязни, великодушных порывов, всей этой бесконечной череде жалких признаний, хрупкой лжи, пылких уступок, всему этому множеству связей, которые образуются между моими наслаждениями и наслаждениями другого существа, связей, которые невозможно оборвать и которые, однако, так быстро развязываются. Эта таинственная игра, где любовь к телу превращается в любовь к личности, мне всегда представлялась восхитительной и достойной того, чтобы посвятить ей часть своей жизни. Слова обманчивы, потому что слово "наслаждение" выражает противоречивые вещи, вмещающая в себя понятия теплоты, нежности, телесной близости и в то же время жестокости, агонии, крика. Непристойная фраза Посидония о соприкосновении двух частиц плоти, которую, помнится, ты с прилежанием примерного ученика переписывал в свою школьную тетрадь, помогает пониманию феномена любви не больше, чем прикосновение пальца к струне — постижению таинства звуков. Эта фраза оскорбительна даже не для сладострастия, а для самого тела, для этого механизма из мускулов, крови и кожи, этого багряного облака, душа которого — молния.

И я признаю, что разум впадает в смущение, сталкиваясь с чудом любви, с этим странным наваждением, из-за которого та самая плоть, которой мы уделяем так мало забот, когда она составляет наше собственное тело, и которая беспокоит нас только тогда, когда ее нужно мыть, кормить и, если возможно, избавить от страданий, может внушать нам такое страстное желание ласк только потому, что она одухотворена индивидуальностью, отличной от нашей, и потому, что обладает какими-то черточками красоты, по поводу которых, впрочем, самые лучшие судьи неспособны прийти к единому мнению. Здесь человеческая логика бессильна — так же, как в постижении Тайн. Народная традиция не ошиблась, усмотрев в любви одну из форм посвящения, одну из точек соприкосновения с сокровенным и святым. Чувственный опыт сравним с приобретением к Тайнам еще и потому, что первое знакомство с ним производит на непосвященного впечатление обряда, в той или иной мере страшного, постыдным образом несхожего с привычными отправлениями — сном, едой, питьем, впечатлительные чего-то такого, что таит в себе издевку, ужас и позор. Так же, как пляска менад или иступление корибантов, наша любовь уводит нас в совершенно иной мир, куда нам в другое время вход запрещен и где мы сразу же перестаем ориентироваться, как только наш пыл угасает или наслаждение приходит к развязке. Пригвожденный к любимому телу, как распятый к своему кресту, я постигал секреты бытия, но моя память с той поры уже притупилась, повинувшись тому же закону, в силу которого больной, исцелившись, забывает о таинственных свойствах своего недуга, узник, отпущенный на свободу, не помнит уже о перенесенных им пытках, а триумфатор, отрезвев, — о своей славе.

Иногда мне рисовалась в мечтах стройная система человеческого знания, основанного на эротическом опыте, теория соприкосновения, в котором тайна и достоинство другого существа состоят именно в том, что оно предоставляет опорный пункт для постижения другого мира. Наслаждение стало бы, согласно этой философии, особой формой, более полной и необычной, этого сближения с Другим, а также стало бы мастерством, с помощью которого мы познаём то, что находится вне нас. При встречах, которые никак не назовешь чувственными, телесное соприкосновение иной раз рождает или губит эмоции: противная рука старухи, подающей мне прошение, влажный лоб моего умирающего отца, обмытая рана на теле солдата. Отношения, даже самые интеллектуальные или самые безразличные, выявляются через посредство целой системы телесных сигналов: внезапно просветлевший взгляд трибуна, которому ты утром перед сражением объясняешь задуманный тобой маневр, безличное приветствие подчиненного, который, завидев тебя, застывает в позе, выражающей готовность к повиновению, дружелюбие в глазах раба, когда я благодарю его за то, что он мне подал поднос, или понимающая улыбка на лице старого друга, когда ты даришь ему греческую камею. При общении с большинством людей самого легкого, самого поверхностного из подобных контактов бывает достаточно, чтобы в нас затеплилось или даже вспыхнуло ярким светом желание. И вот все твои помыслы устремляются к единственному и неповторимому существу, множась и обступая его сплошным кольцом осады; каждая частичка чьего-то тела обретает для

тебя такое же значение, как черты чьего-то лица, и переворачивает всю твою душу; одно-единственное на свете создание уже не просто вызывает у тебя раздражение, радость или тоску, но начинает неотступно преследовать тебя, точно музыка, и мучит тебя, как нерешенная проблема; вот это создание уже переместилось с периферии твоего мира в самый его центр и стало тебе Гораздо нужнее, чем ты сам, — и тогда свершается чудо, в котором я вижу скорее завоевание плоти духом, нежели простую игру плоти.

Такие взгляды на любовь могли бы сделать из меня профессионально обольстителя. И если этого не произошло, то, наверное, лишь потому, что я выбрал себе иную стезю, пусть не лучшую, чем эта, но совсем на нее не похожую. Искусство обольстителя требует если не таланта, то, во всяком случае, больших хлопот и даже ухищрений, к чему я всегда чувствовал себя неспособным. Эти расставляемые повсюду ловушки, всегда одни и те же, эта неизбежная банальность, сводящаяся к постоянным подступам и подходам, где даже одержанная тобой победа уже есть неодолимый предел, скоро наскучили мне. Мастерство великого обольстителя требует переходить от одного предмета страсти к другому легко и беззаботно, а этого я не умею; во всяком случае, чаще бросали меня, чем я кого-то бросал; и я никогда не понимал, как можно пресытиться любимым существом. Стремление бережно подсчитывать все богатства, которые приносит нам каждая новая любовь, видеть, как она меняется и, может быть, даже стареет, плохо вяжется с большим количеством побед. Когда-то я считал, что чувство прекрасного сможет заменить мне целомудренную добродетель, предохранит меня от слишком грубых соблазнов. Но я ошибался. Любитель красоты кончает тем, что находит ее повсюду и обнаруживает золотые жилы в самой пустой породе; перебирая в руках грязные обломки былых шедевров, он испытывает наслаждение знатока, собирателя бесценных гончарных изделий, которые считаются всеми грубой поделкой. Более серьезным тормозом для человека утонченного является высокое положение, которое он занимает в обществе; неограниченная власть таит в себе опасность угодничества и лжи со стороны его подданных. Мысль о том, что какой-то человек в моем присутствии притворяется и фальшивит, вызывает у меня к нему только жалость, презрение или ненависть. От этих досадных неудобств моей счастливой судьбы я страдал не меньше, чем бедняк от своей нищеты. Еще немного, и я примирился бы с унылой ролью, которая состоит в том, что ты действуешь с видом обольстителя, прекрасно зная, что никто не посмеет тебя послушаться. Но все это было омерзительно и просто глупо.

Может быть, всем этим сложным и заманчивым планам обольщения я предпочел бы в конце концов убогую реальность разврата, если бы и здесь не царила ложь. Я готов допустить, что проституция — такое же искусство, как массаж или укладка волос, но я с трудом переносу даже общество массажиста или брадобрея. Нет на свете ничего более грубого, чем наши приспешники. Подобострастного взгляда хозяина таверны, который припас для меня лучшего вина и, следовательно, отказывает в нем кому-то другому, было достаточно в дни моей юности, чтобы отбить у меня охоту к римским развлечениям. Мне было противно, что какой-то субъект считает себя вправе угадывать мои желания, предвидеть их, авто-

матически применяясь к тому, что он считал моим выбором. Это дурацкое и искаженное отражение меня самого, которое показывал мне в такие минуты чей-то мозг, могло склонить меня к унылой жизни аскета. Если легенда, повествующая о диких выходках Нерона или об утонченной изысканности Тиберия, ничего не преувеличивает, этим великим пожителям удовольствий нужны были не только железные нервы, чтобы справляться с таким сложным конгломератом всяческой челяди, но и редкое презрение к людям, чтобы их спокойно терпеть, зная, что все они насмеются над тобой или получают от тебя корысть. И все же, если я почти полностью отказался от чересчур бездуховных форм наслаждения или слишком рано в них не погряз, я обязан этим скорее удаче, нежели собственной добродетели. Я мог бы поддаться этим порокам и на старости лет, как и любому другому виду слабости или изнеможения. Болезнь и теперь уже близкая смерть спасут меня от монотонного повторения одинаковых жестов, напоминающих затверживание вслух урока, который ты и так знаешь наизусть.

Из всех постепенно покидающих меня радостей одной из самых драгоценных, но и самых естественных, является сон. У человека, который спит мало и плохо, опираясь на бесчисленные подушки, достаточно времени для того, чтобы поразмыслить над этим странным наслаждением. Конечно, сон самый прекрасный — это сон, представляющий собою дополнение к любви, мудрое отдохновение, воплощенное в двух спящих телах. Но сейчас меня занимает другое — неповторимая тайна сна, вкушаемого ради него самого, неотвратимое и опасное погружение вечерами, когда мы обнажены, одиноки и безоружны, в океан, где все становится сразу другим — цвета, плотность предметов, самый ритм дыхания — и где мы часто встречаем умерших. Успокаивает лишь то, что из сна мы в конце концов выходим, и выходим несколько не изменившимися, поскольку некий странный запрет мешает нам уносить из сновидений четкие очертания их образов. Успокаивает и то, что сон исцеляет нас от усталости, но он прибегает для этого к самому радикальному способу лечения: мы словно на какое-то время вообще перестаем существовать. Особое удовольствие и искусство заключается в том, чтобы сознательно отдаваться этой блаженной бессознательности и по своей воле делаться более слабым, более тяжелым, более легким, более неопределенным и зыбким, чем ты есть. Я еще вернусь к удивительному племени существ, населяющих наши сны. Сейчас мне хочется сказать об опыте сна и пробуждения в их чистом виде, ибо они граничат со смертью и с воскресением из мертвых. Я пытаюсь вновь пережить ощущения подростка, когда сон сражает тебя наповал, и ты одетым засыпаешь над книгами, мгновенно переносясь из мира математики и юриспруденции в глубины крепкого и сладкого сна, так плотно насыщенного неизрасходованной энергией, что ты сквозь закрытые веки смакуешь сладостную суть бытия. Я вспоминаю, как меня внезапно смаривал сон в лесу, прямо на земле, после утомительных дней охоты, и будил только лай собак или лапы, упирающиеся в мою грудь. Забытые бывало таким полным, что я должен бы был каждый раз просыпаться совсем другим человеком, и меня удивлял, а временами печалил этот неукоснительно строгий порядок, который из таких далей опять и опять приводил меня в ту же

крохотную ячейку человечества, какой являюсь я сам. Как определить их, эти неповторимые черточки, которыми мы больше всего дорожим, потому что они так мало значат для нас спящих, и которые, прежде чем с сожалением возвратиться в телесный облик Адриана, мне удавалось уловить на какую-то долю секунды, ощутить себя другим человеком и словно бы прикоснуться к чужой, не имеющей прошлого жизни?

С другой стороны, болезнь и старость тоже полны чудес и получают от сна благодатные дары иного рода. Около года назад, после на редкость тяжелого дня, проведенного в Риме, я извдал одну из тех передышек, при которых истощение сил производит такие же — а вернее, совсем иные — чудеса, что и неистощимые запасы сил в молодости. Я теперь приезжаю в город редко и в каждый приезд стараюсь выполнить как можно больше дел. Этот день был забит до отказа: после заседания Сената — судебная процедура; за ним последовала бесконечно долгая дискуссия с квесторами, потом — религиозная церемония, которую невозможно сократить, и к тому же она проходила под дождем. Я сам приблизил плотную друг к другу все эти занятия, чтобы не оставлять времени для пустых разговоров и докучливой лести. Обратный путь верхом на коне был одной из последних этих поездок. Я вернулся на Виллу измученным, больным и таким продрогшим, каким человек бывает только тогда, когда кровь уже не так бодро бежит по жилам и не согревает тело. Целер и Хабрий бросились мне помогать, но заботливость может быть утомительной, даже когда она искренна. Уйдя к себе, я проглотил несколько ложек горячей каши, которую приготовил себе сам, отнюдь не из подозрительности, как можно было бы подумать, а потому, что тем самым я доставлял себе роскошь побыть в одиночестве. Я лег; казалось, сон был так же далек от меня, как здоровье, молодость и сила. Я уснул. Песочные часы показали, что я спал меньше часа. Краткий момент полного забытья становится в моем возрасте эквивалентом того сна, который длился когда-то добрую половину оборота ночных светил; мое время измеряется теперь гораздо меньшими единицами. Но этого часа оказалось достаточно, чтобы произошло довольно скромное и все же поразительное чудо: тепло моей крови согрело мне руки; мое сердце и легкие опять принялись усердно работать; жизнь снова струилась во мне как источник не очень обильный, однако надежный. За короткое время сон восстановил мои силы с той же беспристрастностью, с какою он мог и усугубить мое недомогание. Потому что великий восстановитель сил — божество, считающее необходимым, чтобы его благодеяния изливались на спящего вне всякой зависимости от того, кто этот спящий; так воде, наделенной целебными свойствами, безразлично, кто пьет из источника.

Но если мы так редко задумываемся над явлением, которое поглощает не менее трети всей нашей жизни, это объясняется тем, что оценить его благотворность можно, лишь обладая некоторой скромностью. Погрузившись в сон, Гай Калигула и праведник Аристид становятся равными друг другу, а я слагаю с себя свои великие и суетные привилегии и уже не отличаю себя от черного пса, который спит на моем пороге. Что такое бессонница, как не маниакальное упрямство, с каким наш разум фабрикует мысли, цепочки рассуждений, силлогизмы и дефиниции, и как не его

нежелание отказаться от власти в пользу божественной глупости сомкнутых век или мудрого безумия сновидений? Человек, который не спит (у меня в последние месяцы было предостаточно возможностей проверить это на себе самом), более или менее осознанно не хочет доверяться потоку жизни. Брат Смерти... И Сократ заблуждается, его фраза — всего лишь риторическая фигура. Я начинаю понимать смерть; у нее — другие секреты, еще более странные для нас, живущих. И все-таки тайны сна, тайны отсутствия и временного забвения так запутаны и так глубоки, что мы ощущаем, как где-то сливаются струи светлой и темной воды. Мне всегда было, неприятно смотреть, как спят люди, которых я любил; я знаю, они отдыхали от меня и они от меня ускользали. Человек обычно стыдится своего лица, когда оно измято сном. Сколько раз, встав пораньше, чтобы поработать или почитать, я приводил в порядок скомканные подушки, разбросанные одеяла — эти почти непристойные свидетельства наших встреч с небытием, приметы того, что каждую ночь нас уже нет...

Это письмо, к которому я приступил, чтобы уведомить тебя о ходе моей болезни, понемногу превратилось в средство отдохновения для человека, которому уже не хватает сил непрерывно заниматься государственными делами, в доверенные письмам размышления больного, который как бы дает аудиенцию своим воспоминаниям. Теперь я пойду еще дальше: я хочу рассказать тебе мою жизнь. Да, конечно, в прошлом году я составил официальный отчет обо всех моих деяниях, и мой секретарь Флегонт заверил его своей подписью. Я старался как можно менее лгать в этом отчете. Но общественные интересы и требования приличия все же вынудили меня по-иному представить некоторые факты. Истина, которую я собираюсь поведать теперь, не содержит в себе ничего непристойного; она непристойна лишь постольку, поскольку людей коробит всякая высказанная вслух правда. Я не жду, что ты в свои семнадцать лет что-нибудь в ней поймешь. Однако я рассчитываю просветить тебя, а также вызвать у тебя возмущение. Наставники, которых я сам для тебя выбрал, дали тебе то суровое, строгое, может быть, даже чересчур келейное воспитание, которое, я надеюсь, в конечном счете обернется великим благом для тебя и для государства. Я предлагаю тебе в качестве дополнения к моему официальному отчету рассказ, лишенный предвзятости и отвлеченного морализирования и основанный на личном опыте человека, каким являюсь я сам. Я не знаю, к каким выводам этот рассказ меня приведет. Я рассчитываю, что это исследование фактов поможет мне точнее определить самого себя, может быть, вынести себе приговор и, во всяком случае, прежде чем я умру, лучше себя понять.

Как и у всех людей, в моем распоряжении только три средства для оценки человеческого существования: изучение самого себя, самый трудный и самый опасный, но в то же время самый плодотворный из всех методов; наблюдение над людьми — а им чаще всего удается скрывать от нас свои тайны или заставить нас верить, что у них эти тайны есть; и, наконец, книги, с теми смещениями перспективы, которые непременно возникают между строк. Я прочитал почти все, что написали наши исто-

рики, наши поэты и даже наши баснописцы, хотя у последних репутация писателей фривольных, и книгам обязан я сведениями, быть может, более обширными, чем те, которые я извлек из достаточно разнообразных ситуаций своей собственной жизни. Написанное письмо научило меня слушать человеческий голос, так же, как великая неподвижность статуй — оценивать значение жестов. А жизнь, напротив, многое прояснила для меня в книгах.

Но эти писатели, даже самые искренние, лгут. Менее умелые из них, не находя слов и фраз, которыми было бы можно выразить жизнь, создают лишь бледное и жалкое подобие жизни; такие, как Лукан, утяжеляют и усложняют жизнь, наделяя ее торжественностью, которой в ней нет; другие, напротив, подобно Петронию, облегчают ее, делают из нее что-то вроде пустого скачущего мяча, который легко бросать и ловить в лишенном тяжести мире. Поэты переносят нас в мир более обширный или прекрасный, более яркий или мягкий, чем наш, совершенно на наш не похожий и практически почти необитаемый. Философы, дабы изучить действительность в чистоте и первозданности, заставляют ее претерпевать почти те же превращения, какие огонь или молот производят с твердыми телами; никакое существо, никакой факт не могут в этом пепле и в этих осколках сохраниться такими, какими мы их знаем. Историки, трактуя прошлое, предлагают нам его в виде систем слишком законченных, выстраивают цепочки причин и следствий, слишком точных или слишком понятных, чтобы они могли быть до конца истинными; они по своему усмотрению перекраивают этот покорный мертвый материал, и я твердо знаю, что даже от Плутарха всегда будет ускользать подлинный Александр. Сказочники, сочинители историй на милеский лад, лишь раскладывают на прилавке, как мясники, куски мяса, облепленные мухами. Мне очень трудно было бы жить в мире, лишенном книг, но реальной жизни в них нет, потому что она предстает в них не вся целиком.

Непосредственное наблюдение над людьми — метод еще менее совершенный, чаще всего ограничивающийся суждениями низкими или пошлыми, какими обычно питается людское недоброжелательство. Ранг, положение, занимаемое в обществе, превратности судьбы — все это сокращает поле зрения наблюдателя человеческих нравов; у моего раба совершенно другие возможности для того, чтобы изучать меня, нежели те, какими располагаю я, чтобы изучать его; но они у него так же малы, как и мои. Старый Эвфорion вот уже двадцать лет подает мне склянку с маслом и губку для растирания, но мое знание о нем не выходит за пределы его службы, а его обо мне — за пределы моей ванной, и любая попытка узнать еще что-либо привела бы и императора, и раба лишь к нескромности. Почти все, что мы знаем о других, поступает к нам из вторых рук. Если человек исповедуется перед вами, он старается представить себя в положительном свете; его защитительная речь уже готова заранее. Если же мы наблюдаем его, он уже не один. Меня упрекали, что я люблю читать донесения римской стражи; я постоянно обнаруживаю в них поразительные вещи; люди открытые или внушающие подозрение, незнакомые или близкие — все они в равной мере удивляют меня, их безрассудства служат для меня оправданием моих безрассудств. Я не перестаю изумляться тому, как разительно отли-

чается одетый человек от нагого. Но все эти с такой наивной обстоятельностью составленные донесения, увеличивая груды моих досье, ни на йоту не облегчают мне вынесения окончательного приговора. Тот факт, что судья, на вид такой суровый и неподкупный, совершил преступление, отнюдь не помогает мне лучше его узнать. Отныне передо мной вместо одного факта — два: то впечатление, какое производит на меня судья, и совершенное им преступление.

Что касается наблюдения над самим собой, я заставляю себя это делать хотя бы для того, чтобы состоять в добрых отношениях с человеком, рядом с которым я вынужден жить до конца своих дней; но и столь близкое шестидесятилетнее знакомство таит в себе немало возможностей ошибиться. Когда я заглядываю в глубины своей души, мое знание о самом себе зыбко, неуловимо, расплывчато, скрытно и похоже на общичество. Если же я пытаюсь взглянуть на себя незаинтересованным взглядом, это знание оказывается столь же холодным, как теории чисел; мне приходится напрягать все силы ума, чтобы увидеть свою жизнь с наибольшего удаления, с наибольшей высоты, и тогда она предстает предо мной точно жизнь какого-то другого человека. Но оба эти способа познания трудны и требуют один погружения в себя, другой — выхода наружу. Повинуясь инерции, я, как и все, стараюсь заменить их более привычными средствами — таким представлением о своей жизни, которое слегка подправлено оглядкой на образ, сложившийся обо мне у людей, заменить суждениями, изготовленными заранее, но изготовленными плохо, суждениями, подобными манекену, к которому неумелый портной усердно прилаживает предназначенную для нас ткань. Снаряжение несовершенное; инструменты тупые; но других у меня нет — и с их помощью я кое-как формирую идею своей человеческой судьбы.

Когда я рассматриваю свою жизнь, меня ужасает ее неопределенность. Жизнь героев, такая, как нам рассказывают о ней, всегда проста; она устремлена прямо к цели, точно стрела. Большинство людей тоже любит сводить свою жизнь к какой-нибудь формуле, иногда к похвальбе или жалобе, но почти всегда к обвинению и упреку; память услужливо подсовывает им образ существования, легко объяснимый и четкий. Контуры моей жизни менее отчетливы. Как это часто бывает, с большей точностью ее можно определить, если говорить о том, чем я не был: хороший солдат, но отнюдь не великий полководец; любитель искусства, но отнюдь не тот артист, каким, умирая, мнил себя Нерон; человек, способный на преступление, но отнюдь преступлениями неотягченный. Временами я думаю, что великие люди вернее всего характеризуются так: героизм, проявленный ими в чрезвычайной ситуации, остается в них на всю жизнь. Они — наша полная противоположность, наши антиподы. Я поочередно оказывался в различных чрезвычайных ситуациях, но не мог удержаться на их высоте; жизнь всегда сталкивала меня вниз. Однако и похвастаться тем, что, как добродетельный землепашец или носильщик, я всегда держался золотой середины, я тоже не могу.

Мне кажется, что ландшафт моих дней, подобно горному ландшафту, складывается из самых разных пород, в беспорядке нагроможденных одна на другую. Характер мой тоже представляется мне неоднородным:

в нем перемешаны в равной мере инстинкт и культура. Там и сям на поверхность выходят гранитные глыбы неизбежного; куда ни кинь взгляд, везде обвалы случайного. Я снова и снова пытаюсь пройтись вдоль своей жизни, найти в ней какой-то план, проследить от самых истоков золотую или свинцовую жилу, обнаружить, где берет свое начало подземная река, но весь этот обманчивый план — просто иллюзия памяти. Время от времени в какой-нибудь встрече, или в предзнаменовании, или в четкой последовательности событий мне видится перст судьбы, но слишком много дорог никуда не ведет, слишком многое не поддается подсчетам. Во всем этом многообразии, во всей этой сумятице я ощущаю, конечно, присутствие какой-то личности, но облик ее почти всегда искажен давлением обстоятельств; ее черты всегда затуманены, как лицо, отраженное в воде. Я не из тех, кто говорит, что его поступки непохожи на него самого. Они непременно должны быть на меня похожи, потому что они — единственная мера, какой меня можно измерить, единственный способ, каким я могу запечатлеть себя в памяти людей и даже в своей собственной памяти, потому что невозможность и дальше выражать себя в поступках и через них изменяться самому — это, пожалуй, и есть то основное, чем смерть отличается от жизни. Но между мной и моими поступками, которые создали меня, существует необъяснимый разрыв. О нем свидетельствует тот факт, что я испытываю постоянную потребность взвесить их, объяснить, отчитаться в них перед самим собой. Теми из моих трудов, которые длились недолго, можно, разумеется, пренебречь, но ведь и дела, занимавшие меня на протяжении всей жизни, тоже немногого стоят. Вот и сейчас, например, когда я пишу эти строки, мне вовсе не кажется таким уж важным то, что я был императором.

Впрочем, три четверти моей жизни не поддаются проверке делами, множество моих намерений, желаний, даже проектов расплывчаты и туманны, как призраки. Но и все остальное, даже более осязаемая часть жизни, в той или иной мере подтвержденная фактами, вряд ли выглядит намного отчетливой, и последовательность событий здесь так же неопределенна, как в снах. У меня есть своя личная, собственная хронология, и она совершенно не согласуется с той, где отсчет времени ведется от основания Рима или по Олимпиадам. Пятнадцать лет, проведенных мной в армии, промелькнули быстрее, чем одно утро в Афинах; есть люди, с которыми я встречался всю жизнь и которых я не узнаю в Аду. Пространственные измерения тоже смещаются: Египет соседствует с Темпейской долиной, я не всегда пребываю в Тибуре, когда я в нем нахожусь. То вдруг жизнь моя представляется мне такой банальной, что она выглядит недостойной не только описания, но даже просто внимательного рассмотрения, и для меня она тогда не более интересна, чем жизнь первого встречного. А то она кажется мне единственной в своем роде и в силу этого обесцененной и бесполезной, потому что ее невозможно свести к опыту большинства людей. Ничто не может объяснить моей сути: моих пороков и добродетелей для этого явно недостаточно; мое счастье пригодно здесь несколько больше, но счастье выпадало мне в жизни нечасто, с большими перерывами, и не всегда для этого были достойные поводы. Однако человеческому уму претит быть игрушкой случая, мимолетным плодом стечения

обстоятельств, неподвластных не только ни одному божеству, но и самому человеку. Определенная часть каждой, даже не стоящей внимания жизни проходит в поисках смысла существования, отправных точек, корней. И мое бессилие их обнаружить склоняет меня к магическим объяснениям, к попыткам отыскать в божественных откровениях то, что не в силах мне дать здравый смысл. Когда все сложнейшие вычисления и выкладки оказываются обманчивыми, когда даже философы больше не могут нам ничего предложить, тогда позволительно обратиться к толкованию щибета птиц или далекого хода светил.



VARIUS MULTIPLEX MULTIFORMIS*

Мой дед Маруллин верил в светила. Этот глубокий старик, пожелтевший и высохший от прожитых лет, питал ко мне такую же привязанность без ласки, без всяких внешних проявлений, даже почти без слов, с какой он относился к животным на своей ферме, к своей земле, к своей коллекции упавших с неба камней. Он происходил от длинной вереницы предков, обосновавшихся в Испании со времен Сципионов. Принадлежал он к сенаторскому сословию, и был третьим, имевшим это звание; до этого наша семья числилась по сословию всадников. Он принимал участие, впрочем довольно скромное, в государственных делах при Тите. Этот провинциал не знал греческого языка и говорил на латыни с гортанным испанским выговором, который он передал и мне и из-за которого надо мной потом нередко смеялись. Однако ум его не был совершенно неразвит; после смерти у него нашли сундук, полный математических инструментов и книг, к которым он последние двадцать лет не притрагивался. Он обладал познаниями полунаучными, полукрестьянскими, той смесью древней мудрости и порожденных невежеством предрассудков, которая была присуща старшему Катону. Но Катон всю свою жизнь был человеком римского Сената и карфагенской войны, типичным представителем суро-

* Пестрый, переменчивый, сложный (*лат.*).

вого республиканского Рима. Невероятная суровость Маруллина восходила к временам более давним. Это был человек родового уклада, живое воплощение того священного и страшноватого мира, отголоски которого я впоследствии встречал у наших этрусских некромантов. Он ходил всегда с непокрытой головой, за какую привычку потом осуждали и меня; его заскорузлые ступни обычно обходились без сандалий. Его повседневная одежда мало чем отличалась от одеяния старых нищих или неповоротливых крестьян-испольщиков, сидящих на корточках под жарким солнцем. Его считали колдуном, и деревенские жители, опасаясь его дурного глаза, обходили старика стороной. Он обладал необычайной властью над животными. Я видел, как его старческая голова осторожно и дружелюбно клонилась к гнезду гадюки, как его узловатые пальцы исполняли перед застывшей ящерицей подобие некоего танца. В летние ночи он брал меня с собой на вершину выжженного холма наблюдать звезды. Я засыпал прямо на земле, устав считать метеоры. Он же продолжал сидеть, подняв к небу голову и еле заметно поворачивая ее вслед за светилми. Должно быть, он знал системы Филолая и Гиппарха, а также систему Аристарха Самосского, которую я позже предпочитал всем остальным, но эти умозрительные построения уже не интересовали его. Звезды были для него пылающими точками, объектами того же порядка, что и камни или медлительные насекомые, из которых он также извлекал предзнаменования; они были частью волшебной вселенной, в которой была заключена воля богов, влияние демонов и судьба, уготованная людям. Он составил мой гороскоп. Однажды ночью он пришел ко мне, разбудил и возвестил мне владычество над миром — с тем же ворчливым немногословием, с каким он предсказал бы крестьянам хороший урожай. Потом, охваченный сомнениями, направился к очагу, где в холодные часы тлел хворост, поднес к моей руке головешку и прочитал на пухлой ладони одиннадцатилетнего ребенка подтверждение линий, начертанных в небесах. Мир предстал перед ним как единое целое; рука подтверждала решение светил. Эта весть потрясла меня меньше, чем можно было предположить: ребенок обычно готов ко всему. Но думаю, что безразличие к настоящему и будущему, свойственное преклонному возрасту, заставило его вскоре забыть о своем пророчестве. Однажды утром его нашли, уже холодного, в каштановой роще на краю поместья; тело было искоevano хищными птицами. Незадолго до смерти он пытался обучить меня своему искусству, но безуспешно: мое природное любопытство сразу устремлялось к выводам, не вдаваясь в хитроумные, порою неаппетитные детали его метода. Но вкус к опасным экспериментам сохранился у меня навсегда.

Мой отец, Элий Афер Адриан, был человеком, которого погубили собственные добродетели. Его жизнь прошла в исполнении административных обязанностей, не принесших ему славы; в Сенате с его голосом никто не считался. В нарушение обычного порядка вещей, должность наместника в Африке не обогатила его. Дома, в испанской муниципии Италике, он отдавал все свои силы улаживанию местных конфликтов. Он был человеком унылым, лишенным честолюбия, и, как это часто бывает с людьми, которые с каждым годом все больше снижают, он стал с маниакальной скрупулезностью относиться к тем ничтожным делам, к которым

в конце концов свелось его существование. Я тоже испытал на себе эти достойные всяческих похвал соблазны педантизма и аккуратности. Опыт общения с людьми развил у моего отца крайнюю недоверчивость к ним; он не делал исключения даже для меня, совсем еще ребенка. Мои успехи, когда он оказывался их свидетелем, не производили на него ни малейшего впечатления; его фамильная гордость была так велика, что ему казалось невероятным допустить, будто я могу к ней что-то прибавить. Мне было двенадцать лет, когда этот измученный жизнью человек нас покинул. Моя мать замкнулась в суровом вдовстве, и с того дня, как я, вызванный своим опекуном, уехал в Рим, я больше ни разу ее не видел. До сих пор помню ее удлиненное испанского типа лицо, отмеченное какой-то печальной мягкостью; этот образ подтверждается ее восковой маской у стены предков. У нее были маленькие ступни в узких сандалиях, как и у всех дочерей Кадикса, и при ходьбе эта безупречная молодая матрона слегка покачивала бедрами, как танцовщицы ее страны.

Я часто размышлял об ошибке, которую мы совершаем, считая, что человек, семья непременно разделяют идеи или участвуют в событиях того века, в котором они живут. Отголоски римских интриг почти не доходили до моих родителей в этом глухом уголке Испании, хотя во время мятежа против Нерона мой дед оказал на одну ночь гостеприимство Гальбе. В семье хранили воспоминание о некоем Фабии Адриана, который был заживо сожжен карфагенянами при осаде Утики, и еще об одном Фабии, незадачливом солдате, гнавшемся за Митридатом по дорогам Малой Азии, — о безвестных героях жалких домашних архивов. Из писателей той поры мой отец почти никого не знал, Лукан и Сенека были ему неизвестны, хотя они были, как и мы, родом из Испании. Мой двоюродный дед Элий, человек просвещенный, ограничился в своем чтении авторами, наиболее известными в век Августа. Это презрение к современной моде оберегало моих родственников от дурного вкуса; всякая напыщенность была им чужда. Эллиназма и Востока они не знали, либо относились к ним свысока, сурово нахмурившись; я думаю, на всем полуострове не было ни одной приличной греческой статуи. Экономия шла об руку с богатством; сельская неотесанность — с высокомерием, почти торжественным. Моя сестра Паулина была степенной, молчаливой и хмурой; в молодости она вышла замуж за старика. Честность в семье была безупречной, но с рабами обходились круто. Ничто не вызывало ни в ком любопытства; все мысли и суждения были такими, какие надлежало иметь гражданам Рима. И расточителем таких добродетелей, если это и в самом деле добродетели, предстало мне стать.

Официальная версия требует, чтобы римские императоры рождались в Риме, но я родился в Италике; к этому засушливому, но плодородному краю я потом присоединил немало стран мира. Официальная версия права: она свидетельствует о том, что решения разума и воли выше обстоятельств. Подлинное место рождения человека там, где он впервые посмотрел на себя разумным взглядом, — моей первой родиной были книги. И в минимальной степени — школы. Школы в Испании носили на себе печать непринужденных провинциальных досугов. Школа Теренция Скавра в Риме давала весьма посредственные знания в области философии

и поэзии, но неплохо готовила учеников к превратностям человеческого существования: учителя их тиранили с такой свирепостью, с какой я никогда бы не рискнул обращаться с людьми; каждый учитель, замкнувшись в узком мире собственных познаний, презирал своих коллег, которые тоже знали только свою дисциплину. Эти педанты до хрипоты препирались друг с другом по совершеннейшим пустякам. Соперничество за первое место, интриги, клевета — все это очень рано приобщило меня к нравам, с которыми я впоследствии сталкивался в каждом людском сообществе, где мне приходилось жить; к этому надо еще прибавить жестокость детского коллектива. И все-таки я любил некоторых своих учителей, любил те странные отношения, близкие и уклончивые одновременно, которые складываются между преподавателем и учеником, и звучащий, как песня Сирен, слабый надтреснутый голос, который впервые раскрывает перед тобой красоту шедевра или глубину новой идеи. Самый великий обольститель — в конечном счете не Алкивиад, а Сократ.

Методы грамматистов и риториков, быть может, вовсе не так абсурдны, какими они представлялись мне в ту пору, когда я был у них в кабале. Грамматика, с ее смесью логических правил и произвольных установлений, позволяет молодому уму довольно рано ощутить то, что позже откроют ему науки о человеческом поведении — и право, и мораль, и все философские системы, в которых человек кодифицировал свой инстинктивный опыт. Что касается упражнений в риторике, когда мы поочередно были Ксерксом и Фемистоклом, Октавианом или Марком Антонием, — они опьяняли меня; я чувствовал себя Протеем. Они научили меня проникать в мысли каждого человека, понимать, что каждый выбирает свой путь, живет и умирает по своим собственным законам. Чтение поэтов произвело на меня еще более сильное впечатление; я не уверен, что открытие любви таит в себе больше очарования, чем открытие поэзии. Меня оно преобразило: приобщение к таинству смерти не погрузит меня в мир иной глубже, чем закат у Вергилия. Позже я предпочитал тяжелую суровость Энния, столь близкую священным истокам римского племени, мудрую горечь Лукреция, предпочитал щедрой непринужденности Гомера смиренную скупость Гесиода. Больше всего ценил я поэтов наиболее сложных и наиболее темных, заставляющих мою мысль заниматься наиболее труднейшей гимнастикой, ценил поэтов самых недавних или самых древних, тех, что прокладывают для меня совершенно новые пути или помогают вновь обрести затерявшиеся в чаще тропинки. Но в эту пору я особенно любил в стихотворном искусстве все то, что непосредственно воздействует на наши чувства, любил сверкающий металл Горация, любил Овидия с его плотской изнеженностью. Скавр приводил меня в отчаяние, утверждая, что я всегда буду лишь самым посредственным из поэтов, ибо мне не хватает таланта и прилежания. Я долго считал, что он ошибался: у меня до сих пор лежат под замком два-три томика моих любовных стихов — главным образом, подражания Катутллу. Но теперь мне почти безразлично, плохи или хороши мои собственные творения.

До конца моих дней я буду признателен Скавру за то, что он засадил меня смолodu за изучение греческого языка. Я был еще ребенком, когда в первый раз попробовал начертать буквы незнакомого алфавита; это

было началом моего великого переселения на чужбину, и всех моих дальних странствий, и ощущения выбора — выбора такого же смелого и непроизвольного, как и любовь. Я полюбил этот язык за гибкость его крепкого тела, за его лексическое богатство, где каждое слово непосредственно и многообразно соприкасается с предметами реального мира, а также и потому, что почти все лучшее, сказанное людьми, было сказано по-гречески. Есть, я знаю, и другие языки; одни уже окаменели, другим еще предстоит родиться. Египетские жрецы показывали мне свои старинные символы; это были скорее знаки, нежели слова, древнейшая попытка классификации мира и вещей, посмертная речь исчезнувшего народа. Во время иудейской войны раввин Иешуа сделал для меня буквальный перевод нескольких текстов с языка своих соплеменников, сектантов, одержимых идеей бога и не устаивающих вниманием человека. В армии я познакомился с наречием кельтских солдат; особенно запомнились мне их песни... Но варварские языки могут служить лишь резервом человеческой речи, подготовительным материалом для всех тех понятий, которые ей в будущем предстоит освоить. У греческого языка все сокровища опыта, житейского и государственного, напротив, уже позади. Все, что каждый из нас пытается совершить во вред или на пользу своим ближним, было уже давно совершено кем-то из греков, от ионийских тиранов до демагогов Афин; все, все уже было — от суровой простоты какого-нибудь Агезиласа до непомерных излишеств Диониса или Деметрия, от предательства Демарата до преданности Филопомена. То же можно сказать и о личном выборе поведения; от цинизма до идеализма, от скептицизма Пиррона до священных грез Пифагора — все наши возмущения устройством вселенной и все примирения с ним уже имели место в истории; все наши пороки и добродетели строятся по греческому образцу. Ничто не может сравниться своей красотой с латинской надписью, памятной или надгробной; эти несколько слов, высеченных на камне, с отрешенным величием сообщают миру все, что ему надлежит о нас знать. Посредством латыни управлял я империей, на латыни будет начертана эпитафия, что украсит стены моего мавзолея на берегу Тибра. Но я жил и мыслил по-гречески.

Мне было шестнадцать лет, я возвращался домой после службы в Седьмом легионе, стоявшем тогда в глубине Пиренеев, в глухой области Ближней Испании, которая так непохожа на южную часть полуострова, где прошло мое детство. Ацилий Аттиан, мой опекун, счел полезным Уравновесить учением эти несколько месяцев суровой жизни и неистовых охотничьих вылазок. Он благоразумно внял совету Скавра отправить меня в Афины к софисту Исею, блестящему человеку, наделенному редким талантом импровизатора. Афины сразу покорили меня; неуклюжий школьник, недоверчивый подросток впервые отведал этой живой атмосферы, этих стремительных бесед, этих неспешных прогулок Долгими розовыми вечерами, этой бесподобной непринужденности в споре и в неге. Математика и искусство увлекли меня в равной мере, я занимался ими поочередно; в Афинах мне представилась также возможность пройти курс медицины у Леотихида. Ремесло врача мне бы, наверно, понравилось; по своему характеру оно мало чем отличается от того, что

потом меня привлекало в деятельности императора. Я живо заинтересовался этой наукой, слишком к нам близкой, чтобы быть точной, слишком склонной к заблуждениям и пристрастиям, но неизменно корректируемой благодаря постоянному контакту с природой в ее живой наготе. Леотихид был человеком решительных и конкретных действий; он разработал замечательную систему лечения переломов. Мы гуляли с ним вечерами по берегу моря: он интересовался строением раковин и составом морского ила. Заниматься экспериментами у него не хватало средств; он с сожалением вспоминал о лабораториях и анатомических залах александрийского Музея, которые посещал в молодости, о борьбе мнений, об изощренном соперничестве коллег. Леотихид, с его сухим и четким умом, учил меня предпочитать реальные явления словам, относиться с недоверием к формулам, больше наблюдать, чем судить. Этот желчный грек научил меня методичности.

Вопреки легендам, которые меня окружают, я никогда не любил молодость, и меньше всего — свою собственную. Если взглянуть на нее непредвзято, эта хваленая молодость чаще всего представляется мне плохо обработанным участком человеческой жизни, периодом смутным и бесформенным, зыбким и хрупким. Разумеется, можно привести немало приятных исключений из этого правила, и ты, Марк, лучший тому пример. Что до меня, в двадцать лет я был почти таким же, как сейчас, но только слабее духом. Не то чтобы все было во мне плохим, но все могло таким стать: хорошее и лучшее в те годы еще помогли худшему. Не могу без стыда вспоминать о своем полном незнании мира, при том, что я был твердо уверен, будто прекрасно знаю его; не могу без стыда вспоминать о своей нетерпеливости, суетном честолюбии и грубой жадности. Признаться тебе? Живя в Афинах яркой, насыщенной, интересной жизнью, в которой находилось также место и удовольствиям, я тосковал по Риму, и даже не столько по нему самому, сколько по его атмосфере, в которой непрерывно куются дела всего мира, тосковал по шуму колес и приводных ремней машины власти. Царствование Домициана подходило к концу; мой родич Траян, который покрыл себя славой на рейнских границах, становился популярным государственным деятелем; испанский клан укоренялся в Риме. По сравнению с этим миром решительных действий милая моему сердцу греческая провинция, казалось, дремала в пыли отживших идей; политическая пассивность эллинов представлялась мне малопочтенной формой протеста. Моя жажда власти, денег, в которых у нас зачастую выражается власть, и славы, если называть этим высоким именем наше неодолимое желание слышать, как о нас говорят, была неоспоримой реальностью. К ней примешивалось смутное ощущение, что Рим, во многих отношениях стоящий ниже Афин, берет реванш в другом, требуя от своих граждан, во всяком случае от тех из них, кто принадлежит к сословиям сенаторов или всадников, готовности к великим свершениям. Я дошел до того, что какой-нибудь заурядный разговор на тему о ввозе египетского зерна казался мне более поучительным для уяснения сущности государственного устройства, чем "Государство" Платона. Уже несколькими годами раньше я, юный римлянин, вкусивший военной дисциплины, самонадеянно считал, что лучше, чем мои

учителя, понимаю солдат Леонида и атлетов Пиндара. Я покидал залитые ласковым солнцем Афины ради города, где люди, с головой укутавшись в тяжелые тоги, борются с порывами февральского ветра, где роскошь и расточительство лишены своей прелести, но где даже самое ничтожное из принятых решений влияет на судьбы целой части света и где юный провинциал, алчный, но при этом не слишком тупой, поначалу считая, что он повинется лишь своим примитивным честолюбивым устремлениям, мало-помалу, по мере того, как они претворяются в жизнь, начинает их утрачивать, приобретает умение мериться силами с обстоятельствами и людьми, командовать и, что в конечном счете, быть может, чуть-чуть менее зыбко, чем все остальное, приносить пользу.

Отнюдь не все было так уж прекрасно в этом приходе добродетельного среднего класса, который выдвигался на первый план в предвидении грядущей перемены режима: политическая честность завоевывала позиции с помощью довольно сомнительных методов. Сенат, постепенно передавая все рычаги управления в руки своих ставленников, все больше сжимал Домициана в кольцо; новые люди, с которыми я был связан тесными семейными узами, быть может, немногим отличались от тех, кому они шли на смену; но они не были запачканы властью. Родня из провинции готова была занять любую, пусть самую низшую должность, но от нее требовали честной службы. Мне тоже досталось место: я был назначен судьей в трибунал по делам о наследствах. В этой скромной должности я и присутствовал при последних ударах смертельного поединка между Домицианом и Римом. Император утратил в Городе все позиции, он держался лишь с помощью казней, которые только ускоряли его конец; в армии, которая жаждала его смерти, готовился заговор. Я мало что понимал в этом поединке, более роковым, чем сражение гладиаторов; прилежный ученик философов, я испытывал к затравленному императору высокомерное презрение. Следуя благим советам Аттиана, я выполнял свои служебные обязанности, не слишком обременяя себя мыслями о политике.

Этот год работы мало отличался от лет ученья; основ права я не знал; но мне выпала удача: моим коллегой по трибуналу оказался Нератий Приск, который согласился меня просвещать и который до последнего своего часа оставался моим советчиком и другом. Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые, в совершенстве владея какой-то специальностью, зная ее, так сказать, изнутри (что остается недоступным для непосвященных), сохраняют при этом понимание ее относительной ценности на фоне всего остального и говорят о ней человеческими словами. Окунувшись, как никто из его современников, в законодательную рутину, он не колеблясь принимал каждое полезное новшество. Именно благодаря ему мне удалось впоследствии провести некоторые реформы. Должность требовала от меня и других забот. У меня сохранился провинциальный акцент, и моя первая речь в трибунале была встречена громким смехом. Я решил использовать свои знакомства с актерами, что привело в негодование мою семью; уроки ораторского искусства были на протяжении долгих месяцев самыми трудными, но в то же время и самыми радостными из всех моих занятий, это была также и наиболее тщательно

хранимая тайна моей жизни. Даже кутежи приобретали для меня в эти нелегкие годы характер уроков: я старался приспособиться к стилю римской золотой молодежи; однако в этом мне так и не удалось достаточно преуспеть. Из малодушия, свойственного этому возрасту, когда отвага растрачивается в других сферах, я и самому-то себе решался доверять лишь наполовину; в надежде походить на других я в чем-то притуплял, а в чем-то оттачивал свой характер.

Меня мало любили. Впрочем, любить меня было не за что. Некоторые мои черты — такие, например, как тяга к искусству, — которые могли пройти незамеченными у афинского школяра и которые впоследствии, когда я стал императором, были приняты всеми как должное, — смущали людей, когда проявлялись у командира или у судебного чиновника, стоящего на низшей ступени иерархической лестницы. Мое пристрастие к Греции вызывало улыбки, тем более что я то щеголял им, то неуклюже пытался его скрыть. В Сенате меня прозвали греческим студентом. Вокруг меня начала создаваться легенда — зыбкое и странное отражение, сотканное наполовину из наших поступков, наполовину из того, что думает о них толпа. Наглые сутяги подсылали ко мне своих жен, прослышав о моей интрижке с супругой какого-нибудь сенатора, или своих сыновей, когда я безрассудно объявлял о своем восхищении искусством юного мима. Я получал удовольствие, глядя, как смущает этих людей мое равнодушие. Еще более жалко выглядели те, кто, желая понравиться, заводили со мной беседы о литературе. Манера поведения, которая выработалась у меня за время службы на этих незначительных должностях, пригодилась мне потом для императорских аудиенций: на короткое время, пока длится аудиенция, целиком отдавать себя в распоряжение просителя, словно во всем мире никого больше не осталось, кроме этого банкира, этого ветерана, этой вдовы; выказывать каждому из этих лиц, хотя и принадлежащих к вполне определенной породе, но достаточно разных, то вежливое внимание, с каким в лучшие мгновения жизни ты относишься к самому себе, и почти всегда убеждаться при этом, что люди раздуваются от твоей обходительности, как лягушка из басни; и, наконец, несколько минут посвятить тому, чтобы всерьез вникнуть в их просьбу и в их дело. Это было похоже на кабинет врача. Передо мной обнажалась застарелая лютая злоба, открывалась проказа обмана и лжи. Мужья против жен, отцы против детей, дальние родственники против всех остальных. Малая толика уважения, которое питал я к институту семьи, рушилась перед этой картиной.

Я не презираю людей. Если бы я их презирал, у меня не было бы ни права, ни желания пытаться ими управлять. Я знаю, что они суетны, невежественны, жадны, беспокойны, способны на все, чтобы добиться успеха, чтобы выставить себя в выгодном свете, даже в своих собственных глазах, или просто ради того, чтобы избежать страдания. Я все это знаю: и я такой же, во всяком случае временами, или мог бы быть таким, как они. Различия между мною и окружающими слишком малы, чтобы брать их в расчет при подведении итогов. Поэтому я стараюсь не допускать в своем отношении к людям ни холодного превосходства философа, ни презрительного высокомерия Цезаря. Даже в самых мрачных натурах можно обнаружить светлые проблески: этот убийца прилично играет на флейте; этот над-

смотрщик, ударами бича полосующий спины рабов, может оказаться примернейшим сыном; этот жалкий недоумок разделит со мною последний кусок хлеба. И почти всегда каждого можно вполне сносно чему-нибудь научить. Наша большая ошибка состоит в том, что мы пытаемся непременно добиться от человека таких качеств, которых у него нет, и не развиваем в нем того, чем он обладает. К моему стремлению отыскивать достоинства в людях применимо все то, что я с такой страстностью высказывал выше относительно поисков красоты. Мне в жизни встречались существа неизмеримо более благородные и более совершенные, чем я, такие, как твой отец Антонин; я был знаком со многими героями и даже с несколькими мудрецами. Я мало видел постоянства в людях, когда они делали добро, но не с большим постоянством творили они зло; их недоверчивость, их в той или иной мере враждебное безразличие быстро, порой даже до неприличия быстро уступали место — и на столь же недолгий срок — благодарности и уважению; даже их эгоизм можно было направить на благие цели. Я всегда удивляюсь тому, как мало меня ненавидели; у меня было всего двое или трое заклятых врагов, и, как всегда, в этой вражде виноват был отчасти я сам. Несколько человек любили меня; они отдали мне гораздо больше, чем я был вправе требовать или ожидать от них, — свою смерть, а иные даже и жизнь. И божество, которое они в себе несут, зачастую обнаруживает себя, когда они умирают.

Лишь в одном-единственном отношении я ощущаю себя выше большинства людей: я более свободен и более закрепощен, чем могут себе позволить они. При этом почти все они понятия не имеют о подлинном уровне своей свободы и своей порабощенности. Они проклинают свои оковы, а порой словно бы и хвастаются ими. С другой стороны, они растрачивают свое время на пустые развлечения и не в состоянии сами создать для себя ярмо полегче. Я всегда искал скорее свободы, нежели власти, и власть привлекала меня только лишь потому, что она в какой-то мере способствует свободе. При этом меня больше всего интересовала не философия человеческой свободы (все, кто занимался ею, нагоняли на меня тоску), а способ ее достижения: я хотел найти механизм, с помощью которого наша воля воздействует на судьбу, с помощью которого дисциплина вместо того, чтобы мешать нашей природе, помогает ей. Пойми, я говорю сейчас не о суровой воле стойка, возможности которой ты преувеличиваешь, и не о выборе, не о каком-то абстрактном отказе от земных благ, который оскорбителен для самих основ нашего мира, земного, цельного, состоящего из реальных предметов и тел. Я мечтал о некоем, более сокровенном приятии, о более гибкой и доброй воле. Жизнь была для меня конем, с чьими движениями ты сливаешься воедино, но лишь после того, как хорошенько его объездишь. Словом, собрав всю свою решимость, действуя медленно и незаметно и приучая собственное тело жить в согласии с духом, я заставлял себя ступень за ступенью продвигаться к этой вершине свободы — или подчинения — в их почти чистом виде. Гимнастика помогала мне в этом; диалектика тоже не вредила. Я поначалу искал простой свободы передышек, свободных мгновений. В каждой четко организованной жизни существуют такие мгновения, и тот, кто не умеет их создавать, тот не умеет жить. Я пошел еще дальше:

я придумал для себя свободу одновременностей, когда два действия, два состояния становятся возможными в одно и то же время; например, я научился, подобно Цезарю, диктовать сразу несколько текстов, научился говорить, продолжая читать. Я нашел способ жизни, при котором самая тяжелая задача прекрасно решалась, хотя я не отдавался ей целиком; я доходил до того, что временами даже подумывал, не отменить ли вообще само понятие усталости. Иногда я упражнялся в другом виде свободы — в свободе чередования занятий: чувства, мысли, дела должны были быть готовы к тому, что их в любую минуту могут прервать, а потом вернуться к ним снова, и моя уверенность во власти над ними, в том, что я волен удалить их прочь или вновь призвать, как рабов, лишала их возможности меня тиранить, меня же избавляла от ощущения кабалы. Дальше больше: я выстраивал весь свой день вокруг какой-то одной полубившейся мне идеи и уже никуда от нее не уходил; все, что могло меня от нее отвлечь, проекты и труды любого другого рода, и не имевшие значения разговоры, и бесчисленное множество будничных мелочей — все лепилось к ней, как лепятся виноградные ветви к колонне, служащей им опорой. В иные же дни я, напротив, до бесконечности все дробил: каждая мысль, каждый факт оказывались у меня расчлененными на бесчисленное множество мыслей и фактов более мелких, более удобных для того, чтобы их удержать. Решения, которые трудно было принять, представляли передо мной целой россыпью крохотных решений; я занимался ими по одному, каждое из них приводило меня к последующему, и все становилось легко разрешимым.

Но с наибольшим упорством стремился я достичь свободы добровольного притягивания — самой трудной из всех свобод. Я с охотой принимал на себя ту роль, которая отводилась мне в обществе; в годы подчиненного положения моя зависимость переставала быть для меня горькой и ненавистной, если я рассматривал ее как полезную тренировку. Я сам выбирал то, чем обладал, но зато заставлял себя обладать этим полностью и получать максимум удовольствия. Самая нудная работа шла легко и спорно, стоило мне внушить себе, что она мне приятна. Как только какая-то работа начинала меня раздражать, она становилась предметом моего изучения, и я делал все, чтобы занятие это было мне в радость. Сталкиваясь с непредвиденными, порой безнадежными обстоятельствами, попав, например, в засаду или застигнутый врасплох бурей в открытом море, я, приняв все меры для спасения других, старался встретить превратности судьбы весело и открыто, радуясь тому новому, что они мне несли, и тогда эти неприятные обстоятельства легко вписывались в мои планы, в мои мечты. Даже когда я терпел страшный крах, я умел уловить мгновение, когда ярость враждебных сил уже выдыхалась, и катастрофа переставала казаться мне столь ужасной — я словно приручал ее, потому что соглашался ее принять. Если мне суждено когда-нибудь перенести пытку, а мой недуг, без сомнения, позаботится об этом, я не уверен, что мне надолго хватит невозмутимости какого-нибудь Тразеи, но я, во всяком случае, найду в себе силы не терзаться от собственных криков. Так, сочетая осторожность и дерзость, смирение и бунтарство, крайнюю требовательность и благоразумную уступчивость, я в конечном счете нашел путь примирения с самим собой.

Если бы эта жизнь в Риме продолжалась еще какое-то время, она наверняка озлобила бы и развратила меня или подорвала бы мое здоровье. Меня спасло возвращение в армию. Здесь тоже существуют свои соблазны, но они проще. Отъезд в армию означал дальнюю дорогу; я уезжал с восторгом. Меня назначили трибуном во Второй легион; я провел в верховьях Дуная несколько месяцев; стояла дождливая осень, и единственным моим товарищем был незадолго до того вышедший том Плутарха. В ноябре я был переведен в Пятый Македонский легион, расквартированный тогда (как, впрочем, и сейчас) в устье той же реки, у границ Нижней Мёзии. Снег, заваливший дороги, не позволил мне добираться по суше. Я сел на корабль в Пуле и едва успел побывать по дороге в Афинах, где мне предстояло впоследствии прожить долгое время. Известие об убийстве Домициана, дошедшее до нас через несколько дней после моего прибытия в лагерь, никого не удивило и даже обрадовало всех. Траян был вскоре усыновлен Нервой; ввиду преклонного возраста нового государя переход власти к его преемнику был вопросом каких-нибудь месяцев; политика завоеваний, к которой мой родственник, как всем было известно, поставил себе целью склонить Рим, начавшаяся перегруппировка войск, усилившееся ужесточение дисциплины — все это держало армию в состоянии напряженного ожидания. Дунайские легионы действовали с точностью хорошо смазанного механизма; они совершенно не походили на те сонные гарнизоны, которые я видел в Испании; но, что самое важное, внимание армии, прикованное до этого к дворцовым распрям, сосредоточивалось теперь на внешних делах империи; наши войска уже не похожи были на банду ликторов, готовых сегодня провозгласить императором первого встречного, а завтра перерезать ему горло. Наиболее толковые командиры пытались уловить некий генеральный план в той реорганизации, в которой они принимали участие; их заботило общее развитие событий, а не только собственная судьба. Впрочем, этот первый этап перемен сопровождался множеством нелепых толков, и десятки стратегических планов, нереальных и смехотворных, испещряли по вечерам поверхность столов. Римский патриотизм, непоколебимая вера в благотворность нашей власти и в истинное предназначение Рима управлять всеми народами принимали у этих профессионалов войны самые грубые формы, которые были мне тогда еще внове. В пограничных районах, где требовалась ловкость для привлечения на нашу сторону вождей кочевых племен, центральной фигурой был не государственный деятель, а солдат; бесчисленные трудовые повинности и реквизиции создавали почву для злоупотреблений, которые никого не удивляли. Из-за постоянных распрей, происходивших между варварами, положение на северо-востоке было для нас благоприятным, как никогда; я даже сомневаюсь, что последовавшие затем войны хоть сколько-нибудь его улучшили. Наши потери в пограничных инцидентах были невелики и тревожили нас лишь потому, что им не видно было конца; однако следует признать, что необходимость постоянно держаться настороже способствовала укреплению боевого духа. Во всяком случае, я был уверен, что самых минимальных затрат в сочетании с более умной политикой окажется достаточно, чтобы одних вождей подчинить, а других сделать нашими союзниками, и я решил направить все свои силы на решение этой послед-

ней задачи, которой все почему-то пренебрегали.

Меня побуждала к этому и моя склонность к перемене мест: мне нравились земли варваров. Этот край, лежащий между устьями Дуная и Борисфена огромным треугольником, две стороны которого я объехал, — одна из самых поразительных областей мира, во всяком случае, для нас, рожденных на берегах Внутреннего Моря и привыкших к сухим и ясным пейзажам юга, к холмам и полуостровам. Мне довелось поклоняться богине земли, как мы поклоняемся у себя богине Рима; я говорю сейчас не столько о Церере, сколько о божестве более древнем, существовавшем еще до того, как люди научились выращивать хлеб. В нашей греческой или латинской земле, поддерживаемой костяком скал, есть четкое изящество мужского тела; скифская же земля своим несколько тяжеловатым избытком напоминала тело лежащей женщины. Бескрайняя равнина сливалась с небом. Мое восхищение достигало предела, когда мне открывалось чудо тамошних рек: эта огромная пустынная земля была для них всего только скатом, всего только ложем. Наши реки коротки; тут никогда не чувствуешь себя далеко от истоков. А там громадный поток, завершавшийся широким лиманом, нес осадки и тину неведомого континента, льды далеких необитаемых просторов. Холода, сковавшие какое-нибудь испанское плоскогорье, никогда не уступают его вторжению чужих холодов; здесь же я впервые повстречался с настоящей зимой, которая в нашу страну заглядывает лишь мимоходом и царит долгие месяцы, и ты ощущаешь, что дальше, на севере, она незыблема и неподвижна и нет ей ни конца, ни начала. Вечером моего прибытия в лагерь Дунай казался огромной красной, а потом синей ледяной дорогой, которую скрытая подо льдом работа воды избородила колеями глубокими, точно следы колесниц. От холода мы защищались мехами. Присутствие этого безликого, почти абстрактного врага производило удивительно бодрящее действие, давало ощущение прилива сил. Люди боролись за сохранение тепла — так же как в других случаях борешься за то, чтобы сохранить мужество. В иные дни снег сглаживал в степи все неровности, и без того почти неразличимые; мы скакали в мире чистого пространства и чистых атомов. Самым обычным, самым мягким предметам мороз придавал прозрачность и в то же время удивительную твердость. Каждая сломанная тростинка становилась хрустальной флейтой. Ассар, мой проводник-кавказец, колот в сумерках лед, чтобы напоить наших коней. Благодаря этим животным мы установили добрые отношения с варварами: во время торгов и бесконечных обсуждений завязывалась своеобразная дружба, и смелость, проявленная наездниками, порождала взаимное уважение друг к другу. По вечерам свет лагерных костров озарял невероятные прыжки стройных танцоров и их удивительные золотые браслеты.

Весной, когда снега таяли и я отваживался заглянуть чуть подальше во внутренние области страны, мне не раз доводилось, повернувшись спиной к южному горизонту, замыкавшему знакомые моря и острова, и к горизонту западному, за которым садилось солнце над Римом, преодолеть в мечтах эти бескрайние степи, стремиться через отроги Кавказа на север или двигаться к самым дальним пределам Азии. Какие пейзажи, каких птиц и зверей, какие племена и народы открыл бы я там, какие

увидел бы царства, никогда не слышавшие о нас — так же как мы ничего не слышали о них — или узнавшие о нас по случайным товарам, которые добирались до них долгим путем, переходя из рук в руки, от одного купца к другому, и эти товары были для них такой же диковиной, как для нас перец из Индии или кусок янтаря с балтийских берегов! В Одессе возвратившийся из долголетних странствий negociант подарил мне полупрозрачный зеленый камень — вещество, как говорят, священное в некой огромной империи, ни богов, ни нравов которой этот человек, озабоченный одной только денежной выгодой, попросту не заметил. Эта странная гемма была для меня точно камень, упавший с небес, точно посланец из далеких миров. Мы еще плохо знаем истинную форму Земли, и мне непонятно, как можно с этим мириться. Я завидую тому, кому посчастливится совершить кругосветное путешествие в двести пятьдесят тысяч греческих стадиев, которое так хорошо рассчитал Эратосфен и которое привело бы путешественника в ту же точку, откуда он начал свой путь. Мне представлялось, что я принимаю решение — идти все вперед и вперед по неизведанным тропам, где кончатся наши дороги. Я тешился этой идеей... Идти совсем одному, ничем не владея, ничего не имея — ни имущества, ни власти, ни каких бы то ни было благ цивилизации, — окунуться в гущу новых людей и неведомых обстоятельств... Само собой разумеется, это было только мечтой, самой мимолетной из всех, что посещали меня. Свобода, которую я измыслил, могла существовать для меня лишь на расстоянии; на самом же деле я незамедлительно создал бы снова все то, от чего так бездумно отказался. Более того, я всюду оставался бы римлянином на вакациях. Некое подобие пуповины привязывало меня к Городу. Быть может, в ту пору, когда я был трибуном, я чувствовал себя более тесно связанным с империей, нежели теперь, когда я стал императором, — по той же причине, по которой запястье обладает меньшей свободой, чем мозг. И однако я все же позволил себе эту чудовищную мечту, от которой содрогнулись бы наши кроткие предки, заточившие себя в родном Лациуме, и уже самый факт, что я хоть одно мгновение лелеял эту мечту, делает меня навсегда непохожим на них.

Траян находился во главе войск в Нижней Германии; Дунайская армия послала меня туда с поздравлениями новому наследнику высшей власти. Я был в трех днях пути от Кельна, посреди Галлии, когда на вечернем привале узнал о смерти Нервы. Мне захотелось опередить императорских гонцов и самому принести своему родичу весть о его вступлении в управление государством. Я пустил коней галопом и проделал весь путь, нигде не останавливаясь, пока не достиг Трира, где мой зять Сервиан был комендантом. Мы вместе поужинали. Слабую голову Сервиана вскружили честолюбивые мечты. Этот коварный человек, всячески старавшийся причинить мне вред или хотя бы помешать моему успеху, вздумал меня опередить и послать к Траяну собственного гонца. Два часа спустя на меня было совершено нападение, когда мы переходили вброд какую-то речку; нападавшие ранили моего помощника и убили наших лошадей. Однако нам удалось схватить одного из обидчиков, который оказался бывшим

рабом моего зятя и во всем признался. Сервиану следовало бы понимать, что не так-то просто задержать человека, исполненного решимости продолжать путь, и что только смерть могла бы остановить меня, но пойти на убийство этот трус не рискнул. Мне пришлось прошагать с десятью миль пешком, пока я не встретил крестьянина, который продал мне свою лошадь. В тот же вечер я прибыл в Кёльн, опередив на два-три корпуса гонца моего зятя. История эта принесла мне популярность. Особенно хорошо приняла меня армия. Император оставил меня при себе в качестве трибуна Второго Верного легиона.

Он воспринял весть о своем императорстве с замечательной неприужденностью. Он давно этого ожидал, и его жизнь ни в малой степени не переменялась. Он остался тем, кем был всегда и кем ему суждено было оставаться до конца своих дней, — то есть полководцем; но основная его заслуга была в том, что благодаря своему сугубо военному пониманию дисциплины он поставил во главу угла идею порядка в государстве. Вокруг этой идеи строилось все, по крайней мере вначале; ей были подчинены даже его военные замыслы и планы. Император-солдат, но отнюдь не солдат-император, он ничего не изменил в своем жизненном укладе; его скромной натуре были чужды притворство и спесь. Армия ликовала, он же принял на себя новые обязанности как часть повседневной работы и в своем простодушии не скрывал от близких, как он этим доволен.

Мне он не очень доверял. Он приходился мне двоюродным братом, был на двадцать четыре года старше меня и после смерти моего отца стал моим опекуном. Свои опекунские обязанности он выполнял с провинциальной серьезностью; он был готов совершить невозможное ради того, чтобы выдвинуть меня на высокую должность, если я окажусь этого достоин, но, прояви я малейшую нерадивость, он обошелся бы со мной гораздо суровее, чем с любым другим подчиненным. Мои юношеские выходки он воспринимал с негодованием, для которого я, конечно, давал достаточно поводов и которое допускали только наши родственные отношения; впрочем, мои долги бесили его больше, чем мое беспутство. По-настоящему его беспокоило во мне не это; человек малообразованный, он относился к философам и эрудитам с трогательным почтением, но одно дело издали восхищаться великими философами, а другое — иметь у себя под боком молодого помощника, чересчур увлекающегося литературой. Не зная ни каковы мои нравственные устои, ни каковы в точности те запреты, которые я себе положил, он думал, что для меня не существует вообще никаких ограничений и я не в состоянии сам себя обуздать. Однако я никогда не пренебрегал своими служебными обязанностями. Моя репутация образцового командира несколько успокаивала Траяна, и все же я был для него лишь подающим надежды молодым трибуном, за которым нужен глаз да глаз.

Вскоре случай, произошедший в моей личной жизни, едва меня не погубил. Меня пленили черты прекрасного лица. Я страстно привязался к очаровательному существу, отмеченному и вниманием императора. Приключение было опасным, что мне и нравилось в нем больше всего. Некто по имени Галл, секретарь Траяна, который уже давно считал своей обязанностью подробнейшим образом докладывать патрону о моих долгах,

донес на нас императору. Тот пришел в крайнее раздражение; я пережил тяжелые минуты. Друзья, в числе которых был и Ацилий Аттиан, сделали все, что было в их силах, дабы уговорить Траяна смирить свой гнев, который был просто смешон. В конце концов он уступил их настояниям, и наше примирение, поначалу не очень искреннее с обеих сторон, было для меня еще унижительней, чем вспышки его ярости. Должен признаться, что я сохранил к этому Галлу ни с чем не сравнимую ненависть. Много лет спустя он был уличен в подделке государственных документов, и я с наслаждением почувствовал себя отомщенным.

Первый поход против даков начался в следующем году. По характеру своему, а также из политических соображений я всегда был противником партии войны, но я бы не был мужчиной, если бы великие начинания Траяна меня не заворожили. Когда я смотрю теперь издали на эти годы, они представляются мне одними из самых счастливых в моей жизни. Их начало было тяжелым — или казалось мне тогда тяжелым. Я занимал сперва лишь второстепенные должности, благосклонность ко мне Траяна еще не проявлялась в полной мере. Но я знал страну, я понимал, что могу принести пользу. Зима следовала за зимой, лагерь за лагерем, сражение за сражением, и я все больше ощущал, как почти помимо моей воли во мне нарастают возражения против политики императора; в то время у меня еще не было ни права, ни повода высказывать эти возражения вслух; впрочем, никто и не стал бы меня слушать. Отодвинутый в пятый, а то и в десятый ряд, я хорошо знал свои войска; я жил той же жизнью, что и мои солдаты. Я еще обладал тогда некоторой свободой действий, или, лучше сказать, некоторой возможностью оставаться в стороне от самого действия, что трудно себе позволить, когда ты пришел к власти и перешагнул за порог тридцатилетия. Были у меня и определенные преимущества: мне помогало мое пристрастие к этой суровой стране и любовь к добровольному и недолговременному аскетизму во всех его проявлениях. Я был, пожалуй, единственным из молодых командиров, кто не сожалел о Риме. Чем дальше простирались по грязи и снегу мои военные походы, тем отчетливее проявлялась присущая мне стойкость.

Я пережил тогда полосу необычайного душевного подъема, чем я отчасти обязан влиянию небольшой группы окружавших меня командиров, которые привезли с собой из далеких азиатских гарнизонов странных богов. Культ Митры, распространенный в то время еще не так широко, как теперь, после наших походов в Парфянское царство, на какое-то время пленил меня своим ревностным аскетизмом, и всякий раз этот аскетизм — благодаря присущему ему культу смерти, железа и крови — вновь и вновь натягивал тугую тетиву моей воли, что возвышало каждодневные тяготы солдатского бытия до уровня постижения мира. Ничто не могло быть более противно взглядам на войну, которые мало-помалу уже начинали складываться у меня, но эти варварские обряды, на всю жизнь скреплявшие посвященных теснейшими узами, находили сочувственный отклик в сокровенных мечтаниях молодого человека, нетерпеливо подготавливающего настоящее, не слишком уверенного в грядущем и именно поэтому открытого всем богам. Я принял посвящение в башне, сооруженной на берегу Дуная из дерева и тростника; поручителем был Марций Турбон,

мой товарищ по оружию. Помню, как под тяжестью бившегося в агонии быка чуть не рухнул щелястый дощатый настил, под который меня поместили, чтобы окропить свежей кровью. Я немало размышлял потом об опасностях, которыми подобные тайные общества могут грозить государству, управляемому слабым монархом, и в конце концов сам стал жестоко преследовать их; но должен признать, что перед лицом врага они придают своим adeptам едва ли не божественную силу. Каждый из нас верил, что он вырвался из узких рамок человеческого удела, ощущал себя одновременно самим собой и своим противником, видел себя приравненным к богу, о котором было уже трудно сказать, сам ли он умирает в зверином облике или убивает в образе человека. Эти странные мечты, которые ныне ужасают меня, не так уж сильно отличались от теории Гераклита относительно тождества стрелы и мишени. В ту пору они помогали мне переносить тяготы жизни. Победа и поражение перемешивались и сливались друг с другом, как разные лучи одного и того же солнечного дня. И когда я копытами своего коня давил пеших воинов-даков, когда сшибался врукопашную с сарматскими всадниками и наши кони, встав на дыбы, кусали друг друга, я убивал с тем большей легкостью, что ожествлял себя с ними. Мое нагое тело, оставленное на поле боя, мало чем отличалось бы от их тел. Содрогание от последнего удара мечом было бы одинаковым для меня и для них. Я сейчас признаюсь тебе в мыслях необычных, самых сокровенных в моей жизни, признаюсь в странном опьянении, какого я ни разу больше не испытал.

Некоторые из моих отважных поступков, оставшиеся, возможно, незамеченными, если б их совершил простой солдат, снискали мне известность в Риме и своего рода славу в армии. Впрочем, все эти так называемые подвиги были большею частью никому не нужным лихачеством; наряду со священным восторгом, о котором я тебе только что поведал, я не без стыда обнаруживаю в них сегодня низменное стремление любой ценой понравиться, привлечь внимание к своей персоне. Так, например, однажды осенним днем я верхом на коне, в тяжелом снаряжении батавского воина переплыл вздувшийся от дождей Дунай. Если это и был подвиг, то награды за него заслуживает скорее мой конь, чем я. Но эта пора героических безумств научила меня отличать один от другого разные виды смелости. Смелость, которую мне всегда хотелось обладать, была смелость холодная, невозмутимая, свободная от какого бы то ни было физического возбуждения, смелость бесстрастная, которая сродни безмятежному спокойствию богов. Не стану себе льстить — я ни разу ее не достиг. Подделка, к которой я впоследствии прибежал, была в дурные дни лишь циничной беспечностью по отношению к жизни, а в хорошие — всего только чувством долга, за которое я упорно цеплялся. Но если опасность не исчезала, цинизм и чувство долга очень скоро уступали место безоглядной отваге, странному экстазу слияния человека со своей судьбой. В тогдашнем моем возрасте это состояние хмельной смелости длилось почти непрерывно. Существо, опьяненное жизнью, не помышляет о смерти; смерти для него нет; каждое его движение отрицает ее. А если смерть и настигает его, то человек даже не успевает это осознать; смерть для него — только удар, только судорога. С горькой улыбкой я отмечаю, что

сегодня каждая вторая моя мысль посвящена собственной кончине, как будто существует так уж много способов подтолкнуть мое износившееся тело к пропасти неизбежного. В ту пору все было наоборот, и молодой человек, который действительно многое потерял бы, не проживи он несколько лишних лет, с легким сердцем ежедневно рисковал своим будущим.

Все, о чем я рассказал тебе выше, было бы очень легко подать как историю чересчур начитанного солдата, который хотел бы, чтобы ему простили его упоение литературой. Но все упрощенные схемы ложны. Во мне поочередно поселялись самые разные персонажи, ни один не задерживался надолго, и свергнутый тиран вскоре опять возвращал себе власть. Так, во мне жил и неуклонно выполняющий свои обязанности воин, фанатичный поборник дисциплины, что не мешало ему весело разделять со своими товарищами тяготы войны; и задумчивый философ, размышляющий о богах; и любовник, готовый отдать все на свете за единый миг наслаждения; и молодой высокомерный командир, который уединяется у себя в палатке и при свете лампы штудирует карту, не скрывая от друзей своего презрения к тому, как устроен этот мир; и будущий государственный деятель. Однако не следует забывать также и подлого угодника и льстеца, который, из опасения вызвать чье-либо неудовольствие, напивается за императорским столом; и жалкого молокососа, который с комической самоуверенностью решает сплеча все мировые проблемы; и пустого говоруна, ради красного словца предающего лучшего друга; и воина, с бесстрастностью машины выполняющего низкий труд гладиатора. Упомянем также еще один персонаж, не имеющий в этой истории ни места, ни имени, ни роли, но тоже являющийся частью меня, как и все прочие: этот персонаж — такая же пассивная игрушка обстоятельств, как и лежащее на походной койке тело, которое лениво прислушивается к доносящемуся откуда-то запаху, к чьему-то дыханию, к долетевшему словно из вечности жужжанию пчелы. Но вот появляется и входит в игру новое лицо, вот оно уже руководит труппой, вот оно уже ставит спектакли. Я знал всех своих актеров по именам, я умело подготавливал их выходы на сцену и уходы с нее, я выбрасывал ненужные реплики и все решительнее избегал вульгарных эффектов. Я научился не злоупотреблять монологами. И все эти мои действия формировали меня.

Благодаря своим военным успехам я мог бы завоевать расположение и не столь великого человека, каким был Траян. Но воинская отвага была тем единственным языком, который он понимал мгновенно и слова которого доходили до его сердца. В конце концов он стал видеть во мне помощника, почти сына, и ничто из того, что произошло позже, не смогло нас полностью разлучить. Что касается меня, то некоторые возражения, Уже возникавшие у меня по поводу его политики, были мною на какое-то время отброшены; я о них забывал, видя, как он поистине гениально руководит войсками. Я всегда любил смотреть, как работают настоящие мастера. Император обладал твердой рукой и великолепной сноровкой в своем деле. Он поставил меня во главе легиона Минервы, самого доблестного из всех легионов, и доверил уничтожить последние укрепления врага в районе Железных Ворот. Цитадель Сармизегетуза была окружена, и я

вслед за императором вошел в зал, расположенный в подземелье; приближенные царя Децебала здесь только что приняли яд на своем последнем пиру; император поручил мне поджечь это фантастическое скопище мертвецов. В тот же вечер на валу, что возвышался над полем битвы, он надел мне на палец бриллиантовый перстень, перешедший к нему от Нервы; это был знак того, что я становлюсь преемником власти. В ту ночь я заснул счастливым сном.

Моя возрастающая популярность придала моему второму пребыванию в Риме нечто сходное с той эйфорией, которую я испытал потом — но уже с гораздо большей силой — в годы моего счастья. Траян дал мне два миллиона сестерциев для раздачи народу, сумма, разумеется, недостаточная, но к тому времени я уже сам распоряжался своим состоянием, которое было весьма значительным, и денежные заботы больше не докучали мне. Я почти полностью избавился от своей подлой боязни прийти кому-нибудь не по нраву. Шрам на подбородке стал предлогом обзавестись короткой бородкой на манер греческих философов. В одежде своей я теперь придерживался простоты, сделавшейся еще более заметной в годы, когда я стал императором: время браслетов и благовоний миновало. То, что эта простота еще была тогда показной, не имеет значения. Постепенно я начинал уже привыкать к непритязательности ради нее самой, к тому контрасту между коллекцией драгоценных камней и лишенными украшений руками коллекционера, который так нравился мне впоследствии. Поскольку речь зашла об одежде, вспоминается случай, который произошел со мной в год моего пребывания в должности народного трибуна и был сочтен за предзнаменование. Однажды в ненастную погоду, когда мне предстояло выступить перед народом с речью, я потерял свой плащ плотной галльской шерсти, обычно защищавший меня от дождя. Вынужденный говорить свою речь в одной только тоге, в складках которой дождевая вода собиралась, словно в кровельном желобе, я без конца подносил руку ко лбу, не давая дождю заливать мне глаза. В Риме простуда — привилегия императоров, поскольку в любую погоду им запрещается что бы то ни было надевать поверх тоги; с того дня перекупщица из соседней лавки и торговец арбузами поверили в мою звезду.

Часто говорят о юношеских мечтах и забывают о расчетах и планах. А ведь это тоже мечты, и столь же безумные, как и все другие. Не один я предавался им в эту пору римских празднеств: вся армия бросилась в погоню за почестями. Я довольно непринужденно входил в роль честолюбца, которую мне никогда не удавалось играть долго и с достаточной убедительностью, не прибегая к помощи суфлера. Я согласился отправлять с безукоризненной четкостью скучнейшую должность куратора законодательных актов в Сенате; я любил выполнять любую полезную работу. Лаконичный стиль императора, замечательный в армии, не годился для Рима, жена Траяна, чьи литературные вкусы были сходны с моими, убедила его поручить мне составлять для него речи. Это была первая добрая услуга, оказанная мне Плотиной. Я тем более преуспел в этом деле, что имел уже опыт в услугах подобного рода. В пору моих нелегких первых

шагов я часто писал для сенаторов, не имевших собственных мыслей или не умевших строить грамотно фразы, длинные доклады, при том что они впоследствии благополучно брали на себя авторство. В этой работе для Траяна я находил удовольствие, точно такое, какое доставляли мне в отрочестве упражнения в риторике; оставшись один в своей комнате и отработывая перед зеркалом ораторские приемы, я ощущал себя императором. Я и в самом деле учился им быть; дерзновенные замыслы, на которые я считал себя неспособным, начинали казаться осуществимыми, когда за них отвечал кто-то другой. Простая, но невятно выраженная и оттого неясная мысль императора делалась для меня привычной и близкой; мне было лестно, что я понимаю ее даже лучше, чем он сам. Я любил подражать его военному стилю, слушать, как он произносит в Сенате фразы, которые звучали по-императорски и которые принадлежали мне. Бывали дни, когда Траян оставался дома, поручая мне самому читать его речи, текста которых он даже не знал, и моя манера говорить, ставшая безупречной, делала честь урокам, которые давал мне трагический актер Олимп.

Эти обязанности, почти тайные, приблизили меня к императору, он стал испытывать ко мне даже доверие, хотя прежняя антипатия все же осталась. На короткое время она уступила место удовольствию, испытываемому одряхлевшим монархом, когда он видит, что молодой человек одной с ним крови начинает свой путь, который несколько наивно представляется старику продолжением его собственного пути. Но эта восторженность особенно явно выплеснулась на поле битвы у Сармизегетызы, быть может, именно потому, что она пробилась наружу сквозь плотные слои недоверия. Я думаю также, что здесь было еще что-то, кроме неистребимой враждебности, вызванной с великим трудом улаженными спорами, различием темпераментов или просто закорюченным образом мысли стареющего человека. Император питал инстинктивное отвращение к тем из своих подчиненных, без кого ему трудно было обходиться. Он легче примирился бы со мной, прояви я наряду с усердием хоть малейшее пренебрежение к службе; я казался ему подозрительным, потому что был безупречен. Это стало особенно очевидным, когда Плотина вознамерилась помочь моей карьере, устроив мой брак с внучатой племянницей Траяна. Он решительно воспротивился этому плану, ссылаясь на отсутствие у меня качеств доброго семьянина, на молодость девушки, напомнил даже давние истории с моими долгами. Его супруга стала упорствовать; сам я тоже включился в игру: Сабина тогда была не лишена обаяния. Этот брак, облегчавшийся почти непрерывной разлукой, явился для меня в последующие годы постоянным источником раздражения и тоски; сейчас даже трудно поверить, что когда-то для двадцативосьмилетнего честолюбца он был триумфом.

Больше чем когда бы то ни было я ощущал свою принадлежность к императорской семье; я был вынужден в ней жить. Но все здесь было мне не по душе, кроме прекрасного лица Плотины. За императорским столом обычно собиралось великое множество бессловесных испанских статистов, бедных родственников из провинции — точно таких же, каких встречал я впоследствии на обедах у моей жены во время моих редких приез-

дов в Рим, и я даже не сказал бы, что нашел этих людей постаревшими, ибо они всегда казались мне столетними старцами. От них исходил затхлый дух благоразумия и осторожности. Почти вся жизнь императора прошла в армии; Рим он знал гораздо хуже, чем я. С превеликим усердием старался он окружить себя всем самым лучшим, что мог предложить ему Город или что ему выдавали за самое лучшее. Сенатское окружение императора состояло из людей замечательно благопристойных и почтенных, но их культура была несколько тяжеловата, а вялая их философия была неспособна проникать в глубинную суть вещей. Мне всегда была не по вкусу чопорная приветливость Плиния, а за величавой неповоротливостью Тацита мне виделся замшелый республиканец, чьи взгляды на мир закоснели со времени гибели Цезаря. Окружение же внесенатское было до омерзения тупым и грубым, что помогло мне избежать опасности войти в эту среду. Однако всем этим людям я выказывал отменную вежливость. С одними я был почтителен, с другими уступчив, в случае необходимости я мог позволить себе пошлость, изворотливость или недостаток изворотливости. Непостоянство было мне необходимо; я был многолик из расчета, переменчив ради забавы. Я ходил по канату. Тогда мне очень пришили бы кстати не только уроки актерской игры, но и уроки акробатики.

В ту пору мне ставились в упрек мои адюльтеры с патрицианками. Две или три из этих столь сурово осуждавшихся связей длились вплоть до начала моего принцепата. Рим обычно терпимо относится к распутству, но он всегда был суров в отношении интимной жизни царствующих особ. Марк Антоний или Тит могли бы кое-что об этом рассказать. Мои похождения были скромнее, но, право же, я плохо себе представляю, как при наших нравах человек, у которого придворные дамы вызывали лишь отвращение и которому успел уже надоесть его брак, может какими-то иными способами сблизиться с многоликим племенем женщин. Мои враги во главе с мерзким Сервианом, моим зятем, который был старше меня на тридцать лет, что позволяло ему применять ко мне методы воспитателя и шпиона, утверждали, что честолюбие и любопытство занимали в моих любовных приключениях гораздо большее место, чем собственно любовь, что близкие отношения с женами помогали мне неприметно проникать в политические тайны мужей и что признания любовниц были для меня чем-то вроде тех донесений тайных агентов, какими я тешил себя впоследствии. Действительно, всякая более или менее длительная связь почти неизбежно приводила меня к дружбе с супругом, тучным или тщедушным, чванливым или застенчивым, но при этом неизменно слепым; впрочем, такая дружба обычно доставляла мне мало удовольствия, а выгоды и того меньше. Должен даже признаться, что иные из нескромных историй, которые были поведаны мне в постели любовницами, в конечном счете пробуждали во мне симпатию к их мужьям, так жестоко осмеянным и так мало понятым. Эти связи, приятные, если женщина была искусной, всерьез волновали меня, если она была красивой. Я постигал прекрасное, я был в дружбе со статуями; я учился лучше понимать Венеру Книдскую

или Леду, трепетавшую в объятиях лебеда. Это был мир Тибулла и Проперция — мир меланхолии и пылкости, немного наигранной, но дурманящей, как мелодия во фригийском духе, мир поцелуев на потайных лестницах, и едва прикрывающих груди шарфов, и расставаний на заре, и цветочных венков, оставленных на пороге.

Я почти ничего об этих женщинах не знал; то, что они сообщали мне о своей жизни, могло уместиться между двумя створками приоткрытых дверей; их любовь, о которой они без конца твердили, порою казалась мне столь же легкой, как гирлянда или модная брошка, как дорогое и хрупкое украшение; я даже подозревал, что они накладывают на свое лицо страсть, как румяна, надевают ее на себя, как ожерелья. Но и моя собственная жизнь была не менее таинственной для них; они не хотели почти ничего о ней знать, предпочитая представлять ее себе в превратном свете. В конце концов я понял, что правила игры требовали этой постоянной смены масок, этого бесконечного потока признаний и жалоб, этих то притворных, то тщательно скрывааемых наслаждений, этих встреч, согласованных, как фигуры в танце. Даже во время ссор от меня ожидали заранее отрепетированных реплик, и безутешная красавица картинно заламывала руки, точно на сцене.

Я часто думал о том, что пылкие воздыхатели, влюбленные в женщин, привязываются к храму и к аксессуарам культа не менее страстно, чем к самой богине: они получают наслаждение от окрашенных хной пальцев, от втираемых в кожу благовоний, от тысячи ухищрений, которые оттеняют красоту, а иногда и целиком ее создают. Эти нежные идола не имели ничего общего ни с грубоватыми бабами варваров, ни с нашими тяжелыми и степенными крестьянками; они рождались на свет из позолоченных раковин больших городов, из чанов красильщиков или из влажного пара купален, как Венера — из пены греческих волн. Их было трудно отделить от лихорадочной неги вечеров в Антиохии, от возбуждения, царящего по утрам в Риме, от блистательных имен, которые они носили, от окружавшей их роскоши, среди которой они могли позволить себе появляться нагими, но никогда — без украшений. Мне же мечталось о большем — о человеческом существе, сбросившем совсем иные покровы, остающемся с собою наедине, как это иногда случается, когда мы больны, или когда у нас умирает первенец, или мы замечаем вдруг в зеркале у себя на лице морщину. Когда человек читает, или размышляет о чем-то, или производит какие-нибудь подсчеты, он принадлежит не к мужскому или женскому полу, а к человеческому роду в целом; в лучшие мгновения жизни он вырывается и за пределы рода. Любовницы же мои как будто даже кичились тем, что мыслят чисто по-женски; дух — или душа, — которых я искал, был всего лишь едва уловимым ароматом.

Тут было, пожалуй, еще и нечто другое: спрятавшись за занавесом, словно комедийный персонаж, ожидающий нужного момента, чтобы выйти на сцену, я с любопытством прислушивался к гулу неведомых мне глубин, к неповторимым интонациям женской болтовни, к приступам ярости или смеха, ко всем тем домашним звукам и голосам, которые сразу же умолкали, как только обнаруживалось, что я рядом. Дети, постоянные хлопоты об одежде, денежные заботы, должно быть, в мое от-

существование опять обретали всю ту важность, которую от меня скрывали; и даже супруг, недавно жестоко высмеянный, становился более значительным и иной раз даже любимым. Я сравнивал моих любовниц с хмурыми женщинами моей семьи, скуповатыми и властными, вечно занятыми проверкой счетов и расходов и бдительно следящими за тем, чтобы маски предков содержались в безукоризненной чистоте; я спрашивал себя: не сжимают ли порой и эти холодные матроны в своих объятиях любовника в садовой беседке и не ждут ли с нетерпением мои доступные красотки, когда я уйду, чтобы поскорее вернуться к прерванному спору с экономкой. Я старался, как мог, соединить эти два облика женского мира.

В прошлом году, вскоре после заговора, который в конце концов оказался для Сервиана роковым, одна из моих прежних любовниц не поленилась посетить Виллу, чтобы донести на своего зятя. Я не стал давать ход ее обвинению, которое могло быть вызвано ненавистью тещи к зятю или просто желанием услужить мне. Но поговорить с ней было любопытно; как некогда в трибунале по наследственным делам, речь шла лишь о завещаниях, о мрачных кознях одних родственников против других, о неожиданных или неудачных браках. Я опять столкнулся с узким мирком женщин, с их жесткой практической хваткой, с их хмурым небом, если его не озаряет своими лучами любовь. Язвительность слов и своего рода злобная честность напомнили мне мою несносную Сабину. Черты лица моей гостьи казались нечеткими и стертыми, словно беспощадная рука времени несколько раз кряду прошла по мягкой восковой маске; то, что я некогда принял за красоту, было всего лишь мимолетным цветением юности. Но привычка к кокетству осталась: это морщинистое лицо пыталось еще улыбаться. Сладострастные воспоминания, если они вообще у меня были, полностью улетучились; остался обмен любезными фразами с существом, отмеченным, как и я, печатью болезни и старости, да еще та чуть раздраженная готовность услужить, какую я мог бы проявить и к какой-нибудь престарелой испанской кухне или к дальней родственнице из Нарбонны.

Я пытаюсь хотя бы на миг удержать колечки дыма, радужные мыльные пузыри, вроде тех, какими забавляются дети. Но все так легко забывается... Столько всяких событий прошло со времени этих мимолетных связей, что я наверняка уже не помню их вкуса; а главное, мне нравится теперь отрицать, что я из-за них когда-то страдал. Но ведь была же среди этих любовниц по меньшей мере одна, которую я нежно любил? Она была и утонченнее, и в то же время тверже, была и ласковой, и суровой всех остальных; при виде ее тонкого округлого стана передо мной возникал образ тростника. Я всегда восхищался красотой волос, этим шелковистым и струящимся потоком, но волосы большинства наших женщин убраны в прически наподобие башни или лабиринта, наподобие лады или клубка змей. Ее же волосы легко становились именно такими, какими я их больше всего любил: гроздью спелого винограда или птичьим крылом. Лежа на спине, упираясь в меня своей маленькой гордой головкой, она с замечательным бесстыдством рассказывала мне о своих любовных похождениях. Мне нравились неистовство и самозабвенность, с какими она отдавалась наслаждению, нравился ее прихотливый вкус, ее страсть терзать

самой себе душу. Я знал несколько дюжин ее любовников; она и сама теряла им счет; я был у нее лишь на третьих ролях и не требовал от нее верности. Она была влюблена в танцора по имени Батилл, мужчину поразительной красоты, что заранее оправдывало ее безумства. Она рыдала в моих объятиях, твердя его имя, и мое одобрительное молчание придавало ей мужества. Бывали дни, когда мы с ней много и дружно смеялись. Она умерла молодой на острове с губительным климатом, куда ее выслала семья после скандального развода. Я рад, что ей, очень боявшейся постареть, выпала такая смерть, хотя подобного чувства мы обычно не испытываем в отношении тех, кого по-настоящему любим. У нее была неумная потребность в деньгах. Однажды она попросила меня дать ей сто тысяч сестерциев. Я принес ей деньги на следующий день. Она уселась прямо на землю и, изящным движением игрока в бабки высыпав содержимое мешка на каменные плиты, принялась делить сверкающую грудку на кучки. Я знал, что для нее, как и для всех нас, расточителей и транжир, эти золотые кружочки были не просто звонкой монетой, отмеченной изображением цезаря, а волшебной субстанцией, были для нее своей, личной монетой, выбитой в честь ее химерической мечты, ее танцора Батилла. Я уже не существовал для нее. Она была одна. Почти некрасивая, она с восхитительным безразличием к собственной внешности морщила лоб, надувала, как школьник, губы и производила на пальцах какие-то сложные вычисления. Никогда она не была мне так мила, как в эту минуту.

Весть о сарматских набегах пришла в Рим во время торжеств по случаю победы Траяна над даками. Этот долго откладывавшийся праздник тянулся целую неделю. Потребовалось около года, чтобы доставить из Африки и Азии диких зверей, которых предстояло убить на арене; умерщвление тысяч животных, методичное истребление десяти тысяч гладиаторов превратили Рим в мрачное царство смерти. В тот вечер я находился на террасе дома Аттиана, вместе с Марцием Турбоном и нашим хозяином. Ярко освещенный город был отвратителен в своем буйном веселье; тяжелая война, которой Марций и я отдали четыре года своей молодости, была воспринята чернью как предлог для пьяного разгула, то был жестокий триумф плебса. Время было не самым подходящим для того, чтобы сообщать народу, что все эти столь громко превозносимые победы отнюдь не окончательны и что у наших границ появился новый враг. Императора, уже увлеченного своими восточными планами, положение на северо-востоке перестало интересовать; он предпочитал считать его решенным раз и навсегда. Первая Сарматская война была подана просто как карательная экспедиция. Я отправился туда в звании наместника Паннонии, с полномочиями главнокомандующего.

Война продлилась одиннадцать месяцев и была ужасна. Я до сих пор считаю, что уничтожение даков было в известной мере оправданным: ни один глава государства не станет терпеть у своих ворот воинственного врага. Но падение Децебалова царства образовало в этом районе пустоту, и в нее устремились сарматы; неведомо откуда возникавшие банды наводняли страну, опустошенную долгими годами войны и дотла сож-

женную нами, страну, где наших сил было явно недостаточно и где нам не на что было опереться; банды кишели, как черви, на трупе наших дакийских побед. Недавние успехи подорвали дисциплину в войсках: на аванпостах у нас царила беспечность, напоминавшая мне атмосферу римских пиров. Перед лицом грозной опасности иные трибуны были полны бездумного спокойствия; оказавшись отрезанными от империи в местах, где единственной более или менее знакомой нам областью была наша бывшая граница, они по-прежнему надеялись побеждать, рассчитывая лишь на наше военное снаряжение, которое, как мне было прекрасно известно, таяло буквально на глазах от износа и потерь, и на некие мифические подкрепления, которых неоткуда было ожидать, ибо все ресурсы теперь были сосредоточены в Азии.

Начала обозначаться и другая опасность: четыре года официальных поборов разорили деревни; начиная с первых дакийских кампаний, я видел, как к каждому стаду коров или овец, торжественно отбитых у врага, прибавляются бесконечные вереницы скота, отнятого у населения. Если такое положение вещей будет продолжаться, недалек день, когда наши крестьяне, изнемогающие под тяжестью римской военной машины, в конце концов предпочтут нам варваров. Грабежи и вымогательства солдатни являли собой проблему, быть может, и менее важную, но больше бравшуюся в глаза. Я был достаточно популярен, чтобы не бояться наложить на своих солдат самые суровые ограничения; я следил за строгостью нравов, которой и сам неукоснительно придерживался; я придумал Священную науку власти, которую мне удалось впоследствии распространить на всю армию. Я отсылал в Рим людей опрометчивых и честолюбивых, которые затрудняли выполнение поставленных мною задач, а взамен вызывал мастеров, которых нам так не хватало. Нужно было восстановить ряд оборонительных сооружений; в горделивом упоении от недавних побед здесь почему-то этим пренебрегали; пришлось решительно отказаться от тех укреплений, поддержание которых обошлось бы нам слишком дорого. Представители гражданской администрации, вольготно и прочно устроившись посреди всего того беспорядка, каким обычно сопровождается война, постепенно переходили в ранг чуть ли не полностью независимых от нас вождей, способных на любые репрессии в отношении наших подданных и на любое предательство в отношении нас. Здесь я также увидел опасность назревающих и готовых в ближайшем будущем разразиться мятежей и смут. Не думаю, что мы можем вообще избежать этих бедствий, так же как не верю в возможность избежать смерти, однако в наших силах отодвинуть их на несколько веков. Бездарных чиновников я прогнал; худших из них приказал казнить. Я открывал в себе беспощадность.

На смену мглистой осени и холодной зиме пришло дождливое лето. Мнегодились мои познания в медицине, и в первую очередь для того, чтобы лечить самого себя. Жизнь на границе постепенно низвела меня до уровня сармата; борода греческого философа превратилась в бороду варварского вождя. Я снова пережил все то, что уже видел однажды и что во время дакийских кампаний вызывало у меня омерзение. Наши враги живьем сжигали пленных; не имея транспортных средств, чтобы переправлять наших пленников на рынки рабов в Рим или Азию, мы тоже

стали их убивать. Колья оград ошетились отрубленными головами. Враг подвергал заложников пыткам; многие из моих друзей погибли ужасной смертью. Один из них с трудом добрал до лагеря на кровотокащих ногах; он был настолько обезображен, что мне так и не удалось вспомнить его настоящее лицо. Зима тоже обложила нас своей данью — конными отрядами, вмерзшими в лед или унесенными разливом реки, больными, слабо стонавшими и надрывно кашлявшими в палатках, обмороженными ранеными. Вокруг меня объединились люди замечательных душевных качеств; этой небольшой, тесно сплоченной группе, во главе которой я стоял, была присуща самая высокая доблесть, единственная, какую я еще могу выносить: твердая решимость быть полезным. Сарматский перебежчик, которого я взял к себе переводчиком, вернулся, рискуя жизнью, к своим, чтобы склонить соплеменников к мятежу или измене; мне удалось вступить в переговоры с этими людьми, и теперь они стали сражаться на наших аванпостах, защищая наших солдат. Несколько смелых вылазок, на первый взгляд отчаянных, но проведенных нами очень умело, доказали врагу бессмысленность любых нападений на Рим. Один из сарматских вождей последовал примеру Децебала: мы нашли его мертвым в войлочном шатре, рядом с задушенными женщинами и страшным узлом, в который были завернуты дети. С этого дня мое отвращение к бессмысленному уничтожению человеческих жизней распространилось и на варваров; мне было жаль этих убитых врагов, которых Рим мог бы принять под свою эгиду и впоследствии использовать как союзников в борьбе против еще более диких орд. Осаждавшие нас враги рассеялись и исчезли так же неожиданно, как возникли; они словно растворились в этой мрачной стране, из которой, без сомнения, еще вырвутся и другие бури. Война не закончилась. Мне предстояло возобновить ее и завершить спустя несколько месяцев после того, как я стал императором. Но, во всяком случае, порядок на этой границе был восстановлен. Покрытый славой, я возвратился в Рим. Но я постарел.

Мое первое консульство стало еще одним годом войны, годом тайной, но непрерывной борьбы, которую я вел во имя достижения мира. Но я вел ее не один. Перемена позиций, подобная моей, произошла, пока меня не было в Риме, также и у Лициния Суры, и у Аттиана, и у Турбона, словно, невзирая на строжайшую цензуру, которой я подвергал свои письма, мои друзья поняли меня и последовали за мной, а в чем-то пошли еще дальше. Прежде взлеты и падения моей фортуны смущали меня главным образом потому, что я не знал, как отнесутся к ним друзья; все мои опасения, все нетерпеливые ожидания, которые, будь я один, я переносил бы с легким сердцем, начинали всерьез меня удручать, когда приходилось скрывать их от моих заботливых друзей или в них друзьям признаваться; я досадовал на обременительность их любви, на то, что они тревожатся за меня больше, чем я сам, на то, что за внешней возбужденностью они не видят во мне спокойного человека, которому ничто на свете не представляется особенно значительным и который поэтому уцелеет при любых поворотах судьбы. Но теперь у меня уже не было времени для того, чтобы

собой заниматься, так же как и для того, чтобы вовсе не заниматься собой. Моя личность отодвигалась на задний план именно потому, что моя точка зрения начинала приобретать вес. Главное состояло в том, что нашелся человек, который воспротивился политике завоеваний, предугадал ее последствия и ее бесславный конец и стал готовиться к тому, чтобы по возможности исправить ее ошибки.

Служба на границе показала мне другой лик победы, тот, которого не отыщешь на колонне Траяна. Мое возвращение в ряды гражданской администрации дало возможность собрать против военной партии массу улик, еще более внушительных, чем доказательства, полученные мной в армии. Основной состав легионов и преторианской гвардии был сформирован исключительно из италийских частей; эти войны на дальних рубежах выкачивали последние резервы из страны, которая и без того была бедна мужчинами. Те, кто не пал в сражениях, все равно были потеряны для родины — родины в собственном смысле этого слова, — поскольку их вынуждали селиться на новых, только что завоеванных землях. Даже в провинции система воинского набора стала к этому времени причиной серьезных волнений. Поездка в Испанию, предпринятая мной несколько позже для надзора за работами на медных рудниках, принадлежавших моей семье, показала мне, какой беспорядок внесла война в жизнь страны; наконец, я убедился в полной обоснованности недовольства собственников, с которыми мне приходилось встречаться в Риме. Я не был настолько наивен, чтобы считать, что возможность избежать войны зависит во всех случаях только от нас; но я готов был примириться с оборонительными войнами; я мечтал о такой армии, задача которой сводилась бы к поддержанию порядка на границах, если нужно — передвинутых поближе, но зато надежных. Любое новое расширение и без того огромной территории империи представлялось мне болезненным разрастанием, раковой опухолью, отеком, подобным тому, какой происходит от водянки и который в конце концов может привести к гибели всего организма.

Ни одно из этих суждений не могло быть представлено императору. Он достиг того срока своей жизни, который приходит к каждому в свое время, когда человек доверяется своему злumu или доброму гению, повинуюсь некоему мистическому закону, который повелевает ему уничтожить себя — или превзойти собственные возможности. Сверхсущества его эпохи были в своей совокупности великолепны, но все мирные труды, к которым столь искусно склоняли императора лучшие его советники, — величественные проекты архитекторов и законоведов — значили для него неизмеримо меньше одной-единственной воинской победы. Безумие расточительства вселилось в этого человека, который был так благородно бережлив, когда речь шла о его личных нуждах. Все золото варваров, извлеченное из глубин Дуная, все пятьсот тысяч слитков царя Децебала ушли на щедрые подачки народу, на дарственные военным (из которых и я получил свою долю), на сумасшедшую роскошь гладиаторских игр, на новые расходы ради грандиозных авантюр в Азии. Это вредоносное богатство создавало ложное представление об истинном состоянии финансов. Деньги, полученные от войны, на войну же и возвращались.

Тем временем умер Лициний Сура. Это был самый достойный из лич-

ных советников императора. Его смерть была для нас проигранным сражением. Он всегда относился ко мне с отеческой заботливостью; в последние годы он тяжело болел, и слабых его сил уже не хватало на то, чтобы заниматься собственными трудами; но он целиком отдавал их служению человеку, чьи взгляды казались ему здоровыми и разумными. Завоевание Аравии было предпринято вопреки его советам; лишь он один, будь он жив, мог бы избавить государство от огромных затрат и тягот парфянской кампании. Этот снедаемый лихорадкой человек употреблял часы своей бессонницы на обсуждение со мною планов, которые изнуряли его, однако в случае их удачного осуществления подарили бы ему нечто неизмеримо большее, чем несколько лишних часов жизни. У его изголовья я заранее и в мельчайших деталях пережил ряд этапов моего грядущего царствования. В своей критике умирающий щадил императора, но он чувствовал, что унесит с собою в могилу последние частицы мудрости, оставшейся еще у режима. Если бы он прожил на два-три года дольше, мне, быть может, удалось бы избежать некоторых сложных ходов, которыми было отмечено мое восхождение к власти, он смог бы убедить императора усыновить меня раньше и на глазах у всех. Но последние слова этого мудрого государственного деятеля, который завещал мне свои идеи, прозвучали для меня так, словно он заранее облакал меня императорским саном.

Группа моих сторонников росла, но то же самое происходило и с моими врагами. Самым опасным для меня противником был Лузий Квиет, полуримлянин-полуафриканец, нумидийские эскадроны которого сыграли важную роль во второй дакийской кампании; он с яростью настаивал на азиатской войне. Все мне было отвратительно в этом человеке: варварская роскошь и вызывающий разлет белого хитона, перехваченного золотым шнуром, и высокомерный лживый взгляд, и невероятная жестокость к побежденным и слугам. Главари военной партии истребляли друг друга в междоусобных распрях, но те, кому удавалось уцелеть, еще крепче держались за власть, и я еще острее чувствовал подозрительность Пальмы или ненависть Цельза. Мое собственное положение было, к счастью, почти неуязвимо. С тех пор как император полностью посвятил себя военным замыслам, гражданское правление все больше переходило в мои руки. Мои друзья, которые, в силу своих способностей и прекрасного знания дела, могли бы вытеснить меня и занять мое место, проявляли благородную скромность и делали все, чтобы предпочтение было отдано мне. Нератий Приск, пользовавшийся доверием императора, день ото дня все решительнее замыкался в своих юридических делах. Аттиан посвятил свою жизнь тому, чтобы всегда быть к моим услугам. Чувствовал я и осторожную поддержку Плотины. За год до войны я был назначен наместником Сирии, а позже к этому добавилась еще и должность легата при армии. Призванный контролировать и организовывать наши базы, я становился одним из рычагов управления предпринятием, которое сам я считал безумным. Некоторое время я колебался, но потом дал согласие. Отказаться означало бы закрыть себе путь к власти как раз в тот момент, когда власть была мне очень нужна. И к тому же это значило упустить свой единственный шанс сыграть сдерживающую роль в политике государства.

В эти годы, предшествовавшие великим переменам, я принял решение, которое создало мне у моих врагов репутацию легкомысленного человека и которое отчасти ради этого и было принято, ибо давало мне возможность отбиваться от их нападков. Я отправился на несколько месяцев в Грецию. Политика не имела к этому, по крайней мере внешне, никакого отношения. Поездка была предпринята с увеселительной и учебной целью; я привез из нее несколько резных кубков, а также книги для себя и Плотины. Из всех официальных почестей, которых я был там удостоен, одна доставила мне наивысшую и самую чистую радость: мне присвоили звание архонта Афин. Я подарил себе несколько месяцев удовольствий и приятных занятий, весенних прогулок по усеянным анемонами холмам, нежных прикосновений к натуральному мрамору. В Керонее, куда я поехал отдохнуть душой возле древних статуй друзей из Священного отряда, я два дня был гостем Плутарха. У меня был и свой личный Священный отряд, но, как это часто бывает, собственная жизнь занимала меня куда меньше, чем история. Я охотился в Аркадии; в Дельфах я возносил молитвы богам. В Спарте, на берегу Еврота, пастухи учили меня играть на флейте древнейшую мелодию, звучащую словно пение неведомой птицы. Возле Мегары мы попали на крестьянскую свадьбу, которая длилась всю ночь; мы с моими спутниками отважились смешаться с толпою танцующих; суровые нравы Рима этого бы не допустили.

Следы наших преступлений всюду бросались в глаза — разрушенные Муммием стены Коринфа, оставшиеся пустыми ниши в глубине храмов, после того, как во время постыдной поездки Нерона из них были похищены статуи. Но даже и обедневшая, Греция по-прежнему была окутана атмосферой задумчивой прелести, светлого изящества и мудрой неги. Ничто не переменилось с той поры, как ученик риторы Исей впервые вдохнул этот аромат горячего меда, смолы и соли; по существу, ничто не переменилось с течением веков. Песок гимнастических школ был таким же золотистым, как прежде; не было уже ни Фидия, ни Сократа, но молодые люди, упражнявшиеся там, все так же походили на восхитительного Хармида. Иногда мне казалось, что греческий дух не исполнил еще до конца предначертанной ему судьбы: жатву еще предстояло собрать; созревшие на солнце и уже срезанные колосья были ничтожной малостью рядом с тучным зерном, которое, если верить элевсинским обещаниям, таилось в этой плодородной земле. Даже у врагов своих, диких сарматов, я находил то вазы с чистыми линиями греческих профилей, то украшенное изображением Аполлона зеркало — отблески Греции, словно лежащие на снегу бледные солнечные блики. Я предвидел возможность эллинизировать варваров, заразить аттической утонченностью Рим, исподволь прививать миру ту единственную культуру, которая некогда сумела отделить себя от всего уродливого, грубого, окаменевшего и изобрести определенное метода, теорию политики и теорию красоты. Легкое презрение, которое я постоянно ощущал в речах греков за самыми пылкими уверениями в почтении, не обижало меня; я считал это естественным; каковы бы ни были достоинства, которые отличали меня от них, я знал, что никогда не достигну хитроумной ловкости, присущей последнему матросу из Эгины, или спокойной мудрости, свойственной любой торговке травами на рынке.

Без малейшего раздражения принимал я от гордого племени любезности, не лишённые привкуса высокомерия; я охотно признавал за этим народом право на привилегии, которые я всегда легко жаловал всему, что любил. Но, чтобы продолжить и завершить свое дело, грекам необходимы были несколько веков мира, был нужен тот спокойный досуг, та свобода в разумных пределах, которая дается лишь мирной жизнью. Греция упала на нас как на защитников ее благоденствия, раз уж мы объявили себя ее властителями. И я дал себе слово оберегать безоружного бога.

Я уже целый год занимал пост наместника в Сирии, когда в Антиохию явился Траян. Он приехал проверить, как идет подготовка к армянскому походу, с которого, по его замыслу, следовало начать наступление на парфян. Как всегда, его сопровождала Плотина, а также его племянница Магидия, моя снисходительная теща, которая уже много лет ездила вместе с ним в армию в качестве экономки. Цельз, Пальма, Нигрин, мои старые недруги, все еще заседали в Совете принцепса и составляли большинство в командовании армией. Вся эта шушера толпилась во дворце, ожидая начала военных действий. Снова пышным цветом расцвели дворцовые интриги. Каждый вел свою собственную игру, боясь упустить благоприятный случай, предоставляемый войной.

Армия почти сразу же двинулась на север. Я видел, как вместе с ней удаляется огромное скопище высоких чиновников, честолюбцев и просто никому не нужных людишек. Император со своей свитой остановился на несколько дней в Коммагене, чтобы принять участие в празднествах, которым уже был придан характер триумфа; мелкие восточные царьки, собравшиеся в Сатале, наперебой клялись в своей верности, полагаться на которую я бы на месте Траяна не стал. Лузий Квиет, мой опасный соперник, возглавив авангардные части, в ходе долгой военной прогулки занял берега озера Ван; захватить опустошенную парфянами северную часть Месопотамии тоже не составило труда; Абгар, царь Осроэны, сдался в Эдессе. Император возвратился на зимний период в Антиохию, отложив до весны вторжение в собственно парфянские пределы, но твердо решив не принимать никаких предложений о мире. Все шло, как он задумал. Радость, которую он испытывал, начав наконец эту так долго откладывавшуюся авантюру, словно омолодила этого шестидесятичетырехлетнего человека.

Мои прогнозы были по-прежнему мрачны. Еврейская и арабская часть населения все больше противилась войне; крупные землевладельцы в провинциях были раздражены необходимостью оплачивать убытки, причиненные проходившими через их владения войсками; города с трудом справлялись с новыми налогами. По возвращении императора произошла первая катастрофа, ставшая предвестницей всех последующих катастроф; землетрясение, случившееся в одну декабрьскую ночь, за несколько минут уничтожило четверть Антиохии. Контуженный упавшей балкой, Траян продолжал героически спасать раненых; несколько человек из его ближайшего окружения были убиты. Сирийская чернь тотчас нашла виновников этого стихийного бедствия; на сей раз император отказался от

своих принципов веротерпимости и совершил ошибку, допустив расправу над группой христиан. Сам я питаю довольно мало симпатии к этой секте, но зрелище побитых палками, замученных до смерти старцев и детей лишь способствовало возбуждению умов и сделало еще более гнусной эту зловещую зиму. На то, чтобы восстановить все разрушения, причиненные подземным толчком, не было денег; ночью тысячи бездомных людей располагались лагерем на площадях. Мои инспекционные поездки обнаружили глухое недовольство и тайную ненависть, о которой высокие сановники, переполнявшие дворец, даже не подозревали. Среди развалин император продолжал подготовку к очередному походу, понадобилось вырубить целый лес, чтобы навести переправы и соорудить понтонные мосты через Тигр. Император с радостью принял целую серию новых званий, пожалованных ему Сенатом; ему не терпелось поскорее закончить с Востоком, чтобы триумфатором вернуться в Рим. Малейшая задержка вызывала у него неистовые приступы ярости.

Император, нетерпеливо меривший шагами просторные залы дворца, который был построен Селевкидами и который я сам украсил в его честь (что за глупость!) хвалебными надписями и дакийским оружием, был уже совсем не тот человек, что принимал меня в Кёльне почти двадцать лет тому назад. Даже добродетели его постарели. Его тяжеловатая веселость, за которой прежде скрывалась подлинная доброта, стала теперь всего лишь привычной маской; твердость вылилась в упрямство; склонность к немедленным и решительным действиям — в полное нежелание мыслить. Ласковое уважение, с которым он относился к супруге, ворчливая привязанность к племяннице Матидии превратились в старческую зависимость от этих женщин, советам которых он тем не менее все чаще противился. Печеночные приступы у Траяна весьма тревожили его врача Критона, но сам он не обращал на них внимания. Развлечениям императора всегда недоставало изящества, и с годами их уровень отнюдь не поднялся выше. Не было еще особой беды в том, что, завершив свой трудовой день, император предавался казарменному разгулу в обществе молодых людей, которых находил приятными или красивыми. Гораздо хуже было то, что он плохо переносил эти возлияния и что толпы все более и более бездарных подчиненных, ловко отбираемых и управляемых какими-то темными личностями из числа вольноотпущенников, неизменно присутствовали при моих с ним беседах и обо всем доносили моим недругам. Днем я видел Траяна только на заседаниях в военном совете, целиком посвященных скрупулезной разработке планов и не оставлявших ни минуты для обмена мнениями. Во всякое иное время суток он избегал оставаться со мной наедине. Вино подсказывало этому по природе своей не слишком тонкому человеку целый арсенал неуклюжих уловок. От его былой чуткости не осталось и следа: ему во что бы то ни стало хотелось теперь приобщить меня к своим удовольствиям; шум, смех, плоские шутки молодых людей принимались им с неизменной благосклонностью и, наряду с множеством других способов, имели целью дать мне понять, что серьезными делами сейчас заниматься не время; он с нетерпением подстерегал тот вожде- ленный миг, когда еще одна чаша, выпитая мной до дна, лишит меня всяческого разумения. Все начинало кружиться вокруг меня в этом зале, где

головы зубров, захваченные у варваров как трофеи, скалились со стен, словно смеясь мне в лицо. Кувшины следовали один за другим, то тут, то там возникала пьяная песня, слышался задорный, звонкий смех молодого слуги; облокотясь на стол дрожавшей все сильнее рукой, отгородившись от всех опьянением, быть может наполовину притворным, и блуждая мыслями по дальним азиатским дорогам, император тяжело погружался в свои мечты...

К несчастью, мечты эти были прекрасны. То были те самые мечты, что некогда внушали мне мысль все бросить и северными путями устремиться через горы Кавказа к манящей неведомой Азии. Это же наваждение, во власти которого сейчас, точно лунатик, оказался состарившийся император, смущало когда-то и Александра; он почти осуществил эти мечты, но из-за них он и умер в возрасте тридцати лет. Однако еще более страшная опасность этих грандиозных планов таилась в их мудрости: чтобы оправдать эту чудовищную нелепость, чтобы увлечь нас в погоню за невозможным, под рукою всегда оказывалось более чем достаточно самых благоразумных и самых практических доводов. Проблема Востока занимала нас на протяжении веков; казалось вполне естественным решить ее раз навсегда. Наши продовольственные обмены с Индией и с таинственной Страной шелка полностью зависели от еврейских купцов и арабских мореплавателей, которые обладали правом захода в парфянские порты и правом следования по парфянским дорогам. Покорив обширное и неустойчивое царство всадников — Аршакидов, мы бы вышли к этим богатейшим границам мира, и тогда Азия, объединенная наконец под нашей властью, стала бы еще одной провинцией Рима. Порт Александрии Египетской был единственным нашим выходом к Индии, не зависевшим от доброй воли парфян; но и здесь мы постоянно наталкивались на непомерные притязания и непокорность еврейских общин. Успехи экспедиции Траяна позволили бы нам обходиться без этого не слишком-то верного города. И однако все эти доводы были не в состоянии меня убедить. Разумные торговые договоры удовлетворили бы меня гораздо больше, и мне уже виделась возможность ограничить роль Александрии, создав вторую греческую метрополию вблизи Красного моря, что я впоследствии и осуществил, когда создал Антинополь. Я начинал понимать этот сложный азиатский мир. Простые планы полного уничтожения, которые удались в Дакии, были неуместны в этих местах, отличавшихся более многообразной и более прочно укоренившейся жизнью, — в местах, у которых во многом зависело благоденствие всего мира. За Евфратом для нас начинались края опасностей и миражей, края песков, в которых можно было увязнуть, и дорог, которые никуда не вели. Малейший неверный шаг мог пошатнуть наш престиж, и это грозило нам самыми страшными бедами; речь ведь шла не только о том, чтобы победить, но о том, чтобы закрепить нашу победу, а на это у нас могло не хватить сил. Однажды мы уже сделали такую попытку: я с ужасом вспоминаю голову Красса — ею, словно мячом, перебрасывались зрители во время представления "Вакханок" Еврипида, которых один варварский царек, равнодушный к греческому искусству, велел показать вечером после его победы над нами. Траян мечтал отомстить за это давнее поражение; я же мечтал о том, чтобы не дать этому

повториться. Я довольно верно угадывал будущее — вещь, в конце концов, возможная, когда ты знаком с большим количеством фактов, составляющих настоящее; несколько бесполезных побед завлекли бы слишком далеко наши армии, неосторожно снятые с других границ; Траян, умирая, покрыл бы себя славой, а нам, живым, пришлось бы решать кучу нерешенных проблем и исправлять причиненное императором зло.

Цезарь был прав, когда говорил, что лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Дело тут не в гордыне и не в тщеславии, а в том, что человеку, находящемуся во втором ряду, остается лишь выбирать между тремя видами опасностей — теми, какими грозит подчинение, теми, которыми чреват бунт, и самыми грозными из всех — опасностями компромисса. В Риме я не был бы даже вторым. Готовый со дня на день отправиться в рискованную экспедицию, император еще не назначил наследника; каждый его шаг вперед давал еще один шанс армейским заправилам. Этот едва ли не наивный человек представлялся мне теперь существом даже более сложным, чем я сам. Успокаивала меня только его суровость: когда император бывал в мрачном расположении духа, он относился ко мне как к сыну. Однако в другие моменты я мог ожидать чего угодно — что он вообще обойдется без моих услуг или что я буду оттеснен Пальмой или устранен Квиетом. У меня не было никакой власти: мне не удавалось даже добиться аудиенции для влиятельных членов антиохийского синедриона, которые не меньше, чем нас, боялись подстрекательских действий смутьянов из числа своих же единоверцев и могли сообщить Траяну немало полезного на сей счет. Мой друг Латиний Александр, отпрыск одной из старинных царских семей Малой Азии, который благодаря своему имени и богатству пользовался большим весом, тоже не был заслушан. Плиний, посланный в Вифинию четырем годами раньше, там и умер, не успев уведомить императора о точном состоянии умонастроений и финансов, если предположить, что его неизлечимый оптимизм позволил бы ему это сделать. Тайные донесения ликийского купца Опрамоаса, который хорошо знал положение дел в Азии, были подняты Пальмой на смех. Отпущенники пользовались днями болезни императора, которые следовали за вечерами пьянства, чтобы не допускать меня в императорские покои; прислужник императора, некто Федим, человек, в общем-то, честный, но упрямый и плохо ко мне относившийся, дважды отказался меня впустить. Консулярий же Цельз, мой враг, однажды вечером уединился с Траяном и повел с ним таинственную беседу, которая продолжалась несколько часов кряду и после которой я уже считал себя человеком конченным. Я искал союзников где только мог; я тратил золото на подкуп бывших рабов, которых я с большим удовольствием отправил бы на галеры; я ласково гладил курчавые головы, вызывающие у меня отвращение. Бриллиант Нервы уже совсем потускнел.

И тогда мне явился самый мудрый из моих добрых гениев — Плотина. Я уже около двадцати лет знал супругу Траяна. Мы вышли из одной среды; мы были примерно одного возраста. Я видел, как она с полным спокойствием живет жизнью почти такой же неестественной, что и моя, и в гораздо большей мере, чем моя, лишенной надежды на будущее. Она не

раз, словно сама того не замечая, поддерживала меня в трудные минуты. Но в Антиохии, когда настали плохие времена, ее присутствие стало для меня поистине необходимым, так же как потом мне было необходимо ее уважение, которое я ощущал до самой ее смерти. Я привык видеть рядом эту фигуру в белых одеждах, скромных и простых, насколько вообще может быть простой одежда женщины, привык к ее молчаливости, к ее скупым словам, которые всегда бывали только ответами — правда, ответами, неизменно полными глубокого смысла. Всем своим обликом она удивительно подходила к обстановке дворца, более древнего, чем самые величественные сооружения Рима; эта дочь безвестного выскочки достойна была чудес Селевкидов. Наши вкусы сходились почти во всем. Мы оба одержимы были страстью украшать, а потом обнажать свою душу и на любом пробном камне испытывать свой дух. Она была склонна к эпикурейской философии, к этому тесному, но чистому ложу, на которое я тоже иногда укладывал свою мысль. Загадка богов, мучившая меня, ее совсем не тревожила; не разделяла она и моей одержимости тайнами человеческого тела. Она была целомудренна из отвращения ко всему, что слишком доступно, щедра скорее по велению рассудка, чем по своей натуре, и в разумных пределах недоверчива, хотя другу была готова простить всё, даже неизбежные его ошибки. Остановив на ком-то свой выбор, она полностью посвящала себя этой дружбе, отдаваясь ей с той безоглядностью, какую я разрешал себе только в любви. Меня она знала, как никто другой; я позволял ей увидеть во мне все то, что я тщательно скрывал от остальных, — например, моменты тайного малодушия. Мне хотелось бы верить, что и она со своей стороны почти ничего от меня не таила. Плотской близости никогда между нами не было, что возмещалось постоянным и тесным контактом наших умов.

Мы понимали друг друга, обходясь без признаний, без объяснений и недомолвок; нам достаточно было фактов. Она видела их лучше, чем я. Ее гладкое чело под тяжелыми, уложенными по моде косами было челом судьи. В ее памяти хранились точные отпечатки всех вещей и предметов; в отличие от меня она никогда долго не колебалась, но и не принимала слишком быстрых решений. С одного взгляда она могла обнаружить самых потаенных моих противников; моих сторонников она оценивала с холодной мудростью. Мы с ней и вправду были сообщниками, но даже самое изощренное ухо не уловило бы признаков сговора между нами. Она ни разу не совершила передо мной той грубой ошибки, какую были бы ее жалобы на императора, ни даже ошибки более мелкой — никогда не порицала и не хвалила его. Я со своей стороны тоже не давал ей повода сомневаться в моей верности Траяну. Аттиан, только что приехавший из Рима, присоединился к нашим беседам, иногда они длились всю ночь напролет, но, казалось, ничто не могло утомить эту спокойную хрупкую женщину. Ей удалось добиться того, что мой бывший опекун был назначен личным советником императора, и таким образом она устранила моего врага Цельза. То ли по причине подозрительности Траяна, то ли из-за невозможности найти мне замену в тылу, но я был оставлен в Антиохии; я рассчитывал на Плотину и Аттиана в получении сведений, какие не дошли бы до меня по официальным каналам. В случае катастрофы они сумели

бы объединить вокруг меня надежную часть армии. Моим противникам приходилось считаться с тем фактом, что рядом с Траяном всегда находился подагрический старик, отлучавшийся лишь для выполнения моих поручений, и женщина, по-солдатски выносливая и стойкая.

Я смотрел, как удаляется войско — император верхом на коне, решительный и на удивление невозмутимый, многотерпеливые женщины в носилках, преторианская гвардия вперемешку с нумидийскими конниками грозного Лузия Квиета. Армия, зимовавшая на берегах Евфрата, по прибытии полководца двинулась в путь — парфянский поход в самом деле начался. Первые вести были прекрасны. Взят Вавилон, перейден Тигр, пал Ктесифон. Как всегда, ничто не могло устоять перед поразительной хваткой этого человека. Князь Харакенской Аравии признал себя нашим подданным и открыл римским флотилиям свободный проход по всему Тигру; император направился к порту Харакс, находящемуся в центре Персидского залива. Он приближался к легендарным берегам. Моя тревога не проходила, но я скрывал ее, как скрывают содеянное преступление; кто раньше времени прав, тот виноват. Больше того, я сомневался в самом себе, упрекал себя в низком неверии, не позволяющем признать величие человека, если он слишком хорошо тебе знаком. Я забыл о том, что иные люди способны раздвигать поставленные судьбой пределы и менять ход истории. Я допустил кощунство по отношению к гению-хранителю императора. Сидя в Антиохии, я терзался сомнениями. А вдруг невозможное все же свершится и я окажусь выброшенным из игры? Забыв о благоразумии, я готов был поддаться первому побуждению — вновь надеть на себя кольчугу сарматских походов, использовать влияние Плотины для того, чтобы меня отозвали в армию. Я завидовал последнему из наших солдат, которого покрывает пыль азиатских дорог и который сшибается в схватке с закованными в броню персами. На сей раз Сенат дал императору право уже не на один триумф, а на целую серию триумфальных торжеств, которым предстояло длиться до конца его дней. Я своими руками сделал то, что обязан был сделать, — возглавил устройство празднеств и готовился совершить жертвоприношение на вершине Касия.

Но огонь, постоянно тлевший под почвой в этих странах Востока, вдруг сразу и с разных концов выплеснулся наружу. Еврейские купцы отказались платить в Селевкии налог; следом мгновенно взбунтовалась Кирена, где восточное население напало на греков и учинило резню; дороги, по которым нашему войску шло египетское зерно, были перерезаны бандой иерусалимских зелотов; жившие на Кипре греки и римляне были схвачены еврейской чернью, которая заставила пленников убивать друг друга в гладиаторских боях. Мне удалось сохранить в Сирии порядок, но я замечал пламя, горевшее в глазах у нищих на порогах синагог, и немые ухмылки на толстых губах погонщиков верблюдов, я ощущал всеобщую ненависть, которой мы, право же, не заслужили. С самого начала евреи и арабы действовали заодно, противясь войне, которая грозила свести на нет их торговлю; но Иудея использовала ситуацию, чтобы ополчиться против всего римского мира, из которого она была исключена из-за своих религиозных бесчинств, странных обрядов и непримиримости своего бога. Император, поспешно воротившись в Вавилон, поручил Кви-

ту покарать мятежные города; Кирена, Эдесса, Селевкия, эти крупные греческие центры Востока, были преданы огню в наказание за предательство — за подло перебитые на привалах или вероломно завлеченные в еврейские кварталы караваны. Я посетил потом эти города, когда их собирались восстановить, и ходил среди обращенных в развалины колоннад, между рядами разбитых статуй. Император Хосров, на чьи деньги были подстроены эти мятежи, незамедлительно перешел в наступление; Абгар восстал и занял сгоревшую дотла Эдессу; наши армянские союзники, на которых Траян считал возможным полагаться, пришли на помощь сатрапам. Траян неожиданно оказался в центре огромного поля битвы, где ему со всех сторон грозила опасность.

Целую зиму потратил он на осаду Хатры, крепости почти неприступной, расположенной среди пустыни и стоившей нам многих тысяч убитых. Его упрямство все больше и больше походило на своего рода личное мужество: этот больной человек отказывался возвращать то, что было им взято. От Плотины я знал, что, невзирая на предостережение, каким явился для него короткий приступ паралича, Траян упорно не желал называть имя своего наследника. Если бы он решил подражать Александру до конца и, подобно ему, умер бы в гнилой азиатской глуши от лихорадки или от невоздержанности, война с внешним врагом осложнилась бы гражданской войной — между моими сторонниками и сторонниками Цельза или Пальмы началась бы борьба не на жизнь, а на смерть; жалкая ниточка связи между императором и мною не обрывалась лишь благодаря действиям нумидийских отрядов моего злейшего врага. Именно тогда-то я впервые и повелел своему врачу отметить у меня на груди красной тушью место, где находится сердце: если бы случилось наихудшее, мне не следовало попадать живым в руки Лузия Квиета. К моим прочим обязанностям прибавилась еще и труднейшая задача умиротворения островов и сопредельных провинций, однако тяжелая работа, которая изматывала меня днем, не шла ни в какое сравнение с ночами бессонницы, казавшимися мне бесконечными. На меня наваливались все проблемы, стоявшие перед империей, но мучительней всех была моя собственная проблема. Я хотел власти. Я хотел ее для осуществления своих замыслов, для проверки своих способов спасения государства, для восстановления мира. А главное, я хотел ее для того, чтобы, прежде чем умереть, сделаться наконец самим собой.

Мне должно было исполниться сорок лет. Если бы я в ту пору погиб, от меня осталось бы только имя в ряду прочих сановных имен да греческая надпись в честь архонта Афин. С той поры всякий раз, когда я видел, как человек умирает в расцвете сил, а современники считают при этом, что в состоянии достаточно верно оценить и измерить все его успехи и все просчеты, я напоминаю себе, что в этом возрасте я что-то значил лишь в своих собственных глазах и в глазах немногих друзей, которые, наверное, порою сомневались во мне, как и я сам. Я стал сознавать, что очень мало людей успевает себя осуществить за отпущенный им жизненный срок, и я с большим пониманием сужу теперь об их трудах, ибо труды эти были прерваны смертью. Навязчивый образ несостоявшейся жизни приковывал мою мысль к одной точке, терзал меня, как нарыв. Неистовое же-

ление власти мучило меня подобно желанию любви, которое мешает любовнику есть, спать, думать и даже любить, пока все необходимые обряды не будут наконец свершены. Первоочередные дела казались мне ничтожными, коль скоро я лишен был возможности единовластно принимать те решения, которые определяют грядущее. Чтобы вновь обрести ощущение своей полезности, мне нужна была уверенность в том, что я действительно управляю. Тот самый дворец в Антиохии, где несколько лет спустя мне предстояло жить в исступлении счастья, был для меня лишь тюрьмой и, быть может, даже камерой смертника. Я тайно обращался к оракулам, к Юпитеру Аммону в Касталии, к Зевсу Долихену. Я велел привести ко мне волхвов; я дошел до того, что приказал найти в антиохийских узилищах преступника, которого приговорили к распятию на кресте, и в моем присутствии колдун перерезал ему горло — в надежде, что душа, в тот миг, когда она витает между жизнью и смертью, откроет мне будущее. Несчастный избежал таким образом гораздо более мучительной агонии, но мои вопросы остались без ответа. Я бродил ночами от амбразуры к амбразуре, от балкона к балкону по залам дворца, на стенах которого змеились трещины, оставшиеся после землетрясения, и производил на плитах астрологические расчеты, вопрошая мерцающие звезды. Но знаки грядущего следовало искать на земле.

Император снял наконец осаду с Хатры и решил вернуться на этот берег Евфрата — реки, которую ему вообще не надо было переходить. Начавшаяся к тому времени жара и неотступно преследовавшие нас парфянские лучники сделали это горькое возвращение еще более бедственным. Душным майским вечером я вышел из ворот города, чтобы встретить у берегов Оронта горстку людей, измученных лихорадкой, усталостью и тревогой, — больного императора, Аттиана и женщин. Траян пожелал проделать верхом на коне весь путь до самого дворца; он едва держался в седле; этот всегда исполненный жизненных сил человек до неузнаваемости изменился и выглядел так, будто смерть уже стояла у его порога. Критон и Матидия помогли ему подняться по ступеням, отвели в опочивальню, остались дежурить у его изголовья. Аттиан и Плотина поведали мне о некоторых эпизодах войны, которым не нашлось места в их кратких посланиях. Один из этих рассказов так взволновал меня, что навсегда вошел в число моих личных воспоминаний, дарованных непосредственно мне откровений. Едва достигнув Харакса, усталый император сел на морском берегу и обратил взор на медлительные воды Персидского залива. Это было тогда, когда он еще не сомневался в победе, но тут его впервые в жизни объяла тоска при виде бескрайности мира, ощущение собственной старости и ограничивающих всех нас пределов. Крупные слезы покатались по морщинистым щекам человека, которого все считали неспособным плакать. Вождь, принесший римских орлов к неведомым берегам, осознал вдруг, что ему никогда больше не плыть по волнам этого столь желанного моря; Индия, Бактрия — весь этот загадочный Восток, которым он всегда себя опьянял, — так и останутся для него только именем и мечтой. Всякий раз, когда и мне судьба отвечает: "Нет", я вспоминаю об этих слезах, пролитых однажды вечером на дальнем морском берегу усталым стариком, быть может, впервые трезво

взглянувшем в лицо своей жизни.

Наутро я поднялся к императору. Я ощущал себя его сыном и братом. Этот человек, всегда гордившийся тем, что живет и думает так же, как любой солдат его армии, кончал свои дни в полном одиночестве; лежа на постели, он по-прежнему строил грандиозные планы, но до них никому уже не было дела. Его сухой и резкий язык, как всегда, огрублял его мысль; с трудом выговаривая слова, он рассказывал мне о триумфе, который готовится ему в Риме. Он отвергал поражение так же, как смерть. Двумя днями позже с ним случился еще один приступ. Опять у нас начались тревожные совещания с Аттианом и Плотиной. Прозорливая Плотина добилась назначения моего старого друга на должность префекта преторианцев, поставив таким образом под наше начало императорскую гвардию. Матидия, которая не покидала покоев больного, была, к счастью, целиком на нашей стороне; впрочем, эта добрая и уступчивая женщина делала все, чего хотела Плотина. Однако никто из нас не осмеливался напомнить императору о том, что вопрос о передаче власти все еще остается открытым. Может быть, он, как Александр, решил, что не будет назначать наследника сам; может быть, у него были какие-то, одному ему ведомые обязательства перед партией Квиета. А скорее всего он просто отказывался признать близость смерти; так в иных семьях упрямые старики умирают, не оставив завещания. И дело не только в том, что им хочется до конца сохранить за собой свою власть и богатство, которые уже не в силах удержать их немеющие пальцы, но и в том, что они не желают раньше времени себя пережить, — впасть в состояние, когда человек не может уже принимать решений, не может никого удивить, чем-либо угрожать или что-либо обещать тем, кто остался в живых. Я жалел его: мы с ним были слишком разными людьми, чтобы он мог найти во мне того послушного, заранее обреченного на те же самые методы и даже на те же ошибки продолжателя, какого большинство монархов, вкусивших неограниченной власти, тщетно ищет у своего смертного одра. Но среди окружавших его людей не было ни одного государственного деятеля, я был единственным, кого он мог бы избрать, не пренебрегая своим долгом добросовестного должностного лица и великого государя; властитель, привыкший трезво судить о служебных достоинствах своих подчиненных, оказался чуть ли не вынужденным согласиться на мою кандидатуру. Впрочем, это было и прекрасным поводом меня ненавидеть. Понемногу его здоровье восстановилось настолько, что ему позволено было выходить из опочивальни. Он заговорил о новых походах, но сам в них не верил. Его врачу Критону, который опасался вредного действия летней жары, удалось наконец убедить его возвратиться в Рим. Вечером, накануне своего отплытия, он вызвал меня на палубу корабля, который должен был доставить его в Италию, и назначил меня главнокомандующим на свое место. Он пошел даже на это. Однако главного сделано не было.

Вопреки подученным распоряжениям я незамедлительно, но в полной тайне приступил к мирным переговорам с Хосровом. Я делал ставку на то, что мне, скорее всего, больше не надо будет отчитываться перед императором. Не прошло и десяти дней, как меня разбудил среди ночи гонец — я тотчас узнал в нем доверенного человека Плотины. Он принес мне два

послания. В одном из них, официальном, сообщалось, что Траян, не в состоянии перенести морское волнение, высадился в Селинунте, в Киликии, где он лежит тяжело больной в доме одного купца. Второе письмо, секретное, извещало меня о его смерти, которую Плотина обещала мне как можно дольше скрывать, что давало мне выигрыш во времени. Я тут же отправился в Селинунт, приняв все необходимые меры, чтобы обеспечить надежность сирийских гарнизонов. Едва я успел тронуться в путь, как новое письмо официально сообщило мне о кончине императора. Завещание, в котором он назначал меня своим наследником, было только что отправлено в верные руки в Рим. Все то, о чем я десять лет лихорадочно мечтал, что высчитывал, обсуждал или таил про себя, свелось к посланию из двух строк, начертанных по-гречески уверенным и мелким женским почерком. Аттиан, ожидавший меня на набережной Селинунта, был первым, кто приветствовал меня, наградив императорским званием.

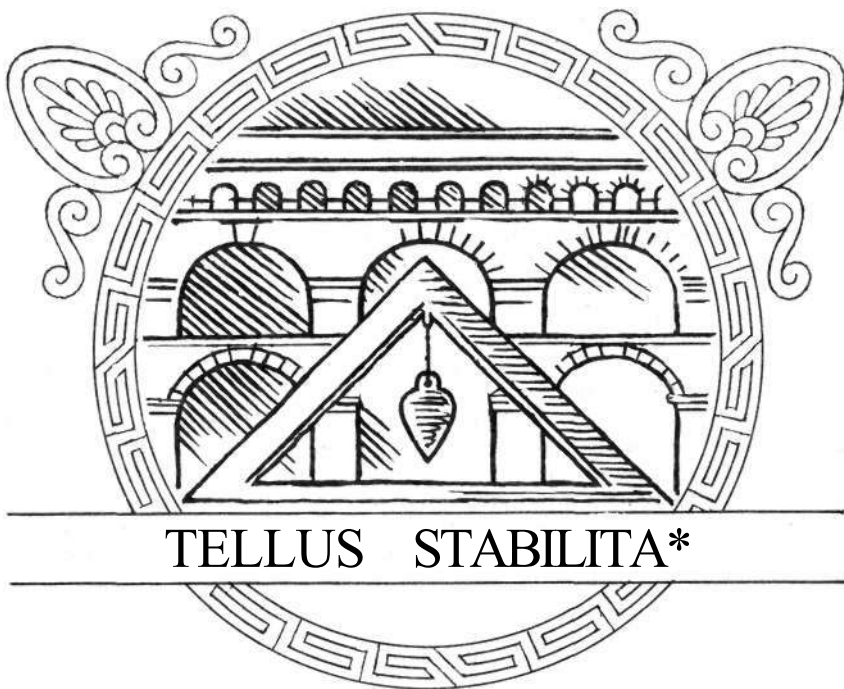
И вот здесь, на небольшом отрезке времени между высадкой больно-го и минутой его смерти, располагается одна из тех цепочек событий, которые я совершенно бессилён восстановить и на которых тем не менее зиждется моя судьба. Эти несколько дней, проведенных Аттианом и женщинами в доме киликийского купца, навсегда определили мою жизнь; но с этими днями произойдет то же самое, что и с тем пополуденным часом на Ниле, о котором мне тоже ничего никогда не узнать — и как раз потому, что знать об этом мне было необходимо. У любого римского зеваки есть свое мнение по поводу этих эпизодов моей жизни, я же остаюсь на сей счет самым неосведомленным из смертных. Мои враги обвинили Плотину в том, что, воспользовавшись агонией императора, она заставила умирающего набросать несколько слов, которые отдавали мне власть. Еще более грубые клеветники живописали ложе с пологом, слабый свет лампы и врача Критона, который диктует последнюю волю Траяна голосом, подражающим голосу умершего. Не упускали случая вспомнить и о том, что прислужник императора Федим, который меня ненавидел и молчание которого мои друзья не сумели купить, весьма своевременно умер от злокачественной лихорадки на другой день после смерти своего господина. Во всех этих картинах насилия и интриг есть нечто такое, что поражает воображение народа, да и мое тоже. Мне отнюдь не было бы неприятно, если бы несколько честных людей решились ради меня на преступление или если бы самоотвержение императрицы завело ее так далеко. Она понимала, сколь губительна для государства любая неопределенность в вопросе о власти, и я питаю к ней достаточно уважения, чтобы верить, что она пошла бы на необходимый подлог, если благо-разумие, здравый смысл, общественные интересы и дружба побудили бы ее к этому. Документ, столь яростно оспариваемый моими недругами, у меня в руках, но я так и не могу решить, насколько подлинным было это последнее решение, продиктованное умирающим. Разумеется, я предпочел бы верить, что Траян, пожертвовав перед смертью личным предубеждением, сам, по своей доброй воле, передал власть тому, кого он в конечном счете признал самым достойным. Однако, если говорить честно, цель была для меня в данном случае гораздо важнее, чем средства ее до-

стижения: главное, чтобы человек, пришедший к власти, мог потом доказать, что он ее заслужил.

Тело было сожжено на морском берегу вскоре после моего приезда; торжественное погребение должно было состояться в Риме. Почти никого не было на очень скромной церемонии кремации; она произошла на рассвете и явилась последним эпизодом в ряду тех домашних забот, которыми женщины окружали Траяна. Матидия плакала горячими слезами; дрожавший от жара костра воздух затуманил черты Плотины. Спокойная, сдержанная, немного осунувшаяся после перенесенной лихорадки, она была, как всегда, ясна и невозмутима. Аттиан и Критон проследили за тем, чтобы все сгорело надлежащим образом. Легкий дымок растворился в бледном воздухе раннего, еще лишенного теней утра. Никто из моих друзей не возвращался к событиям тех дней, которые предшествовали смерти императора. Очевидно, они дали себе слово молчать; я же дал себе слово не задавать опасных вопросов.

В тот же день вдовствующая супруга императора отбыла со своим окружением в Рим. Я вернулся в Антиохию, сопровождаемый на всем пути приветствиями легионов. Странное спокойствие овладело мной; честолюбие, страх — все сейчас казалось далеким кошмаром.

Я давно уже решил, что за императорские права буду бороться до конца при любом повороте событий; акт усыновления все упростил. Моя собственная жизнь больше не занимала меня; я снова мог думать о судьбах человечества.



Порядок вновь установился в моей жизни, но не в империи. Унаследованный мною мир походил на человека в зрелом возрасте, вполне еще крепкого (хотя опытный врач мог бы уже разглядеть едва заметные признаки старости), но только начинающего вставать на ноги после тяжелой болезни. Переговоры возобновились, отныне уже открыто; я повелел говорить везде, что сам Траян перед смертью поручил мне к ним приступить. Одним росчерком пера я отказался от опасных завоеваний — и не только в Месопотамии, где мы все равно не смогли бы удержаться, но и в Армении, стране слишком для нас непривычной и слишком удаленной; я сохранил ее для империи лишь как вассальное государство. Кое-какие помехи, из-за которых мирные переговоры могли бы затянуться на долгие годы, оказались эти проволочки выгодными для основных заинтересованных сторон, были устранены благодаря ловкости купца Опрамоаса, пользовавшегося у саппаров доверием. Я старался вести переговоры с тем пылом, который другие приберегают для поля брани, и чуть ли не силой принуждал своих партнеров к миру. Впрочем, они желали мира ничуть не меньше, чем я: парфяне мечтали о том, чтобы снова открыть торговые пути между нами и Индией. Прошло всего несколько месяцев после великих перемен, и я с радостью увидел, как по берегу Оронта опять потянулись верени-

* Земля, вновь обретшая твердость (лат.).

цы караванов; оазисы стали снова заполняться купцами; при свете костров, пылавших под котлами с едой, они обсуждали последние новости, а по утрам вместе со своими товарами увозили в неведомые страны и некоторую толлику наших мыслей, наших слов и обычаев, которым предстояло завоевать земной шар и сделать это прочней и надежней, чем делают боевые легионы. В глубинах гигантского организма мира стало опять циркулировать золото, и так же неуловимо и быстро, как животворная кровь в артериях, опять заструились идеи; биение пульса вновь пробудилось в жилах земли.

Жар мятежа в свой черед тоже начал спадать. В Египте он достиг одно время такого накала, что пришлось крайне спешно, до подхода наших частей, собрать крестьянское ополчение. Я сразу же поручил моему боевому товарищу Марцию Турбону навести там порядок, что он и выполнил с разумной твердостью. Но порядок на улицах был для меня всего только половиной дела, я хотел восстановить его по мере возможности и в умах, даже не столько восстановить, сколько раз и навсегда закрепить. Мое недельное пребывание в Пелузии целиком ушло на то, чтобы внести равновесие в отношения между греками и евреями, этими извечными антагонистами. Я ничего не повидал из того, что хотел увидеть, — ни берегов Нила, ни Александрийского музея, ни статуй в храмах; с трудом урвал я одну ночь для увеселений в Канопе. Шесть нескончаемо долгих дней прошли в кипящем котле трибунала, защищенного от наружной жары длинными, хлопавшими на ветру шторами из тонких деревянных планок. По ночам вокруг ламп с треском вились огромные комары. Я пытался доказать грекам, что они отнюдь не всегда вели себя мудро, а евреям — что они отнюдь не всегда действовали безупречно. Сатирические песенки, которыми простоватые греки изводили своих противников, не были ни на йоту умнее тех изощренных проклятий, которые раздавались в еврейских кварталах. У этих двух народов, живших рядом, бок о бок в течение веков, никогда не было ни любопытства, чтобы получше узнать друг друга, ни достаточного такта, чтобы друг с другом ужиться. Сутяги, которые, обессилев, покидали наконец поздней ночью здание трибунала, заставляли меня на рассвете все на том же месте за разбором мерзкой кучи ложных свидетельств; исколотые кинжалами трупы, которые мне представляли в качестве вещественных доказательств, часто оказывались выкраденными у бальзамировщиков телами людей, умерших от болезней в своей постели. И все же каждый час затишья был для меня победой, правда непрочной, как всякая победа, а каждый решенный спор — залогом на будущее. Меня мало тревожило то, что достигнутое примирение было примирением внешним, навязанным извне и, скорее всего, временным: я знал, что добро, как и зло, — дело привычки, что временное продлевается, что внешнее проникает внутрь и что маска становится в конечном счете лицом. Поскольку ненависть, глупость и нелепость легко пускают в душах прочные корни, я не видел причин, по которым ясность ума, доброжелательность и справедливость не могли бы укореняться так же прочно и глубоко. Порядок и спокойствие на границах будут немногого стоить, если я не смогу убедить старьевщика-еврея и колбасника-грека, что им нужно мирно жить друг с другом.

Мир был моей целью, но отнюдь не кумиром; мне неприятно слово

"идеал", потому что оно уводит от реальности. Я не раз думал о том, как хорошо было бы довести свой отказ от завоеваний до логического конца и уйти из Дакии, и я наверняка сделал бы это, если бы, не совершая безрассудства, мог полностью порвать с политикой моего предшественника; однако лучше было бы разумно использовать все те выигрыши, которые получены были до моего прихода к власти и которые уже стали достоянием истории. Превосходнейший Юлий Басс, первый наместник этой новой провинции, умер на своем посту, как мог погибнуть во время службы на сарматских границах и я, — умер под непосильным бременем неблагодарной работы, состоящей в том, чтобы непрестанно умиротворять страну, которую все уже сочли покоренной. Я распорядился устроить ему в Риме торжественные похороны, которых обычно удостоиваются только императоры; эти почести, оказанные доброму слуге, негласно принесенному в жертву, были последним моим протестом против политики завоеваний: мне уже не нужно было ее обличать, после того как я обрел право просто с нею покончить. Но в Мавритании, где агенты Лузия Квиета сеяли смуту, мне все же пришлось применить военную силу; поначалу эти карательные меры не потребовали моего присутствия. Так же обстояли дела и в Британии, где каледонцы воспользовались уходом наших частей, перебросивших в Азию, и перебили малочисленные гарнизоны, оставленные на границе. Юлий Север поспешил туда отправиться, в ожидании, когда я, наведя порядок в римских делах, тоже смогу предпринять это дальнейшее путешествие. Но я считал своим долгом собственноручно завершить сарматскую войну, где все оставалось еще в неопределенном состоянии, бросить туда необходимое количество войск, чтобы наконец покончить с грабительскими набегами варваров. Ибо здесь, как и везде, я не желал подчиняться каким-то правилам. Я принимал войну как одно из средств достижения мира, если переговоры не приводили к нужному результату; так врач решается произвести прижигание после того, как испробованы все другие средства. Все очень непросто в человеческих делах, и мое мирное правление тоже имело свои периоды войны, так же как в жизни великого полководца, хочет он того или нет, случаются и мирные перерывы.

Прежде чем вновь отправиться на север для окончательного урегулирования сарматского конфликта, я еще раз встретился с Квиетом. Кровавый палач Кирены был все так же опасен. В числе моих первых актов был роспуск его нумидийских отрядов; но за ним еще оставались и место в Сенате, и командная должность в регулярной армии, и те бескрайние, покрытые песками западные владения, которые он мог в случае необходимости превратить и в убежище, и в плацдарм. Он пригласил меня на охоту в Мизию, в густые леса, и искусно подстроил несчастный случай, который, будь у меня чуть поменьше везенья и физической ловкости, мог стоить мне жизни. Я почел за лучшее ничего не заметить, запастись терпением, выждать. Недолгое время спустя, в Нижней Мэзии, когда сарматские князьки капитулировали и я уже готовился возвратиться в Италию, я, обменявшись со своим бывшим опекуном шифрованными депешами, узнал, что Квиет, поспешно вернувшись в Рим, вступил в тайный сговор с Пальмой. Наши враги занялись укреплением своих позиций и перегрупп-

пировкой сил. Нечего было надеяться на какую бы то ни было безопасность, пока против нас выступали эти два человека. Я написал Аттиану, приказывая ему действовать без промедления. Старец нанес удар с быстротою молнии. Превысив данные ему полномочия, он разом избавил меня от всех моих главных врагов. В один день и почти в один час в Байях был казнен Целз, на своей вилле в Террацине — Пальма, в Фавенции, на пороге своего загородного дома, — Нигрин. Квиет был убит в дороге, на подножке своей колесницы, когда он возвращался в город после переговоров со своими сообщниками. По Риму прокатилась волна ужаса. Сервиан, мой зять и стародавний недруг, который внешне смирился с моей счастливой судьбой, но втайне алчно ожидал моих промахов, ощутил, должно быть, прилив такой сладострастной радости, какой не испытал за всю свою жизнь, — все мрачные слухи, ходившие обо мне, подтверждались.

Эти вести я получил на палубе корабля, увозившего меня в Италию. Они ошеломили меня. Человек всегда чувствует облегчение, когда избавляется от противников, но мой опекун отнесся к отдаленным последствиям своего деяния с поистине стариковской невозмутимостью: он забыл, что мне предстояло больше двадцати лет влачить за собой шлейф этих злодейств. Я думал о проскрипциях Октавиана, которые навсегда замяли память Августа, о первых преступлениях Нерона, за которыми последовали новые преступления. Я вспоминал о последних годах Домициана, этого вполне заурядного, не хуже других, человека, которого страх постепенно лишил всего человеческого и который умер у себя во дворце, как загнанный охотниками дикий зверь в чаще леса. Моя репутация подверглась серьезному испытанию: первая строка будущей надписи, мне посвященной, уже содержала несколько глубоко врезанных в камень слов, которых мне никогда не стереть. Сенат, это большое и такое слабое тело, становившееся, однако, могучим всякий раз, как оно испытывало давление, никогда не забудет о том, что четверо людей, вышедших из его рядов, были без суда и следствия казнены по моему приказу; трое интриганов и один жестокий палач отныне будут зачислены в разряд мучеников. Я тут же уведомил Аттиана, что ему надлежит присоединиться ко мне в Брундизии, чтобы дать мне отчет в своих действиях.

Он ждал меня возле порта, в одной из комнат того постоянного двора, обращенного окнами на восток, где некогда умер Вергилий. Хромая, он подошел к порогу, чтобы встретить меня, — у него был приступ подагры. Как только мы остались одни, я разразился упреками: правление, которое мне хотелось сделать образцом умеренности, началось четырьмя казнями, из которых необходимой была только одна, к тому же он не потрудился обставить их законными формальностями, а это чревато серьезными осложнениями. Подобное злоупотребление силой тем больше будет ставиться мне в вину, чем больше я буду в дальнейшем стараться проявлять милосердие, добросовестность и справедливость; все это будет использовано для того, чтобы доказать, что все мои мнимые добродетели — всего лишь серия масок, и чтобы создать обо мне легенду как о самом обыкновенном тиране; она будет сопровождать меня, пока существует История. Я признавался в терзавшем меня страхе: я чувствовал, что наряду с про-

чими человеческими недостатками мне свойственна и жестокость; я разделял ходячее мнение, которое утверждает, что одно преступление влечет за собой другое, и передо мной вставал образ зверя, однажды вкусившего крови... Старый друг, чья преданность всегда казалась мне безупречной, злоупотребил моим доверием, воспользовавшись слабостями, которые, как он считал, были мне свойственны: якобы оказывая мне услугу, он свел свои личные счета с Нигрином и Пальмой. Он бросил тень на дело установления мира, которому я себя посвятил; он сделал для меня возвращение в Рим сушим кошмаром.

Старик попросил разрешения сесть, положил на табурет свою обернутую бинтами ногу. Продолжая говорить, я набросил одеяло на его большую ступню. Он слушал меня с улыбкой учителя грамматики, удовлетворенного тем, как ученик справляется с трудным уроком. Когда я закончил, он неторопливо осведомился, как я сам рассчитывал поступить с врагами режима. В случае надобности можно будет всегда доказать, что эти четверо замыслили меня убить, — во всяком случае, они были заинтересованы в моей смерти. Любой переход от одного царствования к другому влечет за собой операцию чистки; в данном случае он взял ее на себя, чтобы мои руки оставались незапятнанными. Если общественное мнение потребует принести виновников в жертву, нет ничего проще, чем лишить его поста префекта преторианцев. Он предвидел эту меру и советует мне ее принять. Если для успокоения Сената этого окажется мало, он готов отправиться в ссылку.

Аттиан был моим опекуном, у которого я мог кланчить деньги, был советчиком в трудные дни, верным исполнителем всех моих поручений, но сейчас я впервые с интересом всматривался в это лицо с отвислыми, тщательно выбритыми щеками, в изуродованные болезнью руки, спокойно лежащие на набалдашнике эбеновой трости. Я достаточно хорошо знал всю жизнь этого благополучного человека, знал его жену, которой он дорожил и здоровье которой требовало неусыпных забот, знал его замужних дочерей, знал их детей, на которых он возлагал надежды, скромные и в то же время достаточно серьезные, как в свое время и на свою собственную карьеру; знал я и о его любви к изысканным блюдам, о его пристрастии к греческим камням и юным танцовщицам. Он отдавал мне предпочтение всегда и во всем, его первой заботой на протяжении тридцати лет было защищать своего воспитанника, а позднее служить ему. И для меня, предпочитавшего своей драгоценной персоне разве лишь идеи, планы и представления о том, каким я должен стать в будущем, для меня в этой преданности одного человека другому было нечто волшебное, непостижимое. Такой самоотверженности недостойн никто, и я по-прежнему не в состоянии ее себе объяснить. Я последовал его совету: Аттиан лишился своей должности. Его чуть заметная улыбка показала мне, что он ожидал, что я поймаю его на слове. Он был уверен, что даже искреннее сочувствие старому другу не помешает мне принять наиболее благоразумное решение; тонкий политик, он был бы огорчен, если бы я поступил по-другому. Не нужно преувеличивать серьезность его опалы: после нескольких месяцев, когда он пробыл в тени, мне удалось ввести его в Сенат. Это была наивысшая почесть, какую я мог воздать человеку

всаднического сословия. У него была безмятежная старость богатого римского всадника, пользующегося влиянием благодаря превосходному знанию семейных дел и юридических отношений; я часто бывал у него в гостях на вилле в Альбинских горах. Однако я не в силах забыть, что, как Александр накануне битвы, я совершил перед въездом в Рим жертвоприношение, и среди тех, кого я принес в жертву, был и Аттиан.

Аттиан оказался прав: золото уважения в своем чистом виде слишком непрочный металл, если к нему не добавить чуточку страха. Так случилось и с убийством четырех консуляриев, и с историей подложного завещания: честные души и благородные сердца отказывались верить в мою к этому причастность, циники же подозревали самое худшее, но тем громче мною восторгались. Рим успокоился, когда стало ясно, что я больше не держу ни на кого зла; радость, охватившая каждого, когда он почувствовал себя в безопасности, помогла быстро забыть об убитых. Людей восхищала моя кротость, потому что они считали ее целенаправленной, заранее вычисленной, сознательно предпочтенной насилию и жестокости — качествам, проявить которые мне было бы, по их мнению, столь же легко; люди восхваляли мое простодушие, ибо видели в нем некий расчет. Добродетели Траяна свидетельствовали о его скромности; мои добродетели изумляли всех куда больше; еще немного, и в них стали бы видеть порочную изощренность. Я был тем же человеком, что и прежде, но то, что раньше презиралось, теперь представлялось возвышенным; моя необычайная вежливость, в которой грубые умы усматривали проявление слабости, чуть ли не трусости, воспринималась теперь как нарядная и яркая оболочка силы. До небес превозносились и терпеливость, с какой я выслушивал просителей, и мои частые посещения больных в лагерных госпиталях, и дружеская непринужденность моих бесед с ветеранами, вернувшимися к домашним очагам. Но ведь все это ничуть не отличалось от моей обычной манеры обращения со слугами и арендаторами на виллах. У каждого из нас гораздо больше достоинств, чем это принято думать, но обнаружить их позволяет только успех — может быть, потому, что с этого момента люди начинают ждать, когда мы с нашими достоинствами расстанемся. Если людей удивляет, что владыка мира не ленив, не надмен и не жесток, значит, они тем самым признаются в собственных слабостях и пороках.

Я отказался от всех почетных званий. В первый месяц моего правления Сенат без моего ведома наградил меня целым букетом эпитетов, которые пышной бахромой украшают шею иных императоров. Дакийский, Парфийский, Германский... Траян обожал эти сладостные раскаты военных мелодий, похожие на кимвалы и барабаны парфянских полков; они вызывали в его душе радостный отклик; меня же они только оглушали и сердили. Я заставил все это отменить; временно отказался я и от прекрасного звания Отца Отечества, который Август принял тоже не сразу и достойным которого я себя еще не считал. Так же я поступил и с триумфом; было бы смешно на него соглашаться, если единственной моей заслугой в войне, по поводу которой он затевался, было то, что я поло-

жил ей конец. Те, кто увидел в моих отказах проявление скромности, ошибались, как ошибались и те, кто упрекал меня в гордыне. Мой расчет строился не столько на том, какое впечатление произведет выбранная мною позиция на других, сколько на том, какие преимущества она даст мне. Я хотел, чтобы мой престиж был моим личным престижем, чтобы он был неотделим от меня, чтобы его можно было измерять лишь гибкостью моего собственного ума, моей силой, моими поступками. Почетные звания, если им суждено прийти, пусть придут позже, и это будут звания другие, свидетельства более сокровенных побед, говорить о которых я пока не решался. Меня одолевала в ту пору другая забота: с наибольшей полнотой стать — или быть — Адрианом.

Меня обвиняют в том, что я мало люблю Рим. А он был так прекрасен в течение этих двух лет, когда государство и я примеривались друг к другу, он был прекрасен, этот город с узкими улицами, с запруженными толпой площадями, с кирпичами цвета старческого тела. Увиденный снова, после Востока и Греции, Рим казался окутаным какой-то странностью, которую римлянин, рожденный и выросший в Городе, должно быть, не замечал. Я заново привыкал к его влажным, в темной копоти, зимам, к его африканскому летнему зною, умеряемому свежестью водопадов Тибура и озер Альбы, к его почти деревенскому люду, который на провинциальный манер привязан к своим семи холмам, но которому честолюбие, жажда наживы, превратности побед и поражений постепенно позволили взять верх над всеми народами мира — над татуированным негром, над обросшим шерстью германцем, над худощавым греком и тучным жителем Востока. Я чуть-чуть избавился от своей прежней изнеженности, стал посещать общественные бани в часы, когда их заполняет простонародье; приучил себя выносить Игры, в которых я прежде видел только жестокую и ненужную трату сил. Мнение мое не изменилось: я ненавидел эти массовые убийства, в которых животное не имеет ни одного шанса выжить; но я постепенно стал понимать их обрядовое значение, их трагическое очищающее воздействие на невежественную толпу; я хотел, чтобы эти празднества сравнились своим блеском с празднествами Траяна, но проводились с большим мастерством и более упорядоченно. Я заставил себя находить прелесть в воинском искусстве гладиаторов, поставив, однако, условием, чтобы никого не принуждали заниматься этим ремеслом вопреки его воле. Я научился с высоты трибуны Цирка вести через герольдов переговоры с толпой, требовать от нее тишины с почтительностью, которую она воздавала мне сторицей, разрешать ей всегда только то, на что она имела право надеяться, и никогда не отказывать ей, не объяснив причину отказа. Я не приносил с собой в императорскую ложу книги, как это делаешь ты: простых людей оскорбляет, когда им кажется, что мы гнушаемся их удовольствиями. Бывало, что зрелище вызывало у меня отвращение, но усилие, которое я делал над собой, чтобы его вынести, оказывалось для меня опытом более ценным, нежели чтение Эпиктета.

Мораль — условность приватная; но соблюдение приличий — дело общественное;вольность поведения, чересчур бросающаяся в глаза, всегда производила на меня впечатление прилавка с недоброкачественным товаром. Я запретил смешанные бани, являвшиеся причиной постоянных

драк; я приказал расплавить и вернуть в государственную казну великолепный золотой сервиз, заказанный Вителлием. Многие прежние цезари снискали себе позорную репутацию охотников за чужим наследством, я поставил себе за правило не принимать ни в пользу государства, ни для себя лично никакого имущества, на которое могли бы претендовать прямые наследники. Я старался сократить непомерно разросшееся число рабов императорского дома и, главное, приструнить тех из них, кто начинал мнить себя ровней достойнейшим гражданам, позволяя себе порой даже оскорблять их, — как-то один из моих рабов сказал дерзость сенатору, и я распорядился дать этому человеку пощечину. Моя ненависть к беспорядку дошла до того, что я велел в Цирке, при огромном стечении народа, наказывать плетью расточителей, злобно уклоняющихся от уплаты долгов. Дабы избежать смешения рангов и званий, я настоял на том, чтобы сенаторы носили вне дома тогу с пурпуровой полосой — вещь весьма неудобную, как и всякая парадная одежда, носить которую я и сам принуждал себя только в Риме. Я вставал с места, принимая своих друзей; я проводил аудиенции стоя, ибо выслушивать людей сидя или лежа считал бесцеремонностью. Я приказал уменьшить неслыханное множество конных повозок, загромождающих наши улицы, ибо это излишество скорости само себя подрывает и в результате пешеход опять получает превосходство над сотнями экипажей, теснящихся на протяжении всей Священной дороги. Я взял обыкновение отправляться в гости в носилках; меня доставляли этим манером прямо в дом, и я избавлял хозяина от неприятной обязанности встречать и провожать меня на улице, под палящими лучами римского солнца или под пронизывающими порывами ветра.

Я вновь разыскал своих родственников; я чувствовал нежность к моей сестре Паулине, и даже Сервиан мне уже был не так противен, как прежде. Моя теща Матидия привезла с Востока первые симптомы своей смертельной болезни; я старался, как мог, отвлечь ее от страданий с помощью домашних застолий, где скромный глоток вина быстро опьянял почтенную матрону, сохранившую наивность юной девушки. Отсутствие моей жены, укрывавшейся у себя в деревне с очередным приступом дурного настроения, ничуть не омрачало этих семейных радостей. Пожалуй, она была единственным человеком, у кого я так и не завоевал симпатии; должен, правда, признать, что я никогда особенно не старался в этом преуспеть. Порой я навещал маленький домик, в котором вдовствующая императрица спокойно наслаждалась размышлениями и книгами. Здесь я вновь обретал прекрасное молчание Плотины. Она неприметно и тихо уходила в тень; этот сад, эти светлые комнаты все больше становились прибежищем музыки, храмом императрицы-богини. Ее дружба оставалась по-прежнему требовательной, но ее требования отличались мудрым благоразумием.

Я опять стал видаться с друзьями; мне на долю выпало редкое удовольствие после долгой разлуки возобновить наши встречи, заново оценить этих людей и дать им возможность заново оценить меня. Виктор Воконий, давний мой товарищ по забавам и литературным трудам, умер; я взялся сочинить надгробную речь; многие улыбались, когда я в числе достоинств покойного упомянул его нравственную чистоту, что опровер-

галось его собственными стихами. Но здесь вовсе не было грубого лицемерия, как это могло показаться: наслаждение, которому предаются со вкусом, представлялось мне целомудренным. Я приводил в порядок Рим, словно это был дом, хозяин которого, намереваясь со временем его покинуть, не хотел бы, чтобы дом от этого пострадал; новые мои помощники показывали, на что они способны; примирившиеся ныне противники ужинали на Палатинском холме с теми, кто был их друзьями в трудные времена. Нератий Приск набрасывал у меня на столе проекты законодательных реформ; архитектор Аполлодор объяснял нам свои чертежи; Цейоний Коммод, богатейший из патрициев, отпрыск древнего этрусского рода, в чьих жилах текла чуть ли не царская кровь, знаток вин и людей, прикидывал вместе со мной, какой тактики мне лучше держаться на ближайшем заседании Сената.

Его сын, Луций Цейоний, которому в ту пору едва исполнилось восемнадцать лет, оживлял эти сборища, которые я хотел бы видеть строгими, своим веселым изяществом юного принца. У него было много странных и милых причуд: страсть готовить для своих друзей редкие блюда, изощренная склонность украшать все вокруг цветами, безумная тяга к азартным играм и маскарадным костюмам. Его Вергилием был Марциал; с очаровательным бесстыдством декламировал Луций его исполненные сладострастия стихи.

На протяжении последующих лет я так часто терял Луция из виду и снова встречал, что образ его, который сохранился у меня в памяти, состоит из обрывков наложенных друг на друга воспоминаний и, должно быть, совсем не соответствует ни одной фазе его столь быстро пронесшейся жизни. Дерзкий законодатель римской моды; начинающий оратор, прилежно твердивший стилистические упражнения и спрашивающий моего мнения по поводу трудного пассажи; молодой командир, нервно теребящий свою редкую бородку; заходившийся кашлем больной, от постели которого я не отходил до самого его смертного часа, — все это было много позже. Образ Луция-отрока соприкасается с более потаенными уголками памяти: лицо, тело, бледно-розовый алебастр — живое подобие любовных посланий Каллимаха, ясных и обнаженных строк поэта Стратона.

Но я торопился покинуть Рим. Мои предшественники чаще всего уезжали из Рима для того, чтобы отправиться на войну; для меня же вне его стен начинались все мои великие замыслы, моя мирная деятельность, сама моя жизнь.

Оставалось свершить последнее дело — воздать Траяну триумф, идея которого неотвязно преследовала его, когда он был уже безнадежно болен. Триумф приличествует, пожалуй, только умершим. Пока мы живы, всегда находясь люди, которые готовы поставить нам в упрек наши слабости, как некогда Цезарю — его плешивость и его любовные связи. Но тот, кто умер, имеет право на это чествование, на эти несколько часов шумного великолепия перед веками славы и тысячелетиями забвения. Судьба покойного ограждена от превратностей; даже его поражения обретают пышность побед. Последний триумф Траяна прославлял не столько его успехи в борьбе с парфянами, довольно, впрочем, сом-

нительные, сколько то прекрасное напряжение сил, каким была вся его жизнь. Мы собрались для того, чтобы почтить императора, самого лучшего из всех, кого после одряхления Августа знал Рим, наиболее ревностно относившегося к своему труду, наиболее честного и наименее несправедливого. Его недостатки теперь стали теми неповторимыми черточками, благодаря которым мы признаем тождество мраморного бюста с тем, кто послужил ему моделью. Душа императора воспаряла к небесам, возносимая неподвижной спиралью колонны Траяна. Мой приемный отец становился богом, он занимал свое место в ряду тех воинственных воплощений бессмертного Марса, что из века в век сотрясают и обновляют наш мир. Стоя на балконе Палатинского дворца, я мысленно взвешивал свое несходство с Траяном и настраивал себя на достижение более мирных целей. Я начинал уже грезить о власти, напоминающей ту, какой обладают олимпийские боги.

Рим находится уже не в Риме — он или погибнет, или сравняется в конце концов с половиной мира. Эти крыши, эти террасы, эти дома, которые закатное солнце румянит таким прекрасным розовым светом, больше не опоясаны боязливо крепостными стенами, как во времена наших царей; добрую часть этих укреплений я сам возвел заново вдоль германских лесов и британских ланд. Всякий раз, как я видел издалека, за поворотом залитой солнцем дороги, какой-нибудь греческий акрополь и вокруг него город, в своем совершенстве подобный цветку и органично соединенный со своим холмом, как цветочная чашечка со своим стеблем, я ощущал, что это редчайшее растение ограничено самим своим совершенством и во всей своей законченности может существовать лишь в данной точке пространства и на данном отрезке времени. Единственная надежда распространиться дальше заключалась для него, точно так же как и для растения, в семенах — в посеве идей, которыми Греция оплодотворила весь мир. Но Рим более грузен и более груб, он без всякого плана раскинулся по берегам реки, он искони устремлен к захвату широких просторов — город превратился в государство. Мне бы хотелось, чтобы государство расширилось еще больше и определилось бы как порядок мира, порядок вещей. Достоинствам, которых было достаточно для малого города на семи холмах, нужно придать большую гибкость и большее многообразие, чтобы они сделались годными для всей земли. Риму, который я первым решился назвать Вечным городом, предстояло все больше и больше уподобляться богиням-матерям азиатских культов, давшим жизнь юношам и жатвам и прижимающим к своей груди львов и пчелиные ульи. Но всякое творение рук человеческих, притязающее на вечность, должно жить в согласии с изменчивым ритмом природных стихий, применяться ко времени звезд. Наш Рим — это уже не пастушеское селение времен древнего Эвандра, чреватое великим грядущим, которое отчасти стало уже прошлым; хищный Рим времен Республики выполнил свою роль; буйная столица первых цезарей сама теперь жаждет оспениться; придут и другие Римы, чей облик мне трудно себе представить, но чьему становлению я буду способствовать. Когда я посещал города древние, священные, но так и оставшиеся в прошлом и ныне уже ничего не значащие для человечества, я обещал себе избавить мой Рим от окаменевшей судьбы Фив,

Вавилона и Тира. Он вырвется из своего каменного тела; на идеях государственности, гражданственности, республиканских добродетелей он вздвигнет более надежный оплот своего бессмертия. В странах пока еще диких, на берегах Рейна, Дуная или Батавского моря, при виде любой огражденной частоколом деревни я вспоминал камышовую хижину, где, насытившись молоком волчицы, спали на куче навоза наши близнецы. Эти будущие города воспроизведут Рим. Над телами народов и племен, над случайностями географии и истории, над хаосом требований предков и богов мы должны, ничего не разрушая, навсегда утвердить единство человеческого поведения, основанное на мудром опыте. Рим будет продолжен каждым маленьким городком, власти которого заботятся о проверке точности весов у торговцев, об уборке и освещении улиц, об искоренении беспорядков, лени, страха и несправедливости, а также о разумном применении законов. Рим погибнет не раньше, чем падет последний город людей.

Humanitas, Felicitas, Libertas * — эти прекрасные слова, которые выбиты на монетах моего царствования, придуманы не мной. Любой греческий философ, почти каждый образованный римлянин хочет видеть мир таким же, каким он грезится мне. Однажды я слышал, как Траян, столкнувшись с каким-то несправедливым, в силу его чрезмерной категоричности, законом, вскричал, что тот больше не соответствует духу времени. Я бы хотел быть первым из тех, кто сознательно подчинит этому духу времени все свои действия, претворит его в нечто реальное, отличное от туманных мечтаний философа или смутных порывов доброго государя. Я благодарил богов, дозволивших мне жить в эпоху, когда основная задача заключается в том, чтобы осторожно переделывать мир, а не извлекать из хаоса еще не оформившуюся материю и не ложиться на труп, дабы пытаться его воскресить. Я поздравлял себя с тем, что наше прошлое было достаточно долгим, чтобы обогатить нас примерами, и недостаточно тяжким, чтобы мы были раздавлены этим грузом; что развитие нашей техники дошло до уровня, облегчающего соблюдение гигиены в городах, но не перешло еще за черту, после которой человек оказывается погребенным под ворохом бесполезных приобретений; что наши искусства, эти деревья, уже немного уставшие от обилия собственных плодов, еще в состоянии приносить замечательные урожаи. Я радовался тому, что наши культы, довольно свободные и весьма почитаемые, очищенные от всякой непримиримости и жестокой обрядности, таинственными путями приобщают нас к древнейшим грезам человека и земли, но не препятствуют нам в трезвом объяснении фактов и рациональном толковании поступков людей. Мне нравилось, наконец, и то, что сами эти слова о Гуманности, Свободе и Счастье не успели еще обесцениться от слишком частого их употребления.

Я знаю, что любая попытка облегчить человеческую участь наталкивается на возражение: люди, мол, этого недостойны. Но я без труда его отметаю: пока мечта Калигулы остается неосуществимой и весь человеческий род невозможно свести к одной-единственной, подставленной под нож голове, мы вынуждены терпеть людей, укрощать их, использовать в своих целях; и конечно же, нам выгодно приносить им пользу. Мои по-

* Гуманность, Счастье, Свобода (*лат.*).

ступки основывались на ряде наблюдений, которые я издавна производил над самим собой: любое вразумительное объяснение всегда меня убеждало, любая учтивость покоряла меня, переживаемое мною счастье почти всегда делало меня мудрым. И я пропускал мимо ушей благонамеренные речи тех, кто старался уверить меня, будто счастье размягчает человека, будто свобода его расслабляет, а гуманное отношение портит того, с кем мы гуманно обходимся. Возможно, так оно и есть, но бояться этого при нынешнем положении дел — все равно что отказываться досыта накормить голодного человека из опасения, что через несколько лет он начнет страдать полнокровием. Если люди даже и освободятся от чрезмерной кабалы, если они и избавятся от своих необязательных бед, то всегда останется в мире, для поддержания героических свойств человеческой природы, нескончаемая вереница подлинных бед — смерть, старость, неизлечимые болезни, неразделенная любовь, отвергнутая или обманутая дружба, серость обыденной жизни, оказавшейся менее яркой, чем она представлялась нам в наших проектах и рисовалась в мечтах, — все те горести, что коренятся в установленной богами природе вещей.

Должен признаться, я мало верю в благотворность законов. Когда законы слишком суровы, люди стараются их обойти, и это разумно. Когда они слишком сложны, людская изобретательность легко находит возможность проскользнуть между ячейками этой громоздкой и непрочной сети. Уважение к ветхим законам коренится в глубинных пластах человеческого благочестия; оно служит также удобным оправданием инертности судей. Самые древние из этих законов ведут свое происхождение от той дикости, исправлять которую они призваны; самые почитаемые из них по-прежнему остаются порождением силы и произвола. Большинство наших уголовных законов — может быть, к счастью — карает лишь малую долю виновных; наши гражданские установления никогда не будут достаточно гибкими, чтобы их можно было применять ко всему огромному и зыбкому многообразию фактов. Законы изменяются медленнее, чем обычаи; достаточно опасные, когда они от обычаев отстают, они делаются еще опаснее, когда пытаются их опередить. И все же из этого нагромождения рискованных новшеств и обветшалых привычек то здесь, то там, как в медицине, на поверхность выступает несколько полезных формул. Греческие философы научили нас глубже постигать человеческую природу; вот уже несколько поколений наших лучших юристов стремятся привести законы к здравому смыслу. Я сам занимался некоторыми из этих половинчатых реформ — только они одни и оказываются долговечными. Всякий закон, который слишком часто преступают, — плохой закон; законодательно надлежит упразднить или изменить его, дабы презрение, с которым люди начинают относиться к этому нелепому установлению, не распространилось на другие, более справедливые законы. Я поставил себе целью во имя благоразумия отказаться от бесполезных законов и сохранить небольшое число широко обнародованных разумных актов... Я чувствовал, что пришло время в интересах гуманности подвергнуть переоценке все старые законоположения.

Однажды в Испании, в окрестностях Таррагоны, когда я в одиночестве, без сопровождения, посетил полузаброшенный рудник, один из

рабов, почти вся жизнь которого прошла в этих подземных галереях, бросился на меня с ножом. Вопреки всякой логике он попытался выместить на императоре страдания своего сорокатрехлетнего рабства. Я легко его обезоружил и передал своему врачу; его ярость тут же улеглась, и он превратился в того, кем на самом деле и был, — в существо ничуть не глупее других и гораздо надежнее многих. Этот преступник, которого, если бы я применил тогда суровую статью закона, казнили бы на месте, сделался впоследствии полезным для меня слугой. Большинство людей похоже на этого раба: они угнетены сверх всякой меры, и потому долгие годы отупения сменяются у них внезапным бунтом, столь же неистовым, сколь бесполезным. Мне хотелось увидеть, приводит ли к таким вспышкам предоставленная в разумных пределах свобода, и было удивительно, что подобный опыт не прельстил и других государей. Этот осужденный на работу в рудниках варвар стал для меня символом всех наших рабов. Не было ничего невозможного в том, чтобы поступить с ними так же, как я обошелся с этим человеком, сделать их безопасными с помощью доброты — при том условии, что им заранее будет известно, сколь твердо разружившая их рука. Народы гибли потому, что им не хватало великодушия; Спарта прожила бы гораздо дольше, если бы это было выгодно илотам; Атлант не пожелал в один прекрасный день больше держать на себе тяжесть небесного свода, и его бунт сотряс землю. Мне хотелось по мере возможности оттянуть — а то и вовсе избежать — наступление того момента, когда варвары извне, а рабы изнутри обрушатся на мир, в отношении которого их принуждают блюсти почтительность и смирение, но все блага которого — не для них. Я стремился к тому, чтобы самому обездоленному из людей — рабу, выгребающему в городах нечистоты, голодному варвару, рыскающему возле наших границ, — было на пользу укрепление и благоденствие Рима.

Думаю, что вся философия мира не в силах отменить рабство; самое большее, что можно сделать, — это по-другому назвать его. Я вполне могу представить себе иные, чем наши, формы порабощения, куда худшие в силу своей большей завуалированности. Либо людей превратят в тупые, довольные своим существованием машины и они станут считать себя свободными, тогда как они полностью порабощены, либо у них сумеют развить, помимо обычных человеческих наклонностей, всепоглощающую страсть к работе, столь же неистовую, как тяга к войне у некоторых варварских племен. Этой порабощенности духа и человеческого воображения я предпочитаю наше реальное рабство. Но, как бы то ни было, ужасное состояние, ставящее одного человека в полнейшую зависимость от другого, требует тщательной законодательной регламентации. Я следил за тем, чтобы раб не был больше безымянным товаром, который продают, не заботясь о его семейных связях, не считался бы презренным существом, чьи показания судья запишет лишь после того, как подвергнет несчастного пытке, вместо того чтобы просто привести его к присяге. Я запретил принуждать рабов к позорному или опасному ремеслу, продавать их содержателям публичных домов или в школы гладиаторов. Пусть такими профессиями занимаются лишь те, кому они нравятся, — это только пойдет на пользу делу. В поместьях, управляющие которых злоупотребляли

силой, я по мере возможности заменил рабов свободными арендаторами. Наши сборники анекдотов полны историй о том, как гурманы бросают своих слуг на съедение муренам, но подобного рода вопиющие и легко наказуемые преступления — капля в море по сравнению с тысячами мелких безобразий и гнусностей, ежедневно творимых честными, но бессердечными людьми, и это ничуть никого не тревожит. Люди негодовали, когда я изгнал из Рима богатую и всеми уважаемую патрицианку, которая истязала своих старых рабов; общественную совесть куда больше возмущает небрежение неблагодарных детей к престарелым родителям, но я не вижу большого различия между этими двумя формами бесчеловечности.

Положение женщины у нас определено странными обычаями: она угнетена и защищена, слаба и всеильна, презираема и уважаема одновременно. В этой путанице противоречивых установлений социальное переплетается с природным; отделить одно от другого отнюдь не просто. Это столь зыбкое положение вещей, однако, гораздо более стабильно, чем может показаться: в массе своей женщины хотят оставаться такими, каковы они есть; они противятся переменам или используют их в своих целях. Нынешняя свобода женщин, более значительная или по крайней мере более очевидная, чем в предшествующие времена, является лишь одним из аспектов общественного прогресса в периоды процветания; однако ни прежние принципы, ни даже прежние предрассудки не оказались сколько-нибудь серьезно затронутыми. Искренне это делается или нет, но официальные восхваления и могильные надписи по-прежнему наделяют наших матрон теми же добродетелями — искусностью, целомудрием, неприступностью, — какие требовались от них при Республике. Впрочем, все эти перемены, действительные или мнимые, совершенно не коснулись ни известной вольности нравов простонародья, ни традиционной стыдливости горожанок, и только время покажет, насколько эти изменения долговечны. Слабость женщин, как и слабость рабов, предопределена их положением в обществе; сила же их сказывается в малых делах, где их власть почти безгранична. Мне редко случалось видеть дом, в котором не господствовали бы женщины; встречались мне и дома, где господствовал эконом, повар или вольноотпущенник. В финансовом отношении женщины по-прежнему официально подчинены той или иной форме опеки; практически же в каждой лавчонке Субуры торговки домашней живностью или фруктами полновластно царят за прилавком. Супруга Аттiana управляла имущественными делами семьи со сноровкой делового человека. Чтобы упорядочить законы, которые должны как можно меньше расходиться между собой в сферах своего применения, я предоставил женщине большую свободу распоряжаться своим имуществом, завещать или наследовать его. Я настоял на том, чтобы девушек не выдавали замуж без их согласия: это узаконенное насилие так же отвратительно, как и всякое другое. Брак в жизни женщин — самая главная сделка; будет только справедливо, если они станут заключать ее лишь по своей доброй воле.

Большинство всех наших зол проистекает из того, что у нас чересчур много людей или постыдно богатых, или отчаянно бедных. К счастью, в наши дни между этими двумя крайностями начинает устанавливаться некоторое равновесие: колоссальные состояния императоров и отпущенни-

ков ушли в прошлое, Тримальхион и Нерон мертвы. Но еще предстоит большая работа в области разумного экономического переустройства мира. Придя к власти, я отменил налоги, которые города добровольно платили императору и которые были не чем иным, как замаскированным грабежом. Советую тебе тоже их отменить. Полное аннулирование долгов, выплачиваемых частными лицами государству, было мерой более рискованной, но необходимой для того, чтобы окончательно избавиться от наследия десяти лет хозяйствования, полностью подчиненного задачам войны. За минувший век наши деньги обесценились, а это опасно: ведь стоимостью наших золотых монет определяется неколебимая вечность Рима; мы должны вернуть им силу и вес, твердо измеренные в вещах. Наши земли обрабатываются как попало: только привилегированные области, такие, как Египет, Африка, Этрурия и некоторые другие, смогли создать у себя крестьянские общины, научившиеся искусно выращивать хлеб и виноград. Одной из моих забот была поддержка этого класса, подготовка людей, которые могли бы передать свои навыки остальному сельскому населению, более отсталому или менее опытному. Я положил конец безобразному положению, когда крупные землевладельцы, которым нет дела до общественного блага, оставляют все свои земли под паром; всякое поле, которое не возделывалось на протяжении пяти лет, отныне принадлежит хлебопашцу, извлекающему из него пользу. Почти то же сделал я и с рудными разработками. Большинство наших богачей передает огромные суммы в дар государству, общественным учреждениям, императору. Многие поступают так из расчета, иные из добрых намерений, однако почти все в конце концов выигрывают на этом. Но мне бы хотелось, чтобы их щедрость приняла другие формы и проявилась не только в показательной щедрости доброхотов; мне хотелось бы научить их мудро увеличивать свои состояния в интересах всего общества, а не только ради обогащения собственных отпрысков. Исходя из этих соображений, я взял управление императорскими поместьями в свои руки, ибо никто не имеет права обращаться с землей, как скупец со своей кубышкой.

Наши негодянты зачастую оказываются нашими лучшими географами, лучшими астрономами, лучшими естествоиспытателями. Наши банкиры являются лучшими знатоками человеческой природы. Я старался использовать их знания; я изо всех своих сил боролся против ущерба, который наносится нашей экономике. Поддержка, оказанная судовладельцам, приумножила число торговых обменов с другими народами; мне удалось с небольшими затратами пополнить дорогостоящий императорский флот; в отношении ввоза товаров из стран Востока и Африки Италия — это остров, и, с тех пор как мы перестали обеспечивать себя своим собственным зерном, наше продовольственное снабжение целиком зависит от купцов, поставляющих нам хлеб. Единственный способ избежать риска в такой ситуации состоит в том, чтобы рассматривать этих столь необходимых нам деловых людей как государственных чиновников и держать их под неослабным контролем. Наши старые провинции достигли за последние годы процветания, которому мы могли бы способствовать еще больше, но важно, чтобы это процветание было на пользу всем, а не только банку Герода Аттика или какому-нибудь мелкому спекулянту,

который скупает масло в греческой деревне. Ни один закон не будет чрезмерно суров, если он позволит сократить число перекупщиков, которыми кишат наши города, обуздать это гнусное ненасытное племя, шушукующее по тавернам, торчащее за прилавками, готовое подорвать любую политику, если она не приносит ему прибыли немедленно. Разумное распределение государственных запасов зерна помогает сдерживать возмутительное вздувание цен в неурожайные годы, но я больше всего рассчитывал на объединенные действия самих производителей, галльских виноградарей, рыбаков Понта Эвксинского, чьи жалкие доходы поглощаются скупщиками икры и соленой рыбы, жиреющими на их труде и на тех опасностях, которым они себя подвергают. Одним из лучших дней моей жизни был день, когда я убедил группу моряков архипелага объединиться в артель и иметь дело с лавочниками непосредственно в городах. Никогда прежде я не ощущал так свою полезность как государя.

Для армии мир слишком часто является всего лишь периодом лихорадочной праздности между двумя сражениями; альтернативой бездействия и беспорядка оказывается подготовка к предстоящей войне, а потом и сама война. Я положил всему этому конец; мои регулярные посещения аванпостов были одним из средств держать эту мирную армию в состоянии полезной деятельности. Повсюду, на равнинах и в горах, вблизи лесов и среди пустынь, легион разворачивает или сосредоточивает свои сооружения, всегда совершенно однотипные, свои учебные поля, свои лагеря, возведенные в Кёльне для защиты от снега, а в Ламбезе — для защиты от пыльных бурь, свои склады, откуда все лишнее я приказал продать, свое собрание командиров, где высится статуя императора. Но единообразие здесь только внешнее: эти сменные казармы принимают всякий раз иную толпу вспомогательных войск; все народы и все племена приносят в армию свои особые качества и свое оружие, свои таланты пехотинца, всадника или стрелка из лука. Я обрел здесь в его изначальном виде то многообразие в единстве, которое было целью всей моей имперской политики. Я разрешил солдатам их национальные воинственные клики, позволил командирам отдавать приказы на своих языках; я одобрил браки наших воинов с женщинами варварских племен и узаконил их детей. Я старался всячески смягчить суровые условия лагерной жизни и следил за тем, чтобы с простыми солдатами обращались как с людьми. Рискуя сделать их менее мобильными, я хотел привязать их к тому клочку земли, который им предстоит защищать; я без колебаний разделил армию на самостоятельные округа. Я надеялся создать в масштабе империи некое подобие ополчения ранней Республики, когда каждый человек защищал свое поле и свое поместье. Более всего я заботился о том, чтобы усилить техническое оснащение легионов; я рассчитывал использовать эти военные центры в качестве рычага цивилизации, в качестве клина, достаточно прочного для того, чтобы постепенно вогнать его туда, где бы оказались бессильными хрупкие инструменты гражданских институтов. Армия становилась связующим звеном между населением лесов, степей и болот и изнеженными жителями городов, начальной школой для варваров, школой закалки и чувства долга для образованного грека, как и для молодого всадника, привыкшего к римскому комфорту. Я на своей шкуре испытал все труд-

ности и невзгоды этой жизни, я знал все мелочи армейского быта. Я отменил привилегии; запретил предоставлять слишком частые отпуска командирам; приказал освободить лагерь от залов для торжественных трапез командиров, от их увеселительных заведений, от дорогостоящих садов. Эти ненужные строения стали лазаретами, приютами для ветеранов. Мы набирали солдат с чересчур юного возраста и держали их в армии слишком долго; это было и невыгодно, и жестоко. Я все это изменил. Священная наука власти заключается в том, чтобы способствовать гуманности нашего века.

Мы не цезари, мы всего лишь должностные лица государства. Она была права, та истица, чью жалобу я однажды отказался выслушать до конца и которая воскликнула, что если у меня не хватает времени, чтобы ее слушать, значит, у меня не хватает времени, чтобы царствовать. Извинения, которые я ей тогда принес, не были пустой формальностью. Однако времени действительно не хватает: чем больше разрастается империя, тем больше различных рычагов власти сосредоточивается в руках главного должностного лица; этот обремененный делами человек неизбежно должен переложить часть своих обязанностей на других; его талант должен выражаться в умении окружать себя надежными людьми. Преступной ошибкой Клавдия и Нерона было то, что они по лени своей передоверили высокоотпущенникам и рабам роль своих советников и уполномоченных. Значительная часть моей жизни и моих путешествий была посвящена подбору командиров новой бюрократии, их обучению, разумной расстановке способных людей по местам, предоставлению среднему классу, в чьих руках судьба государства, возможностей выдвинуться по службе. Я прекрасно вижу всю опасность этих гражданских армий, которую можно обозначить двумя словами: возникновение шаблона. Эти системы колес, созданные на века, неизбежно расстроятся, если постоянно за ними не следить; мастеру надлежит беспрестанно регулировать их ход, предвидеть и предотвращать их износ. Но опыт показывает, что, несмотря на наши бесконечные старания выбирать достойных преемников, посредственных императоров куда больше, чем всех прочих, и каждое столетие власть получает как минимум один безумец. В кризисные эпохи этот хорошо отлаженный государственный механизм может продолжать выполнение основных своих функций и управлять империей в периоды — иной раз весьма продолжительные — между кончиной одного мудрого государя и приходом к власти другого. Некоторые императоры окружают себя толпой закovaných в колодки варваров, сборищем побежденных. Сформированный мною корпус должностных лиц образует совершенно иную свиту. Это личный совет императора; лишь благодаря входившим в него людям я мог на целые годы отлучаться из Рима, появляясь там лишь наездами. Я поддерживал с ними связь с помощью самых быстрых гонцов, а в случае опасности — сигналами семафоров. Члены совета в свою очередь окружили себя полезными помощниками. Компетентность советников — дело моих рук; их хорошо налаженная работа позволила мне приложить свои силы в других областях. Она позволит мне без особых тревог уйти в мир иной.

Из двадцати лет, что я нахожусь у власти, двенадцать я провел, не

имея постоянного местожительства. Я жил во дворцах азиатских купцов, в скромных греческих домах, на прекрасных, снабженных ваннами и калориферами виллах римских управляющих в Галлии, жил в лачугах, на фермах. Легкий шатер, полотняную и веревочную архитектуру я предпочитал всему остальному. Корабли, на которых я плывал, были не менее разнообразны, чем мои жилища; было у меня и свое собственное судно с гимнасием и библиотекой, но я слишком не любил оседлости, чтобы привязывать себя к одному какому-то дому, даже если он и плывал по водам. Прогулочная барка богатого сирийского владельца, военный римский корабль или каик греческого рыбака в равной мере устраивали меня. Единственной роскошью, которая мне требовалась, была скорость и все, что способствует ей, — самые лучшие лошади, лучшие колесницы, самый необременительный багаж, наиболее удобная одежда. Но главным источником силы было безусловно тренированное тело: пройти форсированным маршем двадцать миль не составляло для меня никакого труда; бессонная ночь была лишь приглашением к раздумью. Мало кто из людей надолго сохраняет любовь к путешествиям, к этой непрестанной ломке привычек, к этим бесконечным отказам от предрассудков. Я старался не иметь никаких предрассудков и по возможности — мало привычек. Я ценил дивную мягкость постелей, но не меньше ценил и ощущение земной тверди под собой, запах земли, каждую ее неровность. Я неприхотлив в еде, меня не удивит ни британской кашей, ни африканским арбузом. Однажды мне довелось отведать протухшей дичи, которая считается изысканнейшим лакомством у некоторых германских племен; желудок отказался принять эту пищу, но тем не менее опыт был произведен. Раз и навсегда определив свои вкусы, я во всем боялся рутины. Моя свита, которую я ограничил необходимыми мне и достойными людьми, не отгораживала меня от остального мира; я заботился о том, чтобы мои душевные движения не были стеснены, мое обращение с людьми было приветливым. Провинции, эти большие территориальные единицы, для которых я сам выбирал эмблемы — Британия со своими скалами или Дакия со своей изогнутой саблей, — означали для меня леса, в которых я искал тень, колодцы, из которых я пил, людей, случайно встреченных на привале, знакомые, а иногда и любимые лица. Я помнил каждую милю наших дорог — быть может, самого прекрасного из всего, что Рим подарил миру. Незабываемым было для меня мгновение, когда дорога кончалась на склоне горы и я начинал карабкаться от расщелины к расщелине, с камня на камень, чтобы встретить рассвет на вершине Пиренеев или Альп.

Кое-кто и до меня обошел и объехал землю: Пифагор, Платон, другие мудрецы, а также немалое число всяческих авантюристов. Но впервые путешественник являлся в то же время и хозяином, который волен смотреть, перекраивать, созидать. Мне выпала на долю редкая удача, и я понимал, что пройдут, возможно, века, прежде чем повторится такое счастливое сочетание возможностей мироустройства и темперамента. Вот тогда я и понял, какое великое преимущество — быть человеком нового склада, одиноким, по существу лишенным семьи, без детей, почти без предков, быть Улиссом, чья Итака существует только в его душе. Здесь я должен сделать признание, которого я не делал еще никому: у

меня никогда не было ощущения своей привязанности к какому бы то ни было месту, даже к моим возлюбленным Афинам, даже к Риму. Повсюду чужой, я нигде не чувствовал себя одиноким. Во время своих путешествий я упражнялся в различных ремеслах, которые входят в обязанности императора. Я надевал на себя военную жизнь, как надевают одежду, ставшую удобной, оттого что ее долго носили. Я без труда снова переходил на язык лагерей, на эту латынь, искажившуюся под натиском варварских наречий, расцветченную армейской бранью и немудреными шутками; я заново привыкал к громоздкому снаряжению учебных походов, к тому изменению равновесия, которое происходит во всем теле, когда ты держишь в левой руке тяжелый щит. Долгие годы финансовых расчетов вынуждали меня везде проверять счета, шла ли речь о целой азиатской провинции или о маленьком британском селении, попавшем в долги из-за строительства водолечебницы. О судебных делах я уже говорил. Мне приходят на ум аналогии с другими профессиями: странствующий лекарь, который, переезжая из порта в порт, лечит людей; дорожный рабочий, которого вызвали для того, чтобы он починил мостовую и запаял прохудившиеся трубы водопровода; надсмотрщик, который перебегает из конца в конец судна, подбадривая гребцов и стараясь при этом поменьше размахивать плетью. А ныне, сидя на террасе Виллы и глядя на рабов, обрезающих ветви и пропалывающих куртины, я думаю прежде всего о мудром садовнике, который присматривает за ними.

Мастера и умельцы, которых я брал с собой в путешествия, не причиняли мне забот: они не меньше, чем я, любили странствовать по свету. Но с людьми пишущими мне приходилось порой нелегко. Незаменимый Флегонт своими недостатками похож на старую женщину, но это единственный из моих секретарей, кто устоял перед соблазном использовать свое положение в корыстных целях, и я до сих пор не могу с ним расстаться. Поэт Флор, которому я предложил заниматься теми секретарскими делами, которые ведутся на латинском языке, воскликнул, что он вовсе не желает, подобно цезарю, страдать от скифских холодов и британских дождей. Долгие пешие переходы тоже были ему не по нраву. Я, со своей стороны, охотно оставил за ним право вкушать радости литературной жизни в Риме и посещать таверны, где люди каждый вечер встречаются для того, чтобы обменяться все теми же словами и подставить себя под все те же комариные укусы. Я пожаловал Светонию место хранителя архивов, что давало ему доступ к секретным документам, которые были нужны ему для биографий цезарей. Этого искусного человека, так удачно названного Транквиллом *, невозможно представить себе в каком-то другом месте, кроме библиотеки; он остался в Риме, где сделался одним из близких друзей моей жены, членом того узкого кружка брюзгливых рутинеров, которые собираются у нее, чтобы сетовать на несовершенство современного мира. Эта компания мне не очень нравилась; я велел уволить Транквилла в отставку, и он удалился в свой домик в Сабинских горах, чтобы там размышлять на досуге о пороках Тиберия. Фаворин из Арля некоторое время выполнял обязанности греческого секретаря —

* От латинского *tranquillus* - спокойный.

этот карлик с мелодичным голосом был не лишен пронизательности. То был один из самых извращенных умов, какие я только знал; мы с ним постоянно спорили, но его эрудиция восхищала меня. Меня забавляла его ипохондрия — он относился к собственному здоровью, как любовник к обожаемой возлюбленной. Слуга-индус готовил ему кушанья из риса, привезенного с Востока и стоившего больших денег; к сожалению, этот заморский повар плохо говорил по-гречески и еще хуже — на всех других языках; он ничего не смог мне рассказать о чудесах своей родной страны. Фаворин очень кичился тем, что совершил за свою жизнь три довольно редких дела: по рождению галл, он, как никто другой, освоил греческую культуру; занимая незначительную должность, он непрестанно ссорился с императором и не терпел от этого никаких неудобств, — странность, которую стоит скорее отнести на мой счет; импотент, он постоянно платил штрафы за прелюбодеяния. Его провинциальные обожателиницы доставляли ему массу неприятностей, из которых мне приходилось его выручать. Вскоре мне это надоело, и его место занял Эвдемон. Но все они, как ни странно, в целом хорошо мне служили. Уважение ко мне этой маленькой группы друзей и секретарей выдержало испытание тесной близостью совместных путешествий, и лишь богам известно, почему так случилось; но еще удивительнее, чем верность, была их неизменная скромность. Будущим Светониям достанется мало анекдотов на мой счет. То, что публика знает о моей жизни, раскрыл я сам. Мои друзья оберегали мои секреты, как политические, так и все прочие; правда, надо сказать, что и я по большей части так же относился к их тайнам.

Строить — означает сотрудничать с землей, оставлять следы человеческих деяний в пейзаже, тем самым навсегда изменяя его; это означает также содействовать тем медлительным переменам, из которых складывается жизнь городов. Сколько требуется усилий, чтобы определить точное место для моста или фонтана, чтобы выбрать для горной дороги тот единственно верный изгиб, который сделает ее экономически выгодной и в то же время придаст ее линиям чистоту... Расширение мегарской дороги преобразило пейзаж скиронских утесов; какие-нибудь две тысячи стадиев вымощенной плитами, снабженной водоемами и военными постами дороги, соединяющей Антинополь с Красным морем, привели к тому, что эра спокойствия сменила в пустыне эру постоянной опасности. На сооружение системы акведуков в Троаде пошли доходы пятисот азиатских городов, и я не считаю эту цену чрезмерной; карфагенский водопровод до некоторой степени возместил тяготы Пунических войн. Строительство укреплений было в конечном счете столь же необходимо, как и возведение плотин: это позволило определить линию, на которой берег или империя могут быть защищены, позволило найти позицию, где натиск волн или натиск варваров будет укрощен и остановлен. Углубить гавани значило обогатить красоту заливов. Учредить библиотеки значило еще и возвести общественные хранилища мудрости, разместить в них запасы, чтобы пережить зимнее ненастье духа, которое, как я предвижу, не за горами. Я многое перестроил — работая рука об руку с временем, представшим передо мной в обличии прошлого; я улавливал или изменял его суть, давая ему возможность устремиться к далекому будущему; я обретал

под камнями тайну источников. Наша жизнь коротка; о веках, которые предшествуют нашему веку или идут за ним следом, мы часто говорим так, будто они совершенно нам чужды; а ведь в моих играх с камнем я к ним прикасался. Эти стены, которые я укрепляю, еще хранят теплоту исчезнувших тел, и руки, которых еще не существует на свете, будут гладить стволы этих колонн. Чем больше я размышлял о своей смерти, а главное — о смерти того, Другого, тем больше старался удлинить наши жизни с помощью этих почти нетленных к ним добавлений. В Риме я охотней всего использовал долговечный кирпич, который очень медленно возвращается в землю, породившую его: оседание или неприметное распыление кирпича происходит таким образом, что строение остается горою даже тогда, когда оно уже утратило вид крепости, цирка или надгробного памятника. В Греции, в Азии я употреблял местный мрамор, материал замечательный, который, будучи единожды вырезан и обтесан, до такой степени сохраняет верность человеческим меркам, что в каждом обломке разбитого портика видишь замысел всего храма. Архитектура богата возможностями куда более разнообразными, чем можно было бы думать, исходя из четырех ордеров Витрувия; наши блоки, как и музыкальные тона, поддаются бесконечным комбинациям. Пантеон восходит к древней Этрурии прорицателей и колдунов; храм Венеры, напротив, сверкает на солнце округлостью ионических форм, изобилием белых и розовых колонн вокруг чувственной богини, от которой происходит род Цезаря. Храм Зевса Олимпийского словно должен был стать прогивовесом Парфенону — он водружен на равнине, тогда как тот возвышается на холме; он огромен, в то время как тот совершенен, — пыл неистовой страсти, припавшей к стопам безмятежности, великолешие у ног красоты. Святилища Антиноя и его храмы, волшебные покои, памятники таинственного перехода от жизни к смерти, молельни, исполненные великой боли и великого блаженства, были местами молитвы и нового явления бога; в них предавался я своей скорби. Моя гробница на берегу Тибра воспроизводит в гигантском масштабе древние усыпальницы на Аппиевой дороге, но сами пропорции преображают ее, заставляя думать о Ктесифоне, о Вавилоне, о террасах и башнях, восходя на которые человек приближается к звездам. Охваченный трауром Египет соорудил обелиски и аллеи со сфинксами для кенотафа, заставив безотчетно враждебный Рим помнить о друге, который никогда не будет в достаточной мере оплакан. Моя Вилла стала гробницей путешествий, последней стоянкой кочевника, выполненным в мраморе подобием шатров и балдахинов азиатских владык. Почти все из того, что нашему вкусу хотелось бы еще испытать и испробовать, в мире форм уже было до нас; я же окунулся в мир красок, где зеленая яшма напоминает о морских глубинах, а зернистый порфир подобен живой плоти, окунулся в мир базальта и тусклого обсидиана. Алые драпировки расцветали все более затейливыми узорами; золотистую, белую, темную мозаику полов или стен я все время надеялся увидеть еще более золотистой, более белой и более темной. Каждый камень являл собой странным образом отвердевшую волю, память, порой даже вызов. Каждое здание было осуществлением замысла, представавшего передо мною в мечтах.

Плотинополис, Андринополь, Антинополь, Адрианотер... Я, как мог, умножал количество этих человеческих ульев. Кровельщик и каменщик, инженер и архитектор способствуют рождению городов; но это дело требует и определенного колдовского дара. В мире, в котором еще преобладают леса, пустыни, нераспаханные равнины, особенно радостно видеть выложенную плитами улицу или храм, какому бы богу ни был он посвящен; особенно радует вид общественных терм и уборных, и заведение цирюльника, где хозяин обсуждает с клиентами римские новости, лавчонка пирожника или торговца сандалиями, и еще — книжная лавка, вывеска лекаря, театр, где время от времени играют какую-нибудь пьесу Теренция. Наши капризники жалуются на однообразие наших городов, они страдают, видите ли, от того, что повсюду встречаются одинаковые статуи императора, одинаковые акведуки. Они не правы, ибо красота Нима отлична от красоты Арля. Но даже само это единообразие, встречаемое на трех континентах, нравится путешественнику, как нравится сходство тысячелетних пограничных столбов; самые захолустные из наших городишек обладают успокоительной прелестью подставы, сторожевого поста или привала. Город — это творение рук человеческих, в котором, если хотите, существует своя монотонность, но это монотонность сотов, восковых ячеек, наполненных медом; город — место встреч и обменов, место, куда приходят крестьяне, чтобы продать продукты, и где они задерживаются, чтобы полюбоваться на роспись роскошного портика... Мои города рождались из встреч — из встречи с тем или иным уголком земли, из встречи моих императорских замыслов с теми или иными случайностями моей частной жизни. Плотинополис своим рождением обязан необходимостью учредить новые сельскохозяйственные банки во Фракии, но также и душевному желанию почтить Плотину. Адрианотер предназначен служить торговой конторой для лесников Малой Азии, но поначалу это было для меня лишь место летнего уединения — изобилующий дичью лес, срубленный из свежих стволов домик у подножия холма Аттиса, пенящийся поток, в котором я каждое утро купался. Адрианополь в Эпире стал крупным городским центром этой обедневшей провинции, но возник он в результате моего посещения храма Додоны. Андринополь — город крестьян и солдат, стратегический центр на краю варварских областей; он заселен ветеранами сарматских войн; я собственлично знал достоинства и недостатки каждого из этих людей, их имена, сколько лет каждый из них прослужил и сколько раз был ранен. Антинополь, самый дорогой мне из всех городов, родившийся на том самом месте, где произошло несчастье, теснился на узкой полоске бесплодной земли, между рекой и скалой. И это лишь укрепило мое стремление обогатить его за счет других средств: торговли с Индией, речных перевозок, искусного изящества греческой архитектуры. Нет на земле места, которое я меньше хотел бы повидать еще раз; мало найдется на земле мест, в которые я вложил бы больше забот. Он — одна непрерывная колоннада. Я переписываюсь с Фидом Аквиллой, правителем этого города, по поводу пропилеев городского храма, по поводу статуй его арки; я выбрал имена для его кварталов и демов — явные и тайные символы, наиболее полный каталог моих воспоминаний. Я сам набросал план коринфских колоннад, которые тянутся

вдоль берегов, переключаясь с правильными рядами пальм. Тысячи раз я мысленно обходил этот геометрически почти безукоризненный четырехугольник, разделенный параллельными улицами и разрезанный надвое триумфальным проспектом, идущим от греческого театра к гробнице.

Мы устали от статуй, мы пресыщены рисованными и лепными украшениями, но изобилие это — мнимое; мы неустанно воспроизводим несколько десятков одних и тех же шедевров, изобрести которые заново было бы нам сейчас не под силу. Я тоже приказал изготовить для Виллы копии Гермафродита и Кентавра, Ниобеи и Венеры. Я стремился, насколько возможно, жить в окружении этих мелодично-плавных форм. Я поощрял эксперименты с прошлым, умелую архаизацию, которая позволяет ощутить замысел старых художников, их давно утраченную технику. Я перебирал различные варианты, пытаюсь воплотить в красном мраморе Марсия с содранной кожей, в оригинале изваянного в мраморе белом, и тем самым перевести его в мир живописных образов, или старался пере дать в паросских тонах черную зернистость египетских статуй, превращая идола в призрак. Наше искусство — совершенно, или, говоря другими словами, законченно, но его совершенство предполагает модуляции, столь же разнообразные, как модуляции чистого голоса; нам предстоит заняться хитроумной игрой, которая состоит в том, чтобы постоянно то приближаться к этому раз и навсегда найденному решению, то отступать от него, доводя до предела строгую скупость или безоглядную щедрость выразительных средств и включая в эту прекрасную сферу все новые и новые построения. Наше преимущество в том, что позади у нас — тысячи возможностей для сравнения, что мы можем по собственной прихоти умно продолжать Скопаса или с наслаждением опровергать Праксителя. Знакомство с искусством варваров позволяет мне считать, что каждый народ ограничивает себя несколькими сюжетами и несколькими приемами из великого множества возможных сюжетов и приемов; каждая эпоха производит в свою очередь дополнительный отбор тех возможностей, которыми располагает каждый народ. Я видел в Египте скульптуры гигантских богов и царей; я обнаружил на запястьях сарматских пленников браслеты, на которых до бесконечности повторяется один и тот же мотив — летящие галопом кони или пожирающие друг друга змеи. Наше же искусство (я говорю об искусстве греков) остановило свой выбор на человеке. Лишь мы одни смогли выразить силу и ловкость, таящуюся в неподвижном теле; лишь мы одни, изваяв гладкий лоб, дали ощутить мудрость мысли, которую он скрывает. Подобно нашим скульпторам, я довольствуюсь человеческим образом и нахожу в нем все, вплоть до вечности. Лес, который я так люблю, воплощается для меня в образе кентавра; дыхание бури, на мой взгляд, ничто не выразит лучше, чем раздуваемое ветром покрывало морской богини. Предметы живой природы, священные символы обретают значение только тогда, когда они обогащены человеческими ассоциациями, — фаллическая или траурная сосновая шишка, чаша с голубями, навевающая образы послеполуденного отдыха возле бассейна, орел, уносящий возлюбленного в небеса.

Искусство портрета меня почти не интересовало. Наши римские портреты обладают ценностью хроник; это всего лишь копии, где старатель-

но переданы морщины и бородавки, это слепки с моделей, с которыми мы равнодушно встречаемся в жизни и которых сразу же забываем, когда они умирают. Греки же, напротив, настолько ценили человеческое совершенство, что почти не обращали внимания на индивидуальные особенности в лицах людей. Я лишь мимоходом взглядывал на свое собственное изображение, на загорелое лицо, искаженное белизной мрамора, на широко раскрытые глаза, на плотно сжатые мясистые губы, которые, казалось, дрожали, когда я старался придать им нужное выражение.

Trahit sua quemque voluptas *. У каждого своя склонность — а также и своя цель, свое, можно сказать, честолюбие, свои тайные вкусы и свой светлый идеал. Мой идеал был заключен в слове "красота", чье значение так трудно определить, несмотря на очевидные свидетельства наших чувств и наших глаз. Я ощущал себя ответственным за красоту мира. Я хотел, чтобы города были прекрасны, овеиваемы свежим воздухом, орошены прозрачными водами, населены человеческими существами, чьи тела не обезображены печатью рабства и нищеты или грубым высокомерием роскоши; я хотел, чтобы ученики звучными голосами заучивали свои уроки, свободные от школярских нелепостей; чтобы в движениях женщин, хлопочущих у семейного очага, ощущалось материнское достоинство и исполненный мощи покой; чтобы гимнасии посещались молодыми людьми, понимающими толк в искусствах и играх; чтобы в садах произрастали прекрасные плоды, а поля приносили щедрые урожаи. Я хотел, чтобы необъятное величие Римской империи осеняло без исключения всех, присутствуя всюду неощутимо и непреложно, как небесная музыка; чтобы самый смиренный странник мог переезжать из страны в страну, с континента на континент без стеснительных формальностей, не подвергаясь опасностям, уверенный в том, что он всюду встретит необходимый минимум законности и культуры; чтобы солдаты продолжали свою вечную пирихийскую пляску у наших границ; чтобы все действовало без помех — и мастерские, и храмы; чтобы море бороздили великолепные корабли, а по дорогам одна за другою бежали упряжки; чтобы в мире, подчиненном стройному порядку, нашлось место и философам, и танцорам. Этот довольно скромный идеал был бы легко достижим, если бы люди употребили для его воплощения часть той энергии, которую они тратят на дела нелепые или жестокие; счастливая случайность позволила мне в какой-то мере осуществить его на протяжении последней четверти века. Арриан Никомедийский, один из самых светлых умов нашего времени, любит напоминать мне прекрасные стихи, которыми старый Терпандр в трех словах определил спартанский идеал, тот совершенный образ жизни, о котором мечтал Лакедемон, так и не сумевший его достичь: Сила, Справедливость, Музы. Основой всего является Сила — строгость, без которой нет красоты, твердость, без которой нет справедливости. Справедливость определяет равновесие частей, совокупность гармоничных пропорций, которые не должна нарушать никакая крайность. Но Сила и Справедливость — лишь хорошо настроенный инструмент в руках Муз. Всякую нищету и страдания, всякое насилие следовало бы запретить как нанося-

* Каждого влечет свое удовольствие (*лат.*).

щие оскорбление прекрасному телу человечества. Всякое беззаконие стало бы тогда фальшивой нотой, которой не место в гармонии сфер.

Строительство или обновление фортификаций и лагерей, прокладка новых и приведение в порядок старых дорог держали меня в Германии почти год; новые форты, воздвигнутые на протяжении семидесяти миль, укрепили наши границы вдоль Рейна. Эта страна виноградников и бурных потоков не открыла мне ничего нового; я нашел там следы молодого трибуна, который нес Траян весть о передаче ему императорской власти. За нашим последним, сложенным из еловых бревен фортом я увидел все тот же однообразный темный горизонт и тот же мир, закрытый для нас после того, как Август опрометчиво направил туда свои легионы, тот же зеленый разлив лесов, ту же массу белокожих и светловолосых людей. Завершив переоборудование укреплений, я спустился, через белгские и батавские равнины, к устью Рейна. Унылые дюны, поросшие свистящими на ветру травами, составляли этот северный пейзаж; в порту Новиомага возведенные на сваях дома соседствовали с кораблями, причаленными у их порогов; на кровлях сидели морские птицы. Мне нравились эти печальные места, которые казались безобразными моим приближенным, это хмурое небо и мутные реки, бегущие по унылой земле, которой не касалась рука бога.

Плоскодонное судно доставило меня на остров Британию. Несколько раз ветер отгонял нас обратно к берегу, от которого мы отчалили; это трудное плавание подарило мне часы странной праздности. Гигантские тучи рождались из тяжелого моря, перемешанного с песком, беспрестанно вздымавшимся со дна. Как некогда у даков и у сарматов, я благоговейно созерцал Землю; здесь впервые я видел Нептуна в более хаотичном облики, чем у нас, видел бесконечный текучий мир. Я прочитал у Плутарха привезенную мореплавателями легенду об острове, расположенном в этих краях вблизи Сумрачного моря, куда в незапамятные времена олимпийские боги повергли побежденных титанов. Эти великие пленники скалы и волны, от века терзаемые не знающим отдыха океаном, лишенные возможности уснуть, но постоянно грезящие наяву, будут всегда противопоставлять олимпийскому порядку свое буйство, свою тревогу, свой непокорный, но вновь и вновь усмиряемый нрав. Я находил в этом мифе, отнесенном на самый край света, отголоски той философии, которая давно уже стала моею: каждый человек должен на протяжении всей своей краткой жизни постоянно выбирать между неутомимой надеждой и мудрым отказом от всякой надежды, между радостями необузданной раскованности и радостями устойчивости и постоянства, между титаном и олимпийский богом — всегда выбирать между ними, а если удастся, то в один прекрасный день и примирить их друг с другом.

Гражданские реформы, осуществленные в Британии, являются частью проделанной мною административной работы, о которой я уже говорил раньше. Здесь я хочу лишь отметить, что был первым императором, который мирно поселился на этом острове, расположенном на границах известного нам мира, где один только Клавдий решился в бытность свою

главнокомандующим провести несколько дней. По моему выбору Лондиний на всю зиму сделался тем фактическим центром мира, каким в свое время стала Антиохия в связи с парфянской войной. Так каждое путешествие перемещало центр тяжести власти то на берега Рейна, то на берега Темзы, позволяя мне наилучшим образом оценивать слабые и сильные стороны каждого из подобных мест в качестве императорской резиденции. Пребывание в Британии привело меня к мысли о возможности создать государство с центром на Западе, к мысли об атлантическом мире. Эта игра ума лишена практического смысла, но она перестает быть абсурдной, если человек, занимающийся такими расчетами, мысленно подарит себе для осуществления своих планов достаточно большой кусок будущего.

За три месяца до моего прибытия Шестой Победоносный легион был переведен на территорию Британии. Он заменил здесь злополучный Девятый легион, полностью уничтоженный каледонцами во время беспорядков, которыми столь ужасно отозвался в Британии наш поход на парфян. Во избежание повтора подобных катастроф необходимо было принять две меры. Наши войска были усилены за счет вспомогательных когорт, набранных из местного населения; в Эбораке, с вершины зеленого холма, я наблюдал первые маневры этой только что сформированной британской армии. В то же время возведенная нами стена, разделившая остров на две части в самом его узком месте, послужила защите более развитых и плодородных южных областей от набегов северных племен. Я лично следил за тем, как велось большинство из этих работ, начатых одновременно на линии протяженностью в восемьдесят миль; я использовал также возможность испытать на этом ограниченном пространстве — от одного берега до другого — систему обороны, которая впоследствии могла бы применяться повсеместно. Но даже это, казалось бы, чисто военное мероприятие способствовало миру и содействовало процветанию этой части Британии; на острове выростали селения; к нашим границам притекали свежие силы. На земляных работах вместе с легионерами были заняты воины вспомогательных когорт; возведение стены было для большинства этих горцев, еще вчера непокорных, первым непреложным свидетельством благотворного могущества Рима, а солдатское жалованье — первыми римскими монетами, которые они держали в руках. Укрепленный вал стал символом моего отказа от политики завоеваний; у подножия передового форта я повелел воздвигнуть храм бога Термина.

Все восхищало меня в этих сумрачных краях — опаловые полосы тумана по склонам холмов, озера, посвященные нимфам, еще более своенравным, чем наши, задумчивые сероглазые люди. Моим проводником был молодой трибун вспомогательной британской когорты; этот светловолосый бог выучился латыни, с грехом пополам болтал по-гречески и робко пробовал сочинять любовные стихи на этом языке. Однажды холодной осенней ночью он стал моим переводчиком при встрече с местной сивиллой. Сидя в продымленном шалаше кельтского угольщика, грея ноги, закованные в сапоги, несмотря на толстые штаны грубой шерсти, мы увидели, что к нам подползает древняя старуха, мокрая от дождя, растерзанная ветром, дикая и настороженная, как лесной зверь. Она с

жадностью набросилась на овсяные лепешки, которые пеклись в очаге. Моему проводнику удалось задобрить пророчицу, и та согласилась предсказать мне судьбу, взглядываясь в завитки дыма, летучие искры и хрупкую архитектуру хвороста и золы. Она увидела воздвигаемые города, радостные толпы, но также и города, уничтоженные огнем, и горестные вереницы побежденных, опровергавшие мои мечты о мире; увидела молодой нежный лик, явилось ей и некое белое привидение, которое, возможно, было всего лишь статуей, предметом еще более необъяснимым, чем призрак, для этой обительницы пустошей и лесов. И на расстоянии неопределенного числа лет разглядела она и мою смерть, о которой, впрочем, я знал и без нее.

Цветущая Галлия, изобильная Испания удерживали меня в своих пределах не так долго, как Британия. В Нарбоннской Галлии я снова встретился с Грецией, шагнувшей и в эти края, встретился с ее прекрасными школами красноречия, с ее великолепными портиками под безоблачным небом. Я задержался в Ниме, чтобы набросать проект базилики, посвященной Плотине и предназначенной стать впоследствии ее храмом. Семейные воспоминания привязывали императрицу к этому городу, что делало для меня еще более дорогим позлащенный солнцем пейзаж.

Однако мятеж в Мавритании еще не угас. Я сократил мою поездку по Испании и по дороге от Кордовы к морю даже не остановился в Италике, городе моего детства и моих предков. В Кадиксе я сел на корабль, отплывающий в Африку.

Покрытые тагуировкой красавцы воины с Атласских гор все еще тревожили своими набегами прибрежные африканские города. За недолгие дни своего пребывания в Нумидии я вновь пережил нечто сходное с перипетиями сарматской войны; я снова увидел, как одно за другим сдаются нам кочевые племена, увидел покорность горделивых вождей, простершихся ниц посреди пустыни, в окружении женщин, тюков и опустившихся на колени животных. Только вместо снега здесь были пески.

Мне было приятно встретить весну в Риме, снова увидеть строящуюся Виллу; здесь меня, как и прежде, ждали капризная приветливость Луция и дружба Плотины. Но мое пребывание в столице было почти сразу же прервано тревожным гулом войны. Не прошло еще и трех лет после заключения мира с парфянами, а на Евфрате уже опять начались серьезные стычки. Я незамедлительно отправился на Восток.

Я решил уладить эти пограничные инциденты средствами менее тривальных, чем введение в бой легионов. Была достигнута договоренность о личной встрече с Хосровом. Я повез с собой на Восток дочь императора, которую взяли в плен чуть ли не в колыбели, еще в ту пору, когда Траян занял Вавилон, и все это время держали как заложницу в Риме. Это была тоненькая девушка с большими глазами. Присутствие принцессы и ее слуганок несколько затруднило мое путешествие, которое я спешил завершить как можно быстрее. Эти закутанные в покрывала существа были перевезены через сирийскую пустыню на спинах верблюдов, в паланкинах с неизменно опущенными занавесками. Вечерами, во время привалов,

я посылал своих людей узнать, не испытывает ли принцесса в чем-либо нужды.

Я остановился на час в Ликийи, чтобы уговорить купца Опрамоаса, уже проявившего свои способности искусного посредника в переговорах, сопровождать меня в парфянские земли. Недостаток времени помешал Опрамоасу принять меня со свойственной ему пышностью. Этот изнеженный, привыкший к роскоши человек был тем не менее в дороге замечательным спутником, которого не смущали любые неожиданности пустыни.

Место встречи было назначено на левом берегу Евфрата, недалеко от Дуры. Мы переплыли реку на плоту. Солдаты парфянской императорской гвардии, в золотых доспехах, верхом на конях, убранных столь же роскошно, как и всадники, вытянулись вдоль реки ослепительно сверкающей линией. Мой неразлучный Флегонт был бледен как смерть. Даже сопровождавшие меня трибуны испытывали беспокойство: эта встреча могла оказаться ловушкой. Опрамоас, привыкший к восточным нравам, держался спокойно; судя по всему, его нисколько не тревожила эта причудливая смесь грохота и тишины, неподвижности и внезапного галопа, все это великолепие, брошенное на пустыню, точно ковер на песок. Что до меня, я странным образом не ощущал никакой тревоги: подобно Цезарю, доверившемуся лодке, я вверил свою судьбу дощатому плоту. Я подтвердил свою добрую волю, сразу передав парфянскую принцессу отцу, вместо того чтобы держать ее в расположении наших войск, пока я не вернусь. Я обещал ему также возратить золотой трон Аршакидов, увезенный в свое время Траяном; он был нам совершенно не нужен, тогда как по восточным поверьям он обладает великой ценностью.

Пышное великолепие моих свиданий с Хосровом было лишь внешним. По существу они ничем не отличались от переговоров между двумя соседями, которые стараются полюбозно разрешить спор о меже. Я имел дело с варваром, но при этом с человеком утонченным, говорящим по-гречески, вовсе не глупым, ненамного более вероломным, чем я, и довольно нерешительным, словно бы даже неуверенным в себе. Мои познания в области человеческой психики помогали мне уловить его ускользающую мысль; сидя напротив парфянского императора, я старался предугадывать, а вскоре и направлять его ответы; я как бы входил в игру: представлял себя Хосровом, который торгуется с Адрианом. Мне ненавистны бесполезные споры, когда каждый заранее знает, что он все равно уступит — или, наоборот, ни за что не уступит партнеру; я люблю откровенную прямоту в деловых разговорах, потому что она позволяет максимально все упростить и быстро двинуться вперед. Парфяне боялись нас; мы опасались парфян; из этих двух страхов могла родиться война. Восточные сатрапы стремились к этой войне, исходя из своих личных интересов: я очень скоро подметил, что у Хосрова были свои Квиеты и свои Пальмы; Фарасман, самый неугомонный из этих полузависимых князьков, поставленных на границах, был для парфянской империи еще опаснее, чем для нас. Впоследствии мне вменялось в вину, что я с помощью денег нейтрализовал это зловредное и безвольное окружение; я же считаю, что выгодно поместил деньги. Я был настолько уверен в превосходстве наших сил, что

мог пожертвовать мелким самолюбием; я готов был пойти лишь на те уступки, которые могли бы нанести ущерб моему престижу, но не больше. Самым трудным было убедить Хосрова, что я даю ему мало обещаний только потому, что собираюсь их выполнить. И все же он мне поверил — или сделал вид, что поверил. Наше соглашение, достигнутое в ходе этой встречи, до сих пор остается в силе; вот уже пятнадцать лет, как ни та ни другая сторона не нарушает мир на границах. Я рассчитываю на тебя и надеюсь, что ты позаботишься о том, чтобы так продолжалось и после моей смерти.

Однажды вечером, во время пиршества в императорском шатре, которое Хосров давал в мою честь, среди женщин и мальчиков с длинными ресницами я увидел нагого человека, изможденного, совершенно недвижимого; его широко раскрытые глаза, казалось, не замечали всей этой сумятицы, акробатов, танцовщиц, наполненных мясом блюд. Через переводчика я обратился к нему, но он не удостоил меня ответом. То был мудрец. Однако ученики его оказались более словоохотливыми; это были благочестивые пилигримы, которые пришли из Индии; их учитель принадлежал к могущественной касте браминов. Как я понял, медитации побудили его считать весь наш мир сочетанием иллюзий и заблуждений; самоистязание, отрешенность, смерть были для него единственным способом ускользнуть от той изменчивой волны вещей и явлений, на волю которой всецело отдавал себя наш Гераклит, и он надеялся, преодолев постигаемый чувствами мир, достичь той божественно чистой сферы, того твердого и пустого небосвода, о котором мечтал и Платон. При всей неуклюжести моих толмачей я уловил здесь идеи, которые не были чужды и некоторым нашим мудрецам, но индус выражал их более решительно и обнаженно. Этот брамин достиг того состояния, когда ничто, кроме собственного тела, не отделяло его больше от неосязаемого, лишенного сущности и формы божества, с которым он жаждал соединиться, — он решил сжечь себя заживо на следующий день. Хосров пригласил меня на это торжество. Был зажжен костер из ароматических дров; человек бросился в него и без единого крика исчез. Ученики брамина не выказали никаких признаков скорби: для них это не было погребальной церемонией.

Я думал об этом всю следующую ночь. Я лежал на ковре из тонкой шерсти в шатре, увешанном тяжелыми яркими тканями. Мальчик массирует мне ступни. Снаружи временами доносились звуки азиатской ночи: шепот рабов позади моей двери, легкое шуршание пальмы, храп Опрамоаса за занавеской, удары копыт стреноженной лошади, порою, в той стороне, где жили женщины, слышалась грустно воркующая песня. Брамин всем этим пренебрег. Этот человек, опьяненный своей идеей отказа от жизни, предал себя пламени — так страстный любовник устремляется к ложу. Он отстранил от себя предметы, людей и наконец себя самого, отстранил, отбросил, словно одежду, ибо все это скрывало от него ту единственную реальность, ту невидимую и ничего за собой не таящую точку, которую он предпочел всему остальному.

Я ощущал себя иным человеком, готовым к другим решениям. Самоистязание, отрицание, отрешенность были отчасти не чужды и мне — я вкυσил и от них, как это нередко случается с человеком в двадцать лет.

Тогда, в Риме, мне было даже меньше двадцати, когда я с моим другом посетил старого Эпиктета в его трущобе в Субуре, незадолго до того, как он был изгнан Домицианом. Бывший раб, которому жестокий хозяин перебил в свое время ногу, не вырвав из его уст даже стоны, высохший старик, терпеливо переносящий нескончаемые муки почечных коликов, он показался мне обладателем чуть ли не божественной свободы. Я с восхищением разглядывал костыли, соломенную подстилку, светильник из терракоты, деревянную ложку в глиняной миске — простые орудия чистой жизни. Эпиктет отказывался от излишка вещей, и я скоро понял, что для меня не было ничего легче, как пойти на подобный отказ, в чем и заключалась основная опасность. Индус был более логичен — он отверг самое жизнь. Мне было чему научиться у этих двух фанатиков, но при условии, что я решительно изменю смысл урока, который они мне преподали. Эти мудрецы стремились обрести своего бога по ту сторону бесконечного множества форм, свести божество к единственной, неосязаемой, бестелесной сущности, которую само оно отвергло в тот день, когда пожелало стать вселенной. Мне же мои отношения с богом рисовались совсем по-другому. Я полагал себя его соратником, содействующим ему в усилиях упорядочить мир, придать ему завершенность, развить и умножить разветвления и спирали этого мира, его извивы и повороты. Я был одним из сегментов колеса, одною из ипостасей этой единой силы, растворенной во всем многообразии вещей, был орлом и в то же время быком, человеком и лебедем, мозгом и фаллосом, был Протеем, который одновременно является Юпитером.

Примерно к этому времени я почувствовал себя богом. Пойми меня правильно, я по-прежнему и даже в большей степени, чем всегда, был все тем же человеком, вскормленным плодами земли, возвращающим почве остатки даруемой ею пищи, приносящим себя в жертву сну при каждом обороте светил, впадающим в беспокойство, доходящее до безумия, когда он надолго лишен жарких объятий любви. Моя сила, моя физическая и умственная живость поддерживались вполне человеческой гимнастикой. Но могу сказать лишь одно: все это переживалось мною как богом. Дерзким опытам юности наступил конец, наступил конец торопливой жажде поскорей насладиться дарами быстротекущего времени. В сорок четыре года я ощущал себя освободившимся от нетерпения, уверенным в себе, совершенным в той мере, в какой допускала это моя природа, ощущал себя вечным. Постарайся понять, что речь идет пока о чисто умственной концепции; вдохновение и восторг, если можно применить здесь эти слова, пришли позже. Я был богом потому, что был человеком. Божественные звания, которых потом удостоила меня Греция, лишь выразили во всеуслышание то, что я давно уже определил сам. Думаю, я мог бы чувствовать себя богом в тюрьмах Домициана или в рудничных шахтах. Я потому столь смело говорю об этом, что это чувство не кажется мне каким-то необыкновенным, присущим лишь мне одному. Его испытали или испытают в будущем многие другие.

Как я сказал, мои звания мало что добавляли к этой удивительной уверенности; но она всякий раз подтверждалась самыми простыми и повседневными заботами моего императорского ремесла. Если Юпитер —

мозг мира, то человек, занимающийся устройством и упорядочением людских дел, может с полным основанием считать себя частью этого мозга, который руководит всем сущим. Правы люди или заблуждаются, но они почти всегда видят в боге провидение; мои обязанности требовали от меня быть для части рода человеческого именно этим провидением во плоти. Чем дальше развивается государство, стискивая людей своими бесстрастными холодными кольцами, тем больше стремится человеческая вера поместить на другом конце этой цепи гигантскую фигуру обожаемого защитника и покровителя. Хотел я того или нет, восточное население империи видело во мне бога. Даже на Западе, даже в Риме, где нас провозглашают богами лишь после смерти, темному религиозному простонародью больше нравилось обожествлять нас при жизни. Вскоре признательные парфяне воздвигли храмы в честь римского императора, который восстановил и поддержал мир; мое святилище появилось в Вологезии — в глубине этого обширного и чуждого мне мира. Далекий от того, чтобы усматривать в этих знаках обожания грозящую мне опасность стать безумцем или тираном, я обнаружил в них некоторую узду, обязательство равняться на некую вечную модель и прибавлять к человеческому могуществу толику высшей мудрости. Быть богом обязывает в конечном счете к большим доблестям, нежели быть императором.

Полтора года спустя я повелел приобщить меня к Элевсинским таинствам. Визитом к Хосрову был в определенном смысле отмечен поворот в моей жизни. Вместо того чтобы вернуться в Рим, я решил отдать несколько лет греческим и восточным провинциям империи: Афины все больше становились моей родиной, моим очагом. Мне хотелось понравиться грекам, хотелось возможно больше эллинизироваться и самому, но это посвящение в таинства, частично вызванное политическими соображениями, стало для меня религиозным переживанием, не имеющим себе равных. Великие обряды обычно символизируют события человеческой жизни, однако символ глубже любого поступка, он объясняет каждое из наших движений в категориях вечной механики. Откровение, полученное в Элевсине, должно оставаться тайным; впрочем, его и невозможно разгласить, ибо по природе своей оно неизреченно. Будучи сформулировано, оно бы свелось к банальности; в этом и коренится его глубина. Самые высокие степени истины, которые были открыты мне впоследствии в ходе личных бесед с верховным жрецом, почти ничего не прибавили к тому первому потрясению, какое наверняка испытывает самый невежественный из паломников, принимающих участие в ритуальных омовениях и пьющих воду из священного источника. Я услышал, как диссонансы разрешаются гармоничным созвучием; мне стала на мгновение опорой какая-то иная сфера, я созерцал издалека и в то же время видел вблизи шествие людей и богов, в котором и я занимал свое место; я видел мир, в котором еще существует страдание, но больше нет заблуждений. Человеческая участь, этот смутный набросок, в котором даже самый неопытный глаз обнаруживает множество ошибок, мерцала передо мной, словно начертанная на небесах.

Именно здесь уместно, пожалуй, упомянуть о том пристрастии, которое всю жизнь влекло меня на дороги хоть и не столь сокровенные, как

пути Элевсина, но в конечном счете параллельные им: я говорю об изучении звезд. Я всегда был другом астрономов и клиентом астрологов. Наука этих последних является зыбкой, ложной в деталях, но, быть может, истинной в целом: поскольку человеком, этой частицей Вселенной, управляют те же законы, какие ведают небом, не будет нелепостью искать там, в вышине, главные линии наших жизней, те лишённые эмоций пристрастия, которые перемешиваются с нашими успехами и ошибками. Не было ни одного осеннего вечера, чтобы я не взглянул на юг и не приветствовал Водолея, небесного Виночерпия, Раздатчика благ, под знаком которого я рожден. Я не забывал отыскать, при каждом их прохождении, Юпитера и Венеру, что руководят моей жизнью, а также определить меру влияния злокозненного Сатурна. Но если преломлению наших человеческих судеб на звездном своде я нередко посвящал долгие часы ночных бдений, еще больший интерес испытывал я к небесной математике, к тем умозрительным построениям, на какие наталкивают нас эти огромные пылающие тела. Подобно самым дерзким из наших мудрецов, я был склонен считать, что Земля тоже участвует в этом ночном и дневном движении, человеческим подобием которого являются священные шествия Элевсина. В мире, где все представляет собой лишь круговорот сил, пляску атомов, где все пребывает одновременно сверху и внизу, на периферии и в центре, я плохо представлял себе существование неподвижного шара, намертво прикрепленной к своему месту точки, которая не была бы при этом в движении. Иногда вычисления прецессии равноденствий, установленной некогда Гиппархом Александрийским, заполняли мои бессонные ночи: я обретал в них, уже не в форме притчи или символа, а в виде непреложных доказательств, все ту же элевсинскую тайну ухода и возвращения. Ныне Колоса Девы нет больше на карте звездного неба в том месте, где его отметил Гиппарх, но колебание это есть свершенье какого-то цикла, и само изменение светил подтверждает гипотезы астронома. Постепенно, неотвратно наш небосвод станет снова таким же, каким он был во времена Гиппарха; он станет опять и таким, каков он сейчас, во времена Адриана. Беспорядок включался в порядок, изменение было составной частью того плана, который астроном сумел предвидеть заранее; человеческий ум обнаруживал здесь свою сопричастность Вселенной благодаря точным теоремам, так же как в Элевсине — благодаря ритуальным кликам и пляскам. Человек, наблюдающий светила, и светила, наблюдаемые человеком, неизбежно катились к своему концу, который определен был на небесах. Но каждый миг этого падения был временем остановки, вехой, отрезком некоей кривой, столь же прочной, как прочна золотая цепь. Каждое перемещение приводило нас к точке, которая в силу того, что мы случайно в ней оказались, представлялась нам центром.

С ночей моего детства, когда поднятая рука Маруллина указывала мне на созвездия, интерес к небесным явлениям не покидал меня. Во время вынужденных бодрствований на лагерных стоянках я созерцал луну, которая скользила сквозь тучи в небесах над землями варваров; позже, ясными аттическими ночами, я слушал, как астроном Терон Родосский объяснял мне свою систему мироустройства; растянувшись на палубе ко-

рабля, плывшего по Эгейскому морю, я смотрел, как медленно движется среди звезд бледное свечение мачты, перемещаясь от красного глаза Тельца к текучим, как слезы, Плеядам, от Пегаса к Лебедю, и отвечал, как умел, на наивные и серьезные вопросы юноши, созерцавшего вместе со мною эти же небеса. Здесь, на Вилле, я распорядился выстроить обсерваторию, и только болезнь не дает мне теперь подняться по ее ступеням. А однажды я принес в жертву созвездиям целую ночь. Это случилось после моего визита к Хосрову, во время перехода через сирийскую пустыню. Лежа на спине с широко открытыми глазами, на несколько часов отрешившись от всех и всяких земных забот, я с вечера и до восхода пребывал в этом пламенном и хрустальном мире. То было самое прекрасное из моих путешествий. Большая звезда созвездия Лиры — Полярная звезда людей, которые будут жить через десятки тысяч лет после того, как нас не станет на свете, — сверкала над моей головой. Близнецы слабо мерцали в последних отсветах заката; впереди Стрельца плыл Змееносец; Орел поднимался к зениту, широко распластав свои крылья, а под ним горело созвездие, еще никак не обозначенное астрономами, которому позже я дал самое дорогое мне имя. Ночь, никогда не бывающая абсолютно темной, какой она кажется тем, кто привык жить и спать только в комнатах, поначалу стала темнеть, затем посветлела. Костры, оставленные для того, чтобы отгонять шакалов, погасли; эти кучки раскаленных углей напомнили мне моего деда, стоящего в своем винограднике, и его пророчества, которые ныне исполнились, а потом тоже канут в вечность. Неоднократно и самыми разными способами я пытался слиться с божественным; я познал различные формы вдохновения и восторга; встречались меж них и жестокие, и волнующе-нежные. Восторг, пережитый мною в сирийской пустыне, был на удивление ясным. Он запечатлел во мне ход небесных светил с такой точностью, какой не могли дать никакие отдельные наблюдения. Сейчас, когда я пишу тебе, я с полной определенностью знаю, какие звезды проходят здесь, в Тибуре, над этим потолком, украшенным гипсовой лепниной и прекраснейшей живописью, и там, вдалеке, над дорогой мне могилой. Через несколько лет предметом моего постоянного созерцания сделалась смерть, и мыслям о ней я отдавал те силы моего духа, которые не поглощались государственными заботами. Тот, кто говорит о смерти, говорит о таинственном мире, доступ к которому, быть может, лежит через смерть. После стольких раздумий и опытов, порою предосудительных, я все еще не знаю, что происходит за этой черной завесой. Но сирийская ночь — это моя доля бессмертия.



Лето, последовавшее за моей встречей с Хосровом, прошло в Малой Азии; я сделал остановку в Вифинии, чтобы самому проследить, как ведутся работы по рубке государственных лесов. В Никомедии, городе чистом, ухоженном и ученом, я остановился у прокуратора провинции, Гнея Помпея Прокула, в древней резиденции царя Никомеда, где все сладостно напоминало о юных годах Юлия Цезаря. Ветерки, долетавшие с Пропонтиды, оведали эти прохладные и темные залы. Прокул, человек тонкого вкуса, устраивал для меня литературные собрания. Заезжие софисты, группы учеников и любителей изящной словесности собирались в садах, возле источника, посвященного Пану. Время от времени слуга погружал в него огромный кувшин необожженной глины; самые прозрачные стихи казались замутненными рядом с этой чистой водой.

В тот вечер читалась довольно малопонятная вещь Ликофрона, которая нравится мне буйными столкновениями звуков, дерзкими образами и намеками, сложной системой созвучий и отголосков. Какой-то мальчик, примостившись в сторонке, слушал эти трудные для восприятия строфы с видом рассеянным и задумчивым; мне сразу пришел на ум пастух в лесной чаще, лениво внимающий неясному птичьему крику. Мальчик не

*Золотой век (лат.).

принес с собой ни стилия, ни дощечек. Сидя на краю бассейна, он время от времени касался пальцами сверкающей глади. Я узнал, что отец мальчика занимал скромную должность в управлении императорскими поместьями; оставшись совсем еще малолетним на попечении дряхлого деда, он был послан к одному из патронов его родителей — судовладельцу в Нико-медии, который в глазах этой бедной семьи был богачом.

Я задержал его после ухода гостей. Мальчик оказался не очень грамотным, почти невежественным, но весьма смысленным и доверчивым. Я бывал в Клавдиополе, его родном городе; мне удалось вызвать его на откровенность, и он рассказал мне о родительском доме в краю сосновых лесов, снабжающих мачтами наши суда, о возвышавшемся на холме храме Аттиса, чьи пронзительные мелодии он так любил, о прекрасных конях своей страны и ее странных богах. Голос у него был чуть глуховатый, и греческие слова он произносил с восточным выговором. Внезапно, осознав, что его внимательно слушают и за ним наблюдают, он смутился, покраснел и замкнулся в упрямом молчании — манера, к которой я вскоре привык. С той поры мальчик сопровождал меня во всех путешествиях; начались сказочные годы.

Антиной был грек; бродя по дорогам воспоминаний этой древней, неясного происхождения семьи, я добрался до первых аркадских колонистов, поселившихся на берегах Пропонтиды. Но Азия добавила в эту кровь каплю меда, которая замутняет чистое вино и придает ему аромат. Я обнаруживал в нем суеверия учеников Аполлония и монархический фанатизм восточных подданных Великого Царя. Его отличала поразительная молчаливость; он следовал за мной как прирученное животное, как добрый дух. Мальчик был, как щенок, то игрив, то вял, то диковат, то доверчив. Этот великодушный пес, ждущий ласк и приказаний, привольно расположился в моей жизни. Я восхищался тем граничившим с надменностью безразличием, с каким он относился ко всему, что не входило в сферу его удовольствий или предметов его культа; оно заменяло ему и бескорыстие, и совестливость — все высокие добродетели. Я восторгался суровой нежностью, сумрачной преданностью, целиком поглощавшими это существо. И, однако, его покорность вовсе не была слепой; веки, столь часто опущенные, выражая согласие или погруженность в мечту, вдруг поднимались, и тогда самые внимательные в мире глаза смотрели мне прямо в лицо; я чувствовал, что меня оценивают и судят. Но оценивал он меня и судил, как верующий оценивает и судит своего бога: моя суровость, мои приступы подозрительности (ибо позднее они у меня случались) принимались терпеливо, с неизменной серьезностью. Единовластным господином и повелителем я был всего лишь раз в жизни и над одним-единственным существом.

Когда я обращаюсь к этим годам, мне кажется, то был Золотой век. Все было легко: то, что прежде требовало усилий, я делал теперь с неприужденностью, достойной бога. Путешествие было игрой — хорошо продуманным удовольствием, которое я умело использовал для дел. Работа становилась некоей формой сладострастия. Моя жизнь, в которой все — и власть, и даже счастье — приходило с опозданием, обретала великолепие ослепительного полудня, превращалась в солнечное забытие послеобеден-

ного отдыха, когда все тонет в золотистой дымке — и вещи в комнате, и человеческое тело, распростертое рядом. Любая страсть по-своему целомудренна, и это целомудрие так же хрупко и непрочно, как и всякое другое; человеческая красота переходит в разряд зрелищ, перестает быть добычей, которую обычно преследуешь, словно охотник. Это приключение, начавшееся столь банально, обогатило новыми красками мою жизнь, но также и упростило ее: будущее утратило всякую ценность, я перестал задавать вопросы оракулам, звезды были теперь для меня всего лишь восхитительными узорами на своде небес. Никогда прежде я с такой радостью не воспринимал бледную зарю над горизонтом среди островов, прохладу пещер, посвященных нимфам и ставших приютом для перелетных птиц, тяжелый полет перепелов в густеющих сумерках. Я перечитывал поэтов; иные показались мне лучше, чем прежде, но большинство — хуже. Я сам писал стихи, и они представлялись мне менее слабыми, чем обычно.

Я помню море деревьев — леса пробкового дуба и сосняка в Вифинии; охотничий домик с решетчатой галереей, где юноша, вновь обретая беспечность своей родной стороны, наугад пускал стрелы и, швырнув куда попало кинжал и золотой пояс, затевал на кожаном ложе шумную возню с собаками. Долины, казалось, впитали в себя тепло долгого лета; белый пар поднимался над лугами на берегу Сангария, где носились табуны необъезженных лошадей; на рассвете мы сбегали купаться к реке, раздвигая высокие травы, мокрые от ночной росы, а с неба свисал узкий полумесяц — стародавняя эмблема Вифинии. Я осыпал своими милостями этот край; он даже принял мое имя.

Зима настигла нас в Синопе; там в пору почти скифских морозов я торжественно открыл работы по расширению порта, начатые по моему приказу нашими мореплавателями. По дороге в Бизанций, при въездах в деревни, власти приказали сложить огромные костры, у которых грелась моя стража. Переправа через Босфор в снежный буран была прекрасна; прекрасно было все — поездки верхом по фракийским лесам, колючий ветер, забравшийся в складки плащей, стук бесчисленных капель дождя по листве и по кровле шатра, и наша остановка в лагере работников, которые должны были возводить Андринополь, и восторженная встреча, устроенная мне ветеранами дакийской кампании, и мягкая земля, на которой вскоре предстояло подняться стенам и башням. Поездка по дунайским гарнизонам привела меня весной в процветающее поселение, каким стала Сармизегетуза; вифинский мальчик носил тогда на запястье браслет царя Децебала. Мы возвращались в Грецию северным путем; я надолго задержался в орошаемой родниковыми водами Темпейской долине; лучившейся пламенем розового вина Аттике предшествовала золотистая Эвбея. Мы бросили лишь беглый взгляд на Афины; во время моего посвящения в таинства Мистерий я провел три дня и три ночи в Элевсине, смешавшись с толпою паломников, которые прибыли туда одновременно с нами, и единственной принятой мной предосторожностью было запрещение мужчинам носить при себе ножи.

Я повез Антиноя в Аркадию его предков; леса там были так же непроходимы, как и в те времена, когда в них обитали древние охотники на волков. Порою ударом хлыста всадник вспугивал змею; над камени-

стыми вершинами, словно в разгар лета, пылало солнце; привалившись спиною к скале и свесив голову на грудь, юноша дремал, и ветер тихонько шевелил его волосы — он был словно Эндимион, выбравшийся на солнечный свет из пещеры. Единственным огорчением этих безоблачных дней было то, что заяц, которого мой юный охотник с большим трудом приручил, был разорван собаками. Жители Мантиней с удивлением обнаружили свое родство с семьей вифинских колонистов, дотоле им неведомое; этот город, где впоследствии мальчику были посвящены храмы, я одарил богатством и щедро украсил. Лежавшее в развалинах святилище Нептуна, находившееся здесь с незапамятных времен, было столь почитаемо, что всякий доступ в него был под строжайшим запретом; таинства более древние, чем сам человеческий род, по-прежнему вершились за его постоянно замкнутыми дверями. Я возвел новый храм, гораздо более обширный, внутри которого старое сооружение покоится отныне словно косточка в сердцевине плода. На дороге, неподалеку от Мантиней, я приказал обновить гробницу, в которой Эпаминонд, павший в сражении, похоронен рядом со своим юным соратником, убитым в том же бою; колонна, на которой высечены стихи, высится как память той далекой эпохи, которую, если смотреть на нее из дали времен, все было исполнено простоты и благородства — нежность, слава, смерть. Пелопоннесские игры прошли в Ахайе с такой пышностью, какой люди не видывали с древнейших времен; возрождая эти великие празднества, я надеялся возвратить Греции ее былое единство. Охотничий азарт увлек нас в долину Геликона, позлащенную последними красками осени; мы остановились на привал у Нарциссова ключа, невдалеке от алтаря Амура, и здесь принесли в дар этому самому мудрому из богов наш трофей — шкуру молодого медведя, прибив ее к стене храма золотыми гвоздями.

Наконец судно, которое купец Эраст из Эфеса предоставил в мое распоряжение для плаванья вдоль архипелага, стало на якорь в Фалерской бухте; я поселился в Афинах, как человек, вернувшийся к родному очагу. Я позволил себе прикоснуться к этой красоте, отважился на попытку сделать этот замечательный город городом совершенным. После долгого периода упадка Афины вновь заселялись, вновь начинали расти; я вдвое расширил занятое ими пространство; я наметил возвести вдоль Илиса новые Афины — город Адриана рядом с городом Тесея. Предстояло все заново определить и разметить, все выстроить. Шесть веков назад работы по возведению огромного храма, посвященного Зевсу Олимпийскому, едва успев начаться, были прекращены. Мои рабочие принялись за дело; Афины снова познали радость энергичной деятельности и оживления, которой они не вкушали со времен Перикла. Я завершал то, что оказалось не по плечу Селевкидам; я восстанавливал то, что было разграблено Суллой. Необходимость надзора за работами вынуждала меня ежедневно сновать взад и вперед по лабиринтам хитроумных приспособлений среди машин и блоков, среди недостроенных колонн и белых каменных глыб, сложенных одна на другую под синими небесами. Многое напоминало здесь атмосферу всеобщего возбуждения, царящую при сооружении морских судов; поднятый со дна моря корабль отправлялся в будущее. По вечерам архитектура уступала место музыке — этим совсем иным, не

видимым глазу конструкциям. Я испробовал свои силы почти во всех видах искусств, однако искусство звуков — единственное, в котором я достиг определенного мастерства. В Риме мне приходилось скрывать свое пристрастие к музыке; в Афинах же я мог, соблюдая разумную меру, наконец ей предаться. Музыканты собирались в окруженном кипарисами дворе, у подножия статуи Гермеса. Нас было не больше шести-семи человек; оркестр составляли флейты и лиры, к которым иногда присоединялась и цитра. Сам я чаще всего брал в руки поперечную флейту. Мы играли старинные, ныне почти забытые мелодии, а также новые пьесы, специально сочиненные для меня. Мне нравилась мужественная суровость дорийских напевов, но мне не претили и страстные, надрывные перебои ритма, которых люди глубокомысленные, чья добродетель заключается в том, чтобы всего опасаться, избегают как слишком рискованных для слуха и сердца. Сквозь струны я видел профиль моего юного спутника, старательно исполнявшего свою партию в ансамбле, видел его пальцы, проворно бегающие вдоль туго натянутых жил.

Эта прекрасная зима была щедра на дружеские знакомства и встречи; богач Аттик, чей банк, не без выгоды для его владельца, финансировал мои градостроительные работы, пригласил меня в кефиссийские сады, где он жил в окружении целой свиты импровизаторов и модных писателей; его сын, молодой Герод, был истинным острословом, ярким и умным; он сделался постоянным участником моих афинских трапез. Он совершенно забылся от своей прежней робости, которая лишила его дара речи в тот день, когда афинские эфебы прислали его ко мне на сарматскую границу, чтобы поздравить с принятием императорской власти; но непомерное тщеславие Герода казалось мне смешным. Ритор Полемон, влиятельный деятель из Лаодикии, который состязался с Геродом в красноречии, а еще больше — в богатстве, восхищал меня своим азиатским стилем, своим размахом, безбрежным и блистающим, точно воды Пактола; этот искусный укладчик слов и говорил, и жил великолепно. Но всего дороже была для меня встреча с Аррианом Никомедийским, ставшим моим лучшим другом. Моложе меня лет на двенадцать, он уже тогда начал свою прекрасную политическую и военную карьеру, в которой он преуспевает и ныне, честно служа отечеству. Его опытность в государственных делах, его знание лошадей, собак и гимнастических упражнений ставили его неизмеримо выше всех краснобаев. В молодости он стал жертвой одной из тех странных прихотей ума, без которых, быть может, нет ни подлинной мудрости, ни подлинного величия: два года провел он в Никополе Эпирском, в крохотной, холодной и пустой комнате, в которой умирал Эпиктет; Арриан поставил себе целью собрать по крупицам и записать последние речи старого больного философа. Эти годы юношеского энтузиазма наложили на него свою печать; он вынес из них замечательные нравственные правила, суровую чистоту души. Он втайне подвергал себя истязаниям, о которых никто не подозревал. Однако и после долголетнего приобщения к стоическому режиму жизни он не закозлел в тенетах ложной мудрости: Арриан был слишком умен, чтобы не видеть, что в добродетели, как и в любви, существуют свои крайности, ценность которых именно в том, что они редки и каждая из них является единственным в

своем роде примером совершенства — прекрасного излишества. Он взял себе за образец ясный ум и безукоризненную честность Ксенофонта. Он писал историю своей страны, Вифинии. Я взял под свою личную юрисдикцию эту провинцию, долгое время из рук вон плохо управлявшуюся проконсулами; он помогал мне советами в моих планах преобразований. Этому усердному читателю сократовских диалогов были ведомы все сокровища героизма, преданности и даже мудрости, которыми Греция сумела облагородить дружескую привязанность одного человека к другому; он относился к моему юному любимцу с ласковой почитательностью. Оба вифинца говорили на том мягком ионийском диалекте, с почти гомеровскими окончаниями слов, который я потом уговорил Арриана использовать в своих произведениях.

В Афинах был в ту пору философ, провозглашавший умеренность и воздержание: Демонакт вел в своей хижине, в деревне Колон, примерную и полную радостей жизнь. Это был отнюдь не Сократ; в нем не было ни сократовской пронизательности, ни его задора, а главное — сократовского насмешливого добродушия. Комический актер Аристомен, вдохновенно исполнявший старую аттическую комедию, также принадлежал к числу моих искренних друзей. Я называл его своей греческой куропаткой: толстенький коротышка, жизнерадостный, точно ребенок или птица, он как никто знал обряды, поэзию и кухню старых времен. Он долгое время развлекал и обучал меня своим искусствам. Антиной привязался в ту пору к философу Хабрию, платонику, затронутому орфизмом, самому наивному человеку на свете; он относился к мальчику с преданностью сторожевого пса, которую позже перенес и на меня. Одиннадцать лет придворной жизни нисколько не изменили это простодушное, благочестивое, целомудренно погруженное в свои мечтания существо; он был слеп к интригам и глух к сплетням. Порой он наводит на меня скуку, но я не расстанусь с ним до конца своих дней.

Мои отношения с философом-стоиком Евфратом оказались не столь продолжительными. Он удалился в Афины после шумного успеха в Риме. Я взял его к себе чтецом, но страдания, которые с давних пор причиняла ему большая печень, и явившееся следствием этого ослабление организма привели его к убеждению, что жизнь не принесет ему больше утех, ради которых стоило бы продолжать свои дни. Он попросил у меня дозволения оставить службу и покончить жизнь самоубийством. Я никогда не был врагом добровольного ухода; я и сам подумывал об этом как о возможном конце в те трудные дни, которые предшествовали смерти Траяна. Эта мысль тогда преследовала меня; самоубийство представлялось мне самым легким исходом. Евфрат получил разрешение, которого он просил; я передал его через моего юного вифинца, быть может потому, что мне самому было бы по душе получить этот последний ответ из уст подобного вестника. В тот же вечер философ явился во дворец для непринужденной беседы, которая ничем не отличалась от всех других наших бесед; на следующий день он покончил с собой. В беседах с Антиноем мы снова и снова возвращались к этому случаю; в течение нескольких дней мальчик был очень расстроен. Это прелестное чувственное существо с ужасом относилось к смерти; однако я не замечал, чтобы Антиной всерьез задумывался о

ней. Что касается меня, в те дни я с трудом понимал, как можно добровольно покинуть мир, казавшийся мне прекрасным, как можно не использовать до конца, невзирая на все несчастья и беды, последнюю возможность мыслить, осязать и просто созерцать вокруг себя жизнь. Я сильно переменялся с тех пор.

Даты перемешиваются у меня в голове, память развертывает передо мной целую фреску, на которой громоздятся события и поездки разных лет. Судно, с превеликой пышностью оборудованное купцом Эрастом из Эфеса, обратило свой нос на восток, затем на юг и наконец к Италии, которая становилась для меня Западом. Мы дважды заходили на Родос; ослепляющий своей белизной Делос мы посетили сначала апрельским утром, а потом в лунную ночь летнего солнцестояния; плохая погода у побережья Эпира позволила мне продлить свой визит в Додону. В Сицилии мы задержались на несколько дней в Сиракузах, чтобы проникнуть в тайну источников Аретузы, Цианеи, прекрасных голубых нимф... Я вспомнил Лициния Суру, государственного деятеля, который посвящал свои досуги изучению водных чудес. Я слышал о том поразительном зрелище, какое представляет собой восход солнца над Ионическим морем, если смотреть на него с вершины Этны. Я решил предпринять восхождение на эту гору. Мы прошли через зону виноградников, потом через зону лавы и добрались до зоны снегов. Мальчик, словно танцуя, взбегал по обрывистым склонам; сопровождавшие меня ученые поднимались в гору верхом на мулах. На вершине был устроен приют, где мы должны были дожидаться зари. И вот она наступила; огромное покрывало Ириды распахнулось из края в край горизонта; причудливые огни засверкали на льдах; взору открылось земное и морское пространство вплоть до Африки, которую мы видели отчетливо, и Греции, которая лишь смутно угадывалась вдали. То была одна из вершин моей жизни. Здесь было решительно все — и золотистая бахрома по краю облака, и орлы, и виночерпий бессмертия.

Альционские дни и недели, солнцестояние моей жизни... Я не собираюсь сверх меры расписывать свое далекое счастье; напротив, мне надо бороться за то, чтобы образ его не показался чрезмерно слащавым; теперь даже память о нем нелегка для меня. Будучи гораздо более искренним, чем большинство людей, я без обиняков признаю тайные причины тогдашнего моего блаженства: душевный покой, столь благодетельный для трудов человека, для его духовных свершений, представляется мне одним из самых прекрасных плодов любви. И меня удивляет, что эти радости, такие непрочные и, под каким бы обличем они к нам ни являлись, так редко на протяжении человеческой жизни вкушаемые сполна, рассматриваются с великой подозрительностью мнимыми мудрецами, которые больше всего страшатся привычности этих радостей или их избытка, вместо того чтоб страшиться их отсутствия или утраты; они расходуют время на то, чтобы извращать их смысл, вместо того чтобы постараться облагородить ими свою душу. Неизменную чуткость, с какой я привык относиться к мельчайшим оттенкам своих поступков, я обратил в ту пору на то, чтобы укреплять свое счастье, полнее вкушать его, как можно вернее его оценивать; да и что, в конце концов, представляет собой наслаждение, как не страстную нашу чуткость? Счастье — всегда высокое произведение

искусства: малейшая оплошность искажает его, малейшая нерешительность губит, малейшая неловкость уродует, малейший вздор оглушает. Мое счастье не повинно ни в одном из тех моих промахов, которые впоследствии разбили его; до тех пор, пока я действовал в согласии с его духом, я поступал мудро. Я думаю, что человек более мудрый, чем я, мог бы быть счастлив до конца своей жизни.

Несколько позже, во Фригии, на том рубеже, где Греция сливается с Азией, мне предстал самый полный и самый светлый образ этого счастья. Мы стояли лагерем в том месте, пустынном и диком, где находится могила Алкивиада, который пал жертвой козней сатрапов. Я велел поставить на этой могиле, веками пребывавшей в небрежении, статую из паросского мрамора — изображение одного из тех людей, которых Греция любила более всего. Я распорядился также, чтобы там ежегодно производились поминальные обряды; жители соседней деревни присоединились к людям моей свиты для свершения первой из этих церемоний; в жертву был принесен молодой бычок; часть мяса оставили для вечернего пиршества. На равнине состоялись импровизированные конные состязания, потом были пляски, в которых с пылкой грацией участвовал молодой вифинец; а вечером, у последнего костра, он запел, откинув назад свою прекрасную сильную шею. Я люблю вытянуться на земле рядом с умершими, чтобы соразмерить с их жизнью свою собственную; в тот вечер я сравнивал ее с жизнью великого искателя наслаждений, который на склоне лет был пронзен здесь стрелами, защищаемый юным другом и оплаканный афинской куртизанкой. Моя молодость не могла соперничать с очарованием молодости Алкивиада, но моя многогранность не уступала его многогранности и даже превзошла ее. Я испытал не меньше, чем он, наслаждений, я больше, чем он, размышлял, и потрудился я много больше; мне, как и ему, выпало на долю странное счастье быть любимым. Алкивиад обольстил всех и вся, даже Историю, и все же оставил после себя груды мертвых афинян на ристалищах Сиракуз, слабо держащееся на ногах отечество и нелепо изувеченных богов на перекрестках дорог. Я управлял миром неизмеримо более обширным, чем тот, в котором жил этот афинянин; я изгнал из этого мира войны; я оснастил его, как прекрасный корабль, уходящий в плавание, которое будет длиться века; я как мог боролся за то, чтобы поддержать в человеке божественное начало, не жертвуя началом человеческим. И мое счастье было мне платой за это.

Потом был Рим. Но на этот раз ничто не вынуждало меня осторожничать, кого-то ободрять, кому-то нравиться. Дела принцепата поглощали меня целиком; двери в храме Януса, которые обычно распахивают во время войны, оставались плотно закрытыми; мои замыслы приносили плоды; процветание провинций благотворно сказывалось на метрополии. Я больше не отвергал звание Отца Отечества, которое было даровано мне еще в пору принятия императорской власти.

Не было уже в живых Плотины. Во время своего предыдущего приезда в город я в последний раз видел эту женщину с немного усталой улыбкой, в официальных документах именовавшуюся моей матерью; но она

была больше чем матерью — она была в моей жизни единственной женщиной-другом. На этот раз меня ждала лишь маленькая урна, установленная под колонной Траяна. По моему настоянию была проведена церемония посмертных почестей; вопреки обычаям империи я учредил девятидневный траур. Но смерть мало что изменила в нашей близости, которая годами могла обходиться без личного общения; императрица остается для меня тем же, чем она была всегда: духом, мыслью, обреченной с моей собственной мыслью.

Завершались некоторые из моих больших строительных работ: восстановленный Колизей, очистившийся от воспоминаний о Нероне, все еще осквернявших эти места, был вместо статуи этого императора украшен громадным изображением Солнца, Царя Гелиоса, в чем содержался намек на мое родовое имя — Элий. Заканчивалась отделка храма Венеры и Ромы, возведенного на месте скандального Золотого дома, где отличавшийся отсутствием вкуса Нерон выставлял напоказ свою добытую нечестными путями роскошь. Roma, Aeternitas — божество Вечного города впервые отождествлялось с Матерью Любви, вдохновительницей человеческой радости. Это была одна из главных идей моей жизни. Римское могущество обретало тем самым характер космический и священный, ту миролюбивую покровительственную форму, которую мне всегда хотелось ему придать. Временами я мысленно уподоблял покойную императрицу мудрой Венере, этой божественной советнице.

Боги все больше рисовались мне таинственно слившимися в единое Божество, представлялись бесконечно многообразными эманациями и равноправными проявлениями одной и той же силы; их противоречивость была лишь формой их общности. Сооружение храма Всех Богов — строительство Пантеона — стало моей неодолимой потребностью. Я избрал для этого место на развалинах бывших общественных терм, дарованных некогда римскому плебсу Агриппой, зятем Августа. От прежнего здания остались лишь портик да мраморная доска с посвящением римскому народу; она была бережно перенесена на фронтоном нового храма. Меня мало трогал тот факт, что на этом монументе, воплотившем в себе мой замысел, значилось мое имя, однако радовало то, что древняя, более чем столетняя, надпись связывала его с началом империи, с мирным правлением Августа. Даже там, где я вводил новшества, мне нравилось ощущать себя прежде всего продолжателем чужих деяний. Кроме Траяна и Нервы, официально ставших моими отцом и дедом, сам я связывал себя с двенадцатью цезарями, к которым был так суров Светоний; ясный ум Тиберия, но без его жестокости, эрудиция Клавдия, но без его слабости, склонность к искусствам Нерона, но лишенная его тупого тщеславия, доброта Тита, но без его дурного вкуса, бережливость Веспасиана, если отбросить его смехотворную скарденность, давали мне достаточно примеров для подражания. Эти властители сыграли свою роль в человеческих делах, и мне теперь предстояло выбрать из их деяний те, что я хотел бы продолжить, предстояло упрочить все лучшее из сделанного ими и исправить все худшее, чтобы впоследствии другие люди, в разной степени способные к этому, но в равной мере ответственные, взяли на себя задачу сделать то же с моими начинаниями.

Освящение храма Венеры и Рому было своего рода триумфом, который сопровождался состязанием колесниц, публичными зрелищами, раздачей приношений и благоволий. Двадцать четыре слона, на которых были доставлены к месту строительства огромные блоки — что значительно облегчило каторжный труд рабов, — живыми монолитами влились в общую процессию. Датой проведения празднеств был избран день рождения Рима, восьмой день вслед за апрельскими идами восемьсот семьдесят второго года от основания Города. Римская весна никогда еще не была столь ласковой, столь буйной, столь голубой. В тот же день, с более суровой и словно бы приглушенной торжественностью, состоялась церемония освящения в самом Пантеоне. Я собственной рукою исправил слишком робкие проекты архитектора Аполлодора. Используя греческие мотивы лишь в орнаментальных целях, для придания храму большей пышности, я в самой структуре его вернулся к давним, легендарным временам Рима, к круглым храмам древней Этрурии. Я пожелал, чтобы это святилище Всех Богов воспроизводило форму земного шара и звездной сферы — шара, в котором заключены истоки вечного огня, и вогнутой сферы, которая объемлет все сущее. То была также и форма первобытных хижин, откуда дым древнейших человеческих очагов выходил через проделанную в кровле дыру. Купол, сооруженный из прочной и легкой лавы, которая, казалось, еще продолжала кипеть в восходящем потоке пламени, общался с небом через большое отверстие, синее дном и черное ночью. Этот храм, со всех сторон открытый и вместе с тем сокровенный, был задуман как солнечные часы. Время будет вращаться по кругу над этими ларцами, которые так заботливо отполировали греческие мастера; диск дневного светила будет висеть над ними как золотой щит; дождь оставит на каменных плитах лужицы чистой воды; молитва уйдет, точно дым, в пустоту, которую мы заселили богами. Этот праздник явился для меня одним из тех мгновений, к которым, словно к одной-единственной точке, сбегаются все линии жизни. Я стоял на дне этого дневного колодца, и рядом со мною были люди моего царствования — материал, из которого складывалась моя судьба, уже более чем наполовину завершенная судьба человека на склоне лет. Вот Марций Турбон, верный, преданный слуга, с его суровой энергией, вот Сервиан, с его брюзгливым достоинством и с его критическими суждениями, которые произносились от раза к разу все более тихим шепотом и уже не достигали моего слуха, вот отличающийся царственным изяществом Луций Цейоний, и, немного поодаль, в светлом сумраке, который приличествует явлению богов, виднелось мечтательное лицо юного грека, ставшего для меня воплощением судьбы. Моя жена, тоже присутствовавшая на церемонии, только что удостоилась звания Августы.

Я издавна любил легенды о любовных похождениях богов и об их распрях, предпочитая их тяжеловесным пересудам философов о божественной сущности; я согласился бы стать земным отражением Юпитера, ибо он представлялся мне тем более богом, что был живым человеком, держителем вселенной, воплощением правосудия, порядка вещей, любовником Ганимедов и Европ, небрежительным супругом горестной Юноны. Мой ум, в тот день настроенный все видеть в ясном, лишенном теней

свете, сравнивал мою жену с этой богиней, которой во время моего недавнего посещения Аргоса я пожертвовал золотого павлина, украшенного драгоценными камнями. Я мог бы избавиться от этой нелюбимой женщины, разведясь с нею; будь я частным лицом, я сделал бы это без малейших колебаний. Но она меня почти не стесняла, и ничто в ее поведении не давало мне повода публично ее оскорбить. Будучи молодою женой, она возмущалась моими уклонениями от обязанностей супруга, но ее более всего, почти так же, как и ее дядю, раздражали мои долги. Как и большинству тех женщин, что мало чувствительны к любви, ей было недоступно понимание власти, которой обладает любовь; это неведение исключало в ее отношении ко мне как снисходительность, так и ревность. Она стала бы тревожиться лишь в том случае, если ее почетные звания или безопасность оказались бы под угрозой, но я не давал для этого повода. В ней уже не осталось и следа той девичьей грации, которая когда-то ненадолго меня привлекла; эта до срока состарившаяся испанка стала с возрастом неповоротливой и угрюмой. Меня радовало, что холодность помешала ей завести любовника, и было приятно, что она с достоинством носит покровы матроны, которые выглядели почти как покровы вдовы. Мне даже нравилось, что профиль моей супруги изображен на римских монетах, с надписями на обороте, прославлявшими то ее Целомудрие, то ее Спокойствие. Невольно вспоминался тот фиктивный брак, что был заключен в вечер Элевсинских празднеств между великой жрицей и гиерофантом, брак, который не был ни союзом, ни даже просто условным общением, но был ритуалом и по этой причине — актом священным.

Ночью, последовавшей за этим торжеством, я смотрел с высокой террасы, как пылал Рим. Эти ликующие огни не уступали тем пожарам, которые зажег Нерон; они были почти так же грозны. Передо мной лежал Рим — горнило, печь, но также и кипящий металл; молот, но также и наковальня — наглядное свидетельство того, что в истории вечно переплетаются концы и начала, одно из тех мест, где жизнь человеческая проявляется наиболее бурно. Трагический пожар Трои, из которого ускользнул беглец, забрав с собою дряхлого отца, юного сына и ларов, завершился в тот вечер праздничными огнями. Со священным ужасом я представлял себе грандиозные пожары грядущего. Миллионы жизней, прошлых, настоящих и будущих, сооружения, недавно рожденные от древних сооружений и предшествующие тем, которым еще только предстоит родиться, проходили перед моим мысленным взором как волны; по чистой случайности этот великий прибой разбивался в ту ночь у моих ног. Не буду останавливаться на тех мгновениях восторга, когда императорская багряница, священное одеянье, которое я так редко соглашался носить, была наброшена на плечи создания, обещавшего стать моим гением; мне не только хотелось отгнать эту пурпуровую густоту золотым свеченьем волос, но, самое главное, заставить свое Счастье, свою Фортуну, существа зыбкие и неверные, воплотиться в земную форму, обрести теплоту и успокоительную тяжесть плоти. Прочные стены Палатинского дворца, в котором я так мало жил, но который я недавно перестроил, светились, точно борта корабля; драпировки, раздвинутые для того, чтобы впустить римскую ночь, были полотнищами балдахина на корабельной корме; крики толпы —

шумом ветра в снастях. Огромный подводный риф, маячивший в туманной дали, — гигантские опоры моей гробницы, которую начинали уже возводить на берегах Тибра, — не вызывал во мне ни ужаса, ни сожаления, ни суетных мыслей о быстротечности жизни.

Понемногу все высвечивалось иным светом. Уже более двух лет ход времени отмечался поступательным движением юности, которая формировалась, зрела, восходила в зенит: мужал голос, привыкавший покрикивать на лоцманов и егерей; длинней становился шаг бегуна; ноги всадника увереннее подчиняли себе коня; школьник, который в Клавдиополе зубрил на память большие отрывки из Гомера, приохотился к поэзии причудливой и сладостной, увлекался пассажирами из Платона. Мой юный пастих становился молодым принцем. Это уже не был услужливый мальчик, который спешил на привалах спрыгнуть с коня, чтобы принести мне в ладонях ключевой воды; даритель знал теперь цену своим дарам. Во время охот, устраивавшихся во владениях Луция в Этрурии, я получал удовольствие, любясь этим прекрасным лицом рядом с тяжеловесными и озабоченными физиономиями сановников, рядом с заостренными чертами сынов Востока и толстыми рожами охотников-варваров; я приучал своего любимца к трудной роли друга. В Риме вокруг Антиноя плелись низкие интриги, кое-кто пытался обратить его влияние себе на пользу или занять его место. Углубленный в собственные мысли, этот восемнадцатилетний юноша отличался равнодушием — достоинством, какого не хватает порой мудрецам: он умел пренебрегать всей этой возней или просто не замечать ее. Но в уголках его красивых губ обозначилась горькая складка, что было отмечено скульпторами.

Мне не надо было ждать появления в моей жизни Антиноя, чтобы ощутить себя богом. Однако сопутствовавшая мне удача вскружила мне голову; казалось, сами времена года соревновались с поэтами и музыкантами моей свиты, превращая нашу жизнь в сплошной олимпийский праздник. В день моего прибытия в Карфаген кончилась пятилетняя засуха; обезумевшая от радости толпа, стоя под ливнем, бурно приветствовала меня как дарителя божественных благ; теперь предстояло, пользуясь небесными щедротами, продолжить великие работы в Африке. Незадолго до этого, во время короткой остановки в Сардинии, гроза заставила нас искать убежища в крестьянской хижине; Антиной помогал нашему хозяину поворачивать запекавшиеся над огнем куски тунца; я ощущал себя Зевсом, который в компании с Гермесом посетил Филемона. Юноша, сидевший, подобрав ноги, на кровати, казался мне Гермесом, развязывающим сандалии; виноградная гроздь была сорвана Вакхом, он же протягивал мне чашу розового вина; его пальцы, загрузевшие от тетивы лука, были пальцами Эрота. Среди всех этих преобразений, за очарованием всех этих славных имен, я порой забывал, что передо мной был самый обыкновенный человек, мальчик, который безуспешно пытался овладеть латынью и просил инженера Декриана давать ему уроки математики, но потом сам от них отказался и который в ответ на малейший упрек убегал на нос корабля и, сердито накупившись, глядел в море.

Поездка по Африке завершилась в только что выстроенных, залитых жарким июльским солнцем кварталах Ламбезы; мой спутник с детским восторгом надел военные латы и тунику; я же стал на несколько дней Марсом — с обнаженным торсом и в каске, я принимал участие в военных упражнениях, я ощущал себя атлетом Гераклом, опьяненным собственной — молодой — силой. Несмотря на жару и на тяжелые земляные работы, законченные к моему приезду, армия действовала с чудесной слаженностью; приказать какому-нибудь бегуну преодолеть лишнее препятствие, заставить какого-нибудь всадника выполнить лишнее упражнение означало бы повредить маневрам, нарушить точное равновесие сил, составляющее красоту учений. Я смог указать командирам лишь на одну-единственную, незначительную ошибку, когда кони были оставлены без прикрытия во время учебной атаки в открытом поле; я был доволен префектом Корнелианом. Разумный порядок чувствовался в движении этих людских масс, тягловых животных и представительниц варварских племен, которые, в окружении пышущих здоровьем детей, подходили к лагерю, чтобы поцеловать мне руки. В этой покорности не было раболепия; я видел в ней поддержку своей программы безопасности границ; сейчас нельзя было останавливаться перед затратами, нельзя было ничего упустить. Я поручил Арриану написать трактат по тактике, выверенный и точный.

Освящение храма Зевса Олимпийского в Афинах послужило поводом для празднеств, которые очень напоминали римские торжества; но то, что в Риме происходило на земле, здесь было перенесено в небеса. Золотым осенним днем я занял место под портиком, который соответствовал гигантским размерам Зевса; этот мраморный храм, возведенный на холме, откуда Девкалион увидел, как кончается потоп, утратил, казалось, свой вес и парил в вышине, словно большое белое облако; мои ритуальные одежды перекликались с красками заката, пылавшего над совсем близким Гиметтом. Я поручил Полемону произнести торжественную речь. Тогда-то Греция и пожаловала мне те божественные имена, в которых я вижу одновременно основу своего престижа и сокровеннейшую цель всех моих трудов: Благодетель, Олимпиец, Лучезарный, Владыка мира. И наконец, самые прекрасные из почетных званий, те, что труднее всего было заслужить: Ионийский, Почитатель Греции. В Полемоне было что-то актерское, но в игре большого актера всегда выражаются чувства, разделяемые толпой — всеми его современниками. Прежде чем начать свою речь, он обратил глаза к небесам, словно собираясь с силами и впитывая в себя неповторимость этих мгновений. Мои труды проходили в содружестве с долгими веками, с самой греческой жизнью; величайший авторитет, заслуженный мною, приистекал не столько от моей власти, сколько от некоего таинственного могущества, которое недоступно человеку, но проявляется во всей полноте лишь в деяниях человеческой личности; брак Рима с Афинами свершился; минувшее вновь обретает облик грядущего; Греция вновь отправляется в путь, словно корабль, задержанный долгим безветрием в гавани, но теперь ощутивший, как его паруса опять наполняются ветром. Мое сердце пронзила печаль; я подумал о том, что слова, говорящие о законченности и совершенстве, имеют

еще и значение финала и что, быть может, труды мои — не более чем добыча всепожирающего Времени.

Затем мы вошли в храм, откуда еще не ушли скульпторы; колоссальная статуя Зевса, выполненная из золота и слоновой кости, смутно мерцала в полумраке; у подножия строительных лесов огромный питон, которого я велел доставить из Индии, чтобы принести его в жертву в этом греческом святилище, лежал в своей ажурной корзине — божественное животное, ползучий символ духа Земли, неразлучный спутник обнаженного юноши, олицетворяющего Гений императора. Антиной, все более входя в роль, подал чудовищу его пищу — синиц с обрезанными крыльями. Затем, воздев руки, начал молиться. Я знал, что эта молитва была обращена лишь ко мне одному, но я не был настолько богом, чтобы угадать ее смысл и чтобы заранее знать, будет ли она когда-либо исполнена. Каким облегчением было выйти наконец из этого безмолвия, из этого голубоватого полумрака и вновь оказаться на афинских улицах, где загорались светильники, где царило непринужденное веселье и звучали в пыльном вечернем воздухе громкие возгласы. Молодое лицо, которому вскоре предстояло украсить собою монеты греческого мира, становилось для толпы знаком дружеского расположения, становилось символом.

Восточные таинства лишь усиливали этот хаос чувств своей пронзительной музыкой. Времена Элевсина прошли. Приобщение к культам запретным и странным, обряды скорее допустимые, нежели разрешенные, на которые сидевший во мне законодатель взирал с недоверием, совпали с тем периодом моей жизни, когда танец переходит в головокружение, а пение завершается воплем. На острове Самофракии я был приобщен к таинствам кабиров, божеств древних и непристойных, священных как плоть и кровь; змеи, откормленные молоком в пещере Трофония, обвивали мои лодыжки; фракийские празднества в честь Орфея использовались как повод для диких обрядов братания. Государственный деятель, который под страхом самых суровых кар запретил нанесение человеку каких бы то ни было увечий, согласился присутствовать на оргиях сирийской богини; я увидел ужасающий круговорот кровавых плясок; мой юный спутник, загипнотизированный, точно козленок, брошенный в клетку змеи, с ужасом смотрел на этих мужчин, которые на требования возраста и пола давали ответ такой же решительный и бесповоротный, как сама смерть, и даже, пожалуй, еще более жестокий. Но ужас достиг своего апогея во время нашего пребывания в Пальмире, где арабский купец Мелес Агриппа принимал нас на протяжении трех недель с ослепительной варварской пышностью. Однажды, после того как мы выпили вина, этот самый Мелес, священнослужитель митраического культа, который не очень серьезно относился к своему жреческому долгу, предложил Антиною принять участие в заклании быка. Молодой человек знал, что я тоже был некогда подвергнут церемонии подобного рода, и с радостью согласился. Я не считал нужным противиться этой прихоти, для исполнения которой требовалось довольно малое число очищений и воздержаний. Я решил взять на себя, вместе с Марком Ульпием Кастором, писарем, знающим арабский язык, роль человека, произносящего ответные слова. В назначенный час мы спустились в тайное подземелье; вифинец лег на дно ямы для окро-

пления кровью. Но когда я увидел его внезапно возникшее из ямы, исполосованное красными струями тело, его облепленные липкой грязью волосы, лицо, испещренное пятнами, которые невозможно смыть, так что пройдет немало времени, пока они не сойдут сами, — к моему горлу подступила тошнота, и я почувствовал отвращение ко всем этим нечистым тайным обрядам. Несколько дней спустя я запретил расквартированным в Эмезе войскам даже приближаться к мрачному святилищу Митры.

У меня появились дурные предчувствия; подобно Марку Антонию перед его последним сражением, я слышал, как удаляется и тает в ночи неясная музыка — то уходили покровительствовавшие мне боги... Я слышал, но не остерегся. Моя уверенность в собственной безопасности была уверенностью всадника, владеющего талисманом, который оберегает его от падения. В Самосате под моим председательством состоялся совет восточных владык; Абгар, царь Осроэны, обучал меня в горах искусству соколиной охоты; во время облав, обставленных точно спектакль на театре, целые стада антилоп загонялись в пурпурные сети; Антиной, напрягая все силы, с трудом удерживал за массивные золотые ошейники двух крупных пантер. Переговоры, проходившие среди всей этой роскоши, завершились для меня, как всегда, благоприятно; я по-прежнему был удачливым игроком, который неизменно выигрывает при каждом броске костей. Зимой я провел в Антиохии, в том самом дворце, где некогда просил колдунов заглянуть в мое будущее. Но теперь будущее больше ничего не сулило мне — во всяком случае, ничего, что я мог бы считать подарком судьбы. Мой урожай винограда был уже собран; суло жизни наполнило чан до краев. Но, хотя я и перестал управлять собственной судьбой, все же нравственные правила, тщательно выработанные мною в прежние годы, не представлялись мне только ступенькой на пути к истинному призванию — они были подобны цепям, которые танцовщик заставляет себя носить постоянно, чтобы потом, сбросив их, прыгать легче и выше. В некоторых делах я был суров к себе так же, как прежде; я запрещал подавать мне вино до второй ночной стражи: еще не изгладилось в памяти, как на этих деревянных полированных столах лежала дрожащая рука Траяна. Впрочем, существуют же и другие способы опьянения... Ни малейшая тень не омрачала моих дней — ни смерть, ни разгром, ни тот более изощренный урон, который человек наносит себе сам, ни даже возраст, все больше дававший о себе знать. И все-таки я спешил, будто каждый из этих часов был самым прекрасным и в то же время самым последним в моей жизни.

Частые посещения Малой Азии сблизили меня с группой ученых, занимавшихся магией. У каждого века свои дерзания; лучшие умы нашей эпохи, уставшие от философии, которая все больше становится повторением заученных фраз, приблизились к рубежам, запретным для человека. В Тире Филон Библиоский открыл мне некоторые секреты старинной финикийской магии; он отправился вместе со мной в Антиохию. Истолкование, которое Нумений давал мифам Платона о природе души, было достаточно робким, но могло далеко завести ум более отважный, чем его собственный. Его ученики вызывали демонов — игра не лучше и не хуже всякой другой. Диковинные фигуры, казалось порожденные сокровен-

ной сущностью моих сновидений, возникали передо мной в благовонном стирасковом дыме, дрожали и таяли, оставляя ощущение сходства с кем-то живым и знакомым. Возможно, все это было проделками фокусника, но в таком случае надо признать, что фокусник знал свое дело. Я снова взялся за изучение анатомии, которой занимался еще в юности, но теперь она понадобилась мне не для того, чтобы понять, как устроено человеческое тело. Любопытство влекло меня к тем пограничным областям, где душа сливается с плотью, где мечта совпадает с действительностью, а временами и опережает ее и где жизнь и смерть меняются своими свойствами и личинами. Мой врач Гермоген не одобрял этих опытов, но тем не менее познакомил меня с несколькими практикующими врачами, работавшими над этими же проблемами. Я пытался вместе с ними определить место, где расположена душа, найти связи, с помощью которых она общается с телом, измерить время, необходимое ей для того, чтобы от него отделиться. Несколько животных было принесено в жертву этим исследованиям. Хирург Сатир приводил меня в свою клинику, где я не раз наблюдал агонию. Не является ли душа наивысшей ступенью тела, хрупким воплощением тягот и радостей человеческого существования? — размышляли мы вслух. Или, быть может, наоборот, она древнее, чем тело, которое вылеплено по ее подобию и, худо ли, хорошо ли, какое-то время служит ей инструментом? Можно ли снова призвать ее обратно, снова установить между душой и телом тесный союз, возобновить то горение, которое мы называем жизнью? Если души обладают своей самостоятельной сущностью, могут ли они меняться между собою местами, способны ли они переходить от одного существа к другому, подобно кусочку плода или глотку вина, которыми из уст в уста обмениваются влюбленные? У каждого мудреца по двадцать раз в год меняются взгляды на эти вопросы; скептицизм боролся во мне с горячей жадью знания, энтузиазм — с иронией. Но я был убежден, что наш разум позволяет просочиться в нас лишь очень скудному числу фактов; и меня все больше и больше притягивал к себе смутный мир ощущений, непроглядная тьма, в которой вспыхивают и вращаются ослепительные солнца. Примерно тогда же Флегонт, который коллекционировал истории о привидениях, рассказал нам однажды вечером случай с "Коринфской невестой", за подлинность которого он ручался. Это приключение, в котором любовь возвращает душу на землю и на какое-то время снова дает ей тело, взволновало всех нас, но каждого по-своему. Многим захотелось повторить подобный опыт; Сатир пытался вызвать душу своего учителя Аспазия, когда-то заключившего с ним один из тех никогда не выполняющихся договоров, согласно которым тот, кто умрет первым, обещает поделиться с оставшимся в живых сведениями о загробной жизни. Антиной тоже дал мне такое обещание, но я отнесся к нему легкомысленно, поскольку у меня не было никаких оснований предполагать, что этот ребенок умрет раньше, чем я. Филон пытался вызвать свою умершую жену. Я согласился на то, чтобы были названы имена моего отца и моей матери, но что-то похожее на стыдливость помешало мне вызвать Плотину. Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. И все-таки двери в неведомое приоткрылись.

За несколько дней до отъезда из Антиохии я, по обыкновению, решил совершить жертвоприношение на вершине Касия. Восхождение состоялось ночью; как и при восхождении на Этну, я взял с собою лишь нескольких физически крепких мужчин, моих друзей. Я решил не только исполнить искупительный обряд в этом наиболее священном из всех наших храмов, я хотел еще раз увидеть сверху начало расцвета, то každодневное чудо, которое я всякий раз созерцал с тайным ликованием в душе. С этих высот видишь, как солнце заставляет сверкать медные украшения храма, как улыбаются озаренные ярким светом лица, а равнины Азии и гладь моря еще погружены во мрак; на несколько мгновений человек, который молится на вершине, оказывается единственным в целом мире существом, вкушающим радость утра. Все было приготовлено для жертвоприношения; мы поднимались сначала верхом на лошадях, а затем пешком по крутым и опасным тропинкам, окаймленным дроком и мастиковыми деревьями, которые легко было узнать даже в темноте по их запаху. Было душно; эта весна польхала жаром, точно лето. Впервые в жизни у меня при подъеме в гору перехватило дыхание; я вынужден был на миг прислониться к плечу моего любимца. Гроза, которую уже давно предвещал Гермоген, немного занимавшийся метеорологией, разразилась, когда мы были в сотне шагов от вершины. В сверкании молний навстречу нам вышли жрецы; кучка промокших до нитки людей сгрудилась вокруг алтаря, предназначенного для жертвоприношения. Мы уже приступили к обряду, как вдруг вспыхнувшая над нами молния поразила одним ударом и человека, и жертву. Когда первые мгновения ужаса прошли, Гермоген, как любознательный врач, наклонился над сраженными телами; Хабрий и верховный жрец не смогли сдержать возгласов восхищения: человек и молодой олень, оба принесенные в жертву взмахом божественного меча, соединились с бессмертием моего Гения; эти две жизни, подставленные в замену моей, продолжили ее. Вцепившийся в мою руку Антиной дрожал — не от страха, как мне тогда показалось, но от внезапно озарившей его мысли, которая стала мне понятна лишь впоследствии. Юное существо, безумно боящееся старения, наверно, давно уже решило умереть при первом же признаке собственной слабости или, может быть, даже не дожидаясь его. Ныне я склонен думать, что обещание это, которое многие из нас дают самим себе, но обычно не выполняют, восходит у него еще ко времени Никомедии, к той нашей встрече у ключа. Этим, возможно, и объясняется его вялость и жажда наслаждений, его грусть и полное безразличие к будущему. Молния на вершине Касия указала ему выход: смерть могла стать для него последней формой служения, его последним даром — последним и единственным даром мне, остающимся навеки. Краски зари показались мне бледными рядом с улыбкой, которая вспыхнула на этом потрясенном лице. Несколько дней спустя я снова увидел ту же улыбку, только слегка пригашенную и немного двусмысленную: за ужином Полемон, занимавшийся хиромантией, пожелал рассмотреть руку юноши — ладонь, на которой меня поражала странная линия жизни. Антиной отвел свою руку и сжал ее в кулак мягким, почти стыдливым движением. Ему хотелось сохранить тайну своей игры, тайну своей смерти.

Мы сделали остановку в Иерусалиме. Я изучил план нового города, который я наметил построить на том месте, где прежде располагались разрушенные Титом еврейские кварталы. Для твердого управления Иудеей, для развития торговли с Востоком было необходимо разместить на этом перекрестке путей крупный центр. Мне виделся обычный римский город: в Элии Капитолине должны были быть свои храмы и рынки, свои общественные термы, свой храм римской Венеры. Недавно появившаяся у меня склонность к культам, прославляющим нежность и страсть, заставила меня выбрать на горе Морияхе пещеру, удобную для празднования адоний. Мои проекты вызвали негодование еврейской общины: эти несчастные предпочитали свои развалины большому городу, сулившему им богатство, знания и удовольствия. Рабочие, приступившие к разборке разрушенных стен, подверглись нападению толпы, однако я не придал этому значения; я отказывался верить, что здесь, на этой куче обломков, может махровым цветом расцвести ненависть. Фид Аквила, которому предстояло вскоре применить свой организаторский талант при сооружении Антинополя, взялся за дело в Иерусалиме. Уже через месяц мы были в Пелузе. Я позаботился о том, чтобы восстановить там могилу Помпея. Чем больше я занимался делами Востока, тем больше восхищал меня политический гений этого деятеля, который вошел в историю с несмываемым клеймом человека, потерпевшего поражение от великого Юлия. Помпей, прилагавший все силы к тому, чтобы навести порядок в этом неустойчивом азиатском мире, порой представлялся мне принесшим Риму больше пользы, чем сам Цезарь. Эти восстановительные работы были моей последней данью именитым покойникам; вскоре мне предстояло заняться другими могилами.

Наш приезд в Александрию был обставлен скромно. Торжества были отложены до прибытия Сабины. Мне удалось убедить жену, не имевшую склонности к путешествиям, провести зиму в Египте, где климат значительно мягче; Луцию, которому никак не удавалось избавиться от затяжного кашля, тоже предстояло испробовать это лекарство. Отрядили целую флотилию кораблей для плавания по Нилу; нам предстояла серия официальных инспекторских смотров, празднеств, торжественных обедов, обещавших быть такими же утомительными, как и прошедший сезон в Палатинском дворце. Я сам обо всем позаботился: роскошь императорского двора обретала немаловажное политическое значение в этих древних странах, привыкших к царственной пышности.

Несколько дней, которые оставались до прибытия гостей, мне захотелось посвятить охоте. В Пальмире Мелес Агриппа устроил для нас поездку в пустыню; нам не пришлось углубляться особенно далеко, чтобы встретить львов. Двумя годами раньше я уже имел возможность поохотиться на крупного зверя в Африке; Антиною, в ту пору еще слишком юному и неопытному, не было дозволено участвовать в этой охоте наравне с другими. Ради его безопасности я пошел тогда на уловки, о которых я бы не помышлял, если б речь шла о ком-либо другом. Теперь же я был не в состоянии ему отказать и уступил его просьбам, пообещав главную роль в охоте на льва. Больше нельзя было обращаться с ним как с ребенком, и я гордился его возмужалостью.

Мы отправились в оазис Аммона, находившийся в нескольких днях пути от Александрии; здесь некогда Александр узнал от жрецов тайну своего божественного происхождения. Местные жители сообщили нам, что в окрестностях бродит свирепый хищник, нередко нападающий на человека. Вечером, у лагерного костра, мы весело обсуждали предстоящую охоту и сравнивали свои подвиги с подвигами Геракла. Однако первые дни принесли нам лишь несколько газелей. Тогда мы решили устроить вдвоем засаду возле маленького, заросшего камышом озера, почти занесенного песками. Лев приходил сюда в сумерки на водопой. Негры должны были гнать зверя на нас, пугая его громкими криками, звуком раковин и кимвал; наша свита осталась в отдалении. Влажный воздух был так неподвижен, что нельзя было даже определить направление ветра. Было, должно быть, немногим более девяти часов, ибо Антиной обратил мое внимание на то, что красные лилии на озере еще не закрылись. Внезапно с шелестом раздвинулись камыши, и перед нами появился царственный зверь, повернувший к нам свою прекрасную и страшную голову — один из самых божественных ликов, воплощающих опасность. Я находился немного позади и не успел удержать мальчика, когда тот, забыв об осторожности, тронул коня и метнул во льва сначала пику, а потом и оба своих копыта; он проделал все это с большим искусством, но оказался слишком близко от зверя. Лев, раненный в шею, упал, взметая песок ударами хвоста; в этом песчаном вихре мы ничего не могли разглядеть, кроме бесформенной и ревущей темной массы; наконец лев снова поднялся на ноги и, собрав последние силы, был уже готов броситься на лошадь и на безоружного всадника. Я это предвидел. По счастью, верховой конь Антиноя не шелохнулся: они у нас были отлично вышколены для охоты. Я быстро двинул свою лошадь вперед, подставив ее правым боком ко льву, — такие маневры были для меня привычны; тут уж мне не составило особого труда прикончить смертельно раненного зверя. Лев рухнул снова, уткнувшись мордой в ил; воду окрасила струйка темной крови. Гигантская кошка цвета песков пустыни, меда и солнца испустила дух с величием, недоступным для человека. Антиной спрыгнул со своего покрытого пенной и все еще дрожавшего коня. Спутники присоединились к нам; негры поволокли нашу добычу в лагерь.

Тут же состоялось импровизированное пиршество; растянувшись на животе возле медного блюда, юноша раздавал куски баранины, испеченной в золе. Мы выпили в честь победителя пальмового вина. Ликование его вздымалось к небу как песня. Пожалуй, Антиной преувеличивал значение помощи, которую я ему оказал; он, должно быть, не думал о том, что я поступил бы точно так же, если б в опасности оказался кто-то другой; но мы чувствовали себя возвратившимися в героический мир, где любящие умирают один ради другого. Его переполнял восторг; благодарность и гордость сменяли друг друга, как строфы оды. Негры свершили чудо: к ночи львиная шкура, повешенная на двух шестах, раскачивалась под звездами перед входом в мою палатку. Несмотря на разлитые вокруг благоволия, нас всю ночь преследовал тяжелый звериный запах. Наутро, позавтракав фруктами, мы покинули лагерь; уезжая, мы заметили в яме окровавленный скелет, покрытый тучами мух, — все, что осталось от цар-

ственной добычи нашей вчерашней охоты.

Через несколько дней мы вернулись в Александрию. Поэт Панкрат устроил в мою честь празднество в Музее; в музыкальном зале была собрана целая коллекция драгоценнейших инструментов: старинные дорийские лиры, более тяжелые и менее сложные по устройству, чем наши, соседствовали с круто выгнутыми кифарами из Персии и Египта, с фригийскими свирелями, пронзительными, как голос внуха, и нежными индийскими флейтами, названий которых я не знаю. Эфиоп долго стучал по африканским калебасам. На треугольной арфе, звучащей тихо и грустно, играла женщина, чья холодноватая красота меня непременно бы покорила, если б я не принял решения упростить свою жизнь, сведя ее полностью к тому, что стало теперь для меня самым важным. Месомед с Крита, мой самый любимый музыкант, аккомпанируя себе на водяном органе, декламировал свою поэму "Гора Сфинкса", тревожную, причудливую, ускользающую, как песок на ветру. Музыкальный зал выходил во внутренний двор; на глади бассейна в яростном свете закатного августовского солнца распростерлись водяные лилии. Когда музыканты умолкли, Панкрат захотел показать нам вблизи цветы этого очень редко встречающегося растения — красные, как кровь, и раскрывающиеся только в конце лета. Мы тотчас узнали наши алые лилии из оазиса Аммона, и Панкрат загорелся идеей воспеть в поэзии раненого зверя, умирающего среди цветов. Он вызвался описать этот охотничий эпизод в стихах, где львиная кровь окрашивала бы прекрасную лилию вод. Тема была не нова, но я все же согласился и заказал ему эти стихи. Панкрат, обладавший всеми качествами, необходимыми для придворного поэта, тут же сочинил в честь Антины несколько весьма мелодичных строк, где роза, гиацинт, чистотел благоговейно склонялись перед пурпурными лепестками лилий, которые отныне будут называться именем моего любимца. Одному из рабов было приказано спуститься в бассейн и собрать там охапку цветов. Молодой человек, привыкший к знакам почитания, с невозмутимой важностью принял эти восковые венчики на мягких змеящихся стеблях; с наступлением темноты лепестки сомкнулись, точно веки.

Вскоре приехала моя супруга. Длительное путешествие по морю утомило ее; она стала очень слаба, однако не утратила обычной своей жесткости. Ее политические знакомства больше не доставляли мне неприятностей, как было в ту пору, когда она так нелепо поддерживала Светония; теперь ее окружение состояло из женщин, занимавшихся литературным творчеством, довольно безобидных. Ее наперсница, некая Юлия Бальбилла, вполне сносно сочиняла греческие стихи. Сабина расположилась со своей свитой в Ликее, откуда они редко выходили. Луций, напротив, был, как всегда, жаден до всяческих удовольствий, включая удовольствия для ума и глаз.

В двадцать шесть лет он почти не утратил своей удивительной красоты, которая заставляла римскую молодежь приветствовать его на улицах восторженными кликами. Он был все таким же задорным, ироничным, веселым. Его прежние капризы с годами перешли в разряд странно-

стей; он никуда не ездил без своего личного повара; его садовники даже на корабле составляли для него великолепные цветники из редчайших растений; он повсюду возил с собой свое ложе, изготовленное по его собственным чертежам и состоявшее из четырех тюфяков, набитых какими-то особыми ароматическими травами; на нем он возлежал, окруженный множеством юных любовниц и столь же впечатляющим количеством подушек. Эфебы, напомаженные, напудренные и разодетые, словно зефиры и амурсы, из всех сил потакали его причудам, порою весьма жестоким; однажды мне пришлось даже вмешаться, чтобы не дать умереть от голода маленькому Борею, приводившему Луция в восторг своей худобой. Теперь меня все это скорее раздражало, чем забавляло. Мы посетили все то, что принято посещать в Александрии: Маяк, мавзолей Александра, усыпальницу Марка Антония, где Клеопатра навеки восторжествовала над Октавией; не были забыты ни храмы, ни мастерские, ни общественные работы, ни даже квартал, где жили бальзамировщики. У одного хорошего скульптора я купил целую партию Венер, Диан и Гермесов для Италики, моего родного города, который я намеревался заново отстроить и украсить. Жрец храма Сераписа преподнес мне сервиз опалового стекла; я отправил его Сервиану, с которым из уважения к моей сестре Паулине старался сохранять приличные отношения. За время этих достаточно скучных поездок я обдумал далеко идущие планы преобразований.

Верования в Александрии не менее многообразны, чем торговля, с тою лишь разницей, что товары, предлагаемые религиями, более сомнительного качества. У здешних христиан я обнаружил необъяснимое обилие сект. Два шарлатана, Валентин и Василид, строили друг другу козни под усиленным надзором римской стражи. Местное отребье готово было использовать любой обряд, чтобы кинуться с дубинами на чужеземцев; смерть быка Аписа способна вызвать в Александрии больше шума и страстей, чем смена императоров в Риме. Люди, которые следуют моде, меняют тут богов столь же часто, как в других странах меняют врачей, и в такой же степени неудачно. Но единственный их кумир — золото; я нигде не видал просителей более наглых, чем здесь. Торжественные надписи чуть ли не на каждом углу превозносили совершенные мною благодеяния, но, стоило мне отказать освободить жителей от подати, которую они вполне в состоянии были уплатить, против меня тут же возмутился весь этот сброд. Оба юноши, сопровождавшие меня, не раз подвергались оскорблениям; в упрек Луцию ставили его любовь к роскоши, впрочем, она и вправду была чрезмерной; в упрек Антиною — безвестное происхождение, по поводу которого ходили самые невероятные слухи; и обоих упрекали в том, что они будто бы оказывали на меня влияние. Это последнее утверждение было смехотворно: Луций, рассуждавший о государственных делах с поразительной проникательностью, не имел почти никакого политического веса; Антиной же и не пытался его приобрести. Молодой патриций, знающий свет, только посмеялся бы над всеми этими измышлениями. Но Антиной страдал.

Евреи, подстрекаемые своими единоверцами из Иудеи, делали все для того, чтобы заставить бродить это и без того уже хорошо заквашенное тесто. Иерусалимская синагога направила ко мне самого высокочти-

мого из своих членов; Акиба, девяностолетний старец, не знавший греческого языка, поставил своей целью принудить меня отказаться от планов насчет Иерусалима, к осуществлению которых я уже приступил. Я попытался поговорить с ним, прибегнув к помощи переводчиков, но он тут же превратил нашу беседу в нескончаемый монолог. Не прошло и часа, как я ощутил, что могу совершенно четко определить его позицию, хотя и не принимаю ее; он же не делал никаких усилий, чтобы понять мою. Этот фанатик даже не подозревал, что можно рассуждать, исходя из каких-то иных предпосылок, нежели его собственные; я предлагал этому отверженному народу занять место в римском сообществе рядом с другими народами; Иерусалим же в лице Акибы выражал свою волю до конца оставаться оплотом одного только племени и одного только бога, изолированных от остального человечества. Эта безумная мысль излагалась Акибой с утомительной витиеватостью; он выстраивал бесконечную цепочку доводов, искусно выводимых один из другого и утверждающих превосходство евреев. По прошествии недели переговоров мой партнер, при всей своей несгибаемости, все же заметил, что идет по ложному пути; он заявил, что уезжает. Мне ненавистно любое поражение, даже поражение других; и особенно возмущает оно меня, если побежденным оказывается старик. Невежество Акибы, его упорное нежелание принимать что бы то ни было, кроме своих священных книг и своего народа, придавали ему какую-то жалкую наивность. И все же, глядя на этого фанатика, трудно было смягчиться. Преклонный возраст, казалось, лишил его свойственной человеку гибкости; это изможденное тело, этот сухой ум были наделены жестким упрямством кузнеца. Он умер потом как герой — за дело своего народа, или, скорее, за свою веру; каждый приносит себя в жертву своим собственным богам.

Развлечения, которые могла нам предоставить Александрия, начинали иссякать. Флегонт, всегда и все знавший о местных достопримечательностях, обо всех своднях и знаменитых гермафродитах, предложил отвести нас к колдунье. Эта посредница между нашим и невидимым миром жила в Канопе. Мы отправились туда ночью на судне, по каналу, где стояла тяжелая, недвижимая вода. Путь был скучным. Между двумя молодыми людьми, как всегда, царила глухая враждебность; как ни старался я их сблизить, это лишь увеличивало их взаимную неприязнь. Луций прятал ее за своей иронической снисходительностью; мой молодой грек замкнулся в очередном приступе угрюмого молчания. Сам я чувствовал себя разбитым; несколькими днями раньше, когда я под жарким солнцем возвращался домой с прогулки, у меня случился короткий обморок, единственными свидетелями которого были Антиной и мой чернокожий слуга Эвфорион. Оба перепугались; но я приказал им никому про это не говорить.

Канопа оказалась лишь обманчивой декорацией: дом волшебницы был расположен в самом гнусном квартале этого города наслаждений. Мы причалили и высадились прямо возле ветхой террасы. Колдунья поджидала нас в доме, вооружившись сомнительными орудиями своего ремесла. Она выглядела вполне сведущей в этих делах; в ней не было театрально-сти, присущей завязтым некроманткам; она даже не была старой.

Ее предсказания были зловещими. С недавнего времени, куда бы я ни приехал, оракулы непременно предвещали мне всяческие беды: политические смуты, дворцовые интриги, тяжелые болезни. Я полагаю, что эти уста мрака вещали под воздействием чисто человеческих влияний: в одних случаях — чтобы меня предостеречь, в других — чтобы запугать. Истинное положение дел в одной из областей Востока отражалось в этих предсказаниях гораздо более точно, чем в отчетах наших проконсулов. Я воспринимал эти так называемые откровения вполне спокойно, ибо мое уважение к миру неведомого не заходило так далеко, чтобы я доверял всякому вздору; десять лет назад, вскоре после того, как я был провозглашен императором, я велел закрыть близ Антиохии оракул Дафны, предсказавший мне власть: я боялся, что он предскажет ее и любому другому пришедшему сюда претенденту. И все же мне неприятно слышать печальные вещи.

Изрядно растревожив нас, вещунья предложила свои услуги: одной из тех магических жертв, в которых египетские прорицательницы издавна понаторели, будет достаточно, чтобы полюбовно уладить наши отношения с судьбой. Мое краткое знакомство с финикийской магией позволило мне давно уже понять, что ужас, внушаемый запретными обрядами, держится не столько на том, что нам показывают, сколько на том, что от нас скрывают; если бы моя ненависть к человеческим жертвам не была так известна, мне, должно быть, посоветовали бы отдать на закланье раба. В данном же случае колдунья удовлетворилась прирученным животным.

По мере возможности жертвенное существо должно было принадлежать лично мне; нельзя было использовать для этой цели собаку — животное, которое, согласно египетским суевериям, считается нечистым; тут вполне подошла бы птица, но я не беру с собой в путешествия клеток с пернатыми. Мой молодой друг предложил мне своего сокола. Итак, все условия были соблюдены: эту прекрасную птицу подарил ему я, получив ее в свое время от царя Осроэны. Мальчик кормил ее из своих рук; сокол был одним из немногих существ, к которым он был привязан. Сначала я отказался; Антиной настаивал; я понял, что он придает своему дару особое значение, и, не желая его огорчать, согласился. Вооруженный подробнейшими инструкциями, мой гонец Менеkrat отправился за птицей в наши апартаменты в Серапеуме. Даже если бы он скакал галопом, все равно путь занял бы более двух часов. Нельзя же было сидеть все это время в грязной трущобе кудесницы, а Луций жаловался, что в лодке для него слишком сыро. Выход предложил Флегонт: мы разместились у одной сводни, после того как дом очистили от его обитателей; Луций решил поспать; я же использовал это время, чтобы продиктовать несколько палочка Флегонта, писавшего при свете лампы. Близилась третья ночная стража, когда Менеkrat привез птицу, предусмотрительно захватив перчатку, капюшон и цепь.

Мы вернулись к прорицательнице. Антиной снял со своего сокола капюшон, несколько раз погладил маленькую сонную головку и передал птицу колдунье, которая сделала над ней несколько магических пассов. Загипнотизированная птица снова закрыла глаза. Было важно, чтобы

жертва не билась и чтобы смерть ее выглядела добровольной. Обмазанная, согласно ритуалу, медом и розовым маслом, неподвижная птица была помещена на дно сосуда, наполненного нильской водой; утопленный сокол уподобился Осирису, унесенному течением реки; земные годы птицы прибивались к моим; крохотная сияющая душа соединилась с Гением человека, которому ее посвятили; этот невидимый Гений мог отныне являться мне и служить мне в этом обличье. Последовавшие затем долгие манипуляции были уже не более интересны, чем кухонные приготовления. Луций зевал. Дальнейшая церемония полностью имитировала похороны человека — окуривания и песнопения продолжались до рассвета. Птица была положена в умященный благовониями гроб, и колдунья предала его земле на заброшенном кладбище у канала. После чего она уселась под деревом и пересчитала золотые монеты, которые Флегонт выдал ей за труды.

Мы опять поднялись на корабль. Дул на редкость холодный ветер. Луций, сидевший подле меня, поправлял кончиками тонких пальцев вышитые покрывала; мы продолжали из вежливости обмениваться бессвязными замечаниями по поводу римских дел. Антиной, лежа на дне судна, притворился спящим, чтобы не участвовать в разговоре, который был ему неинтересен. Моя рука скользила по его волосам. В самые неудачные и самые унылые мгновения жизни это помогало мне сохранить ощущение своего единения с великими силами природы: с густыми лесами, с гибкими мускулистыми пантерами, с размеренным пульсом родников. Но ни одна ласка не способна достичь души. Солнце сверкало, когда мы прибыли в Серапеум; продавцы арбузов расхваливали на улицах свой товар. Я спал до самого заседания совета, на котором мне надо было присутствовать. Впоследствии я узнал, что, воспользовавшись моей отлучкой, Антиной уговорил Хабрия вернуться с ним в Канопу. И там он еще раз посетил прорицательницу.

Первый день месяца Атира, второй год двести двадцать шестой Олимпиады... Это день смерти Осириса, бога агоний: пронзительные стенания раздавались уже три дня во всех селениях вдоль реки. Мои римские гости, менее, чем я, привыкшие к таинствам Востока, выказывали любопытство к обрядам народа, столь непохожего на наш. Меня же, наоборот, выводили из себя эти вопли. Я приказал пришвартовать мое судно к берегу на некотором расстоянии от остальных, подальше от населенных мест; и все же оказалось, что поблизости от берега возвышается наполовину заброшенный храм времен фараонов; при нем еще сохранилась коллегия жрецов; так что мне и тут не удалось избежать рыданий и жалоб.

Накануне вечером Луций пригласил меня ужинать на его корабль. Я отправился туда на закате солнца. Антиной отказался меня сопровождать. Я оставил его лежащим на корме, он растянулся на львиной шкуре возле моей двери и играл с Хабрием в кости. Но уже через полчаса, когда стало совсем темно, он передумал и велел вызвать лодку. Взяв с собой только одного лодочника, он преодолел против течения довольно значительный отрезок реки, отделявший нас от других судов. Его появ-

ление под навесом, где был накрыт ужин, прервало аплодисменты, которыми гости приветствовали кривлянье танцовщицы. Он нарядился в длинное сирийское платье, тонкое, словно кожица плода, и расшитое хи- мерами и цветами. Чтобы было удобнее грести, он спустил одежду с пра- вого плеча; на гладкой груди блестели капельки пота. Луций кинул ему гирлянду, которую Антиной поймал на лету; веселость, подогретая од- ной-единственной чашей греческого вина, ни на миг не покидала его. Мы вернулись вместе в моей лодке с шестью гребцами, провожаемые язви- тельным голосом Луция, пожелавшего нам доброй ночи. Странное возбуж- дение у Антиноя не проходило. Утром я случайно притронулся к мокрому от слез лицу. Я раздраженно спросил, почему он плачет; Антиной смирен- но ответил, что всему виной усталость. Удовлетворившись этой ложью, я снова отправился спать. Его истинная агония была уже тогда рядом со мной.

Прибыли письма из Рима; день прошел за их чтением и составлением ответов. Антиной, как обычно, молча ходил взад и вперед по комнате; даже не знаю, в какой именно миг это прекрасное существо ушло из моей жизни. В двенадцатом часу вошел взволнованный Хабрий. Вопреки вся- ким правилам молодой человек покинул судно, никому ничего не сказав; со времени его исчезновения прошло не меньше двух часов. Хабрий вспомнил странные фразы, произнесенные Антиноем накануне, сделанное утром указание, касавшееся меня. Тревога Хабрия передалась мне. Мы по- спешно спустились на берег. Старый учитель, повинуясь инстинкту, напра- вился к стоявшей на берегу молельне, небольшому одинокому строе- нию, которое являлось частью примыкавших к храму пристроек; они недавно посетили его вдвоем. На алтаре еще не остыла зола принесенной жертвы. Хабрий погрузил в нее пальцы и извлек почти нетронутую прядь срезанных волос.

Нам не оставалось ничего другого, как обследовать берег. Целая це- почка водоемов, когда-то, должно быть, служивших для свершения свя- щенных обрядов, сообщалась с речной бухтой; в быстро надвигавшихся сумерках Хабрий заметил на берегу последнего водоема сложенную одеж- ду, сандалии. Я спустился по скользким ступеням — Антиной лежал на дне, уже слегка занесенный илом. С помощью Хабрия мне удалось припод- нять тело, успевшее стать тяжелым, как камень. Хабрий кликнул лодочни- ков, и те соорудили парусиновые носилки. Вызванный спешно Гермоген мог лишь констатировать смерть. Тело юноши отказывалось согреться, ожить. Мы перенесли его на судно. Все рухнуло разом, все погасло в одно мгновенье. Зевс Олимпийский, Владыка Вселенной, Спаситель Мира боль- ше не существовали — остался лишь седой человек, рыдавший на палубе корабля.

Спустя два дня Гермоген напомнил мне о похоронах. Избранные са- мим Антиноем жертвенные обряды, которыми он предварил свою смерть, указали нам путь; не случайно час и день этой кончины совпали с датой сошествия Осириса в могилу. Я отправился на другой берег, в Гермопо- лис, к бальзамировщикам. Я видел, как их собратья работали в Александ- рии, и знал, на какие надругательства мне предстоит обречь это тело. Но огонь, который сжигает и превращает в золу тело дорогого существа, и

земля, в которой гниют мертвецы, — это тоже ужасно. Переправа была недолгой; сидя на корточках в углу каюты, Эвфорион вполголоса напевал африканскую погребальную песню; мне казалось, что эту приглушенную гортанную жалобу изливаю я сам. Мы перенесли покойного в зал, тщательно вымытый и напоминавший мне клинику Сатира; я помог формовщику смазать лицо покойного маслом, прежде чем он наложит на него воск. Все метафоры вновь обрели первоначальный свой смысл: я держал в руках его сердце. Это пустое тело, которое я покинул, было теперь для бальзамировщика лишь заготовкой, первой ступенью в создании произведения жестокого и прекрасного, драгоценнейшим веществом, обработанным солью и миртовой мазью, к которому никогда больше не прикоснутся ни воздух, ни солнце.

Вернувшись, я посетил храм, возле которого Антиной принес свою последнюю жертву; я беседовал со жрецами. Их восстановленное святилище вновь станет местом паломничества для всего Египта; их коллегия, расширенная и щедро мною одаренная, отныне посвятит себя служению моему божеству. Никогда, даже в минуты полнейшего притупления мыслей и чувств, я не сомневался в божественности этого юного существа. Греция и Азия будут почитать его на наш манер — игры и пляски, ритуальные возложения даров к ногам белой нагой статуи. Египет, который стал свидетелем его агонии, внесет в этот культ божества свою долю — самую мрачную, самую сокровенную и самую тяжкую долю: отныне эта страна будет играть роль его вечного бальзамировщика. Многие века жрецы с обретыми головами будут читать литании, в которых будет звучать имя, не имеющее для них никакой ценности, а для меня вмещающее в себя весь мир. Каждый год священная барка будет провозить по реке этот образ; в первый день месяца Атира плакальщики будут проходить по берегу, по которому шел я. У каждого часа человеческой жизни — свой неотложный долг, свой наказ, свой завет, возвышающийся над всеми другими; задачей этого часа было защитить от смерти то небольшое, что у меня еще оставалось. По моему приказу Флегонт собрал на берегу архитекторов и инженеров из моего окружения; охваченный каким-то странным и светлым опьянением, я повел их вдоль каменистых холмов; я объяснил им мой план — возведение опоясывающей город стены, длиною в сорок пять стадиев; я отметил на песке место, где должна выситься триумфальная арка, отметил место могилы. Здесь должен был родиться Антинополь — сам факт возведения на этой печальной земле большого греческого города, бастиона, который будет держать в повиновении кочевников Эритреи, нового рынка на индийской дороге, уже был победой над смертью. Александр сопроводил смерть Гестифиона опустошениями и массовыми убийствами; я считал более достойным подарить своему любимцу город, где его культ сольется с движением толп на общественной площади, где его имя будет влетать в непринужденные вечерние беседы, где юноши будут перебрасываться венками во время торжественных пиршеств. И в одном лишь вопросе я колебался. Мне казалось немислимым оставлять это тело в чужой земле. Подобно тому как человек, не слишком уверенный в завтрашнем дне, готовит себе ночлег сразу в нескольких гостиницах, я решил построить ему памятник в Риме на берегах Тибра, рядом с моей

усыпальницей; но я вспомнил также и про египетские молеельни, которые я из прихоти давно уже приказал построить на Вилле и которые так трагически вдруг оказались полезными. Был определен день похорон; они должны были состояться по истечении двух месяцев, которые требовались бальзамировщикам. Я поручил Месомеду сочинить погребальные хоралы. Была уже поздняя ночь, когда я вернулся на судно; Гермоген приготовил мне микстуру, чтобы я мог уснуть.

Мы продолжали подниматься вверх по реке, но я плыл по Стиксу. Некогда на берегах Дуная, в лагерях, где держали пленников, я видел несчастных, которые, лежа у стены, безостановочно бились в нее лбом, бились дико, безумно и упорно, непрерывно твердя одно и то же имя. В подземельях Колизея мне показали львов, которые чахли и гибли, потому что у них отняли собаку, с которой они привыкли делить свою клетку. Я пытался собраться с мыслями. Антиной умер. Ребенком я выл над телом Маруллина, которое растерзали вороны, но так воет ночами и животное, лишенное разума. Умер мой отец, но двенадцатилетнему сироте запомнился лишь беспорядок в доме, слезы матери да собственный ужас; он ничего не знал о тяжких муках умирающего. Моя мать скончалась много позже, во время моей службы в Паннонии; я не мог с точностью припомнить, когда именно это случилось. Траян был для меня только больным, которого надо было заставить написать завещание. Я не видел, как умирала Плотина. Умер Аттиан, но он был старик. Во время дакийских войн я терял товарищей, которых как будто любил; но мы были тогда молоды, жизнь и смерть казались нам одинаково пьянящими и легкими. Антиной умер.

Амур, наимудрейший из богов... Но любовь не была повинна в моем небрежении, в моей суровости, в моем равнодушии, смешанном с обожанием, как песок смешан с золотом, уносимым рекой; любовь не была повинна в грубом ослеплении чересчур счастливого человека, который уже начал стареть. Неужто я был так самодоволен и туп? Антиной умер. Далекий от того, чтобы любить его чрезмерно, как, должно быть, в эти мгновения в Риме утверждал Сервиан, я не любил его в достаточной степени, чтобы заставить мальчика жить. Хабрий, который в силу своих орфических взглядов считал, что самоубийство преступно, настаивал на жертвенности этой кончины; я сам испытывал нечто похожее на чудовищную радость, когда говорил себе, что эта смерть была принесена мне в дар. Но только один я был способен измерить, сколько едкой отравы таится в глубинах нежности, какое отчаяние скрыто в самопожертвовании, сколько ненависти примешивается к любви. Оскорбленное существо бросило в лицо мне свидетельство своей преданности; ребенок, боявшийся все утратить, нашел способ привязать меня к себе навсегда. Надеясь благодаря этой жертве защитить меня от ударов судьбы, он, должно быть, считал себя очень мало любимым, если не понял, что не было для меня на свете беды страшнее, чем потерять его.

Я больше не плакал; являвшимся ко мне сановникам больше не приходилось отводить свой взгляд, словно в моей скорби они усматрива-

ли что-то непристойное. Возобновились мои посещения показательных ферм и оросительных каналов; мне было безразлично, как убивать время. Сотни нелепых слухов о постигшей меня беде уже разнеслись повсюду; даже на кораблях, которые сопровождали меня, передавались из уст в уста, к стыду моему, ужасные истории; я не пресекал этих слухов, поскольку правда была не из тех, чтобы кричать о ней на каждом углу. Самые лживые версии по-своему были верны; меня обвиняли в том, что я принес его в жертву, но ведь в каком-то смысле именно это я и сделал. Гермоген, неукоснительно доносивший до меня отклики внешнего мира, передал мне несколько посланий от Сабины; она соблюла все правила приличия; люди почти всегда поступают так перед лицом смерти. Ее сострадание покоилось на недоразумении: она согласна была меня пожалеть, но лишь при условии, что я быстро утешусь. Сам я считал, что почти спокоен; мне от этого было даже как-то неловко. Я не знал, что у боли есть странные лабиринты и что я по-прежнему блуждаю по ним.

Меня пытались развлечь. Через несколько дней после прибытия в Фивы я узнал, что моя супруга со своей свитой дважды приходила к подножию колосса Мемнона в надежде услышать таинственный звук, издаваемый на рассвете камнем, — феномен, присутствовать при котором мечтают все путешественники. Однако чуда не произошло; суверенные женщины предположили, что оно произойдет в моем присутствии. На другой день я согласился сопровождать их к колоссу; все средства хороши, если они помогают сократить нескончаемо долгие осенние ночи. В то утро Эвфорион вошел ко мне в одиннадцатом часу, чтобы подлить в лампу масла и помочь мне одеться. Я вышел на палубу; небо, еще совсем черное, было и вправду бронзовым небом гомеровских поэм, равнодушным к радостям и бедам людей. Прошло более двадцати дней с тех пор, как это случилось. Я занял место в лодке; короткое путешествие не обошлось без испуганных женских криков.

Нас высадили неподалеку от колосса. На востоке протянулась бледно-розовая полоса; начинался еще один день. Таинственный звук раздался три раза; он походил на звон лопнувшей тетивы. Неистощимая Юлия Бальбилла мгновенно произвела на свет стихи. Женщины решили посетить храмы; некоторое время я шел рядом с ними вдоль длинных стен, испещренных однообразными иероглифами. Меня выводили из терпения эти колоссальные фигуры царей, неотличимо похожие одна на другую, сидящие бок о бок, выставив вперед свои длинные плоские ступни, раздражали эти инертные глыбы, которые совершенно не выражали того, в чем заключается для нас жизнь, — ни боли, ни неги, ни расковыливающего нас движения, ни раздумья, создающего целый мир вокруг опущенной головы. Жрецам, которые меня вели, об этих канувших в вечность жизнях было, должно быть, известно не больше, чем мне; порою они принимались яростно спорить по поводу того или иного имени. Они знали, что каждый из этих монархов унаследовал трон, управлял своим народом, родил преемника; ничего больше история не сохранила. Эти затерянные в веках династии восходили к временам более давним, чем Рим, чем Афины, чем день, когда Ахилл погиб под стенами Трои, более давним, чем астрономический цикл в пять тысяч лет, вычисленный Меноном для Юлия Цезаря. Почув-

стывав себя усталым, я отпустил жрецов; прежде чем вернуться на судно, я немного отдохнул в тени колосса. Его ноги были до самых колен покрыты греческими надписями, которые оставили путешественники, — имена, даты, молитвы, некий Сервий Суавис, некий Евмен, стоявший на этом месте за шесть веков до меня, некий Панион, посетивший Фивы полгода назад... Полгода назад... Мне в голову пришла вдруг фантастическая идея: впервые с тех пор, когда ребенком мне случилось вырезать свое имя на коре каштановых деревьев в испанской усадьбе, император, который не разрешал выбивать свое имя и почетные звания на воздвигнутых им монументах, взял кинжал и нацарапал на твердом камне несколько греческих букв — сокращенную форму своего имени: АΔΡΙ ΑΝΘ. Это было моим противодействием натиску времени: человек, затерявшийся в нескончаемой веренице столетий, оставлял свое имя, подводил итог жизни, бесчисленные элементы которой не поддаются учету, оставлял свою мету. И внезапно я вспомнил: начинается двадцать седьмой день месяца Атира, через пять дней у нас наступят декабрьские календы. Это был день рождения Антиноя; если б мальчик был жив, сегодня ему бы исполнилось двадцать.

Я вернулся на борт судна; рана, затянувшаяся слишком быстро, снова открылась; я кричал, уткнувшись лицом в подушку, которую подложил мне под голову Эвфорион. Нас обоих — тело умершего и меня — несло по течению, два потока времени уносили нас в противоположные стороны. Пять дней оставалось до декабрьских календ... первый день месяца Атира... каждый уходивший миг все глубже погружал это тело в небытие, все больше окутывал его смерть непроницаемой завесой. Я вспять поднимался по скользкому склону; я ногтями вырывал из земли этот мертвый день. Флегонт сидел лицом к порогу; бесконечная ходьба взад и вперед по каюте помнилась ему только как яркая полоса света, бившая ему в глаза всякий раз, когда рука юноши, сновавшего по каюте, толкала створку дверей. Подобно человеку, обвиненному в преступлении, я пытался припомнить, чем был занят на протяжении этого дня; я диктовал, я отвечал эфесскому Сенату; с какими моими словами совпала его агония? Я восстанавливал в памяти все: мостки, прогибавшиеся под торопливыми шагами, крутой выжженный берег, плиточный пол; нож, перепиливающий прядь волос у виска; наклонившееся вперед тело; нога, которая сгибается, чтобы можно было развязать сандалию; неповторимая манера раздвигать губы, закрывая глаза. Хорошему пловцу нужна была отчаянная решимость, чтобы захлебнуться в этой черной воде. Я мысленно пытался дойти до этой черты, которую рано или поздно мы все переступим — оттого ли, что остановится сердце, или откажет мозг, или легкие перестанут дышать. Мне тоже придется испытать нечто подобное; однажды я тоже умру. Но все агонии разные; мои усилия представить себе, как он умирал, были бесплодны: он умирал один.

Пустота наступила для меня во всем: мне не хватало товарища по веселым ночным гуляньям, молодого человека, который, присев на корточки, помогал Эвфориону поправить складки моей тоги. Если верить жрецам, тень тоже страдает и оплакивает теплый приют, каким для нее являлось тело, и со стоном навещает родные места, — тень далекая и в то же

время близкая и такая вдруг слабая, что ей не под силу дать мне знак о том, что она рядом. Если все это правда, то моя глухота хуже, чем смерть. Но разве в то утро я понял его, живого, когда он рыдал подле меня? Однажды вечером меня позвал Хабрий, чтобы показать мне в созвездии Орла звездочку; до сих пор она была едва различима, но вдруг засверкала, как драгоценный камень, и стала мерцать и биться, точно сердце. Ее я счел его звездой, его знаком. Каждую ночь, изнуряя себя, я наблюдал ее путь, и мне виделись странные фигуры в этой части неба. Меня считали безумным. Но это мало меня заботило.

Смерть отвратительна, но и жизнь — ничуть не меньше. Все вокруг было сплошное кривляние. Закладка Антинополя — всего лишь смехотворная игра, еще один город, который станет прибежищем для купцов с их мошенничеством, для чиновников с их лихоимством, для проституции, для распутства, для ничтожных людишек, которые оплакивают своих мертвецов, чтобы тут же навеки забыть их. Не нужны были и эти посмертные почести, эти торжества, проводимые столь широко и публично; они служили только тому, чтобы сделать из смерти мальчика предлог для подозрительных намеков и иронических усмешек, сделать его самого объектом низменных страстей или скандальных слухов, одной из тех подгнивших легенд, которыми и без того забиты закоулки истории. Моя скорбь была для всех лишь свидетельством распущенности, безнравственности; я был в их глазах человеком, который из всего извлекает выгоду или наслаждение, все обращает в эксперимент: юноша, которого я любил, подарил мне свою смерть. Обманутый человек оплакивал самого себя. Мысли поворачивались со скрипом; слова вращались в пустоте; голоса звучали, как треск саранчи в пустыне или жужжание мух над кучей отбросов; наши суда с раздутыми, как голубиная грудь, парусами везли груз лжи и интриг; на лбу у каждого человека была написана глупость. Смерть сквозила во всем, на все налагая печать упадка и разложения — пятно на перезрелом плоде, едва заметная дырка на драпировке, падала на берегу, гнойные язвы на лице, след бича на спине лодочника. Даже собственные руки все время казались мне нечистыми. Принимая ванну и протягивая рабам ногу, чтобы они выщипали на ней волоски, я с отвращением смотрел на свое крепкое тело, на этот почти не поддающийся разрушению механизм, который переваривал пищу, двигался, спал, предавался любви. Я был в состоянии переносить присутствие лишь нескольких слуг — тех, кто помнил покойного, кто по-своему его любил. Мое горе находило отклик в простодушной скорби массажиста или старого негра, заживавшего лампы. Но их печаль не мешала им потихоньку смеяться, когда они выходили глотнуть свежего воздуха на берегу и оставались наедине. Как-то утром, облокотившись о поручень, я увидел в отведенной для поваров каюте раба: он потрошил цыпленка, одного из тех, которые в Египте вылупливаются из яиц в тысячах печей; схватив двумя руками липкий ком внутренностей, он выбросил его в воду. Я едва успел отвернуться; меня стошнило. В Филее, во время празднеств, которые местный правитель давал в нашу честь, трехлетний ребенок, темно-бронзовый, сын привратника-нубийца, пробрался на галерею второго этажа, чтобы поглядеть на танцы, и свалился вниз. Было сделано все возможное, чтобы скрыть от всех этот инци-

дент; привратник сдерживал рыдания, чтобы не беспокоить гостей своего господина; ему велели вынести труп ребенка через кухонные двери; на миг я увидел его плечи, которые судорожно вздрагивали, словно под ударами бича. У меня было ощущение, что я разделяю эту отцовскую боль, как некогда разделял боль Геракла, боль Александра, боль Платона, оплакивавших своих умерших друзей. Я велел отнести несчастному отцу несколько золотых монет — больше я ничего не мог для него сделать. Через два дня я снова увидел его: он вычесывал у себя вшей, блаженно растянувшись поперек порога на солнце.

Ко мне приходили послания; Панкрат завершил наконец свою поэму; это было лишь посредственное подражание гомеровским гекзаметрам, но имя, которое повторялось чуть ли не в каждой строке, делало поэму для меня дорожкой всех на свете шедевров. Нумений прислал мне, как положено в таких случаях, "Утешение"; я читал его всю ночь напролет; ни одно общее место не было в нем упущено. Шаткая защита, воздвигаемая его автором против смерти, строилась по двум линиям. Первая состояла в том, чтобы представить смерть как неизбежное зло, чтобы напомнить, что ни красоте, ни молодости, ни любви не дано избежать тленья, и чтобы, наконец, доказать нам, что жизнь с ее длинной чередой бед и несчастий гораздо страшнее, чем смерть, и что лучше погибнуть, чем состариться и одряхлеть. Все эти истины приводились для того, чтобы склонить нас к смирению; но они скорее внушали отчаяние. Второй ряд аргументов противоречил первому, но наших философов такие мелочи не смущают; тут речь шла уже не о смирении перед смертью, но о полном ее отрицании. В конце концов важна только душа; прежде чем взять на себя труд вообще доказать существование души, автор безапелляционно утверждал бессмертие этой достаточно зыбкой субстанции, отправлений которой вне тела никто никогда не видел. Я такой уверенности не разделял; если улыбка, взгляд, голос — эти невесомые реальности — исчезли, можно ли говорить о душе? Она вовсе не представлялась мне категорией менее материальной, чем теплота тела. Мы стремимся поскорей отстранить от себя телесную оболочку, когда она лишена души; но ведь эта оболочка — единственное, что у нас остается, единственное доказательство, свидетельствующее о том, что это живое создание действительно существовало. Бессмертие рода человеческого использовалось в трактате как утешение мыслью о том, что каждый человек смертен; но какое мне дело до того, что на берегах Сангария поколения вифинцев будут сменять друг друга до скончания времен? Говорилось в трактате и о славе; да, конечно, при упоминании о ней сердце наполняется гордостью, но между славой и бессмертием устанавливалась какая-то ложная связь — точно оставляемый человеком след ничем не отличается от его живого присутствия. Мне показывали бога, чей образ должен был заменить умершего; но этого сияющего бога создал я сам и по-своему верил в него, однако почетный удел посмертного бытия в звездных сферах, как бы лучезарен он ни был, не мог возместить мне эту краткую жизнь на земле; бог не мог служить заменой утраченного. Меня возмущало упорство, с каким человек пренебрегает фактами ради гипотез, упорство, с каким он не хочет признать, что грезы — всего только грезы. Я иначе понимал свой долг — долг человека,

продолжавшего жить. Эта смерть была бы напрасной, если бы у меня не хватило мужества взглянуть ей прямо в лицо, сердцем прильнуть к той реальности смертного холода, молчания, свернувшейся крови, оцепеневших членов, которую люди так торопятся прикрыть землей и притворством; я предпочитал идти в темноте на ощупь, обходясь без жалких светильников. Я чувствовал, что люди вокруг меня уже начинают раздражаться при виде такой нескончаемой скорби; сила наших страданий оскорбляет окружающих подчас даже больше, чем их причины. Если бы я позволил себе предаваться подобным стенаниям по умершему брату или сыну, меня и тут упрекали бы в том, что я слезлив точно женщина. Память большинства людей — заброшенное кладбище, на котором без любви и без почестей лежат забытые мертвецы, и всякое горе, если оно неутешно, оскорбительно для этой забывчивости.

Суда доставили нас к тому месту, где уже началось сооружение Антинополя. Теперь, на обратном пути, кораблей у нас поубавилось: Луций, которого я редко видел после той ночи, отправился в Рим, где молодая жена родила ему сына. Его отъезд избавил меня от множества докучливых и любопытных людей. Начавшиеся работы меняли вид берегов; среди груд разрытой земли уже проступал облик будущего города; но я больше не узнавал того места, где была принесена жертва. Бальзамировщики закончили свою работу; узкий кедровый гроб был помещен внутрь мраморного саркофага, установленного в самом потаенном зале храма. С робостью приблизился я к покойнику. Казалось, его нарядили для какого-то действия: тяжелая египетская каска прикрывала его волосы; оббитые бинтами ноги были похожи на длинный белый сверток. Но его профиль молодого сокола не изменился; ресницы отбрасывали на подцвеченные румянами щеки знакомую тень. Прежде чем забинтовать руки, мне показали покрытые золотом ногти. Началось чтение молитв; покойник устами жрецов объявлял себя неизменно правдивым, неизменно целомудренным, неизменно сострадательным и справедливым; он похвалялся добродетелями, которые, будь они и в самом деле такими, должны были бы навеки вознести его над всеми прочими людьми. Зал наполнился горьковатым запахом ладана; я пытался сквозь сизую пелену представить себе, будто вижу его улыбку; недвижимый прекрасный лик, казалось, еле заметно вздрагивал. Я присутствовал при магических пассах, с помощью которых жрецы заставляли душу покойного частично претвориться в статуи, что будут хранить его память, присутствовал и при многих других обрядах, еще более странных. Когда со всем этим было покончено, уложили на место золотую маску, отлитую по посмертному восковому слепку, и она плотно прилегла к лицу. Этой прекрасной нетленной поверхностью отныне предстояло вобрать в себя всю способность умершего излучать свет и тепло; она будет вечно покоиться в этом наглухо закрытом ящике как символ бессмертия. На грудь Антиною положили букет акаций. Двенадцать мужчин опустили тяжелую крышку. Но я все еще колебался, не зная, где поместить саркофаг. Я вспомнил, что, приказав провезти повсюду посмертные чествования и погребальные действия, отчеканить монеты, воздвигнуть на общественных площадях статуи, я сделал исключение только для Рима; я боялся вызвать еще большую враждебность, которой и

без того окружен любой фаворит-чужеземец. Я говорил себе, что не всегда буду в Риме и не всегда смогу защитить эту гробницу. Монумент, который я задумал возвести у ворот Антинополя, тоже будет чересчур на виду, а это в свою очередь не слишком надежно. Я послушался жрецов. Они указали мне на одном из склонов Аравийского хребта, примерно в трех милях от города, пещеру — одну из тех, что были когда-то выбраны царями Египта в качестве усыпальниц. Упряжка быков повлекла саркофаг на эту гору. С помощью веревок его пронесли подземными коридорами и установили у каменной стены. Сын Клавдиополя был опущен в могилу словно фараон, словно один из Птолемеев. Мы оставили его одного. Он вступил в те пределы, где уже не существует ни воздуха, ни света, ни времен года, ни конца и рядом с которыми всякая жизнь представляется мимолетной; он достиг неизменности и, быть может, спокойствия. Сотни тысяч столетий, таящихся пока в непроницаемых недрах времени, пройдут над этой могилой, не возвратив ему жизни, но ничего не прибавив и к его смерти, не отменив того непреложного факта, что он жил на земле. Гермоген взял меня за руку, помогая выбраться на свежий воздух; было почти радостно очутиться опять на поверхности, вновь увидеть холодную синеву неба между двумя отвесами бурых скал. Остальная часть путешествия была краткой. В Александрии Сабина вновь взошла на корабль и отправилась в Рим.



DISCIPLINA AUGUSTA*

В Грецию я возвращался сушей. Путешествие было долгим. У меня имелись все основания считать его моей последней официальной поездкой по Востоку; тем более хотелось увидеть все собственными глазами. Антиохия, в которой я остановился на несколько недель, предстала передо мной в новом свете; теперь меня уже меньше, чем прежде, трогала прелесть театральных представлений, всевозможные празднества, забавы в садах Дафны, шуршанье пестрой толпы. Мне скорее бросалось в глаза легкомыслие этого злоречивого и насмешливого народа, напоминавшего мне жителей Александрии, нелепость так называемых интеллектуальных упражнений, пошлость кичащихся своей роскошью богачей. Почти никто из этих знатных лиц не был способен в полном объеме понять составленную мной для Азии программу работ и реформ; все они ограничивались лишь тем, что использовали ее для нужд своих городов, а главным образом — для себя лично. Одно время я помышлял о том, чтобы в противовес чванливой сирийской столице поднять значение Смирны или Пергама; но пороки Антиохии присущи любой метрополии, и ни один из этих больших городов не смог бы их избежать. Отвращение к городской жизни заставило меня еще усердней заняться аграрным переустройством; я завершил

*Священная наука власти (лат.).

долгую и сложную реорганизацию императорских угодий в Малой Азии; это пошло на пользу и земледельцам, и государству. Во Фракии я считал необходимым еще раз посетить Андринополь, куда увеличился приток ветеранов дакийских и сарматских кампаний, привлеченных раздачей земельных участков и снижением налогов. Тот же план я рассчитывал привести в действие и в Антинополе. Я уже давно предоставлял такие же льготы учителям и врачам, в надежде способствовать укреплению и развитию среднего класса, где немало искусных и серьезных людей. Мне известны присутствующие этому классу недостатки, но государство держится только на нем.

Афины по-прежнему были излюбленным местом моих остановок; меня восхищало, что их красота так мало зависит от воспоминаний, как моих собственных, так и исторических; каждое утро этот город казался новым. На сей раз я остановился у Арриана. Посвященный, как и я, в элевсинские таинства, он был в силу этого усыновлен семейством священнослужителей, одним из самых влиятельных в Аттике, — семейством Кериков, так же как я был в свое время усыновлен семьей Эвмолипидов. Он женился; женой его стала молодая афинянка, женщина изысканная и горделивая. Оба они окружили меня ненавязчивыми заботами. Их дом был расположен в нескольких шагах от новой библиотеки, которую я незадолго до того подарил Афинам и где все благоприятствовало размышлению или отдыху — удобные скамьи для сидения, отопление в зимнюю пору, нередко весьма холодную, пологие лестницы, ведущие на галереи, где хранились книги, алебастр и золото в спокойных и мягких сочетаниях. С особым вниманием отнесся я к выбору и размещению светильников. Я все больше ощущал потребность собирать и хранить древние тома и часто поручал старательным писцам снимать с них копии. Эта благородная задача представлялась мне столь же неотложной, как помощь ветеранам или денежные пособия многодетным и бедным семьям; я думал о том, что достаточно нескольких войн и неизбежных упадка и нищеты, которые грядут вслед за войнами, или эпохи невежества и одичания, обычно наступающих с приходом скверного государя, — и будут безвозвратно утрачены мысли, что дошли до нас благодаря столь непрочным пергаменту и чернилам. Каждый более или менее состоятельный человек, способный содействовать этому вкладу в культуру, представлялся мне облеченным священным долгом перед человечеством.

В этот период я много читал. Я побудил Флегонта составить, под общим названием "Олимпиады", серию хроник, которые продолжили бы "Греческую историю" Ксенофонта и кончались моим царствованием, — план дерзкий, поскольку колоссальная история Рима представала здесь как простое продолжение истории Греции. Стиль Флегонта раздражал своей сухостью, но собрать и уточнить факты было уже само по себе немалым делом. В связи с этим проектом мне захотелось перепечатать старых историков; их труды, которые я осмыслял, опираясь на свой собственный опыт, наполнили меня мрачными мыслями; энергия и добрая воля каждого государственного деятеля выглядели ничтожными по сравнению со случайным и одновременно роковым ходом событий, со стечением обстоятельств, слишком неопределенных и смутных, чтобы их можно было заранее предвидеть, оценить или направить. Занялся я и поэтами;

мне нравилось вызывать из далекого прошлого их чистые и звучные голоса. Моим другом стал Феогнид, аристократ, изгнанник, наблюдавший без иллюзий и без снисхождения человеческую жизнь, всегда готовый изобличить ошибки и заблуждения, которые мы именуем нашими бедами. Этот весьма здравомыслящий человек вкусил мучительнейших радостей любви... Но среди древних поэтов более других меня привлекал Антимах; я ценил его сложный и лаконичный стиль, его пространственные и вместе с тем до предела сжатые фразы — словно большие бронзовые чаши, наполненные тяжелым вином. Его рассказ о кругосветном плавании Ясона я предпочитал исполненной более стремительного движения "Аргонавтике" Аполлония: Антимах глубже постиг тайну странствий и горизонтов и ту тень, которую отбрасывает на пейзаж вечности живущий всего лишь мгновение человек. Он горестно оплакал свою жену Лиду; он назвал ее именем длинную поэму, в которую вошли все легенды о муках и скорби людей. Эта Лида, которую я, при ее жизни, возможно, даже не заметил бы, стала для меня существом привычным, родным и более дорогим, чем многие женщины в моей собственной жизни. Эти поэмы, почти уже забытые, понемногу возвращали мне веру в бессмертие.

Пересмотрел я и свои собственные произведения — любовные строки, стихи, сочиненные на случай, оду памяти Плотины. Быть может, наступит день, когда кто-нибудь захочет все это прочитать. Несколько не вполне пристойных стихов заставили меня заколебаться; но в конце концов я их тоже включил в сборник. Даже самые порядочные из людей нередко пишут такое, для них это игра; я предпочел бы, чтобы мои стихи подобного плана представляли собой нечто иное, чтобы они были точным отражением ничем не прикрытой правды. Однако и здесь, как во всем остальном, мы оказываемся рабами условностей; я начинал понимать, что недостаточно одной только смелости духа, чтобы от них избавиться, и что восторжествовать над косностью и вдохнуть в слова свежие мысли поэт может только благодаря усилиям столь же упорным и длительным, как моя деятельность императора. Я со своей стороны могу претендовать лишь на редкие любительские находки; будет неплохо, если во всем этом ворохе останется для потомства хотя бы два или три стиха. И все же я набрасывал в эту пору довольно честолюбивое сочинение — наполовину в стихах, наполовину в прозе, — которое виделось мне серьезным и в то же время ироничным; я намеревался собрать здесь забавные факты, подмеченные мною на протяжении жизни, свои размышления и некоторые свои мечты; весь этот разнообразный материал должен был быть скреплен совсем тоненькой сквозной ниткой; это было бы нечто в духе "Сатирикона", только более язвительное и резкое. Я изложил бы здесь ту философию, которую понемногу стал разделять, — гераклитову идею изменения и возвращения. Но потом я отказался от этого слишком обширного замысла.

В тот год у меня состоялись со жрицей, которая некогда приобщила меня к тайнствам Элевсина и чье имя должно держать в секрете, многочисленные беседы, в ходе которых были один за другим уточнены все этапы культа Антиноя. Великие элевсинские символы продолжали оказывать на меня успокаивающее воздействие; вполне возможно, что бытие

вообще не имеет смысла, но если какой-то смысл все-таки есть, то в Элевсине он выражен более благородно и мудро, чем в любом другом месте. Под влиянием этой женщины я задумал превратить административные части Антинополя, его думы, кварталы и улицы в своего рода отражение мира богов и одновременно моей собственной жизни. Здесь было все: Гестия и Вакх, боги домашнего очага и боги неистовых оргий, божества небесные и боги загробного царства. Я поместил сюда и своих предков — императоров Траяна и Нерву, ставших неотъемлемой частью этой системы символов. Была здесь и Плотина; добрая Матидия была уподоблена Деметре; моя жена, с которой у меня в ту пору установились довольно теплые отношения, тоже присутствовала в этом собрании божеств. Через несколько месяцев я дал одному из кварталов Антинополя имя моей сестры Паулины. Вообще-то я поссорился с женой Сервиана, но после своей смерти она заняла в этом мемориале свое место как моя единственная сестра. Этот печальный город становился идеальным средоточием встреч и воспоминаний, Элисийскими полями одной человеческой жизни, местом, где все противоречия находят свое разрешение, где все в равной мере священно.

Стоя у окна в доме Арриана и всматриваясь в усыпанную звездами ночь, я размышлял о той фразе, которую египетские жрецы приказали высечь на гробе Антиноя: "Он подчинился велению небес". Может ли быть, чтобы небеса посылали нам свои повеленья и чтобы лучшие среди нас слышали их, в то время как для остальных небеса пребывают в гнетущем безмолвии? Элевсинская жрица и Хабрий склонны были думать именно так. Мне тоже хотелось в это верить. Мысленно я снова глядел на разглаженную смертью ладонь, которую я в последний раз видел в то утро, когда началось бальзамирование; линий, которые когда-то встревожили меня, больше не было; все произошло так, как с восковыми дощечками, когда с них стирают уже выполненный приказ. Но эти возвышенные соображения, кое-что для нас проясняя, нас, однако, не греют, они — точно свет, идущий от звезд, и ночь, обступившая нас, становится еще непрогляднее. Если жертва, принесенная Антиноем, и покачнула в каких-то пространствах божественные весы в мою пользу, результаты этого ужасного дара еще никак не сказались; мне эти благодеяния не сулили ни жизни, ни бессмертия. Я даже не смел определить их имя. Изредка слабое мерцание холодно поблескивало на горизонте моих небес; оно не украшало ни мира, ни меня самого; я продолжал ощущать себя скорее сломленным, нежели спасенным.

К этому времени Квадрат, христианский епископ, направил мне послание, прославляющее его веру. Моим принципом было придерживаться в отношении этой секты абсолютной беспристрастности; такой же была и позиция Траяна в его лучшие дни; незадолго до этого я напомнил наместникам провинций, что законы охраняют всех без исключения граждан и что тех, кто подвергнет христиан поношению, следует сурово карать, если обвинения окажутся бездоказательными. Но всякая терпимость, проявленная к фанатикам, незамедлительно дает им основание считать, что к их верованиям относятся с симпатией; мне была неприятна мысль о том, что Квадрат надеялся сделать из меня христианина; во всяком случае, он хо-

тел доказать мне превосходство своего учения и, главное, доказать его безвредность для государства. Я прочел его сочинение и даже оказался настолько любопытным, что поручил Флегонту собрать для меня сведения о жизни молодого пророка по имени Иисус, который основал эту секту и пал жертвой еврейской нетерпимости около ста лет назад. Говорят, этот юный мудрец оставил после себя заветы, похожие на заветы Орфея, с которым ученики Иисуса иногда сравнивают его. При всем том, что послание Квадрата было написано удивительно вяло, я все же сумел ощутить трогательную прелесть добродетелей, свойственных этим простым людям, их мягкость, наивность, их преданность друг другу; все это напоминало те братства, которые чуть ли не повсеместно учреждают во славу наших богов теснящиеся в городских предместьях рабы или бедняки; в недрах мира, который, несмотря на все наши усилия, остается жестоким и равнодушным к бедам и чаяниям людей, эти небольшие общества взаимопомощи служат для несчастных поддержкой и утешением. Однако я не забывал и об опасностях. Прославление добродетелей, присущих детям и рабам, происходило в ущерб качествам более мужественным и более трезвым; я угадывал за этим затхлым и пресным простодушием жестокую прямолинейность сектанта по отношению к формам жизни и мысли, не совпадающим с его собственными, угадывал и необычайную гордыню, которая заставляет сектанта считать себя выше всех остальных людей и по собственной воле надевать на себя шоры. Меня довольно скоро утомили ложные доводы Квадрата и обрывки философских учений, которые он неуклюже надергал из книг наших мудрецов. Хабрий, вечно занятый тем, чтобы почести богам воздавались в полном соответствии с нашими традиционными правилами, был обеспокоен возраставшим влиянием подобных сект на простонародье больших городов; он опасался за наши древние религии, которые не навязывают человеку никакой догмы и пригодны для толкований столь же многообразных, как и сама природа; они предоставляют суровым сердцам придумывать для себя, если они того пожелают, мораль более возвышенную, не принуждая, однако, всех остальных подчиняться слишком строгим нравственным нормам, дабы не породить в них скованности и притворства. Арриан разделял эти взгляды. Я провел в беседе с ним целый вечер, отвергая, как и он, предписание, требующее от человека любить своего ближнего как самого себя; оно слишком противоречит человеческой природе, чтобы его мог искренне принять человек заурядный, который всегда будет любить только себя, и совершенно не подходит для мудреца, который особой любви к себе самому не питает.

Впрочем, по многим пунктам и мысль наших философов представлялась мне не менее ограниченной, бесплодной и смутной. Три четверти наших интеллектуальных упражнений — это всего лишь узоры на пустом месте; я часто задавался вопросом, не свидетельствует ли эта растущая пустота о снижении умственного уровня или об упадке нравственности; как бы то ни было, но посредственность ума почти всегда сопровождается поразительной низостью души. Я поручил Героду Аттику надзор за строительством сети акведуков в Троаде; он воспользовался этим для того, чтобы беззастенчиво растратить общественные деньги; призванный к ответу, он дерзко заявил, что достаточно богат и в состоянии покрыть

недостачу; однако само его богатство было нажито скандальным путем. Его недавно скончавшийся отец устроил все так, чтобы негласно лишить его наследства, увеличив свои щедроты в пользу жителей Афин; Герод же просто-напросто отказался выплатить завещанные отцом суммы, следствием чего и стал судебный процесс, который тянется до сих пор. В Смирне Полемон, с которым мы еще недавно были на дружеской ноге, ничтоже сумняшеся выставил за дверь депутацию римских сенаторов, которые решили, что могут рассчитывать на его гостеприимство; твой отец Антонин, самый незлобивый на свете человек, вспылил; дело кончилось тем, что государственный деятель и софист перешли в рукопашную; этот кулачный бой, недостойный будущего императора, был еще более недостойно греческого философа. Фаворин, алчный карлик, которого я засыпал деньгами и почестями, напропалую острил на мой счет. Тридцать легионов, которыми я командовал, были, по его словам, единственным серьезным аргументом в философских спорах, в которых я, с присущим мне, как выясняется, самомнением, всегда считал себя победителем, тогда как именно он устраивал дело так, чтобы последнее слово оставалось за императором. Таким образом, он обвинял меня в тщеславии и глупости и одновременно демонстрировал собственную подлость. Педантов обычно раздражает, если кто-нибудь не хуже, чем они сами, разбирается в их деле; тогда любой ваш поступок становится поводом для злобных речей; я велел включить в школьные программы незаслуженно забытые произведения Гесиода и Энния; глупцы тотчас приписали мне намерение развенчать Гомера, а также благородного Вергилия, невзирая на то, что я его бесконечно цитирую. С этими людишками ничего нельзя поделать.

Арриан был не такой. Я любил беседовать с ним о самых разных вещах. Он сохранил о вифинском юноше воспоминание глубокое и светлое; я был ему признателен за то, что он причислял любовь, свидетелем которой был он сам, к разряду великих взаимных привязанностей прошлого; мы время от времени говорили с ним об этом, но, хотя не бывало произнесено ни единого ложного слова, у меня иногда возникало впечатление, что в наших речах сквозит некая фальшь: за возвышенным и величественным исчезала правда. Почти так же обманул меня Хабрий; к Антиною он относился с той беззаветной преданностью, какую старый раб нередко выказывает своему молодому господину, но теперь, поглощенный культом нового бога, он словно утратил память о нем живом. Мой черный Эвфорион по крайней мере видел вещи в более истинном свете. Арриан и Хабрий были мне дороги, и я ни в малейшей мере не ощущал своего превосходства над этими честными людьми, но временами мне казалось, что я единственный человек, который осмеливается глядеть на мир открытыми глазами.

Да, Афины были все так же прекрасны, и я ничуть не жалел, что посвятил свою жизнь греческим наукам и искусствам. Все, что в нас есть человеческого, гармоничного, ясного, идет от них. Но иногда я говорил себе, что несколько тяжеловатая серьезность Рима, его чувство преемственности, его склонность к категориям конкретным были необходимы, чтобы претворить в реальность то, что в Греции было замечательным свойством рассудка, прекрасным порывом души. Платон написал "Государство" и

прославил идею Справедливости, но ведь это мы, наученные своими собственными ошибками, прилагаем усилия для того, чтобы превратить государство в машину, способную служить людям без риска их перемолоть. "Филантроп" — греческое слово, но ведь это мы, правовед Сальвий Юлиан и я, трудимся над тем, чтобы изменить бедственное положение раба. Усердие, прозорливость, внимание к деталям, вносящее поправки в дерзкую всеохватность взгляда, были качествами, которые я приобрел именно в Риме. В глубинах своей собственной души мне случалось найти отклик на величественные и грустные пейзажи Вергилия и его сумерки, застланные слезами; я погружался еще глубже и встречал жгучую печаль Испании и ее бесплодное буйство; я думал о каплях кельтской, иберийской, быть может, даже пунической крови, которые могли просочиться в жилы римских поселенцев в муниципии Италике; я вспоминал, что мой отец был прозван Африканцем. Греция помогла мне по достоинству оценить все эти негреческие элементы. Так же было и с Антиномом; он стал для меня воплощенным образом этой страны, преданной красоте; он будет, возможно, и ее последним богом. И однако утонченная Персия и дикая Фракия смешались в Вифинии с пастухами древней Аркадии; этот нежно очерченный профиль напоминал мне юношей из свиты Хосрова; это широкое лицо с выступающими скулами было Лицом фракийских всадников, которые скачут по берегам Босфора и оглашают вечера хрипылыми и печальными песнопениями. Нет такой формулы, которая могла бы охватить все сполна.

В тот год я завершал пересмотр афинской конституции, начатый мною уже давно. Я старался вернуться по мере возможности к древним демократическим законам Клисфена. Сокращение числа должностных лиц облегчало государственные расходы; я затруднил отдачу налогов на откуп, тем нанеся удар губительной системе, кое-где еще применяемой, к сожалению, местными властями. Поддержка мною научных исследований, относящаяся к той же эпохе, помогла Афинам вновь стать крупным учебным центром. Ценители красоты, которые до меня приезжали в этот город, восторгались лишь его памятниками, нимало не беспокоясь по поводу возраставшей нищеты его жителей. Я же сделал все для того, чтобы увеличить благосостояние этой бедной земли. Один из крупнейших проектов моего царствования созрел незадолго до моего отъезда; учреждение ежегодных встреч представителей всех полисов Греции, через посредничество которых отныне должны были решаться в Афинах все дела и проблемы греческого мира, вернуло этому скромному и великолепному городу положение столицы. Однако план этот удалось осуществить лишь после весьма трудных переговоров с городами, которые завидовали возвышению Афин или таили против них застарелую злобу; но мало-помалу здравый смысл и энтузиазм взяли верх. Первая из этих ассамблей совпала с открытием храма Зевса Олимпийского для общественного отправления культа; этот храм все больше становился символом обновленной Греции.

По этому случаю в театре Диониса было дано несколько необычайно удавшихся спектаклей; я занимал на них место, чуть возвышавшееся над тем, где восседал гиерофант; жрец Антиноя тоже отныне получил свое место среди декурионов и жрецов. По моему приказу была расширена сце-

на театра; ее украсили новые барельефы; на одном из них мой молодой вифинец принимал от элевсинских богинь право вечного гражданства. На панафинском стадионе, превращенном на несколько часов в сказочный лес, я устроил охоту, в которой участвовало множество диких зверей; так возродился на время праздника первобытный город Ипполита, слугителя Дианы, и Тесея, спутника Геракла. Несколько дней спустя я покинул Афины. С тех пор я ни разу больше там не бывал.

Управление Италией, с давних времен отданное на произвол преторов, никогда не было основано на строгих законах. "Постоянный эдикт", который регламентировал его раз и навсегда, относится к этому периоду моей жизни; на протяжении долгих лет я состоял в переписке с Сальвием Юлианом по поводу этих реформ; мое возвращение в Рим ускорило завершение всей этой работы. Речь шла отнюдь не о том, чтобы лишить итальянские города их гражданских свобод; напротив, здесь, как и везде, мы окажемся лишь в выигрыше, если не станем силой навязывать им искусственное единообразие; меня даже удивляет, что муниципии, нередко более древние, чем Рим, с такой легкостью отказываются от своих, иной раз весьма мудрых, обычаев ради того, чтобы во всем уподобиться столице. Моей целью было просто уменьшить число противоречий и несообразностей, которые в конечном счете превращают любую процедуру в дремучий лес, куда не рискуют соваться честные люди и где разбойники чувствуют себя как рыба в воде. Эти труды потребовали от меня довольно частых перемещений по территории полуострова. Многократно наезжал я в Байи; я жил там на бывшей вилле Цицерона, которую я приобрел в начале своего царствования; мне по душе была Кампанья, она напоминала мне Грецию. На берегу Адриатики, в небольшом городке Адрии, откуда мои предки четыре века назад перебрались в Испанию, я был удостоен высших муниципальных должностей; возле бурного моря, по имени которого меня называли, в одном из разрушенных склепов я отыскал наши семейные урны. Я пытался представить себе своих предков, о которых я почти ничего не знал, хотя из этих корней я вышел и на мне этот род прекратится.

В Риме шли работы по расширению моего огромного мавзолея, проект которого искусно переделал Декриан; работы эти продолжатся и по сей день. Египет подал мне идею круговых галерей, пологих скатов, мягко переходящих в подземные залы; по моему замыслу, это будет дворец смерти, но предназначенный не только для меня одного и не только для моих непосредственных преемников; здесь будут покоиться и грядущие императоры, отделенные от нас множеством столетий; государям, которым еще только предстоит родиться, уже отведено место в этом склепе. Я позаботился также украсить кенотаф, который воздвигнут на Марсовом поле в память Антиноя и для которого плоскодонное судно привезло из Александрии сфинксов и обелиски. Меня издавна занимал и до сих пор занимает еще один проект: Одеон — образцовая библиотека, оснащенная учебными и лекционными залами, которая являлась бы в Риме центром греческой культуры. Я не стал придавать ей ни того великолепия, каким отличается новая библиотека в Эфесе, построенная тремя или

четырьмя годами раньше, ни того очаровательного изящества, какое присуще библиотеке в Афинах. Я надеюсь, что это учреждение если и не достигнет уровня александрийского Музея, то хотя бы сможет соперничать с ним; его последующее развитие — в твоих руках. Когда я работаю там, я часто думаю о прекрасной надписи, которую Плотина велела сделать над входом в библиотеку, учрежденную ее стараниями посреди Форума Траяна: "Лечебница души".

К этому времени Вилла была уже достаточно отделана для того, чтобы я мог перевезти в нее мои собрания картин и скульптур, музыкальные инструменты и те несколько тысяч книг, которые я покупал почти повсюду во время моих странствий. Я устроил на Вилле серию празднеств, в которых все было продумано тщательнейшим образом, начиная с меню и кончая довольно узким кругом гостей. Мне хотелось, чтобы все пребывало здесь в полной гармонии с мирной красотой садов и покоев, чтобы фрукты были столь же изысканны, как и концерты, а распорядок трапез так же размерен и точен, как чеканный узор на серебряных блюдах. Я впервые заинтересовался выбором кушаний; я заботился о том, чтобы устрицы доставлялись из Лукрина, а раки вылавливались в галльских реках. Ненавидя ту пышную небрежность, которая слишком часто бывает свойственна императорскому столу, я взял за правило, чтобы каждое блюдо непременно показывалось мне, прежде чем оно будет предложено даже самому скромному из гостей; я самолично проверял счета от поваров и трактирщиков; временами мне приходило на ум, что мой дед был скупым человеком. Ни маленький греческий театр на Вилле, ни театр латинский, чуть больших размеров, не были еще завершены; однако я повелел поставить в них несколько пьес. По моему выбору давались трагедии и пантомимы, музыкальные и ателланские драмы. Особенно нравилась мне изящная гимнастика танцев; я обнаружил у себя слабость к танцовщицам с кастаньетами, напоминавшими мне Кадикс и те первые зрелища, на которые меня водили ребенком. Я любил этот сухой звук, эти воздетые руки, эти бьющиеся, как прибой, или свивающиеся в спираль покрывала, любил глядеть на плясунью, которая перестает быть женщиной и становится облаком, птицей, волною, триремой. Одну из этих танцовщиц я особенно выделял; но мое увлечение было кратким. Во время моих отлучек конюшни и псарни содержались в отменном порядке, и мне опять все было в радость: жестковатая шерсть собак, шелковистая кожа коней, прелестная свита молодых ловчих. Я устроил несколько охот в Умбрии, на берегу Тразименского озера, а потом несколько ближе к Риму, в лесах Альбы.

В часы бессонницы я ходил взад и вперед по коридорам Виллы, бродил из зала в зал, иногда натыкался на кого-либо из мастеров, выкладывавших мозаику, и мешал работать; по дороге я всматривался в Праксителя Сатира, оставившегося перед скульптурными изображениями покойного. Они были в каждой комнате, в каждом портике. Я прикрывал ладонью пламя светильника и прикасался пальцами к мраморной груди. Эти встречи осложняли работу памяти; я отодвигал, точно занавес, паросскую или пентеликскую белизну; я с трудом возвращался от скованных неподвижностью линий к живой трепещущей форме, от тверди мрамора к плоти. Я продолжал свой обход, и статуя, которую я вопрошал, снова

погружалась во мрак; через несколько шагов светильник выхватывал из тьмы еще один образ; большие белые фигуры были похожи на призраков. Я с горечью думал о пассажах, посредством которых египетские жрецы заманивают душу покойника в его подобия из дерева, используемые для ритуальных обрядов; я поступил так же, как они: я заколдовал камни, которые в свою очередь заколдовали меня; мне уже никуда не уйти от этого безмолвия и этого холода, которые мне ближе отныне, чем теплота и голос живого существа, я злобно глядел на это опасное лицо с блуждавшей на нем улыбкой. Но уже несколько часов спустя, вытянувшись на своем ложе, я решил заказать Папию Афродизийскому новую статую; я требовал более точной лепки щек — там, где они неуловимо переходят во впадины под висками, я требовал более плавного изгиба от шеи к плечу; я настаивал на том, чтобы вместо венка из виноградных лоз, вместо сплетенья драгоценных камней были во всей своей красе представлены ничем не прикрытые волосы. Не забывал я и проследить за тем, чтобы барельефы и бюсты делались для уменьшения веса полыми — так их было легче перевозить. Самые похожие из этих изображений сопровождали меня повсюду; мне уже было неважно, красивы они или нет.

Моя жизнь могла показаться размеренной и благонаправленной; я с превеликим тщанием исполнял свои обязанности императора; я относился к ним, во всяком случае, с большей рассудительностью, если не с большим рвением, чем прежде. Я несколько утратил вкус к новым идеям и встречам, утратил ту гибкость ума, которая позволяла мне прислушиваться к мыслям собеседника и извлекать из них выгоду, беспристрастно их оценивая. Любопытство, в котором я раньше видел главную пружину своей мыслительной деятельности, одну из основ своего метода, было обращено теперь лишь на ничтожные мелочи: я распечатывал письма, адресованные моим друзьям, и они обижались на меня за это; для меня было мимолетным развлечением бросить взгляд на их любовные дела и семейные дразги. Впрочем, сюда примешивалась и некоторая доля подозрительности: случалось, что в течение нескольких дней меня терзал страх перед ядом, тот жестокий страх, который я некогда замечал в глазах больного Траяна и в котором, боясь быть смешным, государь не смеет признаться, пока преступление не свершится. Подобные страхи удивительны, когда они преследуют человека, довольно спокойно размышляющего о смерти, но я никогда не отличался особой последовательностью в поступках. Порою, столкнувшись с проявлением какой-либо глупости, какой-либо мелкой житейской подлости, я чувствовал, как меня охватывает глухая ярость, дикое неистовство и отвращение, смысла которых я и сам толком не мог объяснить. Ювенал осмелился в одной из своих сатир оскорбить мима Париса, который мне нравился. Мне давно уже надоел этот поэт, высокомерный и брюзгливый; мне было неприятно его грубое презрение к Востоку и Греции, его преувеличенная любовь к так называемой простоте наших предков, была противна та смесь подробнейших описаний порока и высокопарного восхваления добродетелей, которая щекочет чувства читателя и порождает лицемерие. Однако, как человек, причастный к литературе, он все же имел право на некоторое уважение; я вызвал его в Тибур, чтобы в его присутствии подписать указ об изгнании. Отныне сей

хулиитель римской роскоши и развлечений мог на месте изучать провинциальные нравы; очередными нападками на красавца Париса он отметил последнее представление своей пьесы. В это же время и Фаворин уютно устроился в своей ссылке на Хиосе, где я и сам был бы не прочь поселиться; оттуда мне уже не был слышен его пронзительный голос. Примерно тогда же я с позором изгнал из пиршественного зала одного торговца мудростью, немытого киника, который жаловался на то, что умирает с голоду, как будто этот негодяй заслуживал лучшей доли; мне доставило живейшее удовольствие глядеть, как этот болтун, перегнувшись пополам от страха, удирал со всех ног под яростный лай собак и улюлюканье слуг; сей велеречивый и начитанный мерзавец больше не будет мозолить мне глаза.

Мелкие неудачи в политической жизни выводили меня из себя в точности так же, как малейшая неровность в настиле полов на Вилле, как едва заметный потек воска на мраморе стола, как мелкий изъян в любой вещи, которую мне хотелось бы видеть безукоризненно совершенной. Донесение Арриана, недавно назначенного наместником Каппадокии, предостерегало меня против Фарасмана, который в своем маленьком княжестве на берегах Каспийского моря продолжал вести двойную игру, дорого обходившуюся нам еще при Траяне. Этот царек исподтишка подталкивал к нашим границам орды варваров-аланов; его распри с Арменией грозили миру на Востоке. Вызванный в Рим, он отказался приехать — так же, как четыремя годами раньше отказался присутствовать на совете в Самосате. Вместо извинений он прислал мне в подарок триста золотых плащей, а я повелел облачить в эти царские одеянья преступников, которых вывели на арену на съедение диким зверям. Этот сумасбродный приказ принес мне удовлетворение — так некоторые люди получают удовольствие, расчесывая до крови кожу.

У меня был секретарь — личность вполне заурядная, — которого я держал потому, что он досконально знал все тонкости делопроизводства, но он раздражал меня своею тупостью, сварливостью и зазнайством, своим упрямым протестом против всякой новизны, своей страстью по любым пустякам вступать в пререкания. Однажды этот болван рассердил меня не на шутку; я занес руку, чтобы ударить его, но, к несчастью, в руке у меня был стиль, и я выколол ему правый глаз. Мне никогда не забыть крик боли, неловко согнутую руку, пытавшуюся отразить мой удар, сведенное судорогой лицо, по которому текла кровь. Я немедленно послал за Гермогеном, который оказал несчастному первую помощь; потом был вызван для консультации окулист Капито. Но все оказалось напрасным: глаз был потерян. Через несколько дней мой секретарь снова приступил к работе; на лице его была повязка. Я пригласил его к себе; я униженно просил его, чтобы он сам назначил компенсацию за увечье. Злобно усмехнувшись, он отвечал, что просит меня лишь об одном — пожаловать ему другой правый глаз, однако в конце концов согласился принять от меня деньги. Я оставил его у себя на службе; его присутствие было предупреждением для меня, а быть может, и наказанием. Я не хотел лишать его глаза. Как не хотел я и того, чтобы мальчик, которого я любил, умер, не дожив до двадцати лет.

Дела в Иерусалиме шли из рук вон плохо. Несмотря на яростное сопротивление zelотов, работы в городе близились к концу. Мы допустили несколько ошибок, которые сами по себе были вполне поправимы, но смутьянам удалось тут же ими воспользоваться. Эмблемой Десятого Стремительного легиона был вепрь; знамя с его изображением, как это у нас обычно делается, вывесили над городскими воротами; простонародье, не приученное к рисованным или изваянным идолам, которые по причинам суеверий уже много веков считались запретными, что неблагоприятно отражалось на развитии искусств, приняло этот символ за изображение свиньи и усмотрело в столь незначительном факте издевательство над иудейскими обычаями. Празднование еврейского Нового года, отмечаемое под звуки множества труб и бараньих рогов, служило каждый год поводом для кровавых стычек; наши власти запретили публичное чтение легендарного повествования, посвященного подвигам еврейской героини, которая под вымышленным именем стала сожительницей персидского царя и подвергла безжалостному истреблению врагов своего гонимого и презираемого народа. Однако то, что губернатор Тиней Руф запрещал читать днем, раввины ухитрились читать ночью; эта кровавая история, где персы и евреи соперничают друг с другом в жестокости, накопила до предела национальные страсти zelотов. Наконец, Тиней Руф, во всем остальном человек вполне благоразумный и даже проявлявший интерес к преданиям и традициям Иудеи, решил распространить на практиковавшийся у евреев обряд обрезания суровые кары, предусмотренные законом против кастрации, который я недавно издал и который был направлен прежде всего против насилий, чинимых над молодыми рабами. Губернатор надеялся, что таким образом исчезнет один из тех знаков, посредством которых евреи утверждают свое отличие от всего прочего человечества. Когда меня уведомили о принятии этой меры, я не сразу отдал себе отчет в ее опасности, тем более что многие образованные и богатые евреи, которых я встречал в Александрии и Риме, перестали подвергать своих детей этой операции, поскольку она выставляла их в смешном виде в общественных банях и в гимназиях, и сами стараются скрыть признаки, свидетельствующие о том, что они когда-то ее перенесли. Я еще не знал, до какой степени эти банкиры, эти коллекционеры ваз с драгоценными смолами, отличаются от истинных иудеев.

Я сказал, что во всем этом не было ничего непоправимого, однако ненависть, обоюдное презрение, злопамятство были непоправимы. Формально иудаизм занимает равноправное место среди других религий империи, на деле же евреи в течение веков упорно отказываются быть одним из народов среди других народов и обладать одним из богов среди других богов. Самые невежественные из даков знают, что их Зальмоксис зовется в Риме Юпитером; пунического Ваала с горы Касий можно без труда отождествить с Отцом богов, который держит в руке Победу и чья мудрость извечна; египтяне, при том, что они так гордятся своими тысячелетними мифами, соглашаются видеть в Осирисе подобие Вакха, наделенного погребальными функциями; жестокий Митра сознает себя братом Аполлона. Никакой другой народ, за исключением евреев, не замыкает с таким высокомерием истину в тесные рамки одной-единственной концепции божест-

венного, что оскорбительно для множественной сущности бога, который объемлет собою все; никакой другой бог никогда не внушал своим адептам презрения и ненависти к тем, кто молится у иных алтарей. В связи с этим я изо всех сил стремился превратить Иерусалим в такой же город, как все прочие города, где могли бы мирно сосуществовать различные племена и культы; к сожалению, я забыл, что в схватке фанатизма со здравым смыслом последний редко одерживает победу. Открытие школ, в которых преподавалась греческая словесность, привело в негодование духовенство древнего города; раввин Иошуа, человек воспитанный и образованный, с которым я довольно часто беседовал в Афинах, разрешил своим ученикам, как бы в оправдание перед единоверцами за свою чужеземную образованность и свои отношения с нами, предаваться этим оскверняющим истинно верующего иудея занятиям только в том случае, если они сумеют посвящать им часы, не принадлежащие ни дню, ни ночи, поскольку еврейский закон следует изучать и ночью и днем. Измаил, важный член синедриона, считавшийся сторонником Рима, позволил своему племяннику Бен Даме умереть, но не допустил к нему греческого хирурга, которого прислал Тиней Руф. Пока мы в Тибуре пытались изыскать такое средство примирения умов, которое не выглядело бы уступкой требованиям фанатиков, случилось самое худшее: зелотам удалось захватить власть в Иерусалиме.

Искатель приключений, выходец из народных низов, некий Симон, принявший имя Бар Кохба — Сын Звезды, сыграл в этом мятеже роль смоляного факела или зажигательного стекла. Об этом Симоне я могу судить только на основании слухов; я видел его всего лишь раз, когда центурион принес мне его отрубленную голову. Но я готов признать за ним известную долю таланта, необходимую для того, чтобы подняться в человеческих делах так быстро и так высоко; во всяком случае, так проявить себя мог только человек, обладающий большой ловкостью. Умеренные евреи первыми обвинили этого новоявленного Сына Звезды в мошенничестве и обмане; я склонен думать, что этот невежественный ум был из числа тех, кто увлекается собственной ложью и в ком фанатизм прекрасно уживается с хитростью. Симон выдавал себя за героя, пришествия которого еврейский народ, питая тем самым свое честолюбие и ненависть, ждет уже много веков; этот демагог объявил себя мессией и царем Иудеи. Дряхлый Акиба, у которого от старости уже кружилась голова, провел в поводу по улицам Иерусалима лошадь авантюриста; первосвященник Елеазар заново освятил храм, якобы оскверненный тем, что его порог переступали необрезанные прихожане; приспешникам Сына Звезды было роздано оружие, спрятанное и пролежавшее под землей около двадцати лет; в ход пошло и оружие, от которого мы отказались, после того как его умышленно испортили еврейские мастера. Группы зелотов напали на удаленные от других римские гарнизоны и перебили наших солдат с изощренной жестокостью, напоминавшей самые ужасные эпизоды еврейского восстания при Траяне; в конце концов Иерусалим полностью оказался в руках мятежников, и новые кварталы Элии Капитолины опаздали ярким факелом. Первые отряды Двадцать второго Дейотарова легиона, спешно присланного из Египта под командованием легата Сирии Публия

Марцелла, были обращены в бегство бунтарями, вдсятеро превосходившими их по численности. Бунт превратился в войну, войну, которой не видно было ни конца, ни оправдания.

Два легиона — Двенадцатый Молниеносный и Шестой Железный — укрепили свой состав тут же на месте, в Иудее; несколькими месяцами позже Юлий Север, который некогда умирил горные районы Северной Британии, взял на себя руководство военными действиями; он привел с собой небольшие вспомогательные британские отряды, привычные к войне в сложных условиях. Нашим тяжело вооруженным частям, нашим командирам, привыкшим к построениям в каре и в фалангу в регулярных сражениях, было трудно приспособиться к этой войне, состоявшей из мелких стычек и неожиданных налетов, которая даже в открытом поле носила беспорядочный характер. Симон, человек по-своему недюжинный, разделил своих сторонников на сотни мелких групп и расположил их на гребнях гор, устроив засады в глубине пещер или в старых заброшенных карьерах; часть из них он спрятал в городах, у жителей густонаселенных предместий; Север быстро понял, что этого неуловимого врага можно уничтожить, но нельзя победить; он смирился с необходимостью вести войну до полного истощения сил. Крестьяне, которых Симон заразил своим фанатизмом или просто запугал, с самого начала действовали заодно с зелотами; каждая скала становилась бастионом, каждый виноградник — траншеей, каждую ферму приходилось морить голодом или брать штурмом. Иерусалим снова был взят нами лишь к концу третьего года, когда все попытки переговоров оказались бесплодными; то небольшое в еврейских кварталах, что пощадил пожар при Тите, было уничтожено. Север долго закрывал глаза на явное соучастие других крупных городов; превратившись в последние опорные пункты врага, они были потом атакованы и в свою очередь захвачены, улицы за улицей, руина за руиной. В эту пору тяжелых испытаний я считал, что мое место — в войсках, в Иудее. Я полностью доверял обоим своим помощникам; это было тем более необходимо, что я разделял с ними ответственность за решения, которые, как правило, оказывались жестокими. К концу второго лета войны я с горечью занялся сборами в дорогу; Эвфорion в который уже раз упаковал мои вещи: туалетный ларец, сработанный когда-то мастером в Смирне и уже покоробившийся от долгого употребления, ящик с книгами и картами, статуэтку из слоновой кости, изображавшую моего императорского гения, серебряный светильник; в начале осени я высадился на берег в Сидоне.

Армия — самое старое мое ремесло; всякий раз, снова принимаясь за него, я чувствовал, как связанные с ним лишения непременно возмещаются внутренним удовлетворением; я ничуть не жалею, что два последних года своей активной жизни провел, разделяя с легионами трудности и огорчения палестинской кампании. Я снова стал человеком, облаченным в железо и кожу и откладывающим до лучших времен все не требующие неотложного исполнения дела, человеком, которому помогают давние навыки походной жизни, который немного медлительнее, чем когда-то, садится на коня или слезает с него, который немного более молчалив и, может быть, немного более мрачен, чем прежде, и на кого солдаты

(одни лишь боги ведают почему) смотрят преданно, с обожанием и братской любовью. Во время этого последнего пребывания в армии у меня произошла чудесная встреча: я взял к себе помощником молодого трибуна по имени Целер и всей душой привязался к нему. Ты его знаешь; с той поры он не покидает меня. Я восхищался его прекрасным лицом, над которым сверкал шлем Минервы, но чувства играли в этой привязанности довольно незначительную роль, хотя человек, пока он живет, не может вовсе от них отрешиться. Я рекомендую тебе Целера: он обладает качествами, о каких можно только мечтать, если речь идет о командире, занимающем должность второго ранга; сами его достоинства не позволяют ему выдвинуться в первый ранг. В обстоятельствах, несколько отличающихся от прежних, я снова обрел существо, чей удел был жертвовать собою, любить и служить. С тех пор как я его знаю, у Целера не было никаких иных мыслей, кроме забот о моих удобствах и моей безопасности; его крепкое плечо служит мне верной опорой.

Весною третьего года войны армия осадила крепость Бетар — орлиное гнездо, в котором Симон со своими сторонниками более года выдерживал медленную попытку голодом, жаждой и отчаянием, где на его глазах стойкие его приверженцы отказывались сдаться и один за другим погибали. Наша армия бедствовала почти так же, как осажденные: отступая, мятельники жгли сады, разоряли поля, резали скот, заражали колодцы, сбрасывая в них трупы наших солдат; их дикие методы были особенно безобразны, если учесть скудость этой земли, и без того уже обглоданной до костей долгими веками буйства и безумия. Лето было жарким и нездоровым; лихорадка и дизентерия опустошали наши легионы; достойная восхитения дисциплина продолжала царить в войсках, вынужденных бездействовать и в то же время быть постоянно настороже; измученную, терзаемую болезнями армию поддерживала своего рода молчаливая ярость, которая передавалась и мне. Я уже не мог так же легко, как прежде, переносить трудности походного быта — жаркие дни, душные или пронзительно холодные ночи, сильный ветер и скрипучую пыль; мне случалось оставлять нетронутыми в своем котелке свиное сало и чечевицу, сваренные моим слугой; я предпочитал оставаться голодным. Еще до начала лета меня стал мучить тяжелый кашель, и не только меня одного. В своих письмах к Сенату я теперь постоянно вычеркивал фразу, которая как обязательная формула ставится в начале официальных донесений: "Император и армия чувствуют себя хорошо". Император и армия чувствовали себя до предела измученными. Вечером, закончив последнюю беседу с Севером и последнюю аудиенцию с перебежчиками, просмотрев последнюю почту из Рима и последнее послание от Публия Марцелла, которому я поручил очистить окрестности Иерусалима, и от Руфа, занятого переустройством Газы, совершив омовение в походной ванне из просмоленного полотна, которую Эвфорион наполнял для меня, дорожа каждой каплей воды, я ложился и пытался обдумать свое положение.

Не буду отрицать: война в Иудее была одной из моих неудач. В преступлении Симона и в безумии Акибы я не был повинен; но я упрекал себя в том, что был слеп в Иерусалиме, рассеян в Александрии и нетерпелив в Риме. Я не сумел найти слова, которые предотвратили бы или по мень-

шей мере задержали бы этот взрыв народной ярости; я не сумел оказаться в свое время достаточно гибким или достаточно твердым. Разумеется, у нас не было оснований испытывать беспокоество и тем более отчаяние; просчет был только в наших отношениях с Иудеей; впрочем, в это тревожное время мы и в других местах пожинали плоды нашего великодушия на Востоке в течение шестнадцати лет. Симон сделал ставку на мятеж арабов, подобный тому, каким были отмечены последние мрачные годы царствования Траяна; более того, он осмелился рассчитывать на помощь парфян. Он обманулся, и эта ошибка в расчетах послужила причиной его медленной гибели в осажденной цитадели Бетара; арабские племена отмежевались от еврейских общин; парфяне остались верны нашим договорам. Синагоги крупных сирийских городов проявили нерешительность или вялость, самые ортодоксальные удовлетворялись тем, что тайно послали деньги зелотам; еврейское население Александрии, обычно довольно буйное, оставалось спокойным; нарыв был локализован в безводной области, которая простирается между Иорданом и морем; мы могли без труда прижечь или ампутировать этот больной палец. И тем не менее можно было считать, что плохие дни, которые предшествовали моему воцарению, снова как будто бы наступили. Квиет когда-то сжег Кирену, казнил старейшин Лаодикеи, овладел развалинами Эдессы... Вечерняя почта принесла мне известие, что мы снова установили свою власть над грудой камней, которые я называл Элией Капитолиной и которую евреи продолжали именовать Иерусалимом; мы сожгли Аскалон; нам пришлось подвергнуть массовым казням повстанцев Газы... Если шестнадцать лет царствования государя, который является страстным поборником мира, завершились палестинской войной, шансы на поддержание всеобщего мира в дальнейшем представляются довольно шаткими.

Я приподнялся на локте, мне было неудобно лежать на узком походном ложе. Да, конечно, некоторые евреи избежали зелотской заразы: даже в Иерусалиме фарисеи плевали в лицо Акибе, когда он проходил мимо, называли этого фанатика старым безумцем, пустившим на ветер те крупные выгоды, которые сулила евреям принадлежность к римскому миру, они кричали ему, что у него скорее вырастет во рту трава, чем люди увидят победу Иудеи на земле. И все-таки я предпочитал лжепророков этим приверженцам порядка, которые, презирая нас, в то же время на нас рассчитывали, надеясь защитить от вымогательств Симона свое золото, помещенное у сирийских банкиров, и свои угодья в Галилее. Я думал о перебежчиках, которые час назад сидели в этой палатке; униженные, смиренные, услужливые, они тем не менее старались повернуться спиной к статуэтке, изображающей моего гения. Нашего лучшего осведомителя, Эли Бен Абайяда, который играл для Рима роль соглядатая, презирали в обоих лагерях; а ведь он был одним из самых умных людей своего племени, человеком с большим сердцем и с либеральными взглядами, раздраемым любовью к своему народу и пристрастием к нашей литературе и к нам самим; впрочем, по существу, он тоже думал лишь о благе Иудеи. Иошуе Бен Кисма, проповедовавший умиротворение, был, в сущности, тем же Акибой, только более робким или более лицемерным; даже у раввина Иошуа, который долгое время служил мне советником в еврейских делах,

я ощутил за его уступчивостью и желанием понравиться непримиримые разногласия со мной, ощутил ту точку, в которой два противоположных образа мысли встречаются лишь для того, чтобы вступить в единоборство. Наши территории пролегли за сотни миль, за тысячи стадиев от этой сухой всхолмленной земли, но Бетарская скала стала границей меж нами; мы могли уничтожить массивные стены крепости, в которой Симон в иступленье покончил свои счета с жизнью; но мы не могли помешать этому племени отвечать на все наши предложения "нет".

Зазвенел комар; Эвфорион, который в последнее время стал заметно дряхлеть, не попытался плотней задернуть тонкие занавески; брошенные на землю книги и карты шуршали от ветерка, проникавшего в палатку. Я сел на кровати, сунул ноги в сандалии, отыскал ощупью тунику, пояс, кинжал и вышел из палатки, чтобы подышать свежим воздухом ночи. Я шел широкими, словно по линейке прочерченными улицами лагеря, в этот поздний час совершенно пустыми и освещенными не менее ярко, чем улицы в городах; меня торжественно приветствовали часовые; проходя вдоль палаток, служивших нам лазаретом, я слышал тошнотворные запахи болезни. Я шел к земляной насыпи, которая отделяла нас от пропасти и от врага. По дозорной тропе, опасно белевшей в лунном свете, длинным размеренным шагом расхаживал часовой; в этом хождении взад и вперед мне виделось вращение колес огромной машины, главной осью которой был я; зрелище этой одиноко шагавшей фигуры, этого язычка пламени, горящего в человеческой груди посреди полного опасностей мира, на миг взволновало меня. Прозвела стрела, не более докучливая, чем комар, надоедавший мне в палатке; я стоял, облокотившись на мешки с песком, из которых был сооружен лагерьный вал.

Уже несколько лет мне приписывают странную проникаемость, причастность к каким-то высшим тайнам. Люди ошибаются, я ничего не знаю. Но во время этих бетарских ночей я в самом деле видел, как мимо скользили слушавшие меня призраки. Перспективы духа, открывавшиеся с высоты этих голых холмов, были не такими величественными, как те, что видишь с Яникула, не такими золотистыми, как те, что открываются с Суния; по отношению к последним они были как бы изнанкой. Напрасно надеяться, говорил я себе, на то, что Афины и Рим будут существовать вечно; жить вечно не суждено ни людям, ни предметам, и самые мудрые из нас отказывают в этом даже богам. Возникновение изощренных и сложных форм жизни, этих цивилизаций, наслаждающихся утонченностью искусства и счастья, рождение этой свободы духа, который сам себя формирует и судит, зависело от стечения бесчисленных и при этом редких условий, и не следует думать, что они будут длиться вечно. Мы уничтожили Симона; Арриану удастся защитить Армению от вторжения аланов. Но нагрянут другие орды, явятся другие лжепророки. Слабые усилия, которые мы предпринимаем, чтобы облегчить человеческий удел, будут продолжаться нашими последователями рассеянно и небрежно; семя заблуждения и упадка, которое заключено в самом добре, в самом понятии блага, будет чудовищно разрастаться наперекор движению веков. Мир, уставший от нас, будет искать себе новых хозяев; то, что казалось нам мудрым, окажется ничтожным; мерзким покажется нашим пре-

емникам то, что было прекрасным для нас. Подобно тем, кто приобщается к таинствам Митры, род человеческий, очевидно, нуждается в кровавой купели и в периодическом предании земле. Мне виделось, как вновь приходят на землю свирепые законы, беспощадные боги, непререкаемый деспотизм варварских царей, возвращается мир, раздробленный на враждующие государства, мир, непрерывно терзаемый неуверенностью и тревогой. Другие часовые будут под угрозой стрел шагать взад и вперед по дозорным тропам будущих городов; нелепая, грязная, жестокая игра будет продолжаться, и люди, старея, неизменно будут вносить в нее новую и все более ужасную изощренность. Быть может, придет день, когда наша эпоха, пороки и изъяны которой я знаю как никто другой, покажется по контрасту золотым веком человечества.

Natura deficit, fortuna mutatur, deus omnia cernit. Природа нас предает, судьба переменчива, бог созерцает все это с небес. Я вертел на своем пальце перстень, на котором когда-то, в минуту горечи, приказал вырезать эти печальные слова; я заходил в своей разочарованности и богохульстве еще дальше — я считал естественной, если не справедливой, уготованную всем нам погибель. Наша литература иссыкает; наши искусства впадают в спячку; Панкрат — далеко не Гомер; Арриан — не Ксенофонт; когда я пытался обессмертить в камне черты Антиноя, Праксителя не нашлось. Наши науки после Аристотеля и Архимеда топчутся на месте; наш технический прогресс не выдержит тягот продолжительной войны; наши сладострастники пресытились роскошью. Смягчение нравов, поступательное развитие идей на протяжении минувшего века коснулось только ясных умов, составляющих ничтожное меньшинство; люди в своей массе по-прежнему так же невежественны, так же, при случае, жестоки; они ограничены и себялюбивы, и можно биться об заклад, что они останутся такими всегда. Слишком много прокураторов и откупщиков, слишком много недoverчивых сенаторов, слишком много грубых центурионов заранее скомпрометировали наше дело; а чтобы на своих ошибках учиться, времени не дано ни империям, ни людям. Там, где ткач залатал бы свое полотно, где умелый составитель счетов исправил бы свои ошибки, где ваятель заново прошелся бы резцом по своему еще несовершенному или испорченному барельефу, природа предпочитает начинать снова с хаоса, с глины, и это расточительство называется порядком вещей.

Я поднял голову и пошевелился, чтобы размяться. На верху крепости Симона что-то смутно мерцало, отбрасывая в небо красноватые отблески; неприятель жил своей таинственной ночной жизнью. Из Египта дул ветер; пыльный смерч проносился точно призрак; плоские очертания холмов напоминали мне аравийские горы под луной. Прикрывая лицо полой плаща, я медленно возвращался, недовольный собой, ибо посвятил бесполезным раздумьям целую ночь, которую можно было использовать для подготовки к завтрашним делам или для того, чтобы поспать. Если Риму суждено рухнуть, пусть это заботит моих преемников; в тот год — восемьсот восемьдесят седьмой год римской эры — моя задача состояла в том, чтобы подавить мятеж в Иудее, вывести без лишних потерь пораженную болезнями армию с Востока. Проходя через эспланаду, я несколько раз поскользнулся в крови мятежника, казненного накануне. Не снимая

одежды, я лег в постель, через два часа меня подняло пение труб, игравших побудку.

Всю жизнь я прожил в добром согласии с моим телом; я всегда втайне рассчитывал на его надежность и силу. Этот тесный союз начал распадаться: мое тело переставало подчиняться моей воле, моему рассудку, тому, что я, за неимением более точного слова, называю своей душой; мудрый товарищ прежних лет теперь был похож на раба, который с недобрым брюзжанием выполняет свою работу. Мое тело пугало меня; я постоянно ощущал в груди смутное присутствие страха, ту стесненность, которая была еще не болью, но уже первым к ней шагом. Я с давних пор привык к бессоннице, но сон был отныне страшнее, чем его отсутствие; едва успев задремать, я в ужасе просыпался. Меня мучили головные боли, которые Гермоген относил за счет жаркого климата и тяжелого шлема; вечерами, разбитый усталостью, я не садился, а валялся в кресло; снова встать на ноги, чтобы принять Руфа или Севера, требовало от меня таких усилий, к которым нужно было заранее и долго готовиться; мои локти давили на подлокотники, мои ляжки дрожали, как у измученного бегуна. Каждое движение превращалось в тяжкую работу, и из этой работы состояла теперь моя жизнь.

Происшествие смехотворное — пустячное, почти детское недомогание — помогло обнаружить болезнь, таившуюся за жестокой усталостью. Во время заседания военного совета у меня случилось носовое кровотечение, к которому я отнесся поначалу довольно беззаботно; оно продолжалось и за вечерней трапезой; ночью я проснулся мокрый от крови. Я позвал Целера, который спал в соседней палатке; тот в свою очередь поднял Гермогена, но ужасные тепловатые струйки продолжали свой бег. Заботливые руки молодого помощника вытирали кровь с моего лица; на рассвете у меня начались спазмы, подобные тем, какие случаются с людьми, приговоренными к смерти и в ванне вскрывающими себе вены; с помощью одеял и горячих обливаний удалось кое-как согреть начинавшее коченеть тело; для остановки кровотечения Гермоген предписал снег; снега в лагере не было; ценою огромных трудностей по распоряжению Целера он был доставлен с вершин Гермона. Как потом я узнал, все уже перяли надежду вернуть меня к жизни; я и сам чувствовал, что меня привязывает к ней лишь тоненькая ниточка, такая же неуловимая, как и лихорадочный пульс, повергший в ужас моего врача. Необъяснимое кровотечение все же прекратилось; я поднялся с постели; я заставлял себя жить как обычно, хотя мне это плохо удавалось. Однажды вечером, еще до конца не оправившись, я неосторожно позволил себе предпринять короткую верховую прогулку и получил второе предупреждение, еще более серьезное, чем первое. На протяжении секунды я ощутил, как бие мое сердце учащается, потом замедляется, прерывается и останавливается совсем; мне показалось, что я камнем лечу в непонятный черный колодец, который, без сомнения, и есть смерть. Если в самом деле это была она, значит, люди заблуждаются, называя ее безмолвной: меня несли водопады, меня оглушал грохот волн. Я не добрался до дна; я снова вы-

нырнул на поверхность; я задышался. В этот миг, который я счел последним, вся моя сила сосредоточилась в руке, судорожно вцепившейся в руку Целера, стоявшего рядом; позже он показал мне следы моих пальцев на своем плече. Но эту мимолетную агонию, как и всякое другое состояние, испытываемое телом, невозможно выразить в словах, и волей-неволей она остается тайною человека, который ее пережил. С той поры со мной не раз случались похожие приступы, но никогда они не были такими, как первый; человек не может дважды перенести подобный ужас и подобную ночь и при этом не умереть. В конце концов Гермоген определил, что моя болезнь — это сердечная водянка; пришлось смириться с запретами, наложенными на меня недугом, который неожиданно сделался моим господином, смириться с долгим периодом если не отдыха, то бездействия, временно ограничить свою жизнь лежанием в постели. Я почти стыдился этой невидимой, тающейся где-то внутри меня болезнью, которая протекает без лихорадки, без нарывов, без болей и единственные симптомы которой — немного более хриплое, чем обычно, дыхание да синеватая отметина на отекавшей ноге, оставленная ремешком сандалии.

Необычная тишина установилась вокруг моей палатки; казалось, весь бетарский лагерь стал комнатой больного. От благовонного масла, горевшего у ног моего гения, затхлый воздух в этой полотняной темнице делался еще тяжелее; кузнечный грохот моих артерий навевал смутные мысли об острове титанов где-то на краю ночи. В другие минуты этот невыносимый гул казался мне конским галопом по мягкой земле; сознание, которое я на протяжении пятидесяти лет твердо держал в узде, теперь от меня ускользало; грузное тело безвольно отдавалось на волю течения; я становился просто усталым человеком, который рассеянно считает звезды и ромбы на своем одеяле; я глядел на белевшее в сумраке пятно мраморного бюста; протяжная песенка в честь Эпоны, богини коней, которую некогда пела своим низким голосом моя испанская кормилица, большая хмурая женщина, напоминавшая Парку, поднималась со дна более чем полувековой бездны. Казалось, мои дни, а потом и ночи измерялись теми коричневыми каплями, которые Гермоген, тщательно отсчитывая, наливал в стеклянную чашку.

К вечеру я собирался с силами, чтобы выслушать рапорт Руфа. Война подходила к концу; Акиба, который с самого начала военных действий делал вид, будто удалился от общественной деятельности, посвятил себя преподаванию иудейского права в маленьком городке Усфа в Галилее; этот лекционный зал стал центром zelotского сопротивления; руками девяностолетнего пророка распространялись зашифрованные тайные послания к приверженцам Симона; пришлось отправить по домам доведенных до иступления учеников этого старца. После долгих колебаний Руф решил запретить преподавание иудейского права, объявив его крамолой; спустя несколько дней Акиба, нарушивший этот декрет, был арестован и казнен. Девять других книжников, душа zelotской партии, погибли вместе с ним. Я одобрил эти меры кивком головы. Акиба и его сторонники умерли в убеждении, что пострадали безвинно, что они были праведниками; никто из них даже не задумался о том, что должен принять

на себя долю ответственности за те беды, которые обрушились на его народ. Впоследствии им, вероятно, будут завидовать, если вообще можно завидовать слепцам. Я не отказываю этим десяти одержимым в звании героев; но они не были мудрецами.

Тремя месяцами позже, в холодное февральское утро, сидя на вершине холма и прислонившись спиной к стволу смоковницы, уже лишившейся листьев, я наблюдал штурм Бетара, за которым вскоре последовала капитуляция; я видел, как один за другим из ворот выходили последние защитники крепости, истощенные, худые, безобразные — и, однако, прекрасные, как прекрасно все, что исполнено неукротимой воли. В конце того же месяца я приказал отвезти меня к тому месту, которое люди исстари зовут Авраамовым колодцем; сюда были согнаны мятежники, взятые в городе с оружием в руках, и здесь они были проданы с торгов; ухмыляющиеся дети, жестокие, изувеченные привитым им фанатизмом, громко хвастающиеся тем, что у них на счету гибель десятков легионеров; старики, отгородившиеся своими безумными бреднями от жизни; увядшие матроны и другие женщины, торжественные и мрачные, точно Великая праmaterь восточных религий, — все они проходили под холодным оценивающим взором работаровцев; эти людские толпы промелькнули передо мною и рассеялись как пыль. Иошуе Бен Кисма — главарь так называемой партии умеренных, который потерпел полную неудачу в роли миротворца, — скончался примерно в то же время после долгой болезни; он умер, всей душой призывая войну, надеясь на победу парфян над нами. С другой стороны, евреи, принявшие христианство, которых мы не тревожили и которые затаили зло против всего остального еврейского народа за гонения на их пророка, видели в нас орудие гнева господнего. Вереница нелепостей и недоразумений не кончалась.

Надпись, установленная на том месте, где находился Иерусалим, запрещала евреям под страхом смерти снова селиться на месте этой груды руин; она слово в слово воспроизводила фразу, начертанную некогда у врат их храма и запрещавшую входить туда необрезанный. Один раз в год, в девятый день месяца Аб, евреям разрешалось приходить туда и плакать у лежащей в развалинах стены. Самые набожные отказывались покинуть родную землю; они как могли обживались в местностях, менее опустошенных войной; самые фанатичные перебрались в парфянские земли; другие направились в Антиохию, в Александрию, в Пергам; самые ловкие обосновались в Риме, где они стали процветать. На протяжении четырех лет войны было разрушено и уничтожено пятьдесят крепостей, разорено более девяти сот городов и селений; неприятель потерял около шестисот тысяч человек; бои, лихорадка, эпидемии унесли около девяносто тысяч наших легионеров. За трудами военными сразу же последовали работы по восстановлению страны; Элия Капитолина была отстроена заново, однако на сей раз масштабы ее были более скромными; всегда приходится начинать все сначала.

Некоторое время я отдыхал в Сидоне, где один греческий купец предоставил мне свой дом и сады. В марте во внутренних двориках уже зацветали розы. Ко мне возвращались силы; в моем теле, которое, казалось, было совершенно раздавлено яростью первого приступа, обнаружи-

вался поразительный запас жизнестойкости. Врачи ничего не поняли в моей болезни, так же как не заметили ее странного сходства с войной и любовью; ее уступки, ложные выпады, притязания — вся эта причудливая и неповторимая смесь определяется взаимодействием темперамента и недуга. Я чувствовал себя лучше, но я вел со своим телом лукавую игру, я навязывал ему свою волю или расчетливо уступал его прихотям, искусно применяя те приемы, какими я пользовался в свое время, когда мне нужно было расширить и упорядочить свой мир, создать свой собственный образ, украсить свою жизнь. Я понемногу опять стал посещать гимнасий; врач уже не запрещал мне верховой езды, но теперь она стала лишь способом передвижения; я отказался от рискованной вольтижировки прежних времен. Когда я предавался удовольствиям или трудам, главным для меня уже было не само по себе удовольствие или труд; первой моей заботой стало теперь выходить из этих занятий с наименьшими затратами сил. Друзья восхищались моим полным, по всей видимости, выздоровлением; они пытались уверить себя, что болезнь эта была лишь следствием крайнего напряжения сил в последние годы и больше не возобновится; я же придерживался на сей счет иного мнения — я думал о высоких соснах в вифинских лесах, которые дровосек, шагая через лес, отмечает зарубкой, чтобы повалить их на следующий год. К концу весны я сел на большой корабль, отправлявшийся в Италию; я увозил с собою Целера, ставшего для меня необходимым, и Диотима из Гадары, красивого молодого грека, раба по рождению, которого я встретил в Сидоне. Обратный путь проходил через архипелаг; не было никакого сомнения в том, что я в последний раз в жизни видел прыжки дельфинов в синей воде; не помышляя больше ни о каких предзнаменованиях, наблюдал я беспешный, плавный полет перелетных птиц, которые временами, чтобы передохнуть, доверчиво садятся на палубу корабля; я наслаждался запахом моря и солнца на коже, ароматами мастикового дерева и скипидара, доносящимися с островов, на которых так хотелось бы жить, хотя прекрасно понимаешь, что даже не остановишься здесь. Диотим получил превосходное литературное образование, которое часто дают наделенным красотой молодым рабам, чтобы повысить их ценность; в сумерках, лежа на корме под пурпурным навесом, я слушал, как он читал мне поэтов своей страны, пока ночь не стирала всех строк — и тех, что передают трагическую хрупкость человеческой жизни, и тех, что воспевают голубей, веночки из роз и поцелуи влюбленных. Влажное дыхание подымалось от моря; звезды одна за другой загорались на предназначенных им местах; корабль, накренившись от ветра, мчался на запад, туда, где еще тлела багряная полоса; фосфоресцирующий след тянулся за нами и быстро угасал под гребнями черных волн. Я думал о том, что два важных дела ждут меня в Риме: одним из них был выбор преемника, что затрагивало всю империю, другим — моя смерть, касавшаяся меня одного.

Рим приготовил мне триумф, и на сей раз я не стал от него отказываться. Я больше не боролся против обычаев, величественных и суетных одновременно; все, что делает очевидными, пусть даже на один лишь день,

затраченные человеком усилия, представлялось мне благотворным перед лицом мира, склонного мгновенно все забывать. Речь шла не только о подавлении еврейского мятежа; я одержал победу в более глубоком и мне одному известном смысле. Я включил в число почитаемых лиц имя Арриана. Он нанес аланским ордам ряд поражений, которые надолго отбросили их в неведомые глубины Азии, откуда, по их собственному утверждению, они вышли; Армения была спасена; усердный читатель Ксенофонта проявил себя достойным его соперником; еще не перевелся род ученых мужей, которые в случае надобности умеют командовать и сражаться. В тот вечер, возвратившись в свой дом в Тибуре, я устало, но со спокойным сердцем принял из рук Диотима вино и фиимиа для каждодневного возлияния моему гению.

С терпеливым упорством крестьянина, который стремится расширить свои виноградники, я в качестве частного лица начал скупать и сводить воедино земельные участки, расположенные у подножия Сабинских гор, вдоль ручьев и ключей; в сумятице государственных дел я находил иногда время разбить лагерь в этих рощах, которые были отданы в полное распоряжение каменщикам и архитекторам и где проникнутый азиатскими суевериями молодой человек благоговейно молил нас не трогать деревьев. Вернувшись из своего длительного похода на Восток, я с каким-то неистовством спешил подвести к завершению огромные работы по отделке Тибура, на три четверти уже выполненные. На сей раз я приехал туда для того, чтобы провести последние дни своей жизни благопристойно. Здесь все способствовало и трудам, и удовольствиям; канцелярия, залы аудиенций, палата судебных заседаний, где я решал в последней инстанции наиболее трудные дела, избавляли меня от утомительных переездов между Тибуром и Римом. Я награждал каждое из этих строений именами, которые воскрешали в моей памяти Грецию: Пойкиле, Академия, Приганей. Я прекрасно понимал, что эта небольшая, окаймленная оливковыми деревьями долина отнюдь не была Темпейской долиной, но я достиг того возраста, когда любое живописное место напоминает нам о другом, еще более живописном, и когда всякое наслаждение становится острее при воспоминании о наслаждениях, ушедших в далекое прошлое. Я охотно предавался этой ностальгии, которая есть не что иное, как тоска по желанию. Я даже дал одному особенно неприветливому ручью в парке название Стикса и одной из усеянных анемонами лужаек название Элисийских полей, приготавливая себя таким образом к миру иному, где муки похожи на муки нашего мира, а печальные радости несравнимы с радостями земными. Но главное, я соорудил для себя в самой глубине этого уединения убежище еще более уединенное — мраморный островок в центре окруженного колоннадой бассейна, тайную комнату, которую подъемный мост, такой легкий, что одним лишь движением руки я заставляю его скользить по пазам, соединяет с берегом, а вернее сказать, от него отделяет. Я велел перенести в этот павильон две-три из моих самых любимых статуй и маленький бюст Августа-ребенка, подаренный мне Светонием в пору нашей дружбы; я уходил туда в час полуденного отдыха, чтобы поспать, помечтать, почитать. Мой пес укладывался на пороге и вытягивал перед собой свои сильные лапы; на мраморе играли солнечные блики, в поисках прохлады Дио-

тим прижимался щекою к гладкой поверхности чаши. Я думал о своем nasledнике.

У меня нет детей, и я не жалею об этом. Конечно, в часы утомления и слабости, когда становишься противен себе самому, я порой упрекал себя в том, что не позаботился произвести на свет сына, который стал бы продолжением меня. Но это тщетное сожаление покоится на двух посылках, в равной мере сомнительных: на гипотезе о том, что сын непременно нас продолжит, и на гипотезе, допускающей, что это странное переплетение добра и зла, этот клубок ничтожных и причудливых свойств, составляющих личность, заслуживает продолжения. Я стремился по возможности с пользой применять свои добродетели; я извлекал пользу из своих пороков; но я вовсе не считаю необходимым кому-нибудь завещать свои качества. Ведь истинная человеческая преемственность осуществляется вовсе не через кровь: наследником Александра является Цезарь, а не тот хилый ребенок, который родился у некоей персидской принцессы в некоей крепости в Азии; и Эпаминонд, умиравший, не оставив потомства, мог с полным правом сказать, что дочерьми его были победы. Потомки большинства деятелей, оставивших свой след в истории, были существами заурядными, чтобы не сказать хуже; создается впечатление, что на них иссякли возможности рода. Отцовские чувства почти всегда вступают в конфликт с интересами государства. Но даже в тех случаях, когда этого не происходит, императорскому сыну приходится страдать от уродливого дворцового воспитания, которое не приносит ничего, кроме вреда, будущему государю. К счастью, у нас выработалась устойчивая форма передачи императорской власти. И этой формой стало усыновление; узнаю в этом римскую мудрость. Я понимаю, какие опасности таятся в выборе, понимаю, насколько возможны при этом ошибки; знаю также и то, что ослепление бывает уделом не только отцовской любви; но решение, в котором главная роль принадлежит рассудку или в котором рассудок хотя бы наполовину принимает участие, будет мне всегда казаться неизмеримо справедливее таинственных прихотей случая и ленивой природы. Власть должна принадлежать наиболее достойному; прекрасно, что человек, который доказал свою способность руководить государством, выбирает того, кто может его заменить, и что это далеко идущее решение является его последней привилегией и в то же время последней услугой, какую он оказывает людям. Но сделать этот ответственный выбор мне представлялось как никогда трудным.

В свое время я горько упрекал Траяна в том, что он двадцать лет шел на всякие уловки, прежде чем меня усыновить, и что он принял окончательное решение только на смертном одре. Но вот прошло почти восемнадцать лет с того времени, как власть оказалась в моих руках, и, несмотря на опасности своей полной случайностей жизни, я тоже откладывал выбор наследника до последнего часа. По этому поводу ходило множество слухов, большею частью ложных; строилось множество предположений; но то, что люди принимали за тщательно скрываемую тайну, на самом деле было лишь нерешительностью и сомнением. Я осмотрелся вокруг — честных исполнителей своего долга было очень много, но никто из них не обладал необходимой смелостью и размахом. Сорок лет верной службы

свидетельствовали в пользу Марция Турбона, моего славного сотоварища, лучшего префекта преторианцев; но он был мой ровесник — он был слишком стар. Юлий Север, превосходный полководец, отличнейший правитель Британии, плохо разбирался в сложных проблемах Востока; Арриан доказал, что он обладает всеми достоинствами, которые необходимы государственному деятелю, но он был грек — не пришло еще время предлагать напичканному предрассудками Риму императора-грека.

Был еще жив Сервиан; такое долголетие было похоже на результат расчета, упрямого ожидания. Он ждал уже шестьдесят лет. В эпоху Нервы решение об усыновлении Траяна ободрило и вместе с тем разочаровало его; он надеялся на большее; хотя приход к власти родственника, беспрепятственно занятого делами армии, мог обеспечить ему довольно высокое, возможно, даже второе после императора место в государстве, он и тут просчитался: ему досталась весьма скудная порция почестей. Он продолжал выжидать и тогда, когда велел своим рабам напасть на меня у поворота дороги за тополиной рощей, на берегу Мозеля; смертельный поединок, начавшийся в то утро между молодым человеком и пятидесятилетним мужчиной, длился двадцать лет; Сервиан настраивал против меня императора, преувеличивал серьезность моих выходов, использовал малейшую мою ошибку. Подобный противник — прекрасный учитель осмотрительности; в конечном счете он многому меня научил. После того как я пришел к власти, у него хватило ума сделать вид, будто он примирился с неизбежностью; он умыл руки, когда замышлялся заговор четырех консуляриев; я предпочел не замечать пятен на его пальцах. Отныне он выражал свое несогласие только шепотом и возмущался лишь за закрытыми дверями. Поддерживаемый в Сенате небольшой, но влиятельной партией закоренелых консерваторов, которым пришлось не по нраву мои реформы, он поспешил встать в позу молчаливого критика режима. Ему удалось оттолкнуть от меня даже мою сестру Паулину. У них была только одна дочь, она вышла замуж за некоего Салинатора, человека из знатной семьи, которому я дал консульскую должность, но он умер совсем молодым от чахотки; моя племянница ненадолго его пережила; их единственного ребенка, Фуска, его злобный дед восстановил против меня. Однако наша обоюдная ненависть не выходила за рамки приличий; я не скупился на общественные должности для Сервиана, но избегал появляться с ним рядом на церемониях, где ввиду своего почтенного возраста он мог получить преимущество перед императором. Каждый раз, приезжая в Рим, я из чистой вежливости соглашался присутствовать на одной из тех семейных трапез, где постоянно приходится держать ухо востро; мы обменивались с Сервианом письмами; те, что писал мне он, были не лишены остроумия. Однако с течением времени мне стал отвратителен этот пошлый обман; возможность сбросить личину притворства является одной из тех немногих привилегий, которые предоставляет старость; я отказался присутствовать на похоронах Паулины. В Бетарском лагере, в самые тяжкие часы физических страданий и душевного отчаяния, я ощущал невыносимую горечь, когда говорил себе, что Сервиан достигнет своей цели, достигнет по моей вине; этот старик восьмидесяти с лишним лет, умевший щадить свои силы, добьется того, что переживет пятидесятисемилетнего больного мужчину, и, если я

умру, не оставив завещания, он сумеет завоевать голоса моих противников и получит одобрение тех, кто из верности мне изберет моего зятя; и тут уж он воспользуется этим дальним родством, чтобы начать разрушать мое дело. Желая утешиться, я говорил себе, что империя может обрести и еще худшего владыку; в конечном счете, Сервиан не лишен достоинств; даже неповоротливый Фуск может в один прекрасный день оказаться достойным этой высокой власти. Но всеми силами, которые еще у меня оставались, я отвергал эту ложь, мне страстно хотелось жить, чтобы раздавить змею.

По возвращении в Рим я снова встретился с Луцием. Когда-то я принял по отношению к нему обязательства, о которых обычно впоследствии забывают; но я о них помнил. Неправда, будто я обещал ему императорскую порфиру; таких обещаний вообще не дают; но на протяжении почти пятнадцати лет я платил его долги, старался замять его скандалы, без поддержки отвечал на его письма, которые были очень милы, но неизменно кончались просьбами дать денег ему самому или его подопечным. Он слишком глубоко вошел в мою жизнь, чтобы я мог с легкостью вычеркнуть его из нее, если бы даже захотел, но ни о чем подобном я и не помышлял. Он был блестящим мастером беседы; этот молодой человек, которого привыкли считать пустым, прочитал книг значительно больше и вложил в это занятие значительно больше смысла, чем многие из тех, чья профессия — книги писать. Вкус его был безупречен, шла ли речь о людях, вещах, обычаях или о том, как правильно скандировать греческий стих. В Сенате, где он слыл человеком умелым и ловким, он заслужил репутацию искусного оратора; его речи, содержательные и в то же время стилистически изощренные, сделались образцами для учителей красноречия. Моими стараниями он стал претором, затем консулом и со своими обязанностями хорошо справлялся. Несколько лет назад я женил его на дочери Нигрина, одного из консуляриев, казненных в начале моего правления; этот союз стал как бы символом моей миротворческой политики. Его жену нельзя было назвать счастливой: молодая женщина жаловалась, что супруг ею пренебрегает; однако она имела от него троих детей, и в их числе одного сына. На ее жалобы он с ледяной вежливостью отвечал, что человек женится ради своей семьи, а не ради себя самого и что этот договор, столь ответственный и серьезный, имеет мало общего с беззаботными радостями любви. Согласно выработанной им довольно сложной теории, ему требовались любовницы для парадного блеска и покорные рабыни для удовольствий. Он убивал себя наслаждением, как убивает себя художник, творя свой шедевр; впрочем, не мне его упрекать.

Я наблюдал его жизнь, и мое мнение о нем непрестанно менялось, что чаще всего происходит в отношении людей, с которыми мы тесно соприкасаемся; когда речь идет о людях более далеких, мы обычно довольствуемся тем, что судим о них в самых общих чертах и выносим свое суждение раз и навсегда. Временами вызывающая дерзость Луция, его резкость, его с расчетом брошенное рискованное слово настораживали меня; однако я чаще поддавался очарованию его живого и острого ума; порой какое-нибудь меткое замечание вдруг позволяло предположить в нем будущего государственного деятеля. Я говорил об этом с

Марцием Турбоном; каждый вечер, после трудов, которыми заполнен день префекта преторианцев, он приходил ко мне потолковать о текущих делах и сыграть партию в кости; мы снова и снова придирчиво перебирали все шансы Луция быть достойным императорского поста. Друзей удивляли терзавшие меня сомнения; некоторые, пожав плечами, советовали мне принять любое решение, какое мне придет в голову; они воображали, будто завещать кому-либо полмира так же просто, как оставить в наследство загородный дом. Ночами я снова возвращался к тем же мыслям; Луцию едва исполнилось тридцать; кем был в его годы Цезарь? Папенькиным сыном, увязшим в долгах и скандалах. Как в самые плохие для меня дни в Антиохии, перед усыновлением меня Траяном, я с горечью думал о том, что ничто не происходит так медленно, как истинное рождение человека; мне и самому было немногим более тридцати, когда поход в Паннонию открыл мне глаза на ту ответственность, которую налагает на человека власть; иногда Луций казался мне больше к этому подготовленным, чем я в свои тридцать лет. Я принял решение внезапно, после нового приступа удущья, более тяжелого, чем все предыдущие; он напомнил мне о том, что нельзя терять время даром. Я усыновил Луция, который принял имя Элия Цезаря. В его честолюбии было что-то легкомысленное; он был требователен, но не жаден, поскольку привык получать от жизни все, чего пожелает; мое решение он воспринял с абсолютной принужденностью. Я имел неосторожность как-то сказать, что этот белокурый принц будет великолепен в императорском пурпуре; недоброжелатели поспешили истолковать мои слова в том смысле, что я вознамерился расплатиться империей за мою давнюю привязанность к Луцию. Это означало полное непонимание тех идей, какими руководствуется государь, который хоть в малой степени заслуживает этого звания. Впрочем, если бы подобные соображения хоть как-нибудь на меня влияли, Луций был бы далеко не единственным, на ком я мог остановить свой выбор.

Моя жена умерла в своей резиденции на Палатине; она по-прежнему предпочитала его Тибуру и в последние годы жила там в окружении маленького двора, который составляли испанские друзья и родственники, ибо только с ними она еще считалась. Соблюдение общепринятых условностей, забота о приличиях, слабые попытки наладить меж нами хоть какие-то отношения мало-помалу прекратились, оставив в неприкрытом виде раздражение и неприязнь, а с ее стороны — просто ненависть. Незадолго до ее кончины я нанес ей визит; болезнь еще больше ожесточила эту язвительную и мрачную женщину; наше свидание послужило ей поводом обрушиться на меня с яростными обвинениями; они облегчили ей душу, но она имела нескромность предъявить их мне при свидетелях. Она поздравляла себя с тем, что умирает бездетной, ибо мои сыновья наверняка походили бы на меня и она питала бы к ним такое же отвращение, как к их отцу. Эта клокотавшая ненавистью фраза была единственным доказательством ее любви ко мне. Моя Сабина... Я перебирал те немногие приятные воспоминания, которые всегда остаются о живом существе, если постараться их отыскать; я вспоминал корзину фруктов, которую она прислала мне в день моего рождения — после очередной ссоры; следуя в носилках по узким улочкам Тибурской муниципии, я очутился перед

скромным загородным домом, который когда-то принадлежал моей теще Матидии, и с горечью воскресил в памяти несколько ночей того далекого лета, когда я тщетно пытался добиться расположения своей молодой супруги, насмешливой и холодной. Смерть жены огорчила меня меньше, чем смерть Артеи, моей управительницы в Тибуре, которую в ту же зиму унес приступ лихорадки. Поскольку так и не распознанный врачами недуг, от которого скончалась Сабина, сопровождался мучительными болями в животе, меня обвинили, будто я ее отравил, и нашлись люди, легко поверившие этой нелепой сплетне. Нужно ли говорить, что я никогда не пошел бы на столь бесполезное преступление.

Должно быть, именно кончина моей жены побудила Сервиана поставить на карту все; влияние, которым Сабина пользовалась в Риме, было ему хорошо известно; с ее смертью рушилась одна из самых главных его опор. Кроме того, ему недавно пошел девяностый год, и он тоже не мог терять время даром. В течение нескольких месяцев он пытался привлечь на свою сторону небольшие группы командиров преторианской гвардии; иногда в расчете на суеверное уважение, каким обычно бывает окружен столь почтенный возраст, он шел на риск и перед своими сторонниками разыгрывал из себя императора. Незадолго до этого я усилил тайную военную полицию — организацию, что и говорить, малопочтенную, но ее полезность вскоре подтвердил последующий ход событий. Я был прекрасно осведомлен об этих считавшихся секретными сборищах, на которых старый лис обучал своего внука искусству плести заговоры. Назначение Луция наследником не было для старика неожиданностью, он давно уже принимал мои колебания по этому поводу за тщательно скрываемое решение, но для нанесения удара выбрал момент, когда акт усыновления был еще в Риме предметом споров. Его секретарь Кресценс, которому за сорок лет службы у Сервиана надоело страдать от неблагодарности хозяина, выведал план заговора, его дату и место, а также имена участников. Мои враги не отличались богатством воображения: они просто повторили план покушения, задуманного в свое время Нигрином и Квиетом; меня должны были убить во время религиозной церемонии на Капитолии; моему приемному сыну была уготована такая же участь.

Той же ночью я принял меры: мой враг слишком зажился на свете; я должен был передать Луцию наследство, не грозившее ему никакими опасностями. Хмурым февральским утром, в двенадцатом часу, перед моим зятем предстал трибун со смертным приговором Сервиану и его внуку; он имел предписание дожидаться у него в доме приведения приговора в исполнение. Сервиан вызвал своего врача; все произошло прилично и чинно. Прежде чем умереть, он пожелал мне умирать долго, в муках неизлечимой болезни, в отличие от него самого, получившего право на мгновенную смерть. Его пожелание сбылось.

Приказ об этой двойной казни я отдал отнюдь не с легким сердцем; однако после того, как она свершилась, я не ощутил ни сожаления, ни укуров совести. Был оплачен старый счет, вот и все. Возраст никогда не представлялся мне извинением человеческого коварства; скорее это было отягчающее вину обстоятельство. Перед тем как подписать смертный приговор Акибе и его пособникам, я колебался дольше; и в том и в другом

случае речь шла о старике, но я все же предпочел бы фанатика заговорщику. Что касается Фуска, то, хоть он и был полнейшей посредственностью и его гнусный дед сумел восстановить его против меня, все же это был внук Паулины. Но, что бы там ни говорили, узы родства очень слабы, когда они не подкреплены душевной близостью; это особенно явственно видишь, когда сталкиваешься с делами о наследстве. Пожалуй, у меня еще вызывал жалость юный возраст Фуска: он едва достиг восемнадцати лет, но интересы государства требовали именно такой развязки, и старый лис сделал все для того, чтобы она оказалась неизбежной. Я и сам был теперь слишком близок к концу, чтобы позволять себе роскошь тратить время на раздумья об этих двух смертях.

В течение нескольких дней Марций Турбон удвоил бдительность; друзья Сервиана могли попытаться отомстить за него. Но ничего не произошло — ни покушения, ни недовольства, ни ропота. Я уже не был тем новичком, который после казни четверых консуляриев старался привлечь на свою сторону общественное мнение; девятнадцать лет справедливого правления решили вопрос в мою пользу; теперь мои враги вызывали у всех только ненависть; я избавился от изменника, и толпа одобрила мои действия. Фуска жалели, но безвинно пострадавшим его никто не считал. Я знал, что Сенат не может простить мне того, что я снова обрушил удар на одного из его членов; но он молчал и будет молчать до тех пор, пока я не умру. Как и в прошлый раз, я вскоре смягчил впечатление от проявленной мною суровости некоторой дозой милосердия: никто из сторонников Сервиана не пострадал. Единственное исключение я сделал для знаменитого Аполлодора — желчного хранителя тайн моего зятя, — который погиб вслед за ним. Этот талантливый человек был любимым архитектором моего предшественника; он с большим искусством возвел из огромных блоков колонну Траяна. Мы не терпели друг друга; некогда он поднял на смех мои несовершенные любительские творения — добросовестно выполненные натюрморты тыкв и кабачков; я же со своей стороны с юношеским высокомерием критиковал его работы. Позже он огульно хулил все мои замыслы и свершения; он понятия не имел о расцвете греческого искусства; этот плоский логик упрекал меня в том, что я заполнил наши храмы гигантскими статуями, которые, если бы им вздумалось встать, проломили бы головой своды своих святилищ, — дурацкая критика, которая оскорбляла Фидия еще больше, нежели меня. Но боги никогда не встают; они не встают ни для того, чтобы предупредить нас, ни чтобы защитить, наградить либо покарать нас. Не встали они и той ночью, чтобы спасти Аполлодора.

Весною здоровье Луция стало внушать мне серьезные опасения. Однажды утром в Тибуре мы спустились после бани в палестру, где Целлер занялся гимнастическими упражнениями в компании с другими молодыми людьми; один из них предложил состязание в беге, причем каждый участник должен бежать вооруженный щитом и пикой; Луций, по своему обыкновению, хотел было от этого уклониться, но в конце концов уступил под напором наших дружеских шуток; готовясь к бегу, он пожа-

ловался на тяжесть бронзового щита; по сравнению с мужественной красотой Целера его худощавое тело выглядело особенно хрупким. Пробежав несколько шагов, он, задыхаясь, остановился и рухнул на землю, выплонув кровавый сгусток. Происшествие это не имело последствий; он вскоре поправился. Сначала я сильно встревожился, но мне не следовало успокаиваться так быстро. Первые симптомы его болезни я встретил с безмятежной глухотой человека, долгие годы отличавшегося отменным здоровьем; я воспринял их с тайной верой в неисчерпаемые запасы сил, свойственные молодости, в прочность человеческого организма. Нужно сказать, что Луций и сам на этот счет заблуждался; на первых порах ему хватало этого слабого пламени; собственная подвижность и живость обманывали его так же, как и нас. Мои молодые годы прошли в путешествиях, в походных лагерях, на аванпостах; я на собственном опыте оценил достоинства суровой жизни, целебное воздействие засушливого или студеного климата дальних краев. Я решил назначить Луция наместником той самой Паннонии, где я сделал как военачальник свои первые шаги. Положение на этой границе было теперь не таким критическим, как в те давние годы; Луций мог ограничить свою задачу спокойными трудами гражданского администратора или безопасными инспекторскими осмотрами войск. Эта трудная земля излечила бы его от римской изнеженности; он лучше узнал бы весь тот огромный мир, которым Город управляет и от которого он зависит. Но Луция страшил этот край варваров; он не понимал, как можно наслаждаться жизнью за пределами Рима, однако мое предложение принял с той готовностью, какую выказывал всегда, когда хотел угодить мне.

Все лето я внимательно читал его официальные донесения, а также секретные письма, присылаемые Домицием Рогатом, моим доверенным, которого я назначил секретарем Луция, чтобы он присматривал за ним. Отчетами я был вполне доволен: Луций проявил в Паннонии всю серьезность, которая от него требовалась и от которой он, быть может, избавился бы после моей смерти. Он хорошо показал себя также в нескольких конных схватках на аванпостах. В провинции ему, как и всюду, удалось всех обворозить; свойственная ему высокомерная сухость тоже шла ему на пользу; во всяком случае, он не стал одним из тех простоватых государственных мужей, которые легко оказываются игрушкой в руках интриганов. В начале осени Луций простудился. Поправился он быстро, но вскоре кашель начался снова; появился жар, который никак не проходил и сделался постоянным. Следующей весной за кратковременным улучшением последовал внезапный рецидив. Врачебные сводки ошеломили меня; вся махина государственной почты, которую я незадолго перед тем учредил на крупнейших территориях — с подставами для смены лошадей и колесниц, — казалось, действовала теперь только ради того, чтобы каждое утро доставлять мне как можно скорее свежие новости о нашем больном. Я не мог простить себе того, что из боязни показаться чересчур снисходительным был так бесчеловечно жесток к Луцию. Как только он достаточно оправился, чтобы выдержать путешествие, я приказал перевезти его в Италию.

В сопровождении старого Руфа Эфесского, специалиста по легочным

заболеваниям, я сам отправился в Байи, чтобы встретить в порту моего хрупкого Элия Цезаря. Климат в Тибуре лучше, чем в Риме, но для больных легких он все же недостаточно мягок; я решил заставить Луция провести позднюю осень в этих более благоприятных для здоровья краях. Корабль бросил якорь посреди залива; лодка доставила на берег больного вместе с врачом. Его посуровевшее лицо казалось еще более худым из-за бороды, которой, точно мхом, поросли его щеки; он отпустил ее для того, чтобы больше походить на меня. Но глаза Луция по-прежнему сохраняли жесткий блеск драгоценного камня. Первым его побуждением было напомнить мне, что он возвратился лишь по моему приказу; службу свою он нес безупречно, повиновался мне полностью и во всем. Он был словно школьник, который отчитывается перед учителем, как он провел день. Я поместил его на той же вилле, где он прожил вместе со мною целое лето, когда ему было восемнадцать лет; у него хватало такта никогда не заговаривать со мной о тех временах. В первые дни мне показалось, что недуг отступил; уже само возвращение в Италию было хорошим лекарством; в эту пору года здесь все становится розовым и пурпурным. Но вот начались дожди; с серого моря подул влажный ветер; в старом доме, построенном еще во времена Республики, не было тех удобств, какие имелись на тибурской вилле; я видел, как Луций печально греет над жаровней свои длинные, унизанные перстнями пальцы. Гермоген вернулся незадолго до этого с Востока, куда я посылал его, чтобы он обновил и пополнил там свои лекарственные запасы; он испытал на Луций целебность грязи, пропитанной сильнейшими минеральными солями; считалось, что это средство помогает при всех болезнях, но легким Луция оно принесло не больше пользы, чем моим артериям.

Болезнь обнажила все самые худшие стороны этой черствой и непостоянной натуры; его навестила жена, и это свидание, как всегда, закончилось тем, что они наговорили друг другу много обидных слов. Больше она не появлялась. Луцию привели сына, прелестного мальчика семи лет, беззубого и смешливого; отец встретил его равнодушно. Он с жадностью расспрашивал о политических новостях в Риме, но интересовался ими как игрок, а отнюдь не как государственный деятель. Однако его легкомыслие было по-прежнему формой мужества; к вечеру он словно пробуждался после целого дня оцепенения или страданий, чтобы безоглядно отдаться беседе, и делал это с таким же искрящимся блеском, как и прежде; едва увидев врача, он заставлял свое исхудавшее тело приподниматься. Он до конца оставался принцем из золота и слоновой кости.

Вечерами, не в силах уснуть, я располагался в комнате больного; Целер, который недолюбливал Луция, но был слишком верен мне и с заботливостью относился ко всем, кто мне дорог, соглашался подежурить рядом со мной у постели Луция, откуда слышалось хриплое дыхание. Меня охватывала горечь, глубокая, точно море, — Луций никогда меня по-настоящему не любил; наши отношения очень скоро превратились в отношении расточительного сына и покладастого отца; его жизнь прошла без крупных проектов, без серьезных мыслей, без глубоких страстей; он растратил свои годы так же бездумно, как транжир не глядя расшвыривает золотые монеты. Я избрал своей опорой шаткую стену; я с гневом

думал сейчас об огромных суммах, истраченных на усыновление Луция, о трехстах миллионах сестерциев, розданных солдатам. Мой печальный жребий был в известном смысле делом моих собственных рук : я удовлетворил свое давнее желание дать Луцию все, что только было в моих силах; правда, надо признать, что государство от этого не пострадало и сделанный мною выбор не нанес урона моей чести. В глубине души я даже боялся, что Луцию станет лучше; протяни он еще несколько лет, и я не смогу уже передать власть этой тени. Луций никогда не задавал вопросов, но словно читал мои мысли; его глаза тоскливо следили за каждым моим движением; я вторично сделал его консулом; он тревожился, что не сможет выполнять свои обязанности; страх не угодить мне усугублял его болезнь. Tu Marcellus eris... * Я повторял стихи Вергилия, посвященные племяннику Августа, тоже обрученному с императорской властью, но смерть остановила его на пути к ней. Manibus date lilia plenis... Purpureos spargam flores... ** Любитель цветов мог получить от меня лишь еще несколько бесполезных погребальных букетов.

Луций счел, что ему лучше; он захотел воротиться в Рим. Врачи, которые расходились во мнениях лишь в вопросе, сколько времени Луцию еще остается жить, посоветовали мне не противоречить ему. Делая по пути частые остановки, я перевез его на Виллу. Его представление Сенату в качестве наследника императорской власти я предполагал осуществить почти сразу после Нового года; обычай требовал, чтобы Луций обратился ко мне с ответной благодарственной речью; этот крохотный образец красноречия был предметом его забот уже несколько месяцев; мы вместе продумали и отшлифовали наиболее трудные места. Работал он над этой речью и в утро январских календ; внезапно у него хлынула горлом кровь, голова закружилась, Луций прислонился к спинке стула и закрыл глаза. Смерть для этого легкомысленного существа оказалась лишь погружением в забытие. Был день Нового года; чтобы не прерывать публичных торжеств и увеселений, я позаботился о том, чтобы весть о кончине Луция не получила огласки; о ней было официально объявлено только на следующий день. Он был без пышных церемоний похоронен в садах, принадлежавших его семье. Накануне похорон Сенат прислал ко мне делегацию, поручив ей выразить мне соболезнования; было предложено также оказать Луцию почести, какие оказывают божеству; он имел на них право как приемный сын императора. Но я отказался: все это и без того уже слишком дорого обошлось государству. Я ограничился тем, что велел соорудить в честь Луция несколько траурных святилищ и воздвигнуть несколько статуй в местах, где ему доводилось жить; нет, бедный Луций не был богом.

Теперь нельзя было терять ни минуты. Впрочем, у меня было время как следует все обдумать, пока я сидел у постели больного, и я принял решение. Я приметил в Сенате некоего Антонина, человека лет пятидесяти, из провинциальной семьи; он находился в отдаленном родстве с семейством

* Быть Марцеллом тебе... (лат.).

** О, дайте полные руки / Лилий вы мне... Я цветов разбросаю алых... (лат.). (Вергилий. "Энеида", книга шестая.) — Перевод А. Фета.

вом Плотины. Антонин поразил меня почтительной и в то же время нежной заботливостью, с какой он относился к своему тестю, немощному старику, сидевшему в Сенате с ним рядом; я перечитал его послужной список; этот добропорядочный человек на всех постах, какие он занимал, проявил себя безупречно. И мой выбор пал на него. Чем чаще я виделся с Антонином, тем глубже становилось мое к нему уважение. Этот простой человек обладал достоинством, над которым я до сих пор мало задумывался, даже тогда, когда сам его обнаруживал: добротой. Он был не свободен от мелких недостатков, свойственных мудрецам: его ум, поглощенный выполнением каждодневных задач, был занят не столько будущим, сколько настоящим; его знание жизни ограничивали сами его достоинства — все его путешествия свелись к нескольким официальным миссиям, выполненным, кстати сказать, превосходно. С искусствами он был мало знаком и на любые нововведения шел неохотно. Провинции, например, никогда не будут представлять для него ту неисчерпаемую сокровищницу возможностей прогресса, какой они не переставали быть для меня; он станет скорее продолжать, нежели расширять начатое мною дело, но будет продолжать его хорошо; государство получит в его лице честного слугу и хорошего хозяина.

Однако отрезок времени, отпущенный одному поколению, представлялся мне недостаточным для того, чтобы обеспечить безопасность целого мира; я стремился протянуть по возможности дальше эту мудрую цепочку приемных сыновей, подготовить для императорской власти лишнюю подставу на дороге времен. Каждый раз, возвращаясь в Рим, я не забывал навестить моих старых друзей Веров, как и я, испанцев, — одно из самых достойных семейств среди высших судейских чиновников. Я знал тебя с колыбели, маленький Анний Вер, ныне благодаря мне получивший имя Марка Аврелия. В один из самых солнечных периодов моей жизни, в эпоху, которая отмечена сооружением Пантеона, я из дружеского расположения к твоей семье устроил твое избрание в Священную коллегию Арвальских братьев, которую возглавляет император и которая ревностно поддерживает древние обычаи нашей римской религии; я держал тебя за руку во время жертвоприношения, которое состоялось в тот год на берегу Тибра; с ласковым любопытством я смотрел на тебя, пятилетнего мальчугана, испуганного визгом жертвенной свиньи, но изо всех сил старавшегося подражать исполненному достоинства поведению взрослых. Я всерьез занимался воспитанием не по возрасту рассудительного малыша; я помогал твоему отцу выбрать для тебя наилучших учителей. Вер, Вериссим * — я играл твоим именем; пожалуй, ты был единственным ни разу не соглавшимся мне существом. Я видел, с каким увлечением читаешь ты сочинения философов, как ты одеваешься в грубошерстную ткань, спишь на жесткой постели, подвергаешь свое еще не окрепшее тело тяжким испытаниям стойков. Во всем этом есть, безусловно, некоторая чрезмерность, но в семнадцать лет чрезмерность — еще достоинство. Иногда я спрашиваю себя, на какой риф налетит и пойдет ко дну эта мудрость, ибо ко дну она идет всегда — будет ли это супруга, или чрезмерно любимый сын, или

* Эти имена означают по-латыни: Правдивый, Правдивейший.

одна из тех случайных ловушек, в которые попадают чистые и совестливые души; а возможно, это будет просто возраст, болезнь, усталость и та утрата иллюзий, которая говорит нам, что если в мире все тщетно, то тщетна и добродетель... Я пытаюсь представить на месте твоего простодушного юношеского лица лицо усталого старца. Я чувствую, какая нежность, а быть может, и слабость таится за твоей благовоспитанной твердостью; я угадываю в тебе присутствие некоего таланта, который вовсе не обязательно окажется талантом государственного деятеля; тем не менее мир заметно улучшится, если этот талант соединится когда-нибудь с верховной властью. Я сделал все необходимое для того, чтобы ты был усыновлен Антонином; под новым именем, которое в один прекрасный день появится в списке императоров, ты станешь моим внуком. Я надеюсь подарить людям единственную возможность осуществить мечту Платона — дать им увидеть, что над ними властвует философ с непорочным сердцем. Ты с отвращением принял выпавшие тебе на долю почести; твое положение обязывает жить во дворце; Тибур, место, в котором я собрал все, что есть нежного и сладостного в жизни, смущает твою юную добродетель; я вижу, как ты степенно бродишь по увитым розами аллеям, и с улыбкой замечаю, как тебя охватывает волнение при встрече с прекрасными обнаженными статуями, как застываешь ты в нерешительности, не зная, кому отдать предпочтение, Веронике или Теодоре, и поспешно отказываешься от обеих в пользу сурового воздержания, которое, однако, есть чистейший фантом. Ты не скрыл от меня своего меланхолического презрения ко всей этой недолговечной пышности, к придворной суете, от которой после моей смерти не останется и следа. Ты не любишь меня; твоя сыновья привязанность будет принадлежать скорее Антонину; ты угадываешь во мне ту мудрость, которая враждебна всему, чему учат тебя твои наставники; в моем доверии к тебе ты видишь нечто противоположное привычной тебе строгости нравов, тогда как оба эти отношения к жизни не исключают друг друга. Ну что ж, я ведь не требую, чтобы ты меня понимал. На свете есть разные формы мудрости, и все они необходимы для человечества; и даже неплохо, если они чередуются.

Через неделю после смерти Луция я приказал доставить меня в носилках в Сенат; я испросил разрешения вступить в зал заседаний также в носилках и сказать свою речь лежа, опершись на подушки, положенные одна на другую. Мне было трудно говорить; я просил сенаторов обступить меня тесным кругом, чтобы не пришлось напрягать голос. Я воздал хвалу Луцию; эти несколько слов заменили в программе заседания речь, с которой в этот день он должен был выступить сам. Затем я объявил свое решение: я назвал Антонина, я произнес твое имя, Марк Аврелий. Я рассчитывал на единодушное одобрение, и я его получил. Я выразил также свою последнюю волю, и она была принята столь же единогласно; я потребовал, чтобы Антонин усыновил также сына Луция, который таким образом становится братом Марка Аврелия; вы будете править совместно; я рассчитываю, что ты, как старший, будешь о нем заботиться. Для меня очень важно, чтобы государству что-то осталось и от Луция.

Когда я вернулся домой, мне впервые за много дней захотелось улыбнуться. Я на удивление хорошо сыграл свою партию. Сторонники

Сервиана, люди отживших взглядов, враждебные моему делу, не сложили оружия; вежливые слова, которые я произнес по адресу этой старинной и безнадежно устаревшей сенаторской корпорации, не возместили им тех ударов, которые я им нанес. Нет никакого сомнения в том, что они воспользуются моей смертью, чтобы попытаться аннулировать все мои акты. Но даже злейшие мои враги не осмелятся отвергнуть ни самого неподкупного из представителей Сената, ни сына одного из самых уважаемых его членов. Мой долг перед государством был выполнен; отныне я мог возвратиться в Тибур, мог снова наслаждаться той отставкой, какою является болезнь, снова сражаться со своими болями и предаваться тем удовольствиям, какие еще у меня остались; я мог мирно продолжать свой прерванный диалог с призрачным собеседником. Мое императорское наследие будет целым и невредимым в руках добропорядочного Антонина и серьезного Марка Аврелия; даже Луций останется жить в своем сыне. Все не так уж плохо устроилось.



Арриан пишет мне:

В соответствии с полученными распоряжениями я завершил плавание вдоль всех берегов Понта Эвксинского. Мы круто изменили курс, добравшись до Синопа, жители которого навеки признательны тебе за большие работы по расширению и перестройке порта, прекрасно выполненные под твоим наблюдением несколько лет тому назад... Кстати, они воздвигли тебе статую, которая не очень похожа и не очень хороша; пришли им другую, из белого мрамора... Далее к востоку я не без волнения обнял взором все тот же Понт Эвксинский, увидав его с высоты холмов, откуда впервые увидел его наш Ксенофонт и откуда некогда ты сам его созерцал...

Я сделал инспекторский смотр береговым гарнизонам; их командиры заслуживают самых высоких похвал за отменную дисциплину, за применение новейших методов обучения солдат и за хорошее состояние инженерных работ... На всей необжитой и еще мало исследованной части побережья я приказал провести новые промеры глубин и исправить, где это нужно, указания на картах, сделанные мореплавателями, прошедшими здесь до меня...

* Терпение (лат.).

Мы прошли вдоль Колхиды. Помня, как привлекают тебя легенды древних поэтов, я расспросил местных жителей о чародействе Медеи и подвигах Ясона. Но они, кажется, ничего об этом не знают...

На северном берегу этого негостеприимного моря мы попали на маленький островок, который легенды рисуют очень большим, — на остров Ахилла. Ты ведь знаешь: говорят, будто Фетида воспитала своего сына на этом островке, затерянном среди туманов; каждый вечер она поднималась со дна моря и беседовала на песчаном берегу со своим мальчиком. Ныне остров необитаем, на нем живут только козы. На острове есть храм Ахилла. Чайки и другие морские птицы часто навеивают его, и хлопанье крыльев, пропитанных влагой моря, оживляет площадку перед входом в святилище. Этот остров Ахилла, естественно, является и островом Патрокла; изображения, которыми украшены внутренние стены храма, посвящены и Ахиллу, и его другу, ибо те, кто любит Ахилла, чтут и память Патрокла. Ахилл является в снах мореплавателям, посещающим эти края; он покровительствует им и предупреждает об опасностях, грозящих им в море, так же, как в других краях это делают Диоскуры. И тень Патрокла появляется рядом с Ахиллом.

Я рассказываю тебе об этих вещах, потому что они, на мой взгляд, стоят того, чтобы о них знали, а также потому, что те, кто мне поведал о них, сами все это пережили или узнали об этом от свидетелей, достойных доверия... Ахилл кажется мне иногда самым великим из людей благодаря своему мужеству, душевной силе и глубоким познаниям, сочетающимся с ловкостью тела и с горячей любовью к своему юному спутнику. И самым великим представляется мне его отчаянье, заставившее Ахилла презирать жизнь и желать себе смерти, когда он потерял горячо любимого человека.

Я снова опускаю себе на колени объемистый отчет губернатора Малой Армении и командующего эскадрой. Арриан, как всегда, хорошо потрудился. Но на сей раз он сделал еще больше: он принес мне в дар то, что необходимо мне, чтобы я мог умереть спокойно; он позволяет мне представить мою жизнь такой, какой я всегда мечтал ее видеть. Арриан знает, что самое главное в человеке — это то, что никогда не будет фигурировать в официальных биографиях, что не высекается на могильных плитах; он знает также, что время лишь добавляет к пережитым бедам новую тревогу. Увиденная его глазами, сумятица моего существования обретает смысл, стройно выстраивается, как в поэме; неповторимая и единственная нежность избавляется от укоров совести, от нетерпеливости, от грустных причуд, словно очищаясь от дыма и праха; скорбь становится светлой, отчаянье — прозрачным и чистым. Арриан распахивает передо мною ширь горних высот, населенных героями и друзьями героев: он не считает меня недостойным этих небес. Потайная комната посреди одного из бассейнов Виллы уже больше не служит мне надежным убежищем: я влеку сюда свое одряхлевшее тело; я здесь страдаю. Разумеется, мое прошлое сохранило мне множество укромных уголков, где, уединившись, я могу ускользнуть хотя бы от части своих нынешних бед, — заснеженную рав-

нину на берегу Дуная, сады Никомедии, Клавдиополь, пожелтевший от цветущего шафрана, любую улицу Афин, оазис, где водяные лилии колышутся на поверхности заросшего пруда, сирийскую пустыню в мерцании звезд на пути из лагеря Хосрова. Но эти столь дорогие мне места слишком часто оказываются тесно связанными с истоками какого-нибудь заблуждения или просчета, какой-нибудь неудачи, известной лишь мне одному; когда мне бывает худо, кажется, что все счастливые дороги непременно ведут в Египет, в комнату в Байях или в Палестину. Более того, усталость тела сообщается и моей памяти; видение лестниц Акрополя почти невыносимо для человека, который задыхается, преодолевая несколько ступенек по пути в сад; воспоминание об июльском солнце над земляной насыпью в Ламбезе угнетает меня, словно я сегодня подставляю его лучам непокрытую голову. Арриан дарит мне нечто большее. В Тибуре в разгар жаркого мая я слушаю протяжную жалобу волн, накатывающихся на пляж Ахиллова острова; я вдыхаю его чистый и прохладный воздух; я беспечно разгуливаю по площадке перед храмом, омываемой влажным дыханием моря; я вижу тень Патрокла... Это место, где мне никогда не бывать, становится моим тайным убежищем, моим последним пристанищем. Я наверняка буду там в момент своей смерти.

Когда-то я дал философу Евфрату разрешение на самоубийство. Казалось, что может быть проще: человек имеет право уйти, когда он сочтет, что его жизнь перестала приносить пользу. Тогда я еще не знал, что смерть, как любовь, может стать предметом слепой страсти и голода. Тогда я еще не представлял себе ночей, когда буду обматывать свой кинжал перевязью, чтобы не один раз подумать, прежде чем пустить его в ход. Лишь один Арриан проник в тайну этого бесславного поединка с пустотой, бесплодностью и усталостью и с тем отвращением к жизни, которое приводит человека к желанию умереть. Исцеления мне не дано; давняя лихорадка не раз валила меня с ног; словно больной, который предупрежден о близящемся приступе, я заранее дрожал при мысли о нем. Я хватался за любой предлог, лишь бы отдалить час ночной борьбы; для этого годилось все — работа, безрассудно тянувшиеся до рассвета разговоры, книги. Принято считать, что император кончает жизнь самоубийством только в том случае, когда его вынуждают к этому государственные соображения; даже Марк Антоний имел извинительный предлог — проигранную битву. И, пожалуй, мой суровый Арриан не так восхищался бы этим привезенным из Египта отчаяньем, не сумей я его побороть. Выработанный мною самим кодекс запрещал солдатам добровольный уход из жизни; это право я пожаловал лишь мудрецам; я чувствовал, что стать дезертиром я точно так же не вправе, как и любой легионер. Но я знаю, что значит с вожделием ощупывать моток веревки или лезвие ножа. Кончилось тем, что я превратил свое желание смерти в защиту против нее: постоянная возможность самоубийства помогала мне с большей стойкостью продолжать существование; так наличие под рукой микстуры со снотворным успокаивает человека, страдающего бессонницей. Как это ни странно, но мысль о самоубийстве перестала владеть мною только тогда, когда первые симптомы недуга отвлекли меня от нее; я снова начал проявлять интерес к жизни, которая покидала меня; в садах Сидо-

на мне страстно хотелось продлить работу своего тела хотя бы еще на несколько лет.

Можно хотеть умереть, но нельзя хотеть задышаться; болезнь внушает отвращение к смерти; человеку хочется выздороветь, а это уже одно из проявлений желания жить. Однако слабость, боль, сотни телесных терзаний вскоре отваживают больного от попыток снова выкарабкаться из этой трясины: он больше не хочет коварных передышек, которые оказываются ловушкой, не хочет неустойчивого облегчения, напрасных порывов, напряженного ожидания нового приступа. Я внимательно следил за собой: что означает эта тупая боль в груди — минутное недомогание, расплату за слишком быстро проглоченную пищу, или следует ждать со стороны врага решающей атаки, которая на сей раз не будет отбита? Вступая в Сенат, я всякий раз говорил себе, что, может быть, его двери закроются сейчас за мной столь же бесповоротно, как закрылись они позади Цезаря, которого ожидали здесь пятьдесят заговорщиков, вооруженных ножами. Во время вечерних трапез в Тибуре я опасался обидеть своих гостей невежливой выходкой, какой оказалась бы внезапная смерть за столом; я боялся умереть в ванне. Отравления, которые прежде были легки или даже приятны, становятся унижительными, когда они затрудняются; омерзительно каждое утро предьявлять врачу для обследования серебряную вазу. Основная болезнь тянет за собой целую вереницу сопутствующих недугов; мой слух утратил свою прежнюю остроту; вчера я был вынужден просить Флегонта повторить целую фразу; это кажется мне более постыдным, нежели признаваться в преступлении. Месяцы, последовавшие за усыновлением Антонина, были ужасны: пребывание в Байях, возвращение в Рим и переговоры, которыми сопровождалась все эти переезды, вымотали мои последние силы. Одержимость мыслью о самоубийстве снова вернулась ко мне, но на сей раз причины были у всех на виду и в них не стыдно было признаться; даже злейшему врагу это не показалось бы смешным. Ничто больше меня не удерживало, все поняли бы, что император, удалившийся в свой загородный дом, после того как привел в порядок государственные дела, принял необходимые меры, чтобы облегчить свой конец. Но заботливость моих друзей выражалась в постоянном надзоре; больной — это пленник. Я не ощущал в себе больше твердости, какая нужна для того, чтобы с точностью вонзить кинжал в то место на левой стороне груди, которое я когда-то обозначил у себя на коже красной тушью; к нынешней болезни только прибавились бы повязки, окровавленные губки и пререкающиеся между собой у моей постели хирурги. Для того, чтобы подготовиться к самоубийству, нужно было принять те же меры предосторожности, какие принимает убийца, прежде чем нанести удар.

Сперва я подумал о своем егере Масторе, простодушном и невежественном сармате, который уже много лет сопровождает меня повсюду с преданностью сторожевой собаки и который иногда дежурит ночью у моих дверей. Воспользовавшись минутой, когда я остался один, я позвал его и объяснил, чего я от него хочу; он не понял меня. Наконец до него дошло, и его грубоватую физиономию исказил ужас. Он почитал меня бессмертным; он видел, как днем и ночью в мою спальню входят врачи; он слышал мои стоны во время кровопусканий; но ничто не могло поколебать

его веры; мою просьбу он воспринял так, как если бы царь богов, желая его испытать, спустился с Олимпа и потребовал от него добить себя. Он вырвал у меня из рук свой меч, который я успел схватить, и с громкими воплями убежал. Его нашли в глубине парка; он что-то бормотал под звездами на своем варварском языке. Обезумевшее создание кое-как успокоили. Об этом случае никто со мной больше не заговаривал, но на следующий день я заметил, что на моем рабочем столе, поставленном возле кровати, Целер заменил металлический стиль палочкой из тростника.

Надо было искать более надежного союзника. Я очень доверял Иоллу, молодому александрийскому врачу, которого Гермоген выбрал прошлым летом своим заместителем на то время, пока сам он отсутствует. Мы часто беседовали с ним; я любил выстраивать вместе с ним гипотезы о природе и происхождении вещей; мне нравился его смелый и мечтательный ум, нравился мрачный огонь, горевший в его глазах, обведенных темными кругами. Я знал, что ему удалось отыскать в Александрийском дворце формулу тончайших, мгновенно действующих ядов, составленных некогда химиками Клеопатры. Испытание соперников на медицинскую кафедру, которую я только что учредил в Одеоне, послужило мне удачным поводом для того, чтобы удалить на несколько часов Гермогена и получить возможность побеседовать с Иоллом наедине. Он понял меня с полуслова; он сочувствовал мне; он признавал мою правоту. Однако клятва Гиппократы запрещала ему под каким бы то ни было предлогом давать больному вредоносное лекарство, и он не мог поступиться своей врачебной честью. Я настаивал; я требовал; я перебрал все средства, чтобы разжалобить его или подкупить; это был последний, кого я в жизни умолял. Наконец он был сломлен и обещал принести мне необходимую дозу яда. Я тщетно ждал его до самого вечера. Поздно ночью я с ужасом узнал, что он найден мертвым в своей лаборатории, со стеклянным флаконом в руках. Это не знающее компромиссов сердце нашло единственный способ, не отказывая мне, остаться верным своей клятве.

На следующий день велел доложить о себе Антонин; искренний друг с трудом удерживался от слез. Мысль о том, что человек, которого он любил и привык почитать как родного отца, так сильно страдает, что он ищет смерти, была для него невыносима; ему казалось, будто он пренебрег своим сыновним долгом. Он обещал присоединиться к тем, кто окружил меня заботами, обещал ухаживать за мной, облегчать мои муки, сделать все для того, чтобы моя жизнь до последних дней была легка и приятна; он говорил, что меня, быть может, излечат. Он рассчитывает, что я еще долго буду руководить им и его наставлять; он чувствует себя ответственным перед всей империей за те дни, которые мне остается прожить. Я знаю, чего стоят эти жалкие заверения и наивные обеты, но все же они утешают и успокаивают меня. Простые слова Антонина меня убедили, и, прежде чем умереть, я снова вступаю во владение самим собой. Смерть Иолла, верного своему врачебному долгу, призывает меня быть до конца верным чести моего императорского ремесла. Patientia... Вчера я видел Домиция Рогата, назначенного прокуратором и получившего приказ возглавить чеканку новых монет; я избрал эту надпись; она будет моим последним девизом. Моя смерть казалась мне раньше самым личным из

всех моих решений, последним прибежищем свободного человека; я заблуждался. Вера миллионов Масторов не должна пошатнуться; другие Иоллы не будут подвергнуты испытанию. Я понял, что для небольшой группки преданных друзей, которые меня окружают, мое самоубийство было бы проявлением равнодушия и даже неблагодарности по отношению к ним; я не хочу оставлять им на память образ скрежещущего зубами человека, неспособного вынести лишнюю пытку. Новые мысли медленно вызревали во мне на протяжении ночи, последовавшей за смертью Иоллы; жизнь многое мне дала, или, во всяком случае, я многое смог от нее получить; теперь, как и во времена моего счастья, но уже в силу других, прямо противоположных причин, мне кажется, что ей больше нечего мне предложить; однако я не уверен, что мне больше нечему у нее научиться. Я до последнего часа буду вслушиваться в ее тайные наставления. Я всегда доверялся мудрости своего тела; я старался с разбором вкушать ощущения, которые доставлял мне этот друг; я чувствую себя обязанным по достоинству оценить и последние из них. Я больше не отвергаю агонии, которая мне суждена, не отвергаю того конца, который медленно вызревает в моих артериях и который, возможно, унаследован мной от кого-то из предков, рожден моим темпераментом, исподволь подготовлен каждым моим поступком на протяжении всей жизни. Час нетерпенья прошел; отчаяние выглядело бы сейчас так же неуместно, как и надежда. Я решил не торопить свою смерть.

Как много еще предстоит сделать. Африканские владения, унаследованные мной от моей тещи Матидии, должны стать образцом сельскохозяйственного хозяйствования; крестьяне Борисфена, поместья, которое я основал во Фракии в память о моем добром коне, должны получить пособие после мучительно тяжелой зимы; богатым земледельцам нильской долины, всегда готовым извлечь выгоду из покровительства императора, следует, напротив, в субсидиях отказать; Юлий Вестин, префект учебных заведений, посылает мне рапорт об открытии общественных школ; я только что завершил коренную переработку Пальмирского тарифа; в нем предусмотрено решительно все, от расценок проституток до ввозной пошлины для караванов. В эти дни собирается съезд врачей и судейских чиновников для определения минимальных и максимальных сроков вынашивания ребенка, что положит конец нескончаемой судебной путанице по этому поводу. В военных поселениях участились случаи двоеженства; я стараюсь убедить ветеранов не злоупотреблять новыми законами, разрешающими им вступление в брак, и не брать в жены больше одной женщины. В Афинах по примеру Рима воздвигается Пантеон; я составляю надпись, которая будет начертана на его стенах: я перечисляю, в качестве примеров и обязательств на будущее, услуги, оказанные мною греческим городам и варварским народам; об услугах, оказанных Риму, в ней не говорится. Пролонгируется борьба с судебным произволом: я должен был сделать внушение управителю Киликия, который надумал подвергать мучительной казни людей, ворующих в его провинции скот, как будто недостаточно просто смерти, чтобы покарать преступника и избавиться от него. Государство

и органы самоуправления слишком часто прибегают к осуждению людей на каторжные работы, обеспечивая себя, таким образом, дешевой рабочей силой; я запретил подобную практику в отношении как рабов, так и свободных людей; но нужно неотступно следить за тем, чтобы эта гнусная система не возрождалась под другими названиями. Принесение в жертву детей еще происходит в некоторых местах на территории бывшего Карфагена; нужно что-то придумать, чтобы лишить жрецов Ваала жестокой радости разжигать эти жертвенные костры. В Малой Азии права наследников Селевкидов были самым постыдным образом ущемлены нашими гражданскими судами, враждебно настроенными к бывшим монархам; я исправил эту давнюю несправедливость. В Греции процесс Герода Аттика продолжается до сих пор. Ларец с донесениями от Флегонта, его скрепки из пемзы и палочки красного воска будут со мной до конца моих дней.

Как и во времена моего счастья, люди считают меня богом; они продолжают наделять меня этим званием, даже когда приносят небесам жертвы во имя восстановления августейшего здоровья. Я уже говорил тебе, в силу каких причин эта столь благотворная вера не кажется мне безрассудной. Слепая старуха пришла в Рим из Паннии пешком; такое изнурительное путешествие она предприняла для того, чтобы просить меня притронуться пальцем к ее угасшим зрачкам; под моею рукой старуха вновь обрела зрение, как она того и ожидала; это чудо объясняется ее верой в императора-бога. Произошли и другие чудесные исцеления; больные говорят, что я являлся им в сновидениях; так паломники Эпидавра видят во сне Эскулапа, люди просыпаются исцеленными или, во всяком случае, чувствуют, что недуг отступил. Противоречие между моими способностями чудотворца и моей собственной болезнью вовсе не кажется мне смешным; я с полной серьезностью принимаю эти новые, дарованные мне права. Слепая старуха, которая шла к императору из глубин варварской провинции, стала для меня тем же, чем некогда был таррагонский раб: символом населяющих империю племен, которыми я управлял и которым я служил. Их безграничное доверие — плата за двадцать лет моих трудов, которые к тому же не всегда были мне неприятны. Недавно Флегонт прочитал мне сочинение одного александрийского еврея, где мне тоже приписываются сверхчеловеческие свойства; без малейшей иронии воспринял я этот образ седовласого монарха, которого люди встречают на всех земных дорогах и который открывает сокровища недр, пробуждает плодородные почвы, насаждает всюду процветание и мир; это образ человека, посвященного в тайны богов, человека, восстановившего святые места всех народов и племен, образ знатока магических искусств, образ ясновидца, который вознес на небеса земного ребенка. Восторженный еврей, должно быть, понял меня куда лучше, чем большинство наших сенаторов и проконсулов; наш бывший противник дополняет Арриана; я рад, что становлюсь наконец в чьих-то глазах тем, кем я всегда мечтал быть. И этой удачей я обязан ничтожнейшим обстоятельствам. Стоящие у порога старость и смерть придают моему престижу новое величие; люди с благоговением расступаются на моем пути; они больше не сравнивают меня, как прежде, с лучезарным и безмятежным Зевсом, они сравнивают меня теперь с Марсом Шествующим, богом долгих походов и строжайшей дис-

циплины, сравнивают со степенным Нумой, вдохновенным богами; мое бледное осунувшееся лицо, неподвижные глаза, длинное, скованное постоянным напряжением тело напоминают им в последнее время Плутона, бога теней. Лишь несколько самых близких, самых испытанных, самых дорогих моему сердцу друзей избежали этой ужасной заразы — трепетного почитания. Молодой адвокат Фронтон, юрист с большим будущим, который наверняка станет одним из добрых советчиков твоего правления, пришел обсудить со мной текст ходатайства, с которым ему предстоит обратиться к Сенату; его голос дрожал; я прочел в его глазах все то же благоговение, смешанное со страхом. Мирные радости человеческой дружбы больше не для меня — люди меня обожают, люди слишком боготворят меня, чтобы меня любить.

Мне выпала на долю удача, сходная с той, которая иногда выпадает садовникам: все, что я пытался внедрить в человеческое воображение, пустило в нем корни. Культ Антиноя представлялся самым безумным из моих деяний, он был вышедшей из берегов скорбью, касавшейся меня одного. Но наша эпоха неистово жаждет богов; она отдает предпочтение культам самых пылких и самых печальных из них — тех, что умеют подмешивать к вину жизни толику горького меда загробного мира. В Дельфах мальчик стал Гермесом, охранителем порога, хозяином темных переходов, ведущих в царство теней. Элевсин, где некогда возраст и чужеземное происхождение не позволили ему приобщиться к таинствам вместе со мной, сделал из него юного Вакха своих мистерий, князя тех областей, что пролегают между чувствами и душой; Аркадия, страна его предков, ставит его в один ряд с Дианой и Паном — божествами лесов; крестьяне Тибура уподобляют его сладостному Аристею, царю пчел. В Азии суверенные люди видят в нем своих нежных и хрупких богов, разбиваемых осенним ненастьем, пожираемых летней жарой. У рубежей варварских стран спутник моих путешествий и охот принял облик Фракийского всадника, таинственного незнакомца, который гарцует в лесной чаще при свете луны и уносит в складках плаща человеческие души. Все это могло быть и всего лишь наростом на официальной религии, лестью народов или подлым стремленьем жрецов получить побольше денег. Но юный лик от меня ускользает; он идет навстречу упованиям простых сердец; словно повинувшись некоей удивительной перестройке, коренящейся в самой природе вещей, прелестный печальный эфеб стал в глазах народного благочестия опорой немощных и бедных, утешителем мертвых детей. Вифинские монеты с выбитым на них профилем пятнадцатилетнего мальчика, с его развевающимися кудрями, с его изумленной и доверчивой улыбкой, которую он так недолго хранил, вешают на шею новорожденным в виде амулета; их прибывают к детским могилам на деревенских кладбищах. Прежде, когда я думал о собственной смерти — как думает о ней корабельщик, нисколько не заботящийся о самом себе, но дрожащий за своих пассажиров и за доверенный ему груз, — я с горечью говорил себе, что груз моих воспоминаний канет в пучину забвения вместе со мной; мне казалось, что юному существу, бережно забальзамированному в глубине моей памяти, грозит вторичная гибель. Потом этот вполне оправданный страх понемногу улегся; мне удалось в меру сил возместить

эту раннюю смерть; его отражение, образ, далекое эхо еще несколько веков прудержатся на поверхности; достигнуть большего по части бессмертия трудно.

Я вновь повидал Фида Аквилу, губернатора Антинополя, когда он уезжал к местам своей новой службы — в Сармизегетузу. Он рассказал мне о ежегодных обрядах, совершаемых на берегу Нила в честь почившего бога, о паломниках, тысячами прибывающих из северных и южных областей, о приношениях зерном и пивом, о молебствиях; раз в три года в Антинополе, а также в Александрии, Мантинее и дорогих моему сердцу Афинах проводятся посвященные ему памятные игры. Они должны состояться и нынешней осенью, но до девятого возвращения месяца Атира я дожить не надеюсь. Тем более важно, чтобы все детали этих торжеств были тщательно продуманы. Оракул покойного действует в тайном зале фараонова храма, восстановленного моими заботами; жрецы ежедневно дают несколько сот заранее подготовленных ответов на вопросы, продиктованные надеждой или тревогой. Меня упрекали в том, что многие из ответов составил я сам. Я отнюдь не желал этим выказать неуважение к моему богу или отсутствие сострадания к жене солдата, которая спрашивает, вернется ли живым из палестинского гарнизона муж, к жаждущему облегчения больному, к купцу, чьи корабли носятся по волнам Красного моря, к супружеской чете, мечтающей о рождении сына. Нет, эти ответы были лишь продолжением тех буквенных загадок и стихотворных шарад, в которые мы с ним иногда любили играть. Людей удивляет также, что здесь, на Вилле, вокруг Канопской молельни, где культ Антиноя отправляется на египетский лад, я установил увеселительные павильоны, вроде тех, какими славится пригород Александрии, именуемый Канопой; этими развлечениями и забавами я потчую своих гостей, а иногда и сам принимаю в них участие. Антиною при жизни все это было знакомо. Да человек и не может жить, замкнувшись на долгие годы в одной-единственной мысли, полностью отвергая естественные привычки и требования повседневности.

Я выполнял все советы. Я ждал, иногда я молился. *Audivi voces divinas* *... Глупая Юлия Бальбилла верила, что слышит на рассвете таинственный голос Мемнона; я же прислушивался к шорохам ночи. Я умастил себя медом и розовым маслом, притягательными для теней; я приготовил миску с молоком, пригоршню соли и каплю крови — все, что было поддержкой прежнему существованию этих умерших. Я распростерся на мраморном полу в малом храме; мерцание звезд проникало сквозь щели, прорезанные в стене, отбрасывая то тут, то там слабые отсветы, похожие во тьме на тревожные огоньки. Мне вспомнились приказания, которые жрецы шептали на ухо мертвецу, линия его пути, начертанная на могиле: *И он узнает дорогу... И охраняющие порог дозволят ему пройти... И он войдет и обойдет вокруг тех, кто любит его и будет любить тысячи тысяч дней...* Время от времени мне чудилось, будто я ощущаю чье-то касание, легкое, как Движенье ресниц, теплое, как ладонь. *И тень Патрокла появляется рядом с Ахиллом...* Мне никогда не узнать, не исходила ли эта теплота, эта нежность из глубины меня самого, не была ли она последним порывом челове-

*Я слышал божественные голоса... (лат.)

ка, борющегося с одиночеством и холодом ночи. Но вопрос, которым мы нередко задаемся, когда наши любимые еще живы, ныне перестает меня занимать: мне все равно, откуда приходят вызванные мной привидения: из истоков моей собственной памяти или из истоков иного мира. Моя душа, если я таковой обладаю, состоит из той же субстанции, что и призраки; мое тело с распухшими руками и мертвенно-синими ногтями — эта полуразложившаяся масса, это вместилище недугов, желаний и грез — вряд ли более прочно и материально, чем тень. От мертвых я отличаюсь лишь тем, что мне предстоит задышаться еще несколько мгновений. Во всяком случае, Антиной и Плотина не менее реальные, чем я.

Размышления о смерти не могут научить умирать; они не делают уход из жизни более легким, но легкость — не то, чего я теперь ищу. Мальчик с капризным и своевольным лицом, принесенная тобою жертва обогащает не жизнь мою, но мою смерть. Ее близость делает нас с тобою сообщниками: живые, которые меня окружают, эти преданные, а порой и несносные слуги, никогда не узнают, до какой степени весь этот мир нас с тобой больше не тревожит. Я с отвращением думаю о черных символах египетских погребений: сухой скарабей, одеревенелая мумия, лягушка в вечных родах. Если верить жрецам, я оставил тебя в той стороне, где элементы человеческого существа рвутся, подобно изношенной одежде, стоит лишь прикоснуться к ней, — я оставил тебя на мрачном перепутье между тем, что существует вечно, тем, что было, и тем, что будет. В конце концов, возможно, люди правы, и смерть состоит из той же зыбкой и неопределенной материи, что и жизнь. Но все учения о бессмертии внушают мне сомнения; система воздаяний и наказаний оставляет холодным судью, понимающего, как трудно вершить суд. С другой стороны, порой мне представляется чересчур примитивным и противоположным решение — подлинное небытие, бездонная пустота, в которой раздается смех Эпикура. Я наблюдаю за своим концом; эта серия опытов, проводимых над самим собой, продолжает давнее исследование, начатое в клинике Сатира. Все происходившие со мной до сего времени изменения носят чисто внешний характер, как и перемены погоды, что обрушиваются на монумент: они не причиняют никакого вреда ни материалу, из которого он создан, ни его форме; иногда сквозь трещины я словно вижу и ощущаю неподвластный разрушению цоколь, незыблемое основание. Я тот же, каким я был всегда; я умираю, не меняясь. На первый взгляд кажется, будто крепкий мальчишка из испанских садов и честолюбивый командир, который входит в палатку, отряхивая с плеч хлопья снега, давно исчезли оба, как исчезну я сам, когда пройду через погребальный костер; но они постоянно здесь, со мной, я неразлучен с ними. Человек, который выл на груди умершего, продолжает, забывшись в угол, стонать где-то внутри меня, несмотря на то, что я уже стал частицей великого покоя, разлитого за пределами человеческих страстей; любитель странствий, которого, точно в клетку, посадили в большое тело, осужденный до конца своих дней быть прикованным к месту, с интересом приглядывается к смерти, потому что она означает уход. Сила, которая была мною, еще как будто способна оркестровать множество других жизней, приводить в движение миры. Если, благодаря чуду, к тем немногим дням, которые мне еще остались, прибавится

несколько веков, я буду опять делать то же самое, совершать те же ошибки, подниматься на те же Олимпы, спускаться в те же глубины ада. Подобный вывод — превосходный аргумент в защиту разумности смерти, но в то же время он внушает мне сомнение в ее действительности.

В какие-то периоды жизни я записывал свои сновидения; я обсуждал их смысл со жрецами, философами, астрологами. Способность видеть сны, притупившаяся с годами, вернулась ко мне в эти месяцы угасания; то, что произошло всего лишь накануне, кажется мне менее реальным и порою не так досаждало мне, как сны. Если мир снов, фантастичный и призрачный, где нелепость и пошлость еще изобильнее, чем на земле, дает нам некоторое представление о существовании, на которое обречена разлученная с телом душа, — значит, всю отпущенную мне вечность я буду горько сожалеть о том чудесном праве держать под контролем свои чувства и верить перспективы, каким наделен человеческий разум. И все же я с наслаждением погружаюсь в бесплодные области снов; там я на миг становлюсь обладателем тайн, которые тотчас же от меня ускользают; там я пью из источников. На днях я побывал в оазисе Аммона; был вечер, я охотился на благородного хищника. Мне было весело; все происходило точно так же, как во времена, когда я был еще полон сил: раненый лев рухнул, потом поднялся, я кинулся его добивать. Но на этот раз конь мой встал на дыбы и сбросил меня на землю; на меня навалилась ужасная окровавленная туша, когти зверя раздирали мне грудь; я очнулся в тибурской спальне, взывая о помощи. А совсем недавно я увидел во сне отца, хотя вспоминаю о нем редко. Он лежал больной в одной из комнат нашего дома в Италике, который я покинул сразу же после его смерти. На столе рядом с кроватью стояла полная склянка болеутоляющей микстуры, и я умолял отца дать ее мне. Я проснулся, не успев услышать его ответ. Меня удивляет, что люди в большинстве своем боятся призраков, но при этом в своих снах спокойно разговаривают с мертвецами.

Предзнаменования множатся также: теперь все представляется предвестием, знаком. Я только что уронил и разбил драгоценный камень, выпавший из перстня; греческий мастер выгравировал на нем мой профиль. Авгуры многозначительно покачивают головами, а мне жаль прекрасного произведения искусства. Я стал иногда говорить о себе в прошедшем времени: обсуждая в Сенате некоторые события, которые произошли после смерти Луция, я оговорился и несколько раз упомянул о них так, будто они случились после моей собственной смерти. Несколько месяцев назад, в день моего рождения, поднимаясь в носилках по лестницам Капитолия, я столкнулся лицом к лицу с человеком в траурных одеждах, он плакал; я видел, как побледнел мой старый Хабрий. В то время я еще бывал на людях — я продолжал выполнять свои обязанности верховного жреца и Арвальского брата, сам совершал древние обряды римской религии, которые я теперь стал предпочитать иноземным культам. Однажды я стоял перед алтарем, готовый возжечь огонь; я приносил богам жертву, прося их о покровительстве Антонину. Внезапно полотнище моей тоги, закрывавшее мой лоб, соскользнуло и упало мне на плечо, оставив меня с непокрытой головой; тем самым я как бы переходил из разряда приносящих жертву в разряд жертв. Оно и правда: настал мой черед.

Мое терпение приносит плоды: я меньше страдаю, жизнь снова становится почти приятной. Я больше не спорю с врачами; их дурацкое лечение погубило меня, но мы сами повинны в самомнении и лицемерном педантизме медиков: они гнали бы меньше, будь у нас поменьше страха перед страданиями. Мне не хватает сил на прежние вспышки гнева; из верных источников мне стало известно, что Платорий Непот, которого я очень любил, злоупотребил моим доверием; однако я даже не попытался его пристыдить и не наказал его. Будущее мира больше не тревожит меня; я уже не высчитываю в страхе, как долго простоит на земле Римская империя, — я полагаюсь на волю богов. Не то чтобы у меня появилось больше доверия к их справедливости, у которой нет ничего общего с нашей, или больше веры в разумность людей; скорее наоборот. Жизнь жестока, мы это знаем. Но именно потому, что я не очень верю в то, что удел человеческий переменится когда-нибудь к лучшему, периоды счастья и прогресса, а также усилия что-то возобновить и продолжить кажутся мне поистине чудесами, которые уравнивают собой всю необъятную массу зол, поражений, легкомыслия и ошибок. Неизбежны новые падения и катастрофы; хаос восторжествует; но временами порядок тоже будет брать верх. Между периодами войны снова будет царить мир; слова о свободе, человечности, справедливости будут то тут, то там вновь обретать смысл, который мы пытались вложить в них. Не все наши книги погибнут; потомки восстановят наши разбитые статуи; другие купола и другие фронтоны возникнут из наших фронтонов и куполов; какие-то люди будут думать, работать и чувствовать так же, как мы, — я позволяю себе рассчитывать на продолжателей, что неравномерно рассеяны на долгой дороге веков, я позволяю себе рассчитывать на это прерывающееся временами бессмертие. Если нашей империей завладеют когда-нибудь варвары, они будут вынуждены перенять многое из наших обычаев и в конечном счете станут в чем-то похожи на нас. Хабрий боится увидеть, как в один прекрасный день пастофор Митры или епископ Христа водворятся в Риме и заменят собой верховного жреца. Если этот день, к несчастью, наступит, мой преемник на ватиканском холме перестанет возглавлять лишь тесный кружок единомышленников или группу сектантов и сделается в свою очередь одной из фигур, пользующихся влиянием во всем мире. Он унаследует наши дворцы и наши архивы; он будет отличаться от нас меньше, чем можно предположить. Я спокойно принимаю эти превратности в жизни Вечного Рима.

Лекарства больше не действуют; отек на ногах увеличивается; я засыпаю чаще сидя, чем лежа. Одним из преимуществ смерти будет то, что я смогу наконец вытянуться на своем одре. Теперь уже мне приходится утешать Антонина. Я напоминаю ему, что смерть с давних пор представлялась мне наиболее изящным решением задачи моего бытия; мои надежды, как всегда, сбываются — правда, более медленным, более сложным путем, чем я думал. Я поздравляю себя с тем, что болезнь сохранила мне до конца дней ясность ума; я рад, что мне не грозят испытания старости, что мне не суждено познать эту окостенелость и сухость, это жестокое отсутствие желаний. Если мои вычисления правильны, моя мать умерла примерно в том же возрасте, какого ныне достиг я; я прожил уже наполовину дольше, чем

мой отец, умерший в сорок лет. Все готово; орел, которому предстоит принести богам душу императора, ждет погребальной церемонии. Мой мавзолей на холме, где сейчас высаживаются кипарисы, чтобы образовать на фоне неба темную пирамиду, будет завершен как раз к тому времени, когда в него нужно будет перенести еще горячий пепел. Я попросил Антонина, чтобы он потом перенес туда и Сабину; когда она умерла, я не оказал ей божественных почестей, которых она в конечном счете заслужила; было б не худо исправить эту оплошность. И еще я хотел бы, чтобы останки Элия Цезаря покоились рядом со мной.

Они привезли меня в Байи; в эту июльскую жару переезд был ужасен; но возле моря мне дышится легче. Волна набегаёт на берег с ласковым шорохом; я еще могу наслаждаться долгими розовыми вечерами. Но эти таблички я постоянно держу лишь для того, чтобы чем-то занять свои руки, которые все время возбужденно шевелятся вопреки моей воле. Я послал за Антонином, гонец во весь опор помчался в Рим. Стук копыт Борисфена, галоп Фракийского Всадника... Маленькая кучка близких друзей собралась у моего изголовья. Хабрий вызывает во мне жалость: слезы плохо сочетаются с морщинами стариков. Прекрасное лицо Целера, как всегда, на удивление спокойно; он старается ухаживать за мной так, чтобы ни одно лишнее движение не потревожило меня. Но Диотим рыдает, уткнувшись головою в подушки. Я обеспечил его будущее: он не любит Италии и после моей смерти сможет осуществить свою мечту — вернуться в Гадару и открыть вместе с другом школу красноречия. С моей смертью он ничего не теряет, и, однако, худое плечо судорожно дергается под складками туники; я ощущаю под пальцами восхитительные слезы. Адриана до самого конца будут любить как человека.

Милая душа, душа нежная и зыбкая, спутница моего тела, которое было твоим хозяином, ты сойдешь сейчас в те блеклые, мрачные и голые места, где тебе придется забыть о былых своих играх. Еще мгновение посмотрим на родные берега, на все те предметы, которых больше мы никогда не увидим... И постараемся войти в смерть с открытыми глазами...

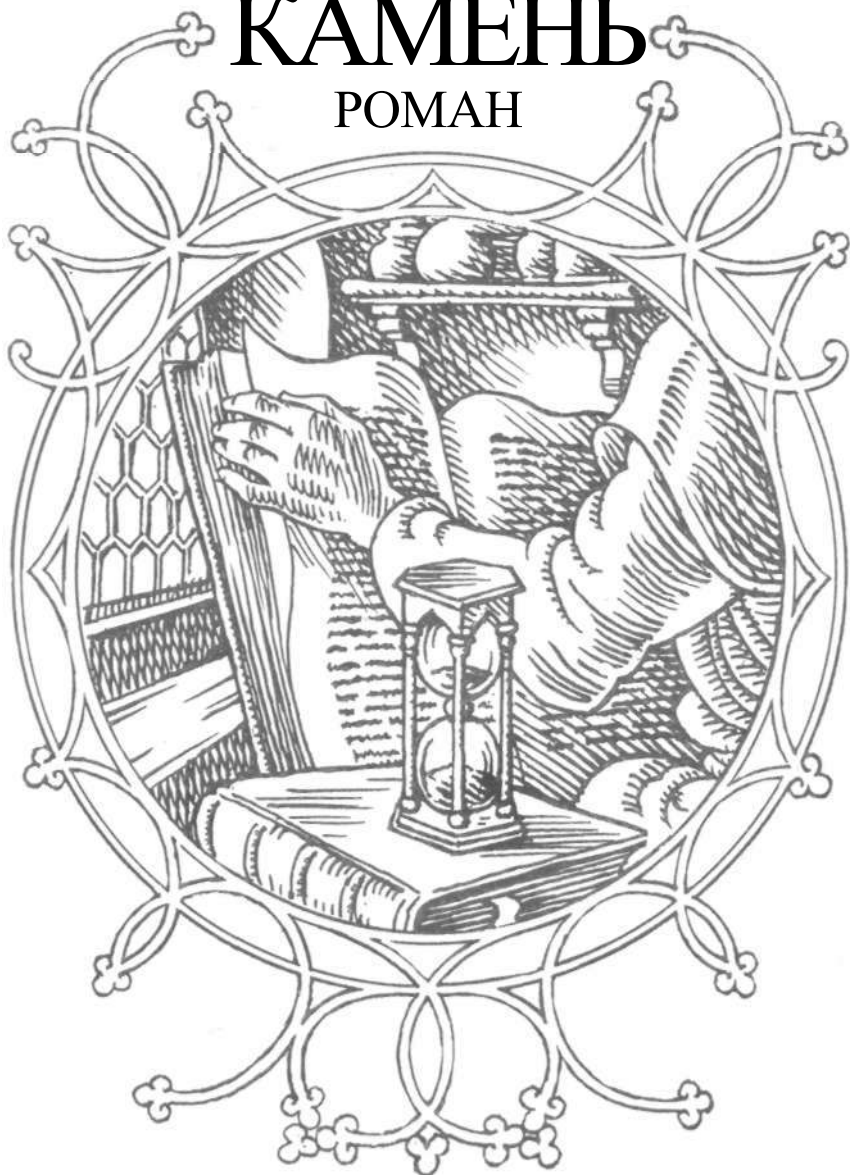
БОЖЕСТВЕННОМУ АДРИАНУ АВГУСТУ

СЫНУ ТРАЯНА
ПОБЕДИТЕЛЯ ПАРФЯН
ВНУКУ НЕРВЫ
ВЕРХОВНОМУ ЖРЕЦЮ
ОБЛЕЧЕННОМУ В XXII РАЗ
ВЛАСТЬЮ ТРИБУНА
ТРИЖДЫ КОНСУЛУ ДВАЖДЫ ТРИУМФАТОРУ
ОТЦУ ОТЕЧЕСТВА
И ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ СУПРУГЕ
САБИНЕ
АНТОНИН ИХ СЫН

ЛУЦИЮ ЭЛИЮ ЦЕЗАРЮ
СЫНУ БОЖЕСТВЕННОГО АДРИАНА
ДВАЖДЫ КОНСУЛУ

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

РОМАН



L'Oeuvre au Noir

Перевод Ю. Яхниной

Научный консультант кандидат философских наук В. Рабинович



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Nec certain sedem, nec propriam faciem, nec munus ullum peculiare tibi dedimus, o Adam, ut quam sedem, quam faciem, quae munera tute optaveris, ea, pro voto, pro tua sententia, habeas et possideas. Definita ceteris natura intra praescriptas a nobis leges coercetur. Tu, nullis angustiis coercitus, pro tuo arbitrio, in cuius manu te posui, tibi illam praefinies. Medium te mundi posui, ut circumspiceres inde commodius quicquid est in mundo. Nec te caelestem neque terrenum, neque mortalem neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes et factor, in quam malueris tute formam effingas...

*Pico della Mirandola. "Oratio de hominis dignitate" **

*Я не назначил тебе, о Адам, ни лица, ни определенного места, ни особенного, одному тебе присущего дарования, дабы свое лицо, свое место и свои дарования ты возжелал сам, сам завоевал и сам распорядился ими. В границах, начертанных мною природе, обретается множество других тварей. Но ты, кому не положены пределы, своей собственной властью, мною тебе врученной, ты сам творишь себя. Я поставил тебя в средоточие мира, дабы тебе виднее было все, чем богат этот мир. Я не создал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, дабы ты сам, подобно славному живописцу или искусному ваятелю, завершил свою собственную форму... (лат.).

Пико делла Мирандола. "Речь о достоинстве человека"

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Делая по пути частые привалы, Анри-Максимилиан Лигр шел в Париж.

О подробностях распри между королем и императором он не имел понятия. Знал только, что мирный договор, которому всего несколько месяцев от роду, успел истрепаться, как поношенный кафтан. Ни для кого не было тайной, что Франциск де Валуа по-прежнему с вожделием поглядывает на герцогство Миланское, словно отвергнутый любовник — на свою красотку; из верных рук известно было, что на границе с герцогом Савойским потихоньку он экипирует и собирает новую армию, которой предстоит восстановить потерянную в Павии славу. Анри-Максимилиан, в памяти которого обрывки стихов Вергилия мешались со скупыми отчетами об Италии его отца-банкира, когда-то побывавшего там, воображал, как через горы, одетые в ледяную броню, отряды конных воинов спускаются к плодородному и сказочно прекрасному раздолью: солнечные долины, кипящие родники, куда сходятся на водопой белоснежные стада; резные города, похожие на ларцы, до краев полные золотом, пряностями и тисненой кожей, богатые, как купеческие амбары, и торжественные, как храмы; сады с множеством статуй, залы с множеством старинных манускриптов; раздетые в шелка женщины, которые любезно встречают прославленного полководца, изысканная пища, изысканный разврат, и на массивных серебряных столах в бокалах венецианского стекла — маслянистый блеск мальвазии.

Несколько дней назад он без сожаления сказал "прости" отчому дому в Брюгге, а с ним и потомственному ремеслу купца. Хромой сержант, похвалявшийся, будто служил в Италии еще при Карле VIII, однажды вечером представил ему в лицах свои подвиги и описал девиц и мешки с золотом, на которые ему случилось наложить руку, когда грабили очередной город. В награду за эти рассказы Анри-Максимилиан угостил его в трактире вином. Вернувшись домой, он подумал: пожалуй, пора и самому проверить, правда ли, что земля кругла. Одного не мог решить будущий коннетабль: в чью армию завербоваться, к императору или к французскому королю; в конце концов он бросил наудачу монету — император остался в проигрыше. Приготовление к отъезду выдала служанка. Анри-Жюст сначала отвесил блудному сыну пару оплеух, но потом, умиленный видом младшего отпрыска в длинном платье, которого на помочах водили по ковру в гостиной, шутливо пожелал своему первенцу, задумавшему податься к вертопрахам французам, попутного ветра. Отчасти из отцовской любви, но гораздо более из тщеславия и дабы убедиться в своем могуществе, он положил написать со временем своему лионскому агенту, мэтру Мюзю, чтобы тот порекомендовал его неслуха адмиралу Шабо де Бриону, который задолжал крупную сумму банку Лигр. Хоть Анри-Максимилиан и отряхнул от своих ног прах отчей лавки, все же он недаром приходился сыном человеку, который по своей прихоти вздувал и понижал цены на съестные припасы и ссужал деньгами коронованных особ. Мать будущего героя снабдила его всякой снедью и тайком сунула денег на дорогу.

Проездом через Дранутр, где у отца был загородный дом, Анри-Мак-

симилиан убедил управляющего дать ему взамен охромевшей кобылы лучшего скакуна банкирской конюшни. Но уже в Сен-Кантене он его продал, отчасти потому, что великолепная сбруя точно по волшебству увеличивала сумму счета на аспидной доске трактирщиков, отчасти же потому, что слишком богатый набор мешал ему без оглядки отдаться радостям большой дороги. Чтобы растянуть подольше выданное ему денежное пособие, которое уплывало у него между пальцами куда быстрее, чем он ожидал, Анри-Максимилиан ел прогорклое сало и турецкий горох в захудалых трактирах и спал на соломе, наравне с возчиками, но то, что ему удавалось сберечь, отказываясь от более удобного пристанища, тут же беспечно спускал в попойках и за картами. Иногда на какой-нибудь заброшенной ферме сердобольная вдовушка уделяла ему кусок хлеба и место в собственной постели. Он не забывал об изящной словесности — карманы его оттопыривали маленькие томики в переплетах из телячьей кожи, которые он в счет будущего наследства позаимствовал из собрания своего дядюшки, каноника Бартоломе Кампануса. В полдень, растянувшись на лугу, он залиvisto хохотал над какой-нибудь латинской шуткой Марциала, а иной раз, в более мечтательном расположении духа, задумчиво поплеывая в лужу, грезил о некой скромной и благоразумной даме, которой он, по примеру Петрарки, посвятит душу и сердце в своих сонетах. Он погружался в полудрему, сапоги его острыми носами смотрели в небо, точно колокольни, высокие овсы казались ротой наемников в зеленых мундирах, петух — хорошенькой девушкой с помятой юбочкой. А бывало и так, что молодой великан не отрывал головы от земли и пробуждало его ото сна только жужжание мухи или гул деревенского колокола. С шапкой набекрень, с застрявшими в белобрыхых волосах соломинками, подставив ветру угловатое большеносое лицо, покрасневшее от солнца и холодной воды, Анри-Максимилиан бодро шествовал навстречу славе.

Он обменивался шуточками с встречными, расспрашивал о новостях. После привала в Ла-Фере в пятистах туазах впереди себя он заметил на дороге паломника. Тот шел быстро. Анри-Максимилиан, соскучившийся без собеседника, прибавил шагу.

— Помолитесь за меня, когда прибудете в Кампостель, — сказал жизнерадостный фламандец.

— Вы угадали, — ответил паломник. — Как раз туда я и держу путь.

Он повернул голову в коричневом капюшоне — Анри-Максимилиан узнал Зенона.

Тощий молодой человек с длинной шеей, казалось, вырос на целый локоть со времени их последних проделок на осенней ярмарке. Его красивое, как и прежде бескровное лицо обтянулось, а в походке появилась какая-то диковатая поспешность.

— Здорово, братец! — весело приветствовал его Анри-Максимилиан. — Каноник Кампанус всю зиму прождал тебя в Брюгге, достопочтенный ректор в Лёвене, тоскуя по тебе, рвет на себе волосы, а ты шляешься по Дорогам как последний... не стану говорить кто.

— Митроносный аббат собора Святого Бавона в Генте подыскал для меня должность, — осторожно ответил Зенон. — Чем не достойный покро-

витель? Скажи мне лучше, как вышло, что сам ты бродяжничаешь по дорогам Франции?

— Быть может, в этом есть и твоя заслуга, — отвечал младший из собеседников. — Я послал к черту лавку моего папаша, как ты — Богословскую школу. Но выходит, ты променял достопочтенного ректора на митроносного аббата...

— Вздор, — заявил школяр. — Вначале всегда приходится состоять чьим-нибудь *famulus**.

— Лучше уж носить аркебузу, — возразил Анри-Максимилиан.

Зенон бросил на него презрительный взгляд.

— У твоего отца достанет денег, чтобы купить тебе лучшую роту ландскнехтов императора Карла, — заметил он, — если, конечно, вы оба сойдетесь на том, что ремесло солдата — достойное занятие в жизни.

— Рота, купленная моим папашей, привлекает меня не более, чем тебя — бенефиции от твоих аббатств, — возразил Анри-Максимилиан. — И к тому же в одной лишь Франции умеют служить дамам.

Шутка не нашла отклика. Будущий полководец остановился, чтобы купить пригоршню вишен у встречного крестьянина.

— Но чего ради ты так по-дурачки вырядился? — спросил Анри-Максимилиан, с удивлением разглядывая одежду паломника.

— Что поделаешь, — отозвался Зенон. — Мне надоело буквоедство. Мне больше по нраву разбирать живой текст, тысячи римских и арабских цифр, буквы, бегущие слева направо — как у наших писцов, или справа налево — как в восточных рукописях. Пропуски, которые означают холеру или войну, столбцы, писанные алой кровью, и всюду знаки, а иной раз пятна, еще более диковинные, чем знаки... А какая другая одежда сгодится лучше, чтобы странствовать, не привлекая внимания?.. Мои шаги теются на земле, как насекомые — в толще псалтыря.

— Понятно, — рассеянно заметил Анри-Максимилиан. — Но зачем тебе тогда идти в Кампостель? Что-то я с трудом представляю тебя среди жирных монахов, гнусающих псалмы.

— Пф! — фыркнул паломник. — Стану я терять время среди этих бездельников и болванов! Но приор монастыря Святого Иакова в Леоне — любитель алхимии. Он переписывался с каноником Бартоломе Кампанусом, почтенным нашим дядюшкой, унылым болваном, который иногда, словно по оплошности, отваживается подойти к границе запретного. Аббат собора Святого Бавона тоже написал письму приору с просьбой поделиться со мной своими знаниями. Но мне надо торопиться — приор стар. Боюсь, как бы он не перезабыл все, что знает, или не умер.

— Он будет потчевать тебя сырым луком и заставит снимать пену с варева из купороса, приправленного серой. Покорно благодарю! Надеюсь, что, потратив меньше усилий, я заслужу лучшее пропитание.

Зенон промолчал.

— Мирный договор вот-вот прикажет долго жить, братец Зенон, — сказал Анри-Максимилиан, сплевывая на дорогу последние вишневые косточки. — Венценосцы рвут друг у друга из рук государства, словно пья-

* Учеником (*лат.*).

ницы в таверне — лакомые блюда. Вот медовая коврижка — Прованс, а вот паштет из угря — герцогство Миланское. Глядишь, с пиршественного стола и мне перепадут крохи славы.

— *Ineptissima vanitas* *, — сухо заметил молодой грамотей. — Неужто ты еще придаешь значение словесной трескотне?

— Мне уже шестнадцать, — объявил Анри-Максимилиан. — Через пятнадцать лет будет видно, могу ли я тягаться с Александром Македонским. Через тридцать будет ясно, превзошел я или нет покойника Цезаря. Неужто мне весь свой век сидеть в лавке на улице О-Лен и мерить аршином сукно? Нет, я хочу стать человеком.

— Мне двадцать лет, — объявил Зенон. — В случае удачи я могу еще лет пятьдесят заниматься наукой, пока голова моя не превратится в череп мертвеца. Ну что ж, брат Анри, тешься славой героев Плутарха. Я же хочу вознестись выше человека.

— Я держу путь в сторону Альп, — сказал Анри-Максимилиан.

— А я, — сказал Зенон, — к Пиренеям.

Оба помолчали. Ровная, обсаженная тополями дорога простиралась перед ними клочком белого мира. Искатель власти и искатель знания зашагали плечом к плечу.

— Погляди, — сказал Зенон. — Видишь: за этой деревней лежат другие деревни, за этим аббатством — другие аббатства, за этой крепостью — другие крепости. И над каждой деревянной хижиной или дворцом из камня воздвигся дворец мысли или хижина мнения, где жизнь замуровывает глупцов, но оставляет лазейку мудрецам. За Альпами лежит Италия. За Пиренеями — Испания. С одной стороны страна Мирандолы, с другой — Авиценны. А еще дальше море, а за морем, на другом краю необъятного мира — Аравия, Морея, Индия, две Америки. И повсюду долины, где собирают лекарственные травы, горы, где таятся металлы, каждый из которых знаменует мгновение Великого Деяния, ведовские рукописи, зажатые в челюстях мертвецов, боги, каждый из которых заповедал свое, и людские толпы, где каждый воображает себя центром вселенной. Можно ли быть таким безумцем, чтобы не попытаться перед смертью хотя бы обойти свою тюрьму? Видишь, брат Анри, я и в самом деле паломник. Путь мой далек, но я молод.

— Мир велик, — заметил Анри-Максимилиан.

— Мир велик, — с важностью подтвердил Зенон. — Да будет воля того, кто, быть может, существует, чтобы сердцу человеческому достало сил вобрать в себя все сущее.

Они снова умолкли. Спустя немного Анри-Максимилиан вдруг хлопнул себя по лбу и захохотал.

— Зенон, — сказал он, — помнишь ли ты своего дружка Коласа Гела, любителя пива, твоего брата во гульбе? Он ушел с мануфактуры моего дорогого папаша, где, к слову сказать, ткачи мрут с голоду, вернулся в Брюгге, ходит по городу с четками в руках, бормочет молитвы за упокой души своего Томаса, который повредился в уме из-за твоих станков, а тебя Гел честит подручником дьявола, Иуды и антихриста. А вот куда по-

* Пустое тщеславие (*лат.*).

девался его Перротен, не знает ни одна душа — видно, сам нечистый его уволок.

Уродливая гримаса исказила лицо молодого школяра и сразу его состарила.

— Чепуха! — отрезал он. — Что мне за дело до этих невежд? Они пребудут тем, что они есть: сырьем, из которого твой отец делает золото, то самое, что в один прекрасный день достанется тебе в наследство. Не поминай мне о станках и висельниках, и я не стану поминать тебе ни о том, как ты летом загнал десяток лошадей, купленных в долг у барышника в Дранутре, ни о том, как соблазнял девиц и взламывал винные бочки.

Анри-Максимилиан, не отвечая, рассеянно насвистывал задорную песенку. С этой минуты они рассуждали только о том, как плохи дороги и как дорого берут за ночлег в трактире.

Расстались они на ближайшей развилке. Анри-Максимилиан зашагал по большаку. Зенон выбрал проселочную дорогу. Вдруг младший из двоих вернулся и догнал товарища; он положил руку на плечо паломника.

— Брат, — сказал он, — помнишь Вивину, бледную девчушку, которую ты, бывало, защищал от нас, сорванцов, когда мы, выходя из школы, норовили ущипнуть ее за ягодицы? Она ведь любит тебя. Она вбила себе в голову, будто связана с тобой обетом, и недавно отказала городскому советнику, который сватался к ней. Тетка надавала ей пощечин и посадила на хлеб и воду, но она стоит на своем. Говорит, будет ждать тебя хоть до скончания века.

Зенон приостановился. Какая-то тень затуманила его взгляд и тут же растаяла, точно облачко пара над костром.

— Тем хуже, — сказал он. — Что общего у меня с этой девочкой, которую отхлестали по щекам? Другой ждет меня в другом месте. К нему я и иду.

И он зашагал дальше.

— Кто ждет? — спросил пораженный Анри-Максимилиан. — Неужто беззубый старикан, приор Леона?

Зенон обернулся.

— Нет, — сказал он. — *Nic Zeno*. Я сам.

ДЕТСТВО ЗЕНОНА

Зенон появился на свет за двадцать лет до описанной встречи в доме Анри-Жюста в Брюгге. Мать его звали Хилзондой, а отцом был молодой прелат по имени Альберико де Нуми, отпрыск старинного флорентийского рода.

Мессир Альберико де Нуми на заре своей пылкой и еще длиннокудрой юности блистал при дворе Борджиа. В перерыве между боями быков на площади Святого Петра он наслаждался беседами с Леонардо да Винчи, служившим в ту пору у Цезаря; позднее, в сумрачном блеске своих двадцати двух лет, он вошел в тот узкий кружок молодых дворян, которых

пылкая дружба Микеланджело возвеличивала, словно громкий титул. У него было несколько приключений, закончившихся ударом кинжала; он начал собирать коллекцию древностей; негласная связь с Джулией Фарнезе отнюдь не повредила его карьере. Коварная находчивость, какую он выказал в Синигалье, заманив врагов Его Святейшества в ловушку, их погубившую, снискала ему благосклонность папы и его сына; ему уже почти обещали епископство Нерпийское, но внезапная смерть папы задержала назначение. То ли по причине этой неудачи, то ли из-за несчастной любви, в тайну которой никто так и не проник, он вдруг предался умерщвлению плоти и ученым занятиям.

Вначале тут заподозрили уловку честолюбия. Однако этим необузданным человеком и впрямь овладела иступленная жажда аскезы. Говорили, что он удалился в Гротта-Феррата к греческим монахам обители Святого Нила — одной из самых суровых в Лациуме, где в размышлениях и молитвах трудится над латинским переводом "Жития отцов пустынников"; понадобился особый приказ папы Юлия II, высоко ценившего его трезвый ум, чтобы убедить его отправиться в качестве апостолического секретаря на заседания Камбрейской Лиги. Сразу же по прибытии в Камбре своим участием в спорах он приобрел такой вес, что оттеснил на второй план самого папского легата. Теперь его всецело захватило стремление защитить при разделе Венеции выгоды Святого престола, о которых он до сих пор едва ли помышлял. На празднествах, которыми сопровождалось заседание Лиги, мессир Альберико де Нуми, словно кардинал, облаченный в пурпурную мантию, держался с тем неподражаемым величием, какое в кругу римских придворных заслужило ему прозвище "Неповторимый". Это он во время очередной яростной сшибки мнений сумел склонить на свою сторону послов Максимилиана, подкрепив пламенную убежденность цицероновским красноречием. А вскоре, получив письмо матери, алчной флорентинки, которая напоминала ему о том, что семейство Адорно в Брюгге задолжало им некоторую сумму, он решил немедленно взыскать эти деньги, столь необходимые для карьеры князя церкви.

Он поселился в Брюгге у своего фламандского агента Жюста Лигра, предложившего ему гостеприимство. Толстяк Лигр был помешан на всем итальянском настолько, что воображал, будто одна из его прабабок во время очередного соломенного вдовства, каким частенько томятся купеческие жены, не осталась глуха к вкрадчивым речам некоего генуэзского коммерсанта. Мессир Альберико де Нуми, которому вместо наличных денег пришлось довольствоваться новыми векселями на банкирский дом Херварта в Аугсбурге, утешался тем, что переложил все расходы по содержанию своих собак, соколов и пажей на радушного хозяина. Дом Лигра, расположенный по соседству с принадлежавшими ему складами, велся с княжеской роскошью; кормили здесь великолепно, поили еще лучше, и хотя Анри-Жюст ничего не читал, кроме прихода-расходных книг своей суконной фабрики и лавки, он считал делом чести иметь в доме библиотеку.

Частенько отлучаясь по делам то в Турне или Мехелен, где он ссужал деньгами Правительницу, то в Антверпен, где, войдя в долю с бесстрашным Ламбрехтом фон Рехтергемом, закупал перец и другие заморские

приманки, а то в Лион, где на осенней ярмарке предпочитал самолично улаживать свои финансовые операции, Анри-Жюст вручал бразды домашнего правления своей юной сестре Хилзонде.

Мессир Альберико де Нуми не замедлил влюбиться в эту девочку с едва очерченной грудью и тонкими чертами лица, в тугих одеждах из тканного золотом бархата, которые, казалось, не дают ей упасть, а по праздникам увешанную драгоценностями, которым могла бы позавидовать императрица. Ее светло-серые глаза были окаймлены перламутровыми, почти розовыми веками; с чуть припухших губ, казалось, вот-вот сорвется вздох или начальные слова не то молитвы, не то песнопения. Быть может, ее потому только и хотелось раздеть, что трудно было представить себе обнаженной.

Однажды снежным вечером, когда сильнее обычного манит теплая постель в уединенной спальне, подкупленная служанка провела сеньора Альберико в умывальню, где Хилзонда терла отрубями свои длинные вьющиеся волосы, которые окутывали ее, словно плащ. Девочка закрыла руками лицо, но без борьбы предоставила глазам, губам и рукам влюбленного свое чистое и белое, словно вылущенное ядрышко миндаля, тело. В эту ночь молодой флорентиец испытал от запечатанного источника, приручил двойню молодой серны, обучил невинные губы любовным играм и забавам. На заре Хилзонда, наконец побежденная, без оглядки отдалась своему любовнику, а утром кончиком ногтя соскоблела со стекла белую наледь, и бриллиантом кольца нацарапала на нем свои инициалы, переплетенные с инициалами возлюбленного, таким образом запечатлев свое счастье на этой тонкой и прозрачной материи, без сомнения хрупкой, но, впрочем, не намного более, нежели плоть и сердце.

Наслаждения любовников усугублялись разнообразными утехами, какие могли им предоставить время и обстоятельство: к их услугам были изысканные музыкальные пьесы — Хилзонда разыгрывала их на маленьком органе, подаренном ей братом, — вина, сдобренные пряностями, жарко натопленные комнаты, лодочные прогулки по каналам, еще голубым от только что стаявшего льда, а в мае — скачки по цветущим полям. Мессир Альберико проводил счастливые часы — быть может, еще более сладостные, нежели те, что ему дарила Хилзонда, — отыскивая в тихих нидерландских монастырях забытые древние рукописи; итальянские ученые, которым он сообщал о своих находках, полагали, что в нем возродился талант великого Марсилио. Вечером, сидя у камина, любовники вместе рассматривали большой резной аметист, привезенный из Италии, на котором изображены были сатиры, ласкающие нимф, и флорентиец учил Хилзонду любовным словам на своем родном языке. Он сочинил для нее балладу на тосканском наречии; стихами, какие он посвятил этой купеческой дочери, в пору было воспеть библейскую Суламифь.

Минула весна, настало лето. В один прекрасный день письмо, полученное от двоюродного брата Джованни Медичи, частью писанное шифром, частью пересыпанное грубоватыми шуточками, какими Джованни уснащал все: политику, ученые труды и любовь, посвятило мессира Альбе-

рико в подробности интриг при папском дворе и в Риме, от которых он оторвался во Фландрии. Юлий II не был бессмертным. Хотя богатого осла Риарио поддерживало немало глупцов и наемников, хитроумный Медичи исподволь подготавливал свое избрание будущим конклавом. Мессир Альберико понимал, что некоторые успехи, достигнутые им в переговорах с представителями императора, отнюдь не искупили в глазах Святого отца его затянувшуюся отлучку; теперь его карьера целиком зависела от двоюродного брата, имевшего столь веские основания рассчитывать на папский престол. В детстве они вместе играли на террасах Кареджи; позднее Джованни ввел Альберико в маленький изысканный кружок эрудитов, которые слегка паясничали и понемногу занимались сводничеством; мессир Альберико надеялся приобрести влияние на этого хитрого, но по-женски слабодушного человека; он подтолкнет его к папскому престолу, сам же будет держаться в тени и до поры до времени удовольствуется ролью его правой руки. На дорожные сборы мессире Альберико понадобился всего час.

Возможно, он был человеком бездушным. Возможно, внезапная его страсть была всего лишь всплеском избыточных телесных сил; возможно, искусственный лицедей, он то и дело пробовал себя в не изведанных дотоле чувствах, а скорее всего, он просто примерял одну за другой позы — страстные и величественные, но притом тщательно продуманные, вроде тех, какие Буонарроти придал своим фигурам на плафоне Сикстинской капеллы. Лукка, Урбино, Феррара — эти пешки на шахматной доске семьи де Нуми вдруг стерли в его глазах обильные зеленую и водой равнины, которые он на короткое время удостоил своим присутствием. Он сложил в дорожные сундуки разрозненные страницы древних манускриптов и черновики любовных поэм. В сапогах со шпорами, в кожаных перчатках и в шляпе, более, чем всегда, похожий на придворного кавалера и менее, чем всегда, — на духовную особу, он поднялся в комнату Хилзонды, чтобы с ней проститься.

Она была беременна. И знала это. Но ему не сказала ни слова. Слишком робкая, чтобы чинить препятствия его честолюбивым замыслам, она была в то же время слишком горда, чтобы пытаться извлечь выгоду из признания, которое пока еще не могли подтвердить ни ее тоненькая талия, ни плоский живот. Ей было бы нестерпимо услышать обвинение во лжи и почти столь же нестерпимо оказаться навязчивой. Но несколько месяцев спустя, произведя на свет ребенка мужеского пола, она посчитала себя не вправе скрыть от мессира Альберико де Нуми рождение их сына. Она едва умела писать; много часов просидела она, составляя ему послание и стирая пальцем слова, которые казались ей лишними; закончив наконец свой труд, она доверила его генуэзскому купцу, человеку надежному, который направлялся в Рим. Ответа от мессира Альберико она не получила до конца своих дней. Хотя генуэзец подтвердил ей позднее, что собственноручно вручил письмо адресату, Хилзонде хотелось верить, что до человека, которого она любила, весть от нее так и не дошла.

Недолгая любовь, после которой она была так внезапно покинута, отвратила молодую женщину от любовных утех и разочарований; преисполненная неприязни к собственной плоти и к ее плоду, она, казалось,

перенесла и на ребенка унылое осуждение, на какое обрекла самое себя. Безучастно покоясь в постели после родов, она равнодушно взирала на служанок, которые пеленали маленький комочек, казавшийся смуглым в отблесках очага. Поскольку рождение внебрачного ребенка было делом обычным, Анри-Жюст без труда мог подыскать для своей сестры супруга с положением, но воспоминание о том, кого она больше не любила, все же отвращало Хилзонду от дородных бюргеров, которых церковный обряд мог водворить рядом с ней на перинах. Она продолжала, хотя и безо всякого удовольствия, носить роскошные наряды, которые брат заказывал ей из самых дорогих тканей, но зато не пила вина, не ела изысканных блюд, не позволяла хорошо протапливать свою комнату и часто отвергала тонкое постельное белье не столько из угрызений совести, сколько из досады на самое себя. Она неукословно посещала церковную службу; однако вечерами, когда после ужина какому-нибудь гостю Анри-Жюста случалось возмущаться непотребными деяниями и лихоимством римского двора, она откладывала в сторону рукоделие, в задумчивости оборвав нить еще не оконченного кружева, которую молча связывала узелком. А мужчины уже сокрушались о том, что в порт Брюгге намывает песок и он приходит в упадок, ибо кораблям стало удобнее заходить в другие гавани; они потешались над инженером Ланселотом Блонделем, который вообразил, будто, прорыв каналы и проложив водосточные желобы, он сумеет исцелить город, пораженный этой каменной болезнью. Порой они отпускали сальные шуточки, кто-нибудь начинал рассказывать набившую оскомину историю о жадной любовнице, доверчивом муже и спрятанном в бочке соблазнителе или о пройдохах купцах, надувающих друг друга. Хилзонда выходила в кухню присмотреть за тем, как убирают со стола. И лишь мельком бросала взгляд на ребенка, жадно сосавшего грудь кормилицы.

Однажды, возвратившись из очередной поездки, Анри-Жюст представил сестре нового гостя. Седобородого мужчину, такого простого и серьезного, что, глядя на него, невольно думалось о целительном ветре на море в бессолнечную погоду. Симон Адриансен был человек богобоязненный. Приближающаяся старость и богатство, нажитое, как утверждали, честными трудами, придавали этому купцу из Зеландии величавость патриарха. Он второй раз вдовел: две плодovитые хозяйки сменили одна другую в его доме и в его постели, прежде чем упокоиться бок о бок в семейном склепе у церковной стены в Мидделбурге. Симон был из тех мужчин, в которых влечение к женщине пробуждает отеческую заботливость. Заметив, что Хилзонда грустна, он стал часто подсаживаться к ней.

Анри-Жюст был многим обязан Симону. Когда-то в трудных обстоятельствах тот поддержал его кредитом. Лигр так почитал Симона, что даже старался в его присутствии поменьше пить. Но устоять перед хорошим вином было трудно. Под хмельком у Анри-Жюста развязывался язык. Он недолго таил от своего гостя злоключения Хилзонды.

Однажды зимним утром, когда Хилзонда сидела у окна со своим рукоделием, Симон Адриансен подошел к ней и торжественно произнес:

— Придет день, когда Господь сотрет в сердце человеческом все законы, кроме тех, что начертала любовь.

Она не поняла. Он пояснил:

— Придет день, когда Господь не признает иного крещения, кроме духовного, иного таинства брака, кроме того, что во взаимной нежности познают тела любящих.

Хилзонда задрожала. Но этот строгий и в то же время ласковый человек стал рассказывать ей, что миру открылась новая истина, что неправедны все законы, суемудрием отягчающие промысел Божий, и близится время, когда любовь станет такою же простой, как и вера. Образным, точно картинкой из Библии, слогом он излагал ей притчи, перемежая их рассказами о святых, которые, по его словам, содействовали гибели римской тирании; почти не понижая голоса, но все же бросив взгляд на дверь, дабы увериться, что она закрыта, он признался ей, что еще не решается гласно принять анабаптистскую веру, но втайне отверг ничемную пышность богослужений, суетные обряды и лживые таинства. По его словам, праведники — обреченные в жертву избранники — из века в век составляли небольшой кружок, чуждый мирским преступлениям и безумствам; грех лишь в ослеплении ложной верой, для целомудренных сердец плоть непорочна.

Потом он заговорил с нею о ее сыне. Сын Хилзонды, зачатый вне церковных законов и вопреки им, представлялся ему более других предназначенным когда-нибудь воспринять и возвестить другим благодетельную весть Простых и Праведных. В любви девственницы, соблазненной красавцем-итальянцем, дьяволом с ангельским лицом, Симон усматривал мистическую аллегория: Рим был вавилонской блудницей, которой принесена в жертву невинность. Иногда крупные, твердые черты лица Симона озарялись доверчивой улыбкой мечтателя, а ровный голос звучал слишком непреклонно, как бывает у тех, кто хочет сам себя убедить и, зачастую, самого себя обмануть. Но Хилзонда видела лишь одно — спокойную доброту чужестранца. До сих пор молодая женщина встречала в окружающих только насмешку, жалость или беззловную и грубоватую снисходительность. Симон же, говоря о человеке, который ее бросил, называл его "ваш супруг".

И с важностью напоминал ей о том, что всякий союз нерасторжим перед лицом Божиим. Хилзонда, внимая ему, отгаивала душой. Она по-прежнему оставалась печальной, но к ней возвращалось чувство собственного достоинства. В обители Лигров, который гордыня купцов, торгующих с заморскими странами, украсила геральдическим кораблем, Симон чувствовал себя как дома. Друг Хилзонды возвращался теперь в Брюгге каждый год; она ждала его, и, сидя рука в руку, они говорили о Церкви Духа, которая сменит нынешнюю церковь.

Однажды осенним вечером итальянские купцы сообщили новость. Мессир Альберико де Нуми, в тридцать лет сделавшийся кардиналом, убит в Риме во время кутежа в одном из виноградников Фарнезе. Злые языки обвиняли в убийстве кардинала Джулио Медичи, недовольного влиянием, какое их родственник приобрел на Его Святейшество.

Симон с презрением отнесся к этим смутным слухам, привезенным из римского вертепа. Но неделей позже Анри-Жюст получил известия, подтверждавшие толки. По невозмутимой повадке Хилзонды невозможно было угадать, рада она в глубине души или горюет.

— Вот вы и овдовели, — тотчас сказал ей Симон Адриансен с ласковой торжественностью в голосе, с какой всегда обращался к ней.

Но вопреки ожиданиям Анри-Жюста он на другой же день уехал восвояси.

Полгода спустя, в обычный срок, он возвратился и попросил у брата руки Хилзонды.

Анри-Жюст повел его в комнату, где Хилзонда плела кружева. Симон сел рядом с нею и сказал:

— Господь возбраняет нам причинять страдания творениям его.

Хилзонда отложила свое кружево. Руки ее застыли над ажурной полоской — длинные, трепещущие пальцы над неоконченным узором казались продолжением ветвистой вяза.

— Разве Господь может позволить нам истязать самих себя?

Красавица подняла на него свой взгляд больного ребенка.

— Вы несчастливы в этом доме, где царит веселье, — продолжал он. — В моем доме царит тишина. Поедемте ко мне.

Она согласилась.

Анри-Жюст потирал руки от удовольствия. Его дражайшая Жаклина, на которой он женился вскоре после несчастья с Хилзондой, громко роптала, что она в семье на втором месте после потаскушки и поповского ублиodka, а тесть, богатый негоциант из Турне, ссылаясь на жалобы дочери, медлил с приданым. И в самом деле, хотя Хилзонда не обращала на сына никакого внимания, любая погрешка, подаренная младенцу, зачатоу в законном браке, вызывала ссоры между двумя женщинами. Светловолосая Жаклина отныне могла не жалеть денег на вышитые чепчики и нагрудники, а в праздники позволять своему бутузу Анри-Максимилиану ползать по нарядной скатерти, попадая ножками в блюда.

Несмотря на свое отвращение к церковным обрядам, Симон согласился, чтобы свадьба была отпразднована с некоторой даже пышностью — так неожиданно захотела Хилзонда. Но вечером, когда новобрачные удалились в супружескую спальню, он на свой лад тайно освятил их союз, преломив хлеб и испив вина вдвоем со своей избранницей. Рядом с этим человеком Хилзонда, словно потерпевшая крушение лодка, которую приливом вынесло на берег, возродилась к жизни. Ее тешило таинство дозволенных ласк, которых не надо стыдиться, и то, как старик, склонившись к ее плечу, ласкал ее груди — любовные ласки походили на благословение.

Симон Адриансен решил взять на себя попечение о Зеноне. Но мальчонка, которого Хилзонда подтолкнула к бородавтому, морщинистому лицу с подрагивающей над губой бородавкой, пугливо вырвал свою руку из материнской руки, оцарапавшей ему пальцы перстнями. И удрал. Вечером его обнаружили в пекарне в глубине сада — он чуть не искусал лакея, который с хохотом извлек его из-за поленницы. Симон, потеряв надежду приручить этого волчонка, смирился с тем, чтобы оставить его во Фландрии. Тем более что присутствие сына явно усугубляло печаль Хилзонды.

Зенона прочили в священники. Для незаконнорожденного церковь была самым надежным путем к преуспеянию и почестям. К тому же неистовую жажду знаний, с ранних лет владевшую Зеноном, издержки на чернила и свечи, которые он жег до самой зари, его дядька мог простить лишь тому, кто со временем станет пастырем. Анри-Жюст отдал мальчика в учение своему шурину, Бартоломе Кампанусу, канонику церкви Святого Доната в Брюгге. Этот ученый муж, всю жизнь проведенный в молитвах и корпенье над книгами, был таким кротким, что раньше времени стал казаться стариком. Он обучил мальчика латыни, начаткам греческого и алхимии, которыми владел сам, и поощрил склонность Зенона к наукам, познакомив его с "Естественной историей" Плиния. В холодном кабинете каноника мальчик спасался от громких голосов маклеров, споривших о добротности английского сукна, от плоских назиданий Анри-Жюста и от ласк горничных, лакомых до незрелого плода. Он забывал здесь унижения и убогость своего детства; книги и хозяин кабинета принимали его как взрослого. Ему нравилась эта комната, заставленная фолиантами, гусиное перо, чернильница из рога — орудия, с помощью которых добываются знания, нравилось накапливать сокровища, состоящие в сведениях о том, что рубин привозят из Индии, что сера сочетается с ртутью и цветок, именуемый на латинском языке "лилиум", по-гречески называется "кринон", а по-древнееврейски — "шошанна". Вскоре он стал замечать, что книги болтают и лгут, как люди, и каноник зачастую обстранно объясняет то, чего на самом деле нет и что, следовательно, в объяснениях не нуждается.

Знакомства Зенона беспокоили родных: в эту пору он особенно охотно водил дружбу с цирюльником Яном Мейерсом, мастером на все руки, который не знал себе равных в искусстве пустить кровь и в камнесечение, но кого подозревали в том, что он занимается расчленением трупов, и с ткачом по имени Колас Гел, распутником и бахвалом, — долгие часы, которые Зенон мог бы употребить с большей пользой для молитв и ученых занятий, он проводил с Коласом Гелом, так и эдак прилаживая блоки и кривошпы. Живой и вместе грузный великан, без счета тративший деньги, которых у него не было, слыл вельможей в глазах подмастерьев — он поил и угощал их в дни ярмарок. В этой мускулистой громаде, рыжеволосой и белокожей, таился ум фантазерский и в то же время пронизательный, из тех, которым вечно надо что-нибудь совершенствовать, шлифовать, упрощать или усложнять. В городе каждый год закрывались все новые мастерские; Анри-Жюст, похваляясь, будто не закрывает свои из одного лишь христианского человеколюбия, использовал трудные времена, чтобы то и дело урезывать жалованье ткачам. Его запуганные сукноделы, счастливые уже тем, что не выброшены на улицу и колокол каждый день слышат их на работу, жили под гнетом слухов, что мастерские вот-вот закроются, и жалостно сетовали на то, что вскоре неминуемо окажутся в толпе нищих, которые в эти тяжкие годы скитались по дорогам, пугая зажиточных горожан. Колас мечтал облегчить их труд и горькую долю с помощью механических ткацких станков, подобных тем, какие в величайшей тайне Уже испытывали кое-где в Ипре, в Генте и во Франции — в Лионе. Колас видел их чертежи и описал Зенону; тот поправил цифры, увлекся схемами, и восторг Коласа перед новыми механизмами превратился в общую

страсть обоих приятелей. Стоя бок о бок на коленях перед грудой железок, они без усталости помогали друг другу подгонять противовесы, укреплять рычаги, привинчивать и отвинчивать сцепленные зубцами колеса; они бесконечно спорили о том, куда лучше поставить болт и каким маслом смазать ползун. Сообразительностью Зенон намного превосходил тугодума Коласа Гела, но зато в пухлых руках ремесленника была сноровка, восхищавшая ученика каноника, который впервые в жизни оторвался от книг.

— *Prachtig werk, mijn zoon, prachtig werk* * — приговаривал мастер, обняв школяра за шею своей тяжелой рукой.

Вечером после занятий Зенон тайком отправлялся к своему другу и бросал горсть мелких камешков в окно трактира, где мастер частенько засиживался дольше чем следует. А иногда украдкой пробирался в пустой амбар, где обитал Колас со своими машинами. В огромном помещении было темно; во избежание пожара зажженную свечу ставили на стол в миску с водой, и она светилась, точно маленький маяк посреди крошечного моря. Подмастерье Томас из Диксмейде, правая рука мастера, забавы ради карабкался, словно кошка, на шаткую грудку рам и балансировал на них во мраке под самой кровлей, держа в руке фонарь или пивную кружку. Колас Гел хохотал во все горло. Присев на доску и вращая глазами, он слушал, как разглагольствует Зенон, а тот перескакивал с предмета на предмет: с "неделимых" Эпикура перекидывался к удвоению куба, с природы золота — к доказательствам существования бога, которые называл вздорными, — ткач только присвистывал от восхищения. А школяр в обществе этих людей в простых кожаных безрукавках находил то, что сынки знатных господ находят в обществе конюхов и псарей, — мир, более грубый и свободный, нежели их собственный, ибо он бурлил на ступенях более низких, вдаль от сентенций и силлогизмов; находил отрадное чередование тяжелого труда и непринудительного досуга, запаха и тепло человеческой жизни, речь, пересыпанную бранью, намеками и прибаутками, столь же загадочную для непосвященных, как язык компаньонажей, работу, не похожую на привычное ему сидение над книгами.

Школяр полагал, что в аптеке у цирюльника и в мастерской ткача он может набраться знаний, которые подтвердят или опровергнут школьную премудрость. С Платоном и с Аристотелем он равно обходился как с обыкновенными купцами, чей товар бросают для проверки на весы. Тита Ливия он объявил болтуном. Цезарь — пусть он человек великий — уже умер. Из жизнеописаний героев Плутарха, чьими соками вместе с молоком Евангелия был вскормлен каноник Бартоломе Кампанус, мальчик извлек одно: что отвага духовная и телесная открыла им такие высоты и дали, какие добрым христианам открывают умерщвление плоти и пост, будто бы приводящие их в царствие небесное. Для каноника божественная мудрость и ее сестра-мирянка подкрепляли одна другую; в тот день, когда он услышал, как Зенон насмехается над благочестивыми медитациями "Сна Сципиона", он понял, что ученик его втайне отверг упования христианской веры.

* Отличная работа, сынок, отличная работа (*флам.*).

И однако Зенон поступил в Богословскую школу в Лёвене. Способности его вызывали удивление; новичок, могущий без подготовки выдержать диспут на любую тему, снискал величайшее уважение соучеников. Молодые бакалавры жили весело и привольно; Зенона приглашали на пирюшки, но он пил одну только воду, а девицы из веселого дома пришлось ему по вкусу не более, чем утонченному гурману — блюдо из тухлого мяса. Его находили красивым, но резкий его голос отпугивал, а огонь, горевший в темных глазах, привлекал и отталкивал одновременно. О его происхождении ходили диковинные слухи — он их не опровергал. Поклонники Николая Фламеля быстро почуяли в этом зябком школяре, вечно сидевшем с книгой под навесом очага, интерес к алхимии: маленький кружок тех, кто наделен был умом более пытливым и беспокойным, нежели остальные, принял его в свое лоно. Еще до окончания семестра он стал поглядывать сверху вниз на ученых докторов, которые в подбитых мехом мантиях склонялись в столовой над полными тарелками, в тупом самодовольстве упиваясь своей тяжеловесной ученостью, и на шумных неотесанных школяров, твердо решивших набраться знаний лишь в пределах, необходимых для того, чтобы пристроиться к теплому местечку: жалкие бедняги, ум кипит в них лишь до тех пор, пока бродит молодая кровь, а она с годами поутихнет. Мало-помалу презрение это распространилось и на его друзей-кабалистов, пустоголовых фантазеров, объевшихся непонятными для них словами, которые они отрывали в виде готовых формул. Он с горечью убедился, что ни один из этих людей, на которых он вначале рассчитывал, ни в мыслях, ни в действиях своих не решает идти дальше него или хотя бы так же далеко, как он.

Зенон жил в чердачной камерке дома, находившегося под надзором священника; табличка, прибитая на лестнице, предписывала пансионерам являться к вечернему богослужению и под страхом наказания возбраняла приводить в дом продажных женщин и справлять нужду за пределами отхожего места. Но ни зловонные запахи, ни сажа от очага, ни крикливый голос хозяйки, ни стены, которые его предшественники разукрасили солеными латинскими шуточками и непристойными рисунками, не отвлекали от рассуждений этот ум, для которого каждый предмет в мире означал некое явление или знак. Бакалавр познал в этой камерке сомнения, искусства, победы и поражения, слезы отчаяния и радости, которые дано пережить лишь молодости — зрелый возраст не ведает их или их чурается, и сам Зенон в последствии сохранил о них лишь смутные воспоминания. Отдавая предпочтение чувственным уладам, как можно более далеким от тех, к каким тяготеют и в коих признаются большинство мужчин, — тем, что вынуждают таиться, зачастую лгать, а иногда бросать вызов, — сей юный Давид, вступивший в единоборство со схоластическим Голиафом, решил, что обрел своего Ионафана в апатичном белокуром соученике, который, впрочем, скоро покинул своего деспотичного друга, предпочтя ему приятелей, более искусственных в попойках и игре в кости. Разрыв заставил Зенона только еще глубже погрузиться в учение. Белокурой была и золотошвейка Жанетта Фоконье, взбалмошная девица, дерзкая, как юный паж, привыкшая, что вокруг нее вечно увиваются студенты; Зенон однажды вечером вздумал приволокнуться за ней и стал осыпать

ее насмешками. А так как он похвастал, что, захоти он, добьется милостей этой девицы, и притом за время более короткое, нежели потребно, чтобы проскакать на лошади от Рыночной площади до церкви Святого Петра, началась потасовка, закончившаяся битвой по всем правилам, и красотка Жанетта, желая проявить великодушие, сама подставила своему раненому оскорбителю губы, которые на языке того времени именовались вратами души. Наконец на Рождество, когда Зенон уже и думать забыл о приключении, на память о котором у него остался только шрам на лице, обольстительница лунной ночью прокралась в дом, где он жил, бесшумно поднялась по скрипучей лестнице и скользнула к нему в постель. Зенона поразило это гибкое, гладкое тело, искушенное в любовной игре, эта нежная шейка тихонько воркующей голубки и всплески смеха, которые она подавляла как раз вовремя, чтобы не разбудить спавшую за стеной хозяйку. Впрочем, к радости его примешивался страх, словно у пловца, нырнувшего в освежающие, но коварные волны. В течение нескольких дней он на виду у всех бесстыдно прогуливался с этой пропащей особой, пренебрегая скучными назиданиями Ректора; казалось, ему пришлось по вкусу лукавая и неуловимая сирена. Однако уже через неделю он снова с головой ушел в книги. Его осудили за то, что он ни с того ни с сего вдруг бросил девицу, которой целый семестр беззаботно жертвовал почестями *cum laude* *, и, поскольку он выказал некоторое пренебрежение к женщинам, стали подозревать, что он зазнается с суккубами.

ЛЕТНИЕ ДОСУГИ

В это лето незадолго до начала августа Зенон, как и всегда, отправился на лоно природы в загородную усадьбу банкира. Это был уже не прежний загородный дом, которым Анри-Жюст искони владел в Кёйпене в окрестностях Брюгге, — делец приобрел теперь между Ауденарде и Турне поместье Дранутр с его старинным барским домом, заново отстроенным после ухода французов. Дом был переделан в модном вкусе, украшен каменным доколом и кариатидами. Толстяк Лигр все чаще скупал недвижимость, которая крикливо оповещает всех о богатстве владельца, а в случае опасности дает ему права гражданства еще в одном городе. В провинции Турне Анри-Жюст мало-помалу округлял земельные владения, принадлежавшие его жене Жаклине; в окрестностях Антверпена приобрел поместье Галифор — роскошное дополнение к его торговой конторе на площади Святого Иакова, где он отныне ворочал делами вместе с Лазарусом Тухером. Главный казначей Фландрии, владелец сахарных заводов — одного в Маастрихте, другого на Канарских островах, — таможенный откупщик Зеландии, держатель монополии на поставку квасцов в прибалтийские земли, в доле с Фуггерами обеспечивающий третью часть доходов ордена Калатравы, Анри-Жюст все чаще имел дело с великими мира сего: в Мехелене Правительница собственноручно подавала ему святую воду,

* Букв.: с похвалой (*лат.*). Награда "*Cum laude*" — академическая почесть в средневековых университетах.

господин де Круа, задолжавший ему тринадцать тысяч флоринов, недавно дал согласие быть восприемником его новорожденного сына, и Анри-Жюст уже договорился с этим знатным сеньором, в какой день в его замке в Рёлксе состоится торжества по случаю крестин. Не было никаких сомнений, что Алдегонда и Констанса, две совсем еще юные дочери прославленного дельца, будут с годами носить титулы, как уже сейчас носят шлейфы.

Поскольку суконная фабрика в Брюгге стала теперь в глазах Анри-Жюста предприятием устарелым, с которым он сам же вступал в конкуренцию, ввозя во Фландрию лионскую парчу и немецкий бархат, он открыл в деревне неподалеку от Дранутра сельские мастерские, где муниципальные ордонансы Брюгге уже ничем его не стесняли. Здесь по его приказанию были установлены десятка два механических ткацких станков, сооруженных когда-то Коласом Гелом по чертежам Зенона. Купцу взбрело на ум испытать этих работников из дерева и металла, которые не пьют, не горланят, вдесятером выполняют урок, рассчитанный на сорок человек, и не требуют прибавки жалованья под предлогом дороговизны.

Однажды, когда в воздухе уже потянуло осенней прохладой, Зенон направился пешком в Ауденове, где стояли станки. Страна кишела людьми, скитающимися по дорогам в поисках работы; меньше десяти лье отделяли Ауденове от кричащей роскоши Дранутра, но казалось, ты попал из рая в ад. Анри-Жюст поместил мастеров и рабочих из Брюгге в старом, наспех отремонтированном сарае на краю деревни; жилье это мало чем отличалось от собачьей конуры. Зенон лишь мельком увидел Коласа Гела, который с утра был уже пьян, — его подмастерье, бледный и угрюмый француз по имени Перротен, мыл посуду и поддерживал огонь в очаге. Томас, недавно женившийся на местной деревенской девушке, шеголял в красном шелковом кафтоне, который впервые надел по случаю свадьбы. Сухой человек, некий Тьерри Лон, мотальщик, неожиданно назначенный мастером, показал Зенону наконец-то установленные станки; ткачи сразу их невзлюбили, хотя прежде лелеяли нелепую надежду, что при машинах заработать можно будет больше, а спину гнуть — меньше. Но школяра волновали теперь другие заботы, к рамам и противовесам он уже охладел. Тьерри Лон заговорил об Анри-Жюсте с раблепным почтением, но тут же, искоса поглядывая на Зенона, стал жаловаться, что ткачей плохо кормят, что живут они в лачугах, слепленных на скорую руку по приказу хозяйских управляющих, а рабочий день у них длиннее, чем в Брюгге, где работу начинают и кончают по звону муниципального колокола. Коротышка сожалеет о том времени, когда цеховые ремесленники, уверенные в своих привилегиях, в два счета расправлялись с работниками, нанятыми со стороны, и не клонили головы перед вельможами. Новшества не страшили Лона, он уже оценил эти хитроумные, похожие на клетки приспособления, где каждый ткач работал одновременно руками и ногами, управляя двумя рычагами и двумя педалями, правда, слишком быстрый темп изнурял людей, а сложное устройство требовало такого проворства и внимания, какими не обладали ни пальцы ткачей, ни их головы. Зенон посоветовал

сделать в станках кое-какие усовершенствования, но видно было, что новый мастер не придавал его словам значения. Тьерри помышлял только об одном — как отделаться от Коласа Гела; он пожимал плечами; упоминая об этом рохле, об этом путанике, чьи механические затеи только выжимают из людей пот да плодят еще больше безработных, об этом баране, на которого, словно парша, напало благочестие с той поры, как он лишился утех городской жизни, об этом пьянчуге, который, хлебнув, заводит сокрушенные речи, точно проповедник на площади. Школяру противны были эти вздорные невежды; от сравнения с ними выигрывали отороченные горностаем и отполированные логикой ученые мужи.

Таланты Зенона в области механики не принесли ему чести у родных: презирав незаконнорожденного, они невольно почитали в нем будущего пастыря. Во время вечерней трапезы в большой столовой школяр слушал Анри-Жюста, напыщенно изрыгавшего правила житейской мудрости; говорил он всегда одно и то же: "Сторонись девиц — они могут забеременеть; сторонись замужних женщин — неровен час, тебя прирежут; бойся вдовушек — они тебя разорят; знай себе копи денежки да молись богу". Каноник Бартоломе Кампанус, привыкший требовать от вверенных ему душ не более того, что они готовы ему уделить, не оспаривал эту тяжеловесную мудрость. В этот день жнецы обнаружили в поле колдунью — злодейка мочилась прямо на колосья, чтобы накликать дождь, хотя хлеба и так уже почти сгнили от необычных в эту пору ливней; без дальних слов женщины швырнули в огонь; теперь все потешались над ведьмой, которая воображала, будто ей подвластна вода, а от костра уберечься не сумела. Каноник объяснил, что люди, обрекая грешников на муки сожжения, которые длятся недолго, угождают богу, осуждающему их на те же муки, только вечные. Разговоры эти не нарушали течения обильной вечерней трапезы; Жаклина, разгоряченная летней жарой, осыпала Зенона колкостями, которые может позволить себе добропорядочная женщина. Эта пухлая фламандка, расцветшая после недавних родов и гордившаяся своим цветом лица и белыми руками, была разряжена как павлин. Но священник, казалось, не замечал ни глубокого выреза ее платья, ни того, что пряди ее светлых волос щекочут шею молодого студента, который, пока еще не внесли лампы, низко склонялся над книгой, ни того, как внезапно вспыхнул гневом юный женоненавистник. Для Бартоломе Кампануса каждая представительница слабого пола была Марией и Евой в одном лице — той, что дарует млеко и слезы свои во спасение человечества, и той, что предается змию. Он потуплял глаза, но не судил.

Зенон решительным шагом уходил прочь из дома. Ровная терраса, обсаженная молодыми деревьями и украшенная затейливыми гротами, вскоре сменялась пастбищами и пашнями; за холмиками мельниц пряталась хижина под низкой крышей. Но прошли времена, когда Зенон мог, как бывало в Кёйпене, светлой Ивановой ночью, которая знаменует начало лета, растянуться у разожженного костра рядом с крестьянами-арендаторами. Да и холодными вечерами теперь никто не потеснился бы, чтобы дать ему место на скамье в кузнице, где несколько деревенских

обитателей — всегда одни и те же, — разомлев от уютного тепла, обмениваются новостями под жужжание последних осенних мух. Нынче все отгораживало его от них — их неторопливая деревенская речь, почти столь же неспешная мысль и страх, внушаемый юнцом, который болтает по-латыни и умеет читать по звездам. Иногда Зенон сманивал в свои ночные вылазки двоюродного брата. Выйдя во двор, он тихонько свистел, чтобы его разбудить. Анри-Максимилиан, еще не вполне очнувшийся от крепкого молодого сна и весь пропахший лошадьё и потом после упражнений в верховой езде, которым он предавался накануне, перелезал через перила балкона. Правда, при мысли о том, что на обочине дороги удастся, быть может, потискать какую-нибудь сговорчивую девицу, а в трактире опрокинуть в компании возчиков стаканчик-другой кларета, он живо встряхивался. Приятели шли напрямик через пашни, помогая друг другу перебраться через овраг и держа путь к костру цыганского табора или красному огоньку далекой харчевни. На обратном пути Анри-Максимилиан похвалялся своими подвигами, Зенон о своих помалкивал. Самую нелепую шутку наследник Лигра отколол, пробравшись ночью в конюшню барышника из Дранутра и выкрасив в розовый цвет двух его кобыл — хозяин утром решил, что на них наслали порчу. Однажды обнаружилось, что во время одного из ночных походов Анри-Максимилиан истратил несколько дукатов, которые стянул у толстяка Жюста; полушутя, полусерьезно отец с сыном схватились врукопашную — их растащили, будто быка с теленком, насакаивающих друг на друга в загоне.

Но чаще всего Зенон, вооружившись своими записными дощечками, уходил на заре один и шел через поля в поисках неведомого знания, какое дает только непосредственное наблюдение над природой. Он то и дело прикидывал на руке вес камней, с любопытством разглядывал их гладкую или шероховатую поверхность, следы ржавчины или плесени, которые могли поведать их историю, рассказать о металлах, которые их породили, об огне и воде, которые помогли образоваться их субстанции и дали им форму. Из-под камней выползали насекомые — странные обитатели преисподней животного мира. Сидя на пригорке и глядя на раскинувшуюся под серым небом равнину, кое-где вздыбленную длинными песчаными холмами, он думал о далеких временах, когда эти громадные пространства, теперь засеянные хлебами, покрывало море; отступив, оно оставило им в наследство бугристый росчерк волн. Ибо все меняется — меняются формы мира и творения природы, которая вся в движении, и каждый ее миг исчисляется веками. А иногда, собрав все свое внимание и притаившись, словно браконьер, он следил за живыми тварями, которые бегают, летают и ползают в чаще леса, подробно изучал оставленные ими следы, то, как они спариваются, чем питаются, какие подают друг другу сигналы, что значат их повадки и как они умирают, если ударить их палкой. Ему нравились рептилии, оклеветанные людьми из страха или суеверия, холодные, осторожные, наполовину подземные существа, таящие в каждом из своих ползучих колец мудрость, которая сродни мудрости минералов.

Однажды вечером в разгар летней жары Зенон, хорошо усвоивший наставления Яна Мейерса, отважился сам отворить кровь фермеру, которого хватил удар, а не стал дожидаться помощи цирюльника, который мог

не подоспеть вовремя. Каноник Кампанус сокрушался столь непристойным поступком; Анри-Жюст вторил ему и громогласно жалел о дукатах, которые выбросил на ветер, оплачивая учение племянника, ибо тот, видно, вознамерился провести жизнь между ланцетом и тазом. Студент встретил эти попреки враждебным молчанием. С этого дня отлучки его участились. Жаклина была уверена, что он завел шашни с какой-нибудь фермерской дочкой.

Как-то раз, захватив с собой в дорогу побольше хлеба, Зенон решил добраться до леса возле Хаутюлста. Лес этот был остатком мощных зарослей языческих времен: странные советы нашептывали его ветви. Задрав голову и разглядывая снизу густые хвойные и лиственные кроны, Зенон вспоминал алхимические наставления, которые он частью почерпнул в школе, а частью — вопреки ей; в каждой из этих зеленых пирамид ему виделся герметический иероглиф восходящих сил, знак воздуха, который омывает и питает эту лесную сущность, и огня, который таится в ней и, быть может, однажды ее уничтожит. Но устремленность ввысь уравновешивалась движением книзу — под ногами у него слепой и чуткий народец корней повторял в темноте бесконечное разветвление древа в небесах, тщательно ориентируясь по ему одному ведомому надиру. Там и сям пожелтевший до времени листок выдавал присутствие в зелени металла — из него он почерпнул свою субстанцию, которую теперь преобразовывал. Напор ветра коржил огромные стволы, как человек корежит свою судьбу. Студент чувствовал себя здесь свободным как зверь и как зверь — под угрозой, подобно дереву в равновесии между мирами — подземным и надземным, как и оно — под гнетом сил, которые давят на него и отпустят только после его смерти. Но слово "смерть" для юноши на двадцатом году было пока всего лишь словом.

В сумерках он заметил во мху следы — здесь протащили волоком поваленные деревья; запах дыма привел его в сгустившейся тьме к хижине углежогов. Трое мужчин, отец и двое сыновей, — палачи деревьев, повелители и слуги огня, — принуждали пламя медленно пожирать свои жертвы, преобразуя сырое дерево, которое шипит и трепещет, в уголь, хранящий свое сродство с элементом огня. Лохмотья углежогов трудно было отличить от их кожи, которая под слоем сажи приобрела темный цвет, почти как у эфиопов. Странно было видеть вокруг чернокожих лиц и на смуглой обнаженной груди седые волосы отца и русые — сыновей. Одинокие, как отшельники, все трое начисто отрешились от всего, что творилось в современном мире, а может, никогда и не ведали о том. Им было совершенно все равно, кто правит Фландрией и что идет 1529 год от рождества Христова. Голоса их больше походили на лошадиный храп, и приняли они Зенона так, как лесные звери принимают другого зверя; школяр понимал, что они могли убить его и завладеть его одеждой, вместо того чтобы взять от него хлеб, которым он их угостил, и разделить с ним похлебку из трав. Поздно ночью, задыхаясь в их прокопченной хижине, он встал, чтобы по обыкновению своему наблюдать звезды, и пошел на выжженную площадку, которая ночью казалась белой. Тихо горел костер углежогов — геоме-

трическая конструкция, совершенством построения не уступающая крепостям бобров и пчелиным ульям. На фоне пламени двигалась чья-то тень: это младший из братьев следил за раскаленной массой. Зенон помог ему багром отодвинуть бревна, сгоравшие слишком быстро. Среди вершин деревьев сверкали Вега и Денеб; звезды, расположенные ниже по небосводу, были скрыты за стеною леса. Студент подумал о Пифагоре, о Николае Кузанском, о некоем Копернике, который недавно изложил свою теорию — в Богословской школе она нашла как горячих приверженцев, так и яростных врагов, и его захлестнула гордость при мысли о том, что он принадлежит к пытливой и деятельной породе людей, которые приручают огонь, пресуществляют субстанцию вещей и исследуют движение звезд.

Он ушел от своих хозяев не простившись, как ушел бы от лесного зверья, и нетерпеливо зашагал дальше, словно цель, которую наметил его ум, совсем рядом и, однако, надо торопиться, чтобы ее достигнуть. Он понимал, что это последние глотки свободы: пройдет еще несколько дней, и ему придется вновь усесться на школьную скамью, чтобы обеспечить себе в будущем место секретаря при каком-нибудь епископе и округлять для него сладкозвучные латинские фразы, а может быть, заполучить кафедру теологии и вещать студентам то, что утверждено и дозволено. По простоте душевной, объясняемой молодостью, он воображал, будто никто никогда не таил в своей груди такого отвращения к духовному званию и не зашел так далеко в своем бунтарстве или лицемерии. Но пока что единственными звуками утренней мессы были для него тревожный крик сойки да постукивание дятла. Чуть заметный пар поднимался от кучки помета во мху — след, оставленный ночным зверем.

Но едва он вышел на дорогу, его обступили грубые звуки повседневности. С ведрами и вилами бежала куда-то толпа возбужденных крестьян: оказалось, горит стоящая на отшибе большая ферма, подожженная каким-то анабаптистом — эти люди, соединявшие с ненавистью к богачам и властью имущим весьма своеобразную любовь к богу, так и кишели теперь повсюду. Зенон с пренебрежительным состраданием думал об этих мечтателях, которые бросались из огня в полымя, меняя вековечные предрассудки на самоновейшие бредни, но отвращение к сытому благополучию невольно толкало его на сторону бедноты. Чуть подалее ему встретился уволненный ткач, который взял нищенскую котомку и отправился искать пропитания в другом месте; Зенон позавидовал бродяге: тот волен поступать, как ему вздумается.

ПРАЗДНЕСТВО В ДРАНУТРЕ

Однажды вечером, когда после многодневной отлучки Зенон, точно усталый пес, возвращался домой, он еще издали увидел в жилище Лигров такое множество огней, что ему почудился новый пожар. Но дорога перед домом была запружена парадными экипажами. И тут он вспомнил, что Анри-Жюст уже много недель мечтал о высочайшем визите и добивался его.

Только что был подписан мир в Камбре. Его называли Дамским миром, потому что двум женщинам, в жилах которых текла королевская кровь и которых каноник Бартоломе Кампанус в своих проповедях уподоблял евангельским праведницам, с грехом пополам удалось уврачевать язву века. Мать французского короля, которую удержал в Камбре страх перед неблагоприятным расположением звезд, решилась наконец возвратиться в свой Лувр. Правительница Нидерландов по пути в Мехелен согласилась провести одну ночь под сельским кровом главного казначея Фландрии — Анри-Жюст созвал именитых людей округа, скупил, где только мог, воску и редких яств, пригласил из Турне музыкантов, служивших у епископа, и приготовил представление на античный манер, во время которого фавны, разодетые в парчу, и нимфы в зеленом шелке должны были поднести принцессе Маргарите угощение: марципаны, миндальный крем и засахаренные фрукты.

Зенон не решался войти в залу — одежда его была потрепана и в пыли, от немытого тела несло потом, и он опасался, что это повредит ему в глазах великих мира сего и помешает устроить свое будущее; первый раз в жизни он подумал, что неплохо было бы понатореть в искусстве лести и интриг и что служить личным секретарем или наставником принца лучше, нежели сделаться ученым педантом или деревенским цирюльником. Но потом самонадеянность молодости взяла верх, да к тому же он был уверен, что успех всегда зависит от твоих собственных дарований и благосклонности небесных светил. Он вошел и, присев возле убранного листьями камина, стал обзирать сей человеческий Олимп.

Нимфы и фавны, одетые на античный лад, были отпрысками разбогатевших фермеров или деревенских сеньоров, которым главный казначей снисходительно позволял подкармливаться из своих закровов; под париками и румянами Зенон узнавал их белобрысые волосы и голубые глаза, а под легкой тканью распахнувшейся или задравшейся туники — толстоватые ноги девушек, среди которых были и те, что нежно заигрывали с ним в тени какой-нибудь мельницы. Анри-Жюст, еще более надутый и важный, чем всегда, старался ослепить гостей купеческой роскошью. Правительница, вся в черном, маленькая и кругленькая, отличалась унылой бледностью вдовы и поджатыми губами рачительной хозяйки, которой приходится присматривать не только за тем, как стелют постель и убирают со стола, но и за делами государства. Льстецы восхваляли ее благочестие, образованность и целомудрие, которое побудило ее предпочесть второму браку печальное самоотречение вдовства; хулители шепотком винили ее в слабости к женщинам, признавая, впрочем, что приверженность эта более прощительна благородной даме, нежели склонность к лицам своего же пола у мужчин. Правительница была одета богато, но строго, как и подобает принцессе, которой должно носить внешние знаки своего королевского сана, но которая не тщится ослеплять и нравиться. Грызая сладости, она благосклонно, как женщина набожная, но отнюдь не ханжа, которая может не моргнув глазом слушать вольные речи мужчин, внимала учтивостям Анри-Жюста, сдобренным солеными шутками.

Уже выпили рейнского, венгерского и французского; Жаклина растегнула свой затканый серебром корсаж и приказала принести младшего сына: его, мол, еще не накормили, а ему тоже хочется пить. Анри-Жюст и его жена охотно выставляли напоказ новорожденного, который молотил их обоих.

Грудь, открывшаяся в складках тонкого белья, привела гостей в восторг.

— Сразу видно, этот крепыш вскормлен хорошим молоком, — объявила Госпожа Маргарита.

Она спросила, какое имя дали ребенку.

— Он еще не наречен, его крестили пока только по малому обряду, — отвечала фламандка.

— В таком случае, — сказала Правительница, — назовите его Филибером, как моего почившего супруга.

Анри-Максимилиан, осушавший стакан за стаканом, похвалялся перед придворными дамами ратными подвигами, которые совершит, когда возмужает.

— Наш злополучный век предоставит ему немало случаев отличиться на ратном поприще, — заметила Госпожа Маргарита.

Сама же думала: согласится ли главный казначей дать императору заем из восьми процентов, в котором ему отказали Фуггеры, — он покрыл бы расходы минувшей кампании, а может статься, и будущей, ибо всем известно, что мирному договору грош цена. Малая толика этих девяноста тысяч эку позволила бы закончить строительство часовни, которое она затеяла в Бру, в Бурк-ан-Бресе, где и она однажды упокоится навеки рядом со своим царственным супругом. Пока Госпожа Маргарита подносила к губам позолоченную серебряную ложечку, перед ее мысленным взором на мгновение предстал обнаженный молодой человек, с волосами, слившимися от горячечного пота, с грудью, распираемой болезненными опухолями, и все же прекрасный, как Аполлон, — она похоронила его более двадцати лет назад. Ничто не могло утешить ее в скорби — ни забавная болтовня Зеленого Кавалера, ее любимца попугая, привезенного из Индии, ни книги, ни ласковое лицо ее кроткой подруги госпожи Лаодамии, ни государственные дела, ни даже сам Всевышний — опора и наперсник государей. Образ покойного вновь исчез в сокровищнице памяти, а Правительница, почувствовав на языке вкус засахаренных фруктов, вновь очутилась за столом, которого не покидала, и увидела красные руки Анри-Жюста на малиновой скатерти, броский наряд своей фрейлины госпожи д'Аллоэн, младенца у груди фламандки, а возле очага — красивого юношу с дерзким лицом, который поглощал пищу, не обращая внимания на гостей.

— А это кто там сидит в обществе головешек? — спросила она.

— Сыновей у меня только двое, — с неудовольствием ответил банкир, указывая на Анри-Максимилиана и пухлого младенца в расшитых пеленках.

Бартоломе Кампанус, понизив голос, рассказал Правительнице о злоключениях Хилзонды, а заодно посокрушался о том, что мать Зенона вступила на стезю еретических заблуждений. И Госпожа Маргарита вместе

с каноником пустилась рассуждать об исповедании веры и обрядах, как неустанно рассуждали о них в ту пору все благочестивые и образованные люди, хотя досужие словопроения не помогли ни решить спор, ни доказать его тщету. В это мгновение за дверью послышался шум, и в залу всем скопом, хотя и робея, ввалились ткачи.

Программа праздничных увеселений предусматривала приход суконщиков, которые должны были явиться в Дранутр с подарком для Правительницы. Но стычка, случившаяся за два дня перед тем в одной из мастерских, придала шествию ремесленников дух мятежа. Подмастерья Коласа Гела явились в полном составе просить помилования для Томаса из Диксмёйде, которому грозила виселица за то, что он молотком разбил недавно установленные и наконец-то пущенные в ход станки. Беспорядочная ватага, которая по дороге пополнилась безработными из других мест и бродягами, целых два дня одолевала несколько лье, отделявших фабрику от усадьбы Лигров. Колас Гел, который изранил себе руки, защищая свое детище — станки, был, однако, в первых рядах ходатаев. Зенон с трудом признал в этом невнятно бормочущем человеке силача той поры, когда ему самому было шестнадцать лет. Удержав за рукав пажа, подавшего ему конфеты, школяр узнал от него, что Анри-Жюст отказался выслушать недобрых, и те провели ночь под открытым небом, питаясь кухонными отбросами, которые им швыряли повара. Слуги до утра охраняли кладовые, серебро, погреб и скирды хлеба. Впрочем, несчастные казались кроткими, словно овцы, которых ведут стричь; на пороге они сдернули шапки, а самые смиренные пали на колени.

— Смилуйтесь над Томасом, над моим другом Томасом! Мои машины помрачили его рассудок! — гнусавил Колас Гел. — Он слишком молод, чтобы качаться на виселице!

— Как! — воскликнул Зенон. — Ты защищаешь негодяя, который разрушил дело наших рук? Твой красавчик Томас любил танцевать, так пусть попляшет теперь под самым небом!

Услышав перебранку на фламандском языке, стайка фрейлин покадилась со смеху. Растерянный Колас поводил вокруг выцветшими глазами и, узнав в сидевшем у очага молодом человеке школяра, которого в былые дни называл своим братом во гульбе, осенил себя крестом.

— Это Господь послал мне искушение, — запричитал великан с руками в обмотках. — Я как дитя забавлялся блоками и кривошипями. Подручник Сатаны подсказал мне размеры и цифры, и я вслепую соорудил виселицу, на которой болтается веревка.

И он попятился, опираясь на плечо тщедушного подмастерья Перротена.

Маленький, подвижный как ртуть человек, в котором Зенон узнал Тьерри Лона, подскочил к принцессе и протянул ей прошение, которое она с нескрываемой рассеянностью передала дворянину из своей свиты. Главный казначей заискивающим тоном принялся уговаривать ее перейти в соседнюю галерею, где музыканты готовились усладить уши дам музыкой и пением.

— Кто восстает против церкви, рано или поздно поднимет меч и на своего государя, — заключила Госпожа Маргарита, вставая и этими осуж-

дающими Реформу словами завершая беседу, которую усердно поддерживала с каноником. Ткачи, повинувшись взгляду Анри-Жюста, церемонно поднесли августейшей вдове бант, на котором жемчугом был вышит ее вензель. Кончиками унизанных перстнями пальцев она милостиво приняла подарок.

— Вот видите, государыня, — полушутя сказал торговец, — как вознаграждаются усилия того, кто из одного только милосердия не закрывает фабрики, работающие в убыток. Эти мужланы оскорбляют ваш слух спорами, которые в одну минуту может разрешить сельский судья. Не будь мне дорога слава нашего бархата и броше...

Опустив плечи, как всякий раз, когда на нее наваливалось бремя государственных забот, Правительница озабоченным тоном заговорила о том, сколь важно обуздать наконец непокорство народа, ибо мир и без того потрясают ссоры государей, победы турок и ересь, раздирающая церковь. Зенон не расслышал, что каноник подзывает его и велит подойти поближе к принцессе. Звуки музыки и шум отодвигаемых кресел смешались с возгласами ткачей.

— Нет! — рявкнул торговец, закрыв за собой дверь, ведущую в галерею, и встав перед ткачами, словно сторожевой пес, преграждающий путь стаду. — Пощады Томасу не будет, его прикончат, как он прикончил мои станки. Неужто вам пришлось бы по вкусу, если бы кто-нибудь ворвался к вам в дом и переломал ваши лежанки?

Колас Гел взревел как раненый бык.

— Замолчи, приятель, — с презрением бросил торговец, — твои вопли заглушают музыку, которой сейчас улаждают дам.

— Ты ученый человек, Зенон! Ты умеешь говорить по-латыни и по-французски, а это больше по вкусу господам, чем наша фламандская речь, — сказал Тьерри Лон, который руководил толпой недовольных, как регент хором. — Объясни им, что работы у нас прибавилось, а жалованье стало меньше и от пыли, что летит из этих машин, мы харкаем кровью.

— Если эти машины приживутся у нас, всем нам крышка, — сказал один из ткачей. — Не можем мы крутиться у станка как белка в колесе.

— Вы что думаете, я, вроде французов, падок на эти новшества? — спросил банкир, пытаясь сдобрить суровость добродушием, как подслащивают кислое вино. — Никакие колеса и клапаны в мире не сравнятся с парой честных трудовых рук. Разве я людоед? Перестаньте угрожать и жаловаться, что я штрафую за испорченную ткань и узлы на пряже, да не приставайте с дурацкими требованиями прибавить жалованье, словно деньги у нас стали дешевле навоза, и я выкину все эти рамы — пусть их покрываются паутиной! А в будущем году стану платить вам по прошлогодним расценкам.

— По прошлогодним расценкам! — воскликнул голос, в котором уже звучала уступка. — По прошлогодним расценкам! Да нынче одно яйцо стоит дороже, чем на прошлого Святого Мартина целая курица! Лучше уж взять посох да идти отсюда куда глаза глядят.

— Пропади он пропадом, ваш Томас, лишь бы меня снова взяли на работу, — загудел старый ткач из пришедших на своем шепелявом французском языке, который в его устах звучал как-то особенно свирепо. —

Фермеры уже не раз спускали на меня собак, а богачи в городе отгоняют нас камнями. По мне, лучше спать на соломе в сарае при мастерской, чем в придорожной канаве.

— Станки, которыми вы гнушаетесь, могли сделать моего дядьку королем, а вас принцами, — с досадой молвил студент. — Да разве вразумишь скота-богача и нищих глупцов!

Со двора, откуда оставшимся за дверью видны были праздничные огни и верхушки роскошных творений кондитера, донесся ропот. В самую середину голубого, украшенного гербом витража угодил камень; купец едва успел увернуться от града голубых осколков.

— Поберегите ваши камни для этого пустозвона! Болван внушил вам, будто вы сможете гонять лодыря, а бобина сама станет крутиться и работать за двоих, — с насмешкой сказал толстяк Лигр, указывая на племянника, примостившегося у очага. — Эти бредни загубили мои денежки и Томасову жизнь. Нечего сказать, велик толк от изобретений простофили, который ничего в жизни не нюхал, кроме своих книг.

Сидевший у огня Зенон плюнул, но промолчал.

— Когда Томас увидел, что станок не останавливается ни днем, ни ночью и работает за четверых, он ничего не сказал, — снова забормотал Колас Гел, — только задрожал, обливаясь потом, вот и все. Его одним из первых вышвырнули, когда увольняли моих подмастерьев. А веретена жужжали как ни в чем не бывало, а железные рамы знай себе ткали. Томас забился в угол нашего сарая с девушкой, на которой он женился нынешней весной, и только зубами стучал, словно в ознобе. И понял я тогда, что машины — это наше проклятье, вроде войны, дороговизны или привозных суконов... и ладони мои заслужили, чтобы их покалечили. И вот что я вам скажу: человек должен работать по-простому, без затей, как работали до него отцы и деды, на то и даны ему руки и десять пальцев.

— Да ты сам-то кто такой, — в ярости закричал Зенон, — как не скрипучая машина, которую используют, а потом выбросят на свалку, только она, на беду, еще наплодит себе подобных! Я думал, ты человек, Колас, а ты слепой крот! И все вы просто зверье, и не знать бы вам ни огня, ни свечи, ни ложки, если б другие не придумали их для вас. Бобины, и той вы испугались бы, когда бы вам ее показали в первый раз! Ступайте в свои сараи гнить впятером, а то и шшестером под одним одеялом да чахнуть над шелковыми галунами и бархатом, как чахли ваши отцы!

Перротен, вооружившись забытым на столе кубком, двинулся к Зенону. Тьерри Лон схватил его за руку; подмастерье, извиваясь, как змея, стал визгливо выкрикивать угрозы на пикардийском диалекте. Но тут громовый голос Анри-Жюста, успевшего послать вниз одного из своих дворецких, возвестил, что на двор выкатили бочки с пивом, дабы распить его во славу заключенного мира. Ринувшаяся вниз толпа увлекла за собой Коласа Гела, который все размахивал забинтованными руками. Перротен, рывком освободившись от Тьерри Лона, исчез. В зале осталась лишь кучка самых рассудительных ткачей — они надеялись добиться, чтобы при заключении договора на будущий год им увеличили жалованье хоть на несколько су. О Томасе и грозившей ему смерти никто больше не вспоминал. И никому не пришло в голову снова бить челом Правительнице, располо-

жившейся в соседнем зале. Делец был здесь единственной властью, которую ткачи знали и боялись. Принцессу Маргариту они видели только издали, так же смутно, как серебряную посуду, драгоценности, как созданные их руками ткани и ленты, украшавшие стены залы и участников праздника.

Ари-Жюст посмеялся про себя успеху своей речи и своих щедрот. В общем-то, вся эта суматоха длилась совсем недолго — пока исполняли мотет. Эти станки, которым он не придавал особого значения, обеспечили ему выгодную сделку, не потребовав больших затрат; быть может, когда-нибудь он еще воспользуется ими, но лишь в том случае, если, по несчастью, рабочие руки слишком вздорожают или их будет не хватать. А Зенон, которого держать в Дранутре так же опасно, как головешку на гумне, пусть отправляется подальше со своими бреднями и горящими глазами, которые смущают женщин; Ари-Жюст может похвалиться перед высокой гостьей своим умением в эти смутные времена усмирять чернь — сделал вид, будто уступил в какой-то мелочи, а на самом деле поставил на своем.

А Зенон из окна глядел, как тени в отрешках бродят во дворе среди слуг и телохранителей принцессы. Смоляные факелы на стенах освещали пиршество. По рыжим волосам и забинтованным рукам студент без труда узнал в толпе Коласа Гела. С лицом белым, точно его обмотки, ткач жадно пил из большой кружки, привалившись к бочонку.

— Дует тем временем обливается холодным потом в тюрьме в ожидании смерти, — с презрением молвил студент. — И подумать только, я любил этого человека... О, племя Симона-Петра!

— Молчи! — перебил его Тьерри Лон, остановившийся рядом. — Ты не знаешь, что такое голод и страх. — И, подтолкнув Зенона локтем, продолжал: — Забудь Коласа и Томаса, подумаем лучше о себе. Наши люди пойдут за тобою, как нитка за челноком, — зашептал он. — Они бедны, невежественны и глупы, но их много — они кишат как черви и жадны как крысы, почуявшие запах сыра... Твои станки пришлось бы им по вкусу, если б принадлежали им самим. Начинают с того, что жгут усадьбу, а кончат захватом городов.

— Ступай лакать пиво с остальными, пропойца, — оборвал его Зенон. И, выйдя из залы, стал спускаться по пустынной лестнице.

На площадке в темноте он столкнулся с Жаклиной, которая, запыхавшись, поднималась по ступенькам со связкой ключей в руке.

— Я заперла погреб, — шепнула она. — Неровен час...

Она потянула к себе руку Зенона, чтобы он послушал, как колотится у нее сердце.

— Не уходи, Зенон! Я боюсь!

— Ищите себе защитников среди солдат-телохранителей, — грубо отрезал студент.

На другое утро каноник Кампанус тщетно искал своего ученика, чтобы сообщить ему, что принцесса Маргарита, садясь в карету, осведомилась, не знаком ли студент с греческим и древнееврейским, и выразила желание принять его в свою свиту. Комната Зенона была пуста. По рассказам слуг, он ушел на рассвете. Дождь, ливший уже несколько часов, задер-

жал отъезд Правительницы. Суконщики возвратились в Ауденове, в общем довольные тем, что главный казначей обещал прибавить им жалованье — по полсу на каждый ливр. Колас Гел с похмелья отсыпался под попоной. Что до Перротена, тот еще затемно исчез. Позже стало известно, что ночью он грозил отомстить Зенону. И похвалялся перед всеми, что ловко владеет ножом.

ОТЪЕЗД ИЗ БРЮГГЕ

Вивина Коверсейн занимала в доме своего дядюшки, кюре Иерусалимской церкви в Брюгге, маленькую комнатку, обшитую дубовыми панелями. Здесь стояла узкая белая кровать, на окне — горшок с розмарином, на полке — молитвенник; все дышало чистотой, благолепием и покоем. Каждый день, в час утренней молитвы, эта добровольная юная послушница приходила в храм, опережая самых ранних богомолков и нищего, торопившегося занять уютное местечко в углу паперти; в войлочных туфлях она неслышно сновала по ступеням хоров, выливая воду из священных сосудов, до блеска начищала серебряные канделябры и дароносицы. Ее остренький носик, ее бледность и угловатые движения никого не вдохновляли на вольные шуточки, которые сами просытаются на язык, когда мимо проходит хорошенькая девушка, но тетка Вивины, Годельева, умиленно сравнивала цвет ее волос с золотистой корочкой фламандской сдобы и гостии, а во всей повадке Вивины чувствовались набожность и хозяйственность. Ее предки, упокоившиеся вдоль церковных стен под начищенными медными плитами, без сомнения, радовались ее благоразумию.

Она была из хорошей семьи. Отец ее, Тибо Коверсейн, служивший когда-то пажом при дворе Марии Бургундской, был среди тех, кто поддерживал носилки, на которых с плачем и молитвами доставили в Брюгге его молодую, смертельно раненную госпожу. В памяти Тибо так и не изгладилась картина той роковой охоты; он на всю жизнь сохранил к своей так рано сошедшей в могилу повелительнице нежное почтение, напоминавшее любовь. Он много странствовал, служил при императоре Максимилиане в Регенсбурге и вернулся умирать во Фландрию. У Вивины остались смутные воспоминания о рослом мужчине, который усаживал ее на свои обтянутые кожей колени и одышливым голосом напевал, по-немецки грустные народные песенки. Сироту воспитала тетка Кленверк. Добродушная толстуха была сестрою и домоправительницей кюре Иерусалимской церкви; она умела варить укрепляющие сиропы и вкуснейшее варенье. Каноник Бартоломе Кампанус любил бывать в этом доме, где царил дух христианского благочестия и вкусных яств. Он ввел в него и своего питомца. Тетка и племянница потчевали школяра сдобой с пылу с жару, обмывали ему царапины на руках и коленках, если ему случалось упасть или подражаться, и, не ведая сомнений, восхищались его успехами в латинском языке. Позднее, когда учившийся в Лёвене студент изредка наезжал в Брюгге, кюре отказал ему от дома, почуяв, что от него веет смрадом ереси и атеизма. Однако в это утро, узнав от местной сплетницы, что кто-то видел, как промокший и забрызганный грязью Зенон на-

правлялся под проливным дождем в аптеку Яна Мейерса, Вивина стала спокойно ждать, когда он придет повидаться с ней в церковь.

Он бесшумно появился из боковой двери. Вивина бросилась к нему с простодушной услужливостью маленькой горничной, даже не отложив в сторону алтарного покрыва, который держала в руках.

— Я уезжаю, Вивина, — объявил он. — Свяжи стопкой тетради, что я спрятал у тебя в шкафу, я приду за ними, когда совсем стемнеет.

— На кого вы похожи, друг мой! — сказала она.

Должно быть, он долго шлепал под проливным дождем по слякоти проселочных дорог, потому что его башмаки и полы одежды были залеплены грязью. Похоже было также, что его побили камнями, а может, он упал, потому что все лицо у него было в ссадинах, а край одной из манжет забрызган кровью.

— Пустяки, — ответил он. — Небольшая потасовка. Я уже забыл о ней.

Однако он позволил ей заботливо стереть с него влажной тряпицей кровь и грязь. Потрясенной Вивине он казался прекрасным, точно сумрачный Христос с распятия из крашеного дерева в одной из соседних ниш, и она хлопотала вокруг него, словно невинная юная Магдалина.

Она предложила провести его на кухню к тетке Годельеве, чтобы как следует почистить его одежду и угостить только что испеченными вафлями.

— Я уезжаю, Вивина, — повторил Зенон. — Хочу поглядеть, повсюду ли царят такое невежество, страх, тупость и суеверная боязнь слова, как здесь.

Эта пылкая речь напугала Вивину — ее пугало все необычное. Однако гневный порыв мужчины был для нее неотличим от яростных вспышек школяра, а нынешний Зенон, в грязи и запекшейся крови, напоминал ей пригожего друга и нежного брата Зенона тех времен, когда им обоим было по десять лет и он возвращался домой после уличной драки весь в синяках.

— Разве можно так громко говорить в церкви, — ласково упрекнула она.

— Ничего, бог все равно не услышит, — с горечью отозвался Зенон.

Он не объяснил ей, ни откуда, ни куда она едет, ни в какую угодил схватку или западню, ни какая сила отвратила его от ученой стези, устланной горностаевым мехом и почестями, ни какие планы влекут его на дороги, по которым ходить небезопасно, потому что по ним рыщут возвращающиеся с войны солдаты и бесприютные бродяги; этих встреч благо-разумно избегали ее домашние, когда маленькой компанией — кюре, тетка Годельева да несколько слуг — возвращались в экипаже из деревни, где побывали в гостях.

— Времена нынче тяжелые, — сказала Вивина привычным горестным тоном, какой она слышала дома и на рынке. — Вдруг на вас нападет какой-нибудь злодей...

— А с чего ты взяла, что я не сумею с ним разделаться, — резко возразил он. — Справедить человека на тот свет не такое уж трудное дело...

— Кретъен Мергелинк и мой кузен Ян де Бехагел тоже учатся в Лёвене и как раз собираются в дорогу, — настаивала она. — Вы можете встретить-

ся с ними в трактире "У лебедя"...

— Пусть Кретьен с Яном, если им нравится, корпят до одури над атрибутами божественного образа, — презрительно бросил молодой студент. — А если твой дядюшка кюре, подозревающий меня в безбожии, еще интересуется моими воззрениями, передай ему, что я верую в того бога, который произошел не от девственницы и не воскрес на третий день после смерти, и чье царство — на земле. Поняла?

— Я не поняла, но все равно передам, — ласково сказала она, даже не пытаясь запомнить слишком мудреные для нее речи. — Но тетушка Годельева, как только услышит сигнал тушить огни, запирает дверь на замок, а ключ прячет к себе под матрац, так что я оставлю ваши тетради под навесом вместе со съестным на дорогу.

— Съестного не нужно, — возразил он. — Для меня настало время бдения и поста.

— Почему? — удивилась она, тщетно пытаясь припомнить, день какого святого нынче по церковному календарю.

— Я сам наложил на себя такое покаяние, — насмешливо ответил он. — Разве ты никогда не видела, как готовятся в путь паломники?

— Как вам будет угодно, — ответила Вивина, но при мысли об этом странном отъезде в голосе ее зазвенели слезы. — Я буду считать часы, дни и месяцы, как всегда во время ваших отлучек.

— Не мели вздору, — заметил он, чуть усмехнувшись. — Путь, в который я нынче пустился, никогда не приведет меня назад. Я не из тех, кто сворачивает с дороги, чтобы увидиться с девчонкой.

— Что ж, — сказала она, наморщив маленький упрямый лоб, — раз вы не хотите прийти ко мне, в один прекрасный день я сама явлюсь к вам.

— Зря будешь стараться, — возразил он, шутки ради поддерживая это препирательство. — Я тебя забуду.

— Господин мой, — тихо сказала Вивина, — под этими плитами спят мои предки, и у них в головах начертан девиз, который гласит: "Вам дано более". Мне дано более, нежели отвечать забвением на забвение.

Она стояла перед ним — чистый, пресный ручеек. Он не любил ее; эта простоватая девчушка была, уж верно, самой хрупкой из нитей, привязывавших его к недолгому прошлому. И все же он почувствовал легкую жалость с примесью гордости, оттого что кто-то будет о нем сожалеть. И вдруг порывистым движением человека, который в минуту прощанья дарит, бросает или жертвует что-то, дабы снискать расположение неведомых сил или, наоборот, сбросить их иго, он снял тоненькое серебряное колечко, которое когда-то получил в обмен на свое от Жанетты Фоконье, и, словно милостыню, положил его на протянутую ладонь. Он не собирался возвращаться. Он бросил этой девочке всего лишь подачку — право на робкую мечту.

Когда настала ночь, он нашел под навесом свои тетради и отнес их Яну Мейерсу. Большую часть записей в них составляли изречения языческих философов, которые он в величайшей тайне переписал в эти тетради, когда учился в Брюгге под надзором каноника, они содержали предер-

зостные мысли о природе души, отрицавшие бога; были здесь также цитаты из отцов церкви, направленные против идолопоклонства, но бессмысленные так, что с их помощью доказывалась бессечность христианского благочестия и церковных обрядов. Зенон был еще неопитом и потому очень дорожил этим школярским вольнодумством. Он обсудил свои планы на будущее с Яном Мейерсом; тот советовал поступить на медицинский факультет в Париже — когда-то сам Мейерс прослушал там курс, хотя и не защитил диссертации и не заслужил права носить четырехугольную шапочку. Зенона тянуло в путешествия более дальние. Хирург-благотворней аккуратно спрятал тетрадки студента в укромный уголок, где хранил старые склянки и стопки чистых повязок. Студент не заметил, что Вивина вложила между их страницами веточку шиповника.

МОЛВА

Позднее стало известно, что он прожил некоторое время в Генте у митроносного приора аббатства Святого Бавона, который занимался алхимией. Говорили, будто его видели в Париже на той самой улице Бюшри, где студенты тайком препарируют трупы и где ко всякому, точно зараза, пристають сомнения и ересь. Вполне достойные доверия люди утверждали, будто он получил диплом Университета в Монпелье, но другие возражали на это, что хотя он и поступил на знаменитый факультет, однако пожертвовал ученым званием, чтобы посвятить себя одной только практике, не считаясь при том с наставлениями Галена и Цельса. Рассказывали, будто его узнали в Лангедоке под личиною некоего мага, соблазнителя женщин, и в то же самое время встречали якобы в Каталонии в одежде пилигрима, который пришел из Монсерра и которого разыскивали по обвинению в убийстве мальчика в харчевне, облюбованной всяким сбродом — матросами, барышниками, ростовщиками, подозреваемыми в иудаизме, и арабами, чье обращение в христианство не внушало доверия. Ходили смутные слухи о том, что он интересуется физиологией и анатомией, и поэтому история с убийством ребенка, которую невежды и простаки относили на счет черной магии и столь же черного разврата, в устах людей более сведущих превращалась в операцию, целью которой было влить свежую кровь в жилы хворого богача еврея. Позднее люди, побывавшие в диковинных странах, расцвеченных еще более диковинными вымыслами, утверждали, будто встречали его в земле агафирсов, в краю берберов и даже при дворе микадо. Греческий огонь, изготовленный по новому рецепту, который использовал в Алжире паша Харреддин Рыжебородый, в 1541 году причинил заметный ущерб испанской флотилии; это пагубное изобретение приписали ему, добавляя при этом, что он нажил на нем состояние. Францисканский монах, посланный с поручением в Венгрию, повстречался в Буде с врачом из Фландрии, который скрывал свое имя, — уж это, понятное дело, был он. Из верных рук было также известно, что, призванный в Геную для консультации Иосифом Ха-Коэном, личным медиком дожа, он потом дерзко отказался занять место этого еврея, осужденного на изгнание. Поскольку люди не без причины полагают, что непокорству ума

зачастую сопутствует непокорство плоти, ему приписывали утехы, не уступающие в смелости его трудам, и из уст в уста передавали всевозможные рассказы, которые, само собой, менялись в зависимости от вкусов тех, кто пересказывал или придумывал его похождения. Но из всех его смелых поступков самым вызывающим, пожалуй, сочли то, что он принизил благородное звание врача, предпочтя заниматься грубым ремеслом хирурга, а стало быть, возиться с гноем и кровью. Все в мире рушится, если дух смуты бросает подобный вызов вековым правилам и обычаям. Потом он надолго исчез и, как утверждали, объявился в Базеле во время эпидемии чумы: исцелив многих безнадежных больных, он прослыл в эти годы чудотворцем. Потом лестный слух заглох. Казалось, человек этот боится литавр славы.

К 1539 году в Брюгге появился небольшой трактат на французском языке, отпечатанный в Лионе в типографии Доле, на котором стояло имя Зенона. Он содержал подробнейшее описание мышечных волокон и клапанных колец сердца, а также рассуждение о роли, которая, по-видимому, принадлежит левому ответвлению блуждающего нерва в поведении этого органа; вопреки тому, чему учили в Университете, Зенон в своем труде утверждал, что пульсация совпадает с систолой. Он исследовал также сужение и утолщение стенок сосудов при некоторых болезнях, вызванных старением организма. Каноник, мало сведущий в вопросах медицины, читал и перечитывал этот труд, почти разочарованный тем, что не нашел в нем никакого подтверждения слухам о безбожии бывшего своего питомца. Да ведь самый захудалый лекарь, думал он, мог написать такую книжонку, которую не украсила даже ни одна латинская цитата. Бартоломе Кампанус частенько видел в городе хирурга-брадобрея Яна Мейерса, верхом на его добром муле, — снискав с годами признание земляков, тот все чаще занимался хирургией и все реже брадобритием. Этот Мейерс был, наверное, единственным жителем Брюгге, который и впрямь мог временами получать весточки от школяра, набравшегося теперь учености. Канонику хотелось иногда порасспросить этого простолюдина, но приличия не позволяли Бартоломе Кампанусу сделать первый шаг, тем более что цирюльник слыл лукавцем и насмешником.

Каждый раз, когда случай доносил до него отголоски известий о бывшем его ученике, каноник тотчас отправлялся к своему старому другу юре Кленверку. Они обсуждали новости, сидя в гостинице пастырского дома при церкви. Годельева или ее племянница иной раз проходили мимо них то с лампой, то с каким-нибудь блюдом, но ни та, ни другая не прислушивались к разговору, не имея привычки вникать в беседу двух священнослужителей. Пора детской влюбленности уже миновала для Вивины; она все еще хранила в шкатулке, где лежали стеклянные бусы и иголки, узенькое колечко с розеткой, но для нее отнюдь не было секретом, что тетка всерьез подумывает о ее замужестве. Покуда обе женщины складывали скатерть и расставляли по местам посуду, Бартоломе Кампанус и юре пережевывали скудные обрывки дошедших до них вестей, которые в отношении ко всей жизни Зенона значили не более, чем ноготь значит

в отношении ко всему телу. Кюре покачивал головой, ожидая всяческих бед от этого ума, снедаемого нетерпением, суетной жадой знаний и гордыней. Каноник неуверенно защищал школяра, которого сам же когда-то выучил. Однако мало-помалу Зенон перестал быть для них живым существом, личностью, характером, человеком, обитающим где-то на этой земле, он превратился в имя и даже меньше, чем в имя, — в полустершийся ярлычок на склянке, где медленно догнивали разрозненные и мертвые воспоминания их собственного прошлого. Они еще говорили о нем. На самом деле они его забыли.

СМЕРТЬ В МЮНСТЕРЕ

Симон Адриансен старел. Он замечал это не столько по тому, что скорее уставал, сколько по все возрастающей ясности духа. Он был похож на лощмана, который стал туговат на ухо и уже смутно различает шум урагана, хотя с прежним искусством определяет силу течения, волн и ветра. Всю жизнь Симон приумножал свои богатства: золото само текло ему в руки; из отцовского дома в Мидделбурге он перебрался в Амстердам, когда приобрел в этом порту привилегию на ввоз пряностей, и поселился в особняке, который его собственными попечениями был возведен на вновь отстроенной набережной. В его жилище по соседству со Схрейерсторен, словно в надежном ларце, хранились всевозможные заморские сокровища. Но Симон и его жена, равнодушные к этому великолепию, жили на самом верхнем этаже в маленькой, совершенно пустой комнатушке, напоминавшей корабельную каюту, а роскошь предназначена была служить беднякам.

Для них всегда были гостеприимно распахнуты двери дома, всегда наготове угощение и лампы всегда зажжены. Среди этих оборванцев встречались не только несостоятельные должники или больные, которым не нашлось места в переполненных лечебницах, но и голодные актеры, отупевшие от пьянства матросы, арестанты, подобранные у позорного столба со следами кнута на плечах. Подобно Господу, которому угодно, чтобы всякая живая тварь подвизалась на его земле и радовалась его солнцу, Симон Адриансен не выбирал или, вернее, наоборот, из отвращения к закону человеческим выбирал последних среди отверженных. Облаченные самим хозяином в теплую одежду, оробевшие нищие рассаживались за столом. Музыканты, скрытые в галерее, услаждали их слух музыкой, подобную которой сулил только рай. В честь этих гостей Хилзонда надевала свои самые роскошные наряды, придававшие двойную цену ее щедротам, и разливала угощенье серебряным черпаком.

Словно Авраам и Сара, словно Иаков и Рахиль, Симон и его жена двенадцать лет прожили в мире и согласии. Были у них, конечно, и свои горести. Один за другим умерли новорожденные их дети, которых они любили и лелеяли.

— Господь — наш отец. Ему ведомо, что лучше для детей, — каждый раз говорил Симон, склонив голову.

И этот воистину благочестивый человек учил Хилзонду сладости сми-

рения. Однако у каждого в глубине души таилась печаль. Наконец родилась девочка, которая выжила. С этой поры союз Симона Адриансена с Хилзондой стал союзом братской любви.

Бороздя далекие моря, суда Симона держали курс на Амстердам, но сам он думал о том великом странствии, какое для всех смертных — равно богатых и бедных, неизбежно заканчивается крушением, что выбрасывает их на неведомый берег. Мореплаватели и географы, которые вместе с ним склонялись над компасной картой, составляя лоции для кораблей, были менее близки его сердцу, нежели странники, бредущие к иному миру долиной человечности, проповедники в лохмотьях, пророки, подвергшиеся насмешкам и глумлению на городских площадях, вроде Яна Матиса — одержимого видениями булочника, или Ганса Бокхольда — бродячего комедианта, которого Симон подобрал однажды вечером, когда тот замерзал на пороге какой-то харчевни, и который служил Царству Духа как ярмарочный зазывала. Смирнее всех гостей Симона, намеренно тая великую свою ученость и напуская на себя придурь, дабы легче проникнуться боговдохновением, держался Бернард Ротман в своем старом подбитом мехом плаще; когда-то любимейший ученик Лютера, он теперь поносил виттенбергского наставника, этого лжеправедника, который одной рукой ласкает овечку-бедняка, а другой голубит богача-волка и слабодушно завяз между истиной и заблуждением.

Высокомерие Святых, то, как беззастенчиво они в мыслях уже отбирали богатство у зажиточных горожан и титулы у знати, чтобы распределить их по своему разумению, навлекли на них общий гнев; Праведники, над которыми нависла угроза смерти или немедленного изгнания, в доме Симона держали совет, подобно морякам на тонущем судне. Но вдали спасительным парусом маячила надежда: Мюнстер, где удалось утвердиться Яну Матису, изгнанному из города епископа и муниципальных советников, сделался Градом Божьим, где впервые в юдоли скорби нашли приют агнцы. Тщетно императорские войска надеются сокрушить этот Иерусалим обездоленных, все бедняки мира поддержат своих братьев; толпами пойдут они из города в город, отбирая у церкви ее срамные сокровища, ниспровергая идолов, и прирежут толстомясого Мартина в его грязном логове в Тюрингии, а папу — в Риме. Симон слушал эти разговоры, поглаживая свою седую бороду: по натуре он был человек рискованный и потому склонен был не сморгнув пуститься в благочестивое предприятие, чреватое неслыханными опасностями; спокойствие Ротмана и шуточки Ганса заставили его отбросить последние сомнения; они успокоили его, как могли бы успокоить на корабле, снявшемся с якоря во время шторма, хладнокровная выдержка капитана и беспечная веселость марсового. И когда однажды вечером убогие гости Симона, нахлобучив до самых бровей свои шапки и потуже затянув на шее обтрепанные шерстяные шарфы, двинулись по грязи и снегу, дабы всем вместе добраться до Мюнстера своих грез, он проводил их взглядом, исполненным доверия.

Наконец как-то утром, а вернее, почти ночью, едва забрезжила холодная февральская заря, он поднялся в комнату, где Хилзонда, прямая и неподвижная, лежала на своей постели, освещенной тусклым ночником. Он шепотом окликнул ее, убедившись, что она не спит, тяжело опустил

на край кровати в изножье и, подобно купцу, который обсуждает с женой совершенные за день сделки, поведал ей о совещаниях, происходивших в небольшой нижней гостиной их дома. Разве и ей не опостылело жить в этом городе, где деньги, плоть и мирская суета шутовски выставляют себя напоказ, а муки людские словно бы увековечены в кирпиче и в камне, в никчемных и громоздких предметах, которые уже не осеняет Дух? Что до него, он решил покинуть, вернее, продать (к чему пускать по ветру добро, принадлежавшее Богу?) дом и все, чем он владеет в Амстердаме, и, пока не поздно, отправиться в Мюнстер, дабы погрузиться в его Ковчег, который и без того уже переполнен, но их друг Ротман, без сомнения, поможет им найти там кров и пищу. Он предоставил Хилзонде две недели на обдумывание замысла, который сулит нищету, изгнание, быть может, смерть, но также и надежду оказаться среди первых, кому откроется Царство Божие.

— Две недели, жена, — повторил он. — Но ни часом более, время не терпит.

Хилзонда приподнялась на локте и устремила на мужа глаза, ставшие вдруг огромными.

— Две недели уже миновали, муж мой, — сказала она тоном, в котором звучало спокойное пренебрежение ко всему, что она покидала.

Симон воздал ей хвалу за то, что она всегда опережает его на пути к Богу. Его почтение к жене устояло перед ржою будней. Этот старый человек сознательно закрывал глаза на несовершенства, слабости, изъяны, пусть даже и весьма заметные, на поверхности души тех, кого он любил, и видел их такими, какими они были в самой чистой глубине своего существа или хотя бы хотели стать. В жалком обличье пророков, которых он принимал под своим кровом, он провидел святых. Растроганный с первой же встречи светлыми глазами Хилзонды, он не обращал внимания на почти недобрую скрытность в очерке ее печальных губ. Эта худая, усталая женщина оставалась для него Ангелом.

Продажа дома вместе с движимостью была последней удачной сделкой Симона. Его равнодушие к деньгам, как всегда, способствовало его выгоде, ибо помогало избежать ошибок, которые равно совершают и те, кто боится потерять, и те, кто норовит урвать побольше. Добровольные изгнанники покинули Амстердам, окруженные почтением, каким, невзирая ни на что, пользуются богатые, даже если, ко всеобщему негодованию, принимают сторону бедных. Пассажирское судно высадило их в Девентере, а отсюда, уже в повозке, они покатали по холмам Гелдерланда, одетым молодой листвой. По пути они останавливались в вестфальских трактирах, где их угощали копченым окороком; для этих горожан поездка в Мюнстер походила на загородную прогулку. Служанка по имени Йоханна, когда-то претерпевшая пытку за анабаптистскую веру и потому особенно почитаемая Симоном, сопровождала Хилзонду и ее дочь.

Бернард Ротман встретил их у ворот Мюнстера, где громоздились повозки, мешки и бочки. Приготовления к осаде напоминали беспорядочную суету накануне праздника. Пока обе женщины выгружали из экипажа

детскую кроватку и другую домашнюю утварь, Симон слушал пояснения Великого Обновителя. Ротман был спокоен: как и убежденные его проповедью обитатели города, которые сновали по улицам, доставляя овощи и дрова из соседних деревень, он уповал на помощь Божью. И, однако, Мюнстер нуждался в деньгах. Но еще более того он нуждался в поддержке малых сих, недовольных и обиженных, рассеянных по всей земле, которые только и ждали первой победы нового Христа, чтобы сбросить с себя бремя идолопоклонства. Симон все еще богат — у него остались должники в Любеке, в Эльблонге, даже в Ютландии и в далекой Норвегии; он обязан взыскать деньги, которые принадлежат одному Господу Богу. По дороге он сможет передать благочестивым сердцам послание восставших Праведников. К нему, человеку, известному своим здравомыслием и богатством, да к тому же одетому в дорожное сукно и мягкую кожу, прислушаются там, куда проповедник-оборванец не получит доступа. Лучшего посланца, чем этот обращенный богач, Совету бедняков не найти.

Симон согласился с рассуждениями Ротмана. Действовать надо не мешкая, чтобы разрушить козни князей и церковников. Второпях поцеловав жену и дочь и выбрав самого крепкого мула из тех, что доставили их к воротам Ковчега, Симон тотчас пустился в дорогу. Несколько дней спустя на горизонте показались железные пики ландскнехтов; войска князя-епископа окружили город, не собираясь брать его штурмом, но решив стоять у его стен, сколько понадобится, чтобы уморить этих нищих голодом.

Бернард Ротман поместил Хилзонду с ребенком в доме бургомистра Книппердоллинга, который раньше всех в Мюнстере стал покровителем Чистых. Этот благодушный, невозмутимый толстяк принял ее как сестру. Под влиянием Яна Матиса, который замешивал новую жизнь, как когда-то — тесто для хлеба в своем подвале в Харлеме, все на свете преображалось, становилось легким и простым. Плоды земли принадлежали всем, как воздух и свет божий; те, у кого было белье, посуда и мебель, выносили их на улицу, чтобы поделиться с остальными. Все любили друг друга взыскательной любовью, поддерживали друг друга и порицали, устраивали взаимную слежку, дабы уберечь друг друга от соблазна; гражданские законы были упразднены, упразднены церковные обряды; богохульство и плотские грехи карались виселицей; женщины под вуалью неслышно скользили по городу, словно тревожные ангелы, и площадь оглашали рыдания тех, кто прилюдно каялся в грехах.

Маленькая цитадель добродетели, обложенная католическими войсками, жила в религиозном экстазе. Проповеди под открытым небом каждый вечер укрепляли мужество. Бокхольд, этот Избранный среди Праведников, имел особенный успех, ибо сдобривал кровавые образы Апокалипсиса своими актерскими фарсами. Стоны больных и первых жертв осады, которые теплыми летними ночами лежали под аркадами площади, сливались с пронзительными воплями женщин, зывавших о помощи к Отцу Милосердному. Хилзонда была одной из самых рьяных. Вытянувшись во весь свой рост и устремившись вверх, точно язычок пламени, мать Зенона поносила скверну римской церкви. Страшные видения вставали перед ее затуманенным слезами взором, и, вдруг переломившись, точно слишком

тонкая свеча, Хилзонда поникала, заливаясь слезами раскаяния, нежности и упования на скорую смерть.

Первый раз всеобщий траур вызван был смертью Яна Матиса, убитого во время вылазки, предпринятой им против войска епископа во главе трех десятков мужчин и целой толпы Ангелов. Ганс Бокхольд, увенчанный королевской короной, верхом на лошади, покрытой церковной ризой как попоной, был незамедлительно провозглашен с паперти Королем-прокомом; водрузили помост, на котором, как на троне, каждое утро восседал новый царь Давид, единолично верша дела земные и небесные. Несколько удачных нападений на кухню епископа принесли трофеи в виде поросят и кур, и на помосте было устроено пиршество под звуки флейт. Хилзонда смеялась вместе со всеми, глядя, как взятых в плен вражеских поваров заставили пригостить различные яства, а потом отдали на растерзание толпе, которая топтала их и молотила кулаками.

Мало-помалу в душах людей стала совершаться перемена, подобная той, что превращает ночью сновидение в кошмар. Охваченные экстазом Святые ходили, шатаясь, точно в пьяном угаре. Новый Король-Христос объявлял один пост за другим, чтобы подольше растянуть съестные припасы, которыми были забиты в городе все подвалы и чердаки. Однако порой, когда от бочонка с сельдями распространялось невыносимое зловоние или на округлости окорока появлялись пятна, жители обжирались до отвала. Измученный болезнью Бернард Ротман не выходил из комнаты и покорно соглашался со всеми приказами нового Короля, довольствуясь тем лишь, что проповедовал народу, толпившемуся у его окон, любовь, очистительный огонь которой истребляет всю окалину земную, и упование на Царствие Божие. Книппердоллинг из бургомистра, должность которого упразднили, был торжественно возведен в звание палача. Этот толстяк с красной шеей получал такое удовольствие от своей новой роли, словно всю жизнь втайне лелеял мечту стать мясником. Убивали часто, Король повелел истреблять трусливых и тех, кто не выказывал должного рвения, — истреблять, пока зараза не перекинется на других; к тому же на каждом мертвце удавалось выгадать паек. Теперь в доме, где жила Хилзонда, о казнях говорили так, как в былое время в Брюгге — о ценах на шерсть.

Ганс Бокхольд смиренно соглашался, чтобы во время мирских собраний его звали Иоанном Лейденским по имени его родного города, но перед Верными он назывался еще иным, неизреченным именем, ибо чувствовал в себе силу и пламень сверхчеловеческие. Семнадцать жен свидетельствовали о неистощимой мощи Бога. Из страха, а может, из тщеславия зажиточные горожане предоставляли Христу во плоти своих жен, как прежде предоставили ему свои деньги; потаскушки из самых дешевых заведений оспаривали друг у друга честь служить утехам Короля. Он явился к Книппердоллингу побеседовать с Хилзондой. Она побледнела, когда к ней прикоснулся этот маленький человечек с живыми глазками, который пошарил руками, точно портной, и отвернул край ее корсажа. Она вспомнила, хоть и гнала от себя это воспоминание, как в Амстердаме, когда еще простым бродячим комедиантом он кормился у нее за столом, он воспользовался тем, что она склонилась к нему с полным блюдом в

руках, чтобы прикоснуться к ее бедру. Она с отвращением приняла поцелуй этих слюнявых губ, но отвращение сменилось экстазом; последние преграды благопристойности спали с нее, как старое рубище или как высохшая кожура, которую сбрасывают в помойную яму; омытая нечистым и жарким дыханием, Хилзонда перестала существовать, а с нею — и все страхи, угрызения и горести Хилзонды. Прижимая ее к себе, Король восхищался хрупким телом, худоба которого, по его словам, еще более подчеркивала благословенные женские формы — удлиненные поникшие груди и выпуклый живот. Этот человек, привыкший к шлюхам или к тяжеловесным матронам, восхищался изысканностью Хилзонды. Он рассказывал о себе: уже в шестнадцать лет он почувствовал себя богом. В лавке портного, у которого он служил подмастерьем, у него случился припадок падучей, и его выгнали; вот тогда, крича и изрыгая пену, он вознесся на небо. Такой же трепет божественного наития он изведal в бродячем театре, где играл роль паяца, получающего побои; на гумне, где он впервые познал женщину, он понял, что бог и есть эта плоть в движении, эти обнаженные тела, для которых нет больше ни бедности, ни богатства, этот мощный ток жизни, который смывает самую смерть и струится словно ангельская кровь. Он вешал все это выпреним слогом лицедея, песящими грамматическими ошибками деревенского паренька.

Несколько вечеров подряд он усаживал ее за пиршественный стол среди Христовых жен. Вокруг, напирая на столы так, что казалось, они вот-вот рухнут, теснилась толпа: голодные на лету подхватывали куриные шейки и ножки, которые Король милостиво бросал им, и молили его о благословении. Кулаки юных пророков, служивших при нем телохранителями, удерживали толпу. Дивара, титулованная королева, извлеченная из притона в Амстердаме, тупо пережевывала пищу и каждый раз, отправляя ее в рот, обнажала зубы и кончик языка; она напоминала здоровую ленивую телку. А Король вдруг воздевал руки, начинал молиться, и его лицо с нарумяненными скулами хорошело, театрально бледнея. А иногда он дул в ноздри кому-нибудь из гостей, чтобы причастить того Святому Духу. Однажды ночью он увел Хилзонду в заднюю комнату, чтобы, задрав ей юбки, показать юным пророкам Святой алтарь наготы. Между новой королевой и Диварой началась потасовка, и Дивара, во всеоружии своих двадцати лет, обозвала Хилзонду старухой. Женщины покатались клубком по плитам пола, вцепившись друг другу в волосы. Король примирил их, пригрев в этот вечер у своего сердца обеих.

По временам эти одурманенные и ошалелые души охватывала вдруг лихорадочная жажда деятельности. Ганс приказал безотлагательно снести городские башни, колокольни и те щипцы с коньками, что горделиво вознеслись выше других, а стало быть, отказывались признать, что перед Богом все равны. Толпы мужчин и женщин в сопровождении орущих ребятишек устремились вверх по узким лесенкам башен. Град черепицы и камней посыпался на землю, увеча прохожих и кровли приземистых домов; с крыши собора Святого Маврикия не удалось сбросить медные статуи поверженных святых, и они так и остались висеть между небом и землей;

в жилищах бывших богачей повыдирали балки, и теперь сквозь образовавшиеся в потолке дыры проникали снег и дождь. Старуху, которая пожаловалась, что боится замерзнуть насмерть в своей комнате без окон и дверей, изгнали из города; епископ отказался принять ее в свой стан, и во рву еще несколько ночей раздавались ее крики.

К вечеру разрушители прекращали свою деятельность и, свесив ноги в пустоту и вытянув шеи, с нетерпением искали в небе приметы наступающего конца света. Когда же красная заря на западе бледнела и сумерки окрашивались сначала в серый, потом в черный цвет, усталые труженики возвращались спать в свои лачуги.

Охваченные тревогой, похожей на радостный хмель, люди сновали по изуродованным улицам. С высоты крепостных стен они озирали раскинувшийся вокруг простор, куда доступ им был закрыт, — так глядят мореплаватели на грозные валы, обступившие их ладью; и мучило их от голода так же, как мутит тех, кто отважился пуститься в открытое море. Хилзонда бродила взад и вперед по одним и тем же улочкам, крытым переходам, по одним и тем же лестницам, ведущим на башенки, — иногда в одиночестве, иногда ведя за руку дочь. В ее опустошенной голове бил набат голода, она чувствовала себя легкой и вольной, как птицы, которые без усталости кружат между церковными шпилями, и изнеможение ее было сродни тому, что охватывает женщину в минуту наслаждения. Иногда, отломив длинную сосульку, свисающую с какой-нибудь балки, она совала ее в рот, чтобы освежиться. Люди вокруг нее, казалось, были во власти того же опасного возбуждения; несмотря на ссоры, вспыхивавшие из-за куска хлеба или сгнившего капустного листа, терпевшие голод и нужду Праведники сливались воедино в общем потоке нежности, источаемой их сердцами. Однако с некоторого времени недовольные стали поднимать голос, недостаточно ревностных уже не предавали смерти — слишком велико стало их число.

Йоханна пересказывала своей госпоже, что толкуют в городе насчет мяса, которое раздают жителям. Хилзонда продолжала есть, будто ничего не слышала. Люди похвалялись тем, что уже отведали ежей, крыс и кое-чего похуже, точно так же, как те, кого прежде числили людьми строгих правил, стали чваниться вдруг распутством, хотя, казалось, этим скелетам и призракам неоткуда взять сил. Люди уже не таясь отправляли потребности своего больного тела; они устали хоронить мертвых, но трупы, штабелями сваленные во дворах, замерзли на морозе, и смрада не чувствовалось. Никто не заговаривал о том, что с первым апрельским солнышком начнется холера — до апреля никто не надеялся дотянуть. Никто не упоминал также о том, что враг подступает все ближе, постепенно засыпая окружающие город рвы, и вот-вот пойдет на приступ. На лицах Праведников появилось теперь то притворное выражение, какое бывает у гончей, когда она делает вид, будто не слышит шелканья бича за своей спиной.

Наконец однажды человек, стоявший на валу рядом с Хилзондой, указал куда-то рукой. По равнине, извиваясь, тянулась длинная колонна, вереницы лошадей месили подтаявшую грязь. Послышался радостный

воплъ, слабые голоса затагнули песнопения — ведь это же войско анабаптистов, набранное в Голландии и в Гелдерланде, о прибытии которого неустанно твердят Бернард Ротман и Ганс Бокхольд, это братья, явившиеся на помощь своим братьям. Но вот войска уже братаются с армией епископа, осадившей Мюнстер, на мартовском ветру развеваются знамена, и кто-то узнает среди них стяг принца Гессенского; этот лютеранин стакнулся с идолопоклонниками, чтобы истребить Праведников. Мужчинам удалось обрушить со стены огромный камень на головы тех, кто вел подкоп под один из бастионов, выстрел часового уложил гессенского гонца. Осаждающие ответили на него аркебузными выстрелами — среди осажденных оказалось много убитых. Больше никто ничего не предпринимал. Но приступ, которого все ждали, не начался ни в эту ночь, ни в следующую. В этом летаргическом бездействии прошло пять недель.

Бернард Ротман давно уже раздал свои последние съестные припасы и пузырьки с лекарствами; Король, по своему обыкновению, пригоршнями бросал через окно крупу, однако берег остатки снеди, припрятанной под полом. Он много спал. Перед тем как в последний раз произнести проповедь на уже почти пустынной площади, он более полутора суток провел в каталептическом сне. С некоторых пор он перестал посещать по ночам Хилзонду: изгнанных с позором семнадцать жен заменила совсем еще юная девочка, которая слегка заикалась и была наделена даром пророчества, — Король любовно именовал ее своей пичужкой и голубкой своего Ковчега. Покинутая Королем, Хилзонда не огорчилась, не рассердилась и не удивилась; для нее стерлась грань между тем, что было и чего не было; она, казалось, не помнила, что была наложницей Ганса; но отныне все запреты для нее рухнули — однажды ночью она вздумала дожидаться возвращения Книппердоллинга: ей хотелось посмотреть, удастся ли расшевелить эту гору плоти; он прошел мимо, что-то бормоча и даже не взглянув на нее, — ему было не до баб.

В ту ночь, когда войска епископа ворвались в город, Хилзонду разбудил предсмертный хрип зарезанного часового. Двести ландскнехтов проникли в город через подземный ход, указанный им предателем. Бернард Ротман, одним из первых услышавший сигнал тревоги, забыв о болезни, вскочил с постели и бросился на улицу, длинные полы рубашки нелепо плескались вокруг тощих ног; его из милосердия убил какой-то венгр, не понявший епископского приказа — главарей смуты взять живьем. Король, которого враги застигли спящим, отбивался от них, отступая из комнаты в комнату, из коридора в коридор — с отвагой и проворством кошки, которую травят собаки; на заре Хилзонда увидела, как его волокут на площадь: театральную мишуру с него содрали, он был обнажен до пояса и сгибался пополам под ударами хлыста. Его пинками затолкали в громадную клетку, где он обыкновенно держал перед казнью недовольных и недостаточно ревностных. Покрытого ранами Книппердоллинга оставили валяться на скамье, решив, что он убит. Весь день раздавалась в городе тяжелая поступь солдат; этот мерный гул означал, что в крепости безумцев вновь воцарился здравый смысл в образе людей, которые продают свою жизнь за твердую плату, пьют и едят в установленный час, при случае грабят и насилюют, но помнят, что где-то у них есть старушка мать,

и бережливая жена, и маленькая ферма, куда они могут вернуться, чтобы доживать свой век; они ходят к обедне, когда им прикажут, и веруют в бога без излишней пылкости. Вновь начались казни, только теперь по приказу законной власти, с одобрения и папы, и Лютера. Гощие оборванцы с деснами, изъеденными голодом, для откормленных наемников были отвратительными насекомыми, которых нетрудно и не жаль раздавить.

Когда первые бесчинства утихли, на соборной площади у помоста, на котором прежде восседал Король, началось публичное судилище. Смертники смутно понимали, что обещание пророка сбывается несколько иначе, чем они предполагали, как это обычно и случается с пророчествами: их муки в этом мире приходят к концу и они прямехонько возносятся на небо — огромное и красное. Лишь немногие проклинали человека, вовлекшего их в этот искупительный хоровод. Некоторые в глубине души признавали, что уже давно жаждут смерти, как, без сомнения, жаждет лопнуть слишком туго натянутая струна.

Хилзонда до вечера прождала своей очереди. Она надела на себя самое нарядное из оставшихся у нее платьев и заколола косы серебряными шпильками. Наконец явились четверо солдат. Это были честные рубаки, которые выполняли свою обычную работу. Взяв за руку маленькую Марту, которая подняла крик, Хилзонда сказала ей:

— Пойдем, дочь моя, нас призывает Господь.

Один из солдат вырвал у матери невинного ребенка и швырнул его Йоханне, которая прижала девочку к своему черному корсажу. Хилзонда безмолвно последовала за своими палачами. Она шла так быстро, что им пришлось прибавить шаг. Чтобы не оступиться, она слегка подобрала полы зеленого шелкового платья, так что казалось, будто она ступает по волнам. Взойдя на помост, она смутно различила среди казненных своих бывших знакомцев, одну из прежних королев. Она опустила на грудь еще не остывших тел и подставила шею.

Странствия Симона уподобились крестному пути. Те, кто был должен ему больше других, выпроводили его, не заплатив ни гроша из боязни пополнить кошелек или суму анабаптистов; плуты и скупцы читали ему наставления. Его шурин Жюст Лигр объявил, что не может возратить разом крупные суммы, помещенные Симоном в его антверпенский банк; к тому же он льстил себя мыслью, что сумеет распорядиться добром, принадлежащим Хилзонде и ее дочери, лучше, чем простофиля, стакнувшийся с врагами государства. Понурившись, словно нищий, которого вытолкали взащей, вышел Симон из украшенных резьбой и позолотой, точно рака с мощами, парадных дверей торгового дома, который он сам помог основать. Таковую же неудачу потерпел он и в роли сборщика пожертвований: лишь немногие бедняки согласились поделиться последними крохами со своими братьями. Дважды взятый на подозрение церковными властями, Симон вынужден был откупиться, чтобы не угодить в тюрьму. Он до конца оставался богачом, которого ограждают от всех бед его флорины. Часть жалких сумм, собранных им таким образом, у него украл содержатель постоялого двора в Любеке, где Симона свалил апоплексический удар.

Болезнь вынуждала теперь Симона часто останавливаться в пути, и до окрестностей Мюнстера он добрался за день до начала штурма. Надежды проникнуть в осажденный город оказались тщетными. В лагере князя-епископа, которому Симон когда-то оказал услуги, его приняли недружелюбно, но притеснять не стали; он нашел приют на ферме, расположенной поблизости от крепостных рвов и серых стен, отделявших от него Хилзонду и дочь. За некрашеным деревянным столом у фермерши с ним рядом сидели судья, приглашенный для участия в готовящемся церковном судилище, офицер, служивший при епископе, и несколько перебежчиков, которым удалось выбраться из Мюнстера и которые без усталости обличали неистовства Праведных и преступные деяния Короля. Но Симон пропускал мимо ушей рассказы предателей, поносивших мучеников. На третий день после взятия Мюнстера ему наконец разрешили войти в город.

Изнемогая от зноя ветреного июньского утра, наугад отыскивая дорогу в городе, знакомом ему лишь понаслышке, он с усилием ковылял по улицам, по которым дозором проходили солдаты. Под одной из аркад Рыночной площади на пороге какого-то дома он увидел вдруг Йоханну с ребенком на коленях. Девочка подняла крик, когда незнакомый мужчина захотел ее поцеловать. Йоханна молча присела перед хозяином. Симон распахнул дверь со сбитыми замками и обошел все комнаты нижнего, а потом и верхнего этажа.

Выйдя вновь на улицу, он отправился к помосту, где совершались казни. Еще издали он увидел свисающее с него зеленое парчовое полотнище и по этому платью узнал под грудой мертвецов тело Хилзонды. Он не стал терять времени на праздное любопытство у брэнной обложки, от которой освободилась душа, и вернулся к служанке и дочери.

По улице, погоняя корову, шел пастух с ведром и скамеечкой для дойки, громко предлагая парное молоко; в доме напротив открыли таверну. Йоханна, которую Симон снабдил несколькими лиардами, употребила их на то, чтобы наполнить оловянные кубки. В очаге затрещал огонь, и вскоре в руках ребенка звякнула ложка. Домашняя жизнь постепенно затеплилась вокруг них, разлилась по опустелому дому — так приливная волна затопляет берег, усеянный обломками крушения, выброшенными морем сокровищами и живущими на отмели крабами. Служанка постелила хозяину на ложе Книппердоллинга, чтобы избавить его от необходимости подниматься наверх. Вначале она лишь угрюмо отмалчивалась на вопросы старика, медленно потягивавшего подогретое пиво, а когда наконец заговорила, из уст ее полился поток проклятий, отдававших одновременно помоями и Священным писанием. Для старухи гуситки Король навсегда остался нищим бродягой, которого кормят на кухне, а он осмеливается спать с женой хозяина. Высказав все, она принялась скоблить пол, гремящая щетками и ведрами и яростно полоская тряпки.

Симон плохо спал в эту ночь, но вопреки предположениям служанки его терзало вовсе не негодование или стыд, а кроткая мука, именуемая жалостью. В духоте этой теплой ночи Симон думал о Хилзонде, словно о погибшей дочери. Он укорял себя за то, что оставил ее в одиночестве одолевая эту трудную часть пути, потом говорил себе, что у каждого свой

удел, своя доля, это ведь и есть хлеб жизни и смерти, и потому Хилзонда должна была вкусить его на свой лад и в свой час. Она и на этот раз опередила мужа, раньше его пройдя через смертные муки. Он по-прежнему был на стороне Праведных против церкви и государства, которые их одолели. Ганс и Книппердоллинг пролили кровь — но могло ли быть иначе в этом кровавом мире? Более пятнадцати веков прошло с тех пор, как наступление Царства Божия, того, что Иоанн, Петр и Фома должны были увидеть еще в земной своей жизни, стараниями трусов, равнодушных и лукавых отодвинуто до окончания времен. Пророк осмелился провозгласить Царство небесное здесь, на земле. Он указал истинный путь, даже если и сбился потом с дороги. Ганс оставался для Симона Христом, в том смысле, в каком каждый человек может быть Христом. В его безумствах было меньше гнусности, нежели в осмотрительных грешках фарисеев и книжников. Вдвоец не сердился на Хилзонду за то, что в объятиях Ганса она искала утех, которых уже давно не мог ей доставить муж: Святые, предоставленные сами себе, забыв всякую меру, наслаждались блаженством, какое дает соитие тел, но тела их, освобожденные от бранных уз, уже умершие для всего земного, без сомнения, познали в этих объятиях более тесное соитие душ. От выпитого пива стеснение в груди старика прошло, и это усугубило его снисходительность, в которой была доля усталости и какая-то пронзительная чувственная доброта. Хилзонда по крайней мере упокоилась в мире. В отблесках свечи, горевшей у изголовья, старик видел ползающих по его кровати мух, которые в эту пору кишмя кишели в Мюнстере: быть может, они недавно ползали по белому лицу Хилзонды — старик чувствовал свое единение с этим прахом. И вдруг его потрясла, перевернула мысль о том, что Нового Христа каждое утро пытаются щипцами и каленым железом; сопричастившись выставленному на посмешище Мужу Скорбей, он ввергся в кромешный ад плоти, обреченной на столь скудные радости и бесчисленные скорби; он страдал вместе с Гансом, как Хилзонда наслаждалась с ним. Ночь напролет промаявшись под одеялом в комнате, где царило презренное довольство, он повсюду видел Короля, заключенного в клетку на площади, — так человек, у которого нога охвачена гангреной, все время невольно берedit больную конечность. В молитвах своих он уже не отделял боль, которая все сильнее сжимала его сердце и, отдаваясь в плече, спускалась до левого запястья, от клешей, терзавших тело Ганса.

Едва он окреп настолько, что смог кое-как передвигать ноги, он донелся до клетки, в которой был заперт Король. Жителям Мюнстера уже наскучило это зрелище, но дети, толпившиеся у решетки, продолжали швырять в клетку булавки, конский навоз, острые обломки костей, на которые узник волей-неволей наступал босыми ногами. Стража, как в былое время на празднествах, лениво отгоняла чернь: монсеньор фон Вальдек желал, чтобы Король дотянул до казни, которая должна была состояться не ранее середины лета.

После очередной пытки пленника вновь водворили в клетку; он весь дрожал, скорчившись в углу. Его одежда и раны смердели. Однако глаза маленького человечка сохраняли прежнюю живость, а голос — проникновенные актерские интонации.

— Я шью, крою, метаю, — напевал узник. — Я скромный портняжка... Ризы из кожи... Рубец на нешвенной одежде... Не кромсайте творения гос...

Внезапно он умолк, оглядевшись украдкой вокруг, как человек, который хочет и сохранить свою тайну, и отчасти разгласить ее. Симон Адриансен отстранил стражников и просунул руку сквозь прутья решетки.

— Благослови тебя Бог, Ганс, — сказал он, протянув руку узнику.

Симон вернулся домой обессиленный, как если бы он совершил далекое путешествие. Со времени его последнего выхода из дома в городе произошли большие перемены, которые мало-помалу возвратили Мюнстеру его привычный бесцветный облик. Собор наполнился звуками молитвенных песнопений. В двух шагах от епископского дворца прелат вновь водворил свою любовницу — красавицу Юлию Альт, но эта благообразная особа старалась не привлекать к себе излишнего внимания. Симон относился ко всему с равнодушием человека, который уже решил покинуть город и теперь все, происходящее в нем, ему безразлично. Но его бывшая безграничная доброта вдруг иссякла. Едва успев вернуться домой, он с бранью накинулся на Йоханну за то, что она не исполнила его приказа — не раздобыла перо, пузырек с чернилами и бумагу. Заполучив наконец все эти предметы, Симон сел писать письмо сестре.

Он не поддерживал с нею отношений более пятнадцати лет. Добродушная Саломея вышла замуж за младшего отпрыска могущественного банкирского дома Фуггеров. Мартин, которого родные обошли при дележе наследства, сам сколотил себе состояние и с начала века обосновался в Кёльне. Симон просил сестру и зятя взять на себя попечение о его дочери.

Саломея получила письмо в своем загородном доме в Люльсдорфе, где самолично наблюдала за тем, как служанки развешивают для просушки белье. Предоставив прислуге заботу о простынях и тонком носильном белье, она потребовала, чтобы заложили карету, даже не спросив у банкира, который мало значил в делах домашних, сложила в нее съестные припасы и теплые одеяла и через истерзанную смутой страну покатила в Мюнстер.

Симона она застала в постели — изголовьем ему служил сложенный вчетверо плащ, который она тут же заменила подушкой. С тупым усердием женщин, пытающихся свести смертельную болезнь к цепи невинных недомоганий, которые для того и существуют, чтобы врачевать их материнской заботой, гостя и служанка стали подробно обсуждать, чем кормить больного, как его поудобнее уложить, когда подавать судно. Умиравший бросил на сестру холодный взгляд, узнал ее, но, пользуясь правами больного, постарался оттянуть утомительный для него приветственный ритуал. Наконец он приподнялся в постели и обменялся с Саломеей полагающимся в таких случаях поцелуем. Потом, со свойственной ему в делах точностью, он перечислил капиталы, которые принадлежат Марте, и те суммы, что надо как можно скорее получить для нее. Стопка обернутых клеенкой векселей лежала у него под рукой. Сыновья его, из которых один обосновался в Лиссабоне, другой в Лондоне, а третий владел типографией в Амстердаме, не нуждались ни в этих остатках благ земных, ни в

его благословении. Симон все завещал дочери Хилзонды. Казалось, старик забыл о том, что обещал Великому Обновителю, и вновь подчинился законам того мира, который покидал, не собираясь более его улучшать. А может быть, отказываясь таким образом от тех правил, что были ему дороже самой жизни, он до конца вкушал горькую сладость всеобъемлющего отречения.

Растроганная видом худеньких ножек девочки, Саломея приласкала ребенка. Она не могла произнести трех фраз, чтобы не помянуть деву Марию и всех кельнских угодников — Марте предстояло воспитываться у идолопоклонников. Это было горько, но не горше, нежели безумства одних и полное отупение других, не горше старости, которая мешает мужу убогаторить жену, не горше, чем найти мертвыми тех, кого покинул живыми. Симон пытался думать о Короле, погибающем в клетке, но нынче муки Ганса уже не были для него тем, чем были накануне, их можно было переносить, как и ту боль в груди самого Симона, что исчезнет вместе с ним. Он молился, но что-то говорило ему, что Предвечный больше не ждет от него молитв. Он попытался вспомнить Хилзонду, но лицо умершей уже не возникало перед ним. Ему пришлось вернуться вспять — ко времени их мистического бракосочетания в Брюгге, когда они втайне преломили хлеб и испили вина и за глубоким вырезом корсажа Хилзонды угадывались ее продолговатые, чистые груди. Но и это видение стерлось, он увидел свою первую жену — славную женщину, с которой прогуливался в их саду во Флессингене. Саломея и Йоханна бросились к нему, испугавшись его глубокого вздоха. Похоронили Симона в церкви Святого Ламбрехта, отслужив по нему заупокойную мессу.

КЕЛЬНСКИЕ ФУГТЕРЫ

Фугтеры жили в Кельне против церкви Святого Гереона в маленьком, скромном доме, где каждая мелочь служила, однако, удобству и покою. Здесь всегда стоял аромат сдобы и вишневого наливки.

Саломея любила посидеть за столом после долгой, тщательно обдуманной трапезы, отирая губы салфеткой камчатного полотна; любила украсить золотой цепью свою пышную талию и полную розовую шею, любила платья из дорогих тканей — шерсть, которую чесали и ткали с угодливым старанием, казалось, хранит в себе нежное тепло живых овец. Высокие манишки своей скромностью, лишенной, однако, чопорности, свидетельствовали о том, что она женщина честная и благонравная. Ее крепкие пальцы перебирали порой клавиши маленького переносного органа, стоявшего в гостиной; в молодости она пела красивым гибким голосом мадригалы и церковные мотеты; ей нравились эти звуковые узоры, как нравились узоры на ее пальцах. Но все-таки главной ее утехой была забота о еде: церковный календарь, истово соблюдаемый в доме, подкреплялся календарем кулинарным, в нем отведено было свое время огурчиком и вареньям, свое — творогу и свежей селедке. Мартин был щупленький человек, не толстевший на стряпне своей жены. Этот грозный в делах бульдог становился дома безобидной комнатной собачонкой. Самая большая смелость, на какую он мог отважиться, — это рассказать

за столом игривую историю на потеху служанкам. У супругов был сын — Сигизмонд, в шестнадцать лет отправившийся вместе с Гонсалесом Писаро в Перу, где банкир поместил солидные капиталы. Отец уже не надеялся увидеть сына — в последнее время дела в Лиме шли плохо. Но в этой печали супругов утешала маленькая дочь. Саломея со смехом рассказывала о своей поздней беременности, относя ее частью на счет девятидневного молитвенного обета, частью на счет соуса с каперсами. Эта девочка и Марта были почти ровесницы; двоюродные сестры спали в одной постели, вместе играли, получали одни и те же спасительные шлепки, а позднее вместе учились пению и носили одинаковые платья.

То соперники, то соратники, толстяк Жюст Лигр и щедедушный Мартин — фламандский кабан и прирейнский хорек — более тридцати лет издали следили друг за другом, обменивались советами, поддерживали друг друга и строили друг другу каверзы. Каждый знал истинную цену другому, ту, что была неведома ни простакам, ослепленным их богатством, ни венценосцам, которым они оказывали услуги. Мартин с точностью до последнего гроша знал, сколько стоят наличными фабрики, мастерские, верфи и почти княжеские уголья, в которые Анри-Жюст поместил свое золото; бьющая в нос роскошь фламандца, как и два-три испытанных грубоватых трюка, с помощью которых старый Жюст выпутывался из затруднений, давали Мартину пищу для забавных историй. Со своей стороны, Анри-Жюст, верноподданный слуга, почтительно ссужавший Правительницу Нидерландов деньгами, потребными ей для покупки итальянских картин и для благочестивых дел, потирал руки, узнав, что выборщик Пфальцкий или герцог Баварский заложили свои драгоценности у Мартина, вымолив у него ссуду под проценты, которыми не погнушался бы и еврей-ростовщик; не без нотки насмешливой жалости восхвалял он эту крысу, которая потихоньку грызет плоть мира сего вместо того, чтобы со смаком впитаться в нее зубами, этого мозгляка, пренебрегающего богатством, которое можно лицезреть, осзять и потреблять, но чья подпись на листке бумаги стоит подписи Карла V. Оба этих дельца, столь почитавшие тех, кто стоит у власти, искренне удивились бы, скажи им кто-нибудь, что для установленного миропорядка они опаснее, нежели неверные турки и бунтовщики-крестьяне; поглощенные сиюминутным и мелочным — что вообще так свойственно всей их породе, — они и думать не думали о взрывной силе своих мешков с золотом и счетных книг. И все же, видя на пороге своей кладовой статный силуэт дворянина, под горделивой осанкой прячущего страх, что его выпроводят вон, или умильный профиль епископа, без излишних трат желающего завершить возведение башни своего собора, они иной раз не могли сдержать улыбки. Пусть другим предназначен звон колоколов и шум артиллерийской канонады, ретивые кони и обнаженные или раздетые в парчу женщины, зато им принадлежит та постыдная и дивная материя, которую во всеуслышание кланут, а тайком лелеют и боготворят, сходная со срамными частями тела в том, что о ней говорят мало, а думают постоянно, то желтое вещество, без которого госпожа Империя не ляжет в постель к принцу, а преосвященному нечем будет оплатить драгоценности своей митры, — им принадлежит золото, от наличия или отсутствия которого зависит, станет ли Крест вести войну с Полумесяцем. Эти финансисты чувствовали себя государями *всей действительности*.

Как Сигизмунд не оправдал надежд Мартина, так старший сын обманул надежды толстяка Лигра. За десять лет Анри-Максимилиан почти не подавал о себе вестей — лишь несколько раз просил денег да прислал томик французских стихов, которые, как видно, накропал в Италии в перерыве между двумя походами. От этого сына не приходилось ждать ничего, кроме неприятностей. Чтобы оградить себя от новых разочарований, делец пристально следил за воспитанием младшего отпрыска. Едва Филибер, истинное дитя своего отца, достиг возраста, когда отроку можно доверить шелкать на счетах, Лигр отправил его изучать тонкости банковского дела к непогрешимому Мартину. В двадцать лет Филибер был дороден, сквозь заученные светские манеры проглядывала природная деревенская неотесанность, в щелках полуприкрытых век блестели маленькие серые глазки. Сын главного казначея при дворе в Мехелене мог бы разыгрывать вельможу, но он предпочел наловчиться с первого взгляда обнаруживать ошибки в счетах приказчиков: с утра до вечера торча в полутемной комнатухе, где писцы корпели над бумагами, он проверял цифры, образованные римскими D, M, X и C в сочетании с L и I, поскольку арабские цифры Мартин презирал, хотя и соглашался, что они удобны там, где счет становится слишком длинным. Банкир привык к молчаливому юнцу. Когда приступ астмы или подагры напоминал ему о том, что и его постигнет удел всех смертных, он говорил жене:

— Этот толстый дуралей меня заменит.

Казалось, у Филибера на уме одни только реестры и скребки. Но ирония публицивала из-под его полуопущенных век; иной раз, проверяя дела своего патрона, он говорил себе, что настанет день, когда на смену Анри-Жюсту и Мартину придет ловкач Филибер — похитрее первого и попржимистее второго. Уж не станет брать на себя выплату долгов Португалии под жалкий процент в шестнадцать денье за ливр, да еще с уплатою в рассрочку четвертями на каждой из больших ежегодных ярмарок.

По воскресеньям он присутствовал на семейных сборищах, которые летом происходили в увитой виноградом беседке, а зимой в гостиной. Приглашенный в гости прелат сыпал латинскими цитатами; Саломея, игравшая в триктрак с соседкой, каждый удачный ход сопровождала немецкой поговоркой; Мартин, который заставлял обеих девочек учить французский язык, столь украшающий женщин, прибегал к нему и сам, когда ему случалось выражать мысли более сложные или возвышенные, нежели те, какими он довольствовался в будни. Говорили обычно о войне в Саксонии и о том, как она повлияет на учет векселей, о распространении ереси и, смотря по времени года, о сборе винограда или о карнавале. Правая рука банкира, склонный к назиданиям женец по имени Зебеде Крэ был принят на этих собраниях, потому что не терпел ни табака, ни спиртного. Зебеде не слишком рьяно опровергал слух, что Женеву ему пришлось покинуть после того, как его обвинили в содержании игорного притона и в незаконной фабрикации игральнх карт, но приписывал все нарушения закона своим распутным приятелям, которые-де теперь понесли заслуженную кару, и не скрывал, что в один прекрасный день намерен возвратиться в лоно Реформы. Прелат возражал ему, грозя пальцем с лило-

вым перстнем; кто-то шутки ради цитировал фривольные стишки Теодора де Беза — любимца и баловня безупречного Кальвина. Начинался спор о том, поддержит или не поддержит консистория привилегии коммерсантов, но в глубине души никого не удивляло, что богатые горожане легко уживаются с догмами, утверждаемыми отцами города. После ужина Мартин отводил в оконную нишу придворного советника или тайного посланца французского короля. Но галантный парижанин вскоре предлагал присоединиться к дамам.

Филибер перебирал струны лютни. Бенедикта и Марта вставали, взявшись за руки. В мадригалах, почерпнутых из "Любовной книги", говорились об овечках, о цветах и госпоже Венере, но анабаптистский и лютеранский сброд, против которого их гость-прелат недавно произнес громовую проповедь, перекладывал на эти модные мелодии свои гимны. Случалось, Бенедикта по оплошности заменяла слова любовной песенки стихом псалма. Испуганная Марта знаком призывала ее к молчанию. Девушки усаживались рядышком, и уже не слышно было других звуков, кроме ударов колокола церкви Святого Герона, созывавшего прихожан на вечернюю молитву. Толстяк Филибер, который был ловок в танцах, иногда предлагал Бенедикте поучить ее новым фигурам; она сначала отказывалась, но потом с детской радостью отдавалась танцу.

Сестры любили друг друга светлой ангельской любовью. У Саломеи не хватило жестокосердия разлучить Марту с ее кормилицей Йоханной, и старая гуситка воспитала дочь Симона в суровых правилах и в страхе божьем. Йоханне пришлось натерпеться ужасов, и это превратило ее в старуху, похожую на десятки других старух, которые кропят себя в церкви святой водой и прикладываются к изображению агнца божьего. Но в глубине ее души жила неизбывная ненависть к Сатане в парчовых сутанах, к золотому тельцу и к идолам из плоти. Эта слабосильная старуха, которую банкир не удостаивал чести отличать от других беззубых старух, мывших посуду у него на кухне, глухо бубнила "нет!" всему, что ее окружало. По ее словам выходило, что в этом доме, где довольство и благоденствие лилось через край, подобно выводку крыс в мягком пуху перины, гнездится зло. Оно таилось в сундуках Саломеи и в ларцах Мартина, в огромных бочках, громоздящихся в подвале, и в подливке на дне котла, в легкомысленных звуках воскресного концерта, в снадобьях аптекаря и в мощах святой Аполлины, излечивающих от зубной боли. Старуха не решалась открыто поносить статую богородицы, стоявшую в нише на лестнице, но потихоньку ворчала, что, мол, нечего зря жечь масло перед каменными кулками.

Саломею беспокоило, что шестнадцатилетняя Марта учит Бенедикту с презрением относиться к галантейным лавкам, торгующим дорогими безделушками из Парижа и Флоренции, и гнушаться празднованием Рождества с его музыкой, новыми туалетами и гусем, фаршированным трюфелями. Для этой славной женщины небо и земля не таили никаких сложностей. Месса доставляла случай послушать поучения, но была также и зрелищем, и поводом покрасоваться зимой в меховой накидке, а летом — в шелковом жакете. Дева Мария с младенцем, распятый Христос, Господь

на своем облаке царили в раю и на стенах церкви; опыт подсказывал, какому изображению Мадонны в каком случае лучше помолиться. В домашних затруднениях охотно прибегали к совету настоятельницы монастыря урсулинок, которая была женщиной рассудительной, что, однако, не мешало Мартину посмеиваться над монашенками. Продажа индulgенций, конечно, не самым праведным путем наполняла кошельки Его Святейшества папы, но воспользоваться кредитом богородицы и святых, чтобы покрыть дефицит грешника, было, в общем-то, коммерческой операцией, не менее естественной, чем любая другая сделка. Чудачества Марты относили на счет ее болезненного сложения; кому могла прийти в голову чудовищная мысль, что девушка, воспитанная в неге и холе, способна совратить подругу детства, склонить ее на сторону нечестивцев, которых пытаются и сжигают, и ради участия в церковных спорах отказаться от скромного молчания, столь украшающего юность?

Голосом, в котором звучали нотки безумия, Йоханна могла только расписывать своим юным хозяйкам мерзости греха; праведная, но невежественная, она не умела сослаться на Священное писание, она помнила из него лишь несколько затверженных наизусть отрывков, которые и повторяла на своем фламандском наречии; она не способна была указать им путь истинный. Но едва только лишённое чрезмерной строгости воспитание, какое девочки получали в доме Мартина, позволило развиваться их уму, Марта тайком набросилась на книги, в которых говорилось о боге.

Заблудившаяся в дебрях сектантства, напуганная отсутствием поводыря, дочь Симона опасалась, что отречется от старых заблуждений во имя новых грехов. Йоханна не скрывала от нее, ни до какого позора докатилась ее мать, ни как жалко окончил свои дни отец, которого обманули и предали. Сирота знала, что, отвернувшись от гнусностей папизма, родители ее пошли еще далее по стезе, которая ведет отнюдь не на небо. Девушка, которую зорко охраняли и которая выходила на улицу только в сопровождении служанки, дрожала при мысли, что ей придется влиться в толпу плачущих горючими слезами изгоев или ликующих оборванцев, которые тащатся из города в город, хулимые порядочными людьми, и кончают свою жизнь на соломе — в тюремной камере или на костре. Идолопоклонство было Харибдой, но бунт, нищета, опасность и унижение — Сциллой. Благочестивый Зебеде осторожно вывел ее из тупика: сочинение Жана Кальвина, которое, взяв с нее слово молчать, вручил ей осмотрительный швейцарец и которое она прочла ночью при свече с такими же предосторожностями, с какими другие девушки разбирают любовное послание, открыло дочери Симона, какой должна быть вера, не ведающая греховных заблуждений, избавленная от слабости, строгая даже в своей свободе, где самый дух протеста преображен в закон. По словам приказчика, евангельская чистота в Женеве шла об руку с бюргерской осмотрительностью и благоразумием: плясунов, которые, словно язычники, танцевали за закрытой дверью, или мальчишек-сластен, которые во время проповеди бесстыдно сосали кусочек сахара или леденец, секли до крови; инокомыслящих изгоняли, игроков и распутников карали смертью; безбожников по справедливости предавали сожжению. Вместо того чтобы уподобиться толстяку Лютеру, который, уступая зову похоти, по выходе из мо-

настыря нашел приют в объятиях монашенки, мирянин Кальвин долго выжидал, пока не заключил целомудреннейший брак с вдовой; вместо того чтобы обжираться за столом у принцев, мэтр Жан поражает гостей, которых принимает у себя на улице Шануан, своей воздержанностью: обыкновенно он по евангельскому образцу питается хлебом и рыбой; впрочем, рыба эта — форель речная или озерная — весьма недурна.

Марта стала учить уму-разуму свою подругу, которая подчинялась ей во всем, что касалось области духа, но зато всегда первенствовала там, где речь шла о душе. Бенедикта вся так и лучилась светом; веком раньше она упивалась бы в монастыре счастьем принадлежать одному лишь богу, но, поскольку времена настали другие, эта овечка обрела в евангелической вере зеленую травку, соль и чистую водицу. Ночью в своей нетопленной комнате, презрев зов перины и подушек, Марта и Бенедикта, сидя бок о бок, шепотом перечитывали Библию. Казалось, это не щеки их прижимаются одна к другой, а соприкасаются души. Прежде чем перевернуть страницу, Марта, прочитав последнюю строку, дождалась Бенедикту и, если младшей случалось задремать над Священным писанием, тихонько теребила ее волосы. Дом Мартина, сытый благополучием, спал тяжелым сном. И только в сердцах двух молчаливых девушек, подобно светильнику мудрых дев, пылал холодный пламень Реформы.

Однако Марта не решалась отречься вслух от папистских гнусностей. Она под разными предлогами уклонялась от воскресной мессы, но собственное слабодушие угнетало ее, как бремя тягчайшего греха. Зебеде, однако, одобрял такую осмотрительность: мэтр Жан сам первый предостерегал своих учеников от ненужных скандалов и осудил бы Иоханну за то, что она гасит лампаду у ног Девы Марии в нише на лестнице. Бенедикта по доброте сердечной не хотела причинять родным горе или тревогу, но Марта вечером в день поминовения отказалась молиться за упокой души отца — где бы, мол, он теперь ни находился, ее молитвы ему ни к чему. Саломея была потрясена такой черствостью, не понимая, как можно отказать бедному усопшему в ничтожном подаянии — молитве.

Мартин и его жена давно уже решили выдать свою дочь за наследника Лигра. Они мирно беседовали об этом, лежа вечером в постели под своими тщателью подоткнутыми одеялами. Саломея пересчитывала на пальцах предметы, составляющие приданое, — шкурки куницы и вышитые покрывала. А иной раз, опасаясь, как бы Бенедикта из стыдливости не воспротивилась утехам супружества, старалась припомнить рецепт возбуждающего любовный пыл балзама, которым в добропорядочных семьях перед брачной ночью умащивали новобрачную. Что до Марты, для нее надо подыскать какого-нибудь солидного купца, пользующегося уважением в Кельне, а может, даже увязшего в долгах дворянина, которому Мартин великодушно отсрочит платежи по закладным.

Филибер отпускал наследнице банкира принятые в таких случаях любезности, но сестры носили одинаковые чепцы и даже одинаковые украшения, и ему случалось принимать одну за другую — казалось, Бенедикте нравится нарочно его дурачить. Филибер громко чертыхался: за дочьерью

банкира можно было взять горы золота, а за племянницей — жалкие флорины.

Когда брачный контракт был почти уже составлен, Мартин вызвал дочь в кабинет, чтобы назначить день свадьбы. Бенедикта не выказала ни радости, ни огорчения и, положив конец материнским поцелуям и другим изъявлениям нежности, вернулась в свою комнату, где вместе с Мартой занималась шитьем. Сирота предложила бежать; быть может, какой-нибудь лодочник согласится переправить их в Базель, а там уж добрые христиане, без сомнения, помогут им в дальнейшем странствии. Бенедикта, высыпав на стол песок из песочницы, задумчиво вычерчивала на нем пальцем русло реки. Светало. Она медленно стерла ладонью нарисованный маршрут, песок снова покрыл ровным слоем полированную столешницу, а нареченная Филибера встала и сказала, вздохнув:

— Я слишком слаба.

Марта не стала ее уговаривать — только кончиком пальца указала на стих, в котором говорится, что должно оставить дом и родителей для Царствия Божия.

Предрассветный холод заставил их укрыться в постели. Прильнув друг к другу в целомудренном объятии, они утешали друг друга, проливая слезы. Но потом молодость взяла свое, и они стали насмехаться над маленькими глазками и толстыми щеками жениха. Те, кого прочили Марте, были не лучше: Бенедикта рассмешила ее, описывая плешивеющего купца, дворянчика, закованного в дни турниров в громыхающие доспехи, или сына бургомистра, дурачка, разряженного, точно манекен, вроде тех, что присылают из Франции портным, — в шляпе с пером и с полосатым гульфиком. Марте снилось в эту ночь, что Филибер, этот саддукей, этот амалекитянин с нечестивым сердцем, увозит Бенедикту в сундуке, который без руля и ветрил плывет по Рейну.

1549 год начался дождями, погубившими труды огородников; разлившийся Рейн затопил подвалы — яблоки и наполовину опорожненные бочки плавали в мутной воде. В мае сгнила в лесу еще не расцветшая земляника, а в садах — вишня. Мартин приказал раздавать бедным похлебку у входа в церковь Святого Гереона; христианское милосердие и боязнь бунта побуждали зажиточных горожан к такого рода подачкам. Но все эти напасти были только предвестниками более страшного бедствия. Навдвигавшаяся с востока чума через Богемию явилась в Германию. Она странствовала не торопясь, под звон колоколов, точно императрица. Склонившись над стаканом кутилы, задувая свечу погруженного в книги ученого, служа обедню вместе со священником, как блоха, притаившись в сорочке гулящей девки, чума вносила в жизнь людей привкус бесстыдного равенства, едкое и опасное бродило риска. Похоронный звон разливался в воздухе назойливым гулом зловещей тризны; толпившиеся у подножья колокольни зеваки неотрывно глядели, как то сгибается, то вдруг всей своей тяжестью повисает на большом колоколе фигурка звонаря. У священников дела было невпроворот, у содержателей трактиров — тоже.

Мартин засел в своем кабинете, запершись словно от воров. Послу-

шать его, выходило, что самый верный способ уберечься от болезни — это пить, соблюдая меру, добрый старый рейнвейн, избегать продажных девок и собутыльников, не высовывать носа на улицу и, главное, не спрашивать, сколько человек еще умерло. Йоханна по-прежнему ходила на рынок и выносила помои; ее изборожденное шрамами лицо и чужеземный выговор никогда не нравились соседкам, а в эти зловещие дни недоверие обернулось ненавистью, и вслед ей неслись слова об отравительницах и колдуньях. Признавалась она в том или нет, но старую служанку тайне радовал этот бич Божий, и зловещая радость была написана на ее лице; напрасно, ухаживая за тяжело заболевшей Саломеей, она взваливала на себя самую черную и опасную работу, от которой отказывались другие служанки, — хозяйка со стонами и плачем отталкивала ее, словно та подходила к ней не с кувшином, а с косой и песочными часами.

На третий день Йоханна не появилась у постели больной, и пришлось Бенедикте подавать Саломее лекарство и вкладывать в пальцы четки, которые та все время роняла. Бенедикта любила мать, вернее, ей не приходило в голову, что она может ее не любить. Но она всегда страдала от тупой и грубой набожности этой женщины, болтливой, как повитуха, и навязчивой, как кормилица, которая любит напоминать повзрослевшим детям об их лепете, горшках и пеленках. Стыдясь своей невысказанной досады, Бенедикта с удвоенным рвением исполняла роль сиделки. Марта приносила больной подносы и стопки чистого белья, но никогда не переступала порога комнаты. Найти врача им не удалось.

В ночь после смерти Саломеи Бенедикта, лежавшая в постели рядом с двоюродной сестрой, в свою очередь почувствовала первые симптомы болезни. Ее мучила жестокая жажда, которую ей удалось обмануть, вообразив библейскую лань, припавшую к источнику живой воды. Судорожный кашель раздирал ей горло, она из всех сил сдерживала его, чтобы не разбудить Марту. Сложив руки, она уже парила над кроватью с колонками, готовая вступить в светлый райский чертог — обитель Господа. Евангелические псалмы были забыты, из складок полога вновь выглянули дружеские лики святых. С небесных высот протягивала руки Дева Мария в лазоревых одеждах, и ее движение повторял прелестный толстощекий младенец с розовыми пальчиками. Бенедикта беззвучно каялась в своих грехах - вспоминала, как препиралась с Йоханной из-за порванного кружевного чепца, как отвечала улыбкой молодым людям, которые, проходя под ее окнами, поглядывали на нее, как хотела умереть, потому, что была ленива и ей не терпелось попасть на небо, и еще потому, что устала выбирать между Мартой и родными, между двумя способами обращения к Богу. Увидев при первых лучах зари изможденное лицо сестры, Марта громко закричала.

Больная Бенедикта, по обычаю, лежала в постели голая; она просила, чтобы ей приготовили свежую плетеную рубашку из тонкого полотна, и тщетно пыталась пригладить волосы. Марта ухаживала за ней, закрывшись маской из носового платка, потрясенная ужасом, какой ей внушало это пораженное болезнью тело. В комнате царила мрачная сырость, больная

збла, и Марта, несмотря на летнее время, затопила печь. Хриплым голосом, таким же, каким накануне говорила ее мать, девушка попросила четки — Марта протянула ей их кончиками пальцев. И вдруг с милым детским лукавством, заметив над пропитанным уксусом платком перепуганный взгляд подруги, больная сказала:

— Не бойся, сестричка. Теперь тебе достанется толстяк, который танцует пасье.

И она отвернулась к стене, как всегда, когда ей хотелось спать.

Банкир не выходил из своего кабинета. Филибер возвратился во Фландрию, чтобы провести август в доме отца, Марта, покинутая служанками, которые не решались подняться во второй этаж, крикнула им, чтобы они по крайней мере позвали Зебеде, он собирался вернуться на родину, но отложил поездку на несколько дней, чтобы помочь хозяину разобраться с неотложными делами. Зебеде отважился подняться на лестничную площадку и выказал Марте благопристойное участие. Городские врачи сбиваются с ног, некоторые хворают сами, а некоторые твердо решили не приближаться к постели чумных, чтобы не заразить постоянных своих пациентов, но рассказывают об одном лекаре, который недавно прибыл в Кёльн как раз для того, чтобы на месте изучить действие болезни. Зебеде всеми силами постарается убедить врача помочь Бенедикте.

Помощи пришлось ждать долго. Между тем девушке становилось все хуже. Опершись о дверной косяк, Марта издала наблюдала за ней. Все же несколько раз она подходила к кровати и дрожащей рукой подавала больной питье. Бенедикта глотала уже с трудом, жидкость из стакана проливалась на постель. Время от времени она кашляла сухим, отрывистым кашлем, похожим на лай. Каждый раз Марта невольно опускала глаза, ища у своих ног жившего в доме спаниеля, не в силах поверить, что лающие звуки издает это нежное существо. В конце концов она села на лестничной площадке, чтобы ничего не слышать. Несколько часов боролась она со страхом перед смертью, которая готовилась свершиться на ее глазах, и в особенности со страхом заразиться чумой, как заражаются грехом. Бенедикта больше не была Бенедиктой, это был враг, животное, опасный предмет, к которому нельзя прикасаться. К вечеру Марта не выдержала и вышла на улицу поджидать врача.

Он спросил, чей это дом, не Фуггеров ли, и без церемоний переступил порог. Это был высокий худой человек с провалившимися глазами, в широком красном плаще, какой носили врачи, согласившиеся пользоваться зачумленных и потому вынужденные отказаться от лечения обычных больных. Смуглое лицо придавало ему вид чужестранца. Он быстро взбежал по ступенькам. Марта, наоборот, против воли замедлила шаг. Подойдя к постели, он откинул одеяло и обнажил сотрясаемое конвульсиями худенькое тело на грязном матрасе.

— Служанки все до одной бросили меня, — сказала Марта, пытаясь обяснить, почему постель в таком неопрятном виде.

Врач неопределенно мотнул головой, поглощенный делом: он осторожно ощупывал лимфатические узлы в паху и под мышкой у больной.

В перерывах между приступами хриплого кашля девочка что-то бормотала или напевала: Марте показалось, будто она узнает обрывок какой-то любовной песенки вперемежку с грустным напевом о приходе доброго Иисуса Христа.

— Она бредит, — сказала Марта почти с досадой.

— Гм, да... Само собой... — рассеянно отозвался врач.

Снова накрыв больную одеялом, человек в красном как бы для очистки совести пощупал пульс у нее на руке и на шее. Затем, отсчитав в ложку несколько капель эликсира, ловко просунул ее между плотно сжатых губ.

— Не насилюйте себя, — наставительно сказал он, заметив, что Марта с отвращением поддерживает голову больной. — Сейчас нет необходимости ее поддерживать.

Он корпией стер с губ девушки выступившую на них красноватую су-кровицу и бросил ее в огонь. Ложка и перчатки, которыми он пользовался, отправились туда же.

— А вы не взрежете ей бубоны? — спросила Марта, опасаясь, как бы врач не упустил чего-нибудь второпях, но главное — стараясь подольше удержать его у постели больной.

— Это ни к чему, — ответил он вполголоса. — Лимфатические железы почти не увеличены, она, без сомнения, умрет еще до того, как они вспухнут. Non est medicamentum... * Жизненная сила вашей сестры на исходе. Самое большее, что мы можем, — это облегчить ее страдания.

— Я ей не родная сестра, — вдруг возразила Марта, как будто это уточнение могло оправдать ее в том, что она больше всего боится за собственную жизнь. — Меня зовут не Марта Фуггер, а Марта Адриансен. Мы двоюродные:

Он мельком взглянул на нее и снова стал сосредоточенно наблюдать, как действует лекарство. Возбуждение больной улеглось, казалось, она даже улыбается. Он отсчитал на ночь новую дозу эликсира. В присутствии этого человека, хотя он не сулил ей никаких надежд, комната, которая с рассвета стала для Марты вместилищем ужаса, превращалась в обыкновенную спальню. На лестнице врач снял маску, которую, как было положено, надел у постели чумной. Марта проводила его до самой нижней ступеньки.

— Вы сказали, вас зовут Марта Адриансен, — вдруг заметил он. — Я знавал в молодости одного человека, уже пожилого, который носил это имя. Жену его звали Хилзонда.

— Это мои родители, — нехотя пояснила Марта.

— Они еще живы?

— Нет, — отозвалась она, понизив голос. — Они были в Мюнстере, когда епископ взял город.

Он ловко открыл входную дверь, запертую, словно сундук с деньгами, на множество хитроумных замков. В роскошную и душную прихожую пахло воздухом с улицы, где уже сгушались серые дождливые сумерки.

— Возвращайтесь наверх, — сказал наконец врач с каким-то холодным благожелательством. — Конституция у вас с виду крепкая, а новых жертв

* Нет лекарства... (лат.)

чумы как будто уже нет. Советую вам прикладывать к ноздрям тряпку, смоченную в винном спирте — вашему укусу я не доверяю, — и до конца не покидать умирающую. Ваш страх естествен и разумен, но стыд и угрызения тоже могут заставить страдать.

Она отвернулась, залившись краской, порылась в кошельке, который носила на поясе, и наконец вынула золотой. Деньги, протянутые ею для оплаты, все возвращали на свои места, сразу возносили ее над этим бродягой, который скитался из города в город, зарабатывая свой хлеб у постели больных чумой. Даже не взглянув на монету, он сунул ее в карман плаща и вышел.

Оставшись одна, Марта отправилась в кухню и нашла там бутылку с винным спиртом. Кухня была пуста, служанки, само собой, бормотали в церкви молитвы. На столе Марта увидела кусок пирога и стала медленно есть, заботливо стараясь поддержать свои силы. Для верности она пожевала еще зубчик чеснока. Когда она наконец заставила себя подняться наверх, ей показалось, что Бенедикта дремлет, хотя зерна самшитовых цветков время от времени шевелились в ее руках. Вторая доза эликсира взбодрила больную. На рассвете ей снова стало хуже, и вскоре она скончалась.

В тот же день на глазах Марты ее похоронили вместе с Саломеей в монастыре урсулинок, как бы придавив надгробием лжи. Никто никогда не узнает, что Бенедикта едва не вступила на ту узенькую тропинку, на которую ее подталкивала двоюродная сестра и которая ведет ко Граду Божию. Марта чувствовала себя так, словно ее ограбили и предали. Случаи чумы были уже редки, но, идя по улицам, почти совсем пустынным, она по-прежнему из предосторожности плотнее закутывалась в свой плащ. Смерть сестренки только разожгла в ней страстное желание жить, сохранить самой и сохранить все, что у нее есть, а не превратиться в холодный сверток, который погребут под церковной плитой. Бенедикта умерла, и спасение ее души было обеспечено прочитанными над нею "Pater noster" и "Ave". За себя Марта вовсе не могла быть так же спокойна, иногда ей казалось, что она из тех, кого божественное предопределение осудило еще до их появления на свет, и сама ее добродетель сродни упрямству, которое не по душе Господу Богу. Да и какая уж там добродетель? Перед лицом бича Божьего она вела себя малодушно; кто может поручиться, что перед лицом палачей она выкажет большую верность Предвечному, нежели выказала во время чумы своей невинной подруге, хотя полагала, что любит ее всем сердцем. Тем более надо отсрочить как можно долее приговор, который не подлежит обжалованию.

Она приняла все меры, чтобы в тот же вечер нанять новых служанок, потому что разбежавшаяся прислуга не вернулась, а те, кто вернулись, получили расчет. В доме затеяли большую уборку — выскобленный пол усыпали душистыми травами и сосновой хвоей. Во время уборки и обнаружили, что Йоханна, всеми заброшенная, умерла в своей камерке — Марте некогда было ее оплакивать. Банкир покинул свое уединение, выказав приличествующую случаю скорбь, однако в твердом намерении зажить спокойной жизнью вдовца в доме, которым будет заправлять выбранная

им по своему вкусу экономка, не болтливая, не шумная, не слишком молодая, но притом отнюдь не уродливая. Никто, в том числе и сам Мартин, прежде и не подозревал, как всю жизнь тиранила его жена. Отныне он сам будет решать, когда ему вставать по утрам, когда обедать, когда пить лекарство, и никто не станет перебивать его, если он заболтается, рассказывая какой-нибудь горничной историю про девушку и соловья.

Он торопился избавиться от племянницы, которую чума превратила в единственную его наследницу, но которую он вовсе не желал постоянно видеть во главе своего стола. Он добился разрешения на брак между родственниками, и имя Бенедикты заменено было в брачном контракте именем Марты.

Узнав о планах своего дядюшки, Марта спустилась вниз, в контору, где хлопотал Зебеде. Будущность швейцарца была отныне обеспечена: война с Францией вот-вот начнется, и приказчик, обосновавшись в Женеве, станет подставным лицом, на чье имя Мартин будет заключать все сделки со своими августейшими французскими должниками. Во время чумы Зебеде удалось нажить кой-какой капитал, и теперь он мог вернуться на родину почтенным бюргером, которому охотно простят грешки молодости. При появлении Марты он был занят разговором с евреем-ростовщиком, который потихоньку скупал для Мартина векселя и движимое имущество умерших и на которого в случае огласки пал бы весь позор этой прибыльной коммерции. Увидев наследницу, Зебеде выпроводил ростовщика.

— Возьмите меня в жены, — напрямик предложила Марта швейцарцу.

— Ишь вы какая прыткая! — ответил приказчик, придумывая благовидную отговорку.

Он уже был женат: он связал себя в юности узами брака с девицей самого низкого звания, булочницей из Паки, испугавшись слез красоты и воплей ее родных, вызванных первой и последней в его жизни любовной шалостью. Родимчик уже давно унес их единственного ребенка, Зебеде высылал жене небольшое содержание и старался держать в отдалении эту простую кухарку с заплаканными глазами. Но решиться на преступление — стать двоежёнцем — не так-то легко.

— Послушайтесь моего совета, — сказал он. — Оставьте в покое ваше покорного слугу, не стоит так дорого платить за грошовое покаяние... Да и разве вам не будет жалко, если деньги Мартина утекут на восстановление церквей?

— Неужели я обречена до конца моих дней жить в земле ханаанской? — с горечью сказала сирота.

— Твердая духом женщина, войдя в жилище нечестивца, может действовать воцарению в нем истинной веры, — возразил приказчик, который не уступал ей в умении прибегать к слогу Священного писания.

Было совершенно очевидно, что он не намерен ссориться с могущественными Фуггерами. Марта понурилась — осмотрительность приказчика предоставляла ей предлог для смирения, к которому она стремилась, сама того не подозревая. Эта высоко нравственная девица страдала старческим пороком — она любила деньги за покой и почет, который они доставляют. Сам Господь отметил ее своим перстом, назначив ей жить среди великих

мира сего; она понимала, что такое приданое, как у нее, весьма укрепит ее супружескую власть; объединить два огромных состояния — таков долг, от которого благоразумной девушке не следует уклоняться.

И, однако, она не хотела лгать. При первой же встрече с фламандцем она сказала ему:

— Быть может, вы не знаете, что я приняла святую евангелическую веру.

Она ожидала упреков, но толстяк жених только покачал головой.

— Извини, у меня дел по горло, а богословские споры мне не по зубам.

Больше он никогда не заговаривал с ней о ее признании. Трудно было решить почему: потому ли, что он отчаянный плут или просто на редкость ленив умом.

БЕСЕДА В ИНСБРУКЕ

Анри-Максимилиан томился в Инсбруке, где шли беспросветные дожди.

Император обосновался здесь, чтобы следить за ходом прений Тридентского Собора, который, как и все ассамблеи, предназначенные принять решение, грозил окончиться втуне. Темною придворных разговоров было теперь одно богословие и каноническое право; охота на осклизлых горных склонах мало привлекала того, кто привык травить оленя в тучных долинах Ломбардии, и капитан, глядя, как по оконным стеклам сползают капли неутрахающего дурацкого дождя, мысленно отводил душу в итальянских ругательствах.

Он зевал двадцать четыре часа в сутки. Достоправный император Карл в глазах фламандца смахивал на печального шута, а пышность испанского этикета стесняла его, словно блестящие громоздкие доспехи, в которых приходится потеть на парадах и которым всякий бывалый солдат предпочитает буйволу кожу. Вступив на военное поприще, Анри-Максимилиан не принял в расчет скуки, которая подстерегает ратника в периоды затишья, и, ворча, ждал теперь, чтобы трухлявый мир сменился наконец войною. По счастью, за императорским столом в изобилии подавали пулярок, жаркое из косули и паштет из угря; чтобы рассеяться, Анри-Максимилиан предавался чревоугодию.

Однажды вечером, когда, сидя в таверне, он пытался втиснуть в сонет белоснежные, как новенький аглас, груди своей неаполитанской подружки Ванины Ками, ему показалось, что его задел саблей какой-то венгр; от нечего делать Анри-Максимилиан затеял с ним ссору. Подобные стычки, обычно кончавшиеся ударом шпаги, были неотъемлемой принадлежностью избранной им роли; впрочем, при его темпераменте они были ему столь же необходимы, сколь необходимы ремесленнику или деревенскому мужику кулачные бои или драки, когда в ход идут деревянные башмаки. Но на этот раз дуэль, начавшаяся руганью на макаронической латыни, приняла неожиданный оборот: венгр, оказавшийся трусом, укрывлся за

спиной дородной хозяйки; поединок кончился слезливыми воплями женщины, грохотом разбитой посуды, и раздосадованный капитан уселся на прежнее место в намерении шлифовать свои катрены и терцеты.

Но пыл рифмоплетства в нем угас. Рассеченная щека болела, хотя он и не хотел себе в этом признаться, а быстро напивавшийся кровью носовой платок, которым он обвязался, придавал ему смешной вид человека, страдающего флюсом. Перед ним стояло рагу, обильно приправленное перцем, но его воротило от еды.

— Надо бы вам позвать лекаря, — заметил трактирщик.

В ответ Анри-Максимилиан объявил, что все эскулапы ослы.

— Я знаю одного толкового лекаря, — продолжал трактирщик. — Только он с придурью, никого не хочет лечить.

— Мне везет... — заметил капитан.

Дождь лил не переставая. Трактирщик с порога глядел, как извергают воду кровельные желоба.

— А-а, — сказал он вдруг, — о волке речь, а он встречь...

Мимо лужи, чуть сутулясь, торопливо пробирался человек, зябко кутавшийся в широкий плащ с большим капюшоном.

— Зенон! — воскликнул Анри-Максимилиан.

Человек обернулся. Они взглянули друг на друга поверх выставленно-го в окне товара — горы пирожков и приготовленной для жаренья птицы. Анри-Максимилиану показалось, что на лице Зенона мелькнула тревога, похожая на страх. Но, узнав капитана, алхимик успокоился. Он шагнул через порог низенького трактира.

— Ты ранен? — спросил он.

— Как видишь, — отозвался тот. — Поскольку ты еще не вознесся на свое алхимическое небо, не пожалей для меня щепотки корпии и капли эликсира здоровья, за неимением эликсира вечной молодости.

В шутке его прозвучала горечь. Он расстроился, увидев, как постарел Зенон.

— Я больше не занимаюсь врачеванием, — сказал лекарь.

Но его недоверие рассеялось. Он вошел в трактир, придерживая рукой дверь, которая хлопала на ветру.

— Прости меня, брат Анри, — продолжал он. — Я рад видеть твою славную физиономию. Но мне приходится остерегаться докучных прилипал.

— Кто от них не страдает... — вздохнул капитан, подумав о своих кредиторах.

— Пойдем ко мне, — после минутного колебания предложил Зенон. — Там нам будет спокойнее.

Они вышли на улицу. Дождь хлестал порывами. Был один из тех дней, когда взбунтовавшиеся воздух и вода все сливают в унылый хаос. Алхимик показался капитану озабоченным и усталым. Зенон толкнул плечом дверь приземистого строения.

— Твой трактирщик безбожно дерет с меня за эту старую кузницу, где я могу хоть отчасти укрыться от любопытствующих глаз, — сказал он. — Вот кто и впрямь делает золото.

Комнату тускло освещало только красноватое пламя скупого огня, на котором в жаростойком сосуде варилось какое-то снадобье. Нако-

вальня и клещи, оставшиеся от кузнеца, прежде занимавшего эту лачугу, придавали мрачному жилью вид застенка. Приставная лесенка вела на полати, где, как видно, спал Зенон. Молодой рыжий и курносый слуга делал вид, будто чем-то занят в углу. Зенон отпустил его на целый день, приказав сначала принести чего-нибудь выпить. Потом стал искать перевязочный материал. Когда рана Анри-Максимилиана была забинтована, алхимик спросил:

— Что ты делаешь в этом городе?

— Шпионно, — попросту ответил капитан. — Сьер Эстрос дал мне секретное поручение в связи с тосканскими делами, он точит зубы на Сиену, все не может утешиться, что его изгнали из Флоренции, и надеется в один прекрасный день восстановить утраченную власть. Считается, что я здесь лечусь — ваннами, банками и горчичниками, а на деле я обхаживаю нунция, который слишком любит семейство Фарнезе, чтобы любить Медичи, и сам, хотя и без особого рвения, обхаживает императора. Не все ли равно, в какую игру играть — в эту или в картежную.

— Я знаком с нунцием, — сказал Зенон. — Я отчасти его лейб-медик, отчасти придворный алхимик. Захоти я, я мог бы расплавить все его золото на медленном огне моего горна. Заметил ли ты, что подобные ему козлоголовые создания смахивают не только на козла, но и на химеру древних? Монсеньор кропает шуточные вирши и нежно лелеет своих пажей. Будь я к этому способен, я много выиграл бы, сделавшись его сводником.

— А чем занимаюсь я, как не сводничеством? — откликнулся капитан. — Да и все здесь этим занимаются — один поставляет женщин или иной живой товар, другой — правосудие, третий — бога. Тот, кто продает плоть, а не дым, еще честнее прочих. Но я не могу относиться всерьез к товару, которым приторговываю, — к проданным и перепроданным городам, к подгнившей верноподданности, к заплесневелым надеждам. Там, где любитель интриг нажил бы состояние, мне едва удастся возместить издержки на лошадей и постой. Нам с тобой суждено умереть в бедности.

— Амен, — заключил Зенон. — Но садись же.

Анри-Максимилиан остался стоять у огня, от его одежды шел пар. Зенон, присев на наковальню и зажав руки в коленях, смотрел на горящие уголья.

— По-прежнему дружишь с огнем, Зенон, — сказал Анри-Максимилиан.

Рыжий слуга принес вина и вышел, насвистывая. Капитан, наливая себе, продолжал:

— Помнишь опасения каноника церкви Святого Доната? Твои "Предсказания будущего" подтвердили бы худшие его страхи, твою книжечку о природе крови, хоть я и не читал ее, он должен был бы почесть достойной скорее цирюльника, нежели философа, а уж над "Трактатом о мире физическом" наверняка проливал бы слезы. Если бы, по несчастью, судьба привела тебя в Брюгге, он стал бы изгонять из тебя бесов.

— Он сделал бы кое-что похуже, — усмехнулся Зенон. — А ведь я старался окружить свою мысль непременно оговорками. Тут употребил прописную букву, там — самое имя, пошел даже на то, чтобы оснастить свой слог тяжеловесным узором атрибутов и субстанций. Пустословие подоб-

но одежде — она защищает того, кто ее носит, но не мешает оставаться под ней совершенно голым.

— Мешает, — возразил офицер, выслужившийся из рядовых. — Когда в папских садах я люблюсь статуями Аполлона, меня зависть берет, что он может выставлять себя напоказ в том, в чем его родила мать Латона. Счастлив лишь тот, кто свободен, — мысли свои скрывать еще тяжелее, чем прикрывать свою наготу.

— Военная хитрость, капитан, — молвил Зенон, — необходимая нам, как вам — подкопы и траншеи. Доходишь до того, что начинаешь кичиться каким-нибудь намеком, который, как минус, поставленный перед числом, меняет смысл сказанного. Изошряешься вовсю, чтобы вклинить то тут, то там смелое слово, подобное украдкой брошенному взгляду, приподнятому фиговому листку или приспущенной маске, которую тотчас как ни в чем не бывало водворяешь на место. И вот среди читателей наших происходит отбор: глупцы нам верят, другие глупцы, полагая, что мы еще глупее их, отворачиваются от нас, и лишь оставшиеся пробираются по лабиринту мысли, научаясь перепрыгивать или обходить препятствие, имя которому — ложь. Меня удивило бы, если б и в самых что ни на есть святейших текстах не обнаружили бы сходные уловки. Всякая книга, прочитанная таким манером, становится чародейной книгой.

— Ты переоцениваешь людское лицемерие, — покачал головой капитан. — Мысль большей части двуногих так скудна, что ее не хватило бы на двоемыслие. — И, наполнив стакан, добавил в раздумье: — Впрочем, как это ни странно, победоносный император Карл полагает, будто в настоящую минуту желает мира, а его христианнейшее Величество то же самое воображает о себе.

— Что такое заблуждение и суррогат его, ложь, как не своего рода *Carut Mortuum* *, грубая материя, без которой истина, слишком летучая, не могла бы быть растерта в ступке человеческого мозга. Унылые резонеры превозносят до небес тех, кто думает, как они, и клеймят тех, кто им возражает, но стоит нашей мысли оказаться и впрямь иного свойства, она от них ускользает, они уже не замечают ее, как озлобленное животное не замечает более на полу своей клетки непривычный предмет, который оно не в силах ни растерзать, ни сожрать. Таким способом можно сделаться невидимкой.

— *Aegri somnia* **, — отозвался капитан. — Я не понял твоего рассуждения.

— Да разве ж я стану вести себя, как этот осел Сервет, — запальчиво сказал Зенон, — чтобы меня прилюдно сожгли на медленном огне ради какого-то толкования догмы, когда я занят диастолой и систолой сердца и эта моя работа куда важнее для меня. Если я говорю, что троица едина и мир был спасен в Палестине, разве не могу я наполнить эти слова тайным смыслом, скрыв его за смыслом поверхностным, и таким образом избавить себя даже от досадного чувства, что приходится лгать? Кардиналы (а у меня есть среди них знакомцы) выкручиваются таким способом; так

* Мертвая голова (*лат.*).

***Букв.*: бред больного (*лат.*).

же поступали и отцы церкви, которые нынче, говорят, увенчаны нимбом в раю. Я, как и все они, пишу три буквы священного имени, но что я подразумеваю под ним? Вселенную или ее творца? То, что есть, или то, чего нет, или то, что существует, не существуя, подобно зиянию и мраку ночи? Между "да" и "нет", между "за" и "против" тянутся огромные потаенные пространства, где даже тот, кому грозят злейшие опасности, может жить в мире.

— Твои цензоры вовсе не такие болваны, — заметил Анри-Максимилиан. — Господа из Базеля и святейшая инквизиция в Риме понимают тебя довольно, чтобы вынести тебе приговор. В их глазах ты самый обыкновенный безбожник.

— Во всех, кто не похож на них, им чудится враг, — с горечью отозвался Зенон.

И, налив себе кислого немецкого вина, в свою очередь с жадностью осушил кружку.

— Благодарение богу, — сказал капитан, — ханжи всякого разбора не станут совать нос в мои любовные стихи. Опасности, которым подвергал себя я, были из самых простых: на войне мне грозила пуля, в Италии — лихорадка, у девок — французская болезнь, в трактирах — вши, и повсюду — кредиторы. А со всякой сволочью в ученых колпаках или в сутанах, с тонзурой или без оной я не связываюсь по тем же причинам, по каким не охочусь на дикобраза. Я не стал даже оспаривать болвана Робортелло из Удине, который утверждает, будто выискал ошибки в моем переводе "Анакреона", хотя сам ничего не смыслит ни в греческом, да и ни в каком ином языке. Я, как и все, уважаю науку, но на кой черт мне знать, вверх или вниз течет кровь по полой вене? С меня довольно и того, что, когда я помру, она остынет. И если Земля вертится...

— Она вертится, — подтвердил Зенон.

— ...если она вертится, мне на это наплевать сегодня, когда я по ней хожу, и уж тем более — когда меня в нее зароят. Что до веры в бога, я уверю в то, что решит Собор, если только он вообще что-нибудь решит, точно так же, как вечером буду есть то, что состряпает трактирщик. Я принимаю бога и времена такими, какими они мне достались, хотя предпочел бы жить в эпоху, когда поклонялись Венере. И даже не хотел бы лишиться себя права на смертном одре, если мне подскажет сердце, обратиться к нашему спасителю Христу.

— Ты похож на человека, который готов поверить, что где-то за стеной есть стол и две скамьи, потому лишь, что ему все едино.

— Брат Зенон, — сказал капитан, — я вижу, что ты худ, изнурен и одет в обноски, которыми погнушался бы даже мой слуга. Стоило ли усердствовать двадцать лет, чтобы прийти к сомнению, которое и само собой произрастает в каждой здравомыслящей голове?

— Бесспорно, стоило, — ответил Зенон. — Твои сомнения, как и твоя вера, — это пузырьки воздуха на поверхности, но истина, которая оседает в нас, подобно крупичам соли в реторте во время рискованной дистилляции, не поддается объяснению, не укладывается в форму, она то ли слишком горяча, то ли слишком холодна для человеческих уст, слишком неумовима для писаного слова и драгоценнее его.

— Драгоценнее священного слова?

— Да, — ответил Зенон.

Он невольно понизил голос — в эту минуту в дверь постучал нищенствующий монах, который удалился, получив несколько грошей от капитанских щедрот. Анри-Максимилиан подсел поближе к огню. Он тоже перешел на шепот.

— Расскажи мне лучше о своих странствиях, — попросил он.

— К чему? — удивился философ. — Я не стану рассказывать тебе о тайнах Востока — никаких тайн нет, а ты не из тех, кого может позабавить описание гарема турецкого пашы. Я быстро понял, что разница в климате, о которой так любят говорить, мало значит в сравнении с тем непреложным фактом, что у человека, где бы он ни жил, есть две ноги и две руки, половые органы, живот, рот и два глаза. Мне приписывают путешествия, которых я не совершал, иные я приписал себе сам, пустившись на эту уловку, чтобы без помех жить там, где меня не ищут. Когда думали, что я нахожусь в Азии, я уже преспокойно ставил опыты в Пон-Сент-Эспри в Лангедоке. Однако все по порядку: вскоре после моего приезда в Леон моего приора изгнали из аббатства его же собственные монахи, обвинив в приверженности к иудаизму. Голова старика и в самом деле была напичкана странными формулами, почерпнутыми из "Зогара", насчет соответствий между металлами и небесными светилами. В Лёвене я научился презирать аллегории, увлекшись опытами, которые свидетельствуют о действительности, благодаря чему впоследствии можно исходить из действительности опытов, как если бы это были факты. Но в каждом безумце есть крупица мудрости. Колдуя над своими ретортами, мой приор открыл несколько целебных средств, в тайну которых посвятил и меня. Университет в Монпелье почти ничего не прибавил к моим знаниям; тамошние ученые мужи возвели Галена в ранг божества, в жертву которому приносят природу; когда я задумал оспорить некоторые его утверждения — цирюльник Ян Мейерс знал уже, что они опираются на анатомию обезьяны, а не человека, — мои ученые собратья предпочли скорее поверить, будто наш позвоночник изменился со времени Рождества Христова, чем обвинить своего оракула в поверхностных выводах или в ошибке.

Но были там и смелые умы... Нам не хватало трупов — от предрассудков толпы деваться некуда. У некоего доктора Ронделе, кругленького и смешного, как само его имя *, умер от скарлатины двадцатидвухлетний сын-студент, с которым я вместе собирал травы в Гро-дю-Руа. На другой день в комнате, насквозь пропахшей уксусом, где мы препарировали труп, который не был уже ни сыном, ни другом, а прекрасным экземпляром машины, которая зовется человеком, я в первый раз почувствовал, что механика, с одной стороны, и Великое Деяние, с другой, просто переносят на изучение мира те истины, какие преподает нам наше тело, повторяющее собой устройство всего сущего. Целой жизни не хватит, чтобы поверить один другим два мира — тот, в котором мы существуем, и тот, какой мы собою являем. Легкие — это опахало, раздувающее огонь, фалос — метательное орудие, кровь, струящаяся в излучинах тела, подобна

* Rondelet — кругленький, пухленький (*франц.*).

воде в оросительных канавках в каком-нибудь восточном саду, сердце — смотря по тому, какой теории придерживаясь, — либо насос, либо костер, а мозг — перегонный куб, в котором душа очищается от примесей...

— Мы опять впадаем в аллегорию, — перебил капитан. — Если ты хочешь сказать, что тело наше — самая очевидная из всех очевидностей, так и скажи.

— Не совсем так, — ответил Зенон. — Это тело, наше царство, кажется мне порой сотканным из материи столь же зыбкой и эфемерной, как тень. Я удивился бы не больше, встретив вдруг мою покойную мать, чем когда увидел в окне трактира твое постаревшее лицо, чья субстанция — хотя твои губы еще помнят мое имя — за эти двадцать лет не однажды преобразилась, краски поблекли, и очертания под действием времени стали другими. Сколько выросло пшеницы, сколько родилось и погибло животных, чтобы вскормить теперешнего Анри, не похожего на того, кого я звал, когда мне самому было двадцать. Но вернемся к моим странствиям... Жить в Пон-Сент-Эспри, где обыватели из-за закрытых ставен следили за каждым шагом и движением пришлого врача, было далеко не сладко, к тому же Преосвященство, на покровительство которого я рассчитывал, отбыл из Авиньона в Рим... Счастливый случай явился ко мне в лице веротступника, который в Алжире пополнял конюшни французского короля; сей честный пират сломал ногу в двух шагах от моего жилья и в благодарность за врачевание предложил мне перевезти меня на своем суденышке. Мои занятия баллистикой снискали мне в Берберии дружбу султана, а также предоставили случай изучить свойства горного масла и его соединения с негашеной известью для создания снарядов, которые могли бы метать корабли. *Ubi cumque idem* *: венценосам нужны снаряды, чтобы укрепить или сохранить власть, богачам — золото, и на какое-то время они оплачивают наши опыты; а трусы и честолюбцы хотят знать будущее. Я, как мог, извлекал из всего этого пользу. Хорошо, когда на моем пути попадался какой-нибудь дряхлый дож или большой султан: деньги текли рекой, к моим услугам оказывался дом в Генуе возле церкви Святого Лаврентия или в Стамбуле в христианском квартале Пера. Мне предоставляли орудия моего ремесла, и среди них самое редкое и драгоценное — разрешение думать и действовать по своему усмотрению. А потом начинались происки завистников, глупцы нашептывали, будто я ругаюсь над их Кораном или Евангелием, потом составлялся какой-нибудь придворный заговор, в который меня пытались замешать, и наступал день, когда благоразумнее всего было употребить последний цехин на покупку лошади или наем лодки. Двадцать лет потратил я на эту мелкую возню, которая в книгах зовется приключениями. Излишняя моя смелость отправилась на тот свет некоторых моих пациентов, но она же спасла других. Однако выздоравливали они или погибали — для меня всего важнее было убедиться: правилен ли мой метод и подтвердится ли мой прогноз. Наблюдение и знание еще не достаточны, брат Анри, если они не преобразуются в умение — люди правы, считая нас приверженцами черной или белой магии. Продлить то, что брэнно, ускорить или отдалить назначенный час, овладеть тайнами

* Везде одно и то же (*лат.*).

смерти, чтобы с нею бороться, воспользоваться рецептами природы, чтобы помочь ей или расстроить ее замыслы, приобрести власть над миром и над человеком, переделав их, быть может, их творить...

— Бывают дни, когда, перечитывая своего любимого Плуларха, я начинаю думать, что уже поздно: и человек, и мир — все в прошлом, — объявил капитан.

— Иллюзия, — возразил Зенон. — Твой золотой век — все равно что Дамаск или Константинополь: они хороши издали, надо пройтись по их улочкам, чтобы увидеть околевших собак и прокаженных. У твоего Плуларха я вычитал, что Гефестион объедался почище любого моего пациента, а Александр пил, как обыкновенный немецкий солдафон. Со времен Адама мало было двуногих, достойных имени человека.

— Ты лекарь, — заметил капитан.

— Да, — согласился Зенон. — В числе прочего и лекарь.

— Ты — лекарь, — упрямо повторил фламандец. — А шивать людей, думается мне, надоедает так же, как их вспарывать. Не опостылело тебе вскакивать среди ночи, чтобы выхаживать эту жалкую породу?

— Sutor, ne ultra... * — возразил Зенон. — Я считал пульс, рассматривал язык, исследовал мочу, в душу я не заглядывал... Не мое дело решать, заслуживает ли этот скряга, которого схватила колика, чтобы ему продлили жизнь на десять лет, и не лучше ли, если этот тиран умрет. Даже самый гнусный и самый глупый из пациентов может тебя чему-то научить, и сукровица его смердит не более, нежели у человека умного или праведника. Ночь, проведенная у постели каждого больного, вновь ставила передо мной вопросы, на которые я не знаю ответа: что такое боль и зачем она, благоволит к нам природа или она к нам безразлична и остается ли жить душа после разрушения тела. Рассуждения методом аналогии, которые, как я полагал прежде, объясняют тайны мироздания, оказалось, в свою очередь кишат возможностями новых ошибок, ибо пытаются приписать загадочной природе тот предустановленный замысел, какой другие приписывают богу. Не скажу, что я сомневался, сомневаться — совсем иное дело; просто я доходил в своем исследовании до такой точки, когда все понятия начинали прогибаться у меня в руках, как пружина под сильным напором; стоило мне начать взбираться по ступеням какой-нибудь гипотезы, и я чувствовал, как под моей тяжестью подламывается неизбежное "Если...". Я полагал когда-то, что Парацельс с его системой врачевания открывает перед нашим искусством триумфальный путь, но на практике она оборачивалась деревенским суеверием. Изучение гороскопов уже не казалось мне столь полезным для выбора лекарств и предсказания смертельного исхода; пусть мы сотворены из той же материи, что и звезды, из этого вовсе не следует, что они определяют наши судьбы и могут на нас влиять. Чем больше я об этом размышлял, тем более наши идеи, наши идолы, те наши обычаи, которые зовутся священными, и видения, именуемые неизреченными, казались мне таким же порождением человеческой машины, как воздух, выходящий из ноздрей, или ветры из нижней части тела, как пот и соленая влага слез, белая кровь любви, испражнения и

* Я всего лишь сапожник... (лат.)

моча. Меня раздражало, что человек расходует свою чистую субстанцию на созидание почти всегда злосчастных построений, твердит о целомудрии, не разобрав на части механизм пола, спорит о свободе воли, вместо того чтобы задуматься над сотнями непонятных причин, которые заставят тебя заморгать, если я внезапно поднесу к твоим глазам палку, или рассуждает об аде, не попытавшись вначале лучше понять, что такое смерть.

— Я знаю, что такое смерть, — зевнув, сказал капитан. — Между выстрелом аркебузира, который уложил меня в Черезоле, и стаканом вина, который меня воскресил, — черный провал. Не будь у сержанта фляги, я бы и по сей день пребывал в этой дыре.

— Готов с тобой согласиться, — сказал алхимик, — хотя, что касается бессмертия, в пользу этого понятия, как и против него, есть множество аргументов. Мертвые сначала лишаются движения, потом тепла, потом, быстрее или медленнее, в зависимости от того, какие вещества на них воздействуют, утрачивают форму. Верно ли, что со смертью исчезает также движение и форма души, а субстанция ее — нет?.. Я жил в Базеле во время чумной эпидемии...

Анри-Максимилиан вставил, что его чума застала в Риме, в доме одной куртизанки...

— Я жил в Базеле, — продолжал Зенон. — А я должен тебе сказать, что в Пере я ненадолго разминулся с монсеньором Лоренцо Медичи, убийцей, тем самым, кому в народе дали презрительную кличку Лорензаччо. Этот принц, оказавшийся на мели, тоже, как и ты, брат Анри, занимался сводничеством — принял от Франции какое-то секретное поручение в Оттоманскую Порту. Мне хотелось познакомиться с этим смельчаком. Четыре года спустя, когда я проездом оказался в Лионе, чтобы отдать рукопись "Трактата о мире физическом" несчастному Доле, моему издателю, я увидел Лоренцо Медичи в задней комнатке трактира, где он с меланхолическим видом сидел за столом. По воле случая через несколько дней его ранил наемный убийца-флорентиец — я сделал все, чтобы выводить его; мы могли всласть наговориться о безумствах, совершаемых и турками, и нами. За этим человеком охотились, но он, несмотря ни на что, надеялся вернуться в свою родную Италию. На прощанье, в обмен на яд, которым он рассчитывал воспользоваться, чтобы, если его схватят враги, умереть смертью, достойной всей его жизни, он оставил мне своего пажу, мальчика родом с Кавказа, подаренного ему самим султаном. Но монсеньору Лоренцо не пришлось отведать моих пилюль: тот же наемник, что промахнулся во Франции, расправился с ним на одной из темных улочек Венеции. А его прислужник остался у меня... Мой слуга, Алеи, как и мои мази и опиаты, был родом с Востока; на грязных дорогах и в продымленных лачугах Германии он ни разу не оскорбил меня сожалением о садах великого паши и играющих на солнце фонтанах... Мне особенно нравилось молчание, на которое нас обрекало отсутствие общего языка. По-арабски я только читаю, а турецкий вообще знаю лишь настолько, чтобы спросить дорогу. Алеи говорил по-турецки и немного по-итальянски, а несколько слов на родном языке произносил только во сне... Рядом со мной оказался вдруг то ли дух воды, то ли домашний демон, в которых суеверие видит наших помощников...

И вот одним зловещим вечером в Базеле, в тот чумной год, вернувшись домой, я обнаружил, что мой слуга болен. Ты ценишь красоту, брат Анри?

— Конечно, — ответил фламандец. — Но только женскую. Анакреон хороший поэт, и Сократ человек великий, но я не понимаю, как можно отказаться от округлостей нежной, розовой плоти, от тела, столь сладостно непохожего на наше, в которое проникаешь подобно победителю, вступающему в ликующий город, разубранный в его честь. И даже если радость эта притворна и нарядное убранство нас обманывает — не все ли равно? При посредничестве женщин я наслаждаюсь помадами, завитыми локонами, духами, употребление которых позорит мужчину. К чему искать тайных закоулков, когда передо мной залитая солнцем дорога, по которой я могу шествовать с честью?

— А я, — возразил Зенон, — превыше всего ценю близость, которая не ищет лицемерных оправданий в необходимости воспроизводить себе подобных... Той весной я жил на постоялом дворе на берегу Рейна — в комнате, наполненной гулом разлившейся реки: чтобы тебя услышали, надо было кричать, шум воды заглушал даже звуки виолы, на которой по моему приказанию, когда меня одолевала усталость, играл мой слуга — я всегда почитал музыку лекарством и вместе праздником. Но в этот вечер Алеи не ждал меня, как обычно, с фонарем в руке у конюшни, куда я ставил своего мула. Брат Анри, я думаю, тебе случалось сожалеть об участии статуй, изувеченных лопатой и изъеденных землей, и проклинать время, которое не шадит красоту. Однако я полагаю, что мрамор, утомленный тем, что принужден был так долго сохранять образ человеческий, рад снова сделаться простым камнем... Но всякое одушевленное существо страшится возврата к бесформенной субстанции. Уже на пороге моей комнаты мне все объяснило зловоние, бесплодные усилия рта, который жаждал воды, но изрыгал ее обратно, потому что больной уже не мог глотать, и кровь, извергнутая зараженными легкими. Но еще оставалось то, что зовут душой, оставались глаза доверчивой собаки, которая знает: хозяин не оставит ее в беде... Само собой, не впервые мои зелья оказывались бесплодны, но до сих пор каждая смерть была лишь пешкой, потерянной мной в моей игре. Более того, поскольку мы постоянно ведем борьбу против Ее черного величества, у нее установилось с нами, лекарями, нечто вроде тайного сговора — полководец в конечном счете узнает тактику врага и не может не восхищаться ею. Всегда наступает минута, когда наши большие замечают, что мы слишком хорошо чувствуем Ее приход и потому смиряемся с неизбежностью; они еще молят, еще борются, но в наших глазах читают приговор, которого не хотят признать. И только когда кто-то тебе дорог, начинаешь сознавать всю чудовищность смерти... Мужество, или, во всяком случае, хладнокровие, которое так необходимо врачу, покинуло меня... Ремесло мое показалось мне бессмысленным, а это так же глупо, как считать его всемогущим. Не то чтобы я страдал — наоборот, я понимал, что не способен вообразить себе муки, в которых корчилося передо мной тело моего слуги: это происходило как бы в каком-то ином мире. Я звал на помощь, но трактирщик поостерегся явиться на зов. Я поднял труп и положил его на пол в ожидании могильщиков, за кото-

рыми намеревался пойти на заре; потом в печи, которая была в комнате, сжег пучок за пучком, соломенный тюфяк. Мир внутренний и внешний, микрокосмос и макрокосмос остались теми же, какими были во времена, когда я препарировал трупы в Монпелье, но колеса — одно внутри другого — крутились на холостом ходу: хрупкость их устройства более не приводила меня в восторг... Стыдно признаться, что смерть слуги могла произвести во мне такой мрачный поворот — что делать, брат Анри, человек устает, а я уже немолод, мне перевалило за сорок. Я устал заниматься своим ремеслом — вечно чинить чьи-то тела, мне стало тошно при мысли о том, что утром надо снова идти шупать пульс господина Советника, успокаивать тревоги госпожи Судейши и разглядывать против света мочу господина Пастора. В ту ночь я дал себе зарок никого больше не лечить.

— Хозяин "Золотого ягненка" сообщил мне об этой твоей причуде, — серьезно сказал капитан. — Но ведь ты лечишь от подагры нунция, а теперь и на моей щеке — корпия и пластырь, наложенные твоей рукой.

— Прошло полгода, — возразил Зенон, концом головешки рисуя в золе какие-то фигуры. — Вновь пробуждается любопытство, желание применить к делу данный тебе талант и помочь, сколько это в твоих силах, сотоварищам по здешнему удивительному странствию. Воспоминание о той черной ночи осталось в прошлом. То, о чем не говоришь ни с кем, забывается.

Анри-Максимилиан встал и подошел к окну.

— А дождь все льет, — заметил он.

Дождь все лил. Капитан забарабанил по стеклу. И вдруг, снова оборотясь к хозяину комнаты, сказал:

— А знаешь, мой кёльнский родственник Сигизмунд Фуггер был смертельно ранен в сражении на земле инков. Говорят, у этого человека было сто пленниц — сто медно-красных тел с украшениями из коралла и с волосами, умашенными всевозможными пряностями. Понимая, что умирает, Сигизмунд приказал остричь волосы невольницам и застелить ими его ложе, дабы испустить последний вздох на этом руне, от которого пахло корицей, потом и женщиной.

— Хотелось бы мне быть уверенным, что в этих прекрасных прядях не было паразитов, — ядовито заметил философ. И, предупредив возмущенный жест капитана, добавил: — Знаю, что ты подумал. Представь, и мне случалось в минуту нежности выбирать насекомых из черных кудрей.

Фламандец продолжал расхаживать из угла в угол, казалось, не столько даже, чтобы размять ноги, сколько для того, чтобы собраться с мыслями.

— Твое настроение заразительно, — заметил он наконец, возвратившись к очагу. — То, что ты сейчас рассказал, и меня заставляет пересмотреть свою жизнь. Я не жалею, но все вышло не так, как я когда-то думал. Знаю, у меня нет дарований великого полководца, но я видел вблизи тех, кто слывет великими, — вот уж я подивился. Добрую треть жизни я по собственной воле провел в Италии — места там красивее, чем во Фландрии, но кормят там хуже. Стихи мои не достойны избежать глена, ожидающего бумагу, на которой их печатает на мой счет мой издатель, если у меня случайно заведется довольно денег, чтобы не хуже всякого другого

оплатить стоимость фронтисписа и шмуцтитула. Лавры Иппокрены не для меня — я не переживу века в переплете из телячьей кожи. Но, когда я вижу, как мало читателей у Гомеровой "Илиады", я перестаю сокрушаться о том, что меня будут мало читать. Дамы любили меня, но редко это бывали те женщины, ради любви которых мне хотелось пожертвовать жизнью... (Но я гляжу на себя — экая наглость воображать, будто красавицы, о которых я вздыхаю, могут мною прельститься...) Ванина из Неаполя, с которой я только что не повенчан, — бабенка славная, но пахнет от нее отнюдь не амброй, а рыжие локоны далеко не все подарены ей природой. Я ненадолго приехал на родину — моя мать, царство ей небесное, умерла; добрая женщина хорошо к тебе относилась. Папаша мой, я полагаю, в аду, вместе со всем своим золотом. Брат встретил меня хорошо, но уже через неделю я понял, что пора мне убираться подобру-поздорову. Иногда мне жаль, что у меня нет законных детей, но от таких сыновей, как мои племянники, — оборони господь. Как всякий человек, я не лишен честолюбия, но, бывало, откажет очередной властитель в должности или в пенсии — и до чего же хорошо выйти из приемной, не имея нужды благодарить монсеньора, и брести себе по улицам куда глаза глядят, сунув руки в пустые карманы... Я немало наслаждался на своем веку — хвала создателю, каждый год созревает новый выводок девушек и каждую осень снимают новый урожай винограда... Иногда я говорю себе, что мог бы быть счастлив, родись я псом, который нежится на солнышке, любит подраться и не прочь погрызть мозговую косточку. И, однако, расставшись с очередной любовницей, я почти всегда вздыхаю с облегчением, как школяр, разделавшийся со школой, и, наверное, точно так же вздохну, когда придет время умирать. Ты помянул о статуях. Немного найдется наслаждений, которые могут сравниться с возможностью любоваться мраморной Венерой — той, что хранится в галерее моего доброго друга кардинала Карафы в Неаполе: ее белоснежные формы так прекрасны, что сердце очищается от всех греховных желаний и хочется плакать. Но стоит мне поглядеть на нее минут десять, ни глаза мои, ни душа моя больше ей не радуются. Брат, все земное оставляет какой-то осадок или привкус, а то, чей удел — совершенство, нагоняет смертную тоску. Я не философ, но иной раз думаю, что Платон прав, да и каноник Кампанус тоже. Должно где-то существовать нечто более совершенное, чем мы сами, некое Благо, присутствие которого нас смущает, но отсутствие которого непереносимо для нас.

— *Sempiterna Temptatio* *, — произнес Зенон. — Я часто говорю себе, что ничто в мире, кроме извечного порядка или странной склонности материи создавать нечто лучшее, чем она сама, не может объяснить, почему я каждый день пытаюсь узнать более, нежели знал накануне.

Во влажном сумраке, заполнившем кузницу, он сидел, по-прежнему опустив голову. Красноватый отблеск очага ложился на его руки в пятнах кислоты, отмеченные кое-где бледными шрамами от ожогов, и видно было, что он пристально разглядывает это странное продолжение души — инструменты из плоти, которые служат человеку для того, чтобы осязать мир.

* Вечный соблазн (*лат.*).

— Хвала мне! — наконец воскликнул он с какой-то даже восторженностью, в которой Анри-Максимилиан узнал прежнего Зенона, вместе с Коласом Гелом упивавшегося механическими фантазиями. — Никогда не устану я восхищаться тем, что эта поддерживаемая позвоночником плоть, что этот ствол, соединенный с головой перемычкой шеи и окруженный симметрично расположенными конечностями, содержит в себе и может вырабатывать дух, который использует глаза, чтобы видеть, и движения, чтобы осязать... Я знаю его пределы, знаю, что ему не хватит времени продвинуться дальше, а если случайно ему и будет отпущено время, то не хватит сил. Но он есть, в данный миг он Тот, кто есть. Я знаю, что он ошибается, бредет на ощупь, часто превратно истолковывая уроки, которые преподносит ему мир, но знаю также, что он обладает тем, что позволяет ему познать, а иногда и исправить собственные заблуждения. Я объездил изрядную часть шара, на поверхности которого мы живем; я определял точку плавления металлов и изучал зарождение растений, я наблюдал звезды и исследовал внутренности человека. Я способен извлечь понятие веса из головешки, которую держу в руках, и понятие тепла из этих вот языков пламени. Я знаю, что не знаю того, чего не знаю; я завидую тем, кто будет знать больше, но знаю и то, что, как мне, им придется измерять, взвешивать, делать выводы и сомневаться в умозаключениях, принимать в расчет, что во всякой ошибке есть доля истины, и помнить, что всякая истина содержит неизбежную примесь ошибки. Я никогда не держался за какую-нибудь идею из страха, что без нее окажусь на распутье. Никогда не старался сдобрить факт соусом лжи, чтобы мне самому было легче его переварить. Никогда не извращал взглядов противника, чтобы легче было победить в споре, например когда мы спорили о природе сурьмы с Бомбастом, который отнюдь не поблагодарил меня за это. Вернее, нет, со мной такое случалось, я ловил себя сам на месте преступления и каждый раз выговаривал себе, словно нечистому на руку лакею, возвращая самому себе доверие только под честное слово — исправиться. Были у меня и грезы, но я так и считала их грезами, не принимая за что-то другое. Я остерегался творить кумир из истины, предпочитая оставить ей более скромное имя — точность. Мои победы и опасности, мне грозящие, не там, где их принято видеть: слава не только в том, чтобы прославиться, и гореть можно не только на острове. Я почти научился не доверять словам. И умру чуть меньшим глупцом, чем появился на свет.

— Вот и отлично, — зевая, сказал вояка. — Но молва приписывает тебе успех более осязаемый. Ты делаешь золото.

— Это не так, — сказал алхимик. — Но другие научатся его делать. Это вопрос времени и инструментов, потребных для завершения опыта. Что такое несколько веков?

— Изрядный срок, если приходится платить хозяину "Золотого ягненка", — пошутил капитан.

— Делать золото, быть может, станет в один прекрасный день таким же нехитрым ремеслом, как выдувать стекло, — продолжал Зенон. — Поскольку мы пытаемся прогрызть внешнюю оболочку вещей, мы в конце концов доберемся до тайных причин сродства и несовместности... Подумаешь, великое дело — механический вал или катушка, которая наматыва-

ется сама собой, но цепь этих крохотных находок могла бы увести нас далее, нежели плавание увели Магеллана и Америго Веспуччи. Я прихожу в ярость, когда думаю, что человеческая изобретательность выдохлась с тех пор, как придумано первое колесо, первый токарный станок, первый кузнечный горн. Люди едва позаботились умножить способы употребления огня, похищенного у небес. А между тем стоило постараться, и из нескольких простых принципов можно было вывести целую вереницу хитроумных машин, способных увеличить мудрость и мощь человека: снаряды, которые движением своим производили бы тепло, трубы, по которым огонь тек бы, как течет вода, и которые помогли бы употребить на перегонку и плавку оснащение бань древних и восточных народов. Ример из Регенсбурга утверждает, что изучение законов равновесия помогло бы соорудить для нужд мира и войны колесницы, которые летали бы по воздуху и плыли под водой. Черный порох, которым вы пользуетесь и благодаря которому подвиги Александра Великого кажутся нынче детской игрой, тоже ведь плод чьего-то ума...

— Э, погоди! — воскликнул Анри-Максимилиан. — Когда наши отцы в первый раз запалили фитиль, можно было подумать, что это шумное открытие произведет переворот в военном искусстве и сражения станут короче за неимением сражающихся. Хвала создателю, ничуть не бывало! Убивать стали больше (да и то я в этом не уверен), и вместо арбалета мои солдаты управляют теперь с аркебузой. Но храбрость, трусость, хитрость, дисциплина и неповиновение остались такими, какими были всегда, а с ними и искусство наступать, отходить или стоять на месте, наводить страх и делать вид, что сам ты не ведаешь страха. Наши вояки и поныне еще подражают Ганнибалу и сверяются с Вегецием. Как и в былые времена, мы плетемся в хвосте у великих.

— Я давно уже понял, что унция инерции перевешивает литр мудрости, — с досадой сказал Зенон. — Знаю, что для ваших государей наука — всего лишь арсенал средств, куда менее важных, чем карусели, плюмажи и титулы. И однако, брат Анри, в разных уголках земли живет несколько нищих, еще более безумных, оборванных и гонимых, нежели я, и они втайне мечтают о могуществе, таком грозном, какое не снилось самому императору Карлу. Будь у Архимеда точка опоры, он не только поднял бы земной шар, но и швырнул бы его в бездну, точно разбитую скорлупу... И сказать правду, когда я был в Алжире, когда видел зверскую жестокость турок или наблюдал безумства и чудовищные злодеяния, свирепствующие повсюду в наших христианских королевствах, я иногда говорил себе, что лечить, учить, обогащать род человеческий и снабжать его орудиями — быть может, не самое разумное во вселенском хаосе и что какой-нибудь Фаэтон в один прекрасный день не по несчастной случайности, а вполне обдуманно подожжет Землю. Кто знает, не вылетит ли в конце концов из наших перегонных кубов какая-нибудь комета? Когда я вижу, к чему приводят наши умозаключения, меня меньше удивляет, брат Анри, что нас сжигают на кострах. — Он вдруг встал. — До меня дошли слухи, что опять усилились гонения на мои "Предсказания будущего". Против меня еще не вынесено никакого указа, но надо ждать неприятностей. Я редко ночую в этой кузнице, предпочитаю спать там, где меня

вряд ли станут искать. Выйдем отсюда вместе, но, если ты боишься согладатаев, тебе лучше расстаться со мной на пороге.

— За кого ты меня принимаешь? — сказал капитан с беспечностью, быть может, немного наигранной.

Он застегнул свой камзол, проклиная шпиков, которые суют нос в чужие дела. Зенон вновь облачился в свой плащ, почти совсем просохший. На прощанье они разлили вино, оставшееся на дне кувшина. Алхимик запер дверь и повесил огромный ключ под стрехой, где слуга мог его найти. Уже начало смеркаться, но слабые отсветы заката еще лежали на покрытых свежим снегом горных склонах позади серых черепичных крыш. Зенон на ходу внимательно вглядывался в темные закоулки.

— Я на мели, — объявил капитан, — но если, принимая во внимание твои нынешние трудности, тебе нужно...

— Нет, брат, — сказал алхимик. — В случае опасности нунций даст мне денег, чтобы я мог отсюда убраться. Береги свои денежки для собственных нужд.

Сопровождаемый эскортом экипаж, в котором, без сомнения, какая-то важная особа направлялась в императорский дворец Амбрас, во весь опор пронесся по узкой улице. Они посторонились, давая ему дорогу. Когда шум затих, Анри задумчиво сказал:

— А ведь Нострадамус в Париже предсказывает будущее и живет себе в мире. В чем же обвиняют тебя?

— Он утверждает, что в его предсказаниях ему помогают не то небеса, не то преисподняя, — ответил философ, обшлагом рукава отирая брызги грязи. — Как видно, гипотеза в ее чистом виде, как и отсутствие в наших котлах привычного варева из демонов и ангелов кажутся этим господам еще более подозрительными... К тому же четверостишия Мишеля де Нотрадам, которыми я отнюдь не склонен пренебрегать, будоражат любопытство черни, предрекая бедствия народов и смерть королей. Ну а меня слишком мало волнуют нынешние заботы Генриха II, чтобы еще пытаться предугадать их будущий исход... Однако вот какая мысль пришла мне в голову во время моих скитаний: путешествуя по дорогам пространства, я знал, что, когда я нахожусь ЗДЕСЬ, меня уже ожидает ТАМ, хотя там я никогда не был, и мне захотелось точно так же пуститься в путь до дорогам времени. Заполнить пропасть между точными предсказаниями вычислителей затмений и уже куда более зыбкими прогнозами врачей, осторожно попытаться подкрепить предчувствие догадкой и начертать на материке, на котором мы еще не бывали, каргу океанов и поднявшейся из воды суши... Я изнемог за этой попыткой.

— Тебе суждена участь доктора Фаустуса, о котором рассказывают ярмарочные марионетки, — шутливо сказал капитан.

— Вот уж нет, — возразил алхимик. — Пусть старые бабы верят в глупую сказку об ученом докторе, который заключил договор с чертом и погубил свою душу. Представления подлинного Фауста о душе и об аде были бы совсем другими.

Теперь все их внимание сосредоточилось на том, чтобы не ступить в лужу. Они вышли на набережную, поскольку Анри-Максимилиан квартировал возле моста.

— Где ты будешь ночевать? — спросил вдруг капитан.

Зенон искоса взглянул на своего спутника.

— Еще не знаю, — уклончиво ответил он.

И снова воцарилось молчание: оба истощили запас слов. Неожиданно Анри-Максимилиан остановился, извлек из кармана записную книжку и стал читать при свете канделябра, стоявшего позади большого, наполненного водой шара в окне ювелира, который в этот вечер засиделся до поздна.

...Stultissimi, inquit Eumolpus, tum Encolpii, tum Gitonis aerumnae, et precipue blanditiarum Gitonis non immemor, certe estis vos qui felices esse potestis, vitam tamen aerumnosam degitis et singulis diebus vos ultro novis torquetis cruciatibus. Ego sic semper et ubique vixi, ut ultimam quamque lucem tanquam non redituram consumarem, id est in summa tranquillitate...

— Позволь, я переведу тебе это на французский, — сказал капитан. — Сдается мне, фармацевтическая латынь вытеснила у тебя из головы всякую другую. Старый распутник Эвмолп обращается к своим любимцам Энколпию и Гитону со словами, которые показались мне достойными того, чтобы вписать их в мой молитвенник. "Ах вы, дурачье, — говорит Эвмолп, вспоминая о бедах Энколпия и Гитона и в особенности о любезном нраве последнего. — Вы могли бы быть счастливыми, а ведете жизнь самую горестную, что ни день подвергаясь все большим напастям. А я жил так, как если бы каждый день мог стать последним днем моей жизни, то есть в совершенном спокойствии". Петроний, — объяснил капитан, — принадлежит к числу моих святых заступников.

— Самое забавное, — отметил Зенон, — что твоему автору и в голову не приходит, что последний день мудреца может быть прожит иначе, нежели в покое. Постараемся вспомнить об этом в свой смертный час.

Они вышли на угол к освещенной часовне, где шла служба по случаю девятидневных молитвенных обетов. Зенон направился к дверям.

— Что ты собираешься делать среди этих святош? — удивился капитан.

— Разве я уже не объяснил тебе? — отозвался Зенон. — Стать невидимкой.

И он нырнул в складки кожного занавеса, закрывавшего вход. Анри-Максимилиан постоял немного, сделал несколько шагов в сторону, возвратился и наконец решительно зашагал прочь, напевая свою любимую песенку:

С верным другом мы вдвоем

Через горы вдаль бредем.

Там привольное житье...

Дома его ждало послание от сеньора Строцци, который приказывал ему прекратить секретные переговоры касательно Сиены. Анри-Максимилиан подумал, что дело пахнет войной, а может, просто кто-нибудь оклеветал его в глазах флорентийского маршала и убедил его светлость прибегнуть к другому посреднику. Ночью снова зарядил дождь, потом повалил снег. Назавтра, уложив свой дорожный багаж, капитан отправился на поиски Зенона.

Одевшиеся в белое дома были подобны лицам, прячущим свои тай-

ны под одинаковыми капюшонами. Анри-Максимилиан с удовольствием заглянул в "Золотой ягненок", где было отменное вино. Хозяин, принесший капитану бутылку, сообщил ему, что рано утром приходил слуга Зенона, чтобы вернуть ключ от кузницы и заплатить за жилье. А незадолго до полудня чиновник святой инквизиции, которому было поручено арестовать Зенона, потребовал, чтобы хозяин трактира помог ему в этом. Но, как видно, дьявол вовремя предупредил алхимика. При обыске в кузнице не обнаружили ничего необычного, кроме горы старательно разбитых склянок.

Анри-Максимилиан порывисто встал, оставив на столе сдачу. Несколько дней спустя он отбыл в Италию через перевал Бреннер.

КАРЬЕРА АНРИ-МАКСИМИЛИАНА

Он отличился в Черезоле: для защиты нескольких домишек в Милане употребил, по его собственным словам, столько же ума, сколько Цезарю понадобилось для завоевания мира; Блез де Монлюк ценил его острословие, поднимавшее дух солдат. Всю свою жизнь он служил поочередно то всехристианнейшему королю, то его католическому величеству, но французская веселость больше отвечала его нраву. Поэт — он оправдывал изъяны своих рифм военными заботами; офицер — объяснял свои тактические промахи тем, что голова его занята стихами; впрочем, его ценили собратья по тому и по другому ремеслу, смешение которых, как известно, не приносит богатства. Скитаясь по Апеннинскому полуострову, он увидел в истинном свете Авзонию своих грез; заплатив дань римским придворным, научился их остерегаться, как научился придирчиво выбирать дыни в лавчонках Трастевере и небрежно швырять в Тибр их зеленые корки. Он прекрасно знал, что кардинал Маурицио Карафа видит в нем всего-навсего не лишнего ума солдафона, которому в мирные времена как милостыню даруют грошовую должность капитана телохранителей, и что его любовница, неаполитанка Ванина, выманила у него немало денег на ребенка, прижитого, может статься, от другого — Анри-Максимилиан не придавал этому значения. Рене Французская, дворец которой был пристанищем обездоленных, охотно предоставила бы ему любую синекуру в своем Феррарском герцогстве, но она принимала там всех оборванцев без разбору, лишь бы они готовы были хмелеть вместе с нею от кисловатого вина псалмов. Капитану нечего было делать в этой компании. Он все больше сживался со своей солдатней, каждое утро напивая свой златанный камзол, радовался ему, как радуются старинному другу, весело признавался, что умывается только под дождем, и делил со своею шайкой пикардийских авантюристов, албанских наемников и флорентийских изгоев прогорклое сало, гнилую солому и привязанность рыжего пса, который пристал к их отряду. Однако его суровая жизнь была не лишена радостей. Он по-прежнему любил громкие имена древности, которые припорошивают золотой пылью и осеняют пурпурным лоскутом былого величия развалины любой стены в Италии; по-прежнему любил шататься по улицам, переходя из тени на солнце, любил окликнуть на тосканском

наречии встречную красотку, которая может одарить поцелуем, а может и осыпать бранью, любил пить воду прямо из фонтана, стяхивая с толстых пальцев капли воды на запыленные плиты, или краем глаза разбирать латинскую надпись на камне, справляя возле него малую нужду.

Из отцовского богатства ему досталась только скудная часть доходов от сахарных заводов Маастрихта, которая редко поступала в его карман, да еще небольшое земельное владение, из тех, что принадлежали его семье во Фландрии, — местечко, именуемое Ломбардией; одно это название вызывало смех у того, кто вдоль и поперек исходил настоящую Ломбардию. Каплуны и дрова из этого поместья попадали на сковородки и в сараи его брата — Анри-Максимилиан не имел ничего против. На семнадцатом году жизни он сам беззаботно отказался от права первородства, променяв его на солдатскую чечевичную похлебку. Хотя короткие церемонные письма по случаю очередной смерти или бракосочетания, которые он временами получал от брата, неизменно оканчивались заверением в готовности к услугам, Анри-Максимилиан прекрасно знал, что младший брат уверен: старший никогда не воспользуется его любезностью. К тому же Филибер Лигр не упускал случая намекнуть на обширные обязанности и огромные расходы, какие влечет за собой должность члена Совета Нидерландов, и в конце концов начинало казаться, что не ведающий забот капитан — богач, а человек, обремененный золотом, живет в нужде и просто совестно запускать руку в его сумку.

Один лишь раз капитан посетил своих родственников. Его охотно представляли напоказ, словно желая убедить окружающих, что этого блудного сына, несмотря ни на что, можно не стыдиться. То, что этот наперник маршала Эстраса не имел ни определенной должности, ни высокого чина, даже сообщало ему некоторый блеск, словно безвестность придавала ему значительности. Он был старше своего брата всего на несколько лет, но чувствовал сам — разница в возрасте превращает его в осколок другого века; рядом с этим молодым, осторожным и бесстрастным человеком он выглядел простаком. Незадолго до отъезда брата Филибер шепнул ему, что император, которому недорого обходятся геральдические короны, охотно украсит титулом поместье Ломбардия, если капитан отныне поставит все свои военные и дипломатические таланты на службу одной лишь Священной империи. Отказ Анри-Максимилиана оскорбил брата; пусть даже сам капитан не стремится волочить за собой шлейф титула, он мог бы порадеть о семейной славе. В ответ Анри-Максимилиан посоветовал брату послать семейную славу куда-нибудь подальше. Ему быстро наскучили роскошные панели Стенберга — поместья, которое младший брат предпочитал теперь более старомодному Дранутру; тому, кто привык к изысканному итальянскому искусству, украшавшие дом картины на мифологические сюжеты казались грубой мазней. Ему надоело лицезреть свою угрюмую невестку в сбруе из драгоценностей и целую стаю сестриц и зятьев, расселившихся в маленьких усадьбах по соседству, с выводком ребятишек, которых пытались держать в узде трепещущие воспитатели. Мелкие ссоры, интрижки, жалкие компромиссы, которые поглощали этих людишек, тем более подняли в его глазах цену компании солдат и марки-танток, среди которых по крайней мере можно власть выbranиться и

рыгнуть и которые были разве что пеной, но уж никак не подонками человечества.

Из герцогства Моденского, где его приятель Ланца дель Васто нашел ему должность, так как затянувшийся мир опустошил кошелек Анри-Максимилиана, он краешком глаза следил, к чему приведут начатые им переговоры насчет Тосканы: агенты Строцци в конце концов убедили жителей Сиены из любви к свободе восстать против императора, и патриоты эти тотчас призвали к себе французский гарнизон, дабы он защитил их от его германского величества. Анри вернулся на службу к господину де Монлюку — не упускать же такое выгодное дельце, как осада. Зима была суровой, пушки на крепостных валах по утрам покрывались тонкой корочкой изморози; оливки и жесткая солонина из скудного пайка вызывали несварение у французских желудков. Господин де Монлюк появлялся перед жителями, натерев вином впалые щеки, словно актер, накладывающий румяна перед выходом на сцену, и прикрывал затянутой в перчатку рукой голодную зевоту. Анри-Максимилиан в бурлескных стихах предлагал насадить на вертел самого императорского орла, но все это было лицедейство и реплики на публику, вроде тех, что можно вычитать у Плавта или услышать с театральных подмостков в Бергамо. Орел снова, в который уже раз, пожрет итальянских цыплят, но прежде еще разок-другой хорошенько стегнет хворостиной кичливого французского петуха; часть храбрцов, избравших солдатское ремесло, погибнет; император прикажет отслужить торжественный молебен в честь победы над Сиеной, и новые займы, переговоры о которых будут вестись по всем правилам дипломатии, как если бы дело шло о договоре между двумя монархами, поставят его величество в еще большую зависимость от банкирского дома Лигров, — который, в последние годы осмотрительно прикрываясь другим именем, — или от какого-нибудь антверпенского или немецкого его конкурента. Двадцать пять лет войны и вооруженного мира научили капитана видеть изнанку вещей.

Но этот живший впроголодь фламандец наслаждался играми, смехом, галантными процессиями благородных дам Сиены, которые шествовали по площади, одетые нимфами и амазонками, в доспехах из розового атласа. Эти ленты, разноцветные флаги, юбки, соблазнительно задиравшиеся на ветру и исчезающие за поворотом темной улочки, похожей на траншею, ободряли солдат и, правда в меньшей мере, состоятельных граждан, которые растерялись, видя, что коммерция хиреет, а продукты дорожают. Кардинал Ферраре перевозносил до небес синьору Фаусту, хотя на холодном ветру ее пышные открытые плечи покрывались гусиной кожей, а господин де Терн присудил приз синьоре Фортингверре, которая с высоты крепостного вала любезно выставляла на обозрение врагу свои стройные, как у Дианы, ноги. Анри-Максимилиан отдавал предпочтение белокурым косам синьоры Пикколомини, гордой красавицы, которая непринужденно вкушала радости вдовства. Он воспылал к этой богине изнурительной страстью зрелого мужчины. В минуты хвастовства и душевных излиятий воин не отказывал себе в удовольствии на глазах у помянутых выше господ принимать скромно-торжествующий вид счастливого любовника — эти неловкие потуги никто не принимал всерьез, но приятели делали вид,

будто верят, — чтобы в тот день, когда им самим придет в голову похвастать мнимыми победами, их выслушали столь же снисходительно. Анри-Максимилиан никогда не отличался красотой, а теперь к тому же был и не молод; солнце и ветер придали его коже каленый оттенок сиенского кирпича; немея от любви у ног своей дамы, он иногда думал, что все эти маневры: с одной стороны — воздыхания, с другой — кокетство, так же глупы, как маневры стоящих друг против друга армий, ибо, правду говоря, он предпочел бы увидеть свою красавицу нагой в объятиях Адониса, а самому искать утех у какой-нибудь служаночки, чем навязать этому прекрасному телу тягостное бремя своих собственных телес. Но ночью, когда он лежал под своим жиденьким одеялом, ему вспоминалось вдруг неуловимое движение ее руки с длинными, унизанными перстнями пальцами или особая, свойственная одной его богине манера поправлять волосы, и он зажигал свечу и, терзаемый ревностью, писал замысловатые стихи.

Однажды, когда кладовые Сиены оказались еще более пустыми, чем обыкновенно, — хотя, думалось, дальше уже некуда, — он осмелился преподнести своей белокурой нимфе несколько кусочков окорока, раздобытых не самым честным путем. Молодая вдова возлежала на кушетке, укрывшись от холода стеганым одеялом и рассеянно поигрывая золотой кисточкой подушки. Веки ее затрепетали, она села на постели и быстро, почти украдкой, наклонившись к дарителю, поцеловала ему руку. Его охватило такое восторженное счастье, какого он не испытал бы, осыпав его эта красавица своими самыми щедрыми милостями. Анри-Максимилиан тихонько вышел, чтобы не мешать ей поеть.

Он часто спрашивал себя, как и при каких обстоятельствах его настигнет смерть: быть может, его сразит выстрел из аркебузы, и его, залитого кровью, с почетом понесут на обломках горделивых испанских пик, и венценосцы будут о нем скорбеть, и собратья по оружию оплакивать его, и наконец предадут земле у церковной стены под красноречивой латинской эпитафией; а может быть, он падет от удара шпаги на дуэли в честь какой-нибудь дамы, погибнет на темной улочке от ножа, или от возврата давней французской болезни, или же, наконец, дожив до шестидесяти с лишком лет, умрет от апоплексического удара в каком-нибудь замке, где под старость пристроится конюшим. Когда-то, дрожа в приступе малярии на убогом ложе римской гостиницы, по соседству с Пантеоном, и чувствуя, что может подохнуть в этой стране лихоманок, он утешал себя мыслью, что, в конце концов, мертвецы здесь оказываются в лучшей компании, нежели в другом месте; своды, которые виднелись ему из чердачного окошка, воображение его населяло орлами, опущенными вниз фасциями, плачущими ветеранами и факелами, освещающими погребение императора: это был не он сам, но некий вечный герой, в котором была и его частица. Сквозь гул колоколов перемежающейся лихорадки ему слышались пронзительные звуки флейт и звонкие трубы, возвещающие миру смерть венценосца; собственным телом он ощущал жар пламени, испепеляющего

великого человека и возносящего его на небеса. Все эти воображаемые смерти и похороны и были его истинной смертью, его настоящими похоронами. Погиб он во время вылазки за фуражом, когда его солдаты пытались захватить оставшееся без присмотра гумно, в двух шагах от крепостного вала. Лошадь Анри-Максимилиана радостно фыркала, ступая по земле, покрытой сухой травой; после темных, продуваемых ветром улочек Сиены хорошо было дышать свежим февральским воздухом на залитых солнцем склонах холма. Неожиданная атака императорских наемников обратила в бегство отряд, который повернул к стенам города. Анри-Максимилиан кинулся вслед за своими людьми, бранясь на чем свет стоит. Пуля попала ему в плечо — он грохнулся головой о камень. Он успел почувствовать удар, но не смерть. Лошадь без седока некоторое время скакала по полям, потом ее поймал какой-то испанец и не спеша повел в императорский лагерь. Несколько наемников поделили между собой оружие и одежду убитого. В кармане его плаща лежала рукопись "Геральдики женского тела". Сборник коротких стихотворений, игривых и нежных, с выходом которого Анри-Максимилиан надеялся стяжать некоторую известность или хотя бы успех у красавиц, окончил свое существование во рву, засыпанный вместе с автором несколькими лопатами земли. Девиз, который он с грехом пополам высек в честь синьоры Пикколомини, еще долгое время был виден на краю фонтана Фонтебранда.

ПОСЛЕДНИЕ СКИТАНИЯ ЗЕНОНА

Была одна из тех эпох, когда разум человеческий взят в кольцо пылающих костров. Спасшийся бегством из Инсбрука, Зенон некоторое время прожил в Вюрцбурге у своего ученика Бонифациуса Кастеля, занимавшегося алхимией, — в маленьком уединенном домике, из окон которого видны были только сине-зеленые переливы Майна. Но праздность и оседлость тяготили его, да к тому же Бонифациус, без сомнения, был не из тех, кто согласится долго подвергать себя опасности ради друга, попавшего в беду. Зенон переправился в Тюрингию, оттуда добрался до Польши, где в качестве хирурга нанялся в армию короля Сигизмунда, который с помощью шведов вознамерился изгнать московитов из Курляндии. Когда вторая зимняя кампания подходила к концу, желание изучить незнакомый климат и растения побудило его последовать на корабль, отбывавший в Швецию, за неким капитаном Юлленшерна, представившим его Густаву Вазе. Король искал медика, который был бы способен укрывать недуги, оставленные в наследство его одряхлевшему телу сыростью походных палаток, холодными ночами на льду в годы бурной молодости, старыми ранами и французской болезнью. Зенон попал в милость, приготовив укрепляющее питье для монарха, утомленного рождественскими праздниками, которые он провел в своем белокаменном замке Вадстена с молодой, третьей по счету супругой. Всю зиму, облокотясь на подоконник в высокой башне между холодным небом и ледяными просторами озера, Зенон исчислял положение звезд, которые могли принести счастье или беду роду Ваза; ему помогал в этих трудах принц Эрик, питавший болез-

ненное пристрастие к опасным наукам. Тщетно напоминал ему Зенон, что звезды лишь воздействуют на наши судьбы, но не решают их и что столь же властно и таинственно управляет нашей жизнью, подчиняясь законам более мощным, нежели те, какие устанавливаем мы сами, та красная звезда, что трепещет в темной ночи тела, подвешенная в клетке из костей и плоти. Эрик был из породы людей, предпочитающих, чтобы судьбу их решали силы внешние: то ли его гордыню тешила мысль, что само небо вмешивается в его участь, то ли по лености он не хотел быть в ответе за добро и зло, которые носил в себе. Он верил в звезды так же, как, вопреки протестантской вере, которую унаследовал от отца, молился святым и ангелам. Соблазненный представившимся ему случаем повлиять на наследника короны, философ пытался нет-нет да чему-то научить принца, дать ему добрый совет, но чужая мысль словно в трясине увязала в юном мозгу, дремавшем за этими серыми глазами. Когда холод становился совсем уж невыносимым, философ и его ученик подходили поближе к огромному пламени в плену очага, и Зенон каждый раз удивлялся, что этот благодатный жар, этот домашний демон, который послушно обогревает кружку пива, стоящую в золе, — то же огненное божество, которое совершает движение по небу. В иные вечера принц, бражничавший в трактирах со своими братьями и веселыми девицами, не являлся в башню, и тогда философ, если предсказания звезд в эту ночь были неблагоприятными, исправлял их, пожав плечами.

За несколько недель до праздника Ивановой ночи он исплопотал себе позволение отправиться на Север, чтобы собственными глазами наблюдать полярное сияние. То пешком, то наняв лошадь или лодку, он перебирался из одного прихода в другой, объясняясь через толмачей-пасторов, еще помнивших церковную латынь; он узнавал целебные составы у деревенских знахарок, которым ведомы свойства трав и лесного мха, и у кочевников, которые лечат своих больных ваннами и окуриванием, записывал толкования снов. Присоединившись к двору в Упсале, где его величество открывал осеннее собрание риксдага, он понял, что завистливый собрат-немец очернил его в глазах короля. Старый монарх боялся, как бы его сыновья не воспользовались исчислениями Зенона, чтобы не расчесть со слишком уж большой точностью, сколько осталось жить их отцу. Зенон надеялся, что его защитит наследник трона, который стал его другом и едва ли не последователем, но, когда он столкнулся с Эриком в галерее дворца, молодой принц прошел мимо, не заметив Зенона, словно тот внезапно сделался невидимкой. Зенон тайком нанял рыбацью лодку и через озеро Меларен добрался до Стокгольма, оттуда переправился в Кальмар и отплыл в Германию.

Впервые в жизни он испытывал странную потребность вновь увидеть места, через которые когда-то уже пролег его путь, словно жизнь его, подобно блуждающим звездам, двигалась по predetermined орбите. В Любеке, где он с успехом занимался врачеванием, он усидел всего несколько месяцев. Ему вдруг захотелось попытаться издать во Франции свои "Протеории", к которым он постоянно возвращался в течение всей своей жизни. Он не столько излагал в них определенную доктрину, сколько стремился очертить картину воззрений, через которые прошло челове-

чество, показать, когда мысль попадала в цель, а когда работала вхолостую, что незаметно сближало разные точки зрения и в чем проявляло себя их скрытое взаимное влияние. В Лёвене, где он остановился по пути, никто не узнал его под именем Себастьяна Теуса, которым он назвался. Всякое тело обычно до конца сохраняет свои природные очертания и уродства, хотя атомы его непрерывно обновляются. То же было с университетом: не один раз сменились в нем за это время преподаватели и ученики, но речи, услышанные Зеноном, когда он решился войти в одну из его аудиторий, почти не отличались от тех, каким он когда-то внимал здесь с досадой или, наоборот, с жадностью. Он не дал себе труда пойти поглядеть на тесьмоткацкой мануфактуре, недавно открытой в окрестностях Ауденарде, станки — весьма схожие с теми, какие в юности он мастерил вместе с Коласом Гелом, и работавшие теперь к совершенному удовольствию хозяина. Но он со вниманием выслушал университетского алгебраиста, который подробно описал ему машины. Этот профессор, который, не в пример своим братьям, не пренебрегал практическими проблемами, пригласил ученого иностранца к обеду и предоставил ему ночлег.

Во Франции Зенон с распростертыми объятиями встретил Руджери, которого он когда-то звал в Болонье. Мастер на все руки при королеве Екатерине, Руджери искал себе сотрудника, на которого мог бы положиться и который был бы достаточно скомпрометирован, чтобы в случае опасности сделаться козлом отпущения; тот помог бы ему пользоваться молодых принцев и предсказывать им будущее. Итальянец повел Зенона в Лувр, чтобы представить своей госпоже, с которой быстро заговорил на их родном языке, сопровождая свою речь угодливыми поклонами и улыбками. Королева вперила в иностранца пылкий взгляд блестящих глаз, которыми играла так же ловко, как и пальцами, поблескивающими бриллиантами колец. Ее напояженные пухловатые руки точно марионетки двигались на черном шелке колен. Заговорив о роковом турнире, который три года назад отнял у нее ее царственного супруга, она придала своему лицу выражение, призванное заменить траурную вуаль.

— Отчего я не вняла вашим "Предсказаниям будущего", где когда-то вычитала соображения насчет долготы жизни, обыкновенно даруемой венценосцам!.. Быть может, мы уберегли бы короля от удара копыя, который сделал меня вдовой... Ведь я полагаю, — добавила она любезно, — вы имели касательство к этому труду, который слышет опасным для нестойких умов и который приписывают некоему Зенону.

— Будемте говорить так, как если бы я был Зенон, — сказал алхимик. — *Speluncam exploravimus...** Вашему Величеству не хуже меня известно, что будущее носит в своем чреве большее число возможностей, нежели оно способно произвести на свет. Мы можем уловить движение некоторых из них в утробе времени. Но одни лишь роды решат, какой из зародышей жизнеспособен и явится на свет к сроку. Я никогда не торговал недоносками — будь то несчастья или удачи.

— Неужели вы столь же усердно умаляли значение своего искусства в глазах Его Величества короля Швеции?

* Букв.: мы исследовали пещеру... (лат.)

— У меня нет причин лгать самой умной женщине Франции.

Королева улыбнулась.

— *Parla per divertimento*, — вмешался итальянец, обеспокоенный тем, что его собрат принижает их науку. — *Questo honorato viatore ha studiato anche altro che cose celesti; sa le virtudi di veleni e piante benefiche di altre parti che possano sanare gli accessi auricolari del Suo Santissimo Figlio* *.

— Я могу осушить гнойник, но не в силах излечить юного короля, — коротко сказал Зенон. — Я видел Его Величество издали в галерее в час аудиенции — не надобно больших знаний, чтобы по кашлю и обильной испарине определить чахотку. К счастью, небо даровало Вашему Величеству не одного сына.

— Да сохранит его нам господь! — сказала королева-мать, привычно осенив себя крестом. — Руджери проведет вас к королю. Мы надеемся, что вы хотя бы облегчите его страдания.

— А кто облегчит мои? — жестко спросил философ. — Сорбонна грозит наложить запрет на мои "Протеории", которые в настоящее время набираются в типографии на улице Сен-Жак. Может ли королева сделать так, чтобы дым от моих сочинений, сожженных на площади, не потревожил меня в моей каморке в Лувре?

— Ученым мужам Сорбонны пришлось бы не по вкусу, если б я стала вмешиваться в их дела, — уклончиво ответила итальянка.

Прежде чем отпустить Зенона, она долго выспрашивала врача о здоровье шведского короля — не слишком ли густа его кровь и хорошо ли пищеварение. Ей иногда приходила мысль женить одного из своих сыновей на какой-нибудь северной принцессе.

Освидетельствовав юного царственного пациента, Зенон с Руджери покинули Лувр и двинулись вдоль набережной. Итальянец на ходу сыпал придворными анекдотами.

— Последите, чтобы бедному ребенку меняли пластырь пять дней подряд, — озабоченно напомнил Зенон.

— А разве вы сами не вернетесь во дворец? — с удивлением спросил шарлатан.

— О нет! Неужто вы не видите, что она и пальцем не шевельнет, чтобы избавить меня от опасности, которой мне грозят мои труды? Меня вовсе не прельщает честь быть схваченным в свите короля.

— *Peccato!* ** — воскликнул итальянец. — Ваша прямота понравилась королеве.

И вдруг, остановившись посреди толпы, он взял своего спутника под локоть и, понизив голос, спросил:

— *E guesti veleni? Sarà vero che ne abbia tanto e quanto?* ***

— Пожалуй, я поверю, что молва справедливо обвиняет вас, будто вы

* Он шутит. Этот ученый муж изучал не только науку небесных тел; он знает все свойства заморских ядов и целебных трав, которые могут излечить воспаление ушей августейшего сына Вашего Величества (*ital.*).

** Жаль (*ital.*).

*** А как насчет ядов? Они у вас, конечно, найдутся? (*ital.*)

спроваживаете на тот свет врагов королевы.

— Молва преувеличивает, — отшутился Руджери. — Но почему бы Ее Величеству не иметь в своем арсенале ядов, наряду с аркебузами и пищалками? Не забудьте, она вдова и чужестранка во Франции, лютеране чествуют ее Иезавелью, католики — Иродиадой, а у нее на руках пятеро малолетних детей.

— Да хранит ее бог, — отозвался безбожник. — Но если я и прибегну когда-нибудь к яду, то только для собственной надобности, а не ради королевы.

Он, однако, поселился у Руджери, краснбайство которого его развлекало. С тех пор как первый его издатель, Этьен Доле, был удушен и сожжен за свои пагубные воззрения, Зенон не печатался во Франции. Тем более рачительно следил он за тем, как в типографии на улице Сен-Жак набирается его книга, то исправляя какое-нибудь слово, то уточняя стоящее за ним понятие, то проясняя смысл, а иногда, наоборот, с сожалением затемняя его. Однажды вечером, когда он, по обыкновению в одиночестве, ужинал в доме Руджери, который был занят в Лувре, к нему прибежал перепуганный мэтр Ланжелье, нынешний его издатель, чтобы сообщить, что Сорбонна приговорила схватить его "Протеории" и сжечь их рукой палача. Книгопродавец оплакивал гибель своего товара, на котором еще не высохли чернила. Впрочем, оставалась последняя надежда спасти труд, посвятив его королеве-матери. Ночь напролет Зенон писал, зачеркивал, снова писал и снова зачеркивал. На рассвете он встал со стула, потянулся, зевнул и бросил в огонь измаранные листки и перо.

Ему не составило труда собрать свою одежду и медицинские инструменты — остальной свой скарб он предусмотрительно спрятал на чердаке постоянного двора в Санлисе. Руджери храпел в комнате наверху в объятиях какой-то девицы. Зенон сунул ему под дверь записку, в которой сообщал, что едет в Прованс. На самом деле он решил возвратиться в Брюгге и там затеряться.

В тесной прихожей на стене висела привезенная из Италии диковинка — флорентийское зеркало в черепаховой раме, составленное из двух десятков маленьких выпуклых зеркал, похожих на шестиугольные ячейки пчелиных сот и обрамленных каждое в свою очередь узкой оправой, бывшей когда-то панцирем живого существа. В сером свете парижского утра Зенон посмотрелся в зеркало. И увидел два десятка сплюснутых и уменьшенных по законам оптики изображений человека в меховой шапке, с болезненно-желтым цветом лица и блестящими глазами, которые и сами были зеркалом. Этот беглец, замкнутый в своем мирке и отделенный от себе подобных, которые тоже готовились к бегству в параллельных мирах, напомнил ему гипотезу грека Демокрита, и он представил себе бесчисленное множество одинаковых миров, где живет и умирает целая вереница пленников-философов. Эта фантастическая мысль вызвала у него горькую улыбку. Двадцать маленьких зеркальных отражений также улыбнулись, каждое — самому себе. Потом все они отвернулись в сторону и зашагали к двери.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОСЕДЛАЯ ЖИЗНЬ

Obscurum per obscurius
Ignotum per ignotius.
*Ex principiis alchimiae **

* Идти к темному и неведомому через еще более темное и неведомое.
(Девиз алхимии) — (лат.).

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРЮГГЕ

В Санлисе ему предложил место в своем экипаже приор францисканского монастыря миноритов в Брюгге, который возвращался домой из Парижа, где присутствовал на собрании орденового капитула. Приор этот оказался человеком более образованным, нежели можно было предположить по его сутане, полным интереса к людям и к окружающему миру и не лишенным к тому же известного житейского опыта; путешественники вели между собой непринужденный разговор, пока лошади, борясь с пронзительным ветром, плелись по пикардийским равнинам. Зенон утаил от попутчика только свое настоящее имя и то, что книга его подверглась гонениям; впрочем, приор был настолько проникателен, что, быть может, догадывался в отношении доктора Себастьяна Теуса о большем, чем полагал уचितым выказать. При проезде через Турне их задержала наводнившая улицы толпа; в ответ на расспросы им объяснили, что жители спешат на главную площадь города, чтобы увидеть, как будут вешать уличенного в кальвинизме портного по имени Адриан. Жена его также оказалась виновной, но, поскольку особе женского пола непристойно болтаться в воздухе, задевая юбками головы прохожих, постановили, согласно обычаю, заживо зарыть ее в землю. Зверская эта бессмыслица ужаснула Зенона, который, впрочем, затаил свои чувства под маской бесстрастия, ибо взял себе за правило никогда не высказывать мнения о том, что касается распри между требником и Библией. Приор, изъявив должное отвращение к ереси, счел, однако, казнь чересчур жестокой, и это осторожное замечание вызвало в душе Зенона прилив едва ли не восторженной симпатии к его спутнику, как бывает всегда, когда крупницу терпимости обнаруживает человек, от которого по его положению или званию трудно этого ждать.

Карета снова покатила по равнине, приор заговорил о другом, а Зенону все еще казалось, что он сам задыхается под грузом засыпавшей его земли. И вдруг он сообразил, что прошло уже четверть часа, и женщина, страданиями которой он терзался, сама их больше не испытывает.

Теперь они ехали вдоль решеток и балюстрад почти совсем заброшенного поместья Дранутр; приор упомянул между прочим имя Филибера Лигра, который, по его словам, заправляет всеми делами в Брюсселе в Совете новой Регентши, или Наместницы Нидерландов. Богачи Лигры давно уже покинули Брюгге; Филибер и его жена почти безвыездно живут в своем имении Прадел в Брабанте, где им удобнее лакейничать при чужеземных господах. Зенон отметил про себя это презрение патриота к испанцам и их прихвостням. Немного погодя путешественников остановили стражники-валлонцы в железных касках и кожаных штанах, грубо потребовавшие у них пропуск. Приор с ледяным презрением протянул им бумаги. Было совершенно очевидно — что-то переменялось во Фландрии. Наконец на Главной площади Брюгге спутники расстались, обменявшись любезностями и выражениями готовности к взаимным услугам. Приор покатила в наемном экипаже к своему монастырю, а Зенон, который рад был размять ноги после долгого сидения в карете, взял под мышку свою по-

клажу и отправился пешком. Его удивляло, что он без труда находит дорогу в городе, где не был более тридцати лет.

Он предупредил о своем приезде Яна Мейерса, своего давнего учителя и собрата, который неоднократно предлагал ему приют в просторном доме на улице Вье-Ке-о-Буа. На пороге гостя встретила служанка с фонарем в руке; в дверях Зенон невольно прижал боком эту угрюмую женщину, которая и не подумала посторониться, чтобы его пропустить.

Ян Мейерс сидел в кресле, вытянув подагрические ноги поближе к огню. Хозяин дома и приезжий оба вовремя подавили возглас удивления: сухошавый Ян Мейерс стал пухлым маленьким старичком, живые глаза и лукавая усмешка которого потерялись в складках розовой плоти, блестящий Зенон превратился в сурового мужчину, заросшего седой щетиной. Сорок лет практики позволили врачу из Брюгге скопить капиталец, чтобы жить ни в чем не нуждаясь; кормили и поили в его доме обильно — пожалуй, даже слишком обильно для человека, больного подагрой. Служанка Катарина, с которой Ян некогда заигрывал, была женщина недалекая, но усердная и преданная, лишнего не болтала и не пригревала на кухне любовников, охочих до лакомых кусков и старого вина. За столом Ян Мейерс отпустил две-три излюбленные свои шуточки насчет духовенства и церковных догм. Зенон вспомнил, что когда-то находил их забавными, сейчас они показались ему довольно плоскими; и однако, вспомнив о судьбе портного Адриана в Турне, Доле — в Лионе и Сервета — в Женеве, он подумал, что во времена, когда вера доводит людей до исступления, грубоватый скептицизм славного старика имеет свои достоинства; что касается его самого, он зашел гораздо дальше по пути всеотрицания, надеясь узнать, нельзя ли утвердить что-нибудь наново, и по пути всеразрушения, надеясь потом все воздвигнуть на новом основании или на иной лад, и теперь уже не был склонен к этим легковесным насмешкам. В Яне Мейерсе предрассудки причудливо уживались со скептицизмом хирурга-цирюльника. Он похвалялся своим пристрастием к алхимии, хотя эти его занятия были просто детской игрой; Зенон с великим трудом уклонился от разговоров о том, что являют собой неизреченная триада и лунный Меркурий, они показались ему слишком утомительными для первого вечера после приезда. Старик Ян жадно интересовался всеми новинками медицины, однако сам из осторожности лечил старинными методами; он надеялся, что Зенон предложит ему какое-нибудь средство от подагры. Ну а насчет крамольных писаний своего гостя старик полагал, что, даже если и откроется, кто такой на самом деле доктор Себастьян Теус, шум, поднятый вокруг его сочинений, вряд ли повредит их автору в Брюгге. В этом городе, поглощенном мелкими сварам и страдающем от намытого в его порт песка, точно больной — от каменной болезни, ни один человек не потрудился даже заглянуть в его книги.

Зенон вытянулся на постели, которую ему постелили в комнате наверху. Октябрьская ночь была холодной. Вошла Катарина с кирпичом, разогретым в очаге и завернутым в шерстяной лоскут. Опустившись на колени возле кровати, она заснула обжигающий сверток под одеяло, коснувшись ладонями ступней гостя, потом щиколоток, стала медленно

растирать их и вдруг, не сказав ни слова, осыпала его обнаженное тело жадными ласками. При свете поставленного на сундук огарка лицо этой женщины, лишенной возраста, мало отличалось от лица золотошвейки, которая почти сорок лет назад обучала его науке любви. Он не помешал ей грузно плюхнуться рядом с собою. Эта громадина была подобна пиву и хлебу — свою долю того и другого берешь равнодушно, без отвращения и без восторга. Когда он проснулся, Катарина уже хлопотала внизу по хозяйству.

Весь день она не поднимала на него глаз, только щедро накладывала ему на тарелку с какой-то грубоватой заботливостью. Ночью он запер дверь на ключ и слышал, как удалились тяжелые шаги служанки, пытавшейся бесшумно повернуть ручку. На другой день она вела себя с ним так же, как накануне; казалось, она раз и навсегда причислила его к предметам, населявшим ее жизнь, — вроде мебели и утвари в доме врача. Однако неделю спустя Зенон по оплошности забыл запереть дверь — она вошла с дурацкой улыбкой, высоко задрав юбки и выставляя напоказ свои могучие прелести. Гротескность искушения пробудила его чувственность. Никогда еще он не испытывал столь грубого воздействия плоти, не зависящего от личности ее обладательницы, от ее лица, очертаний тела и даже от его собственных эротических вкусов. Женщина, прерывисто дышавшая на его подушке, была Лемуром, Ламией, кошмарным чудищем в женском обличье, подобным тем, что украшают карнизы соборов, казалось, она едва ли способна говорить человеческим языком. И вдруг в самый разгар наслаждения с этих толстых губ, подобно пузырькам слюны, потоком полились непристойности, которых он не слышал и сам не произносил по-фламандски со школьных времен; он закрыл ей рот ладонью. Наутро отвращение взяло верх, он злился на себя, что связался с этой бабой, как, бывает, злишься, что согласился переночевать в трактире на постели сомнительной чистоты. С той поры он уже не забывал запереться на ночь.

Вначале он предполагал, что побудет у Яна Мейерса не долго, пока не уляжется буря, вызванная запретом и сожжением его книги. Но порой ему начинало казаться, что он останется в Брюгге до конца своих дней — то ли этот город обернулся ловушкой, подстерегавшей его в конце странствий, то ли какая-то непонятная леньность мешала ему уехать. Немощный Ян Мейерс передал ему нескольких пациентов, которых еще продолжал пользоваться; эта скудная клиентура не способна была возбудить зависть городских врачей, как это случилось в Базеле, где Зенон переполнил чашу терпения своих озлобленных собратьев, начав читать лекции об искусстве врачевания избранному кружку студентов. На сей раз отношения Зенона с коллегами сводились к редким встречам на консилиумах, во время которых сэр Теус всегда почтительно склонялся перед мнением тех, кто был старше годами или пользовался большей известностью, да к разговорам о погоде или о каких-нибудь ничтожных местных происшествиях. Беседы с больными, естественно, вертелись вокруг самих больных.

Многие из них и слыхом не слыхали о Зеноне, для других он был кем-то, о ком в былые времена шли смутные толки. Философ, когда-то

посвятивший небольшой трактат субстанции и свойствам времени, мог убедиться, что песок времени быстро засыпает человеческую память. Минувшие тридцать пять лет могли бы с таким же успехом быть и пятью десятилетиями. Обычай и установления, которые в его школьные годы были новы и вызывали споры, теперь считались извечными. О событиях, тогда потрясавших мир, теперь не было и речи. Умершие двадцать лет назад уже смешались с теми, кто умер на поколение раньше. О богатстве старика Лигра еще вспоминали, однако спорили, сколько у него было сыновей — один или два. Был еще у Анри-Жюста не то племянник, не то пригульный сын, который плохо кончил. Утверждали, будто еще отец банкира был казначеем Фландрии, как потом его сын, а кто-то считал его докладчиком в Совете Регентши, путая с Филибером. В давно уже пустовавшем доме Лигров первый этаж сдали цеховым мастерам; Зенон заглянул на фабрику, где в прежние времена царил Колас Гел, — теперь там помещалась канатная мастерская. Никто из ремесленников не помнил уже этого человека, которому пиво легко мутило разум, но который, до того как в Ауденове начались беспорядки и повесили его любимца, был здесь в некотором роде вожаком и повелителем. Каноник Бартоломе Кампанус был еще жив, но почти не выходил из дома, страдая от недугов, которые приходят с возрастом; по счастью, Яна Мейерса никогда не приглашали его лечить. И все же Зенон из осторожности обходил стороной церковь Святого Доната, где его старый наставник еще присутствовал на богослужении, сидя на хорах.

Из той же осторожности он спрятал в ящике стола у Яна Мейерса полученный в Монпелье диплом, где стояло его подлинное имя, а при себе хранил только бумагу, купленную когда-то на всякий случай у вдовы немецкого лекаря-коновала по имени Готт; имя это, чтобы еще больше запутать следы, Зенон переименовал на греко-латинский лад — Теус. С помощью Яна Мейерса он сочинил этому незнакомцу одну из тех запутанных и ничем не примечательных биографий, которые напоминают жилища, чье главное достоинство состоит во множестве входов и выходов. Для вящего правдоподобия он вставил в нее несколько эпизодов из собственной жизни, отобранных таким образом, чтобы не вызывать ни в ком ни удивления, ни любопытства, — если бы кто-нибудь пожелал в них покопаться, это его никуда бы не привело. Доктор Себастьян Теус, родившийся в Зуптхене в епископстве Утрехтском, был незаконным сыном местной жительницы и доктора из Ла Бреса, служившего при особе Маргариты Австрийской. Воспитанный в Клеве на деньги неизвестного покровителя, он сначала намеревался постричься в монахи в августинском монастыре этого города, однако тяга к отцовскому ремеслу одержала верх; учился он сначала в университете в Ингольштадте, потом в Страсбурге и некоторое время практиковал в этом городе. Посол герцогства Савойского увез его с собой в Париж, потом в Лион, так что он повидал и Францию, и придворную жизнь. Возвратившись в имперские владения, он думал было вернуться в Зуптхен, где еще жила его матушка, но, хоть он ничего об этом не говорил, ему, видно, пришлось натерпеться от так называемых протестантов, которые кишмя кишели теперь в Зуптхене. Тут-то он и согласился поступить помощником к Яну Мейерсу, который в Мехелене приятель-

ствовал с его отцом. Он признавался также, что служил хирургом в армии католического короля польского, но переносил эту свою деятельность на добрый десяток лет назад. Наконец, он вдовел: покойная его жена была дочерью страсбургского врача. Все эти небылицы, к которым Зенон, впрочем, прибегал, только когда ему задавали нескромные вопросы, весьма потешали старого Яна. Но иногда философу казалось, что маска ничтожного доктора Теуса начинает прилипать к его лицу. Эта воображаемая жизнь вполне могла быть и его собственной. Однажды кто-то спросил его, не встречал ли он в своих странствиях некоего Зенона. Он почти не солгал, когда ответил: "Нет".

Мало-помалу из серости монотонных будней стали выступать какие-то очертания и вехи. Каждый вечер за ужином Ян Мейерс в подробностях рассказывал историю того или другого семейства, у которого Зенон побывал утром, сообщал комические или трагические анекдоты, сами по себе совершенно ничтожные, но свидетельствовавшие о том, что в этом сонном городе интриговали не меньше, чем в гареме великого султана, и развратничали, как в венецианском борделе. За однообразной жизнью каких-нибудь рантье или церковных старост проступали различные характеры и темпераменты; определялись партии, объединенные, как и повсюду, жадной наживы или склонностью к козням, почитанием одного и того же святого, общими болезнями или пороками. Подозрительность отцов, поделки детей, взаимное озлобление старых супругов ничем не отличались от тех, что он наблюдал в семействе Ваза или в княжеских домах Италии, но только тут ничтожество ставки по контрасту придавало несоразмерный размах страстям. Наблюдая эти переплетенные между собой жизни, философ начинал тем более ценить существование, свободное от всяких уз. С мнениями было то же, что и с людьми: они легко укладывались в заранее расчерченные графы. Можно было сразу предсказать, кто будет винить во всех бедах современности вольнодумцев и протестантов и для кого госпожа Наместница будет всегда права. Он мог закончить за них любую фразу, придумать за них ложь по поводу французской болезни, подхваченной в молодости, вообразить себе их увертки или негодующий жест, когда он потребует от имени Яна Мейерса деньги, которые тому забыли заплатить. Если он бился об заклад, он никогда не проигрывал: он знал, чего и от кого ему ждать.

Единственным местом во всем городе, где, казалось, горит светильник вольной мысли, была, как это ни удивительно, келья приора в монастыре миноритов. Зенон продолжал бывать у него в качестве друга, а затем и в качестве врача. Встречи эти были редки, потому что оба были люди занятые. Когда Зенону показалось, что ему необходимо обзавестись духовником, он выбрал приора. Этот священнослужитель не любил нравочений. А его изысканная французская речь ласкала слух, утомленный фламандской невнятицей. Они говорили обо всем, кроме вопросов веры, но более всего церковника занимали дела общественные. Связанный дружбой с некоторыми вельможами, которые пытались бороться с иноземной тиранией, он одобрял их, хотя и страшился, как бы народ Фландрии не был утоплен в крови. Когда Зенон пересказывал старику Яну соображения приора, тот пожимал плечами: бедняки всегда давали себя стричь,

а шерсть доставалась власть имущим. Досадно, однако, что испанцы поговаривают о новых налогах на съестное, да еще намерены взыскивать с каждого подходящий налог в размере одного процента.

В дом на набережной Вье-Ке-о-Буа Себастьян Теус возвращался поздно, предпочитая слишком жарко натопленной гостиной влажную прохладу улиц и далекие прогулки вдоль серых полей за городскими стенами. Однажды, придя домой, когда уже сгущались ранние сумерки, он увидел в прихожей Катарину, которая перебирала в сундуке под лестницей постельное белье. Она не прервала своего занятия, как делала обыкновенно, пользуясь каждым случаем, чтобы на повороте коридора мимоходом коснуться его плаща. Очаг в кухне погас. Зенон ощупью нашел свечу. Еще не остывшее тело Яна Мейерса было заботливо уложено на столе в соседней комнате. Катарина принесла простыню, чтобы накрыть покойного.

— Хозяин помер от удара, — сказала она.

Она напомнила ему женщин, виденных им в Константинополе, когда он служил у султана, — окутанные черными покрывалами, они приходили обмывать умерших. Зенона не удивила кончина старого цирюльника. Ян Мейерс и сам ждал, что подагра вот-вот доберется до его сердца. Несколько недель назад он вызвал приходского нотариуса и передал ему украшенное всеми принятыми благочестивыми выражениями завещание, по которому все свое имущество оставлял Себастьяну Теусу, а Катарине — комнату на чердаке до конца ее дней. Зенон взгляделся пристальней в сведенное судорогой отекшее лицо покойного. Странный запах и темное пятнышко в уголке рта пробудили в нем подозрения, он поднялся к себе и обшарил свой шкаф. Жидкости в маленьком стеклянном пузырьке поубавилось. Зенон вспомнил, как однажды вечером показал старику эту смесь змеиного и растительных ядов, которую приобрел у аптекаря в Венеции. Слабый шорох заставил его обернуться. Катарина наблюдала за ним с порога, как, без сомнения, подглядывала в кухонное окошко, когда он показывал ее хозяину диковинки, привезенные из своих путешествий. Он схватил ее за плечо, она рухнула на колени, захлебываясь потоком невнятных слов и слез.

— Voor u heb ik het gedaan! Я сделала это для вас! — твердила она, громко всхлипывая.

Он грубо оттолкнул ее и спустился вниз, чтобы побыть возле покойного. Старый Ян на свой лад умел наслаждаться жизнью; боли мучили его не настолько, чтобы помешать ему вкушать радости уютного существования еще несколько месяцев, год, а то и два, при благоприятном стечении обстоятельств. Нелепое и бессмысленное преступление лишило Яна скромного удовольствия жить на земле. Он всегда желал Зенону только добра — врача охватила горькая и мучительная жалость к старику. Отравительница вызывала в нем бессильную ярость, какую, наверное, с такой остротой не испытал бы и сам умерший. Ян Мейерс частенько изощрялся в остроумии — а он был наделен им в избытке, — высмеивая нелепости здешнего мира; эта развратная служанка, поторопившаяся одарить богатством человека, который о ней и не думает, будь Ян сейчас жив, дала бы ему пищу

для забавного анекдота. Теперь же старый хирург-цирюльник, спокойно лежавший на столе, казалось, находится за сотни верст от приключившейся с ним беды; по крайней мере сам он всегда смеялся над теми, кто воображает, будто, перестав ходить и переваривать пищу, мы все еще продолжаем мыслить и страдать.

Старика похоронили в приходе Святого Иакова, где он жил. Возвратившись с погребения, Зенон увидел, что Катарина перенесла в комнату покойного хозяина вещи и медицинские инструменты Себастьяна Теуса; она растопила камин и заботливо постелила ему на широкой кровати. Ни слова не сказав, он водворил свои вещи обратно в каморку, которую занимал со времени приезда. Вступив во владение наследством, он тотчас избавился от него, составив дарственную, засвидетельствованную нотариусом, и передав его убежищу Святого Козьмы — старинному приюту на улице Лонг, прилегавшему к монастырю миноритов. В городе, где почти перевелись владельцы солидных состояний, благотивные деяния стали теперь редки; щедрость сьера Теуса, как он и рассчитывал, вызвала всеобщее восхищение. Дом Яна Мейерса должен был отныне стать богадельней для немощных стариков, Катарина оставалась при нем служанкой. Наличные деньги должны были быть употреблены на ремонт ветхих строений приюта Святого Козьмы; в помещениях, еще пригодных для жилья, приор миноритов, ведению которого подлежал приют, поручил Зенону открыть лечебницу для окрестных бедняков и крестьян, наводнявших город в базарные дни. Двух монахов отрядили помогать ему в лаборатории. Новая должность была слишком скромной, чтобы навлечь на Теуса зависть собратьев; пока что его укрытие было надежным. Старого мула Яна Мейерса поставили в конюшню при убежище Святого Козьмы, монастырскому садовнику велено было за ним присматривать. Зенону отвели комнату на втором этаже, куда он перенес часть книг покойного хирурга-цирюльника; еду ему приносили из трапезной.

В хлопотах по переезду и по устройству на новом месте прошла зима; Зенон уговорил приора разрешить ему соорудить баню на немецкий лад и показал ему кое-какие заметки о пользовании ревматиков и сифилитиков горячим паром. Его познания в механике помогли ему без больших затрат распорядиться прокладыванием труб и сооружением печи. В старой конюшне Лигров на улице О-Лен теперь обосновался кузнец; вечерами Зенон приходил к нему и сам ковал, паял, клепал и шлифовал, то и дело обращаясь за советом к кузнецу и его подмастерьям. Мальчишки с ближних улиц, от нечего делать толпившиеся вокруг, восхищались ловкостью его худых пальцев.

Именно в эту тихую пору его жизни Зенона опознали в первый раз. Он находился в лаборатории один — как всегда после ухода монахов; день был базарный, и с трех часов пополудни в лечебнице по обыкновению перебивало множество бедняков. Но вот еще кто-то постучался в дверь; это оказалась старуха, которая каждую субботу привозила в город на продажу масло, — она надеялась, что доктор даст ей лекарство от ломоты в пояснице. Зенон достал с полки фаянсовый горшочек с сильным отвле-

кающим средством. Он подошел к женщине, чтобы объяснить ей, как пользоваться снадобьем. И вдруг увидел, что в выцветших голубых глазах вспыхнуло радостное удивление — тут он тоже ее узнал. Женщина эта служила кухаркой у Лигров в ту пору, когда он был еще малым ребенком. Грета (он вдруг вспомнил, как ее зовут) была замужем за лакеем, который вернул Зенона домой после первого его побега. Зенон вспомнил, что она ласково обходилась с ним, когда он вертелся у нее на кухне, и не запрещала ему лакомиться горячим хлебом или сырым тестом, которое она собиралась сажать в печь. Старуха едва не вскрикнула, но Зенон приложил палец к губам. Сын старой Греты был каретником, который при случае промышлял контрабандой во Франции; бедный ее старик, теперь почти парализованный, в свое время повздорил с местным сеньором из-за нескольких мешков яблок, которые он стащил из сада, примыкавшего к их ферме. Грета знала, что бывают обстоятельства, когда благоразумнее всего скрыться, даже если ты принадлежишь к богатым и знатным — она все еще причисляла Зенона к этой части рода человеческого. Старуха ничего не сказала, только на прощанье поцеловала ему руку.

Этот случай должен был бы насторожить Себастьяна Теуса, ведь в любой день Зенона мог узнать еще кто-нибудь, но, к его собственному удивлению, происшествие это, наоборот, доставило ему удовольствие. Он говорил себе, что теперь за городскими стенами возле Сен-Пьер-де-ла-Диг есть маленькая ферма, где в случае опасности он может переночевать, есть также каретник, чья лошадь и двуколка могут сослужить ему службу. Но этими доводами он лишь обманывал самого себя. Просто ему было приятно думать, что кто-то помнит еще того ребенка, о котором он сам больше не вспоминает, того младенца, с которым, с одной стороны, разумно, а с другой, нелепо отождествлять нынешнего Зенона; кто-то помнит его настолько, что смог узнать этого ребенка в мужчине, и это как бы укрепляло в нем сознание того, что он и в самом деле существует. Между ним и другим человеческим существом протянулась ниточка связи, пусть даже очень тоненькая, которая была не духовной связью, как в его отношениях с приором, и не плотской, как бывало в тех редких случаях, когда он еще позволял себе телесные утехы. Грета приходила теперь почти каждую субботу, чтобы полечить свои старческие недуги, и никогда не являлась без подарка: то принесет кусок масла, завернутый в капустный лист, то домашний пирог, то леденцы, то горсть каштанов. Пока Зенон ел, она глядела на него своими смешливыми старческими глазами. Общая тайна породила их.

БЕЗДНА

Мало-помалу, подобно тому, как от поглощаемой каждый день пищи человек меняется в самой своей субстанции и даже в своей форме, толстеет или худеет, извлекая из съеденного силу или заболевая недугами, которых прежде не знал, так и в нем совершались почти неприметные изменения — плод новых, приобретенных им теперь привычек. Правда,

когда он пытался их разглядеть, грань между вчерашним и сегодняшним стиралась: Зенон, как и всегда, занимался врачеванием, и для него не составляло разницы, пользовал он оборванцев или вельмож. Он назвался вымысленным именем — Себастьян Теус, но он не был уверен и в своих правах на имя Зенона. *Non habet nomen proprium* *: он принадлежал к числу тех, кто до конца дней не перестает удивляться, что у него есть имя, как люди, проходя мимо зеркала, удивляются, что у них есть лицо, и притом именно это лицо. Он жил двойной жизнью и во многом себя приневоливал — но так он жил всегда. Он скрывал мысли, которые были ему всего дороже, но он давно уже понял, что тот, кто обнаруживает себя словами, — глупец, ибо легче легкого предоставить другим сотрясать воздух, работая языком. Редкие приступы красноречия были для него все равно что загул для трезвенника. Он жил почти затворником в своем приюте Святого Козьмы, пленник города, а в городе — квартала, а в квартале — пяти-шести комнат, которые с одной стороны смотрели на огород и монастырские службы, с другой — на глухую стену. В своих прогулках — впрочем, очень редких — за образцами растений он шел всегда одними и теми же пашнями или бечевником, теми же перелесками или дюнами, и не без горечи улыбался, думая о том, что это челночное движение напоминает движение насекомого, которое непонятно зачем кружит по одной и той же пяди земли. Но с другой стороны, всякий раз, когда человек подчиняет все свои способности одной определенной и полезной цели, поле его деятельности неизбежно сужается и он почти механически повторяет одни и те же движения. Оседлая жизнь угнетала Зенона, как тюрьма, на которую он сам осудил себя из осторожности, но приговор этот можно было и отменить: много раз, под другими небесами, он уже обосновывался так, иногда на время, а иногда, как ему казалось, навеки — словно человек, который имеет право жительства повсюду и нигде. В конце концов, может быть, завтра он снова вернется к жизни скитальца — уделу, им самим избранному. И однако что-то менялось в его судьбе: не приметно для него в ней совершался сдвиг. Как человеку, плывущему непроглядной ночью против течения, ему не хватало ориентиров, чтобы точно рассчитать, куда его сносит.

Еще недавно, отыскивая свой путь в переплетении маленьких улочек Брюгге, он полагал, что эта остановка вдали от столбовой дороги честолюбия и знания даст ему возможность передохнуть после треволнений минувших тридцати пяти лет. Он надеялся обрести зыбкую безопасность звяря, успокоенного теснотой и темнотой найденного им логова. Он ошибся. Недвижное существование продолжало бурлить, оставаясь на месте; ощущение почти роковой деятельности клокотало в нем, как подземная река. Снедавшая его мучительная тревога была отлична от тревоги философа, преследуемого за свои сочинения. Время, которое, по его предположениям, должно было оттягивать ему руки, подобно слитку свинца, убежало, дробясь, подобно каплям ртути. Часы, дни и месяцы перестали соответствовать цифрам на часах и даже движению звезд. Иногда ему казалось, что он всю жизнь провел в Брюгге, а иногда — что он возвратился только

* Не имеет собственного имени (*лат.*).

вчера. Смещалось и пространство — расстояния исчезали, как дни. Вот этот мясник или этот торговец вразнос — он вполне мог их видеть в Авиньоне или в Вадстене, а вот эта забытая кнутом лошадь могла точно так же рухнуть на его глазах на улице Адрианополя; этот мясница мог начать браниться и блевать еще в Монпелье; этот ребенок, кричащий на руках у кормилицы, родился в Болонье двадцать пять лет назад, а вот это вступление к воскресной литургии, которую он никогда не пропускал, он слышал пять зим тому назад в краковской церкви. Он редко возвращался мыслью к событиям своей прошлой жизни, которые давно растаяли, как сновидения. Но иногда, без всякого видимого повода, он вспоминал вдруг беременную женщину из городка в Лангедоке, которой вопреки принесенной им клятве Гиппократов он помог вытравить плод, чтобы избавить от позорной смерти, ожидавшей ее по возвращении ревнивого мужа; вспоминал, как морщился, глотая микстуру, его величество король Шведский, или как слуга Алеи помогал его мулу перейти вброд реку между Ульмом и Констанцем, или своего двоюродного брата Анри-Максимилиана, которого, быть может, уже нет в живых. Ложбина, где лужи не просыхали даже летом, напомнила ему некоего Перротена, подстерегавшего его на обочине безлюдной дороги назавтра после ссоры, причины которой уже стерлись в его памяти. Он вновь видел, как сцепились в грязи два тела, как сверкнуло на земле лезвие и как напоролся на нож, выпавший из его же собственных рук, Перротен, который смешался ныне с землей и грязью. Эта старая история не имела теперь никакого значения и значила бы не более, даже если бы этим обмякшим и еще теплым трупом стал двадцатилетний школяр. Нынешний Зенон, тот, который быстрым шагом шел по скользкой мостовой Брюгге, чувствовал, как сквозь него, подобно морскому ветру, пронизывающему его поношенную одежду, струится многотысячный поток существ, которые уже побывали в этой точке земного шара или еще побывают в ней до катастрофы, именуемой нами концом света: призраки эти проходили, не замечая его, сквозь тело человека, которого не было на свете, когда они жили, или которого уже не будет, когда они появятся на свет. Встретившиеся ему мгновение назад на улице прохожие, которых, окинув мимолетным взглядом, он тотчас отбросил в бесформенную массу прошлого, непрерывно увеличивали эту толпу личинок. Время, место, субстанция утрачивали свойства, которые кажутся нам их пределами; форма становилась искромсанной оболочкой субстанции, субстанция по капле стекала в пустоту, которая, однако, не противополагалась ей; время и вечность сливались воедино — так черная вода струится в неподвижной черноте водного зеркала. Зенон погружался в эти видения, как верующий христианин — в размышления о боге.

В идеях его также происходил сдвиг. Теперь процесс мышления занимал его более, нежели сомнительный плод самой мысли. Он наблюдал за ходом своих рассуждений, как мог бы, прижав палец к запястью, считать биение пульсовой жилы или вслушиваться в чередование вдохов и выдохов под собственными ребрами. Всю свою жизнь он поражался способности идей наращиваться, подобно кристаллам, образуя странные бесплотные тела, расти, подобно опухолям, пожирающим плоть, их породив-

шую, и даже чудовищным образом принимать человеческие очертания, подобно той инертной массе, какой разрешаются некоторые женщины и какая на самом деле — всего лишь материя, способная грезить. Очень многие плоды ума тоже были всего лишь бесформенными уродцами. Другие представления, более ясные и отчетливые, словно выкованные мастером своего дела, напоминали предметы, которые прельщают только издали: ты неустанно восхищаешься их изгибами и гранями, но на деле они оказываются лишь решеткой, в которой дух запирает самое себя, и ржавчина лжи уже подтачивает эти умозрительные железки. Иногда тебя охватывает трепет, как в момент трансмутации металлов: тебе кажется, что в тигле человеческого мозга появилась крупца золота, но нет — ты получил все то же исходное вещество; так в обманных опытах, какими придворные алхимики пытаются убедить своих царственных клиентов, будто они чего-то достигли, золото на дне перегонного куба оказывается самым обыкновенным, прошедшим через многие руки дукатом, который перед нагреванием подложил туда герметист. Понятия умирали, как умирают люди — за полвека своей жизни Зенону довелось увидеть, как многие поколения идей обратились в прах.

Напрашивалась более текучая метафора — плод его былых морских странствий. Философ, пытавшийся увидеть человеческий ум в его цельности, представлял себе некую массу, ограниченную кривыми, которые могут быть вычислены, испещренную течениями, карту которых можно составить, изрытую глубокими складками под влиянием воздушных потоков и тяжелой инерции воды. Образы, создаваемые умом, были подобны тем громадным водяным валам, что осаждают друг друга или набегают друг на друга на поверхности пучины; в конце концов каждое понятие поглощается своей противоположностью, подобно тому как взаимно уничтожаются две столкнувшиеся волны, превращаясь в единую белую пену. Зенон следил за этим беспорядочным потоком, который, точно обломки крушения, уносил те немногие осязаемые истины, что кажутся нам бесспорными. Иногда ему чудилось, что под этим течением он различает неподвижную субстанцию, которая относится к мыслям так же, как мысли — к словам. Но не было доказательств тому, что этот субстрат окажется последним пластом и за этой неподвижностью не кроется движение, слишком быстрое для человеческого восприятия. С той поры, как он отказался выражать свою мысль словами или в письменном виде выставлять ее на прилавках книгоиздателей, это лишение побудило его еще глубже погрузиться в изучение понятий в их чистом виде. Теперь ради еще более глубокого исследования он временно отказывался от самих понятий; он задерживал мысль, как задерживают дыхание, чтобы лучше расслышать шум колес, которые вращаются так быстро, что даже не замечаешь их вращения.

Из мира идей он возвращался в мир более плотный — к субстанции, сдерживаемой и ограниченной формой. Запершись в своей комнате, он посвящал теперь свои ночные бдения не стараниям уловить более точные отношения между вещами, но сокровенным размышлениям над

самой природой вещей. Таким способом он исправлял порок умствования, которое стремится овладеть предметом, чтобы заставить его служить себе, или, наоборот, отбрасывает его, не позаботившись сначала проникнуть в своеобразную его субстанцию. Так, вода была для него прежде напитком, утоляющим жажду, жидкостью, которая моет, составной частью мира, сотворенного христианским Демиургом, о котором ему поведал когда-то каноник Бартоломе Кампанус, говоривший о Духе, носившемся над водою; она была важным элементом гидравлики Архимеда и физики Фалеса Милетского или алхимическим знаком сил, направленных книзу. Когда-то он вычислял перемещения ее, отмерял дозы, ожидал, чтобы капли претерпели превращение в трубках перегонного куба. Ныне, отказавшись от наблюдения извне, которое старается разять и обособить, в пользу видения изнутри, свойственного философу-герметисту, он представлял воде, которая присутствует во всем, захлестывать его комнату, подобно волнам потопа. Шкаф, скамейки пускались вплавать, стены проламывались под давлением воды. Он уступал потоку влаги, которая готова принять любую форму, но не поддается сжатию; он делал опыты, следя за изменением поверхности воды, превращающейся в пар, и за дождем, превращающимся в снег; он пытался восчувствовать временную скованность льда или скольжение прозрачной капли, которая в своем движении по стеклу по необъяснимой причине уклоняется вдруг в сторону — этаким текучий вызов предсказаниям, составителей расчетов. Он отказывался от ощущений тепла и холода, присущих телу: вода выносит трупы так же равнодушно, как груды водорослей. Потом, вновь облакаясь покровом собственной плоти, он находил и в ней жидкий элемент — мочу в мочевом пузыре, слюну во рту, воду, входящую в состав крови. Вслед за тем, обращая мысль к тому элементу, частицей которого всегда ощущал себя, он размышлял об огне, чувствуя в себе умеренное и благотворное тепло, которым люди наделены наравне с четвероногими и птицами. Он думал о губительном пламени лихорадки, который так часто без успеха пытался погасить. Ему был внятен жадный взлет занимающегося огня, багряное веселье его пыланья и его гибель в черном пепле. Осмеливаясь идти далее, он проникался безжалостным жаром, истребляющим все, к чему он ни прикоснется; он вспоминал костер аутодафе, виденный им однажды в маленьком городке в Леоне, где были преданы сожжению четверо евреев, которых обвинили в том, что они лишь для виду приняли христианство, а на деле продолжают исполнять обряды, унаследованные от предков; вместе с ними сожгли еретика, отрицавшего силу таинств. Он воображал муку, которая не может быть выражена словом, он становился тем, кто обонял запах собственной горячей плоти; он кашлял, задыхаясь от дыма, которому суждено развеяться только после его смерти. Он видел, как почернела нога, суставы которой лижут языки пламени, распрямившись, поднимается кверху, точно ветка, извивающаяся под вытяжкой очага; и в то же время он внушал себе, что огонь и поленья невинны. Он вспоминал, как завтра после аутодафе, совершенного в Асторге, вдвоем со старым монахом-алхимиком Доном Бласом де Вела шел по обугленной площадке, которая походила на площадку перед хижиной углежогов; ученый доминиканец наклонился и тщательно выбрал из остывших головешек

мелкие и легкие побелевшие кости, ища среди них luz — кость, которая, согласно иудейским верованиям, не поддается огню и служит залогом воскресения. Тогда он улыбнулся суевериям кабалиста. А теперь, в тоскливой испарине, он вскидывал голову и, если ночь была светлой, с какой-то бесстрастной любовью созерцал через стекло недосягаемое пламя небесных светил.

Но чем бы он ни занимался, размышления неизменно возвращали Зенона к человеческому телу — главному предмету его исследований. Он прекрасно знал, что в его снаряжении медика равная роль принадлежит искусным рукам и выведенным из опыта прописям, которые пополняются находками, также извлеченными из практики, а они в свою очередь ведут к теоретическим выводам, всегда временным: унция осмысленного наблюдения в его ремесле всегда дороже тонны вымыслов. И однако после стольких лет, отданных разборке человеческой машины, он корил себя за то, что не отважился на более смелое изучение этого царства в границах кожи, владыками которого мы себя мним, оставаясь на деле его узниками. В Эйюбе дервиш Дараци, с которым он подружился, показал ему приемы, которым научился в Персии в одном еретическом храме, ибо у Магомета, как и у Христа, есть свои инакомыслящие. И вот в монастырской каморке в Брюгге он вернулся к изысканиям, начатым когда-то во дворике, орошаемом источником. Они завели его далее, нежели все так называемые опыты *in anima vili* *. Лежа на спине, втянув живот и расширив грудную клетку, где мечется пугливый зверек, который мы называем сердцем, он усердно наполнял свои легкие, сознательно превращая себя в мешок с воздухом, уравновешенный небесными силами. Так до самых недр своего существа советовал ему дышать Дараци. Вместе с дервишем наблюдал он и за первыми признаками удущья. Он поднимал руку, поражаясь, что приказание отдано и принято, хотя мы в точности не знаем, что за властелин, которому служат более исправно, чем нам самим, скрепил своей подписью этот приказ; и в самом деле — он тысячи раз замечал, что желание, зародившееся в мозгу, даже если сосредоточить на нем все свои мыслительные усилия, способно заставить нас моргнуть или нахмурить брови не более, чем заклинания ребенка — сдвинуть камни. Для этого нужно молчаливое согласие какой-то части нашего существа, находящейся уже ближе к безднам тела. Кропотливо, как отделяют один от другого волокна стебля, он отделял друг от друга разные формы воли.

Он по мере сил старался управлять сложными движениями своего занятого работой мозга, но делал это подобно ремесленнику, осторожно прикасающемуся к колесам машины, которую не он собрал и которую не сумеет починить. Колас Гел лучше разбирался в своих ткацких станках, нежели он — в тонких движениях скрытого в его черепе механизма, который предназначен для мышления. Его собственный пульс, биение которого он так настойчиво изучал, совершенно не повиновался

* Букв.: на одушевленном предмете, которого не жалко (лат.).

приказам, посылаемым его мозгом, но реагировал на страх или боль, до которых не опускался его дух. Орудие пола откликалось на мастурбацию, но это сознательное действие погружало его на миг в состояние, уже не подвластное его воле. Точно так же раз или два в жизни у него, к его стыду, непроизвольно брызнули слезы. Его кишки — алхимики куда более искусные, нежели когда-либо был он сам, — трансмутировали трупы животных или растений в живую материю, отделяя без его помощи полезное от бесполезного. *Ignis inferiorae naturae* *: коричневая грязь, искусно свернутая в спирали, еще дымящиеся от варения, которому она подверглась в своей реторте, или глиняный горшок с жидкостью, содержащей аммиак и селитру, были наглядным и зловонным доказательством работы, какая совершается в лабораториях, куда нам нет доступа. Зенону казалось, что отвращение людей утонченных и грубый гогот невежд вызваны не столько тем, что предметы эти оскорбляют наши чувства, сколько ужасом перед неотвратимым и тайным навыком тела. Погрузившись еще глубже в кромешную тьму внутренностей, он устремлял свое внимание на устойчивый каркас из костей, спрятанный под плотью, который переживет его самого и несколько веков спустя будет единственным доказательством того, что он жил на свете; он проникал в глубь минерального состава этого каркаса, не подвластного его человеческим страстям и чувствам. Потом снова, как занавесом, затянув его недолговечной плотью, он рассматривал себя, лежащего в постели на грубой простыне, как некое целое — и то сознательно расширял свое представление об этом островке жизни, находящемся в его владении, об этом плохо изученном материке, где ноги играют роль антиподов, то, наоборот, сужал его до размеров точки в необъятной Вселенной. Пользуясь наставлениями Дараци, он старался переместить свое сознание из области мозга в другие части тела, наподобие того как переносят в отдаленную провинцию столицу королевства. Он пытался то так, то эдак осветить лучом света эти темные галереи.

Когда-то вместе с Яном Мейерсом он потешался над ханжами, которые в машине, называемой Человеком, видят неоспоримое свидетельство, выданное на имя мастера-бога, его сотворившего; но теперь и почтение атеистов к случайному шедевру, каким представляется им человеческая природа, казалось ему равно достойным осмеяния. Тело это, столь богатое скрытым могуществом, обладало множеством изъянов; в минуты дерзновения он сам мечтал о том, чтобы изобрести механизм более совершенный. Со всех сторон рассматривая внутренним взором пятиугольник наших чувств, он осмеливался предположить возможность создания других, более искусных устройств, способных воспринимать мир с большей полнотой. Перечень девяти врат восприятия, отверстых в непроницаемости тела, которые Дараци назвал ему, загибая один за другим свои желтоватые пальцы, когда-то показался Зенону грубой попыткой классификации, предпринятой полуварваром-анатомистом, и, однако, она обратила его внимание на хрупкость желобов, от которых зависит наше познание мира и наше бытие. Столь велика наша уязвимость, что достаточно зажать

* Огонь нижней природы (*лат.*).

два узких прохода — и для нас умолкнет мир звуков, или заградить два других канала — и померкнет свет. А стоит заткнуть кляпом три из этих отверстий, расположенных так близко одно от другого, что их можно без труда разом накрыть ладонью, — и конец животному, которому нужно дышать, чтобы жить. Громоздкая оболочка, которую ему приходилось мыть, питать, согревать у огня или под шерстью погибшего животного, а вечером укладывать спать, как ребенка или слабоумного старика, была, на горе своему обладателю, заложницей у всей природы и — что еще хуже — у человеческого общества. Быть может, через эту плоть, через эту кожу познает он однажды муки пыток, быть может, ослабление этих пружин помешает ему однажды завершить начатую мысль. Если ему и казались иногда подозрительными выкладки собственного ума, который удобства ради он отделял от остальной материи, то прежде всего потому, что калекка этот зависел от услуг тела. Его начинало тяготить это соединение мерцающего огонька и плотной глины. Exitus rationalis *: появлялось искушение, повелительное, как кожный зуд; отвращение, а может, и тщеславие толкало его сделать движение, которое положило бы конец всему. Он с важностью качал головой, словно убеждая больного, который слишком рано требует лекарства или пищи. Всегда будет время уничтожиться вместе с этой тяжеловесной опорой либо продолжать без нее непредсказуемую жизнь, лишенную субстанции, и кто знает: счастливее ли она той, что мы ведем во плоти.

Этот путник, достигший рубежа пятидесяти с лишком лет, впервые в жизни почти насильно принудил себя шаг за шагом мысленно восстановить пройденные им тропы, отличив случайное от обдуманного или необходимого, пытаясь провести грань между тем немногим, чему он, казалось, обязан собственной личности, от того, что определяла его принадлежность к роду человеческого. В его судьбе все вышло не вполне так, но и не до конца по-иному, нежели он вначале хотел или наперед загадывал. Ошибки иногда порождались воздействием элемента, о присутствии которого он не подозревал, а иногда — погрешностями в исчислении времени, которое являло способность сокращаться и растягиваться, отклоняясь от того, что показывают часовые стрелки. В двадцать лет он мнил себя свободным от косности и предрассудков, которые парализуют нашу способность к действию и надевают шоры на мысль, но потом потратил жизнь на то, чтобы по крупницам накапливать ту самую свободу, всем капиталом которой наивно полагал себя в силах распорядиться с самого начала. Человеку не дано той свободы, какой он хочет, жаждет, боится, может быть, даже той, с какой он пытается жить. Врач, алхимик, пиротехник, астролог, он волей-неволей носил ливрею своего времени; он предоставил веку навязать своему уму определенные кривые. Из ненависти ко лжи, но также по некоторой язвительности нрава он ввязался в борьбу мнений, в которой бессмысленному "Да!" противостоит дурацкое "Нет!" Настороженным взглядом он поймал себя на том, что находил более чудовищными

* *Здесь: сознательно избранная смерть (лат.).*

преступления и более глупыми предрассудки тех республик или венценосцев, которые угрожали его жизни или сжигали его книги, и напротив, ему случалось преувеличить достоинства какого-нибудь простака в митре, в короне или тиаре, милости которого позволили ему претворить мысль в дело. Желание усовершенствовать, преобразовать или подчинить себе хотя бы какую-то часть меры вещей побудило его следовать за великими мира сего, возводя карточные домики и пытаясь оседлать миражи. Он припоминал свои иллюзии. В бытность его при дворе султана дружба всемогущего и злосчастного Ибрагима, визиря великого паши, вселила в него надежду довести до конца свой план осушения болот в окрестностях Адрианополя; мечтал он и о разумном переустройстве больницы янычаров; по его настоянию стали понемногу приобретать рассеянные в разных местах драгоценные манускрипты греческих врачей и астрономов, когда-то собранные учеными арабами, где среди кучи вздора встречаются порой истины, которые полезно вспомнить. Был, в особенности, некий Диоскорид, в чьей рукописи, оказавшейся в руках еврея Хамона — медика, также состоявшего при султанине, — содержались фрагменты более древнего труда Кратея... Но с кровавым падением Ибрагима все рухнуло, и эта очередная превратность судьбы после стольких разочарований вселила в него такое отвращение ко всему, что он даже не вспоминал никогда эти злополучные свои начинания. Он только пожал плечами, когда трусливые обыватели Базеля в конце концов отказались предоставить ему кафедру, напуганные слухами, называвшими его содомитом и колдуном. (Он побывал в свое время и тем и другим, но названия не соответствуют явлениям, которые они обозначают, — они выражают лишь отношение человеческого стада к этим явлениям.) И все же при одном упоминании о базельских трусах он долго еще ощущал на губах привкус желчи. В Аугсбурге он горько сожалел, что приехал слишком поздно и потому не получил у Фуггеров место врача на рудниках, где мог бы наблюдать болезни рудокопов, работающих под землей и подверженных мощному воздействию Сатурна и Меркурия. Ему виделись тут безграничные возможности лечебных приемов и медикаментов. Само собой, он понимал, что разнообразные замыслы принесли ему пользу: они, так сказать, не давали уму застаиваться — никогда не следует торопиться пристать к навеки незыблемому. Но теперь, на расстоянии, былая суета казалась ему бурей в стакане воды.

То же касалось и сложного поприща плотских наслаждений. Те, что предпочитал он, принадлежали к числу самых потаенных и опасных, во всяком случае, в христианском мире и в эпоху, когда волей случая ему привелось родиться; быть может, он потому и искал их, что таинственность и запретность приравнивали их к яростному вызову установленным обычаем, к погружению в мир, который клокочет в недрах под сбоем видимого и дозволенного. А может быть, его выбор диктовался влечением, простым и необъяснимым, как предпочтение одного плода другому — не все ли равно. Главное, приступы сластолюбия, как и порывы честолюбия, были у него редки и кратки, словно его натуре свойственно было быстро исчерпывать то, чему могут научить или что могут подарить страсти. Странная магма, которую проповедники нарекли не так уж плохо подобранным словом — плотоугодие (потому что, как видно,

тут дело и впрямь в щедрости растрачивающей себя плоти), плохо поддавалась исследованию из-за многообразия своих составляющих, которые в свою очередь дробились на далеко не простые компоненты. В нее входила любовь (хотя, быть может, реже, чем это утверждают), но ведь и любовь — понятие сложное. Мир так называемых низменных ощущений связан с самым тонким в человеческой природе. Как самое оголтелое честолюбие в то же время являет собой и полет ума, стремящегося усовершенствовать, переделать все вокруг, так и плоть в своих дерзаниях уподоблялась уму в его любознательности и подобно ему предавалась фантазиям; хмель сладострастия черпал свою силу в соках не только телесных, но и душевных. Входили сюда и другие чувства, в которых незазорно признаться любому мужчине. Брат Хуан в Леоне и Франсуа Ронделе в Монпелье были братьями, умершими в юности; к своему слуге Алеи, а позднее к Герхарду в Любеке он относился с отцовской нежностью. Эти властные страсти казались ему в свое время неотъемлемой частью его человеческой свободы — теперь же он чувствовал себя свободным, избавившись от них.

Те же соображения можно было отнести и к немногим женщинам, с которыми его связывали плотские отношения. Он не стремился объяснить себе причины этих кратких привязанностей, быть может, более памятных, чем другие связи, потому что возникали они не столь непосредственно. Породило ли их внезапное желание, внушенное линиями, присутствующими именно этому телу, потребность в том глубоком покое, который иногда источает женщина, трусливая попытка быть как все или затаенная глубже, нежели тяготение или порок, смутная мечта проверить истинность герметических утверждений на совершенной чете, которая воссоздала бы преображенного гермафродита древности? Лучше сказать, что случай в те дни принял образ женщины. Тридцать лет назад в Алжире, пожалев ее несчастную юность, он купил девушку благородного происхождения, которую пираты похитили в окрестностях Валенсии; он рассчитывал при первой же возможности отправить ее обратно в Испанию. Но в тесном домике на африканском берегу между ними установилась близость, весьма напоминавшая супружескую. То был единственный раз, когда ему пришлось иметь дело с девственницей: от их первого сближения у него осталось не столько торжествующее чувство победы, сколько ощущение, что перед ним создание, которое надо утрачивать и утешить. Несколько недель подряд делил он постель и стол с этой мрачноватой красавицей, которая благоговела перед ним, словно перед святым. Без всякого сожаления вверил он ее французскому священнику, отправлявшемуся морем в Пор-Вандр с немногочисленной группой пленников обоего пола, которых возвращали их семьям. Небольшая сумма денег, которую Зенон дал ей с собой, без сомнения, облегчила ей возможность добраться до ее родной Гандии... Позднее, под стенами Буды, среди военных трофеев, какие пришлось на его долю, оказалась могучая молодая мадьярка; он принял ее, чтобы не слишком выделяться в лагере, где его имя и облик и без того уже привлекали к себе внимание и где, как бы ни оценивал он про себя церковные догматы, его, как христианина, считали человеком низшего сорта. Он и не подумал бы воспользоваться правом победителя, если б

она не жаждала так сыграть роль добычи. Никогда, казалось ему, не вкушал он с таким наслаждением от плода Евы... В то утро он вместе с офицерами султана отправился в город, а по возвращении в лагерь узнал, что в его отсутствие был получен приказ избавиться от рабов и имущества, обременявших армию; трупы и узлы тряпья еще плыли по реке... Образ этого жаркого тела, так быстро охладевшего, надолго потом отворотил его от плотских связей. А потом он воротился в жгучие пустыни, населенные соляными столпами и длиннокудрыми ангелами...

На Севере хозяйка Фрешё оказала ему достойный прием по возвращении его из странствий на край полярной земли. Все в ней было прекрасно: высокий рост, светлая кожа, ловкие руки, которые умело перевязывали раны и отирали горячую испарину, и то, как легко она ступала по мшистой земле в лесу, невозмутимо приподнимая над голыми ногами подол тяжелого суконного платья, когда надо было перейти реку вброд. Посвященная в тайны искусства лапландских шаманов, она водила его в хижины на берегу болот, где лечили окуриванием и магическими омовениями под звуки песен... Вечером в своем маленьком поместье Фрешё она поставила перед ним на покрытый белой скатертью стол угощение — ржаной хлеб, соль, ягоды и вяленое мясо — и пришла к нему в комнату наверх, чтобы лечь с ним рядом в постланную для него широкую постель с невозмутимым бесстыдством законной жены. Она вдовела и на Святого Мартина собиралась выйти замуж за одного из холостых фермеров по соседству, чтобы поместье не попало под опеку ее старших братьев. Захоти Зенон, и он мог бы остаться в этой обширной, словно целое королевство, провинции, заниматься врачеванием, писать свои трактаты у теплого очага, а вечерами подниматься в башенку, чтобы наблюдать звезды... И однако, проведя в этих краях восемь или десять летних дней, похожих на один сплошной день без ночи, он снова пустился в путь, чтобы попасть в Упсалу, куда в эту пору перебрался двор, — в надежде удержаться еще некоторое время при короле и воспитать из молодого принца Эрика того ученика-монарха, мечта о котором извечно была последним и тщетным упованием философов.

Однако усилие, какое приходилось делать, чтобы вызвать в памяти всех этих людей, само по себе уже преувеличивало их значение и отводило чрезмерную роль плотским скрепам. Лицо Алеи вспоминалось ему теперь не чаще, чем лица замерзших на дорогах Польши безвестных солдат, которых за недостатком времени и средств он даже не пытался спасти. Изменившая мужу горожаночка из Пон-Сент-Эспри была ему противна своим округлившимся животом, скрытым под сборками гипюра, кудряшками, обрамлявшими заострившееся и пожелтевшее лицо, своей жалкой и грубой ложью. Его раздражало, что, даже умирая от страха, она строит ему глазки, потому что не знает другого способа подчинить себе мужчину; и однако ради нее он поставил на карту свою врачебную репутацию; то, что надо было торопиться до возвращения ревнивого мужа, что пришлось

закопать в саду под оливой жалкие останки соития двух людей и золотом оплатить молчание служанок, помогавших выхаживать госпожу и отстирывавших окровавленные простыни, связало его с несчастной женщиной близостью сообщников: он узнал ее лучше, чем любовник — свою возлюбленную. Встреча с хозяйкой Фрешё была для него во всем благотворной, но не более, чем встреча с рябой булочницей, которая помогла ему однажды вечером в Зальцбурге, когда он присел отдохнуть под навесом ее лавки. Это было после бегства из Инсбрука, он озяб и выбился из сил, пробираясь по засыпанному снегом и разбитым дорогам. Она поглядела из окна на человека, скрючившегося на маленькой каменной скамье, и, без сомнения, приняв его за нищего, протянула ему еще теплую булочку. А потом из предосторожности поплотнее задвинула оконный засов. Он прекрасно понимал, что эта недоверчивая благодетельница могла бы и огреть его кирпичом или лопатой. Тем не менее удача в тот раз обернулась к нему этим лицом. Впрочем, дружба или вражда в конечном счете стояли так же мало, как соблазны плоти. Люди, сопутствовавшие ему в жизни или случайно пересекшие его путь, не теряя своих личных черт, уже сливались в безмянности минувшего, как сливаются в одно дерево в лесу, когда глядишь на них издалека. Бартоломе Кампанус мешался с алхимиком Римером, хотя идеи последнего ужаснули бы священнослужителя, и даже с покойником Яном Мейерсом, которому, будь он жив, как и канонику, перевалило бы сейчас за восемьдесят. Братец Анри в своем кожаном снаряжении, Ибрагим в кафтане, принц Эрик и убийца Лорензаччо, с которым он когда-то провел в Лионе несколько памятных вечеров, были теперь просто разными ликами одной и той же субстанции, имя которой — человек. Пол имел значение куда меньшее, чем то предполагал смысл или бессмыслица желания: хозяйка Фрешё могла быть его товарищем, Герхарду была свойственна девичья изнеженность. Все эти существа, встреченные и покинутые на жизненном пути, походили на те призрачные образы, которые никогда не увидишь дважды, но которые, возникая во мраке под сомкнутыми веками в миг перед погружением в сон и сновидения, отличаются почти устрашающей выпуклостью и своеобычностью — порой они мелькают, исчезая с быстротой метеора, порой тают под пристальным взглядом внутреннего ока. Математические законы, еще более сложные и менее изведенные, нежели законы, которым повинуются наш дух и органы чувств, управляют движением этих призраков.

Впрочем, верно было и обратное. Все случившееся являло собою неподвижные точки, пусть даже события прошлого остались у тебя позади и поворот скрывает от твоего взора те, что грядут; то же происходило и с людьми. Воспоминание — это просто взгляд, который от времени до времени останавливается на существах, обретших жизнь в тебе самом, но существующих уже независимо от твоей памяти. В Леоне, где Дон Блас де Вела заставил Зенона облачиться на время в одежду послушника, дабы удобнее было пользоваться его помощью в алхимических опытах, в монастыре, перенаселенном так, что новичкам приходилось вдвоем или втроем спать под одним одеялом на общем сенике, соломенный тюфяк делил с Зеноном его сверстник, монах брат Хуан. В монастырских стенах, куда проникал и ветер и снег, Зенон появился, уже страдая жестокой про-

студой. Хуан не щадил сил, выхаживая своего товарища, крал для него бульон у брата-кухаря. Между двумя молодыми людьми некоторое время царил атом *perfectissimus* *, но, как видно, это нежное сердце, исполненное особенным поклонением возлюбленному апостолу Иакову, не могло снести богохульства и всеотрицания Зенона. Когда Дон Блас де Вела, изгнанный собственными монахами, которые усмотрели в нем опасного колдуна-кабалиста, поплелся, изрыгая проклятия, прочь из монастыря вниз по крутому склону, брат Хуан решил сопровождать отрешенного от власти старика, хотя не был ни любимцем его, ни приверженцем. Зенону же, напротив, этот монастырский переворот позволил навеки разорвать с ненавистной ему стезей и в одежде мирянина отправиться в другие места изучать науки, не столь глубоко погрязшие в трясине фантазии. Вопрос о том, придерживался или нет его наставник иудаистских обрядов, ничуть не волновал молодого школяра, для которого, согласно древней формуле, от поколения к поколению, из уст в уста тайком передававшейся школярами, христианское вероучение, иудаизм и магометанство являли собой триединую ложь. Дон Блас, без сомнения, окончил свои дни где-нибудь на дороге или в церковной темнице; должно было пройти тридцать пять лет, чтобы бывший ученик усмотрел в его безумии неизъяснимую мудрость. Что до брата Хуана, если он жив, ему скоро стукнет шестьдесят. Оба эти образа Зенон сознательно вычеркнул из памяти вместе с несколькими месяцами, проведенными в монашеской рясе и скуфье. И однако брат Хуан и Дон Блас все еще тащились по каменистой дороге под пронизывающим апрельским ветром и оставались там независимо от того, вспоминал он о них или нет. Франсуа Ронделе, который, строя планы будущего, бродил вместе со своим однокашником по песчаным равнинам, существовал наравне с Франсуа, который лежал обнаженный на столе в университетском анатомическом театре, а доктор Ронделе, демонстрировавший сочленения руки, казалось, обращается не столько к своим ученикам, сколько к самому мертвецу, и приводит доводы постаревшему Зенону. *Unus ego et multi in me* **. Ничто не могло изменить эти статуи, застывшие на своих местах, навечно закрепленных в неподвижном пространстве, которое, быть может, и есть вечность. А время — не что иное, как тропа, соединяющая их между собой. Существовала и связующая нить: услуги, не оказанные одному, оказаны другому — ты не помог Дону Бласу, но зато в Генуе помог Иосифу Ха-Коэну, который тем не менее продолжал смотреть на тебя как на собаку-христианина. Ничто не имело конца: наставники или собратья, внушившие ему свою мысль или, наоборот, натолкнувшие его на мысль, противную собственной, глухо продолжали вести свой непримиримый диспут, и каждый был замкнут в своем мировоззрении, как маг — в своем магическом круге. Дарацы, искавший бога, который был бы ближе ему, чем его собственная яремная вена, будет до скончания времен спорить с Доном Бласом, для которого богом было явное "Нет!", как Ян Мейерс — смеяться над словом "бог" своим беззвучным смехом.

* Совершеннейшая любовь (*лат.*).

** Я один, и многие во мне (*лат.*).

Более полувека пользовался он своим умом, словно приютом, где можно попытаться расширить щели в стенах, сдавивших нас со всех сторон. Трещины и в самом деле расширялись, или, вернее, казалось, стена сама собой теряет свою плотность, оставаясь, однако, непрозрачной, словно это уже стена из дыма, а не из камня. Предметы переставали играть роль полезных принадлежностей. Как волос из матраца, вылезала из них их субстанция. Комната зарастала лесом. Скамейка, высота которой определена расстоянием, отделяющим ягодицы сидящего человека от пола, стол, за которым едят или пишут, дверь, которая соединяет ограниченный перегородками воздушный куб с соседним кубом, — утрачивали назначение, приданное им мастеровыми, и становились стволами и ветками, с содранной, как у святого Варфоломея на церковных изображениях, кожей, с призрачной листвой, полной невидимых птиц, стволами и ветками, еще скрипящими под давно утихшими порывами бури и хранящими оставленный рубанком след — сгусток смолы. От одеяла и висевшей на гвозде старой одежды пахло потом, молоком и кровью. Стоящие у кровати стоптанные башмаки поднимались и опускались от дыхания растянувшегося на траве быка, а в сале, которым их смазал сапожник, еще визжала заколотая свинья. Всюду пахло насильственной смертью, точно на бойне или в камере висельников. Перо, которое послужит для того, чтобы начертать на клочке бумаги мысли, почитаемые достоянием вечности, кричало голосом зарезанного гуся. Все оборачивалось чем-то иным: рубашка, которую отбеливали для него сестры-бернардинки, была полем льна голубее неба и еще волокнами, которые вымачивают на дне канала. Флорины в его кармане с изображением покойного императора Карла прошли через множество рук: их меняли, отдавали, крали, взвешивали и стесывали тысячи раз, прежде чем он мог счесть их на какое-то время своей собственностью, но все это коловращение среди скупцов и расточителей было лишь мигмом в сравнении с долготой инертного состояния самого металла, влитого в жилы земли еще до рождения Адама. Кирпичные стены превращались в глину, какой им снова однажды суждено стать. Пристройка к монастырю миноритов, где он мог чувствовать себя в относительно тепле и безопасности, переставала быть домом, этим геометрическим пристанищем человека, надежным кровом для духа даже более, чем для тела. В лучшем случае она становилась хижиной в лесу, палаткой на обочине дороги, клочком материи, брошенным между бесконечностью и нами. Сквозь черепицу проникал туман и лучи не постижимых светил. Населяли это жилище сны мертвецов и множество живых, исчезнувших подобно мертвым: десятки рук вставляли эти стекла, лепили кирпичи, распиливали доски, забивали гвозди, шили и клеили, но найти еще здравствующего мастера, который выткал этот кусок грубошерстной ткани, так же трудно, как вызвать к жизни умершего. Люди жили здесь, подобно личинке в коконе, и будут жить так же после него. Надежно укрытые и даже просто невидимые глазу крыса за перегородкой и жук, подгачивающий изнутри гнилую балку, совсем иначе, чем он, воспринимают заполненное пространство и пустоты, которые он именует своей комнатой... Зенон поднимал глаза вверх. На потолке, на старом бревне, вновь употребленном в дело, был выжжен год — 1491. В ту пору, когда на дереве

запечатлели это число, которое теперь ни для кого не имеет значения, на свете еще не было ни Зенона, ни женщины, которая его родила. Шутки ради он переставил цифры — получилось 1941 год после Рождества Христова. Он попытался представить себе этот год без всякой связи с собственным существованием — можно было сказать только одно: он настанет. Зенон ступал по собственному праху. Но у времени было сходство с желудями — их вырезал нерукотворный резец. Земля вращалась, не ведая ни о Юлианском календаре, ни о христианской эре, описывая окружность без начала и конца, подобную гладкому кольцу. Зенону вспомнилось, что у турок теперь 973 год Хиджры, а Дарацци тайком вел летосчисление от эры Хосровов. Перебросившись мыслью от года к дню, он подумал о том, что над крышами Перы сейчас поднимается солнце. Комната начинала давать крен, перемычки кровати скрипели, как якорная цепь, а сама кровать плыла с запада на восток против видимого движения неба. Уверенность в том, что ты пребываешь в покое в каком-то уголке земли белгов, была последним заблуждением: в той точке пространства, где он сейчас находится, через час окажется море с его волнами, а еще немного позднее — обе Америки и Азия. Эти края, в которые ему не суждено попасть, пластами накладывались в бездне на убежище Святого Козьмы. А сам Зенон перстью развеивался по ветру.

Solve et coagula... * Он знал, что означает этот обрыв мысли, эта трещина в здании мира. Юным школяром он вычитал у Николая Фламелья описание *opus nigum* ** — попытки растворения и обжига форм, являющей собой самую трудную часть Великого Деяния. Дон Блас де Вела неоднократно торжественно заверял его, что операция эта совершится сама собой, независимо от твоей воли, если будут неукоснительно соблюдены все ее условия. Школяр запоем изучал формулы, которые казались ему извлеченными из какой-то зловещей, но, быть может, правдивой колдовской книги. Это алхимическое расчленение, столь опасное, что герметические философы говорили о нем только иносказаниями, и столь изнурительное, что целые жизни прошли в тщетных усилиях его достигнуть, он когда-то смешивал с дешевым бунтарством. Потом, отринув пустые мечтания, столь же древние, как само человеческое заблуждение, он сохранил от наставлений своих учителей-алхимиков лишь несколько чисто практических рецептов, дабы растворять и сгущать в опыте, имеющем дело с телесной оболочкой вещей. Теперь две ветви параболы встретились: *mors philosophica**** свершилась: оператор, обожженный кислотами, был одновременно и субъектом, и объектом, хрупким перегонным аппаратом и черным осадком на дне сосуда-приемника. Опыт, который полагали возможным ограничить лабораторией, распространился на все. Означало ли это, что последующие стадии алхимического действия вовсе не бредни и в один прекрасный день он познает аскетическую чистоту Белой стадии, а

* Растворяй и коагулируй... (лат.)

** Букв.: Черная стадия, или стадия чернения (лат.).

*** Философская смерть (лат.).

потом торжество сопряженных духа и плоти, присущее Красной стадии? Из расколотых недр рождалась химера. В дерзости своей он говорил: "Да!", как прежде дерзко говорил: "Нет!" И вдруг останавливался, сам себя осаживая. Первая фаза Деяния потребовала всей его жизни. Ему не хватит времени и сил, чтобы идти дальше, даже если допустить, что тропа существует и человек может по ней пройти. За загниванием мысли, отмиранием инстинктов, распадом форм, почти непереносимым для человеческой природы, или последует настоящая смерть (интересно было бы знать — какая); или дух, возвратившись из головокружительных далей, вновь усвоит все те же навыки, только обретя при этом более свободные и как бы очищенные дарования. Хорошо было бы увидеть их плоды.

Он и начинал их видеть. Труд в лечебнице его не утомлял: никогда еще рука его не была так тверда и глаз так точен. Оборванцев, терпеливо дожидавшихся с утра начала приема, он лечил с таким же искусством, как когда-то великих мира сего. Совершенно избавленный от соображений честолюбия или страха, он мог свободнее и почти всегда с успехом применять свои методы: эта полная самоотдача исключала даже чувство жалости. От природы сложения сухого и нервного, он, казалось, окреп с годами, не замечал зимней стужи и летней сырости, не страдал более от ревматизма, подхваченного в Польше. Перестали его мучить и последствия перемежающейся лихорадки, которую он когда-то вывез с Востока. Он равнодушно ел то, что один из братьев, которого приор отрядил помогать в лечебнице, приносил ему из трапезной, а в трактире выбирал самую дешевую пищу. Мясо, кровь, потроха — все, что когда-то трепетало жизнью, в эту пору претило ему, потому что животное, подобно человеку, умирает в муках, и ему было противно переваривать чью-то агонию. С того времени, когда в Монпелье в лавке мясника он собственной рукой зарезал свинью, чтобы проверить, совпадает ли пульсация артерии с систолой сердца, он считал бессмысленным прибегать к разным выражениям, говоря о животном — "забить", а о человеке — "убить", о животном — "сдохло", о человеке — "умер". Из пищи он предпочитал теперь хлеб, пиво, кашу, которые как бы еще хранили в себе густой дух земли, сочные травы, освежающие плоды и съедобные корни. Трактирщик и брат-кухарь восхищались его воздержанностью, причину которой усматривали в благочестии. И однако иногда он заставлял себя смаковать порцию требухи или кусок кровавой печенки, дабы убедиться, что отказывается от этой пищи обдуманно, а не по прихоти вкуса. Гардеробу своему он никогда не уделял внимания — то ли по рассеянности, то ли из небрежения он его больше не обновлял. В вопросах эротических он по-прежнему оставался медиком, который когда-то рекомендовал своим пациентам заниматься любовью для поддержания сил, как в других случаях назначал им пить вино. Жгучие ее тайны казались ему притом для некоторых смертных единственным путем, открывающим доступ в то огненное царство, мельчайшими искорками которого мы, быть может, являемся, но миг этого высочайшего взлета был краток, и про себя он подозревал, что для философа действие, столь под-

властное оковам материи, столь зависящее от инструментов, сотворенных из плоти, — всего лишь один из тех опытов, которые должно проделать, чтобы потом от них отказаться. Целомудрие, представлявшееся ему прежде предрассудком, с которым следует бороться, теперь казалось одним из обличий безмятежности духа — он наслаждался холодным знанием людей, которое приходит тогда, когда ты не испытываешь к ним больше вожделения. И однако, соблазненный как-то случайной встречей, он вновь отдался любовной игре и подивился собственной силе. Однажды он рассердился на пройдоху монаха, который вздумал торговать в городе целебной мазью, составленной в их аптеке, но гнев его был не столько непосредственной вспышкой, сколько обдуманном проявлением чувств. Он даже позволил себе после удачной операции отдался порыву тщеславия, как позволяют собаке встряхнуться на траве после купанья.

Как-то утром во время очередной прогулки, какие он совершал в поисках трав, незначительный, почти курьезный случай дал новую пищу его размышлениям; он произвел на него впечатление, подобное тому, какое на человека набожного производит откровение, просветившее его в одном из таинств. Он засветло вышел из города и направился туда, где начинались дюны, вооруженный лупой, которую сделал на заказ по точному его описанию мастер, изготавливавший очки в Брюгге, — в эту лупу он рассматривал мелкие корешки и семена растений. К полудню он задремал в песчаной ложбинке, растянувшись ничком и положив голову на руку, лупа выпала из его рук на сухую траву. Когда он проснулся, ему показалось, что возле самого его лица копошится в тени какое-то странное, на редкость подвижное существо — не то насекомое, не то моллюск. Оно было сферической формы, центральная его часть, блестящая и влажная, была черного цвета, ее окружала розовато-белая, матовая зона, обведенная бахромой волосков, которые росли из мягкого коричневатого панциря, испещренного впадинками и бугорками. В этом хрупком существе билась прямо-таки пугающая жизнь. В течение секунды, прежде чем он смог сформулировать свою мысль, он понял, что это не что иное, как его собственный глаз, отраженный лупой, под которой трава и песок образовали нечто вроде зеркальной амальгамы. Он встал, погруженный в задумчивость. Ему довелось увидеть видящим самого себя; с непривычной точки зрения, почти в упор разглядел он маленький и вместе гигантский орган, близкий и в то же время сторонний, такой живой и такой уязвимый, наделенный несовершенной, но притом удивительной силой, от которой он зависел в своем видении окружающего мира. Из открывшегося ему зрелища, которое странным образом углубило его представление о самом себе и ощущение, что он состоит из множества отдельных частей, нельзя было вывести никаких теорий. Но, словно господне око на некоторых гравюрах, это око человеческое становилось символом. Самое важное — воспринять то немногое, что оно успеет вобрать в себя от мира, прежде чем настанет тьма, выверить его впечатления и, елико возможно, исправить его ошибки. В каком-то смысле глаз уравнивал бездну.

Он выбирался из темного ущелья. На самом деле он выбирался из него уже не раз. И выберется еще не однажды. Трактаты, посвященные исканиям ума, ошибались, приписывая ему последовательные стадии, — наоборот, все здесь перемешивалось, все подлежало новым и новым повторениям и перепевам. Духовные поиски шли по кругу. Когда-то в Базеле, да и в других местах, он уже прошел через подобный мрак. Одни и те же истины приходилось открывать заново по многу раз. Но опыту свойственно было накапливать: шаг понемногу становился тверже, глаз иногда лучше видел в потемках, ум улавливал хотя бы некоторые законы. Как иной раз случается с человеком, который всходит на кручу или, наоборот, спускается с нее, он двигался вверх или вниз, оставаясь на месте, разве что на каждой извилине пути та же бездна открывалась то справа, то слева. Измерить высоту подъема можно было только по тому, что воздух становился все более разреженным, да позади вершин, которые закрывали горизонт, появлялись новые вершины. Но само представление о подъеме и спуске было ложным: звезды сверкали как наверху, так и внизу, и нельзя было определить, находишься ты в глубине пропасти или в ее середине. Ибо бездна была как по ту сторону небесной сферы, так и под сводом скелетного костяка. Казалось, все происходящее происходит внутри бесконечного набора замкнутых кругов.

Он снова стал писать, но без намерения опубликовать свой труд. Среди медицинских трактатов древности третий том Гиппократовых "Заразных болезней" всегда особенно восхищал его точным описанием недугов со всеми их симптомами, течения болезни день за днем и ее исхода. Он вел подобную запись больным, которых пользовал в лечебнице Святого Козьмы. Быть может, какой-нибудь медик, который будет жить после него, сумеет извлечь пользу из дневника, что вел врач, практиковавший во Фландрии в царствование его католического величества Филиппа II. Одно время его занимал более смелый проект — написать *Liber Singularis* *, где он подробно изложил бы все, что ему удалось узнать о человеке, которым был он сам, — о его телосложении, поведении, обо всех его явных и тайных, случайных и сознательных действиях, о его мыслях и даже снах. Отказавшись от этого слишком обширного замысла, он решил ограничиться одним годом жизни этого человека, потом одним днем, — но и этот огромный материал был неохватен, и к тому же он вскоре заметил, что из всех его занятий это самое опасное. Он от него отказался. Иногда, чтобы рассеяться, он вписывал в тетрадь короткие заметки, где под видом прорицаний в сатирическом свете представлял современные заблуждения и уродства, придавая им необычный облик новоначинаний или чудес. Как-то, забавы ради, он прочитал некоторые из этих прихотливых загадок органисту церкви Святого Доната, с которым подружился с тех пор, как удалил его жене доброкачественную опухоль. Органист и его половина тщетно ломали себе голову, пытаясь проникнуть в смысл мудреных

* *Здесь: Книгу о единственном (лат.).*

строк, а потом простодушно посмеялись над ними, не заметив злого умысла.

В эти годы его очень занимал еще кустик томата — ботаническая диковинка, выросшая из черенка, который ему с большим трудом удалось получить от единственного экземпляра этого растения, вывезенного из Нового Света. Драгоценный этот кустик вдохновил его взяться за прежние исследования движения соков: накрывая землю в горшке крышкой, чтобы воспрепятствовать испарению воды, которой он ее поливал, и производя каждое утро тщательное взвешивание, ему удалось установить, сколько унций жидкости каждый день поглощает растение; позднее он сделал попытку с помощью алгебры подсчитать, до какого уровня эта поглощающая способность может поднять жидкость в стволе или в стебле. По этому вопросу он вел переписку с ученым математиком, который шесть лет назад приютил его в Лёвене. Они обменивались формулами. Зенон каждый раз с нетерпением ожидал ответа. Начал он подумывать и о новых странствиях.

БОЛЕЗНЬ ПРИОРА

Как-то майским днем, в понедельник, пришедшийся на праздник Святой Крови, Зенон, сидя в облюбованном им темном уголке трактира "Большой Олень", по обыкновению торопливо поглощал свой обед. За столами и на скамьях близ окон, выходивших на улицу, расположилось в этот день непривычно много народу: отсюда можно было увидеть церковную процессию. За одним из столов сидела содержательница известного в Брюгге публичного дома, за свою толщину прозванная Тыквой, а с нею маленький невзрачный человечек, который слыл ее сыном, и две красотки из заведения. Зенон знал Тыкву по рассказам чахоточной девицы, которая жаловалась на нее, когда приходила к Зенону просить лекарство от кашля. Особа эта без устали поносила хозяйку за ее скардность, за то, что та ее обирает и ворует у нее тонкое белье.

Несколько солдат-валлонцев, которые перед тем стояли шпалерами у входа в церковь, зашли в трактир перекусить. Столик, где сидела Тыква, приглянулся офицеру — он приказал солдатам его очистить. Сынок и обе шлюхи не заставили себя просить дважды, но Тыква была женщина самолюбивая и уйти отказалась. Когда один из стражников сгрел ее в охапку, чтобы заставить подняться, она ухватилась за стол, опрокинув на пол посуду; затрещина, которую отвесил Тыкве офицер, оставила мертвенно-бледный след на ее жирном желтом лице. Тыква визжала, кусалась, цеплялась за скамьи и дверной косяк, но солдаты подтащили ее к порогу и вышвырнули на улицу; один из них смеха ради еще пощекотал ее сзади концом длинной шпаги. Офицер, водворившийся на отвоеванном месте, высокомерным тоном отдавал приказания подтиравшей пол служанке.

Никто из посетителей не двинулся с места. Некоторые трусливо и подобострастно хихикали, но большинство отводили глаза или негодующе бурчали, уткнувшись в тарелку. Зенона, наблюдавшего эту сцену, едва

не вывернуло наизнанку от омерзения; Тыкву презирали все; даже если бы нашелся смельчак, который попытался бы обуздать распоясавшуюся солдатню, повод для вмешательства был самый неподходящий — защитник толстухи навлек бы на себя одни насмешки. Позднее стало известно, что сводня была бита кнутом за нарушение общественного спокойствия и отправлена в восояси. Неделю спустя она уже, как обычно, принимала посетителей у себя в борделе и каждому желающему демонстрировала рубцы на своей спине.

Когда Зенон в качестве лекаря явился к приору, который ждал его в келье, утомленный долгим хождением пешком по улицам во главе процессии, тот уже знал о случившемся. Зенон описал ему все, чему был очевидцем. Священник со вздохом отставил чашку с целебным настоем из трав.

— Женщина эта позорит свой пол, — сказал он, — и я не осуждаю вас за то, что вы не пришли ей на помощь. Но стали ли бы мы негодовать против гнусного насилия, окажись на ее месте святая? Какая она ни есть, эта Тыква, нынче справедливость — а стало быть, Господь и его ангелы — были на ее стороне.

— Господь и его ангелы за нее не вступились, — уклончиво заметил врач.

— Не мне сомневаться в святых чудесах Евангелия, — с некоторой горячностью возразил приор, — но на своем веку, друг мой (а мне уже перевалило за шестьдесят), мне не случалось видеть, чтобы Господь вмешивался в наши земные дела. Бог отряжает полномочных. Он действует через нас, грешных.

Подойдя к шкафчику, монах вынул из ящика два листка, исписанных убористым почерком, и протянул их доктору Теусу.

— Прочтите, — сказал он. — Мой крестник и патриот господин Витхем сообщает мне о злодеяниях, вести о которых всегда доходят до нас или слишком поздно, когда волнения, ими вызванные, уже улеглись, или без промедления, но тогда — подслащенные ложью. Нам недостает живости воображения, дорогой мой доктор. Мы негодуем, и по справедливости, из-за оскорбленной сводницы, потому что расправа над ней совершилась на наших глазах, но чудовищные зверства, творимые в десяти лье отсюда, не мешают мне допить этот настой мальвы.

— Воображение у вашего преподобия столь живое, что руки у вас дрожат и вы расплескали свое питье, — заметил Себастьян Теус.

Приор отбел платком серую шерстяную сутану.

— Почти три сотни мужчин и женщин, обвиненных в бунте против Бога и государя, казнены в Армантьере, — прошептал он словно через силу. — Читайте дальше, друг мой.

— Бедняки, которых я пользую, уже знают о последствиях мятежа в Армантьере, — сказал Зенон, возвращая письмо приору. — Что до других злодеяний, описаниями которых заполнены эти страницы, на рынке и в тавернах только о них и говорят. Новости эти распространяются в низах. В добротные особняки ваших богачей и знати, законопативших все щели, проникают в лучшем случае смутные отголоски.

— О да! — с гневной печалью подтвердил приор. — Вчера по окончании

мессы, выйдя на паперть Собора Богоматери с моими собратьями по клиру, я осмелился заговорить о делах общественных. И среди этих святых людей не нашлось ни одного, кто не одобрил бы если не способы, то цели чрезвычайных судилищ и кто, хотя бы робко, осудил их кровожадность. Кюре церкви Святого Жилия в счет не идет — он объявил, что мы, мол, и сами сумеем сжечь своих еретиков и нечего иноземцам поучать нас, как это делается.

— Что ж, он придерживается славной традиции, — с улыбкой отозвался Себастьян Теус.

— Неужели я менее ревностный христианин и не такой благочестивый католик, как он? — воскликнул приор. — Когда всю жизнь свою плаваешь на славном корабле, поневоле возненавидишь крыс, грызущих его днище. Но огонь, железо и ямы для заживо погребенных ожесточают и тех, кто выносит приговор, и тех, кто сбегается поглядеть на казнь как на зрелище в театре, и тех, кто должен претерпеть кару. Грешники становятся мучениками. Но палачам все равно, дорогой мой доктор. Тиран истребляет наших патриотов, делая вид, будто отщает вероотступничество.

— Ваше преподобие одобрили бы эти казни, если бы почитали их способными содействовать единству церкви?

— Не искушайте меня, друг мой. Я знаю только, что святой наш патрон Франциск, который умер, стараясь утишить междоусобицу, одобрил бы наших фламандских дворян, стремящихся к компромиссу.

— Эти самые дворяне нашли возможным требовать от короля, чтобы сорваны были листки с текстом проклятия, на которое Тридентский Собор осудил еретиков, — с сомнением в голосе заметил врач.

— А что тут дурного?! — воскликнул приор. — Эти листки, охраняемые солдатами, попирают наши гражданские права. Всякий недовольный объявляется протестантом. Да простит меня Бог! Они могли и эту сводню заподозрить в наклонности к евангелизму... Что до Тридентского Собора, вам не хуже моего известно, сколь сильно повлияли на его решения тайные желания венценосцев. Император Карл, по причинам вполне понятным, более всего пекся о нераздельности империи. У короля Филиппа на уме одно — сохранить главенство Испании. Увы! Если бы я не понял вовремя, что придворная политика — это всегда коварство в ответ на другое коварство, что это злоупотребление словом и злоупотребление силой, быть может, мне недостало бы благочестия отринуть мирскую жизнь во имя служения Господу.

— На долю вашего преподобия, как видно, выпало немало испытаний, — сказал доктор Теус.

— Отнюдь! — возразил приор. — Я был придворным, пользовавшимся благосклонностью своего государя, посредником, более удачливым, нежели того заслуживали мои скромные дарования, счастливым мужем благочестивой и доброй женщины. Я принадлежал к тем, кто взыскан благами в этой юдоли скорби.

Лоб его увлажнила испарина — признак слабости, как тотчас определил врач. Монах обратил к доктору Теусу озабоченное лицо.

— Вы, кажется, сказали, что мелкий люд, который вы лечите, сочувственно относится к движению так называемых протестантов?

— Ничего подобного я не говорил и не наблюдал, — осторожно ответил Себастьян. — Вашему преподобию известно, — добавил он с легкой иронией, — те, кто придерживается компрометирующих взглядов, обыкновенно умеют молчать. Евангелическое воздержание и в самом деле прельщает кое-кого из бедняков, но большинство из них добрые католики, хотя бы в силу привычки.

— В силу привычки, — горестно повторил священнослужитель.

— Что до меня, — холодно заговорил доктор Теус, с умыслом пускаясь в пространные рассуждения, чтобы дать время улеяться волнению приора, — меня более всего удивляет извечная путаница, царящая в делах человечества. Тиран внушает негодование благородным сердцам, но никому не приходит в голову оспорить законность прав его величества на нидерландский трон, унаследованный им от прапрабабки, которая была наследницей и кумиром Фландрии. Не будем рассуждать о том, справедливо ли, чтобы целый народ отказывали по духовной, словно какой-нибудь шкаф, — таковы наши законы. Дворяне, которые, желая привлечь народ, именуют себя гёзами, то есть нищими, подобны двуликому Янусу: предатели в глазах короля, для которого они — вассалы, они герои и патриоты — в глазах толпы. С другой стороны, распри между принцами и междоусобица в городах столь упорны, что иные осмотрительные люди скорее готовы терпеть лихоимство иноземцев, нежели беспорядки, которые грозят нам в случае их изгнания. Испанцы свирепо преследуют так называемых протестантов, но большая часть патриотов как раз ревностные католики. Протестанты кичатся суровостью своих нравов, а между тем глава их во Фландрии, господин Бредероде, — известный негодяй и распутник. Наместница, которая хочет сохранить власть, обещает упразднить судилища инквизиции и в то же время объявляет о создании новых судилищ, которые точно так же будут обрекать еретиков на сожжение. Церковь в милосердии своем требует, чтобы тех, кто *in extremis* * согласится исповедаться в грехах, предавали смерти без пыток, и таким образом толкает несчастных на клятвопреступление и осквернение таинства. Евангелисты со своей стороны истребляют, когда им это удастся, жалкие остатки анабаптистов. Епископство Льежское, по самой природе своей приверженное святой церкви, наживается, открыто поставляя оружие королевским войскам, а втихомолку — гёзам. Все ненавидят солдат, состоящих на жалование у иноземцев, тем более что жалование это скудно и они отыгрываются на обывателях, но, поскольку под прикрытием беспорядков на дорогах хозяйничают шайки грабителей, горожане ищут защиты алебард и пик. Эти богатые горожане, столь ревниво блюдущие свои привилегии, искони не любят дворянство и монархию, но еретики, как правило, вербуются из простонародья, а всякий богач ненавидит бедняков. В этом гуле слов, бряцанье оружия, а иной раз и в сладкозвучном звоне монет всего труднее слышать крики тех, кому ломают кости и рвут тело раскаленными щипцами. Так устроен мир, господин приор.

— Во время недавней мессы, — грустно заговорил монах, — я молился (того требует обычай) во здравие Наместницы и Государя. Во здравие На-

* В смертный час (*лат.*).

местницы куда ни шло — она женщина не злая и тщится помирить топор с плахой. Но неужели я должен молиться за царя Ирода? Неужели я должен молить Господа о здравии кардинала Гранвеллы, якобы удалившегося от дел, хотя отставка его — чистейшее лицедейство и он продолжает издали нас тиранить. Вера учит нас почитать законную власть, я не оспариваю ее наставлений. Но ведь и власть отрягает своих полномочных, и чем ниже ступенька — тем скорее принимает она низменный и грубый облик, в котором почти карикатурно отражаются наши грехи. Неужто в молитве своей я должен дойти до того, чтобы просить о благоденствии валлонских солдат?

— Ваше преподобие может молить бога просветить тех, кто правит нами, — сказал врач.

— Я сам более всех нуждаюсь в просвещении, — сокрушенно возразил монах.

Зенон поспешил переменить разговор и завел речь о потребностях и издержках лечебницы — беседа о делах общественных слишком волновала францисканца. Однако, когда лекарь уже собрался уходить, приор удержал его, знаком попросив плотнее закрыть дверь кельи.

— Мне нет нужды советовать вам быть осмотрительным, — сказал он. — Вы сами видите: никакое высокое или низкое звание не ограждает от подозрений и унижений. Пусть этот разговор останется между нами.

— Разве что я поведаю о нем своей тени, — ответил доктор Теус.

— Вы тесно связаны с нашим монастырем, — напомнил ему священнослужитель. — Не забывайте, в этом городе и даже в этих стенах найдется немало людей, которые не прочь были бы обвинить приора миноритов в бунтовществе и ереси.

Беседы эти возобновлялись довольно часто. Приор, казалось, алчет их. Этот всеми почитаемый человек представлялся Зенону таким же одиноким и еще более уязвимым, чем он сам. С каждым посещением врач все явственней читал на лице монаха признаки неведомой болезни, которая подтачивала его силы. Быть может, это необъяснимое угасание вызвано было единственно волнениями и скорбью, порождаемыми в душе приора бедствиями его родины, но могло оказаться, что, напротив, они являлись его следствием и признаком пошатнувшегося здоровья — больной уже не в силах переносит горести окружающего мира с тем могучим безразличием, какое обыкновенно свойственно людям. Зенон уговорил его преподобие каждый день выпивать немного вина, к которому было подмешано укрепляющее средство, — приор согласился, чтобы угодить Зенону.

Врач тоже начал находить удовольствие в этих беседах, при всей их учтивости почти свободных от криводушия. И все же он выносил из них смутное ощущение неискренности. Снова, в который уже раз, для того чтобы его поняли, ему приходилось прибегать к чуждому ему языку, искажавшему его мысль, хотя он отлично владел всеми его оттенками и изгибами, — так в Сорбонне принуждают себя говорить на латыни; в данном случае это был язык христианина, если не ревностного, то добросовест-

ного, язык верного подданного короля, хотя и обеспокоенного состоянием дел в государстве. В который уже раз, впрочем скорее из уважения к взглядам приора, нежели из осторожности, он соглашался исходить из посылок, на основе которых, по чести, сам он не стал бы ничего возводить; отрешившись от того, что занимало его мысли, он принуждал себя являть в их разговорах одну лишь сторону своего ума, всегда одну и ту же — в которой отражался образ его друга. Присущее человеческим отношениям притворство, которое сделалось второй натурой Зенона, смущало его в этом добровольном и бескорыстном общении. Приор был бы искренно удивлен, узнай он, сколь малое место в одиноких размышлениях доктора Теуса принадлежит вопросам, так пространно обсуждаемым в его келье. Нельзя сказать, что невзгоды Нидерландов оставляли Зенона равнодушным, но он слишком долго жил среди пламени костров и потоков крови, чтобы, подобно приору миноритов, терзаться при виде новых доказательств человеческого безумия.

Насчет опасностей, грозящих ему самому, Зенон полагал, что общественные потрясения скорее уменьшили, нежели увеличили их вероятность. Никому не было сейчас дела до какого-то доктора Теуса. Тайна, которую посвященные в искусство магии клялись блюсти в интересах своей науки, окутала его силою вещей; он и в самом деле сделался невидимкой.

Однажды летним вечером, после того как уже отзвучал сигнал тушить огни, Зенон поднялся в свою каморку, по обыкновению заперев сначала входную дверь. Лечебница, как было положено, закрывалась с первым ударом колокола, созывавшего на вечернюю молитву; только один раз по случаю эпидемии, когда больница Святого Иоанна не могла вместить всех захворавших, врач самовольно разрешил положить в нижнем зале соломенные тюфяки, чтобы предоставить кров бесприютным пациентам. Брат Люк, в обязанности которого входило мыть пол, уже унес свои тряпки и деревянные ведра. И вдруг Зенон услышал, как по стеклу царпнули брошенные кем-то мелкие камешки, — это напомнило ему времена, когда Колас Гел вызывал его после звона вечернего колокола. Он оделся и вышел.

Это был сын кузнеца с улицы О-Лен. Йоссе Кассел объяснил доктору, что его двоюродного брата, живущего в Сен-Пьер-ле-Брюгге, лягнула лошадь, которую он вел подковать к своему дяде-кузнецу; парень со сломанной ногой в самом плачевном состоянии лежит в сарайчике позади кузни. Захватив с собой все необходимое, Зенон последовал за Йоссе. На одном из перекрестков их остановил дозор, но, когда Йоссе объяснил, что ведет хирурга к своему отцу, раздробившему себе молотом пальцы, их пропустили без помех. Услышав эту ложь, врач насторожился.

Раненый лежал на кое-как сколоченных досках; это был деревенский парень лет двадцати, этакий белобрыйсый хищник; волосы у него взмокли от пота и приклеились к щекам, он был почти в беспамятстве от боли и потери крови. Зенон распорядился дать ему укрепляющего питья и осмотрел ногу; в двух местах кости торчали наружу, кожа висела ключьями.

Такой перелом не мог получиться от удара копытом, да и следов ушиба не было видно. Во избежание гангрены следовало прибегнуть к ампутации, но, увидя, как врач поднес к огню свою пилу, раненый взвыл; кузнец с сыном всполошились не меньше его — они боялись, если операция кончится неудачей, остаться с трупом на руках. Тогда, отказавшись от первоначального намерения, Зенон решил попытаться вправить кость.

Парню все равно солоно пришлось: когда врач стал вытягивать ему ногу, он завопил, словно под пыткой, а лекарь вдобавок еще вскрыл рану бритвой и погрузил в нее руку, чтобы извлечь осколки. Потом он обмыл рану крепким вином — по счастью, у кузнеца нашелся целый кувшин этого зелья. Отец с сыном заготовили чистые повязки и лубки. В сарае было нечем дышать — хозяева заткнули все щели, чтобы с улицы не услышали криков.

Зенон покинул улицу О-Лен, совершенно не уверенный в благополучном исходе операции. Парень был очень плох, вся надежда была лишь на его молодость. Зенон каждый день навещал своего пациента, то рано утром, то после закрытия лечебницы, чтобы обработать рану уксусом, который удалял сукровицу. Потом он стал смачивать края раны розовой водой, чтобы они не пересохли и не воспалились. Посещать кузню в ночные часы Зенон избегал, дабы не привлечь внимания поздними прогулками. Хотя отец и сын продолжали утверждать, будто всему виной лягнувшая парня лошадь, все молчаливо согласилось в том, что о происшествии лучше помалкивать.

На десятый день рана нагноилась; нога в этом месте распухла, и лихорадка, которая так и не покидала больного, вспыхнула с новой силой. Зенон предписал больному строжайшую диету: Ган в бреду просил есть. Однажды ночью у него так свело мышцы, что повязки лопнули. Зенон повинился перед самим собой, что из малодушной жалости слишком слабо стянул лубки; пришлось снова вытягивать ногу и вправлять кость. Операция эта могла оказаться еще болезненней, чем первая, но Зенон окурил больного парами опиума, и тот спокойней перенес боль. Спустя неделю гной вышел через дренажные трубки, и лихорадка окончилась обильной испариной. Зенон вышел из кузни с легким сердцем, чувствуя, что на сей раз ему сопутствовала удача, без которой вся врачебная сноровка тщетна. Ему казалось, что в истекшие три недели, чем бы он ни занимался, о чем бы ни хлопотал, все его думы были о раненом. Эти постоянные помышления об одном предмете напоминали то, что приор установил молитвенной сосредоточенностью.

Меж тем у раненого в бреду вырвались кое-какие признания. Йоссе и кузнец в конце концов подтвердили их, а потом и дополнили подробностями опасное приключение, происшедшее с пациентом Зенона. Ган был родом из бедной деревушки неподалеку от Зевекоте, в трех лье от Брюгге, где недавно разыгрались нашумевшие кровавые события. Все началось с протестантского проповедника, чьи речи подстрекнули деревенских жителей: крестьяне, недовольные своим кюре, который не любил шутить с недоимками, ворвались в церковь с молотками в руках, разбили статуи

святых в алтаре и изображение Пречистой Девы, которое выносили во время процессий, а заодно прибрали к рукам вышитые ризы, покрывало, латунный нимб Богородицы и нехитрые сокровища ризницы. Конный отряд под командованием некоего капитана Хулиана Варгаса явился усмирять беспорядки. Мать Гана, в доме которой обнаружили атласное полотнище, расшитое мелким жемчугом, была убита, а перед тем, по обычаю времени, изнасилована, хотя возраст ее для этого был отнюдь не подходящий. Остальных женщин и детей выгнали из деревни, и они разбрелись кто куда. На маленькой площади вешали немногих оставшихся в деревне мужчин, когда капитан Варгас получил в лоб пулю из аркебузы и рухнул с лошади. Стреляли из окошечка в гумне; солдаты искололи и разворошили пиками все сено, но никого не нашли и под конец подожгли гумно. Уверенные, что убийца погиб в огне, они уехали, увозя с собой перекинутое через седло тело своего капитана и угнав несколько голов реквизированного скота.

Ган спрыгнул с крыши и сломал себе ногу. Стиснув зубы, он дотасился до кучи соломы и нечистот и спрятался там до ухода солдат, дрожа от страха, что огонь перекинется на его ненадежное убежище. К вечеру крестьяне с соседней фермы наведались в покинутую деревню поглядеть, нельзя ли еще чем поживиться, и обнаружили парня, который больше не сдерживал стонов. Мародеры оказались людьми жалостливыми — Гана решили уложить в телегу и, прикрыв парусиной, отвезти в город к его дядьке. В город раненого доставили уже без сознания. Питер и его сын тешили себя надеждой, что никто не видел, как двуколка въехала во двор на улице О-Лен.

Слухи о его гибели в сожженном гумне ограждали Гана от розысков, но безопасность его зависела от того, будут ли молчать крестьяне, а они в любую минуту могли заговорить и по доброй воле, и в особенности неволею. Питер и Йоссе рисковали жизнью, приютив у себя бунтовщика и святотатца, да и врачу грозила не меньшая опасность. Полтора месяца спустя выздоравливающий уже прыгал, опираясь на костыль, хотя рубцевавшийся шов все еще сильно болел. Отец и сын умоляли лекаря излечить их от парня, который к тому же был не из тех, к кому можно привязаться, — наскучив долгим затворничеством, он ныл и злился; всем надоело слушать бесконечные рассказы о единственном его подвиге, а кузнец, который и так досадовал, что тот выдул все его драгоценное вино и пиво, пришел в ярость, узнав, что негодник еще требовал, чтобы Йоссе раздобыл ему девку. Зенон решил, что Гану легче будет укрыться в Антверпене, а когда все утихнет, он сможет переправиться на другой берег Шельды, чтобы присоединиться к отрядам капитанов Генри Томассона и Соннуа, которые, швартуясь в укромных бухточках у берегов Зеландии, то и дело совершали нападения на королевские войска.

Зенон вспомнил о сыне старой Греты, возчике, который каждую неделю ездил в Антверпен со своей кладью. Частично посвященный в тайну, тот охотно согласился взять парня с собой и передать его надежным людям, однако для этого требовались деньги. Питер Кассел, как ни хотелось ему поскорее сбыть племянничка с рук, клялся, что больше не может

дать ему ни гроша. У Зенона самого карманы были пусты. Поколебавшись, он отравился к приору.

Пастырь служил обедню в часовне, прилегавшей к его келье. Когда отзвучали *Ite, Missa est* * и благодарственная молитва, Зенон сказал приору, что хотел бы поговорить с ним с глазу на глаз, и без обиняков изложил ему всю историю.

— Вы подвергли себя большой опасности, — серьезно заметил приор.

— В этом бестолковом мире существует несколько внятных заповедей, — ответил философ. — Мое ремесло — лечить.

Приор с ним согласился.

— О Варгасе никто не жалеет, — продолжал он. — Помните, сударь, наглых солдат, которые наводняли страну в ту пору, когда вы только приехали во Фландрию? Вот уже два года, как заключен мир с французами, а король под разными предлогами продолжает держать у нас эту армию. Два года! Варгас нанялся на службу в здешние края, чтобы творить бесчинства, за которые его уже возненавидели французы. Трудно восхвалять юного библейского Давида, не превозвысив отрока, которого вы излечили.

— Ничего не скажешь, стрелок он меткий, — подтвердил врач.

— Хотел бы я верить, что Господь направлял его руку. Но святотатство есть святотатство. Признался этот Ган, что участвовал в осквернении икон?

— Признался, но в его хвастовстве мне чудятся угрызения совести, — осторожно предположил Себастьян Теус. — Раскаяние я уловил и в некоторых словах, вырвавшихся у него в бреду. Проповеди лютеран не изгладили в его памяти "Ave, Maria", привычную с детских лет.

— Вы полагаете, он угрызается зря?

— Ваше преподобие принимает меня за лютеранина? — с едва заметной улыбкой спросил философ.

— Нет, друг мой, боюсь, вам недостает веры, чтобы быть еретиком.

— Все подозревают власти предрезающие в том, что они с умыслом подсылают в деревни протестантских проповедников, истинных и мнимых, — сказал врач, осторожно уводя разговор подальше от рассуждений о правоте Себастьяна Теуса. — Наши правители сами доводят жителей до крайности, чтобы потом расправляться с ними без стеснения.

— Мне известно вероломство Тайного совета, — с некоторым нетерпением заметил священнослужитель. — Но должно ли мне объяснять вам, что меня смущает? Меньше, чем кто бы то ни было, я желал бы, чтобы несчастного сожгли из-за богословских тонкостей, в которых он ничего не смыслит. Но надругательство над Пречистой Девой отдает преисподней. Добро бы еще речь шла об одном из Святых Георгиев или об одной из Святых Екатерины, чье существование ставят под сомнение наши богословы, но в ком благочестие народа находит невинное очарование... Но потому ли, что наш орден в особенности чтит эту высокую богиню — так

* Ступайте, месса окончена (*лат.*).

звал ее один поэт, которого я читал в дни молодости, — и утверждает непричастность ее к первородному греху, потому ли, что меня более, чем то подобает моему сану, волнует воспоминание о покойной моей жене, которая с изяществом и смирением носила это имя... ни одно преступление против веры не возмущает меня так, как оскорбление, нанесенное Марии — той, в которой все упование мира, той, которой от начала времен назначено быть нашей заступницей на небесах...

— Мне кажется, я понимаю вас, — сказал Себастьян Теус, увидя слезы на глазах монаха. — Вы страдаете оттого, что какой-то невежа осмелился поднять руку на самую чистую форму, какую, по-вашему, приняло божественное милосердие. Евреи (я знавал их врачевателей) также рассказывали мне о своей Шекине, которая знаменует божественное великодушие... Правда, для них лик ее остается невидимым... Но если уж придавать неизреченному человеческий образ, почему не наделить его некоторыми женскими чертами — ведь в противном случае мы наполовину обеднили бы природу вещей. Если лесное зверье имеет понятие о святых таинствах (а кто знает, что происходит внутри у этих тварей?), оно, без сомнения, воображает рядом со священным оленем непорочную лань. Но, может быть, этот образ оскорбителен для вашего преподобия?

— Не более, чем образ невинного агнца. Да и разве сама Мария — не чистейшая голубка?

— И, однако, в этих иносказаниях кроется опасность, — задумчиво продолжал Себастьян Теус. — Мои собратья-алхимики прибегают к символам Молока Богородицы, Черного Ворона, Зеленого Льва и Соития Начал для обозначения операций, чья мощь или, напротив, тонкость не выразимы обыденным языком. И что же — простачки прельщаются этими фигурами, а люди умные презирают науку, которая, хотя и постигла многое, в их глазах погрязла в трясине химер... Не стану далее углублять сравнение.

— Трудность эта неразрешима, друг мой, — сказал приор. — Если я начну втолковывать обездоленным, что золотой убор Богородицы и ее голубой плащ — всего лишь неудачные символы Небесного Великолепия, а небеса в свою очередь — лишь слабый сколок с Невидимого Блага, они решат, что я не верую ни в Богоматерь, ни в Царствие Божие. А разве не будет это еще злейшей ложью? Знак пресуществляется в то, что он знаменует.

— Однако вернемся к парню, которого я вылечил, — продолжал настаивать врач. — Не думает же ваше преподобие, что этот Ган собирался поднять руку на заступницу, дарованную нам божьим милосердием от начала времен? Он разбил разубранную в бархат деревянную колоду, которую проповедник объявил истуканом, и, осмелюсь заметить, этот нечестивый поступок, вызывающий справедливое негодование приора, должно быть, совершенно отвечал тому убогому здравому смыслу, каким наделили Гана небеса. Этот мужлан столь же мало помышлял оскорбить залог спасения человечества, сколь мало помышлял, убивая Варгаса, отмстить за свою родину.

— И, однако, он совершил и то, и другое.

— Не знаю, — отозвался философ. — Это мы с вами пытаемся вложить

смысл в необузданные действия двадцатилетнего деревенского парня.

— Вам очень важно, чтобы этот молодой человек ушел от своих преследователей, господин доктор? — внезапно спросил приор.

— От этого зависит моя собственная безопасность, а кроме того, мне не хотелось бы, чтобы предали огню столь совершенное произведение моего искусства, — шутливо отозвался Себастьян Теус. — Других причин желать его спасения, как, может быть, подозревает приор, у меня нет.

— Тем лучше, — сказал священник. — Стало быть, вы с большим спокойствием будете ждать развязки событий. Я тоже не хочу губить творение ваших рук, друг Себастьян. В этом ящике вы найдете то, что вам нужно.

Зенон извлек кошелек, спрятанный под грудой белья, но взял оттуда всего несколько мелких серебряных монет. Водворя кошелек на место, он зацепился рукой за край какой-то дерюги, от которой ему не сразу удалось освободиться. Это оказалась власяница, на которой кое-где подсыхали черноватые сгустки. Приор отвернулся в смущении.

— Ваше преподобие не так крепки здоровьем, чтобы предаваться столь жестокому покаянию.

— Напротив, мне хотелось бы налагать его на себя вдвое чаще, — возразил монах. — Ваши занятия, Себастьян, наверное, не оставляют вам времени задуматься об общественных наших бедствиях. К сожалению, слухи справедливы. Король собрал в Пьемонте армию под началом герцога Альбы, победителя при Мюльберге, которого в Италии прозвали Железным. В эту самую минуту двадцатитысячное войско с вьючными животными и обозом переходит Альпы, чтобы обрушиться на наши несчастные провинции... Быть может, нам еще придется пожалеть о капитане Варгасе.

— Они спешат, пока дороги не сковала зима, — сказал тот, кто когда-то бежал из Инсбрука через горы.

— Мой сын — лейтенант королевской службы. Чудо будет, если он не окажется в войске герцога, — сказал приор, словно принуждая себя к мучительному признанию. — Все мы соучастники зла.

И он зашелся в кашле, приступы которого уже не раз прерывали его речь. Себастьян Теус, вспомнив об обязанностях врача, Пощупал пульс больного.

— Ваш усталый вид, господин приор, можно объяснить снедающей вас заботой, — сказал он, помолчав. — Но долг врача повелевает мне найти причину кашля, который мучает вас вот уже несколько дней, и причину все возрастающего истощения. Позвольте ли вы мне, господин приор, завтра осмотреть ваше горло с помощью инструментов моего изобретения?

— Поступайте как вам угодно, друг мой, — ответил приор. — Должно быть, от нынешнего сырого лета у меня в горле сделалось воспаление. Вы сами видите, лихорадки у меня нет.

В тот же вечер Ган выехал с возчиком, при котором состоял за коноха. В этой роли небольшая хромота не была ему помехой. Проводник передал его в Антверпене жившему возле порта приказчику Фуггеров, ко-

торый тайне сочувствовал новым веяниям, — тот поручил Гану вскрывать и заколачивать ящики с пряностями. К Рождеству стало известно, что парень, который уже твердо ступал на большую ногу, завербовался плотником на невольничье судно, отплывавшее в Гвинею. На таких судах всегда была нужда в ловких руках, годных не только починить какую-нибудь поломку, но и построить или перенести переборку, смастерить железный ошейник или колодки для провинившегося раба, а в случае мятежа — пальнуть из аркебузы. Поскольку платили там хорошо, Ган предпочел эту службу ненадежному заработку, на какой мог рассчитывать у капитана Томассона с его морскими гёзами.

Пришла зима. Из-за постоянно мучившей его теперь хрипоты приор сам отказался читать рождественскую проповедь. Себастьян Теус уговорил своего пациента для сбережения сил каждый день после обеда час отдыхать в постели или в крайнем случае в кресле, которое монах с некоторых пор разрешил водворить у себя в келье. Согласно монастырскому уставу, в келье не было ни камина, ни печи — Зенон не без труда убедил приора позволить внести сюда жаровню.

В этот послеполуденный час он застал приора за делом — надел очки, тот проверял счета. Монастырский эконоом, Пьер де Амер, стоя выслушивал его замечания. Хотя Зенону всего несколько раз пришлось говорить с этим монахом, он испытывал к нему неприязнь и чувствовал, что она обоюдна. Поцеловав руку приора и преклонив перед ним колени с видом одновременно угодливым и высокомерным, эконоом вышел из кельи. Последние новости были особенно горестны: графу Эгмону и его единомышленнику графу Горну, уже три месяца содержавшимся в Гентской тюрьме по обвинению в государственной измене, только что отказали в ходатайстве о том, чтобы судили их люди равного им звания, которые почти наверное сохранили бы обоим жизнь. Отказ этот взбудоражил весь город. Зенон не стал первым заводить разговор о совершающемся беззаконии, не зная, дошли ли уже слухи о нем до приора. Он стал рассказывать ему о причудливом повороте судьбы Гана.

— Его Святейшество великий Пий II когда-то осудил торговлю невольниками, но кто обращает на это внимание? — устало сказал монах. — Впрочем, в наши дни творятся еще худшие несправедливости... Известно ли вам, что думают в городе о низости, учиненной в отношении графа?

— Его жалеют более, чем прежде, за то, что он поверил обещаниям короля.

— Ламораль — человек великой доблести, но скудного ума, — заметил приор с большим спокойствием, чем ожидал Зенон. — Хороший политик не может быть легковерным.

Он покорно выпил несколько капель вяжущего зелья, которые ему отсчитал лекарь. Зенон следил за ним с тайной грустью: он не верил в силу этого безбидного средства, но тщетно искал от болезни приора более мощного снадобья. Подозрение, что у монаха чахотка, он отверг, потому что болезнь протекала без лихорадки. Эту хрипоту, этот упорный кашель

и то, что приору становилось все труднее дышать и глотать, скорее можно было объяснить полипом в гортани.

— Спасибо, — сказал приор, возвращая медику опорожненный стакан. — Побудьте со мною сегодня еще немного, друг Себастьян.

Сначала они поговорили о том о сем. Зенон сел поближе к монаху, чтобы тот не напрягал голос. Внезапно приор вернулся к тому, что снесало его более всего.

— Вопиющий произвол, жертвой которого стал Ламораль, влечет за собой целую вереницу таких же гнусных беззаконий, — заговорил он, стараясь бережно расходувать дыхание. — Вскоре после ареста хозяина арестовали и растянули на дыбе, в надежде добиться признания, его привратника. Во время утренней мессы я молил бога за обоих графов и уверен: во Фландрии нет такого дома, где не молились бы о спасении их в этой жизни и на небесах. Но кто помолится о несчастном привратнике, которому и признаваться-то было не в чем, ведь он не был посвящен в тайны своего господина? У него не осталось целой ни одной косточки, ни одной жилки...

— Я понял мысль вашего преподобия, — отозвался Себастьян Теус. — Вы восхваляете скромную преданность.

— Дело не в том, — возразил приор. — Говорят, этот привратник был нечист на руку и нажил за счет своего хозяина. Он будто бы даже присвоил картину — излюбленную нашими фламандскими живописцами фантазмагорию: уродливые черти мучают грешников. Герцогу поручено было приобрести ее для короля. Наш король — любитель живописи... Впрочем, заговорил этот ничтожный человек или нет, значения не имеет — судьба графа предreshена. Но я думаю о том, что граф умрет благородно, под ударом топора, на эшафоте, обтянутом черной материей, утешенный скорбью народа, который по справедливости видит в нем верного сына своей родины; палач, прежде чем нанести удар, попросит у него прощения, и душа его отлетит на небо, провожаемая молитвами духовника...

— На сей раз я уловил вашу мысль, — сказал врач. — Ваше преподобие думает о том, что, вопреки расхожим утверждениям философов, ранг и титул обеспечивают их владельцам весьма ощутительные преимущества. Быть грандом Испании кое-что значит.

— Я дурно изъясняю свою мысль, — прошептал приор. — Именно потому, что человек этот мал, ничтожен, без сомнения, гнусен и наделен лишь телом, способным испытывать боль, и душой, за которую сам Господь отдал свою кровь, я мысленно следую за ним в его страданиях. Я говорю себе: прошло три часа, а он все еще продолжал кричать.

— Поберегитесь, господин приор, — сказал Себастьян Теус, стискивая руку монаха. — Этот несчастный мучился три часа, но сколько же дней и ночей ваше преподобие будет вновь и вновь переживать его конец? Вы терзаете себя долее, нежели палачи — этого беднягу.

— Не говорите так, — покачал головой приор. — Муки этого привратника и злодейства его мучителей полнят мир и выходят за грань времени. Отныне и вовек пребудут они мгновением промысла Божия. Каждая мука, каждое страдание бесконечны в своей сущности, друг мой, и они бесчисленны в своем множестве.

— То, что ваше преподобие говорит о страдании, можно также сказать и о радости.

— Знаю... Я сам изведал в жизни радости... Всякая невинная радость — след потерянному раю... Но радость не нуждается в нас, Себастьян. Одна лишь скорбь взыскует нашего милосердия. С того дня, когда нам дано постичь страдание живой твари, предаваться радости для нас столь же невозможно, сколь невозможно для доброго самаритянина предаваться в трактире винопитию с веселыми девицами, в то время как раненый подле него истекает кровью. Мне теперь непонятно даже, как могут святые наслаждаться безмятежностью духа на земле или блаженствовать на небе...

— Насколько я разумею язык благочестия, для приора настало время пройти свою полосу непроглядной ночи.

— Умоляю вас, друг мой, не сводите мое горе к некоему благочестивому испытанию на пути к совершенству, на который к тому же я навряд ли сподобился ступить... Вглядимся лучше в непроглядную ночь человечества. Увы! Мы боимся впасть в ошибку, возводя хулу на установленный порядок вещей. Но, с другой стороны, сударь, как же осмеливаемся мы отправлять на Суд Божий души, к грехам которых сами добавляем отчаяние и богохульство, обрекая их на муки телесные? Почему позволяем мы упрямству, бесстыдству и мстительности вторгаться в наши споры о вере, которым должно бы, подобно спору о таинстве Святого причащения, писанному Рафаэлем в покоях Его Святейшества, проходить на небесах? Ибо, если бы король выслушал в прошлом году жалобы наших дворян, если бы во времена нашего детства папа Лев милостиво принял неученого августинского монаха... Чего хотел этот монах, как не того, в чем и поныне нуждаются наши установления, я говорю о реформах... Этого деревенского мужика смущали злоупотребления, которые потрясли и меня самого, когда я прибыл ко двору Юлия III; разве не прав он, упрекая наши монашеские ордены в богатстве, которое обременяет нас и не всегда служит к вящей славе Божьей...

— Господин приор никого не ослепит своей роскошью, — с улыбкой прервал монаха Себастьян Теус.

— Я пользуюсь всеми благами жизни, — сказал монах, указывая на подернутые пеплом уголья.

— Только пусть ваше преподобие не вздумает из великодушия переоценивать противную сторону, — сказал философ после некоторого раздумья. — *Odi hominem unius libri* *. Обожествление Писания, проповедуемое Лютером, быть может, похуже многих обрядов, которые он заклеил как суеверие, а тезис о спасении души через веру принижает человеческое достоинство.

— Вы правы, — с удивлением заметил приор, — но в конце концов, все мы, как и он, почитаем Священное писание и повергаем наши скромные добродетели к стопам Всевышнего.

— Воистину так, ваше преподобие, потому-то атеист и не возьмет в толк, отчего эти споры ведутся с таким ожесточением.

* Ненавижу человека одной книги (*лат.*).

— Не утверждайте того, чего я не хочу слышать, — прошептал приор.

— Умолкаю, — сказал философ. — Я только хотел отметить, что господа немецкие протестанты, которые, как мячиками, перекидываются голами взбунтовавшихся крестьян, не уступают герцогским наемникам, а Лютер так же угождает венценосцам, как и кардинал Гранвелла.

— Он, как и все мы, встал на сторону порядка, — устало сказал приор.

За окном то бушевала, то унималась метель. Когда врач поднялся, собираясь в лечебницу, приор заметил ему, что не многие больные отважатся в такую непогоду высунуть нос на улицу, а с теми, кто придет, управится и брат-фельдшер.

— Мне хочется признаться вам в том, что я не решился бы поведать лицу духовному, — ведь и вы, наверное, скорее доверите мне, нежели своему собрату, какую-нибудь дерзкую анатомическую гипотезу, — с усилием заговорил вновь приор. — Я больше не могу, друг мой... Себастьян, скоро минет шестнадцать столетий со времени воплощения Сына Божия, а мы устроились на кресте, как на мягкой подушке... Можно подумать, что искупление совершилось раз и навсегда и нам остается принять мир, какой он есть, или в лучшем случае позаботиться о спасении собственной души. Правда, мы превозносим веру, похвалимся ею и выставляем ее напоказ, если надо, приносим ей в жертву тысячи жизней, в том числе и свою. И притом громко славим упование — мы слишком часто продавали его ханжам за золото. Но помышляет ли кто о милосердии, если не считать нескольких святых? Да и то я трепещу при мысли, в каких тесных пределах они его оказывают... Даже мне, несмотря на мои годы и облачение, порой казалось, что склонность к излишнему состраданию — изъян моей природы, с которым должно бороться... Вот я и говорю себе, что, если один из нас примет мученичество, нет, не ради веры — у нее и без того довольно ревнителей, — но единственно из милосердия; если он взойдет на виселицу или на костер вместо самого мерзкого из осужденных или хотя бы вместе с ним, — быть может, земля под ногами у нас и небо над нами преобразятся... Самый отъявленный мошенник и самый закоренелый еретик никогда не будут ниже меня настолько, насколько я сам ниже Иисуса Христа.

— Мечта приора очень походит на то, что алхимики зовут сухим, или быстрым, способом, — серьезно сказал Себастьян Теус. — Речь, по сути дела, идет о том, чтобы все изменить сразу и одними лишь нашими слабыми силами... Опасная стезя, господин приор.

— Не бойтесь, — сказал приор с какой-то даже конфузливой улыбкой. — Я всего лишь слабый человек, с грехом пополам управляющий шестью десятками монахов... Неужто я по доброй воле свергну их бог знает в какие несчастья? Не каждому дано, принеся себя на алтарь, отверзнуть небесные врата. Приношение, если ему суждено свершиться, должно быть иным.

— Оно свершается само собой, когда готова гостия, — произнес вслух Себастьян Теус, думая о некоторых наставлениях философов-герметистов.

Приор бросил на него удивленный взгляд.

— Гостия... — благоговейно повторил он дорогое ему слово. — Гово-

рят, ваши алхимики приравнивают Христа к философскому камню, а таинство евхаристии — к Великому Деянию.

— Некоторые это утверждают, — согласился Зенон, подняв соскользнувшее на пол одеяло и укутывая колени приора. — Но о чем свидетельствуют эти уподобления, как не о том, что ум человеческий наклонен в определенную сторону?

— Мы сомневаемся, — сказал приор внезапно дрогнувшим голосом. — И сомневались... Сколько ночей боролся я с мыслью, что Бог над нами — всего лишь тиран или неспособный монарх и не богохульствует один лишь отрицающий его безбожник... Потом мне пришло озаренье — ведь болезнь открывает путь к истине. Что, если мы заблуждаемся, полагая его всемогущим и видя в бедах наших изъявление его воли? А вдруг нам самим надлежит споспешествовать наступлению царствия его? Я уже говорил вам — Бог отрывает своих полномочных. Я иду дальше, Себастьян. Быть может, он лишь крохотный огонек в наших ладонях, и от нас самих зависит поддерживать его и не дать ему угаснуть; быть может, мы и есть та самая крайняя точка, до какой он может достигнуть... Сколько несчастных негодуют, веруя во всемогущество его, но, забыв о собственных горестях, кинулись бы на зов о помощи Господу в его слабости...

— То, что вы говорите, худо согласуется с церковными догмами.

— О нет, друг мой. Я заранее отрекаюсь от всего, что могло бы еще хоть немного более разорвать нешвенную его одежду. Я верую: Бог безраздельно властвует в царствии духа, но мы-то здесь — в юдоли телесной нашей оболочки. А на этой земле, где он прошел, каким мы видели его? Разве не в образе невинного младенца, лежащего на соломе, подобно нашим новорожденным, что валяются в снегу в деревьях Кампина, разоренных королевскими войсками, разве не в образе бродяги, которому негде было приклонить голову; не в образе казненного, распятого на кресте на перекрестке дорог и, как и мы, вопрошавшего Господа, почему он покинул его? Каждый из нас слаб, но утешительно думать, что он еще слабее нас и отчаивался еще более. И это нам надлежит пробудить и спасти его в душах людей... Простите меня, — сказал он, закашлявшись, — я прочитал вам проповедь, хотя не могу уже произнести ее с церковной кафедры.

Он откинул на спинку кресла свою крупную голову, словно вдруг отрешившись от всех мыслей. Себастьян Теус дружески склонился к нему, застегивая свой плащ.

— Я обдумал соображения, которыми ваше преподобие любезно пожелали со мной поделиться, — сказал он. — Но позвольте и мне на прощание изложить вам одну гипотезу. Современные философы в большинстве своем предполагают бытие некоей *Anima Mundi* *, чувствующей и более или менее разумной, коей наделено все сущее. Я и сам допускал возможность сокровенных помышлений камней... И, однако, факты, нам известные, похоже, свидетельствуют о том, что страдание, а следовательно, и радость, добро и то, что мы зовем злом, справедливость и то, в чем мы усматриваем несправедливость, и, наконец, в той или иной форме — смысл, который позволяет отличать одно от другого, — существуют

* Мировой Души (*лат.*).

лишь в мире крови и, может быть, сока, в мире плоти, пронизанной нервными волокнами, подобно зигзагам молний, и (как знать?) в мире стебля, который тянется к свету, своему Высшему Благу, хирет от недостатка влаги, съезживается от холода и изо всех сил противится несправедливому вторжению других растений. Все остальное — я имею в виду царство минералов и духов, если последнее существует, — скорее всего, бесчувственно и безмятежно пребывает по ту, а может, и по эту сторону наших радостей и скорбей. А наши терзания, господин приор, может статься, — всего лишь крохотное исключение во всеобъемлющем промысле — возможно, это и объясняет равнодушие той незыблемой субстанции, какую мы благочестиво именуем богом.

Приор вздрогнул.

— То, что вы говорите, страшно, — сказал он. — Но даже если оно и так, тем теснее сопряжен наш удел с юдолью, где молотят зерно и истекает кровью агнец. Да будет мир с вами, Себастьян.

Зенон прошел аркаду, соединявшую монастырь с убежищем Святого Козьмы. Ветром намело кое-где высокие белые сугробы. Поднявшись к себе, Зенон сразу направился в каморку, где на полках хранил книги, доставшиеся ему в наследство от Яна Мейерса. У старика был трактат об анатомии, написанный двадцать лет тому назад Андреем Везалием, которому, как и Зенону, пришлось бороться с устарелым наследием Галена за более глубокое изучение человеческого тела. Зенон лишь однажды повстречался со знаменитым врачом, который с тех пор сделал блестящую придворную карьеру, а впоследствии умер на Востоке от чумы; замкнувшемуся в границах одной лишь медицины Везалию пришлось опасаться гонений только со стороны ученых-педантов, которых, впрочем, хватило ему с лихвой. Ему тоже случалось похищать трупы; о внутреннем строении человека он составил представление на основе костей, подобранных у подножия виселиц или на кострах, а иногда добытых еще более непристойным способом: бальзамируя знатных особ, он тайком воровал у них почку или содержимое тестикула, заполняя его корпией, ведь ничто потом не изобличало принадлежности препарированных органов сиятельным особам.

Раскрыв при свете лампы том ин-фолио, Зенон стал искать таблицу, на которой изображены были в разрезе пищевод, гортань и дыхательное горло; рисунок показался ему одним из самых неудачных творений славного прозектора, но Зенону было известно, что Везалий, подобно ему самому, зачастую вынужден был работать слишком быстро, и притом с плотью, которая уже подвергалась разложению. Он отметил пальцем то место, где, по его предположениям, у приора образовался полип, который рано или поздно неизбежно задушит больного. В Германии ему как-то пришлось анатомировать бродягу, скончавшегося от такой болезни; воспоминание об этом вскрытии, а также исследование с помощью *speculum ogis* * склоняли его к тому, чтобы в стертых симптомах болезни приора

* Глоточное зеркало (*лат.*).

распознать тлетворное действие частицы плоти, мало-помалу пожирающей соседние с ней участки. Можно было сказать, что честолюбие и необузданность, столь чуждые натуре монаха, угнездились в одном из уголков его тела, чтобы в конце концов погубить этого великодушного человека. Если Зенон не ошибся, Жан-Луи де Берлемон, приор монастыря миноритов в Брюгге, бывший главный лесничий вдовствующей королевы Марии Венгерской и полномочный представитель своей государыни при подписании мира в Креспи, через несколько месяцев умрет, задушенный опухолью, которая растет в его гортани, разве только на своем пути полип прорвет вену и тогда несчастный захлебнется собственной кровью. Если исключить возможность (а ею никогда не следует пренебрегать) случайной смерти, которая, так сказать, опередит болезнь, судьба святого человека предопределена, как если бы он уже был покойником.

Опухоль, расположенную слишком глубоко, нельзя ни удалить, ни прижечь. Единственный способ продлить жизнь друга — поддерживать его силы осторожной диетой; надо позаботиться о том, чтобы ему готовили разжиженную пищу, которая была бы питательной и легкой, и он мог бы проглотить ее без особого труда, когда из-за сужения гортани обычный монастырский стол станет для него непригодным; надо также последить за тем, чтобы ему не делали кровопусканий и не давали слабительных, которыми злоупотребляют посредственные лекари, хотя в семидесяти пяти случаях из ста это только варварски изнуряет больного. Когда придет время облегчить страдания, уже нестерпимые, придется прибегнуть к препаратам опия, а пока надо продолжать пользоваться приора безобидными снадобьями, чтобы избавить его от горькой мысли, что он отдан на произвол болезни. Сделать больше в настоящее время врачебное искусство бесполезно.

Зенон погасил лампу. Снег перестал, но его смертельно холодная белизна заливала комнату; скаты монастырских крыш блестели как стекло. На юге, в созвездии Быка, неподалеку от ослепительного Альдебарана и текучих Плеяд, тусклым светом светилась одна-единственная планета. Зенон давно уже отказался от составления гороскопов, почитая наши взаимоотношения с отдаленными сферами слишком смутными, чтобы на их основании делать сколько-нибудь определенные заключения, пусть даже полученные выводы были иной раз и впрямь удивительны. И, однако, опершись локтями на подоконник, он погрузился в мрачное раздумье. Памятя о звездах, под какими они родились, он знал, что и ему, и приору нынешнее противостояние Сатурна не сулит ничего, кроме беды.

БЛУД

Вот уже несколько месяцев Зенону помогал в лечебнице восемнадцатилетний монах-францисканец, подходивший для этого дела куда более, нежели пьяница, воровавший балзамы, от которого удалось избавиться. Брат Сиприан, деревенский паренек, принявший иночество на пятнадцатом году жизни, едва-едва знал латынь, чтобы помогать священни-

ку во время мессы, и говорил на простонародном фламандском языке своей родной деревни. Частенько он, забывшись, напевал песенки, которыми, как видно, выучился, погоняя волов. В нем сохранилось много ребяческого — он мог, к примеру, украдкой запустить руку в банку с сахаром, предназначенным для смягчающих микстур. Но зато этот беззаботный паренек отличался редкой сноровкой, когда надо было наложить пластырь или сделать перевязку; никакая язва, никакой гнойник не были ему страшны или противны. Детей, приходивших в лечебницу, привлекала его улыбка. Ему поручал Зенон доставлять домой больных, которые с трудом держались на ногах и были настолько слабы, что он не решался отпускать их без провожатого; глаза по сторонам и наслаждаясь уличным шумом и движением, Сиприан носился от приюта к больнице Святого Иоанна, ссужал и занимал лечебные снадобья, вымаливал койку для какого-нибудь нищего бродяги, которого невозможно было бросить умирать под открытым небом, или на худой конец старался пристроить бедолагу к какой-нибудь набожной прихожанке. В начале весны он навлек на себя взыскание, наворовав где-то боярышника, еще не расцветшего в монастырском саду, чтобы украсить стоящую под аркой стагую Пречистой Девы.

Невежественная его голова была набита суевериями, почерпнутыми у деревенских кумушек, — приходилось следить в оба, чтобы он не налепил на рану больного грошовое изображение какого-нибудь святого целителя. Сиприан верил, что на пустынных улицах лают оборотни, всюду ему мерещились колдуны и колдуньи. Он был убежден, что ни одна месса не обходится без тайного присутствия подручных сатаны. Если он один прислуживал священнику в пустой часовне, то подозревал в сговоре с дьяволом самого святого отца либо воображал, что в темном углу притаился невидимый чародей. Он уверял, что бывают дни, когда священнику приходится самому творить чернокнижников, и делает он это, читая задом наперед крестильную молитву, — в доказательство Сиприан рассказывал, как крестная мать выхватила его самого из купели, заметив, что господин кюре держит свой тревник вверх ногами. Защититься от нечистой силы можно, только избегая всякого прикосновения тех, кого ты подозреваешь в ворожбе, а уж ежели они до тебя дотронулись, выход один: сам дотронься до них повыше того места, какое они осквернили на твоём теле. Однажды Зенон случайно задел плечо Сиприана — тот изловчился и, словно ненароком, сейчас же коснулся его лица.

Утром в понедельник на Фоминой неделе они вдвоем находились в лаборатории. Себастьян Теус перелистывал свои записи. Сиприан лениво толк в ступке зерна кардамона, поминутно зевая.

— Да ты спишь на ходу, — сердито сказал Зенон. — Уж не оттого ли, что провел ночь в молитвах?

Паренек плутовато улынулся.

— Ночью Ангелы назначают свои сходки, — сказал он, покосившись на дверь. — Потирная чаша ходит по рукам, святая купель готова. Ангелы преклоняют колена перед Красавицей, а она обнимает их и целует. Служанка распускает ей длинные косы, и обе они нагие, как в раю. Ангелы сбрасывают свои шерстяные одежды и остаются в той, в какой сотворил

их Господь; они любят друг другом, свечи горят, а потом гаснут, и каждый следует велениям своего сердца.

— Что еще за небывлицы! — с презрением бросил Зенон.

Но сам почувствовал глухую тревогу. Ему был знаком этот ангельский лексикон и эти образы, с легкой примесью непристойности: все это было принадлежностью позабытых сект — считалось, что они вот уже более полувека искоренены во Фландрии огнем и мечом. Зенон помнил, как еще ребенком, сидя у камина на улице О-Лең, слышал приглушенные разговоры о сборищах, во время которых приверженцы сект познают друг друга плотски.

— Где ты наслушался этого опасного вздора? — сурово спросил он. — Сочиняй сказки попроще.

— Это вовсе не сказки, — надувшись, ответил монашек. — Когда ме-неер захочет, Сиприан отведет его к Ангелам, и он сам сможет увидеть их и дотронуться до них.

— Чепуха, — отрезал Зенон с преувеличенной твердостью.

Сиприан снова взялся за свою ступку. Время от времени он подносил к носу черные зерна, чтобы поглубже вдохнуть их пряный аромат. Осторожности ради Зенону следовало бы вести себя так, будто он пропустил мимо ушей слова парня, но любопытство одержало верх.

— Когда же это и где происходят твои воображаемые сборища? — раздраженно спросил он. — Ночью не так-то просто выбраться из монастыря. Впрочем, монахи, если надо, перелезают через стены...

— Дураки, — с презрением объявил Сиприан. — Брат Флориан нашел потайной ход. Через него Ангелы и ходят. А брат Флориан любит Сиприана.

— Держи свои тайны при себе, — оборвал его Зенон. — С чего ты взял, что я тебя не выдам?

Монашек тихо покачал головой.

— Менеер не захочет причинить зло Ангелам, — заявил он с бесстыдством сообщника.

Стук дверного молотка прервал их разговор. Зенон вздрогнул, чего с ним не бывало со времен инсбрукских тревог, и пошел открывать. Но это оказалась всего-навсего девочка, страдавшая волчанкой; она всегда закрывала лицо черным покрывалом, не потому, что стыдилась своей болезни, а по совету Зенона, заметившего, что на свету ей становится хуже. Занимаясь этой пациенткой, он немного отвлекся. Стали приходить и другие больные. И в течение нескольких дней брат-фельдшер не заводил с врачом никаких опасных разговоров. Но отныне Зенон смотрел на юного монашка другими глазами. Под этой рясой таились искуственные тело и душа. Зенон почувствовал, что фундамент его убежища дал трещину. Сам себе в том не признаваясь, он стал искать случая побольше разузнать об этом деле.

Случай представился в следующую субботу. После закрытия лечебницы Зенон с Сиприаном, сидя за столом, приводил в порядок инструменты. Сиприан ловко управлялся с острыми пинцетами и скальпелями. И вдруг, опершись локтями о стол, заваленный железками, монашек стал тихонько напевать старинную замысловатую мелодию:

Я зову, и призван я,
Я пью, и я питье,
Я ем, и яства я,
Я танцую — все поют,
Я пою, — и все танцуют...

— Это что еще за песня? — резко спросил врач.

На самом же деле он сразу узнал крамольные стихи апокрифического Евангелия, ибо не однажды слышал, как их произносят алхимики, приписывающие им магическую силу.

— Это гимн Святого Иоанна, — простодушно ответил монашек. И склонившись над столом, продолжал ласково и доверительно: — Пришла весна, голубка вздыхает, ангельская купель теплая-теплая. Ангелы берутся за руки и поют тихонько, чтобы не дознались злые люди. Брат Флориан вчера принес лютню и играл так задушевно, что все плакали.

— И много вас там? — поневоле вырвалось у Себастьяна Теуса.

Паренек стал считать по пальцам:

— Мой друг Кирен, потом послушник Франсуа де Бюр — у него лицо такое светлое и голос красивый и чистый. Иногда приходит Магье Артс, — продолжал он, назвав еще два незнакомых лекарю имени, — брат Флориан редко пропускает собрания. Пьер де Амер на них не бывает, но и ему они по сердцу.

Зенон никак не ожидал услышать имя этого монаха, славившегося своей строгостью. Они с Зеноном давно невзлюбили друг друга — с тех самых пор, как эконоом воспротивился перестройкам в убежище Святого Козьмы и несколько раз пытался урезать расходы на содержание лечебницы. На мгновение Зенону подумалось, что странные признания Сиприана — просто ловушка, расставленная ему Пьером. Но монашек продолжал свое:

— И Красавица приходит не всегда, а только если не боится злых людей. Ее арапка приносит в тряпице освященную облатку из монастыря бернардинок. Ангелы не знают ни стыда, ни зависти, ни запретов в сладостном употреблении своего тела. Красавица дарит поцелуи всем, кто алчет их утешения, но мил ей один Сиприан.

— Как вы ее зовете? — спросил врач, начиная подозревать, что за расказами, в которых он вначале увидел плод распаленного воображения парнишки, лишенного женщины с тех самых пор, как ему пришлось отказаться от любовных игр со скотницами под прибрежными ивами, кроется реальное имя и лицо.

— Мы зовем ее Евой, — нежно сказал Сиприан.

На подоконнике в жаровне тлели угли. Ими пользовались для того, чтобы размягчать камедь, входившую в состав примочек. Зенон схватил монашка за руку и поволок его к огню. Он приложил палец Сиприана к раскаленному жару и мгновение подержал так. У Сиприана даже губы побелели — он прикусил их, чтобы не закричать. Зенон был бледен почти так же, как и монашек. Наконец он выпустил руку Сиприана.

— Каково тебе будет, если такой вот огонь станет жечь все твое тело? — тихо спросил он. — Поищи себе радостей менее опасных, чем эти ваши ангельские сборища.

Левой рукой Сиприан дотянулся до пузырька с лилейным маслом и смазал ожог. Зенон молча помог ему перевязать палец.

В эту минуту вошел брат Люк с подносом, на котором приору каждый вечер подавали успокоительное питье. Зенон взял сам отнести лекарство и один поднялся к больному. На другое утро все случившееся накануне стало казаться ему просто наваждением, но он заметил в зале Сиприана, промывавшего ссадину ребенку, который ушиб ногу: палец монашка все еще был перевязан. Впоследствии Зенон, видя шрам на обожженном пальце, каждый раз отводил взгляд с чувством той же невыносимой тревоги. А Сиприан, казалось, едва ли не кокетливо старается сделать так, чтобы следы ожога почаще попадались на глаза врачу.

Теперь по келье убежища Святого Козьмы, где, бывало, предавался своим ученым размышлениям алхимик, из угла в угол беспокойно расхаживал человек, который видел опасность и искал выхода. Понемногу, подобно тому как выступают из тумана очертания предметов, сквозь невнятные разглагольствования Сиприана начали проступать реальные обстоятельства. Загадочным купаньям Ангелов и их непристойным сборищам нашлось простое объяснение. Подземелья Брюгге представляли собой целый лабиринт переходов, ветвившихся от склада к складу и от погреба к погребу. Службы францисканского монастыря отделял от монастыря бернардинок только чей-то заброшенный дом. Брат Флориан, бывший отчасти каменщиком, отчасти маляром, занимаясь подновлением часовни и монастырей, как видно, обнаружил старые бани и портомойни, которые и сделались для этих безумцев местом тайных сборищ и приятном нежности. Брат Флориан, веселый двадцатичетырехлетний мальчик, в ранней юности беззаботно скитался по стране, малюя портреты аристократов в их замках и купцов в их городских домах, за что получал кусок хлеба и соломенный тюфяк для ночлега. После волнений в Антверпене монахи обители, где он неожиданно принял постриг, вынуждены были покинуть разоренный монастырь, и Флориана с осени определили к миноритам в Брюгге. Шутник и выдумщик, он был хорош собой и всегда окружен стойкой подмастерьев, сновавших по приставным лесенкам. Этот сумасброд, как видно, повстречал где-то уцелевших членов секты бегинов, или братьев Святого Духа, истребленных в начале века, и, как болезнь, подхватил этот цветистый слог и серафические наименования, а у него их перенял Сиприан. Если, впрочем, молодой монашек сам не подцепил этот опасный язык в своей родной деревне среди прочих суеверий, которые подобны семенам давней заразы, тайно зреющим в каком-нибудь укромном уголке.

Зенон замечал, что со времени болезни приора в монастыре все чаще нарушаются устав и прядок: говорили, будто кое-кто из братьев уклоняется от ночных бдений; целая группа монахов скрытно противилась реформам, которые приор ввел в монастыре, руководясь постановлениями Собора; самые распущенные ненавидели Жана-Луи де Берлемона за

то, что он подавал пример строгости правил; самые непреклонные, напротив, презирали его за доброту, которую находили чрезмерной. В ожидании смены приора уже плелись интриги. Ангелы, без сомнения, осмелели в этой благоприятной для них обстановке межначалия. Удивительно было лишь то, что такой осторожный человек, как Пьер де Амер, позволил им устраивать эти опасные ночные сборища и совершить безумие еще большее, замешав в дело двух девиц, но, как видно, Пьер ни в чем не мог отказать Флориану и Сиприану.

Вначале Себастьян Теус решил, что девичьи имена — это прозвища, а девушки — вообще плод разгоряченного воображения монашка. Но потом он вспомнил, что в квартале давно уже судачили о девице знатного происхождения, которая перед самым Рождеством на время отлучки своего отца, члена Совета Фландрии, отправившегося с отчетом в Вальядолид, переселилась в монастырь бернардинок. Ее красота, дорогие украшения, смуглая кожа и кольца в ушах ее служанки — все давало пищу сплетникам в лавках и на улицах. Девица де Лос в сопровождении своей арапки ходила в церковь, за покупками в басонную лавку и к пирожнику. Ничто не мешало Сиприану во время одной из таких прогулок обменяться с красотками взглядами, а потом и словами, а может, это Флориан, подновлявший роспись на хорах, нашел способ расположить девиц к себе или к своему приятелю. Две отважные красотки легко могли прокрасться ночью по подземным коридорам к месту сборищ Ангелов и явить их воображению, напичканному образами Священного писания, Суламифь и Еву.

Несколько дней спустя после признания Сиприана Зенон отправился в лавку кондитера на улице Лонг, чтобы купить настоящего на корице вина, которое входило в состав микстуры, изготовляемой для приора. Иделетта де Лос, стоя у прилавка, выбирала себе печенье и пышки. Это была тоненькая, как тростинка, девушка лет пятнадцати, не более, с длинными белокурыми, почти бесцветными волосами и светло-голубыми глазами. Эти белокурые волосы и прозрачные, как ручеек, глаза напомнили Зенону мальчика, который в Любеке был его неразлучным спутником. В ту пору Зенон вместе с его отцом, Эгидиусом Фридрихом, богатым ювелиром с Брайтенштрассе, также посвященным в тайны огненного искусства, производил опыты с клепкою благородных металлов и определением их пробы. Вдумчивый мальчик был его усердным учеником... Герхард так привязался к алхимику, что решил сопровождать его во Францию, — отец согласился, чтобы оттуда сын начал свое путешествие по Германии, но философ побоялся подвергнуть изнеженного мальчика дорожным тяготам и опасностям. Эта любекская дружба, ставшая словно бы второй молодостью, пережитой им во времена скитаний, теперь представилась Зенону не как сухой препарат воспоминания, вроде былых плотских радостей, которые он воскрешал в памяти, размышляя о самом себе, но как пьянящее вино, от которого избави бог захмелеть. Волей-неволей она сближала его с безрассудной стайкой Ангелов. Впрочем, маленькое личико Иделетты навевало и другие воспоминания — было в девице де Лос

что-то дерзкое и задорное, что извлекало из забвения образ Жанетты Фоконье, подружки лёвенских студентов, которая была его первой мужской победой; гордость Сиприана теперь уже не казалась Зенону ни ребяческой, ни глупой. Напрягшаяся память уже готова была вернуть его еще далее вспять, но вдруг нить оборвалась; служанка-арапка, смеясь, грызла леденцы, а Иделетта, выходя из лавки, одарила седеющего незнакомца одной из тех улыбок, которые она расточала всем встречным. Ее широкая юбка загородила узкую дверь лавки. Кондитер, большой любитель женщин, обратил внимание своего клиента на то, как ловко оправила девица юбки, приоткрывшие ее щиколотки, обтянув при этом бедра нарядным муаром.

— Девчонка, которая выставляет напоказ свои прелести, оповещает каждого, что ей хочется отведать не булочек, а кое-чего другого, — игриво заметил он лекарю.

Шутка была из тех, какими положено обмениваться мужчинам. Зенон не преминул посмеяться в ответ.

И снова начались его ночные хождения: восемь шагов от сундука до кровати, двенадцать от оконца до двери — уже словно заключенный, протапывал он дорожку на плитах пола. Он всегда знал, что некоторые его страсти могут быть приравнены к плотской ереси, а стало быть, уготовить ему участь еретиков, то есть костер. Человек применяется к свирепости современных ему законов, как применяется к войнам, порожденным человеческой глупостью, к неравенству сословий, к дурному состоянию дорог и беспорядкам в городском управлении. Само собой, за недозволенную любовь можно сгореть живьем, как можно превратиться в пепел за то, что читаешь Библию на языке голытьбы. Законы эти, бессильные уже по свойству самих прегрешений, какие они призваны были карать, не затрагивали ни богатых, ни великих мира сего: в Инсбруке нунций похвалялся непристойными стихами, за которые бедного монаха изжарили бы на медленном огне; ни одного знатного сеньора еще не бросили в огонь за то, что он совратил своего пажа. Законы эти карали людей безвестных, однако сама эта безвестность была прибежищем: несмотря на крючки, сети и факелы, большая часть мелкой рыбешки продолжала прокладывать себе в темных глубинах путь, не оставляющий следа, нимало не заботясь о тех своих собратях, которые барахтались в крови на борту лодки. Но Зенон знал также, что достаточно злопамятства врага, минутной ярости и безумия толпы или просто неуместного рвения судьи — и погибнут виновные (быть может, на самом деле ни в чем не повинные). Равнодушие оборачивалось неистовством, полупособничеством — ненавистью. Всю свою жизнь он жил под гнетом этой опасности, которая примешивалась ко всем прочим. Но то, с чем кое-как миришься, когда дело касается тебя самого, труднее перенести, когда речь идет о другом.

Смутные времена поощряли всякого рода доносы. Мелкий люд, тайне соблазненный примером иконоборцев, жадно хватался за всякий скандал, способный опорочить один из могущественных монашеских орденов, которым ставили в вину их богатство и власть. Несколько меся-

цев назад в Генте девять августинских монахов, заподозренных в содомии, может, справедливо, а может, нет, после неслыханных пыток были преданы огню, дабы успокоить возбуждение толпы, озлобленной против черковников; из боязни быть заподозренными в желании замаять дело власти не вняли совету благоразумия — ограничиться дисциплинарными карами, какие налагает сам орден. Ангелы рисковали еще больше. Любовные игры с двумя девушками, которые в глазах простолюдина должны были смягчить то, в чем видели особую гнусность греха, на этих бедняг, наоборот, навлекали двойную угрозу. Девица де Лос уже сделалась предметом низменного любопытства черни, и теперь тайна ночных сборищ могла выйти наружу из-за женской болтливости или нечаянной беременности. Но самая главная опасность таилась в серафических наименованиях, в свечах, в ребяческих обрядах с участием святых даров, в чтении апокрифических заклинаний, в которых никто, и прежде всего сами их авторы, не понимали ни слова, наконец, в этой наготе, которая, одна, ничем не отличалась от наготы мальчишек, резвящихся у пруда. Проказы, за которые послушникам следовало бы просто-напросто надавать оплеух, обрекут на смерть эти шальные сердца и глупые головы. Ни у кого не хватит здравого смысла, чтобы понять, насколько естественно для невежественных детей, с восторгом открывших для себя радости плоти, прибегнуть к священным словам и образам, которые в них вдальбливали всю жизнь. Как болезнью приора почти с точностью предопределяла, когда и какой смертью ему предстоит умереть, так Сиприан и его друзья в глазах Зенона были обречены гибели, как если бы они уже кричали в огне костра.

Сидя за столом и чертя на полях счетов какие-то цифры и значки, он думал о том, что собственный его тыл весьма ненадежен. Сиприан сделал из него наперсника, если не сообщника. При любом допросе с некоторым пристрастием обнаружится, кто он и каково его настоящее имя, и ему будет ничуть не легче, если он угодит в тюрьму по обвинению в атеизме, а не в содомии. Не забывал он и о том, что лечил Гана и сделал все, чтобы помочь ему скрыться от правосудия, а это в любую минуту могло дать повод объявить его бунтовщиком, заслуживающим простой веревки. Осторожности ради следовало уехать и уехать немедленно. Но он не мог покинуть приора в нынешнем его положении.

Жан-Луи де Берлемон умирал медленной смертью, как это бывает при обыкновенном течении подобного недуга. Он сильно исхудал, и худоба его была тем заметнее, что прежде он был человеком плотного сложения. Глотать ему становилось все труднее, и старая Грета по просьбе Себастьяна Теуса, вспомнив старинные рецепты, бывшие когда-то в ходу на кухне дома Лигров, готовила ему легкую пищу: крепкий процеженный бульон и сиропы. Больной тшился оказать честь кушаньям, но едва мог их пригубить, и Зенон подозревал, что его постоянно мучает голод. Приор почти совсем потерял голос. Только в самых необходимых случаях обращался он к своим подчиненным и к лекарю. В остальное время все свои пожелания и распоряжения он писал на клочках бумаги, лежавших на его по-

стели, но, как он сказал однажды Себастьяну Теусу, ничего особенно важного он уже не может сообщить — ни устно, ни письменно.

Врач потребовал, чтобы больному как можно меньше рассказывали о событиях за стенами монастыря, надеясь таким образом оградить его от описания зверств Трибунала, который свирепствовал в Брюсселе. Но, как видно, новости все-таки просачивались в келью приора. Однажды в середине июня послушник, приставленный к больному для ухода за ним, заспорил с Себастьяном Теусом о том, когда приору в последний раз делали ванну из отрубей, которая освежала его и на какое-то время, казалось, даже возвращала ему бодрость. Приор обратил к спорящим посеревшее лицо и с усилием прохрипел:

— Это было в понедельник, шестого числа, в день казни обоих графов.

Тихие слезы скатились по его впалым щекам. Впоследствии Зенон узнал, что Жан-Луи де Берлемон через свою покойную жену состоял в родстве с Ламоралем Эгмонтом. Несколько дней спустя приор вручил лекарю записку — несколько слов утешения вдове графа, Сабине Баварской, которая, по слухам, от тревоги и горя была на краю могилы. Себастьян Теус шел передать письмо гонцу, когда его перехватил бродивший по коридору Пьер де Амер, который боялся, что неосторожность настоятеля может повредить монастырю. Зенон с презрением протянул ему записку. Эконом, прочитав послание, возвратил его врачу: в соболезнованиях знатной вдове и обещаниях помолиться за усопшего не содержалось ничего крамольного. К госпоже Сабине относились с почтением даже королевские чиновники.

Обдумывая так и эдак тревожившее его дело, Зенон наконец пришел к мысли, что прежде всего должно отослать брата Флориана подновлять часовни в каком-нибудь другом месте. Предоставленные самим себе, Сиприан и послушники не дерзнут собираться по ночам, а тем временем, может быть, удастся внушить монахиням-бернардинкам, чтобы они построже следили за обеими девушками. Поскольку послать куда-нибудь Флориана мог только сам приор, философ решил рассказать ему то небольшое, что могло побудить его действовать без промедления. Он стал дожидаться минуты, когда больному будет немного легче.

Эта минута настала однажды пополудни в середине июля, когда епископ собственной персоной явился проведать больного. Монсеньор только что отбыл. Жан-Луи де Берлемон, облаченный в сутану, возлежал на своем ложе — усилие, которое он сделал над собой, чтобы учтиво принять гостя, казалось, ненадолго взбодрило его. Себастьян увидел на столе поднос с едой, к которой приор почти не притронулся.

— Передайте мою благодарность этой доброй женщине, — сказал монах голосом чуть более слышным, чем обычно. — Правда, съел я немного, — добавил он почти весело, — но монаху не вредно попоститься.

— Епископ, без сомнения, разрешил бы ваше преподобие от поста, — возразил лекарь, поддерживая этот легкий тон.

Приор улыбнулся.

— Монсеньор человек весьма просвещенный и, полагаю, благородный,

хотя я и был среди тех, кто противился его назначению, ибо король тем самым поправил наши древние обычаи. Я имел удовольствие рекомендовать ему моего врача.

— Я не ищу другой службы, — шутиливо сказал Себастьян Теус.

На лице больного уже проступила усталость.

— Я не жалеюсь, Себастьян, — кротко сказал он, как всегда смущаясь, когда ему приходилось говорить о собственной немощи. — Недуг мой вполне терпим... Но есть у него неприятные следствия. Вот почему я не решаюсь принять соборование... Нехорошо, если приступ кашля или икота... Нет ли какого-нибудь средства, какое на время облегчило бы это удушье...

— Ваше удушье исцелимо, господин приор, — солгал врач. — Я очень надеюсь на нынешнее теплое лето...

— Да, да, конечно, — рассеянно подтвердил приор.

И он протянул Зенону свою исхудалую руку. Дежуривший у постели больного монах на мгновение отлучился, и Себастьян Теус, воспользовавшись этим, сказал, что встретил брата Флориана.

— Да, да, Флориан, — повторил приор, желая, как видно, показать, что еще помнит имена. — Мы поручим ему подновить фрески на хорах. У монастыря нет денег, чтобы заказать новые...

Должно быть, ему казалось, что монах с кистями и красками появился в монастыре совсем недавно. Вопреки слухам, которые распространялись в монастырских коридорах, Зенон считал, что Жан-Луи де Берлемон совершенно в здравом рассудке, но с некоторых пор все его умственные способности сосредоточились на его внутренней жизни. Внезапно приор сделал врачу знак склониться поближе, как если бы хотел доверить ему какую-то тайну, однако заговорил он уже не о брате-живописце.

— ...Жертва, о которой мы как-то говорили, друг Себастьян... Но жертвовать уже нечем... В мои годы неважно, будет человек жить или умрет...

— Для меня очень важно, чтобы приор был жив, — твердо сказал врач.

Но он отказался от попытки прибегнуть к помощи приора. Всякое обращение к больному могло обернуться доносом. Тайна могла по оплошности сорваться с усталых губ; а может быть даже, изнуренный болезнью монах проявил бы в этом деле строгость, ему не свойственную. Да и случай с письмом к вдове Эгмонта доказывал, что приор больше не хозяин у себя в монастыре.

Зенон сделал еще одну попытку припугнуть Сиприана. Он рассказал ему о несчастье, постигшем августинских монахов из Гента, впрочем, брат-фельдшер должен был и сам кое-что об этом слышать. Ответ молодого францисканца был неожиданным.

— Августинцы — дураки, — коротко заявил он.

Но три дня спустя монашек с взволнованным видом подошел к лекарю.

— Брат Флориан потерял талисман, который дала ему одна египтян-

ка, — сказал он в смятении. — Говорят, это может навлечь большую беду. Если бы менеер употребил свою силу...

— Я амулетами не торгую, — оборвал его Себастьян Теус и повернулся к нему спиной.

Назавтра, в ночь с пятницы на субботу, когда философ сидел, углубившись в свои книги, в открытое окно что-то бросили. Это оказался оrehовый прутик. Зенон подошел к окну. Серая тень — в темноте лишь смутно белело лицо, руки и босые ноги — делала снизу призывные знаки. Мгновение спустя Сиприан исчез под аркадой.

Зенон весь дрожа вернулся к столу. Бурное желание завладело им, хотя он знал, что не поддастся ему, как в других случаях, наоборот, заранее знаешь, что уступишь вопреки внутреннему сопротивлению, куда более сильному. Нет, он не последует за этим безумцем, чтобы принять участие в какой-нибудь нелепой оргии или ночном чародействе. Но среди будней, не дававших минуты покоя, перед лицом медленного разрушения плоти приора, а может быть, и его души, Зенону вдруг страстно захотелось вблизи молодой, горячей жизни позабыть могущественную власть холода, гибели и ночи. Была ли настойчивость Сиприана просто стремлением заручиться поддержкой человека, которого считали полезным, да к тому же наделенным магической силой? Или то была извечная попытка Алквиада искутить Сократа? Наконец философу пришла в голову и вовсе безумная мысль. Что, если его собственные желания, которые он обуздал ради того, чтобы отдаться исследованиям более глубоким, нежели даже изучение самой плоти, облеклись вовне в эту ребячливую и пагубную форму? *Extinctis luminibus* *. Он погасил лампу. Тщетно пытался он как анатом, а не как любовник, с презрением вообразить забавы этих человеческих детенышей. Он твердил себе, что рот, расточающий поцелуи, создан для жевания, а отпечаток губ, в которые ты только что впивался, вызывает брезгливость, когда ты видишь его на краю стакана. Напрасно рисовал он в своем воображении прилепившихся друг к другу белых гусениц или несчастных мушек, увязших в меду. Что там ни говори, Иделетта, Сиприан, Франсуа де Бюр и Матье Артс были хороши собой. Зброшенные бани и в самом деле стали обителью волхвованья; в жарком пламени чувственности совершалась трансмутация, как в алхимическом горне, — ради него стоило пренебречь пламенем костра. Белизна обнаженных тел была сродни свечению, которое свидетельствует о скрытых достоинствах камней.

Утром наступило отрезвление. Да лучше уж предаться разврату в каком-нибудь притоне, чем участвовать в дурацких фарсах, разыгрываемых Ангелами. Внизу, в серых стенах лечебницы, не смущаясь присутствием старухи, которая каждую субботу приходила лечить свои варикозные язвы, медик сурово отчитал Сиприана, уронившего коробку с бинтами. В лице монашка с чуть припухлыми веками не было ничего необычного. Ночное видение могло просто пригрезиться Зенону.

* При погашенном огне (*лат.*).

Но теперь в выходках юных монашков стала сквозить ирония и даже враждебность. Однажды утром философ обнаружил в лаборатории оставленный на виду рисунок, слишком искусный, чтобы принадлежать руке Сиприана, столь неумело водившего пером, что он едва мог подписать свое имя. В скопище изображенных фигур угадывалась своенравная фантазия Флориана. На листке представлен был сад наслаждений, который нередко изображали на своих полотнах художники; люди благонравные усматривали в этих картинах сатирическое изображение греха, другие, более пронизательные, напротив, — разгул плотских вожделений. Обнаженная красавица в сопровождении своих возлюбленных входила в воду, собираясь искупаться. За опущенным пологом обнимались двое любовников, и лишь сплетение их босых ног выдавало, чем они занимаются. Арапка протягивала на подносе гигантскую малину. Наслаждения, представленные такой аллегорией, превращались в шародейную игру, в опасную издевку. Философ задумчиво изорвал рисунок.

Два-три дня спустя он стал мишенью другой похотливой шутки: кто-то извлек из шкафа старые башмаки, которые надевали в слякоть и в снежную погоду, когда надо было пройти через сад; выставленные на полу посреди комнаты, ботинки эти громоздились друг на друге в непристойном беспорядке. Зенон расшвырял их ногой; шутка была грубой. Но еще больше встревожил его предмет, который однажды вечером он обнаружил в собственной комнате. Это был гладкий камешек, на котором неловкая рука нацарапала лицо и фигуру с признаками то ли женщины, то ли гермафродита; камешек был обмотан прядью белокурых волос. Философ сжег белокурый локон и с презрением швырнул в ящик это подобие приворотной куклы. Преследования прекратились; Зенон ни разу не унижился до того, чтобы говорить о них с Сиприаном. Он даже начал думать, что и безрассудства Ангелов кончатся сами собой, просто потому, что все на свете имеет конец.

Общественные невзгоды приводили все больше посетителей в убежище Святого Козьмы. К постоянным пациентам теперь прибавились лица, которые редко случалось видеть дважды. То были деревенские жители с разнообразными пожитками, наспех собранными накануне бегства или спасенными из горящего дома: подпаленными одеялами, перинами, из которых вылезали перья, кухонной утварью, щербатыми горшками. Женщины несли завернутых в грязное тряпье детей. Почти все эти простолюдины, изгнанные из непокорных деревень, одна за другой разоряемых королевскими войсками, страдали от увечий и ран, но более всего — от голода. Некоторые брели по городу, словно кочующее стадо, не зная, где сделают следующий привал, другие направлялись к родным, жившим в здешних краях, которые меньше пострадали от испанцев, и еще сохранившим и скотину и домашний очаг. С помощью брата Люка Зенону удалось раздобыть хлеб для раздачи самым обездоленным. Меньше стесали, но глядели более настороженно пришельцы, странствовавшие, как правило, в одиночку или небольшими группами по двое, по трое, в которых можно было узнать людей ученого звания или мастеров-ремесленников, при-

бывших из дальних городов — их, без сомнения, разыскивал Кровавый Трибунал. На этих беженцах была добротная городская одежда, но их дырявые башмаки и распухшие, покрытые волдырями ноги свидетельствовали о долгих переходах, к которым не привыкли эти домоседы. Они скрывали, куда держат путь, но от старой Греты Зенон знал, что почти каждый день из укромных бухточек на побережье отчаливают рыбацкие суда, увозящие патриотов в Англию или в Зеландию, смотря по направлению ветра и по тяжести их кошелька. Беглецам оказывали врачебную помощь, не задавая вопросов.

Себастьян Теус больше не отходил от приора. Лечебницу он мог доверить двум монахам, которые мало-помалу обучились у него начаткам врачебного искусства. Брат Люк, человек степенный и добросовестный, не помышлял ни о чем, кроме дела, которое ему поручили в данную минуту. А Сиприану была не чужда жалостливая доброта.

От попыток облегчить страдания приора с помощью опиатов пришлось отказаться. Однажды вечером он сам отстранил успокоительное питье.

— Поймите меня, Себастьян, — прошептал он с мучительной тревогой, как видно, опасаясь, возражений врача. — Мне не хотелось бы спать в ту минуту, когда... *Et invenit dormientes...* *

Философ понимающе кивнул. Отныне его роль при умирающем свелась к тому, чтобы постараться влить в него несколько ложек бульона или помочь брату, исполнявшему обязанности сиделки, поднимать это большое, изможденное тело, от которого уже веяло тленом. Возвращаясь поздней ночью в свою каморку при лечебнице, Зенон засыпал не раздеваясь и со дня на день ожидая, что очередной приступ удушья унесет приора в могилу.

Однажды ночью ему послышалось, что к его келье по плитам коридора приближаются быстрые шаги. Он мгновенно вскочил и распахнул дверь. В коридоре не было ни души. И все-таки он бросился к приору.

Жан-Луи де Берлемон сидел на своем ложе, прислонившись к валику и подушкам. Взгляд его широко открытых глаз устремился на врача с выражением безграничной заботливости.

— Уезжайте, Зенон! — проговорил приор. — После моей смерти... — И он зашелся в кашле.

Потрясенный Зенон инстинктивно обернулся, чтобы проверить, не услышал ли его монах, сидевший на своей табуретке. Но старик дремал, покачивая головой. Обессиленный приор откинулся на подушки и впал в тревожное забытие. Зенон с бьющимся сердцем склонился над ним, борясь с искушением привести его в чувство, чтобы услышать еще хоть слово или поймать взгляд. Он не верил своим ушам, не верил своему рассудку. Минуту спустя Зенон присел у кровати. Что ж, быть может, приор с самого начала знал его настоящее имя...

По телу больного пробежал слабый трепет. Зенон начал медленно рас-

* И нашел их спящими... (лат.)

тирать ему ноги от ступни кверху, как его учила когда-то хозяйка Фрешё. Этот массаж заменял все препараты опия. В конце концов врач и сам заснул, сидя на краю постели и уткнувшись лицом в ладони.

Утром он спустился в трапезную выпить чашку теплого супа. И увидел там Пьера де Амера. Возглас приора, как дурная примета, оживил все тревоги алхимика. Он отвел эконома в сторону и сказал ему в упор:

— Надеюсь, вы положили конец безрассудствам ваших друзей...

Он хотел было заговорить о чести и безопасности обитатели. Но эконом избавил его от этого унижения.

— Не понимаю, о чем речь, — отрезал он.

И ушел, громко стуча сандалиями.

Вечером приора соборовали в третий раз. В маленькую келью и прилегающую к ней часовню набились монахи со свечами в руках. Некоторые плакали, другие просто напустили на себя приличествующую церемонии печаль. Больной, почти уже не способный двигаться, казалось, из последних сил боролся с мучительной одышкой и невидящим взглядом глядел на желтое пламя свечей. После отходной присутствовавшие потянулись к двери, оставив в келье лишь двух монахов с четками. Зенон, державшийся в отдалении, снова занял свое обычное место у постели умирающего.

Время для общения с помощью слов, пусть даже самых кратких, миновало; теперь приор только знаками просил подать ему глоток воды или урильник, подвешенный возле кровати. Однако Зенону чудилось, что в глубине этого рухнувшего мира, словно клад под грудой обломков, теплится дух, с которым, быть может, еще удастся сохранить связь, обходясь без слов. Он все время держал руку на запястье больного, и казалось, слабого этого прикосновения было довольно, чтобы придать приору немного сил и получить от него взамен немного душевной ясности. Время от времени врач вспоминал, что, согласно христианскому вероучению, душа умирающего трепещет над ним подобно окутанному туманом язычку пламени, и вглядывался в сумрак, но то, что являлось его взору, наверное, было всего лишь отражением горячей свечи в стекле. На рассвете Зенон убрал руку — настал миг предоставить приору приблизиться к последнему порогу в одиночестве, а может быть, в сопровождении тех невидимых образов, к которым он обращался с мольбой в свой смертный час. Немного погодя больной шевельнулся, словно приходя в сознание; пальцы его левой руки, казалось, тщетно нашаривают что-то на груди, там, где Жан-Луи де Берлемон в былое время носил, должно быть, свой орден Золотого Руна. Зенон заметил на подушке ладанку с развязавшимся шнурком. Он водворил ее на место; умирающий с видом облегчения прижал ее пальцами. Губы его беззвучно шевелились. Напряженно вслушиваясь, Зенон уловил наконец повторяемые, очевидно, в бесчисленный раз последние слова молитвы: ... nunc et in hora mortis nostrae *.

Прошло полчаса; Зенон приказал обоим монахам взять на себя попечение об усопшем.

* ...ныне и в час смерти нашей (*лат.*).

На отпевании приора Зенон стоял в одном из церковных приделов. Церемония привлекла много народу. В первых рядах врач узнал епископа и рядом с ним опирающегося на палку, наполовину разбитого параличом, но все еще крепкого старика, который был не кто иной, как каноник Бартоломе Кампанус — на старости лет в его осанке появились величавость и уверенность. Монахи под своими капюшонами походили друг на друга как две капли воды. У Франсуа де Бюра, раскачивавшего кадилом, и в самом деле был ангельский вид. На подновленных фресках хоров светлыми пятнами выделялись то нимб, то плащ какого-нибудь святого.

Новый приор был довольно бесцветной личностью, но весьма благочестив и слыл ловким распорядителем. Ходили слухи, будто по совету Пьера де Амера, который содействовал его избранию, он намерен в самом скором времени закрыть лечебницу Святого Козьмы, содержание которой якобы слишком дорого обходится монастырю. А может быть, кому-то стало известно о помощи, какую под ее кровом оказывали тем, кто бежал от преследований Трибунала. Врача, однако, никто ни в чем не упрекнул. Впрочем, Зенону было уже все равно: он решил скрыться, как только тело приора предадут земле.

На этот раз он не возьмет с собой ничего. Он оставит в каморке книги, к которым он, впрочем, теперь очень редко обращался за советом. Рукописи его не столь ценны и не столь опасны, чтобы таскать их с собой, убоявшись, как бы они не сгорели однажды в печи трапезной. Поскольку стояло лето, он решил отказаться от теплого плаща и зимней одежды — можно обойтись и легким плащом, который он накинёт поверх своего лучшего платья. Он сложил в дорожную сумку инструменты, обернутые ветошью, да несколько редких и дорогостоящих снадобий. В последнюю минуту он сунул туда еще пару старых седельных пистолетов. Сведя поклажу к самому необходимому, он тщательно обдумал выбор каждого предмета. Деньги у него были: к тем крохам, что он скопил для отъезда, откладывая их из скудного монастырского жалованья, прибавился еще сверток, который за несколько дней до смерти приора ему передал старик монах, дежуривший у постели больного, — в свертке лежал кошелек, из которого он когда-то позаимствовал денег для Гана. Похоже было, что с тех пор приор не взял оттуда ни гроша.

Сначала Зенон намеревался доехать до Антверпена в двуколке Гретиного сына, а оттуда пробраться в Зеландию или в Гелдерланд, открыто восставшие против королевской власти. Но если его отъезд вызовет подозрения, лучше не подвергать опасности старую женщину и ее сына. Он решил пешком дойти до побережья, а там сговориться с лодочником.

Накануне отъезда он в последний раз обменялся несколькими словами с Сиприаном, который что-то мурлыкал в лаборатории. У парня был вид спокойного довольства, взбесивший Зенона.

— Надеюсь, вы отказались от ваших утех хотя бы на время траура, — сказал он ему напрямик.

— Сиприану больше не нужны ночные сборища, — заявил монашек, имевший детское обыкновение говорить о себе в третьем лице. — Он

встречает Красавицу с глазу на глаз среди бела дня.

И не заставив себя долго просить, рассказал, что на берегу канала обнаружил заброшенный сад, проломил ограду, и теперь Иделетта время от времени приходит к нему туда на свидания. А стережет их спрятавшаяся за стеной арапка.

— А ты позаботился о том, чтобы она не понесла? Одно неосторожное слово роженицы, и ты заплатишься жизнью.

— Ангелы не зачинают и не рожают, — заявил Сиприан с наигранной уверенностью, как повторяют заученные слова.

— Ох, да не мели ты этого сектантского вздору, — воскликнул, отчаявшись, лекарь.

Вечером накануне отъезда он поужинал, как это случалось частенько, с органистом и его женой. После трапезы органист по обыкновению пригласил его послушать пьесы, которые в ближайшее воскресенье намерен был исполнить на большом органе церкви Святого Доната. Музыка, таившаяся в звонких трубках, зазвучала в безлюдном нефе с гармонией и мощностью, недоступной человеческому голосу. Всю последнюю ночь, проведенную Зеноном в келье при убежище Святого Козьмы, в его мозгу, переплетаясь с планами будущего, вновь и вновь звучал один из мотетов Орlando Лассо.

Слишком рано выходить было бессмысленно — городские ворота открывались только на рассвете. Он оставил записку, в которой объяснял, что его срочно вызывает к себе друг, заболевший в соседнем местечке, и он будет обратно не позднее чем через неделю. Никогда не мешает обеспечить себе возможность возвращения.

Улицу уже заливал серый летний рассвет, когда Зенон потихоньку вышел из убежища. Как он уходил, видел только пирожник, открывавший ставни своей кондитерской.

ПРОГУЛКА В ДЮНАХ

Он подошел к воротам Дамме в ту самую минуту, когда поднимали решетку и опускали подъемный мост. Стражники вежливо поздоровались с ним — они привыкли к тому, что по утрам он ходит собирать травы; его ноша внимания не привлекла.

Широкими шагами он быстро двинулся вдоль канала; был час, когда зеленщики привозят в город свой товар, многие из них узнавали лекаря и желали ему доброго пути; один из встречных как раз собирался поехать у него свою грыжу и приуныл, услышав, что врач надумал отлучиться; доктор Теус заверил его, что вернется к концу недели, хотя эта ложь далась ему нелегко.

Занималось прекрасное утро, как бывает, когда солнце мало-помалу разгоняет туман. Путника переполняла такая живительная бодрость, что

ему было почти весело. Казалось, иди себе твердым шагом до того места на берегу, где можно найти лодку, и сами собой спадут с плеч тревоги и заботы последних недель. Рассвет хоронил мертвецов, свежий воздух рассеивал наваждения. Город Брюгге, который он оставил позади, существовал уже словно бы в другом веке, на другой планете. Преувеличивая значение мелких интриг и мелких склок, неизбежных во всяком затворничестве, он дивился, как случилось, что он на целых шесть лет замуровал себя в убежище Святого Козьмы, погрязнув в монастырских буднях, куда более пагубных, нежели сама церковная стезя, которая отвращала его уже в двадцать лет. Ему казалось, что, отказываясь столь долго от большого мира, он едва ли не надругался над неисчерпаемыми возможностями бытия. Конечно, работа пытливого ума, пролагающего путь к оборотной стороне вещей, ведет к удивительным глубинам, но зато она преграждает путь опыту, который в том и состоит, чтобы жить. Слишком долго лишил он себя счастья просто идти вперед, наслаждаясь каждой минутой во всей ее полноте, полагаясь на случай, не зная, где нынче ночью приклонит голову и каким способом через неделю заработает свой хлеб. Нынешняя перемена была равносильна возрождению, почти метампсихозу. Душа ликовала уже оттого, что ноги ступают по земле. Глаза довольствовались тем, что направляли его шаги, наслаждаясь притом красотой зеленой травы. Ухо радостно внимало ржанью резвящегося жеребенка, который скакал вдоль живой изгороди, и еле слышному скрипу двуколки. Отъезд знаменовал собой ничем не ограниченную свободу.

Он приближался к предместью Дамме, где когда-то располагался порт города Брюгге и, до того как обмелела река, во множестве теснились большие заморские суда. Но времена кипучей портовой жизни миновали: где прежде выгружали тюки с шерстью, теперь паслись коровы. Зенон вспомнил, как инженер Блондель при нем умолял Анри-Жюста взять на себя часть расходов, необходимых для борьбы с наступающим песком; близорукий богач отказал одаренному человеку, который мог бы спасти город. Племя скупцов поступает всегда одинаково.

Он остановился на площади купить хлеба. Двери в домах зажиточных горожан были уже открыты. Бело-розовая матрона в нарядном чепце выпустила на улицу спаниеля, который весело побежал, обнюхивая травку, на мгновение замер в виноватой позе, свойственной собакам, справляющим нужду, а потом снова стал прыгать и играть. Шумная стайка ребятишек, миловидных, пухлых, пестротюю одежды похожих на малиненок, направлялась в школу. А ведь это были подданные испанского короля, которым суждено в один прекрасный день идти бить негодяев французов. Возвращалась домой кошка, из пасти у нее торчали птичьи лапки. Аппетитный дух теста и сала шел от лавки торговца жареным мясом, смешиваясь с тошным запахом расположенной по соседству лавки мясника; хозяйка ее скребла и мыла замаранный кровью порог. Неизменная виселица торчала сразу за чертой города на небольшом поросшем травой холме, но висевшее на ней тело уже так давно поливали дожди, обдувал ветер и жгло солнце, что оно стало похоже на бесформенный тюк старой рухляди; морской ветерок ласково поигрывал лохмотьями выцветшей одежды. Появилась группа людей, вооруженных арбалетами, — они шли

пострелять певчих дроздов; это были добрые горожане; весело болтая, они хлопали друг друга по спине, у каждого через плечо висела сумка — скоро она наполнится комочками жизни, которая минутой раньше пела в небесном просторе. Зенон ускорил шаги. Довольно долго он шел совсем один по дороге, петлявшей между двумя выгонами. Казалось, мир состоит из бледного неба да зеленой сочной травы, которая волнами колыхалась под ветром. На мгновение ему вспомнилось алхимическое понятие *viriditas* * — появление существа, невинно прорастающего из самой природы вещей, побег жизни в ее чистом виде, — но потом он отбросил всякие формулы и целиком отдался безыскуности утра.

Четверть часа спустя он нагнал бродячего торговца галантерейным товаром, тот шагал впереди со своим мешком; они обменялись приветствиями, торговец пожаловался, что дела идут плохо: многие города в глубине страны разграблены рейтарами. Здесь хотя бы поспокойнее, никаких происшествий. И снова Зенон продолжал свой путь в одиночестве. Незадолго до полудня он присел перекусить на холме, откуда уже виднелась вдали серая кромка моря.

Путник, вооруженный длинным посохом, уселся с ним рядом. Он оказался слепцом, который тоже вытащил из котомки какую-то снедь. Врач восхитился тем, как ловко этот человек с бельмами на обоих глазах освободился от висевшей у него на плече волынки, отстегнув ремень и осторожно положив ее на траву. Слепой порадовался хорошей погоде. Оказалось, он зарабатывает на жизнь, играя в трактирах или на фермах, чтобы молодые могли поплясать; нынче вечером он заночует в Хейсте, где в воскресенье ему предстоит играть, а потом пойдет в Слэйс: благодарение богу, молодежь есть повсюду, так что без заработка не останешься, а иной раз и сам повеселишься. Поверит ли менеер? Находятся женщины, которые не брезгают слепыми — стало быть, потерять зрение не так уж велика беда. Как многие его собратья-слепцы, волынщик часто, и даже слишком, употреблял слово "видеть": он видит, что Зенон — мужчина в расцвете лет и человек образованный, видит, что солнце еще высоко стоит в небе, видит, что по тропинке за их спиной идет женщина, которая немного прихрамывает и несет на коромысле два ведра. Впрочем, похвалялся он не напрасно, он первым почувствовал, как по траве скользнула змея. Он даже попытался убить своей палкой гнусную тварь. На прощанье Зенон дал ему лиард, и слепец проводил его крикливыми благословениями.

Дорога шла вдоль довольно обширной фермы, единственной в этой местности, где под ногами уже поскрипывал песок. Усадьба радовала глаз разбросанными там и сям зарослями орешника, оградой, которая тянулась вдоль канала, двором, осененным тенью тополя, где отдыхала на скамье, поставив рядом два ведра, давешняя женщина с коромыслом. Поколебавшись, Зенон прошел мимо. Когда-то ферма Аудебрюгге принадлежала семейству Лигров; быть может, она и сейчас оставалась их владением. Пятьдесят лет тому назад его мать и Симон Адриансен незадолго до своей свадьбы приехали сюда, чтобы получить для Анри-Жюста ренту с земельного участка, — поездка была задумана как увеселительная прогул-

* Зелень (лат.).

ка. Мать сидела на берегу канала, свесив босые ноги, которые в воде казались особенно белыми. Симон ел, и крошки застревали в его седой бороде. Молодая женщина облупила крутое яйцо, а драгоценную скорлупу отдала сыну. Он бегал, держа на ладони легкую скорлупку, которая вдруг соскальзывала и, подхваченная ветром, летела перед ним, а потом на мгновение, словно птица, вновь опускалась на его ладонь; всякий раз надо было изловчиться, чтобы вовремя ее подхватить, потому-то и бежать приходилось, делая сложные прерывистые зигзаги. Иногда ему казалось, что он играет в эту игру всю свою жизнь.

Теперь он шел медленнее — земля под тогами стала сыпучей. Дорога, которую отмечал только след колеи на песке, то карабкалась вверх, то сбегала вниз по дюнам. Навстречу ему попались двое солдат, без сомнения, из гарнизона, стоящего в Слэйсе, и он порадовался тому, что запасася пистолетами; в безлюдном месте всякий солдат легко превращается в разбойника. Но эти только пробурчали какое-то приветствие на германском наречии и, как показалось Зенону, обрадовались, когда он ответил им на их языке. Наконец он увидел на пригорке поселок Хейст со свайным молом, возле которого были причалены четыре или пять лодок. Другие покачивались вдали на волнах. Эта деревушка на берегу бескрайнего моря располагала всеми основными признаками города: тут был рынок, где, судя по всему, торговали по большей части рыбой, церковью, мельница, площадь с виселицей, низенькие домишки и высокие амбары. Трактир "Прекрасная голубка", который, по рассказам Йоссе, был местом сбора беженцев, оказался лачугой у самого подножья дюны, с голубятней, в которую была воткнута щетка, служившая вывеской и означавшая, что эта жалкая харчевня — одновременно деревенский дом свиданий. В таком месте надо глядеть в оба, чтобы не лишиться денег и багажа.

В садике, в зарослях хмеля, перебравший клиент извергал выпитое пиво. Какая-то женщина что-то крикнула пьянице из оконца второго этажа, потом ее всклокоченная голова исчезла — как видно, она пошла досыпать в одиночестве. Йоссе сообщил Зенону пароль, который сам он узнал от своего приятеля. Философ вошел и поздоровался с теми, кто находился в трактире. Большая общая комната была закопченной и темной, как погреб. Хозяйка, согнувшись у очага, готовила яичницу — ей помогал поддувавший огонь мальчонка. Зенон сел за столик и, чувствуя неловкость оттого, что должен произнести заученную фразу, точно актер в ярмарочном балагане, сказал:

— Доброе начало...

— ...поддела откчалю, — закончила, обернувшись, женщина. — Откуда вы?

— Меня прислал Йоссе.

— Мало ли кого он нам присылает, — сказала хозяйка, многозначительно подмигнув.

— Насчет меня не сомневайтесь, — сказал философ, омраченный тем, что в глубине комнаты тянет пиво какой-то сержант в шляпе с пером. — У меня бумаги в порядке.

— А тогда с чего ж это вы к нам явились? — спросила красотка хо-

зайка. — Насчет Мило вы будьте покойны, — продолжала она, указав большим пальцем на сержанта. — Это любовник моей сестры. Он свой. Есть будете?

Вопрос прозвучал как приказание.

Зенон согласился поесть. Яичница предназначалась сержанту; Зенону хозяйка принесла в миске довольно сносное рагу. Пиво было хорошее. Вояка оказался албанцем, который перешел Альпы в обозе герцогских войск. Говорил он на смеси фламандского с итальянским, но похоже было, что хозяйка понимает его без особого труда. Он жаловался, что всю зиму трясся от холода, а барыши оказались куда более скудными, чем сулили вербовщики в Пьемонте, потому что тех, кого можно обобрать или за кого содрать выкуп, оказалось среди лютеран куда меньше, чем уверяли в Италии, когда заманивали солдат.

— Что поделаешь, — попыталась утешить его хозяйка. — Выручка, у кого ни возьми, всегда меньше, чем издали кажется. Марикен!

Спустилась Марикен в накинутом на голову платке. Она села рядом с сержантом, и они стали есть из одной сковородки. Женщина совала сержанту в рот аппетитные кусочки шпика, которые выуживала из яичницы. Мальчик, орудовавший мехами, исчез.

Зенон отодвинул миску и хотел расплатиться.

— К чему спешить? — небрежно проронила красотка хозяйка. — Скоро придут ужинать муж и Никлас Бамбеке. В море-то они, бедняжки, едят все холодное!

— Я хотел бы сразу посмотреть лодку.

— С вас двадцать лиардов за мясо, пять за пиво и пять дукатов сержанту за пропуск, — вежливо пояснила она. — За ночлег плата отдельная. Отчаливают они только завтра утром.

— У меня уже есть разрешение на выезд, — возразил путешественник.

— Разрешению цена грош, если не ублажить Мило, — заявила хозяйка. — Здесь он — король Филипп.

— Я еще не сказал, что собираюсь в плавание, — заметил Зенон.

— Нечего торговаться! — громко заворчал из дальнего угла сержант. — Стану я торчать дни и ночи на молу да проверять, кто отплывает, а кто нет.

Зенон заплатил все, что с него потребовали. Он благоразумно положил в кошелек денег ровно столько, чтобы не вызвать подозрений, будто он припрятал еще кое-что.

— Как называется лодка?

— Да так же, как и здешний трактир, — ответила хозяйка заведения. — "Прекрасная голубка". Жаль будет, если он перепутает, правда, Марикен?

— Еще бы! — поддержала ее сестра. — На "Четырех ветрах" заблудятся в тумане, да и угодят прямехонько в Вилворде.

Шутка показала обеим женщинам очень забавной, понял ее и албанец — он тоже покатылся со смеху. Вилворде находился далеко от побережья.

— Пожитки свои можете оставить здесь, — благодушно предложила хозяйка.

— Лучше уж сразу погрузить их в лодку, — сказал Зенон.

— Экий недоверчивый господин, — насмешливо бросила Марикен ему вслед.

На пороге он едва не столкнулся со слепцом, который тащил свою волюнку, чтобы молодые могли поплясать. Тот узнал Зенона и угодливо поклонился.

По пути к причалу ему встретился взвод солдат, направлявшихся к трактиру. Один из них спросил, откуда он идет — не из "Голубки" ли? Получив утвердительный ответ, его пропустили. Видно, Мило и впрямь был здесь хозяином.

Плавучая "Прекрасная голубка" оказалась довольно большой крутобокой лодкой, лежавшей на обнажившемся после отлива песке. Зенон подошел к ней, почти не замочив ног. Двое мужчин и мальчишка, который вздувал огонь в трактире, возлились со снастями; среди бухт каната шныряла собака. Подальше в лужице воды валялась куча окровавленных седлочных голов и хвостов, которая свидетельствовала о том, что улов уже отправлен в другое место. Увидев приближающегося путника, один из мужчин спрыгнул на берег.

— Янс Брёйни — это я, — представился он. — Это вас Йоссе в Англию отправляет? Только сначала столкнемся насчет платы.

Зенон понял, что мальчишку выслали вперед предупредить хозяина. Как видно, они уже обсудили между собой размеры его достатка.

— Йоссе говорил о шестнадцати дукатах.

— Это, сударь, когда проезжих много. Однажды у меня на борту одиннадцать душ было. Больше-то мне не взять. По шестнадцати дукатов с лютеранина — выходит сто семьдесят шесть. Я не говорю, что с одного человека...

— Я не лютеранин, — перебил его философ. — У меня в Лондоне сестра замужем за купцом...

— Знаем мы этих сестер, — насмешливо сказал Янс Брёйни. — Душа радуется, как поглядишь на тех, кому и морская болезнь нипочем — припишило им повидать родню.

— Назовите свою цену, — настаивал врач.

— Боже ты мой, сударь, да я вовсе не хочу отбивать у вас охоту прокатиться в Англию. Только мне это плавание не больно по вкусу. С англичанами-то у нас вроде как бы война...

— Пока еще нет, — возразил философ, поглаживая голову собаки, которая увязалась на берег за хозяином.

— Да это что в лоб, что по лбу, — возразил Янс Брёйни. — Плавать туда разрешено, потому как еще не запрещено, да вроде и не совсем разрешено. Вот при королеве Марии, жене Филиппа, — дело другое, не в обиду вам будь сказано, там жгли тогда еретиков, совсем как у нас. А нынче все пошло вкривь и вкось; королева-то у них пригульная и сама тайком мастерит ублюдков. Называет себя девственницей, но это только чтобы Пречистой Деве насолить. В Англии теперь потрошат аббатов и мочатся в священные сосуды. А это грех. Нет, уж лучше мне ловить рыбу у бережка.

— Ловить рыбу можно и в открытом море, — заметил Зенон.

— Коли ловишь рыбу, возвращаешься, когда тебе вздумается, а коли держишь путь в Англию, плавание может и затянуться... Сегодня, глядишь, штиль, а завтра, не ровен час, — шторм... Вдруг кто полюбопытствует, что у меня за груз, — дичь-то я везу диковинную, а уж обратно... Был у меня случай, — сказал он, понизив голос, — вез я порох для графа Нассауского. Не очень-то весело было в ту пору в моей скорлупке.

— Есть ведь и другие лодки, — небрежно заметил философ.

— Это как сказать, сударь. Со "Святой Барбарой" мы в доле, да она получила пробоину — ничего не напишешь. У "Святого Бонифация" неприятности... Само собой, есть еще лодки, что вышли в море, да кто ж их знает, когда они будут обратно... Коли вы не торопитесь, справьтесь в Бланкенберге или в Вендейне, только там те же цены, что и у нас.

— А вон та? — спросил Зенон, указав на суденышко поменьше, на корме которого какой-то человек неторопливо готовил себе еду.

— "Четыре ветра"? Что ж, наймите ее, коли она вам приглянулась, — сказал Янс Брёйни.

Зенон размышлял, присев на перевернутую бочку из-под сельдей. Собака положила морду ему на колени.

— Стало быть, на рассвете вы так или иначе выйдете в море?

— Ловить рыбу, добрый мой сударь, ловить рыбу. Само собой, если у вас найдется... ну, скажем, дукатов пятьдесят...

— Сорок, — твердо сказал Зенон.

— Сойдемся на сорока пяти. Не стану обирать клиента. Если у вас нет другой причины спешить, кроме как навестить сестру в Лондоне, почему бы вам не переждать денька два-три в нашей "Голубке"?.. Сюда что ни день прибывают беглецы, торопятся, ровно на пожар... Вам тогда придется только свой пай пилить.

— Я предпочитаю не откладывать.

— Так я и думал... Да оно и разумнее, вдруг ветер переменится... А с пташкой, что сидит в трактире, вы договорились?

— Если речь о пяти дукатах, что у меня выудили...

— Это дело не мое, — с презрением заявил Янс Брёйни. — С ним бабы торговались, чтобы на суше беды не нажить. Эй, Никлас! — окликнул он товарища. — Вот пассажир!

Рыжий великан наполовину высунулся из люка.

— Это Никлас Бамбеке, — представил его хозяин. — Есть еще Михиел Соттенс, но он домой пошел — ужинать. А вы, верно, подкрепитесь с нами в "Голубке"? Багаж можете оставить здесь.

— Мне он понадобится ночью, — сказал врач, прижимая к себе дорожную сумку, к которой Янс протянул руку. — Я хирург, тут мои инструменты, — пояснил он, чтобы тяжелая сумка не вызвала подозрений.

— Господин хирург обзавелся также пистолетами, — язвительно заметил хозяин лодки, краем глаза указав на металлические рукоятки, оттопыривавшие карманы врача.

— Значит, он человек осторожный, — заметил Никлас Бамбеке, спрыгивая с лодки. — Что ж — и в море рыщут недобрые люди.

Зенон пошел следом за ними по направлению к трактиру. Дойдя до рынка, он свернул за угол, сделав вид, будто ему надо по нужде. Муж-

чины продолжали свой путь, о чем-то оживленно споря, за ними кругами бежали мальчик с собакой. Зенон обогнул рынок и снова вернулся на берег.

Надвигалась ночь. Шагах в двухстах утопала в песке полуразвалившаяся часовня. Зенон заглянул внутрь. Вода, оставленная последним большим приливом, покрывала пол нефа с изъеденными солью статуями. Приор, без сомнения, предался бы здесь благочестивым размышлениям и молитвам. Зенон устроился у крытого входа, подложив под голову дорожную сумку. Справа виднелись темные очертания лодок и на корме "Четырех ветров" — зажженный фонарь. Путешественник стал размышлять о том, что он станет делать в Англии. Первым долгом надо постараться, чтобы тебя не приняли за папистского шпиона, прикидывающегося беженцем. Он представил себе, как будет бродить по улицам Лондона в поисках места корабельного хирурга или должности при каком-нибудь враче вроде той, что он занимал при Яне Мейерсе. По-английски он не говорит, но выучить язык не составит труда, и к тому же с латынью нигде не пропадешь. Если повезет, можно поступить на службу к какому-нибудь вельможе, который ищет снадобий для возбуждения любовного пыла или лекарства от подагры. Он привык к тому, что ему сулят щедрое жалованье, а потом не платят ни гроша, привык сидеть за столом то на почетном, то на самом последнем месте, смотря по тому, с какой ноги встал нынче милорд или его высочество, привык препираться с местными невежественными лекарями, встречающимися в штывы чужеземца-шарлатана. В Инсбруке ли, в других ли местах он все это уже повидал. Надо также не забывать с отвращением говорить о папе, как здесь говорят о Жане Кальвине, и насмехаться над королем Филиппом, как во Фландрии насмеваются над королевой Английской.

Раскачиваясь в руке идущего человека, приближался фонарь с "Четырех ветров". Лысый хозяин лодки остановился перед Зеноном — тот приподнялся на локте.

— Я видел, сударь, как вы расположились у входа. До моего дома отсюда рукой подать, если ваша милость опасается вечерней росы...

— Мне хорошо и здесь, — сказал Зенон.

— Не сочтите за любопытство, ваша милость, но дозволейте спросить, сколько они просят, чтобы доставить вас в Англию?

— Вы и сами должны знать здешние цены.

— Я не осуждаю их, ваша милость. Сезон у нас короткий. Да будет вашей милости известно, после Всех святых не всегда удается поднять паруса... Так ведь если бы они по-честному... неужто вы думаете, что за эту цену они доставят вас в Ярмут? Нет, сударь, они передадут вас в море тамошним рыбакам, и вам снова придется выложить денежки.

— Что ж, этот способ не хуже всякого другого, — рассеянно заметил путешественник.

— А вы не подумали, сударь, что человеку в годах опасно пускаться в путь одному с тремя молодцами? Ударить веслом дело недолгое. Продадут одежду англичанам — и концы в воду.

— Вы что ж, предлагаете перевезти меня в Англию на своей лодке?

— Нет, сударь, "Четырем ветрам" туда не доплыть. Моей лодчонке и до Фрисландии далеко. Но если вы желаете переменить климат, вам, сударь, надо бы знать, что Зеландия вроде как бы уплывает из королевских рук. Там кишма кишат гёзы, с тех пор как господин граф Нассауский сам прислал туда капитана Соннуа... Я знаю, какие фермы снабжают капитана Соннуа и господина Долхайна продовольствием и оружием... Чем ваша милость изволит заниматься?

— Пользую себе подобных, — ответил врач.

— Вашей милости на фрегатах этих господ не раз представится случай полечить раны — и рубленые, и колотые. Если дожидаться попутного ветра, через несколько часов вы будете на месте. Сняться с якоря можно еще до полуночи. У "Четырех ветров" осадка неглубокая.

— А как вы минуете дозор у Слэйса?

— Так ведь свет не без добрых людей, сударь. У меня там друзья. Только вашей милости лучше бы сменить дорогое платье на одежду простого матроса... Если кто поднимется на борт...

— Вы еще не назначили цену.

— Пятнадцать дукатов не дорого для вашей милости?

— Нет, цена подходящая. А вы уверены, что не угодите в Вилворде? Лицо лысого человечка исказила злобная гримаса.

— Проклятый кальвинист! Святотатец! Это на меня в "Голубке" наклепали?

— Я повторяю то, что слышал, — коротко ответил Зенон.

Человечек, бранясь, пошел прочь. Шагах в десяти он обернулся, качнув фонарем. Свирипое выражение снова сменилось угодливым.

— Я вижу, до вашей милости дошли разные слухи, — медоточиво сказал он, — да только не всякому слуху верь. Ваша милость простит мне, я погорячился, но ведь не моя вина, что схватили господина Баттенбурга. И лоцман-то был не здешний... Да и разве можно сравнить барыш — господин Баттенбург был жирный кус. А вы, сударь, у меня на борту будете как у Христа за пазухой...

— Хватит, я понял, — сказал Зенон. — Ваша лодка может отчалить в полночь, переодеться я могу в вашем доме, который неподалеку, и цена ваша — пятнадцать дукатов. А теперь оставьте меня в покое.

Но лысый человечек был не из тех, от кого легко отделаться. Он отстал от Зенона только после того, как заверил его милость, что, если тот очень устал, он может за недорогую цену отдохнуть у него в доме и отчалить только завтра ночью. Капитан Мило мешать не станет — не женат же он на Янсе Брэйни. Оставшись в одиночестве, Зенон подивился тому, что, заболел эти прохвосты — он стал бы их усердно лечить, хотя здоровых охотно бы прикончил. Когда фонарь был водворен на палубу "Четырех ветров", Зенон встал. В темноте никто не мог бы увидеть, что он делает. Взяв под мышку дорожную сумку, он неторопливо прошел с четверть лье в сторону Вендейне. Без сомнения, повсюду его ждет одно и то же. Трудно решить, кто из этих двоих шутов лжет, хотя, может случиться, оба говорят правду. А может, оба лгут просто из-за жалкой конкуренции. Дело не стоит того, чтобы в нем разбираться.

Дюна заслоняла от него огни Хейста, который меж тем был совсем близко. Он выбрал защищенную от ветра ложбину, куда не достигал прилив, граница которого угадывалась в темноте по сырому песку. Ночь была теплая. Утро вечера мудренее — он успеет принять решение. Зенон укрылся плащом. Туман скрадывал звезды, кроме Веги, стоящей почти в зените. Море вело свой неумолчный разговор. Он заснул без сновидений.

Холод разбудил его еще до рассвета. Небо и дюны были окутаны бледной дымкой. Прилив подступал почти к самым его ногам. Его пробирала дрожь, но холод уже сулил погожий летний день. Осторожно потирая свои затекшие за ночь ноги, он глядел, как бесформенное море рождает быстро исчезающие волны. Гул, звучащий от сотворения мира, все не утихал. Он пропустил между пальцами пригоршню песка. Calculus *. Этим струением атомов начинаются и кончаются все размышления над числами. Чтобы обратить скалы в эти песчинки, понадобилось веков больше, чем содержится дней в библейских сказаниях. Еще в юные годы чтение философов древности научило его свысока смотреть на жалкие шесть тысяч лет — все, что евреи и христиане признают из почтенной древности мира, которую они измеряют короткой человеческой памятью. Дранутрские крестьяне когда-то показывали ему в торфяниках гигантские стволы деревьев, вообразая, что их прибило сюда во время всемирного потопа, но история знала не только то нашествие воды, которое связывают с именем патриарха, любившего выпить, точно так же, как разрушительное действие огня проявило себя не только во время нелепой гибели Содома. Дараци говорил о мириадах веков, которые составляют лишь краткий миг бесконечного дыхания. Зенон подсчитал, что, если он доживет до двадцать четвертого февраля будущего года, ему исполнится пятьдесят девять лет. Всего одиннадцать или двенадцать пятилетий, но они были сродни пригоршне песка: от них тоже веяло головокружительной огромностью цифр. Более полутора миллиардов мгновений прожил он в разных местах на земле, а тем временем Вега совершала оборот вокруг зенита и море с шумом катило волны на все земные берега. Пятьдесят восемь раз видел он молодую весеннюю траву и цветение лета. Будет жить или умрет человек, достигший этого возраста, значения не имеет.

Солнце уже припекало, когда с гребня дюны он увидел, как "Прекрасная голубка" вышла в море, подняв парус. Славно было бы плыть в такую погоду. Грузная барка удалялась быстрее, чем можно было ожидать. Зенон снова растянулся в своем песчаном укрытии, предоставляя благодетельному теплу изгнать из его тела остатки ночной усталости и сквозь сомкнутые веки созерцая ток собственной красной крови. Он взвешивал свои возможности так, словно речь шла о ком-то другом. Поскольку при нем оружие, он мог бы заставить мошенника, сидящего за штурвалом "Четырех ветров", высадить себя на берегу там, где пристают только морские гёзы, а если тот вознамерится взять курс в сторону какого-нибудь испанского судна, выстрелом из пистолета разозлить ему голову. Когда-то с помощью этих же самых пистолетов он без всяких угрызений отправил на тот свет арнаута, который напал на него в

* Счет (лат.).

лесу в Болгарии; разделавшись с ним, он вдвойне ощутил себя мужчиной, как и тогда, когда одержал верх над подстерегавшим его в засаде Перро-темом. Но теперь мысль о том, что придется разнести на куски череп этого негодяя, вызывала у него одно только отвращение. Совет наняться хирургом на корабли Соннуа и Долхайна был вполне разумен; именно к ним в свое время он отправил Гана — тогда эти патриоты, бывшие наполовину пиратами, еще не приобрели такой власти и силы, как нынче, когда снова начались волнения. Возможно, ему удастся получить место при Морисе Нассауском; у этого дворянина, без сомнения, всегда будет нужда в лекарях. Партизанское или пиратское житье не слишком отличалось бы от существования, какое он вел когда-то в польской армии или в турецком флоте. На самый худой конец он может некоторое время действовать каутером и скальпелем в войсках герцога. А когда война ему окончательно опротивеет, он постарается пешком добраться до того уголка на земле, где сегодня не свирепствует самое кровожадное проявление человеческой глупости. Все эти замыслы исполнимы. Но не следует забывать, что, в общем-то, быть может, никто никогда не потревожит его в Брюгге.

Он зевнул. Поиски выхода больше его не интересовали. Он стащил с себя отяжелевшие от песка башмаки и с наслаждением погрузил ноги в теплую сыпучую массу, стараясь нащупать в ее недрах морскую влагу. Потом разделся и, предусмотрительно придавив одежду сумкой и тяжелыми ботинками, зашагал к морю. Отлив уже начался: по колено в воде он пересек зеркальные лужицы и подставил свое тело волнам.

Голый и одинокий, он чувствовал, что сбрасывает с себя шелуху обстоятельств, как только что сбросил одежду. Он становился вновь тем самым Адамом Кадмоном, который, по мнению философов-герметистов, находится в самой сердцевине вещей и в котором высвечено и явлено то, что во всем остальном растворено и неизреченно. В окружающей его безмерности все было безымянным: он старался не думать о том, что птица, которая ловит рыбу, покачиваясь на гребне волны, зовется чайкой, а странное животное, пошевеливающее в луже конечностями, столь несхожими с человеческими, носит имя морской звезды. Море отступало все дальше, оставляя за собой раковины, закрученные спиральюми более совершенной формы, нежели архимедовы; солнце поднималось все выше, сокращая тень человека на песке. Проникшись благоговейной мыслью, за которую его предали бы смерти на площадях всех городов, где почитают Магомета или Христа, он подумал, что самые убедительные символы Высшего Блага, если оно существует, — как раз те, какие людская глупость именует идолами, и этот огненный шар — единственное божество, зримое для всего сущего, без него обреченного на гибель. И точно так же самый истинный ангел — эта чайка, чье бытие куда более очевидно, нежели бытие серафимов и престолов. В этом мире, лишенном фантомов, чистой была даже сама жестокость: вот эта трепещущая в воде рыбка минуту спустя станет кусочком окровавленной плоти в клюве птицы-рыболова, но птица не станет оправдывать свой голод лживыми аргументами. Лиса и заяц, хитрость и страх обитают в дюнах, где он только что спал, но убийца не ссылается на законы, утвержденные некогда лисицей-мудрецом или заповеданные лисицей-богом, а жертва не считает, что ее карают за пре-

грешения, и, погибая, не клянется в верности своему государю. Мощная сила волны свободна от гнева. Смерть, всегда непристойная в мире двуногих, была опрятна в этом безлюдье. Стоит ему сделать еще шаг, преступив границу между зыбким и текучим, между песком и водой, и какая-нибудь более мощная волна собьет его с ног; эта краткая, без свидетелей, агония была бы словно не вполне смертью. Быть может, он когда-нибудь еще пожалеет, что отказался от такого конца. Но эта возможность похожа на планы насчет Англии и Зеландии, порожденные вчерашними страхами и грядущими опасностями, от которых свободно нынешнее безоблачное мгновение, они — плод рассудка, а не необходимости, неотвратимо навязывающей себя человеку. Время перейти рубеж еще не настало.

Он вернулся туда, где лежала его одежда, которую он нашел не без труда — ее уже занесло тонким слоем песка. Отступившее море за недолгие минуты изменило расстояния. Его следы на влажном берегу без промедления выпили волны, а все пометы на сухом песке стирал ветер. Омытое водой тело больше не чувствовало усталости, и это утро вдруг показало ему прямым продолжением другого утра, проведенного на берегу моря, как если бы краткая интерлюдия песка и воды растянулась на десять лет: во время пребывания в Любеке он однажды отправился вместе с сыном ювелира к устью Траве, чтобы набрать балтийского янтаря. Лошади тоже искупались; освобожденные от седел и чепраков, влажные от морской воды, они снова стали особями, живущими для самих себя, а не обычными покорными клячами. В одном из кусочков янтаря было замуровано насекомое, увязшее когда-то в смоле; словно через оконце смотрел Зенон на эту козьявку, наглухо запертую в том периоде существования земли, куда ему не было доступа. Он тряхнул головой, словно отгоняя назойливую пчелу: слишком часто теперь переживал он заново мигнувшие мгновения своего собственного прошлого, и не из сожаления или тоски о них, а потому, что словно бы рухнули перегородки времени. День, прожитый в Травемюнде, был заключен в памяти, как в какой-то почти нетленной материи, — реликвия той поры, когда ему славно жилось на свете. Быть может, если он проживет еще десять лет, нынешнее утро станет для него такой же реликвией.

Он неохотно натянул свой человеческий панцирь. Остатки вчерашнего хлеба да полупустая фляга с колодезной водой напоминали о том, что ему до конца суждено обретаться среди людей. Их надо стеречься, но притом, как прежде, принимать от них услуги и со своей стороны оказывать услуги им. Он вскинул на плечо сумку и шнурками привязал ботинки к поясу, чтобы продлить удовольствие от ходьбы босиком. Обойдя стороной Хейст, который казался язвой на прекрасной коже песка, он зашагал через дюны. С вершины ближайшего холма он обернулся, чтобы полюбоваться морем. "Четыре ветра" по-прежнему стояла у мола, к причалу подошли и другие лодки. Одинокий парус на горизонте казался чистым, как крыло птицы, — быть может, то было суденышко Янса Брёйни.

Почти час он шел, держась в стороне от проторенных дорог. В ложбине между двумя маленькими пригорками, заросшими колючей травой, ему повстречалась группа из шести человек: старик, женщина, двое взрослых мужчин и двое юношей, вооруженных палками. Старик и женщина с трудом брели через рывтины. Все шестеро были одеты как зажиточные горожане. Видно было, что они предпочитают не привлекать к себе внимания. Однако, когда Зенон обратился к ним, они ответили ему, успокоенные участием, какое выказал им этот учтивый путник, говоривший по-французски. Молодые люди шли из Брюсселя — это были патриоты-католики, намеревавшиеся присоединиться к войскам принца Оранского. Остальные оказались кальвинистами — старик, школьный учитель, бежавший из Турне, направлялся в Англию с двумя сыновьями, женщина, отиравшая ему лоб платком, была его невестка. Долгий путь исчерпал силы бедного старика; он присел на песок, чтобы перевести дух; остальные сгрудились вокруг.

Семья присоединилась к двум молодым брюссельцам в Экло: общая опасность и бегство превратили этих людей, которые в другое время были бы врагами, в сотоварищей. Юноши с восторгом говорили о сеньоре де Ла Марке, который поклялся не брить бороды до тех пор, пока не отомстит за погибших графов; вместе со своими сторонниками он скрывается в лесах и без жалости истребляет всех испанцев, попадающих ему в руки, — вот в каких людях нуждаются теперь Нидерланды. От брюссельских беженцев Зенон узнал также подробности того, как был схвачен господин де Баттенбург с восемнадцатью дворянами его свиты, которых предал лощман, везший их во Фрисландию, — все девятнадцать пленников были брошены в крепость Вилворде, а потом обезглавлены. Сыновья школьного учителя побледнели при этом рассказе, думая об участи, которая ждет на берегу их самих. Зенон успокоил беглецов — Хейст, судя по всему, место надежное, надо только заплатить дань капитану порта; да и навряд ли людей безвестных станут выдавать, как выдают вельмож. Он спросил, вооружены ли скитальцы из Турне, — оказалось, что вооружены, даже у женщины был при себе нож. Он посоветовал им не разлучаться — вместе им нечего опасаться, что их ограбят во время переправы; однако в трактире и на борту лодки надо держать ухо востро. Хозяин "Четырех ветров" — личность подозрительная, впрочем, двое силачей-брюссельцев сумеют прибрать его к рукам, а уж в Зеландии, похоже, для них не составит труда отыскать отряды повстанцев.

Учитель с трудом поднялся на ноги. В ответ на расспросы Зенон в свою очередь объяснил, что он врач и тоже думал переправиться за море. Больше его ни о чем не спросили — дела Зенона их не интересовали. На прощанье он вручил учителю пузырек с каплями, которые могли облегчить его одышку. И простился с ними, осыпаясь изъявлениями благодарности.

Он постоял, глядя, как они бредут в сторону Хейста, и вдруг надумал идти следом. Путешествовать компанией менее рискованно, да и в чужой стране на первых порах можно поддержать друг друга. Он пошел за ними метров сто, потом замедлил шаг, все более отставая от маленькой группы. При одной мысли, что снова придется иметь дело с Мило и Янсом Брёйни,

на него навалилась невыносимая усталость. Он остановился и повернул прочь от берега.

Он снова вспомнил синие губы и одышку старика. Учитель, который, не боясь меча, огня и воды, покинул родной дом, чтобы во всеуслышание заявить о своей вере в то, что большей части смертных предопределены муки ада, был в его глазах достойным образчиком людского безумия; но и без догматического дурмана неугомонное племя двуногих раздрают отвращение и ненависть, которые, как видно, рвутся из самой глубины их естества и когда-нибудь, когда уже выйдет из моды истреблять друг друга во славу веры, найдут себе другую отдушину. Два брюссельских патриота производили впечатление людей более благоразумных, и однако эти юноши, рисковавшие жизнью ради свободы, считали себя верными подданными короля Филиппа; послушать их — можно подумать, что стоит избавиться от герцога, и все пойдет на лад. Однако язвы, от которых страждет мир, коренятся гораздо глубже.

Вскоре он вновь оказался возле Аудебрюге и на этот раз вошел во двор фермы. Там он увидел ту же самую женщину: сидя на земле, она рвала траву для крольчат, упрятанных в большую корзину. Возле нее вертелся мальчонка в юбочке. Зенон спросил молока и чего-нибудь поесть. Она поднялась, морщась от боли, и сказала, чтобы он сам достал кувшин с молоком, охлаждавшимся в колодце; ее ревматическим рукам трудно было вертеть рукоятку. Пока он управлялся с воротом, она принесла из дому творогу и кусок сладкого пирога. Потом извинилась, что молоко плохое — оно было жидкое и голубоватое.

— Старая-то корова почти иссохла, — пояснила она. — Устала, видно, доиться. Ведешь ее к быку, а она ни в какую. Придется скоро ее зарезать.

Зенон спросил, верно ли, что ферма принадлежит семейству Лигров. Во взгляде женщины мелькнуло недоверие.

— А вы уж не ихний ли сборщик будете? Мы за все рассчитались до самого Святого Михаила.

Зенон ее успокоил: он просто для собственного удовольствия собирает травы, а теперь возвращается в Брюгге. Как он и предполагал, ферма принадлежала Филиберу Лигру, владельтельному сеньору Дранутра и Ауденове, важной шишке в Государственном Совете Фландрии. У этих богачей прозваний не честь, сказала добрая женщина.

— Знаю, — подтвердил он. — Я сам из этой семьи.

Она посмотрела на него с сомнением. Уж очень небогато одет был путник. Он сказал, что однажды, давным-давно, побывал на этой ферме. Все выглядит почти так, как ему запомнилось, только стало поменьше.

— Коли вы приезжали сюда, верно, и меня видели; вот уже полвека я сиднем сижу на этом месте.

Ему вспомнилось, что после трапезы на свежем воздухе остатки еды отдали обитателям фермы, но лиц их память не сохранила. Женщина села возле него на скамью. Гость всколыхнул в ней воспоминания.

— Хозяева в те поры еще наезжали сюда, — продолжала она. — Я дочь бывшего фермера, тут было одиннадцать коров. Осенью господам в Брюгге отправляли, бывало, целую подводу с горшками соленого масла. Те-

перь-то все по-другому, все в запустение пришло... да и руки у меня с холодной воды ломит...

Сцепив скрюченные руки, она уронила их на колени. Он посоветовал ей каждый день погружать пальцы в горячий песок.

— Чего-чего, а песку здесь хватает, — отозвалась женщина.

Мальчонка все кружился волчком по двору, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Похоже, он был слабоумный. Она окликнула его, и едва он засеменил к ней, выражение неперередаваемой нежности озарило ее некрасивое лицо. Она заботливо отерла слюну в уголках его губ.

— Вот вся моя отрада, — ласково сказала она. — Мать в поле работает, с нею еще двое сосунков.

Зенон спросил, кто их отец. Им оказался хозяин "Святого Бонифация".

— У "Святого Бонифация" были неприятности, — заметил он тоном человека, осведомленного о местных делах.

— Теперь-то уж все обошлось, — сказала женщина, — он согласился на Мило работать. Без заработка ему никак нельзя, из всех моих сыновей только двое у меня и остались. Я, сударь, двух мужей пережила, — продолжала она. — А детей у меня всего-то было десятеро. Восемь успокоились на кладбище. Убиваешься, убиваешься, и все зазря... Младший в ветреные дни подсобляет мельнику, так что кусок хлеба всегда в доме есть. Да еще ему дозволено подбирать остатки мелева. Земля-то здешняя хлеб плохо родит.

Зенон глядел на покосившееся гумно. Над дверью, как было принято, висела сова — должно быть, ее сшибли камнем и прибили к косяку живьем, остатки перьев шевелились на ветру.

— Зачем вы замучили птицу, которая приносит пользу? — спросил он, указав пальцем на распятого хищника. — Она ведь уничтожает мышей, которые пожирают хлеб.

— Не знаю, сударь, — отвечала женщина. — Так велит обычай. И потом их крик предвещает смерть.

Он промолчал. Видно было, что она хочет его о чем-то спросить.

— Я насчет беглецов, сударь, что переправляются на "Святом Бонифации"... Чего уж говорить, нам тут всем от них прибыль. Нынче, к примеру, шестеро заплатили мне за кормежку. На некоторых поглядишь — прямо жалость берет... А все ж таки честный ли это барыш? Бегут-то они недаром... Герцог и король небось знают, что делают.

— Вам незачем справляться, кто эти люди, — сказал гость.

— И то правда, — подтвердила она, кивнув головой.

Из копейки нарванной ею травы он взял несколько былинки и просунул сквозь прутья корзины — крольчата тут же принялись их жевать.

— Берите, сударь, крольчат, коли они вам нравятся, — сказала она с готовностью. — Они жирные, нежные, в самый раз... В воскресенье мы бы их зажарили. И всего по пяти су за штуку.

— Мне — кроликов? — удивился он. — А сами-то вы что будете есть в воскресенье?

— Ах, сударь, — она умоляюще поглядела на него. — Не одними ведь харчами... Я прибавлю выручку к трем су, что вы мне должны за мо-

локо с хлебом, и пошлю невестку купить шкалик в "Прекрасной голубке". Надо же когда-нибудь и душу повеселить. Мы выпьем за ваше здоровье.

У нее не нашлось сдачи с флорина. Зенон этого ждал. Не все ли равно. Довольный разговором, он словно помолодел: в конце концов, как знать, быть может, эта самая старуха пятнадцатилетней девушкой присела в благодарном реверансе перед Симоном Адриансеном, давшим ей несколько су. Зенон взял свою сумку и, сказав несколько прощальных слов, двинулся к ограде.

— Их-то не забудьте, сударь, — окликнула его женщина, протягивая корзину с кроликами. — Ваша хозяйка спасибо скажет. Таких в городе не сыщете. А уж раз вы вроде как из господской семьи, помяните господам, чтобы крышу нам до зимы починили. А то в доме льет в три ручья.

Он вышел с корзиной в руке, словно крестьянин, собравшийся на рынок. Дорога сначала углубилась в рошу, потом вынырнула на простор полей. Зенон сел у оврага и осторожно погрузил руку в корзину. Медленно, почти с чувственным наслаждением поглаживал он пушистых зверьков, или податливые спинки и мягкие бока, под которыми гулко билось сердце. Крольчата, ничуть не испугавшись, продолжали жевать; он подумал про себя: интересно, каким представляется окружающий мир и сам он их огромным живым глазам. Зенон поднял крышку и выпустил крольчат на волю. Радуюсь их свободе, он глядел, как исчезают в кустах похотливые и прожорливые зверьки, строители подземных лабиринтов, робкие созданыя, которые, однако, играют с опасностью, безоружные существа, которых выручает сила и проворство ног, племя, неистребимое благодаря одной лишь своей плодовитости. Если им удастся избежать силков, палок, куниц и ястребов, они еще какое-то время будут скакать и резвиться; их зимняя шкурка побелеет, когда выпадет снег, а весной они снова станут лакомиться зеленой травкой. Он ногой отшвырнул корзину в овраг.

Остаток пути Зенон проделал без всяких происшествий. Заночевал он под купой деревьев. Наутро еще засветло он явился к воротам Брюгге, где, как всегда, его почтительно приветствовали часовые.

Однако, едва он оказался в городе, тревога, ненадолго заглохшая, вновь всколыхнулась в нем; поневоле он прислушивался к разговорам встречных, но не услышал никаких необычных пересудов о молодых монахах или о любовных приключениях некой знатной девицы. Не было толков и о враче, который пользовал бунтовщиков и скрывался под чужим именем. Он явился в лечебницу как раз вовремя, чтобы помочь брату Люку и брату Сиприану, которые изнемогали под натиском больных. Его записка, оставленная перед отъездом, валялась на столе, Зенон ее скомкал. Да, его друг из Остенде выздоравливает. Вечером он заказал себе в трактире ужин, более обильный и изысканный, чем всегда.

КАПКАН

Больше месяца прошло без тревог. Известно было, что убежище закроют незадолго до Рождества, а сьер Себастьян Теус уедет — на сей раз совершенно открыто — в Германию, где он практиковал в былые времена. Про себя, не упоминая всуе этих мест, где восторжествовало лютеранство, Зенон предполагал добраться до Любека. Приятно будет свидеться с рассудительным Эгидиусом Фридхофом и посмотреть, каким стал возмужавший Герхард. Быть может, удастся получить должность управляющего больницей Святого Духа, которую ему когда-то пролил богатый ювелир.

Собрат-алхимик Ример — ему Зенон в конце концов подал о себе весть — неожиданно сообщивший из Регенсбурга приятную новость. Экземпляр "Протеорий", избегнувший потешных огней в Париже, проложил себе дорогу в Германию; некий доктор из Виттенберга перевел этот труд на латинский язык, и издание его вновь заслужило философу шумную славу. Святая инквизиция, как в былое время Сорбонна, была этим недовольна, зато ученый муж из Виттенберга и его собратья усмотрели в этих текстах, на взгляд католиков, запятанных ересью, применение права на свободное исследование, а тезисы, объясняющие чудеса исцеления силою веры исцеляемого, по их мнению, опровергали предрассудки папистов и подкрепляли их собственную доктрину о том, что истинное спасение — в вере. В их руках "Протеории" становились инструментом слегка подпорченными, но к перетолкованиям такого рода должно быть готовым всегда, пока книга существует и воздействует на умы. Говорили даже, будто Зенону — в том случае, если отыщется его след, — собираются предложить кафедру натуральной философии в этом саксонском университете. Честь была сопряжена с известным риском, и было бы осмотрительней отклонить ее ради иной, более свободной деятельности, но соблазн вступить в непосредственные сношения с другими мыслящими людьми после того, как он так долго жил, замкнувшись в себе, был велик, а при известии о том, что его труд, почитаемый им мертвым, вдруг вновь обнаружил трепет жизни, Зенон каждой своей жилкой ощутил радость воскресения. В то же самое время "Трактат о мире физическом", пропадавший втуне после несчастья, постигшего Доле, вдруг появился в продаже в какой-то книжной лавке в Базеле, где, казалось, забыли предубеждения и яростные споры прежних лет. Присутствие самого Зенона теперь как бы уже и не было столь необходимо — его идеи распространялись без его участия.

Со времени возвращения из Хейста он ничего больше не слышал о маленьком кружке Ангелов. Остаться наедине с Сиприаном он всячески избегал и тем положил предел возможным излипаниям. Меры предосторожности, к каким во избежание несчастья Себастьян Теус хотел подтолкнуть покойного приора, совершили сами собой. Брата Флориана намеревались вскоре послать в Антверпен, где отстраивался монастырь, сожженный иконоборцами, — ему предстояло расписать там фресками малые арки. Пьер де Амер объезжал подчинявшиеся бруггскому монастырю провинциальные обители, проверяя тамошние счета. Новое начальство распо-

рядилось привести в порядок монастырские подземелья, некоторые помещения, грозившие обвалом, постановлено было засыпать, это лишало Ангелов их тайного приюта. Ночные сборища почти наверняка прекратились, а стало быть, отныне дерзкие выходы Ангелов переходили в разряд заурядных потаенных монастырских грешков. Для встреч же Сиприана с Красавицей в заброшенном саду время года было уже неподходящее, и, весьма вероятно, Иделетта нашла себе любовника более заманчивого, нежели молодой монах.

Быть может, в силу всех этих причин и помрачнел Сиприан. Он не пел больше своих деревенских песенок и работу исполнял в угрюмом молчании. Себастьян Теус заподозрил было, что молодой фельдшер, подобно брату Люку, огорчен предстоящим закрытием лечебницы. Но однажды утром он увидел на лице монашка следы слез.

Он позвал его в лабораторию и запер дверь. Они оказались с глазу на глаз, как в понедельник на Фоминой неделе, когда Сиприан сделал свое опасное признание. Зенон заговорил первым.

— Что, Красавица попала в беду? — спросил он напрямик.

— Я с ней больше не вижу, — прерывающимся голосом ответил молодой человек. — Она заперлась у себя в комнате вдвоем с арапкой и сказывается больной, чтобы скрыть, что она тяжела.

Он объяснил, что получает от нее известия только через послушницу, которую отчасти подкупили мелкие подачки, отчасти разжалобила болезнь Красавицы, за которой ее приставили ухаживать. Но сообщаться через эту простодушную до глупости женщину было трудно. Прежние тайные ходы засыпали, да и обе девушки, боявшиеся теперь собственной тени, не отважились бы ночью отлучиться из монастыря. Правда, брат Флориан как художник имел доступ в молельню бернардинок, но он заявил, что в этом деле умывает руки.

— Мы с ним поссорились, — мрачно сказал Сиприан.

По расчетам женщин, Иделетта должна была родить на Святую Агату. Стало быть, подсчитал врач, остается еще около трех месяцев. К тому времени он давно уже будет в Любеке.

— Не отчаивайся, — сказал он, стараясь ободрить убитого горем монашка. — В этих делах женщины оказывают и находчивость, и присутствие духа. Если даже монахини-бернардинки обнаружат беду, они не захотят предать ее огласке. Младенца подбросят в какую-нибудь из башен монастыря, а потом передадут в приют.

— В этих банках и пузырьках полным-полно порошков и корней, — возбужденно заговорил Сиприан. — Если ей не помочь, она умрет со страхи. Захоти менеер...

— Разве ты не видишь, что уже поздно, и я не могу к ней проникнуть. Не надо усугублять беспутства кровавым преступлением.

— Урселский кюре сбросил сутану и бежал со своей милой в Германию, — вдруг сказал Сиприан. — Может, и мы...

— Девуцу такого звания и в таком положении опознают прежде, чем вы покинете окрестности Брюгге. Забудь и думать об этом. Но никого не удивит, если молодой францисканец будет скитаться, прося подаяния. Уезжай один. Я дам тебе в дорогу несколько дукатов.

— Не могу, — рыдая, отвечал Сиприан.

Он рухнул на стол, обхватив голову руками. Зенон смотрел на него с бесконечным состраданием. Плоть расставила силки, в которые попались эти дети. Он ласково погладил монашка по голове с выстриженной тонзурой и вышел из комнаты.

Гром грянул раньше, чем можно было ждать. Незадолго до Святой Люции Зенон, сидя в трактире, услышал, как его соседи обсуждают какую-то новость взволнованным шепотом, который не предвещает добра, ибо свидетельствует обыкновенно о чем-то несчастье. Девушка благородного происхождения, которая жила в монастыре бернардинок, родила недоношенного, но жизнеспособного ребенка и задушила его. Преступление вышло наружу только благодаря чернокожей служанке, которая с испугу сбежала от своей госпожи и как безумная металась по улицам. Добрые люди, подстрекаемые к тому же праведным любопытством, подобрали арапку; лопоча на своем тарабарском наречии, она в конце концов объяснила, в чем дело. После этого монахини уже не смогли помешать городским стражникам арестовать их пансионерку. Негодующие восклицания собеседников перемежались сальными шутками насчет горячей крови благородных девиц и маленьких тайн, скрывааемых монашенками. В серых буднях маленького городка, куда даже отголоски великих событий докатывались уже приглушенными, подобный скандал был куда более занимательным, нежели всем надоевшие истории о сожженных церквях или вздернутых протестантах.

Выйдя из трактира, Зенон увидел, как по улице Лонг в повозке, сопровождаемой городской стражей, провезли Иделетту. Она была бледна восковой бледностью роженицы, но на скулах и в глазах ее пылал горячий огонь. Некоторые прохожие глядели на нее с состраданием, но большинство громко улюлюкали. Среди последних были кондитер с женой. Простолюдины мстили красивой куколке за ее роскошные наряды и бездумные траты. Случившиеся тут девицы из заведения Тыквы злобствовали больше других, как если бы Иделетта бросила тень на их ремесло.

Зенон вернулся к себе с болью в сердце, словно ему пришлось увидеть, как собаки травят лань. Он искал в убежище Сиприана, но монашка там не оказалось, а Зенон не решился спросить о нем в монастыре, опасаясь привлечь к нему внимание.

Он еще надеялся, что на допросе у пробста или секретарей суда девушке достанет присутствия духа свалить вину на воображаемого любовника. Но мужество этой девочки, ночь напролет кусавшей себе руки, чтобы удержать крик и не вызвать переполоха своими стонами, уже иссякло. Заливаясь слезами, она начала рассказывать и не скрыла ничего: ни своих свиданий с Сиприаном на берегу канала, ни игр и обрядов Ангелов. Писцов, которые записывали ее показания, а потом и обывателей, которые жадно ловили слухи, более всего ужаснуло употребление, какое было сделано из похищенных в алтаре святых даров, съеденных и выпитых при свете огарков. Блуд, казалось, усугублялся чудовищным святотатством.

Сиприана арестовали на другой день; за ним наступил черед Франсуа де Бюра, Флориана, брата Кирена и двух других, причастных к делу послушников. Арестовали и Матье Артса, но тут же выпустили, объявив, что по ошибке спутали с кем-то другим. Один из дядей Матье был советником городского магистрата.

В течение нескольких дней убежище Святого Козьмы, уже наполовину закрытое — лекарь предполагал в ближайшую неделю уехать в Германию, — наводняла толпы любопытных. Брат Люк встречал их с каменным лицом: он не верил в случившееся. Зенон не достаивал докучников ответами. Его чуть ли не до слез растрогал приход Греты — старуха покачала головой и сказала только: "Вот ведь беда".

Он задержал ее до самого вечера, попросив выстирать и починить его белье. Брату Люку он раздраженно приказал раньше обычного запереть дверь лечебницы; старая женщина, которая шила и гладила у окна, действовала на него умиротворяюще и дружелюбным молчанием, и словами, исполненными спокойной мудрости. Она рассказывала неизвестные ему подробности из жизни Анри-Жюста, вспоминала о его мелочной скаредности или о том, как волею или неволею он добивался милостей от своих служанок; впрочем, он был не такой уж дурной человек, в хорошие минуты не прочь был пошутить и оказать щедрость. Она помнила, как звали многочисленных родственников, о которых Зенон не имел понятия, и как они выглядели: она могла, например, перечислить целую вереницу братьев и сестер, которые появились на свет между Анри-Жюстом и Хилзондой и умерли в младенчестве. На мгновение Зенон задумался о том, какими могли бы стать эти так рано оборвавшиеся судьбы, побег одного и того же дерева. Первый раз в жизни он со вниманием выслушал подробный рассказ о своем отце, чье имя и историю он знал, но на которого в детстве при мальчишке только намекали с горечью. Этот молодой кавалер-итальянец, сделавшийся прелатом лишь по наружности и для того, чтобы удовлетворить своему честолюбию и тщеславию родных, задавал балы, с вызовом красовался на улицах Брюгге в красном бархатном плаще и золотых шпорах и соблазнил девушку, столь же юную, как нынешняя Иделетта, только более удачливую, а вообще ничем от нее не отличавшуюся; плодом этого и стали все те труды, приключения, размышления и планы, какие длятся вот уже пятьдесят восемь лет. В этом мире, единственном, который нам доступен, все куда более удивительно, нежели мы привыкли думать. Наконец Грета положила в карман свои ножницы, нитки и игольник и объявила, что белье готово для дороги.

После ее ухода Зенон разжег печь, собираясь искупаться в бане с парильней, которую по его распоряжению оборудовали в закутке убежища по образцу той, что была у него в Пере, но которая почти не пригодилась для его пациентов, часто уклонявшихся от этой лечебной процедуры. Он тщательно вымылся, подстриг ногти, долго брился. Не раз, повинувшись необходимости — когда он служил в армии или во время странствий, а в других случаях, чтобы лучше замаскироваться или хотя бы никого не удивлять нарушением принятой моды, — он отпускал бороду, но всегда

предпочитал чисто брить лицо. Вода и пар напомнили ему баню, которая с большими церемониями была приготовлена для него во Фрешё после его путешествия к лапландцам. Сигне Ульфсдаттер, по обычаю женщин своей страны, сама ему прислуживала. Угождая ему как служанка, она сохраняла достоинство королевы. Он мысленно представил себе большую, с медным ободом, лохань и узор вышитых полотенец.

На другой день его арестовали. Сиприан, чтобы избежать пыток, признался во всем, в чем его обвиняли, и еще во многом другом. Вследствие этого постановлено было взять под стражу Пьера де Амера, который находился об эту пору в Ауденарде. Что до Зенона, то показания монашка могли стоить ему жизни: по его словам, лекарь с самого начала был наперником и сообщником Ангелов. Это он якобы дал Флориану колдовское зелье, чтобы тот приворожил Иделетту к Сиприану, а позднее предлагал снадобья, чтобы вытравить плод. Обвиняемый измыслил, будто между ним и врачом существовали противоестественные сношения. Позднее у Зенона было время обдумать все эти обвинения, которые утверждали как раз обратное тому, что было на самом деле; проще всего было предположить, что потерявший голову монашек пытался оправдаться, очернив другого; а может быть, желая добиться от Себастьяна Теуса помощи и ласк, он со временем вообразил, будто достиг цели. В конце концов, всегда попадаешься в ловушку, так не все ли равно — в эту или в какую-нибудь другую.

Так или иначе Зенон был наготове. При аресте он не оказал никакого сопротивления. Доставленный в судебную канцелярию, он поразил всех, назвав свое подлинное имя.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ТЮРЬМА

Non è viltà ne da viltà procede
S'alcun, per evitar più crudel sorte,
Odia la propria vita e cerca morte...

Meglio è morir all' anima gentile
Che supportar inevitabil danno
Che lo farria cambiar animo e stile.
Quanti ha la morte già tratti d'affanno!
Ma molti ch'hanno il chiamar morte a vile
Quanto talor sia dolce ancor non sanno.

*Guiliano Medici **

* Не признак трусости, когда иной,
В стремленье избежать горчайшей доли,
Решается на смерть по доброй воле...
Прятому сердцу лучше умереть,
Покуда мука душу не сломила,
Напечатлев на ней свою печать.
О скольким смерть спасенье подарила!
Однако трусу не дано понять,
Как сладостно порой влечет могила...

Джулиано Медичи (Перевод Е. Солоновича)

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

В городской тюрьме он провел только одну ночь. На другой же день его перевезли, оказав ему таким образом известный почет, в комнату, выходящую во двор прежней судебной канцелярии; она была оснащена решетками и крепкими запорами, но при этом обеспечена почти всеми удобствами, на какие может притязать именитый узник. Когда-то здесь содержался городской советник, обвиненный в лихоимстве, а еще раньше — знатный дворянин, за золото предавшийся французам; лучшего места заключения нельзя было и желать. Впрочем, за одну ночь, проведенную в камере, Зенон успел набраться паразитов, от которых ему не скоро удалось избавиться. К его удивлению, ему разрешили получить из дому белье, а через несколько дней вернули даже чернильницу. Однако в книгах отказали. Вскоре ему позволили ежедневно совершать прогулку по двору, то подмерзшему, то слякотному, в сопровождении забавного малого, приставленного к нему тюремщиком. Тем не менее его не покидал страх — он боялся пытки. Мысль о том, что люди, получающие за это плату, обдуманно истязают себе подобных, всегда возмущала человека, ремеслом которого было лечить. С давних пор он пытался закалить себя для того, чтобы перенести — не боль, сама по себе она была не мучительней той, что терпит раненый под ножом хирурга, — но ужас от сознания, что ее причиняют с умыслом. Понемногу он примирился с мыслью, что ему страшно. Если наступит день, когда он будет стонать, кричать или обильно обвинит кого-нибудь, как это сделал Сиприан, то виновны в этом будут те, кто умеет вывихнуть человеческую душу. Однако мук, которых он так боялся, ему испытать не пришлось. Как видно, в дело вмешались могущественные покровители. И однако страх дыбы до самого конца таился где-то в глубине его души, и каждый раз, когда открывалась дверь камеры, он с трудом подавлял дрожь.

Несколько лет тому назад, приехав в Брюгге, он полагал, что воспоминания о нем канули в безвестность и в забвение. На этом они основывал свою сомнительную надежду — уйти от опасности. Но, должно быть, его призрак продолжал существовать в закоулках людской памяти и теперь в связи с разыгравшимся скандалом выступил на свет, оказавшись куда более осязаемым, нежели человек, мимо которого брюггцы столько лет проходили с совершенным равнодушием. Смутные толки сгустились вдруг, сплавившись в одно с лубочными образами чародея, богоотступника, мошенника, иноземного лазутчика, которые всегда и повсюду роятся в воображении невежд. Никто не признал Зенона в Себастьяне Теусе — ныне, задним числом, его узнавали все. Точно так же никто в Брюгге в прежние времена не читал его трудов; не заглядывали в них, без сомнения, и теперь, но, зная, что они осуждены в Париже и взяты на подозрение в Риме, каждый считал себя вправе хулить эту опасную писанину. Нашлись, конечно, любопытные, наделенные некоторой проницательностью, которые давно уже угадали, кто он такой; не у одной Гретты были глаза и память. Но люди эти не проболтались, а стало быть, их следовало отнести скорее к числу друзей, нежели врагов; впрочем, может статься, они просто ждали своего часа. Зенон так и не мог решить, осведомил ли кто-ни-

будь о нем приора миноритов или уже в Санлисе, предлагая незнакомому путешественнику место в своем экипаже, тот знал, что имеет дело с философом, книгу которого, вызвавшую горячие споры, прилюдно сожгли на площади. Зенон склонялся ко второму предположению — ему хотелось иметь как можно больше причин быть благодарным этому великодушному человеку.

Как бы то ни было, постигшее его несчастье приобрело новое обличье. Зенон уже не был ныне безвестным участником распутства, в котором обвинялась группа послушников и двое или трое заблудших монахов; он становился главным действующим лицом своей собственной истории. Пункты обвинения множились, но по крайней мере его не могла теперь постигнуть участь незначительного лица, с которым судьи разделаются на скорую руку, как, верно, разделались бы с Себастьяном Теусом. Его процесс грозил поднять щекотливые вопросы компетенции. Право выносить приговоры по всем гражданским делам принадлежало суду магистрата, но епископ желал, чтобы последнее слово в сложном деле по обвинению в атеизме и ереси осталось за ним. Эти притязания со стороны человека, который лишь недавно волею короля был поставлен в городе, до сего времени обходившемся без епископа, и в ком многие видели оплот инквизиции, ловко навязанной Брюгге, вызывали недовольство. На самом же деле этот иерарх желал с блеском оправдать данную ему власть, проведя процесс со всею справедливостью. Каноник Кампанус, несмотря на свой преклонный возраст, принял живое участие в приготовлениях к судебному процессу: он просил и в конце концов добился, чтобы в качестве аудиторов в суд допущены были два теолога из Лёвенского университета, где обвиняемый получил степень доктора канонического права; никто не знал, сделано это с согласия епископа или вопреки ему. Некоторые из наиболее рьяных придерживались мнения, что нечестивец, чьи доктрины столь важно опровергнуть, подлежит суду самого римского Трибунала святой инквизиции и его следует отправить под надежной охраной в Рим, дабы он поразмыслил на досуге в камере монастыря Марии-на-Минерве. Люди благоразумные, напротив, считали, что безбожника, родившегося в Брюгге и вернувшегося под чужим именем в родной город, где присутствие его в обители благочестия поощрило разврат, должно судить на месте. Как знать, быть может, этот Зенон, два года проведший при дворе шведского короля, — шпион, засланный северными державами. Припомнили ему и то, что когда-то он жил среди неверных турок; надо дознаться, не сделался ли он, как утверждали когда-то слухи, вероотступником. Словом, начинался процесс с разнообразными пунктами обвинения, из тех, что грозят затянуться на годы и служат искусственным очагом воспаления, оттягивающим городские гурмы.

В этой сумятице навет, приведший к аресту Себастьяна Теуса, отошел на второй план. Епископ, с самого начала противившийся обвинению в колдовстве, презирал росказни о любовном зелье, считая их вздором, но многие городские судьи твердо в них верили, а для простонародья в них и вовсе заключалась вся соль. Мало-помалу, как бывает почти во всех процессах, вокруг которых бушуют страсти обывателей, дело стало двоиться, приобретая два совершенно не схожих между собой облика: обвинение в

том виде, в каком оно представляется законникам и церковникам, чья обязанность чинить правосудие; и дело в том виде, какой творит воображение толпы, жаждущей чудищ и жертв. Судья по уголовным делам сразу же отмел обвинение в сообщничестве с кружком блаженных адамитов-Ангелов; поклепу Сиприана противоречили показания шести других арестованных: они видели лекаря только под сводами монастыря или на улице Лонг. Флориан похвалялся, что соблазнил Иделетту, расписывая ей, что ее ждут поцелуи, сладкая музыка и хороводы, которые Ангелы водят, держась за руки, — никакого корня мандрагоры ему не понадобилось; само преступление Иделетты опровергало рассказы о снадобье для вытравливания плода, которого, как свято клялась сама девица, она никогда не просила и в котором ей никто не отказывал; к тому же Флориан вообще считал Зенона человеком уже старым, который хоть и занимался чародейством, но по злобе своей плохо относился к играм Ангелов и хотел отвалить от них Сиприана. Из всех этих бессвязных объяснений в крайнем случае можно было заключить, что так называемый Себастьян Теус кое-что знал от своего фельдшера о блудодействе, творимом в подземных банях, и не исполнил своего долга, то есть не донес.

Гнусная связь лекаря с Сиприаном казалась правдоподобной, однако все, кто жил по соседству с монастырем, в один голос превозносили до небес безупречное поведение и добродетели врача; было даже что-то подозрительное в такой незапятнанной репутации. По обвинению в содомии, возбуждавшему любопытство судей, учинили дознание и, поскольку старались что-нибудь найти, обнаружили, что обвиняемый в начале своего пребывания в Брюгге свел дружбу с сыном одного из пациентов Яна Мейерса, — из уважения к почтенной семье не стали доискиваться подробностей, тем более что сам молодой человек, известный своей красотой, давно уже находился в Париже, где заканчивал образование. Открытие это рассмешило Зенона — его связь с юношей ограничилась тем, что они обменивались книгами. От сношений более низменного свойства, если таковые и были, не осталось никаких следов. Но философ в своих писаниях очень часто призывал отдаться чувственному опыту, используя все сокрытые в нем возможности, а подобные советы способны привести к самым гнусным утехам. Подозрение продолжало тяготеть на Зеноне, но за неимением доказательств приходилось говорить лишь о грехе помышлением.

Другие обвинения были чреваты опасностью еще более грозной, хотя, казалось, дальше уж некуда. Сами монахи-минориты обвиняли врача в том, что он превратил лечебницу в сборный пункт беглецов, скрывающихся от правосудия. Но в этом вопросе, как и во многих других, Зенона выручил брат Люк; его мнение было совершенно недвусмысленным; дело это от начала до конца — выдумка. Слухи о развратных сборищах в банях преувеличены, Сиприан — просто молокосос, которому вскружила голову хорошенькая девица; врач же вел себя безупречно. Что до беженцев, бунтовщиков или кальвинистов, то если они и переступали порог убежища, то ведь клейма на них нет, а у человека занятого есть дела поважнее, чем выспрашивать больных. Произнеся таким образом самую длинную в своей жизни речь, монах удалился. Он оказал Зенону еще одну серьезную услугу. Прибирая в опустелой лечебнице, он нашел выброшенный

философом камень с изображением женских форм и выкинул его в канал, чтобы он не попался на глаза посторонним. Зато показания органиста свидетельствовали против Зенона: дурного о лекаре он, конечно, сказать ничего не может, а все же, мол, их с женой прямо как громом поразило, что Себастьян Теус никакой не Себастьян Теус. В особенности повредило Зенону упоминание о комических прорицаниях, над которыми эти добрые люди в свое время от души посмеялись; они найдены были в убежище Святого Козьмы в шкафу, где хранились книги, и враги Зенона не замедлили ими воспользоваться.

Пока писцы выводили с нажимом и без того двадцать четыре пункта обвинительного заключения против Зенона, история Иделетты и Ангелов подходила к концу. Преступление девицы де Лос было очевидным — за него полагалась смертная казнь; Иделетту не могло бы спасти даже присутствие отца, но он, задержанный в Испании вместе с другими фламандцами в качестве заложника, только много спустя узнал о несчастье, случившемся с дочерью. Иделетта приняла смерть безропотно и благочестиво. Казнь ускорили на несколько дней, чтобы успеть до рождественских праздников. Общественное мнение теперь переменялось: тронутые раскаянием и заплаканными глазами Красавицы, обыватели жалели эту пятнадцатилетнюю девочку. По правилам Иделетту следовало сечь живьем за детоубийство, но, уважив ее знатное происхождение, постановили отсечь ей голову. К несчастью, у палача, оробевшего при виде нежной шейки, рука дрогнула: он умертвил Иделетту только с третьего удара и после казни едва спасся от толпы, с улюлюканием осыпавшей его градом деревянных башмаков и капустных кочанов, выхваченных из корзин рыночных торговцев.

Процесс Ангелов тянулся дольше: от них старались добиться признаний, которые помогли бы обнаружить тайные ответвления кружка, восходящие, быть может, к секте братьев Святого Духа, истребленной в начале века, — она, как утверждали, исповедовала и практиковала подобные заблуждения. Но безумец Флориан был неустрашим: продолжая тщеславиться даже на дыбе, он утверждал, что ничем не обязан еретическому учению Великого Магистра Адамитов, Якоба ван Альмагиена, который ко всему прочему был евреем и умер полвека назад. Без всякой теологии, собственным разумением открыл он чистейший рай плотских наслаждений. И никакие пытки в мире не заставят его отречься от этих слов. Смертного приговора избежал один только брат Кирен, у которого достало выдержки с начала и до конца, даже во время пыток, притворяться сумасшедшим — как таковой он и был посажен в дом умалишенных. Остальные пятеро осужденных, подобно Иделетте, благочестиво приняли свой конец. Через тюремщика, привыкшего исполнять такого рода поручения, Зенон заплатил палачам, чтобы те удавили молодых людей до того, как их коснется пламя остра, — подобные мелкие сделки были весьма в ходу и весьма кстати округляли скудное жалованье заплочных дел мастеров. Предприятие увенчалось успехом в отношении Сиприана, Франсуа де Бюра и одного из послушников — это избавило их от самого страшного, хотя, конечно,

не могло уберечь от страха, которого они успели натерпеться. Зато в отношении Флориана и другого послушника, которым палач не сумел вовремя прийти на помощь, дело сорвалось, и крики их слышались едва ли не полчаса.

Эконома казнили также, но казнили уже покойного. Как только его привезли из Ауденарде и посадили под арест в Брюгге, друзья, которые были у него в городе, доставили ему в тюрьму яд, и монаха, согласно обычаю, сожгли мертвым, поскольку не могли сжечь живым. Зенон никогда не любил эту подколодную змею, но не мог не признать: Пьер де Амер сумел достойно распорядиться своей судьбой и умер как мужчина.

Все эти подробности Зенон узнал от своего тюремщика, который был излишне словоохотлив; пройдоха рассыпался в извинениях из-за оплошки с двумя осужденными, он предлагал даже вернуть часть денег, хотя, в общем-то, виноватых не было. Зенон пожал плечами. Он облекся в броню полнейшего безразличия — главное было до конца сберечь силы. И однако эту ночь он провел без сна. Мысленно пытаясь найти противоядие пережитому ужасу, он думал о том, что Сиприан и Флориан, без сомнения, бросились бы в огонь, если бы нужно было кого-то спасти. Самым чудовищным, как всегда, было не столько само происшедшее, сколько человеческая тупость. И вдруг мысль его споткнулась о воспоминание: в молодости он продал эмиру Нуреддину рецепт греческого огня, которым воспользовались во время морской битвы в Алжире и, наверное, с тех пор применяли еще не раз. Случай был самый заурядный: всякий пиротехник на его месте поступил бы так же. Изобретение, с помощью которого были сожжены сотни людей, казалось тогда даже шагом вперед в военном искусстве. Конечно, смерть за смерть, насилия битвы, когда каждый убивает, но и сам может быть убит, несравнимы с обдуманном зверством пытки, совершаемой во имя Бога милосердия; и все-таки сам он тоже был творцом и соучастником злодейств, чинимых в отношении бедной человеческой плоти, — должно было пройти целых тридцать лет, чтобы он почувствовал угрызения совести, которые, весьма вероятно, вызвали бы улыбку у адмиралов и королей. Так лучше уж поскорее покинуть этот ад.

Теологов, которым поручено было перечислить все продерзостные, еретические и откровенно святотатственные положения, извлеченные из писаний обвиняемого, никак нельзя было упрекнуть в том, что они отнеслись к делу недобросовестно. В Германии раздобыли перевод "Протеорий", другие произведения нашлись в библиотеке Яна Мейерса. К величайшему изумлению Зенона, оказалось, что у приора были его "Предсказания будущего". Объединив вместе все названные положения, или, вернее, критику их, философ для собственного своего развлечения начертил картину человеческих взглядов на год 1569 от Рождества Христова, во всяком случае в отношении тех темных областей, в какие вторгался его ум. Система Коперника не была осуждена церковью, хотя самые осведомленные среди особ в сутанах и мантиях, многозначительно покачивая головой, уверяли, что скоро ее неминуемо осудят; и однако утверждение, что в центре мироздания находится Солнце, а не Земля, которое разрешалось высказывать

только в виде робкой гипотезы, оскорбляло Аристотеля, Библию и в особенности потребность людей помещать в центре Вселенной наше обиталище. Не приходилось удивляться, что взгляд, столь далекий от того, что с грубой очевидностью явлено здравому смыслу, не по нраву посредственности; да зачем далеко ходить: Зенон по собственному опыту знал, насколько представление о Земле, которая вертится, ломает понятия, с какими мы свыклись в нашем житейском обиходе. Его самого опьяняло ощущение принадлежности к миру, более широкому, нежели человеческая хижина, но у большинства это расширение пределов вызывало дурноту. Еще более гнусным кощунством, нежели дерзкая мысль поставить в центре Вселенной Солнце вместо Земли, почиталось заблуждение Демокрита — то есть вера во множество миров, которая и у самого Солнца отнимает его исключительное место и лишает бытие всякого центра. В отличие от философа, который, прорывая сферу недвижности, с упоением окунается в хладные и пламенные пространства, обыватель чувствует себя в них потерянным, и тот, кто рискует доказывать их существование, становится в его глазах отступником. Те же правила действовали в еще более сомнительной области чистых идей. Заблуждение Аверроэса — гипотеза о существовании божества, бесстрастно действующего внутри бесконечного мира, — как бы отнимала у святоши упование на бога, созданного по его образу и подобию и приберегающего для одного лишь человека свои кары и милости. Предсуществование души — заблуждение Оригена — раздражало тем, что сводило на нет значение ближайшего будущего: человек желал, чтобы перед ним маячило бессмертие, блаженное или бедственное, за которое он сам в ответе, а вовсе не того, чтобы всё вокруг длилось вечно и он продолжал бы существовать, не будучи собою. Заблуждение Пифагора, позволяющее наделять животных душой, сходной с нашей по природе своей и сущности, еще более задевало лишенное оперения двуногое существо, которое желает быть единственным живым созданием, длящимся вечно. Заблуждение Эпикура, то есть гипотеза о том, что смерть — это конец, хотя она более всего соответствует тому, что мы видим, наблюдая трупы и могилы, уязвляло нас не только в нашей жажде пребывать на свете, но еще и в дурацкой гордыне, убеждающей нас в том, что мы достойны в нем остаться. Считалось, будто все эти воззрения оскорбляют бога; на деле им прежде всего вменяли в вину, что они умаляют значение человека. А стало быть, не приходилось удивляться, что они ведут тех, кто их проповедует, в тюрьму, а то и далее.

Когда же из области чистых идей ты спускался на извилистые пути человеческого общежития, обнаруживалось, что страх еще более, нежели гордыня, был здесь главной причиной всех гонений. Смелость философа, который призывает отдаться свободной игре чувственных ощущений и не обдает презрением плотские радости, приводила в ярость толпу, поработленную множеством суеверий и еще в большей мере — ханжеством. И уже не имело значения, что человек, который отваживается на эту проповедь, подчас ведет жизнь более строгую и даже целомудренную, нежели яростные его хулители: считалось непреложным, что нет такого костра или пытки, которые могли бы искупить эту чудовищную разнузданность — именно потому, что дерзость мысли как бы усугубляла дерзость телесную. Рав-

нодушие мудреца, для которого всякая страна — отчизна и всякая вера приемлема на свой лад, также бесило это стадо невольников; ренегат-философ, который, однако, никогда не отреклся от истинных своих верований, был для всех козлом отпущения потому лишь, что каждый из них когда-нибудь, порой сам того не сознавая, втайне стремился вырваться за пределы круга, в плену которого ему суждено умереть. Эта завистливая ярость была сходна с той, какую возбуждает у сторонников порядка бунтовщик, восставший на своего государя: его "Нет!" бросает вызов их всегдашнему "Да!". Но самыми худшими из всех инакомыслящих чудовищ казались те, кто был наделен какой-либо добродетелью: они тем более наводили страх, что их нельзя было безоговорочно презирать.

De occulta philosophia *: то, что некоторые судьи упирали на занятия магией, которым он во времена давние или недавние якобы предавался, заставило узника, сберегавшего свои силы и старавшегося ни о чем не думать, размыслить об этом щекотливом предмете, которым он между делом интересовался всю жизнь. В этой области особенно воззрения людей ученых противоречили представлениям толпы. Обывательское стадо одновременно чтило и ненавидело магику, приписывая ему безграничную власть: уши зависти выглядывали и тут. Ко всеобщему разочарованию, у Зенона нашли только труд Агриппы Неттесгеймского, которым располагали и каноник Кампанус, и епископ, и более позднюю книгу Джамбатисты делла Порты, которую его преосвященство также держал у себя на столе. Поскольку обвинение настаивало на этом предмете, монсеньор справедливости ради решил допросить обвиняемого. Если в глазах глупцов магия была наукой о сверхъестественном, прелата, напротив, она беспокоила как раз потому, что она отрицала чудо. По этому пункту Зенон отвечал почти искренно. Мир, называемый магическим, соткан из оттачиваний и притяжений, которые подчиняются законам, пока еще загадочным, но это вовсе не значит, что они никогда не могут быть постигнуты человеческим разумением. Из веществ, нам известных, пока только магнит и янтарь как будто отчасти приоткрывают тайны, которые никто еще не исследовал, но которые, быть может, однажды изъяснят нам всё. Великая заслуга магии и дочери ее, алхимии, в том, что они исходят из единства материи, — некоторые философы алхимического горна даже полагают себя вправе отождествить материю со светом или молнией. Это открывает путь, ведущий весьма далеко, однако все адепты его, достойные этого имени, понимают, какими он чреват опасностями. Механические науки, которыми Зенон в свое время занимался очень усердно, сродственны этим изысканиям в том, что стремятся преобразовать знание вещей во власть над ними и, косвенным образом, во власть над людьми. В известном смысле магией является все: наука о травах и камнях, которая помогает врачу воздействовать на больного и на болезнь, — магия; сама болезнь, овладевающая телом, словно одержание, от которого оно подчас не хочет избавиться, — магия; магия — сила звуков, высоких или низких,

* Об оккультной философии (лат.).

которые волнуют душу или, наоборот, успокаивают ее; но особенной чародейной властью обладает ядовитая сила слов, почти всегда куда более действенных, нежели сами явления, что и объясняет некоторые утверждения на сей счет, содержащиеся в "Книге Творения", не говоря уже о "Евангелии от Святого Иоанна". Поклонение, окружающее венценосцев, и обаяние церковных ритуалов — это магия, магия — черные эшафоты и зловещий бой барабанов, сопровождающий казни, которые заволаживают и приводят в содрогание толпу еще более, нежели самих осужденных. Магия, наконец, любовь и ненависть, напечатлевающие в нашем мозгу существо, которому мы позволяем завладеть нами.

Монсеньор задумчиво покачал головой — в мире, устроенном подобным образом, не остается места личной воле Бога. Зенон с ним согласился, хотя понимал, сколь это для него опасно. После чего каждый высказал свои соображения насчет личной воли Бога — что же она такое, через чье посредничество себя являет и необходима ли она для сотворения чуда. Епископ, например, не видел беды в том, как автор "Трактата о мире физическом" толкует стигматы Святого Франциска — тот усматривал в них высшее проявление могущественной любви, которая всегда лепит любящего по образу любимого существа. Кошунственно было считать это объяснение, как считал философ, единственным, а не одним из возможных. Зенон возражал, что никогда не говорил ничего подобного. Из учтивости, какую подобает соблюдать в диспуте, делая уступку противнику, монсеньор припомнил тут, что прославленный своим благочестием кардинал Николай Кузанский когда-то охладил восторги, вызванные чудотворными статуями и источавшими кровь гостиями; сей достопочтенный ученый муж также утверждал, что мир не имеет конца, и, казалось, предвосхитил доктрину Помпонаци, для которого чудо есть плод одной только силы воображения, коей Парацельс и Зенон объясняют магические видения. Но святой кардинал когда-то всеми силами противоборствовал заблуждениям гуситов и, быть может, нынче не обнародовал бы столь смелых суждений, дабы не создать впечатления, будто он поощряет еретиков и нечестивцев, которых в наши дни развелось куда более, нежели в его время.

Зенон не мог с этим не согласиться: времена и в самом деле весьма неблагоприятны для свободы мнений. Он прибавил даже, отвечая епископу учтивостью диалектика на его учтивость, что назвать видение плодом одного лишь воображения — вовсе не означает полагать, будто оно представляет собою нечто мнимое в грубом смысле этого слова: боги и демоны, обитающие в нас, весьма реальны. Епископ нахмурился, услышав множественное число, употребленное в отношении первого из двух слов, но он был человек образованный и знал, что людям, возвращенным на произведения греческих и латинских авторов, надо кое-что прощать. А врач тем временем продолжал свою мысль, рассказывая, с каким пристальным вниманием относился всегда к галлюцинациям своих пациентов: в них открывалась истинная сущность человека, порой подлинный рай, а иной раз — самый настоящий ад. Если же вернуться к магии и другим подобным наукам, то бороться следует не только с суевериями, но и с туполобым скептицизмом, который дерзко отрицает невидимое и необъяснимое.

В этом вопросе прелат и Зенон были согласны без всякой задней мысли. В заключение коснулись фантазий Коперника: эта область чистейших гипотез не таила для врача теологических опасностей. В крайнем случае ему могли поставить в вину самоуверенность, с какою он выдает за самую достоверную — невнятную теорию, которая противоречит Писанию. Не уподобляясь Лютеру и Кальвину, которые ополчились против системы, предающей осмеянию историю Иисуса Навина, епископ все же находил ее менее приличествующей добрым христианам, нежели система Птолемея. Кстати, он привел против нее убедительные математические аргументы, основанные на параллаксах. Зенон согласился, что очень многое остается еще недоказанным.

Возвращаясь к себе, то есть в тюрьму, и прекрасно сознавая, что исход его нынешней болезни — заключения — будет летальным, Зенон, утомленный казуистическим словопрением, старался думать как можно меньше. Чтобы не впасть в отчаяние или в ярость, следовало занять ум какой-нибудь механической работой; пациентом, которого надлежало поддерживать и не раздражать, на этот раз был он сам. На помощь ему пришло знание языков: Зенон владел тремя или даже четырьмя языками, которые преподают в университете, а в жизненных странствиях более или менее освоил еще по крайней мере с полдюжины местных наречий. Прежде ему случалось сожалеть, что он тащит за собой груз слов, которыми больше не пользуется: было что-то нелепое в том, что ты знаешь звуки или знаки, обозначающие на десяти или двенадцати языках понятия правды или справедливости. Теперь этот ворох знаний помогал ему коротать время, он составил списки слов, сгруппировал их, сравнил алфавиты и правила грамматики. Несколькими днями он забавлялся проектом создания логического языка, четко, точно система нотных знаков, и способного в строгом порядке обозначить все возможные явления. Он изобрел шифрованные языки, словно ему было кому посылать тайнописные сообщения. Помогала ему и математика: он вычислял склонение звезд над крышами тюрьмы или тщательно подсчитывал, какое количество воды поглощает и испаряет каждый день растение, без сомнения, уже засыхавшее у него в лаборатории.

Он долго размышлял о летательных и подводных аппаратах, о приборах, записывающих звуки наподобие человеческой памяти, чертежи которых они придумывали когда-то с Римером и которые он еще недавно сам иной раз набрасывал в своих записных книжках. Но теперь эти искусственные добавки к человеческому телу внушали ему недоверие: какой прок от того, что человек сможет погрузиться в океан под железным или кожаным колоколом, если пловец, предоставленный одним своим естественным возможностям, обречен задохнуться под водой, или от того, что человек с помощью педалей и машин поднимется в воздух, если человеческое тело остается тяжелой массой, которая камнем падает вниз? И в особенности какой прок научиться записывать человеческую речь, когда мир и без того переполнен ее лживыми звуками? Потом из забвения вынырнули вдруг фрагменты алхимических таблиц, выученных наизусть в Леоне. Подвергая проверке то свою память, то свой рассудок, он заставил себя

восстановить во всех подробностях некоторые свои хирургические операции, например переливание крови, которое он испробовал дважды. В первом случае успех превзошел все его ожидания, вторая попытка повлекла за собой мгновенную смерть не того, кто отдал кровь, а того, кто ее получил, словно и впрямь между двумя токами красной жидкости в разных телах существуют любовь и ненависть, о которых мы ничего не знаем. То же взаимное согласие и отвержение, очевидно, объясняет, почему иные брачные союзы бесплодны или, наоборот, плодovitы. Последнее слово невольно привело ему на память увозимую стражей Иделетту. В тщательно возведенных им оборонительных заслонах стали появляться бреши; однажды вечером за столом, бросив мимолетный взгляд на пламя свечи, он вспомнил вдруг сожженных на костре молодых монахов, и от ужаса, жалости, тоски и яростного гнева, к его собственному стыду, у него из глаз хлынули слезы. Он сам не знал в точности, о ком или о чем он плачет. Тюрьма подтачивала его силы.

Занимаясь ремеслом врача, он часто выслушивал рассказы больных об их сновидениях. Сны снились и ему самому. Обыкновенно в этих грезах усматривали различные предвестья, которые зачастую оправдывались, ибо сны выдают тайны спящего. Но он считал, что эта игра ума, предоставленного самому себе, прежде всего помогает нам узнать, как воспринимает мир душа. Он перебирал в памяти свойства увиденного во сне: легкость, неосознанность, бессвязность, полная свобода от времени, подвижность форм, отчего каждый является во сне во многих лицах и многие воплощены в одном — почти платоновское ощущение воспоминания, почти болезненное чувство необходимости. Эти призрачные категории очень напоминали то, что, по утверждениям философов-герметистов, им было известно о загробном существовании, как если бы для души царство смерти было продолжением царства ночи. Впрочем, сама жизнь, увиденная глазами человека, готовящегося с ней расстаться, приобретала странную зыбкость и причудливые очертания сна. Он переходил от сна к яви, как переходил из зала суда, где его допрашивали, в свою камеру с крепкими запорами, а из камеры — в запорошенный снегом двор. Он видел себя у входа в узкую башенку, в которой его величество король Шведский поселил его в Вадстене. Перед ним, неподвижный и терпеливый, как все звери, ожидающие помощи, стоял огромный лось, на которого накануне охотился в лесу принц Эрик. Зенон понимал, что ему надо спрятать и спасти животное, но не знал, каким способом заставить его переступить порог человеческого жилища. Черная блестящая шкура лося была мягкой, как если бы он добирался сюда вплавь. В другой раз Зенон увидел себя в лодке, которая плыла по реке в открытое море. Стоял прекрасный солнечный и ветреный день. Сотни рыб сновали и вились вокруг форштенвя, то уносимые течением, то опережавшие его, переходя из пресной воды в соленую, и это движение, эта игра были напоены радостью. Впрочем, грезить не было нужды. Вещи наяву приобретали краски, какие присущи им только во сне и напоминают чистые цвета алхимических процедур — зеленый, пурпурный и белый; плод апельсина, который однажды украсил своим великолепием его стол, долго горел на нем, подобно золотому шару, его аромат и сочность также были исполнены особого смысла.

Несколько раз Зенону почудилась торжественная музыка, похожая на звуки органа, если только они могут звучать безгласно, — эти звуки воспринимало не столько ухо, сколько внутренний слух. Он дотрагивался до еле заметных шероховатостей кирпича, поросшего лишайником, и ему казалось, что он исследует огромные миры. Однажды утром, прогуливаясь по двору в сопровождении своего стража Жилия Ромбо, он увидел, как под слоем прозрачного льда, затянувшего неровности плит, бьется трепещущая жилка воды. Тоненькая струйка искала и находила нужный для стока уклон.

По крайней мере один раз видение посетило его днем. В комнате появилось красивое и печальное дитя лет двенадцати. С ног до головы в черном, ребенок казался наследным принцем из волшебного замка, куда можно попасть только во сне, но Зенон считал бы своего гостя реальным лицом, если бы тот не возник рядом с ним безмолвно и внезапно, хотя он не входил в комнату и не ступал по ней. Мальчик был похож на него, хотя это не был Зенон, выросший на улице О-Лен. Зенон стал перебирать прошлое, в котором было не много женщин. Он очень осторожно вел себя с Касильдой Перес, вовсе не желая, чтобы бедная девушка возвратилась в Испанию, забеременев от него. Пленница под стенами Буды погибла вскоре после их сближения — только по этой причине он ее и помнил. Остальные женщины были просто распутницами, с которыми случай сводил его в скитаниях, — эти вороха юбок и плоти не имели в глазах философа никакой цены. Иное дело хозяйка Фрешё — она полюбила его настолько, что готова была предоставить ему постоянный кров, она хотела иметь от него ребенка; ему никогда не узнать, осуществилось или нет это ее желание, куда более глубокое, нежели просто похоть. Возможно ли, что струйка семени, излившаяся в ночь, воплотилась в существо, которое продолжит и, быть может, умножит его субстанцию, возрожденную в этом создании, которое есть он и в то же время не он. Его охватила вдруг безмерная усталость и невольная гордость. Если это так, он оставил на земле свой след, как, впрочем, он уже оставил его благодаря своим книгам и поступкам; ему суждено выбраться из лабиринта лишь по окончании времен. Дитя Сигне Ульфсдаттер, дитя белых ночей, возможное среди других возможных, смотрело на обессиленного человека удивленным, но вдумчивым взором, словно собираясь задать ему вопросы, на которые Зенон не сумел бы найти ответ. И трудно было сказать, который из двух глядел на другого с большей жалостью. Видение рассеялось так же внезапно, как появилось: ребенок, бывший, возможно, лишь игрой воображения, исчез. Зенон заставил себя более о нем не думать: без сомнения, это была просто галлюцинация узника.

Ночной страж по имени Герман Мор, огромный молчаливый детина, который спал в конце коридора, но и во сне был начеку, казалось, имел одно лишь пристрастие — смазывать и до блеска начищать замки. Зато Жиль Ромбо оказался забавным плутом. Он поведаль свет, был когда-то бродячим торговцем, воевал; благодаря его неистощимой болтовне Зенон узнавал, что говорится и делается в городе; это ему поручили распоряжаться шестьюдесятью солями, которые положили на ежедневное содержание узника, как всем арестантам если не благородного, то по край-

ней мере почтенного звания. Тот засыпал Зенона всякими яствами, прекрасно зная, что его нахлебник едва к ним прикоснется и все эти пироги и соленья в конце концов будут съедены супругами Ромбо и их четырьмя отпрысками. То, что его так обильно кормят и что жена Ромбо прилежно стирает его белье, не слишком обольщало философа, который успел увидеть краем глаза, какой ад являет собой общая камера, но между ним и этим бойким малым установились своего рода приятельские отношения, как бывает всегда, когда один человек составляет другому пищу, выводит его на прогулку, бреет его и выносит за ним судно. Разглагольствования плута служили хорошим противоядием против слога теологов и юристов. Судя по дрянному положению дел в земной юдоли, Жиль был не вполне уверен в существовании милосердного господа бога. Над несчастьями Иделетты он пролил слезу — жаль, не оставил в живых такую хорошенькую крошку. Дело Ангелов он находил смешным, добавляя, впрочем, что каждый развлекается как может и, мол, на вкус и на цвет товарища нет. Что до него, он любил девок — удовольствие это, куда менее опасное, хотя и дорогое, нередко навлекало на него семейные бури. На политику ему было наплевать. Они с Зеноном играли в карты — Жиль неизменно выигрывал. Врач пользовал семейство Ромбо. Большой кусок пирога, который Грета в день Богоявления передала заключенному, приглянулся мошеннику, и он конфисковал его в пользу своих родичей, что, впрочем, не было таким уж великим прегрешением, поскольку еды у арстанта и без того хватало. Зенон так никогда и не узнал об этом скромном знаке преданности со стороны Греты.

Когда настало время, философ защищался довольно искусно. Некоторые из пунктов, до конца сохранившихся в обвинительном акте, были попросту нелепы: само собой, он не сделался магометанином во время пребывания на Востоке и даже не подвергся обрезанию. Труднее было оправдаться в том, что он служил неверным, когда турецкий флот и войска воевали с императором. Зенон сослался на то, что, будучи сыном флорентийца, но проживая и трудясь в ту пору в Лангедоке, он почитал себя подданным всехристианнейшего короля, который поддерживал добрые отношения с Оттоманской Портой. Довод был не слишком убедителен, но тут стали распространяться весьма выгодные для обвиняемого неблизки насчет его поездки в Левант. Зенон якобы был одним из тайных агентов императора в берберских землях и умалчивая об этом единственно из нежелания разгласить тайну. Философ не стал оспаривать этот слух, как и некоторые другие, не менее романтические, чтобы не огорчить неизвестных друзей, которые, судя по всему, их распространяли. Еще более чернила Зенона двухлетняя служба у шведского короля — она относилась к сравнительно недавнему времени, и никакой ореол легенды не мог ее приукрасить. Суд желал установить, сохранил ли он в этой протестантской стране свою католическую веру. Зенон утверждал, что не отрекся от католицизма, но умолчал о том, что ходил слушать проповеди, стараясь, впрочем, делать это как можно реже. Снова всплыло на поверхность обвинение в шпионаже в пользу иноземцев; подсудимый произвел невыгодное впе-

чатление, заявив, что, мол, намеревайся он что-нибудь выведать и кому-нибудь о том сообщить, он уж, верно, обосновался бы в городе, не столь отдаленном от важных событий, как Брюгге.

Но как раз долгое пребывание Зенона в родном городе под вымышленным именем и заставляло судей хмурить лоб: им мерещилась в этом какая-то зловещая тайна. Что нечестивец, осужденный Сорбонной, несколько месяцев скрывался у своего приятеля, хирурга-брадобрея, никогда не выказывавшего христианского благочестия, еще можно понять; но что искусный медик, врачевавший венценосцев, согласился долгое время влачить скудное существование лекаря при монастырском убежище — было слишком странным, чтобы оказаться невинным. На сей счет подсудимый отвечал невнятно: он, мол, сам не знает, почему так надолго задержался в Брюгге. Из какой-то стыдливости он не сослался на то, что все глубже привязывался к покойному приору, — впрочем, причина эта могла быть убедительной только для него одного. Что до преступных сношений с Сиприаном, обвиняемый их начисто отрицал, но все заметили, что говорил он об этом без того праведного негодования, какое было бы здесь уместно. Обвинения в том, что в убежище Святого Козьмы лечили беженцев и оказывали им помощь, больше не повторяли; новый приор миноритов, справедливо решивший, что монастырь уже и так довольно пострадал от всего происшедшего, настоял, чтобы не возрождали толков о неблагонадежности врача, служившего в лечебнице. Узник, который до сих пор вел себя примерно, с яростью обрушился на прокурора Фландрии, Пьера Ле Кока, когда тот, сызнова подняв вопрос о запретных и ведовских воздействиях, заметил, что именно колдовскими чарами и можно объяснить крайнее пристрастие Жана-Луи де Берлемона к врачу. Зенон, ранее объяснявший епископу, что в известном смысле магией можно считать все, теперь пришел в исступление оттого, что таким образом пытались обесценить взаимное тяготение двух свободных умов. Но преподобнейший епископ не стал ловить его на этом явном противоречии.

В отношении вопросов догмы обвиняемый оказался настолько ловким, насколько может быть ловким человек, запутавшийся в густой паутине. Двух теологов, приглашенных в качестве аудиторов, особенно занимал вопрос о бесконечности миров; долго спорили о том, тождественны ли понятия "безграничного" и "бесконечного". Еще дольше длилось препирательство о том, вечна ли душа или она способна пережить тело лишь отчасти и даже лишь на время, ибо для христианина на деле это означает, что она попросту смертна. Зенон иронически напомнил своим оппонентам определение различных частей души, данное Аристотелем и позднее углубленное арабскими учеными. О бессмертии какой души идет речь — души растительной, животной, рациональной или, наконец, пророческой — или же речь идет о той сущности, которая таится под ними всеми? Продолжив рассуждение, он обратил внимание своих противников, что некоторые из этих гипотез напоминают гилеморфическую теорию Святого Бонавентуры, которая предусматривает известную телесность души. С этим выводом согласиться не пожелали, но каноник Кампанус, присутствовавший при споре и помнивший, как обучал когда-то своего питомца тонкостям схоластики, услышав его аргумен-

тацию, почувствовал прилив гордости.

Во время этого заседания и были читаны — слишком подробно, по мнению судей, считавших, что и так уже известно довольно, чтобы вынести приговор, — тетради Зенона, в которые он сорок лет тому назад записывал высказывания заведомых язычников и атеистов, а также противоречивших друг другу отцов церкви. На беду Ян Мейерс бережно сохранил этот школярский арсенал. Аргументы эти, изрядно набившие оскомину, вызвали почти равную досаду обвиняемого и епископа, но судьи-миряне были возмущены ими более, нежели дерзкими "Протеориями", слишком для них сложными и потому туманными. Наконец в угрюмой тишине оглашены были "Комические прорицания", которыми Зенон как безобидными загадками потешал когда-то органиста и его жену. Их гротескный мир, похожий на тот, что предстает на полотнах некоторых художников, вдруг обнаружил свой зловещий лик. С тягостным чувством, с каким внемлют безумцам, выслушали судьи историю пчелы, у которой отнимают воск ради воздаяния почестей мертвецам, перед которыми жгут свечи попусту, ибо они лишены зрения, лишены слуха, чтобы внимать молитвам, и рук, чтобы давать. Сам Бартоломе Кампанус побледнел при упоминании о том, что государи и народы Европы каждой весной стенают, оплакивая мятежника, когда-то осужденного на Востоке, и о том, что мошенники и безумцы грозят карами и сулят награды от имени немого и невидимого властелина, без всяких доказательств объявляя себя его приказчиками. Никто не улыбнулся также при описании новых иродовых времен, когда невинных каждый день избивают тысячами и насаживают на вертел, несмотря на их жалобное блеяние, или при описании тех, кто сладко спит на ложе из гусиных перьев и вознесен сими перьями в мир райских грез, или еще костяшек мертвецов, которые решают участь живых на деревянных досках, окропленных кровью виноградников; тем более не вызвало улыбки упоминание о проткнутых с двух сторон и взгромоздившихся на ходули мешках, которые распространяют по миру зловоние своих речей и, набивая зоб, пожирают землю. Помимо бросающегося в глаза местами прямотаки кощунственного глумления над христианскими учреждениями, в этих разглагольствованиях чувствовалась еще более далеко зашедшая скверна, от которой во рту оставался мерзостный привкус.

У самого философа чтение это рождало ощущение горькой отрыжки, но особенно грустно было ему оттого, что слушатели негодуют на смельчака, который обличает бессмыслицу жалкой человеческой участи, но не на самую эту участь, хотя они могут хотя бы в малой степени ее изменить. Когда епископ предложил махнуть рукой на весь этот вздор, доктор геологии Иеронимус ван Пальмерт, откровенно ненавидевший подсудимого, снова припомнил цитаты, собранные Зеноном, и заявил, что извлекать из древних авторов мысли нечестивые и пагубные — злонамеренность еще худшая, нежели самому их высказывать. Монсеньор нашел это суждение преувеличенным. Апоплексическая физиономия доктора сделалась багровой, и он громко спросил, стоило ли беспокоить его просьбой изъять свое мнение насчет заблуждений в вопросах веры и нравственности, которые, не колеблясь и минуты, распознал бы любой деревенский судья.

Во время этого же заседания случились два происшествия, весьма по-

вредившие обвиняемому. В суд в страшном возбуждении ворвалась рослая женщина с грубым лицом. Она оказалась бывшей служанкой Яна Мейерса, Катариной, которая, успев наскучить попечениями об увечных, поселенных Зеноном в доме на Вье-Ке-о-Буа, поступила судомойкой в заведение Тыквы. Катарина обвинила врача в том, что он отравил Яна Мейерса своими снадобьями; взяв вину и на себя, чтобы вернее погубить узника, она призналась, что помогла ему в этом деле. Негодяй распалил ее плоть с помощью любовного зелья так, что она предалась ему душой и телом. Она была неистощима в описаниях диковинных подробностей своей плотской связи с лекарем; как видно, знакомство с девицами и клиентами Тыквы не прошло для нее бесследно. Зенон решительно отверг обвинение в том, будто он отравил старика Яна, но подтвердил, что дважды познал эту женщину. Показания Катарини, сопровождаемые воплями и яростной жестикуляцией, оживили заглохшее было любопытство судей; но особенно большое впечатление произвели они на публику, толпившуюся у входа в зал суда: все зловещие слухи о колдовстве были сразу подтверждены. А мегера, пустившаяся во все тяжкие, уже не могла остановиться; ее заставили замолчать; тогда она стала клясть судей — ее выволокли из зала и отправили в дом умалишенных, где она могла бесноваться сколько ей вздумается. Магистраты, однако, были озадачены. То, что Зенон отказался от наследства хирурга-брадобрея, свидетельствовало о его бескорыстии и лишало преступление всякого мотива. Но такое поведение могло быть вызвано и угрызениями совести.

Пока шли прения, судьи получили анонимное письмо с новым доносом, еще более страшным, принимая во внимание положение дел в государстве. Послание, бесспорно, исходило от кого-то из соседней старухи Кузнецка Кассела. Автор его утверждал, будто лекарь два месяца подряд каждый день являлся в кузницу лечить раненого, который был не кто иной, как убийца покойного капитана Варгаса; тот же лекарь ловко помог преступнику скрыться. К счастью для Зенона, Йоссе Кассел, которого могли бы о многом допросить, находился в Гелдерланде на королевской службе в полку господина де Ландаса, в который он недавно завербовался. А старый Питер, оставшись в одиночестве, запер кузницу на ключ и вернулся в деревню, где у него был клочок земли, в каких краях — никто в точности не знал. Зенон, само собой, все отрицал — и приобрел неожиданного союзника в лице профоса, который когда-то составил донесение о том, что убийца Варгаса сгорел вместе с гумном, и вовсе не желал, чтобы его обвинили, будто он без должного рвения расследовал это давнее дело. Автора письма обнаружить не удалось, а соседи Йоссе на все вопросы отвечали уклончиво — ни один здравомыслящий человек не признался бы, что ждал два года, чтобы донести о подобном преступлении. Но обвинение было тяжким и придавало вес другому обвинению — в том, что в приюте Святого Козьмы Зенон рачевал беженцев.

В глазах Зенона этот процесс становился похож на партию в карты с Жилем, которую он по рассеянности или по равнодушию неизменно проигрывал. Ценность карт, имевших хождение в юридической игре, как и ценность кусочков разноцветного картона, которые способны разорить или обогатить игроков, была совершенно произвольной; так же как при игре

в кадрили или в ломбер, было известно, когда тасовать карты, когда брать взятку, когда бить козырем, а когда можно и передернуть. Впрочем, правда, будь она оглашена, смутила бы всех. Ее трудно было отделить от лжи. Когда Зенон говорил правду, в нее входила ложь: он и в самом деле не отрекся ни от христианства, ни от католической веры, но, если бы понадобилось, сделал бы это со спокойной совестью, а если бы ему довелось, как он надеялся, вернуться в Германию, весьма вероятно, принял бы лютеранство. Он справедливо отрицал плотскую связь с Сиприаном, но однажды вечером он испытал влечение к этой плоти, ныне уже ставшей прахом; в каком-то смысле утверждения несчастного монашка более отвечали истине, нежели предполагал сам Сиприан. Никто больше не обвинял Зенона в том, будто он предлагал Иделетте снадобье, чтобы помочь ей скинуть, и он честно отрицал это обвинение, с той, однако, мысленной оговоркой, что, если бы она вовремя обратилась к нему, он пришел бы ей на выручку, и сожалел, что не мог уберечь ее от печальной участи.

С другой стороны, в тех случаях, когда отрицание Зеноном вины в прямом смысле было ложным, как, например, в деле с Ганом, чистая правда, объяви он ее, все равно оказалась бы обманом. Услуги, оказанные им повстанцам, вовсе не означали, как думал с негодованием прокурор и с восторгом — патриоты, будто он принял сторону бунтарей; никто из этих оголтелых не понял бы его бесстрастной преданности врачебному долгу. В стычках с теологами поначалу была своя прелесть, но он отлично сознавал, что не может быть длительного примирения между теми, кто ищет, взвешивает, расчленяет и гордится тем, что способен завтра думать иначе, нежели сегодня, и теми, кто слепо верует или уверяет, будто верует, и под страхом смерти требует того же от остальных. Томительная прозрачность царил в этих беседах, где вопросы и ответы не сопрягались друг с другом. Во время одного из последних заседаний ему случилось даже задремать; Жиль, стоявший подле Зенона, ткнув его в бок, призвал к порядку. Но оказалось, что один из судей тоже клонит носом. Он проснулся, полагая, что смертный приговор уже вынесен, — это рассмешило всех, в том числе и самого обвиняемого.

Не только в суде, но и в городе мнения в отношении обвиняемого с самого начала разделились, образуя весьма запутанную картину. Точка зрения епископа была не совсем ясна, но он, несомненно, представлял умеренность, чтобы не сказать снисходительность. А поскольку монсеньор был *ex officio* * одним из столпов монархии, некоторые представители местной власти ему подражали; Зенон, таким образом, оказался почти что под покровительством партии порядка. Однако некоторые обвинения, выдвинутые против подсудимого, были столь тяжки, что выказывать по отношению к нему умеренность было небезопасно. Родственники и друзья, которые оставались у Филибера Лигра в Брюгге, терзались сомнениями: в конце концов, обвиняемый был членом семьи, но именно по этой причине они не знали, как себя вести — избличать его или защищать. Напротив,

* По положению (*лат.*).

те, кто страдал от жестоких махинаций банкирского дома Лигров, распространяли свою злобу и на Зенона: само имя Лигров приводило их в бешенство. Патриоты, которых было немало среди богатых горожан и к которым принадлежала большая часть простонародья, могли бы сочувствовать несчастному, помогавшему, по слухам, их братьям; некоторые и в самом деле ему сочувствовали, но эти пылкие души чаще всего склонялись к евангелической вере, и им, как никому другому, был мерзок даже намек на безбожие и разврат; вдобавок, они ненавидели монастыри, а им казалось, что монахи в Брюгге заодно с Зеноном. И только несколько неизвестных друзей философа, расположенных к нему — каждый по своей особенной причине, — старались тайком ему помочь, не привлекая к себе внимания правосудия, которого почти все они имели основания опасаться. Эти люди не упускали случая запутать дело, рассчитывая, что неразбериха сыграет на руку узнику или, во всяком случае, выставит на посмешище его преследователей.

Каноник Кампанус долго потом вспоминал, как в начале февраля незадолго до рокового заседания, на которое ворвалась Катарина, магистраты задержались у дверей суда, обмениваясь мнениями после ухода епископа. Пьер Ле Кок, бывший во Фландрии подручным герцога Альбы, заметил, что суд потерял полтора месяца на пустяки, меж тем как было бы проще простого давно уже применить законную кару. Но, с другой стороны, его радует, мол, что дело это, будучи совершенно незначительным, ибо оно не имеет никакого касательства к насущным государственным заботам, тем не менее предоставляет публике весьма полезное развлечение: брюггская чернь, занятая сьером Зеноном, меньше интересуется тем, что происходит в Брюсселе в Трибунале по делам беспорядков. Вдобавок в нынешние времена, когда все упрекают правосудие в чинимом им якобы произволе, отнюдь не мешает показать, что во Фландрии соблюдается законность. И, понизив голос, он прибавил, что святейший епископ справедливо воспользовался правами, которые кое-кто напрасно пытался у него оспорить, но что, быть может, следует делать различие между саном и человеком, им облеченным, — монсенюру свойственна излишняя щепетильность, от которой ему следовало бы избавиться, если он желает и далее вмешиваться в отправление правосудия. Чернь жаждет, чтобы обвиняемого предали сожжению, а у сторожевого пса опасно отнимать кость, когда ею уже помахали у него перед носом.

Бартоломе Кампанусу было известно, что влиятельный прокурор кругом в долгу у банка, который в Брюгге по-прежнему именовали банком Лигра. На другой же день он послал нарочного к своему племяннику Филиберу и его жене, госпоже Марте, прося их уговорить Пьера Ле Кока найти в деле зацепку, благоприятную для обвиняемого.

БОГАТЫЕ ХОРОМЫ

Роскошный особняк Форестель был сравнительно недавно отстроен Филибером и его женой в итальянском вкусе; гостей приводили в восторг анфилады комнат со сверкающим паркетом и высокими окнами, смотря-

щими в парк, где в это февральское утро шел дождь со снегом. Художники, обучавшиеся в Италии, расписали плафоны парадных зал сценами на прославленные сюжеты из истории и мифологии: "Великодушные Александра", "Милосердие Тита", "Даная и золотой дождь", "Ганимед, возносящийся на небо". Инкрустированный слоновой костью, яшмой и черным деревом флорентийский кабинет, созданию которого содействовали три государя, был украшен античными бюстами и обнаженными женскими фигурами, отражавшимися во множестве зеркал; потайные ящички открывались с помощью скрытых пружин. Но Филибер был слишком хитер, чтобы доверить государственные бумаги этим многосложным, как глубины совести, тайникам; что до любовных писем, он никогда их не писал и не получал, и страстям его, весьма, впрочем, умеренным, удовлетворяли красотки, которым писем не пишут. В камине, украшенном медальонами с изображением главных добродетелей, между двумя сверкающими холодным блеском пилястрами пылал огонь; среди двус этого великолепия толстые поленья, доставленные из соседнего леса, одни только и сохраняли свой природный вид и не были обструганы, отполированы и отлакированы рукою ремесленника. На этажерке аккуратно выстроились в ряд несколько томиков в пергаментных и сафьяновых переплетках с золотым тиснением; это были произведения религиозного содержания, которых никто не читал. Марта давно уже пожертвовала "Наставлением в христианской вере" Кальвина, поскольку эта еретическая книга — как учтиво пояснил ей Филибер — могла их скомпрометировать. У самого Филибера была коллекция трудов по генеалогии, а в одном из ящиков припрятано роскошное издание Аретино, которое он иногда показывал своим гостям-мужчинам, пока дамы болтали о драгоценностях и разведении цветов.

Безукоризненный порядок царил в этих комнатах, уже прибранных после вчерашнего приема. Объезжая с инспекцией провинцию Монс, герцог Альба и его адъютант Ланселот де Берлемон согласились на возвратном пути отужинать и заночевать в доме Филибера, и поскольку герцог был слишком утомлен, чтобы взбираться наверх по высоким лестницам, ему постелили в одном из нижних покоев, затянув кровать для защиты от сквозняков ковровым пологом, который поддерживали серебряные пики и трофеи; от ложа героического отдохновения, где, к сожалению, знатный гость провел бессонную ночь, теперь не осталось и следа. За ужином беседовали о предметах важных, но высказывались с осторожностью; о делах государственных говорили тоном людей, которые в них участвуют и знают, чего держаться; впрочем, следуя правилам хорошего тона, ни на чем не настаивали. Герцог был совершенно удовлетворен положением в Нижней Германии и во Фландрии; мятеж укрошен, испанская монархия может не опасаться, что от нее когда-нибудь отторгнут Мидделбург и Амстердам, как, впрочем, Лилль и Брюссель. Он вправе наконец объявить: "Nunc dimittis" * и умолять короля назначить ему замену. Герцог был уже не молод, а цвет его лица изобличал большую печень; поскольку он почти ничего не ел, хозяевам тоже пришлось обречь себя на воздержание; зато Лан-

* "Ныне отпускаеши" (лат.).

селот де Берлемон уплетал за обе щеки, описывая при этом подробности походной жизни. Принц Оранский разбит, жаль только, солдатам неаккуратно платят — это отражается на дисциплине. Герцог нахмурился и перевел разговор на другое: ему казалось недипломатичным говорить сейчас о денежных затруднениях короны. Филибер, которому была отлично известна сумма монаршего долга, также предпочитал не касаться за столом денежных дел.

Едва забрезжила хмурая заря, гости отбыли, и Филибер, недовольный тем, что ему пришлось спозаранку оказывать почести отъезжающим, поднялся к себе, чтобы снова улечься в постель, где он чаще всего работал, ибо страдал подагрическими болями в ноге. Зато для его жены, которая каждое утро вставала чуть свет, это раннее бдение было делом обычным. Твердой своей поступью Марта вышагивала по опустелым комнатам, поправляя на каком-нибудь ларе сдвинутую служанкой золотую или серебряную безделушку или соскребая ногтем с консоли неприметный глазу подтек воска. Вскоре секретарь принес ей сверху распечатанное письмо от каноника Кампануса. Филибер сопроводил его иронической запиской, которой сообщал, что ей предстоит узнать новости об их общем двоюродном, а ее родном братце.

Сев у камина перед вышитым экраном, который защищал ее от слишком жаркого огня, Марта стала читать длинное послание. Листки, исписанные мелкими черными буквами, шелестели в ее худых руках, выглядывавших из кружевных манжет. Немного спустя она отложила письмо и погрузилась в раздумье. В свое время, когда она новобрачной приехала во Фландрию, Бартоломе Кампанус сообщил ей о том, что у нее есть единокровный брат, и даже посоветовал ей молиться за этого нечестивца, не подозревая, что Марта воздерживается от молитв. Известие об этом внебрачном ребенке стало для нее еще одним пятном на памяти и без того опозоренной матери. Ей не составило труда угадать, что врач-философ, прославившийся в Германии лечением заболевших чумой, и человек в красном плаще, которого она принимала у изголовья Бенедикты и который задавал ей такие странные вопросы о ее покойных родителях, — одно и то же лицо. Много раз вспоминала она об этом зловещем незнакомце, он даже снился ей во сне. Он видел ее нагой, словно Бенедикту на ложе смерти, он разгадал смертный грех трусости, который она таила в душе, невидимо для тех, кто воображал ее женщиной сильной духом. Мысль об этом человеке сидела в ней, как заноза. Он оказался бунтарем — тем, кем она стать не сумела; он странствовал по всему свету — ее путь пролегал лишь из Кёльна в Брюссель. Теперь он оказался в той самой глухой темнице, которой так страшилась когда-то она; грозящая ему кара казалась ей справедливой — он прожил жизнь так, как ему хотелось, путь, чреватый опасностями, он избрал сам.

Она обернулась — откуда-то потянуло холодом; огонь у ее ног обогрел только небольшую часть просторной залы. Говорят, таким ледяным холодом веет при появлении призрака — брат, которому предстояло вскоре умереть, всегда оставался для нее таким призраком. Но вокруг Марты в роскошной пустой гостиной не было ни души. Такая же великолепная пустота царила и во всей ее жизни. Единственные воспоминания, согретые

нежностью, были связаны для нее с той самой Бенедиктой, которую у нее взял бог, если только бог и в самом деле есть, Бенедиктой, за которой она даже не сумела ухаживать как должно до самого конца; евангелическую веру, некогда пылавшую в ее душе, она держала под спудом, и та заглохла, обратившись в груды пепла. Уже более двадцати лет Марту не покидала мысль о том, что она осуждена на вечные муки, — вот и все, что осталось в ней от вероучения, которое она не осмеливалась исповедовать вслух. Но мысль, что ее ждет геенна огненная, мало-помалу сделалась вялой и привычной — она знала, что осуждена, так же как знала, что она жена богатого человека, которому принесла богатое приданое, и мать шалопая, годного в лучшем случае драться на шпагах да пить в компании молодых дворянчиков, так же как знала, что в один прекрасный день Марта Лигр умрет. Для нее не составило труда остаться добродетельной — отживавать поклонников ей не пришлось; вялый супружеский пыл Филибера угас после рождения их единственного сына, так что ей не пришлось вкусить даже дозволенные радости. Она одна знала о вожделении, которое порой овладевало ею; она не столько обуздывала его, сколько пренебрегала им, как пренебрегают легким недомоганием. Для сына она была справедливой матерью, хотя ей не удалось ни одолеть врожденную наглость мальчишки, ни заслужить его любовь; говорили, что она до жестокости строга с прислугой, — но как же иначе приструнить этот сброд? Ее отношение к церкви служило для всех примером, но втайне она презирала этот балаган. Пусть брат ее, которого она видела всего раз в жизни, шесть лет прожил под чужим именем, скрывая свои пороки и представляя несуществующие добродетели, — это была сущая безделица в сравнении с тем, как всю жизнь поступала она сама. С письмом каноника в руке Марта поднялась к Филиберу.

Как всегда, когда она входила в спальню мужа, Марта презрительно скривила губы, обнаружив, что он нарушил предписанные врачом режим и диету. Филибер нежился в пуховых подушках, которые были вредны при его подагре, как и лежавшая у него под рукой бонбоньерка. Он успел только спрятать под одеяло томик Рабле, которым развлекался в перерывах между диктовкой писем. Прямая как палка Марта уселась на стул, стоявший поодаль от постели. Муж с женой обменялись несколькими фразами о вчерашнем визите; Филибер похвалил Марту за изысканное меню — жаль, герцог почти не притронулся к яствам. Оба посокрушались о том, что герцог плохо выглядит. Рассчитывая, что его услышит секретарь, собиравший бумаги, которые ему было приказано переписать в соседней комнате, толстяк Филибер благоговейно заметил, что, мол, много толкуют о мужестве бунтовщиков, казненных по приказу герцога (кстати говоря, преувеличивая вдвое их число), но слишком мало о силе духа этого государственного мужа и воина, который не щадит живота своего ради монарха. Марта согласно кивнула головой.

— Мне кажется, что положение дел в государстве далеко не так благополучно, как полагает герцог или как он хочет внушить другим, — добавил Филибер тоном более трезвым, едва супруги остались вдвоем. — Все зависит от твердости его преемника.

Не ответив на это замечание, Марта спросила мужа, неужто он пола-

гает необходимым потеть под такой грудой одеял?

— Я хотел посоветоваться с женой вовсе не насчет моих подушек, — заявил Филибер с легкой насмешкой, с какой взял обыкновение с ней говорить. — Вы прочли письмо нашего дядюшки?

— Дело довольно грязное, — после некоторого колебания сказала Марта.

— Таковы все дела, в какие сует нос правосудие, оно загрязнит даже и чистое дело. Каноник, который принимает всю эту историю близко к сердцу, как видно, полагает, что для одной семьи двух казенных многовато.

— Все знают, что моя мать пала в Мюнстере жертвой беспорядков, — заявила Марта, и ее глаза потемнели от гнева.

— Всем и должно это знать, недаром я посоветовал вам выбить эти слова на церковной плите, — с беззлой иронией продолжал Филибер. — Но сейчас я говорю с вами о сыне этой безупречной матери... За прокурором Фландрии в наших расчетных книгах, или, вернее, в книгах наследников Тухера, и впрямь значится изрядный долг, и он, верно, был бы рад, если бы мы вымарали кое-какие цифры... Однако деньги решают отнюдь не все, или, во всяком случае, не решают так просто, как это кажется людям, вроде каноника, у которых денег мало. Дело зашло уже слишком далеко, и быть может, у Ле Кока есть причины пренебречь упомянутым долгом. Вас очень огорчает эта история?

— Я ведь не знаю этого человека, — холодно сказала Марта, хотя на самом деле она прекрасно помнила, как в темной прихожей дома Фуггеров незнакомец снял маску, которую обязаны были носить врачи, лечившие больных чумой. Но правда и то, что он знал о ней куда больше, чем она о нем, и к тому же этот уголок прошлого касался только ее одной — Филиберу туда доступа не было.

— Заметьте, я ничего не имею против своего двоюродного и вашего родного брата и был бы совсем не прочь, чтобы он оказался здесь и вылечил меня от подагры. Но чего ради ему взбрело в голову спрятаться в Брюгге, точно зайцу под брюхом у собаки, да вдобавок еще назвавшись чужим именем, которое может ввести в заблуждение только дураков... Этот мир требует от нас всего лишь некоторой скромности и осторожности. Чего ради предавать гласности мысли, которые не по нраву Сорбонне и Его Святейшеству?

— Молчание — тяжелое бремя, — вырвалось вдруг у Марты.

Советник посмотрел на нее с лукавым удивлением.

— Ну что ж, — сказал он, — давайте поможем этому имярек выпутаться из беды. Но имейте в виду, если Пьер Ле Кок согласится на уступку, уже не он будет передо мной в долгу, а если не согласится, мне придется проглотить его отказ. Может статься, господин де Берлемон будет мне признателен за то, что я избавлю от позорной смерти человека, пользовавшегося покровительством его отца, но или я сильно ошибаюсь, или его мало тревожит то, что происходит в Брюгге. А что предлагает моя дорогая супруга?

— Ничего такого, чем вы впоследствии можете меня попрекнуть, — сухо ответила она.

— Вот и прекрасно, — сказал советник удовлетворенным тоном чело-

века, который видит, что угроза ссоры отступила. — Поскольку подагра мешает мне держать в руках перо, сделайте одолжение — напишите дядюшке вместо меня, поручив нас его святым молитвам...

— Не касаясь главного? — уточнила Марта.

— Наш дядюшка достаточно умен, чтобы понять умолчание, — подтвердил он, кивнув головой. — Надо только, чтобы посланец отправился не с пустыми руками. Полагаю, у вас найдется гостинец, подходящий для наступающего поста (хотя бы, к примеру, рыбный паштет), да штука полотна на покров для его церкви.

Супруги переглянулись. Она восхищалась осторожностью Филибера, как другие женщины восхищаются храбростью и стойкостью своих мужей. Все шло так гладко, что он, забывшись, добавил:

— Всему виной мой отец, это он воспитал пащенка как сына. Если б мальчишка рос в какой-нибудь бедной семье и не получил образования...

— По части пащенков опыт у вас большой, — сказала она с саркастическим нажимом.

Он мог сколько угодно улыбаться: она уже повернулась к нему спиной и направилась к двери. Этот внебрачный ребенок, прижитый им от горничной (кстати, может статься, он был вовсе и не от него), не столько усложнил, сколько упростил его супружескую жизнь. Она вечно поминала ему эту свою единственную обиду, спуская и, как знать, быть может, даже и не замечая куда более важные.

Филибер окликнул жену.

— Я прибегаю для вас сюрприз. — сказал он. — Сегодня утром я получил известие более приятное, нежели то, что пришло от нашего дядюшки. Вот грамоты, которыми владельцы поместья Стенберг возведены в достоинство виконтов. Вы ведь знаете, что я переименовал Ломбардию в Стенберг — сын и внук банкира выглядели бы смешными с титулом виконта Ломбардского.

— Имена Лигров и Фулькров и без того хорошо звучат для моего уха, — с холодной гордостью ответила она, согласно обычаю именую Фугтеров на французский лад.

— Они слишком отдают ярлыками на мешках с монетой, — возразил советник. — В наше время, чтобы преуспеть при дворе, нужно иметь благородное имя. С волками жить — по-волчьи выть, дорогая женушка.

После ее ухода он потянулся к бонбоньерке и набил рот леденцами. Ее презрение к титулам не могло его обмануть — все женщины любят побрякушки. Но какой-то скверный привкус отравлял ему сладость конфет. Жаль, для бедного малого ничего нельзя сделать, не скомпрометировав себя.

Марта сошла вниз по парадной лестнице. Против ее воли свеженький титул приятным звоном отдавался в ушах; так или иначе сын однажды скажет им за него спасибо. В сравнении с этой новостью письмо каноника теряло свою важность. Предстояла, однако, неприятная обязанность — написать ответ; она снова с горечью подумала о Филибере: в конце концов он всегда поступает по-своему, а она — всего лишь богатая приказчица у богатого хозяина. В силу странного противоречия брат ее, которого она бросала на произвол судьбы, в эту минуту был ей ближе, чем муж и единствен-

ный сын: как Бенедикта и мать, он составлял часть ее тайного мира, где она жила взаперти. В каком-то смысле в лице брата она произносила приговор и самой себе. Она вызвала дворецкого и приказала ему приготовить подарки, чтобы передать их нарочному, который подкреплялся на кухне.

Дворецкий хотел кое о чем поговорить с хозяйкой. Тут подвернулось на редкость выгодное дельце. Госпоже известно, что после казни господина де Баттенбурга имущество его конфисковано. На него все еще наложен секвестр, распродажа в пользу государства может состояться лишь после того, как будут выплачены долги частным лицам. Ничего не скажешь, испанцы поступают по закону. Но через бывшего привратника казенного до него дошли слухи о том, что целая партия ковров не попала в опись и их можно приобрести на стороне. Это великолепные изделия Обюссонских мануфактур на сюжеты из священной истории — "Поклонение золотому тельцу", "Отречение Святого Петра", "Пожар Содомы", "Козел отпущения", "Отроки, свергнутые в огненную печь". Дотошный дворецкий спрятал свой маленький список в жилетный карман. Госпожа как-то недавно говорила, что хотела бы обновить драпировки в салоне Ганимеда. Да и вообще ковры эти со временем поднимутся в цене.

С минуту подумав, она кивком выразила согласие. Это не то что разные там мирские сюжеты, которыми слишком уж увлекается Филибер. Помнится, она видела эти ковры в особняке господина де Баттенбурга — они выглядели очень благородно. Было бы глупо упустить такой случай.

ВИЗИТ КАНОНИКА

В день оглашения приговора, после обеда, философу сообщили, что каноник Бартоломе Кампанус ожидает его в приемной судебной канцелярии. Зенон сошел туда в сопровождении Жилия Ромбо. Каноник попросил тюремщика оставить их наедине. Для вящей безопасности Ромбо, уходя, запер дверь на ключ.

Старый Бартоломе Кампанус грузно восседал у стола в кресле с высокой спинкой; возле него на полу лежали две его палки. В честь гостя в камине разожгли огонь, отблеск которого возмещал холодную тусклость февральского полдня. В этом свете широкое, изборожденное сотней мелких морщинок лицо каноника казалось почти розовым, но Зенон заметил, что глаза старика покраснели и он старается унять дрожание губ. Оба замаялись, не зная, с чего начать разговор. Каноник сделал слабую попытку встать, но годы и немощи препятствовали подобной учтивости, да и в такого рода предупредительности по отношению к смертнику ему чудилось что-то неуместное. Зенон остановился в нескольких шагах от священника.

— Optime pater *, — заговорил он, назвав каноника так, как называл его в свои школьные годы, — благодарю вас за все мелкие и большие услуги, которые вы оказали мне во время моего заточения. Я сразу догадался, откуда исходят эти благодеяния. Ваш приход, на который я не надеялся, — еще одно из них.

* Букв.: отец наилучший (лат.).

— Почему вы не открылись мне раньше! — сказал старик с ласковой укоризной. — Вы всегда доверяли мне меньше, чем этому костоправу-брадобрею...

— Неужели вас удивляет, что я остерегался? — спросил философ.

Он старательно растирал оковеневшие пальцы. В его камере, хотя она и располагалась на втором этаже, в эту зимнюю пору обнаружилась коварная сырость. Он сел у огня и протянул к нему руки.

— *Ignis noster **, — мягко сказал он, употребив алхимическую формулу, которую впервые услышал от Бартоломе Кампануса.

Каноник содрогнулся.

— Моя роль в помощи, какую вам пытались оказать, ничтожна, — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал твердо. — Быть может, вы помните, что монсьёра епископа и покойного приора миноритов когда-то разделяли серьезные несогласия. Но в конце концов оба эти святых человека оценили друг друга. Покойный приор на смертном одре рекомендовал вас его пресвященству. Монсьёр сделал все, чтобы вас судили по справедливости.

— Весьма ему обязан, — сказал осужденный.

Каноник уловил в ответе оттенок иронии.

— Не забудьте, не он один выносит приговор. Он до самого конца взывал к снисхождению.

— Это принято, — не без едкости заметил Зенон. — *Ecclesia abhorret a sanguine ***.

— На сей раз это было искренне, — возразил задетый каноник. — К несчастью, обвинения в безбожии и нечестии доказаны, и вы сами того хотели. Благодарение богу, в области общего права никаких улик против вас не нашлось, но вы знаете не хуже меня: для черни, да и для большинства судей, десять подозрений стоят одного подтверждения. Показания несчастного юноши — не хочу даже вспоминать его имени — с самого начала сильно вам повредили...

— Вряд ли вы, однако, могли поверить, что я участвую в игрищах и обрядах в заброшенной бане при свете украденных свечей?

— В это не верил никто, — серьезно сказал каноник. — Но не забудьте: есть и другие способы соучастия.

— Странно, что наши христиане видят самое большое зло в так называемом блюде, — задумчиво сказал Зенон. — Никто не станет с яростью и омерзением карать грубость, дикость, варварство, несправедливость. Никому не придет в голову почесть непотребным, что добропорядочные граждане повалят завтра на площадь смотреть, как я корчусь в пламени костра.

Каноник прикрыл лицо ладонью.

— Простите, отец мой, — сказал Зенон. — *Non decet... **** Больше я не позволю себе неприличия называть вещи своими именами...

— Смее ли я сказать, что в деле, жертвой которого вы стали, более

* Огонь наш (*лат.*).

** Церковь в ужасе отшатывается от крови (*лат.*).

*** Не приличествует... (*лат.*)

всего удручает странное нагромождение зла, — сказал каноник почти шепотом. — Нечестие во всех его видах, ребячества, где кощунство творилось, быть может, с умислом, расправа с невинным младенцем и, наконец, худшее из всех — насилие над самим собой, которое учинил Пьер де Амер. Признаюсь, вначале мне казалось, что всю эту страшную историю намеренно раздули, а может, даже измыслили враги церкви. Но христианин и монах, который налагает на себя руки, — плохой христианин и дурной монах, и без сомнения, это не первое его преступление... Я не могу утешиться, что во всем этом оказалась замешана великая ваша ученость.

— Насилие, совершенное этой несчастной над своим младенцем, напоминает поступок животного, которое отгрызло себе лапу, чтобы спастись из капкана, расставленного ему человеческой жестокостью, — с горечью заметил философ. — Что до Пьера де Амера...

Он благоразумно осекся, понимая, что единственное, за что он мог бы воздать хвалу покойному, была как раз его добровольная гибель. У него самого, смертника, лишённого прав, еще оставался последний выход и последняя тайна, которые надо было тщательно сберечь.

— Вы не для того пришли ко мне, чтобы сызнова взяться разбирать вины несчастных осужденных, — сказал он. — Не будем терять драгоценные минуты.

— Домоправительница Яна Мейерса тоже сильно вам повредила, — со стариковским упрямством грустно продолжал каноник. — Никто не уважал этого дурного человека, да и, по правде сказать, я полагал, что все вообще о нем забыли. Но подозрение, что он отравлен, снова сделало его притчей во языцех. Моей совести претит призывать ко лжи, но уж лучше вам было отрицать всякую плотскую связь с этой бесстыдницей.

— Забавно слышать, что одним из опаснейших деяний, совершенных мною за всю мою жизнь, оказалось то, что я два раза переспал со служанкой, — насмешливо сказал Зенон.

Бартоломе Кампанус вздохнул: человек, которого он нежно любил, казалось, воздвиг против него неодолимые заслоны.

— Вам никогда не узнать, каким гнетом ложится на мою совесть ваше крушение, — наконец решился он подступить с другой стороны. — Я не говорю о ваших поступках, я мало знаю о них, хочу верить, что они невинны, хотя исповедальня приучила меня к тому, что и самые черные дела иной раз идут об руку с достоинствами, подобными вашим. Я говорю о роковом бунте ума, который может обратить в порок самое совершенство и которого семена я когда-то, сам того не желая, заронил в вас. Как изменился мир, какими благодетельными казались науки древности в ту пору, что я изучал философию и искусства... Когда я думаю, что первым знакомил вас с Писанием, к которому вы относитесь с таким небрежением, я говорю себе: быть может, наставник более твердый или более ученый, нежели я...

— Не сокрушайтесь, *optime pater*, — сказал Зенон. — Бунт, который вас смущает, гнезвился во мне самом, а может, и в самой эпохе.

— Ваши чертежи летающих снарядов и влекомых ветром колесниц, над которыми потешались судьи, привели мне на ум волхва Симона, — сказал каноник, поднимая на Зенона встревоженный взгляд. — Но потом

я вспомнил механические бредни вашей молодости, от которых пошли беспорядки и волнения. Увы! В тот самый день я исхлопотал вам у Правительницы службы, которая открывала перед вами стезю почестей...

— И быть может, привела бы меня к тому же концу, но лишь другою тропюю. О путях и назначении человеческой жизни мы знаем меньше, чем птица о своих перелетах.

Ушедший в воспоминания Бартоломе Кампанус видел перед собой двадцатилетнего школяра. Это его тело — или хотя бы душу — пытался он сейчас спасти.

— Не придавайте моим механическим фантазиям значение большее, чем придаю им я, сами по себе они ни благодетельны, ни пагубны, — с презрением сказал Зенон. — Они подобны открытиям искателя эликсира мудрецов — алхимик чаует в них отдохновения от чистой науки, но порой они оплодотворяют и приводят в движение эту науку. Non cogitat qui non exregitit *. Даже в искусстве врачевания, которым я более всего занимался, изобретения плутонические и алхимические играют свою роль. Но признаюсь, поскольку род людской, судя по всему, до скончания времен пребудет таким, каков он есть, опасно предоставлять безумцам возможность взорвать естественную механику вещей и бесноватым — подняться в небо. Что до меня, то, оказавшись в положении, в какое меня поставил Трибунал, — добавил он с сухим смешком, ужаснувшимся Бартоломе Кампануса, — я готов проклясть Прометея за то, что он добыл для смертных огонь.

— Я прожил восемьдесят лет и не знал, до чего может дойти злодейство судей, — с негодованием сказал каноник. — Иеронимус ван Пальмерт радуется, что вас пошлют исследовать ваши бесчисленные миры, а это ничтожество Ле Кок в насмешку предлагает отправить вас сражаться с Морисом Нассауским на небесной бомбарде.

— Он погашается зря. Химеры эти воплотятся в жизнь, когда человечество возьмется за дело так же рьяно, как за постройку своих Лувров и кафедральных соборов. Вот тогда и сойдет с небес Царь Ужаса со своей армией саранчи и учинит кровавую бойню... О жестокое животное! Ни на земле, ни под землей, ни в воде не останется ничего, что не подверглось бы гонению, разрушению, истреблению... Разверзлись же, вечная бездна, и поглоти, пока еще не поздно, этот остервенелый род...

— Что, что? — испуганно спросил каноник.

— Ничего, — рассеянно отозвался философ. — Я вспомнил одно из моих "Комических прорицаний".

Бартоломе Кампанус вздохнул. Как видно, и этот мощный ум изнемог под бременем пережитого. Он бредит в предчувствии смерти.

— Я вижу, вы потеряли веру в высочайшее совершенство человека, — проговорил он, сокрушенно качая головой. — Тот, кто начинает с сомнения в боге...

— Человек — творение, которому противоборствуют время, нужда, богатство, глупость и все растущая сила множества, — уже более внятно сказал философ. — Человека погубят люди.

Он погрузился в долгое молчание. В этой подавленности каноник

* Кто не производит опытов, тот не мыслит (*лат.*).

усмотрел добрый знак, ибо более всего опасался бесстрашия души, слишком в себе уверенной и защищенной броней как против раскаяния, так и против страха.

— Должен ли я верить словам, сказанным вами епископу, — осторожно заговорил он, — что, мол, Великое Деяние имеет для вас одну лишь цель — совершенствование души человеческой? Если это так, — продолжал он тоном, в котором прозвучало невольное разочарование, — вы ближе к нам, чем мы с монсеньором смели надеяться, и все таинственные манипуляции алхимиков, о которых я осведомлен лишь понаслышке, сводятся к тому, в чем наша святая церковь každодневно наставляет верующих.

— Да, — сказал Зенон. — Вот уже шестнадцать столетий.

Канонику почудилась в ответе нотка сарказма. Но сейчас дорога была каждая минута. Он решил не придираться к словам.

— Дорогой сын мой, — сказал он, — неужели вы полагаете, я пришел к вам, чтобы вступать с вами в неуместные ныне словопрения? Меня привели сюда причины более важные. Монсеньор пояснил мне, что в вашем случае речь идет, собственно говоря, не о ереси, каковой предаются гнусные сектанты, объявившие в наше время войну церкви, но о нечестии ученом, опасность которого, в конце концов, видна только людям сведущим. Высокочтимый епископ заверил меня, что ваши "Протеории", справедливые осужденные за то, что наши святые догмы низводятся в них до пошлых понятий, какие встречаются даже и у закоренелых идолопоклонников, могли бы с успехом сделаться новой "Апологией" — для этого надобно только, чтобы в тех же самых тезисах наши христианские истины предстали как увенчание предчувствий, прирожденных натуре человеческой. Вы знаете не хуже меня: все дело лишь в том, какое направление придать...

— Кажется, я понял, к чему вы клоните, — сказал Зенон. — Если бы завтрашняя церемония была заменена церемонией отречения...

— Не питайте слишком больших надежд, — осторожно заметил каноник. — Свободы вам не предлагают. Но монсеньор беретесь выхлопотать, чтобы вас осудили на содержание in loca carceris * в какой-нибудь святой обители по его выбору; будущие послабления зависят от того, какие свидетельства доброй воли в отношении праведного дела вы пожелаете дать. Вы сами знаете: осужденные на вечное заточение всегда в конце концов выходят на свободу.

— Ваша помощь явилась слишком поздно, optime pater, — пробормотал философ. — Лучше было ранее заткнуть рот моим обвинителям.

— Мы не льстили себя надеждой смягчить прокурора Фландрии, — сказал каноник, подавив горечь воспоминания о своем бесплодном обращении к богачам Лиграм. — Люди этой породы выносят смертные приговоры с тем же упоением, с каким псы впадают в горло своей жертве. Мы принуждены были предоставить судебной процедуре идти своим чередом, с тем чтобы впоследствии воспользоваться властью, нам предоставленной. Поскольку вы приняли некогда первый инокский чин, вы подлежите также и суду церковному, но зато это обеспечивает вас защитой, какой не

* Букв.: в тюремном заключении (лат.).

предоставляет жестокий суд мирян. По правде сказать, я до самого конца трепетал, как бы вы в запальчивости не сделали какого-нибудь непоправимого признания...

— Вам, однако, следовало бы восхищаться мною, если бы я сделал его в порыве раскаяния.

— Я просил бы вас не смешивать светское судилище Брюгге с церковным судом, налагающим покаяние, — в нетерпении возразил каноник. — Нам сейчас важно лишь то, что несчастный брат Сиприан и его сообщники в своих показаниях противоречили друг другу, что мы пресекли ругательства судомойки, запретив ее в дом умалишенных, и что зложелатели, утверждавшие, будто вы лечили убийцу испанского капитана, не объявились... Умышления же против бога подлежат лишь нашей юрисдикции.

— Вы что же, причисляете к злодеяниям помощь, оказанную раненому?

— Мое суждение к делу не относится, — уклончиво сказал каноник. — Но если угодно, я полагаю, что всякая помощь, оказанная ближнему, достойна похвалы; однако в вашем случае к ней примешивается бунтовщичество, а оно никогда не похвально. Покойный приор, который зачастую мыслил дурно, уж верно бы одобрил, и даже слишком горячо, эту мятежную благотворительность. Но поздравим себя хотя бы с тем, что ее не смели доказать.

— Ее доказали бы без труда, — пожав плечами, заметил узник, — если бы ваши попечения не избавили меня от пытки. Я уже поблагодарил вас за них.

— Мы нашли опору в формуле: *Clericus regulariter torqueri non potest per laicum* *, — сказал каноник с видом человека, который гордится одержанной победой. — Однако не забудьте, что по некоторым пунктам, касающимся, в частности, морали, над вами по-прежнему тяготеет сильное подозрение и вам, быть может, еще придется иметь дело с *novis survenientibus inditiis* **. То же касается и обвинения в бунтовществе. Вы можете думать что угодно о властителях мира сего, но помните: интересы церкви и тех, кто стоит на страже порядка, всегда будут едины, до тех пор пока бунтовщики будут заодно с еретиками.

— Я все понял, — сказал осужденный, наклонив голову. — Мое зыбкое спасение будет целиком зависеть от доброй воли епископа, чье влияние может пошатнуться, а мнение измениться. Нет никакой гарантии, что через полгода я не окажусь в той же близости от костра, что и нынче.

— Разве вам не пришлось всю жизнь существовать под этим страхом? — спросил каноник.

— В ту пору, когда вы обучали меня начаткам наук и грамматики, в Брюгге был сожжен какой-то человек, приговоренный то ли по справедливости, то ли по ложному доносу, — вместо ответа молвил узник. — Один из наших слуг рассказал мне, как проходила казнь. Чтобы прибавить зрелищу занимательности, несчастного приковали к столбу длинной цепью:

* Букв.: священнослужитель, согласно правилам, не может быть подвергнут пытке мирянином (лат.).

** С новыми уликами (вульг. лат.).

охваченный пламенем, он бежал, пока не падал лицом в землю, или, точнее говоря, в горящие угли. Я часто твердил себе, что этот ужас мог бы послужить аллегорическим изображением человека, который почти свободен.

— Разве не такова наша общая участь? — спросил каноник. — Я прожил жизнь мирную и, смею сказать, невинную, но за восемь десятков лет нельзя не узнать, что такое принуждение.

— Мирную — да, — сказал философ. — Невинную — нет.

В голосах обоих мужчин против их воли то и дело звучало ожесточение, как во времена былых споров наставника и ученика. Каноник, решивший стерпеть все, про себя молил бога внушить ему слова, обладающие силой убеждения.

— *Iterum pessavi* *, — сказал наконец Зенон тоном более сдержанным. — Не удивляйтесь, отец мой, что в ваших благодеяниях мне чудится ловушка. Из немногих встреч с высокочтимым епископом я не вынес о нем впечатления как о человеке милосердном.

— Епископ питает к вам любви не более, чем Ле Кок — ненависти, — глотая слезы, сказал каноник. — Я один... Но, помимо того, что вы пешка в партии, какую они между собой разыгрывают, — продолжал он уже более твердо, — монсьеюр не лишен присущего людям тщеславия и хотел бы приписать себе честь обращения безбожника, способного убеждать себе подобных. Завтрашняя церемония могла бы стать для церкви большей победой, нежели ваша смерть.

— Епископ должен понимать, что христианские истины имели бы во мне провозвестника с весьма подмоченной репутацией.

— Ошибаетесь, — возразил старик. — Причины, заставившие человека отречься, забываются быстро, а написанное им остается. Многие из ваших друзей уже и сейчас представляют ваше подозрительное пребывание в убежище Святого Козьмы как покаяние христианина, сожалееющего о дурно прожитой жизни и сменившего имя, дабы втайне от всех предаться добрым делам. Да простит меня бог, — добавил он, слабо улыбнувшись. — Но я и сам ссылался на пример Алексея Божьего человека, который, переодетый бедняком, явился во дворец, где когда-то родился.

— Алексей Божий человек каждую минуту рисковал быть узанным своей благочестивой супругой, — пошутил философ. — На такой подвиг у меня не достало бы силы духа.

Бартоломе Кампанус сдвинул брови, снова оскорбленный развязностью приговоренного. Увидев муку на старческом лице, Зенон почувствовал жалость.

— Смерть казалась мне уже неотвратимой, — мягко заговорил он, — и мне не оставалось ничего иного, как провести несколько часов *in summa serenitate*... ** Если только допустить, что я на это способен, — добавил он с дружелюбным кивком, показавшимся канонику признаком безумия, а на самом деле обращенным к спутнику, читавшему Петрония на улице Инсбрука. — Но вы искушаете меня, отец мой: я представляю себе, как я со всей искренностью заявляю моим читателям, что мужик, который, зубо-

* Я снова согрешил (*лат.*).

** В совершенном спокойствии... (*лат.*)

скаля, утверждал, что на его хлебном поле в каждом колоске сидит по Христу, годен быть персонажем фации, но алхимик из него вышел бы никудышный, или что церковные обряды и мощи действуют так же, а порой даже и сильнее, нежели мои врачебные снадобья. Я не хочу сказать, что я верую, — добавил он, останавливая радостное движение каноника, — я говорю, что безоговорочное "Нет!" перестало мне казаться достойным ответом, но это отнюдь не означает, что я готов произнести безоговорочное "Да!" Заключить непостижимую сущность вещей в образ, скроенный по человеческому подобию, по-прежнему представляется мне кошунством, и все же я против воли ощущаю в собственной плоти, которая завтра развеется дымом, присутствие неведомого мне бога. Решусь ли я сказать, что этот самый бог и побуждает меня ответить вам: "Нет"? И однако всякое воззрение ума опирается на произвольные основы — так почему бы не признать эти? Всякая вера, навязываемая толпе, делает уступки человеческой глупости; если бы завтра на место Магомета или Христа встал Сократ, все повторилось бы сначала. А коли так, — сказал он с внезапной усталостью, проведя рукой по лбу, — чего ради отказываться от телесного спасения и радостей всеобщего согласия? Мне кажется, вот уже несколько веков я снова и снова вникаю в этот вопрос...

— Доверьтесь моему руководству, — сказал каноник почти с нежностью. — Одному богу судить, какова будет доля лицемерия в завтрашнем вашем отречении. Сами же вы не лицемерите: то, в чем вы усматриваете ложь, быть может, на самом деле и есть истинный символ веры, который изъясняется помимо вашей воли. Истина сокровенными путями проникает в душу, которая более против нее не упорствует.

— Так же, как и ложь, — спокойно заметил философ. — Нет, дражайший мой отец, иногда я лгал, чтобы выжить, но я начинаю терять способность ко лжи. Между вами и нами, между взглядами Иеронимуса ван Пальмерга, епископа и вашими, с одной стороны, и моими — с другой, иногда случается подобие, бывает также, они примиряются ценой взаимных уступок, но постоянное согласие между ними невозможно. Они сходны с кривыми, которые берут начало на общей плоскости, каковой является человеческий разум, но тотчас расходятся, чтобы вновь сойтись, и опять разбегаются в стороны, иногда пересекаясь в своих траекториях или, напротив, совмещаясь в отдельных своих отрезках, но никто не знает, встретятся они или нет в точке, которая находится за пределами доступно нам кругозора. Было бы неправдою объявить их параллельными.

— Вы сказали "нами", — прошептал каноник с некоторым ужасом. — Но ведь вы один.

— Да, конечно, — сказал философ. — По счастью, у меня нет сообщников, которых я мог бы выдать. Каждый из нас сам себе наставник и последователь. Опыт каждый раз начинается с нуля.

— Покойный приор миноритов, который, несмотря на излишнюю свою покладистость, был, однако, добрым христианином и примерным монахом, не мог знать, какую бездну бунтарства избрали вы своей стезей, — почти едко сказал каноник. — Уж верно, вы часто и много ему лгали.

— Ошибаетесь, — сказал узник, едва ли не враждебно взглянув на человека, который хотел его спасти. — То, что соединяло нас, было выше на-

ших несогласий.

Он встал, словно это ему принадлежало право положить конец беседе. Горе старика сменилось гневом.

— Ваше упорство продиктовано нечестивой верой, и вы вообразили себя ее мучеником, — с негодованием объявил он. — Вы, как видно, хотите принудить епископа умыть руки...

— Неудачное выражение... — заметил философ.

Старик нагнулся, чтобы подобрать палки, заменявшие ему костыли, с шумом сдвинув кресло, в котором сидел. Зенон наклонился и подал ему палки. Каноник с усилием встал. Тюремщик Герман Мор, который держался начеку в коридоре, услышав шум шагов и передвигаемых кресел, уже повернул ключ в замке, поскольку счел, что беседа окончена. Но Бартоломе Кампанус крикнул ему, чтобы он подождал еще немного. Приоткрытая дверь вновь затворилась.

— Я дурно исполнил свою миссию, — сказал старый священник с внешне-запным самоуничижением. — Ваша неподатливость вселяет в меня ужас, ибо говорит о полном безразличии к спасению души. Сознаете вы это или нет, но только ложный стыд побуждает вас предпочесть смерть публично-му назиданию, которое предшествует отречению...

— ...когда кающийся держит в руке зажженную свечу и по-латыни отвечает на латинскую же речь монсеньора епископа, — саркастически добавил узник. — Скажу откровенно, пережить подобные четверть часа весьма неприятно...

— Но и смерть не легче, — в отчаянии сказал старик.

— Признаюсь вам, что на известной ступени безумия, а может, наоборот, мудрости, становится все равно, кто будет сожжен на костре: ты сам или первый встречный и случится это завтра или через двести лет. Я не ободряю себя надеждой, что подобные благородные чувства устоят перед орудиями пытки, — вскоре мы увидим, есть ли во мне и в самом деле та *anima stans et non cadens* *, которую определяют наши философы. Но возможно, люди преувеличивают значение твердости, какую выказывает умирающий.

— Мое присутствие только ожесточает вас, — горестно сказал старый каноник. — Но все же, прежде чем уйти, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы всеми силами старались сохранить для вас одно преимущество перед законом, хотя, быть может, вы этого и не заметили. Нам ведь было известно, как вы когда-то бежали из Инсбрука, получив тайное уведомление о том, что местный церковный суд издал постановление о вашем аресте. Мы умолчали об этом обстоятельстве, которое, будь оно обнародовано, поставило бы вас в роковое положение *fugitivus* ** и затруднило бы, а может, даже сделало бы невозможным примирение ваше с церковью. Так что, как видите, вам нечего опасаться, что вы понапрасну согласитесь изъять некую покорность... У вас остается на размышление еще целая ночь...

— Это доказывает мне, что меня всю жизнь выслеживали еще более

* Душа, способная выстоять и не способная пасть (лат.).

** Беглеца (лат.).

рьяно, нежели я предполагал, — меланхолически заметил философ.

Мало-помалу они подошли к двери, которую снова приоткрыл тюремщик. Каноник приблизил лицо к лицу узника.

— Я хочу заверить вас, что по крайней мере в отношении страданий телесных вам страшиться нечего. Мы с монсеньором приняли необходимые меры...

— Весьма вам признателен, — сказал Зенон, не без горечи вспомнив, сколь тщетны оказались его старания сделать то же для Флориана и одного из послушников.

Гнетущая усталость охватила старого священника. Ему пришла в голову мысль помочь узнику бежать. Но это было невозможно, о бегстве нечего было и думать. Он хотел благословить Зенона, но побоялся, что его благословение будет плохо принято, по той же причине он не решился его обнять. Зенон со своей стороны хотел было поцеловать руку своего давнего наставника, но удержался, опасаясь, что этот жест будет выглядеть заискиванием. То, что каноник пытался для него сделать, все равно не могло внушить ему любви к старику.

Чтобы добраться в эту скверную погоду до судебной канцелярии, каноник воспользовался портшезом — продрогшие носильщики ожидали его на улице. Герман Мор настоял на том, чтобы Зенон вернулся в свою камеру еще до того, как гость покинет приемную. Бартоломе Кампанус проводил взглядом своего бывшего ученика, поднимавшегося по лестнице в сопровождении тюремщика. Караульный, отперев и снова заперев одну за другой множество дверей, помог священнослужителю забраться в портшез и задернул кожаные занавески. Бартоломе Кампанус, откинувшись на подушки, истово читал отходную молитву, но истовость эта была данью привычке — слова лились из его уст, но мысль витала далеко. Путь каноника лежал через Главную площадь. Если за ночь узник не образумится, а Бартоломе Кампанус, зная его сатанинскую гордость, на это не надеялся, завтра здесь состоится казнь. Он вспомнил, что в прошедшем месяце монахи, именовавшие себя Ангелами, были казнены за стенами города у ворот Сент-Круа: грех злободетства почитался столь гнусным, что за него и карали почти тайком; зато смерть человека, уличенного в нечестии и атеизме, наоборот, должна стать зрелищем во всех отношениях поучительным для народа. Впервые в жизни все эти установления, освященные мудростью предков, показались старику сомнительными.

Был предпоследний день карнавала, по улицам сновали веселящиеся люди, проказничая и выкрикивая обычные свои дерзости. Каноник знал, что объявление о предстоящей казни еще подогревает в таких случаях возбуждение черни. Дважды какие-то гуляки останавливали портшез и откидывали занавески, чтобы заглянуть внутрь, и, конечно, были разочарованы, не увидев там красотки, которую хотели смутить. На одном из этих глушцов была маска пьяницы, и он попотчевал Бартоломе Кампануса непристойными воплями, другой молча просунул между занавесками бледное лицо призрака. Позади него еще какой-то ряженный наигрывал на флейте.

Прибывшего к своему порогу старика по обыкновению заботливо встретила его приемная племянница Вивина, которая стала у него домоправительницей после смерти юре Кленверка. Как всегда, она поджидала дядюшку в маленьком сводчатом коридоре их уютного дома, высматривая в глазок, скоро ли он приедет ужинать. Она стала пухлой и глупой, как в былые времена ее тетка Годельева, пережив, впрочем, свою долю мирских надежд и разочарований: ее уже перестаркой сговорили с двоюродным братом Никласом Кленверком, владельцем поместья поблизости от Кастра, порядочной недвижимости и весьма доходной должности помещика Фландрского балы; на беду, этот завидный жених утонул незадолго до назначенной свадьбы, переезжая по подтаявшему льду озеро Диккебюс. После этого удара Вивина немного повредила умом, хотя осталась рачительной хозяйкой и искусной стряпухой, как прежде ее тетка; никто не мог сравниться с ней в приготовлении глинтвейна и варений. В эти дни каноник безуспешно уговаривал Вивину помолиться за Зенона, которого она не помнила, но время от времени ему удавалось убедить ее собрать для бедного узника корзинку со съестным.

Каноник отказался от жаркого, которое племянница приготовила ему на ужин, и сразу поднялся к себе в спальню. Его пробирав озноб; Вивина захлопотала, наполняя грелку горячей золой. Но он долго еще ворочался без сна под своей пуховой периной.

СМЕРТЬ ЗЕНОНА

Когда под громкий скрежет железа за ним хлопнула дверь камеры, Зенон задумчиво пододвинул к себе табуретку и сел у стола. Час был еще не поздний — темное узилище алхимических аллегорий в его судьбе оказалось узилищем светлым. Сквозь частую сетку решетки, которой было схвачено окно, со двора, покрытого снегом, в камеру струилась свинцовая белизна. Перед тем как сдать дежурство ночному стражу, Жиль Ромбо по обыкновению оставил на столе поднос с ужином для заключенного — в этот вечер он был еще обильнее, чем всегда. Зенон отстранил поднос: ему казалось нелепым и почти непристойным превращать эту пищу в млечный сок и кровь, которые ему уже не понадобятся. Но он рассеянно плеснул немного пива в оловянный кубок и выпил горькую жидкость.

Беседа с каноником положила конец состоянию, какое с утра, с той самой минуты, когда был вынесен приговор, он ощущал как торжественность смерти. Участь его, казавшаяся неотвратимой, вновь сделалась зыбкой. Отвергнутое им предложение еще несколько часов оставалось в силе: как знать, вдруг в каком-то уголке его сознания притаился Зенон, способный сказать "Да!", — предстоящей ночью этот трус может одержать над ним верх. Пусть остался один шанс на тысячу — краткое и роковое будущее наперекор всему обретало долю неопределенности, равную самой жизни, и по странной закономерности, какую ему случалось наблюдать у изголовья своих пациентов, смерть в силу этого делалась обманчиво иллюзорной. Все заколебалось и колебалось бы до последнего его дыхания. И однако решение принято: он ощущал это не столько по благород-

ным признакам мужества и самопожертвования, сколько по какой-то тупой отрешенности, которая словно бы наглухо отгородила его от внешних влияний и даже от способности чувствовать. Утвердившись в собственной смерти, он уже был Зеноном *in aeternum* *.

С другой стороны, так сказать, в недрах решения умереть угнездилося еще одно, более сокровенное решение, которое он старательно утаил от каноника: решение самому лишиться себя жизни. Но и тут перед ним открывалась неохватная, томительная свобода: он мог по своей воле исполнить это намерение или отказаться от него, совершить акт, который положит конец всему, или, напротив, принять *mors ignea* **, которая мало отличается от агонии алхимика, по недосмотру подпалившего долгополый плащ огнем своего горна. Этот выбор между казнью и самоубийством, который до самого конца будет подвешен к волоконцу субстанции его мозга, колебался уже не между жизнью и некой формой существования, как в случае, когда речь шла о том, чтобы согласиться на отречение или его отвергнуть, — выбор касался только способа смерти, ее места и точного времени. Ему решать, окончат ли он свои дни на Главной площади под улюлюканье толпы или в тишине среди этих серых стен. Ему также решать, отсрочить или ускорить на несколько часов это последнее деяние, увидеть, если пожелает, как займется заря некоего восемнадцатого февраля 1569 года, или покончить со всем еще до наступления ночи. Упершись локтями в колени, недвижимый, почти умиротворенный, он вперился взглядом в пустоту. Время и мысль оцепенели, как посреди урагана, бывает, настает вдруг зловещая тишина.

Пробил колокол Собора Богоматери — Зенон стал считать удары. И вдруг совершился переворот: спокойствие исчезло, словно налетевшим вихрем сметенное сосущей тоской. Подхваченные этим вихрем, закружились обрывки картин: аутодафе, виденное им тридцать семь лет назад в Асторге, недавние подробности казни Флориана, воспоминания о нечаянных встречах с обезображенными останками казненных на перекрестках исхоженных им дорог. Казалось, весть о том, чем ему вскоре предстоит стать, вдруг осозналась его телом, и каждое из его пяти чувств прониклось своей долей ужаса: он видел, осязал, обонял, слышал все подробности завтрашней своей казни на Главной площади. Телесная душа, осмотрительно отстраненная от размышлений души умственной, вдруг внезапно и изнутри уяснила то, что Зенон от нее скрывал. Что-то вдруг лопнуло в нем, словно натянутая струна, — во рту пересохло, волоски на руках встали дыбом, зубы начали выбивать дробь. Это смятение, прежде ни разу им самим не испытанное, напугало его более всего остального. Стиснув ладонями челюсти, стараясь дышать размеренно, чтобы унять сердцебиение, он наконец подавил этот бунт собственного тела. Это уже слишком — надо кончать, прежде чем разгром плоти и воли лишит его способности самому исцелить свой недуг. Множество непредвиденных опасностей, которые могут помешать его сознательному уходу из жизни, вдруг представилось вновь прояснившемуся рассудку. Он оценил положение взглядом хирур-

* В вечности (*лат.*).

** Смерть огненную (*лат.*).

га, который выбирает инструменты и взвешивает надежды на успех.

Было четыре часа пополудни; ужин ему уже принесли и простерли любезность до того, что даже оставили в камере свечу. Тюремщик, заперший дверь по его возвращении из судебной приемной, появится лишь после сигнала тушить огни, а потом уже только на рассвете. Таким образом, для исполнения его плана у него остается два долгих промежутка времени. Но эта ночь не такая, как всегда: епископ или каноник могут некстати прислать какого-нибудь вестника, и ему должны будут открыть дверь; порой из лютой жалости в камеру к осужденному водворяли какого-нибудь служителя божьего или члена Братства Доброй Смерти, дабы приобщить умирающего святости, склонив его молиться. Может случиться также, что его намерение будет разгадано — в любую минуту ему могут связать руки. Зенон настороженно прислушался: не заскрипят ли двери, не послышатся ли шаги — все молчало; но мгновения были дороги так, как еще ни разу в дни его прежних вынужденных исчезновений.

Все еще дрожащей рукой он приподнял крышку стоявшей на столе чернильницы. Между двумя тонкими пластинками, которые на первый взгляд казались одной, цельной, хранилось спрятанное Зеноном сокровище — гибкое, узкое лезвие, менее двух дюймов длиною; вначале он держал его под подкладкой камзола, а потом, после того как судьи по всем правилам осмотрели его чернильницу, перепрятал в этот тайник. Каждый день он раз двадцать проверял, на месте ли предмет, который в былые дни он не удостоил бы подобрать в канаве. Когда его арестовали в убежище Святого Козьмы и потом еще дважды — после смерти Пьера де Амера и после того, как показания Катарины вновь возбудили в суде толки о ядах, — его обыскивали в поисках подозрительных склянок или пилюль, и он порадовался, что у него достало осмотрительности не связываться с бесценными, но хрупкими и легко портящимися снадобьями, которые почти невозможно хранить при себе или долго прятать в пустой камере и которые почти неминуемо обнаружили бы его намерение покончить с собой. Таким образом, он утратил преимущество мгновенной, единственно милосердной смерти, но обломок тщательно отточенной бритвы по крайней мере избавит его от необходимости рвать простыни, чтобы вязать не всегда надежные узлы, или возиться, быть может тщетно, с глиняным черепком.

Порыв страха перевернул все у него внутри. Он подошел к судну в углу камеры и облегчился. Запах переваренных и извергнутых пищеварением веществ на мгновение ударил ему в нос и еще раз напомнил о сродстве тлена и жизни. Рубашку в штаны он заправил уже твердой рукой. На полочке стоял жбан с ледяной водой, Зенон смочил лицо, слизнув каплю языком. *Aqua permanens...* * Для него это была последняя в жизни вода. Всего четыре шага отделяли его от постели, на которой он шестьдесят ночей подряд спал или томился бессонницей; среди мыслей, вихрем проносившихся в его мозгу, мелькнула и такая: спираль странствий привела его в Брюгге, Брюгге сузился до размеров тюрьмы, и наконец Кривая замкнулась прямоугольником камеры. Позади него из развалин прошло-

* Вечная вода... (*лат.*)

го, отринутых и преданных забвению еще более, нежели другие его развалины, тихо зазвучал хрипловатый и ласковый голос брата Хуана — в обители, погружившейся во тьму, он говорил по-латыни с кастильским акцентом: "Eamus ad dormiendum cog teum" *. Но теперь речь шла не о сне. Никогда прежде не испытывал он такого подъема — душевного и телесного: точность и быстрота его движений была подобна той, что приходила к нему в великие минуты хирургических свершений. Он развернул одеяло из грубой, плотной, как войлок, шерсти и соорудил из него на полу вдоль кровати нечто вроде желоба, который должен был задержать и впитать в себя хотя бы часть льющейся жидкости. Потом для верности скрутил жгутом сброшенную накануне рубашку и уложил ее валиком под дверью. Надо было позаботиться о том, чтобы струя, стекая по слегка покатоному полу, не слишком быстро просочилась в коридор и Герман Мор, случайно приподнявший голову на своей лежанке, не сразу заметил бы на плитках пола черное пятно. Затем, стараясь не шуметь, он снял ботинки. В такой предосторожности нужды не было, но тишина казалась ему залогом безопасности.

Он вытянулся на постели, поудобней устроив голову на жестком изголовье. На мгновение ему вспомнился каноник Кампанус, которого ужаснет этот конец, хотя он первый приохотил его к чтению древних, чьи герои погибали подобным же образом, но эта ироническая мысль скользнула по поверхности сознания, не отвлекая Зенона от единственной его цели. Быстро, со сноровкой хирурга-цирюльника, всегда бывшей предметом особенной его гордости, хотя другие, не столь бесспорные лекарские таланты ценились не в пример выше, он, согнувшись вдвое и слегка подтянув к себе колени, на внешней стороне левой ноги, в том месте, где обыкновенно отворяли кровь, разрезал берцовую вену. Потом, стремительно выпрямившись и снова откинувшись на подушку, торопясь предупредить возможный обморок, он нащупал и рассек лучевую артерию на запястье. Он едва ощутил короткую поверхностную боль от пореза. Кровь брызнула фонтаном; жидкость, как всегда, словно заторопилась вырваться из темных лабиринтов, где она кружит взаперти. Зенон свесил левую руку вниз, чтобы облегчить ток струе. Победа все еще была неполной: в камеру могут случайно войти, и тогда завтра утром, окровавленного и забинтованного, его поволокут на костер. Но каждая прошедшая минута была выигрышем. Он бросил взгляд на одеяло, уже потемневшее от крови. Он понимал теперь, почему примитивное мышление отождествляет эту жидкость с самою душою — ведь душа и кровь одновременно покидают тело. В древних заблуждениях содержалась простейшая истина. Он подумал, мысленно улыбнувшись: вот подходящий случай пополнить давние исследования систолы и диастолы сердца. Но отныне приобретенные им познания стоят так же мало, как воспоминания о минувших событиях или о встреченных когда-то людях; еще несколько мгновений он привязан к тончайшей ниточке собственной личности, но освобожденная от всякого груза личность уже неотделима от естества. Он с усилием выпрямился, не потому, что в этом была необходимость, но чтобы доказать себе, что такое дви-

* "Отойдем ко сну, сердце мое" (лат.).

жение ему еще под силу. Ему часто случалось вновь открывать закрытую им самим дверь, чтобы убедиться, что она не захлопнулась за ним навсегда, или оборачиваться вслед прохожему, с которым он только что расстался, чтобы опровергнуть бесповоротность ухода, доказывая таким образом самому себе свою кущую человеческую свободу. На этот раз необратимое свершилось.

Сердце его гулко стучало: все его тело было охвачено бурной и беспорядочной деятельностью, словно побежденная страна, где еще не все бойцы сложили оружие; он почувствовал вдруг прилив нежности к своему телу, которое так хорошо служило ему и могло бы послужить еще, пожалуй, лет двадцать, а он разрушает его сейчас и не может объяснить ему, что этим избавляет от худших и более унижительных мук. Его томила жажда, но утолить ее он не мог. Как под давлением почти не поддающейся анализу лавины мыслей, ощущений, жестов, сменявших друг друга с молниеносной скоростью, разбухли три четверти часа, что протекли со времени возвращения его в камеру, так растянулись вдруг, уподобившись расстоянию между сферами, несколько локтей, отделявшие кровать от стола; оловянный кубок маячил уже в каком-то ином мире. Скоро эта жажда утихнет. Он умирал, как умирают на поле боя раненые, которые просят пить и которых наравне с ним самим обнимало его холодное сострадание. Кровь из берцовой вены была теперь толчками; с великим трудом, словно поднимая непосильную тяжесть, он передвинул ногу так, чтобы она свешивалась с кровати. Он поранил о лезвие правую руку, все еще сжимавшую бритву, но не почувствовал пореза. Пальцы его блуждали по груди, пытаясь расстегнуть воротник камзола, он тщетно старался остановить это бесполезное движение, но судорожная тревога была добрым знаком. Его пробрал вдруг ледяной озноб, как перед рвотой, — и это тоже хорошо. Среди гула колоколов, грохота грома и криков слетающих в гнезда птиц — всех этих звуков, распиравших изнутри его барабанные перепонки, — он уловил донесшийся извне драгоценный звук капли: пропитанное кровью одеяло больше не вбирало жидкость, и она сочилась на плиты пола. Он пытался подсчитать, какое нужно время, чтобы черная лужица растеклась по ту сторону порога, преодолев надежный барьер свернутой жгутом рубахи. Но это уже не имело значения — он спасен. Даже если на беду Герман Мор откроет сейчас эту дверь, с замками которой приходится долго возиться, пока он придет в себя от удивления и испуга, пока помчится по длинному коридору, призывая на помощь, побег успеет совершиться. Завтра сожжению будет предано лишь мертвое тело.

Могучий гул уходящей жизни все еще продолжался — ему помыслился фонтан в Эйюбе, журчание бьющего из земли ключа в Воклюзе, в Провансе, река между Эстерсундом и Фрешё, хотя вспоминать их названия ему не пришлось. Он часто и шумно глотал воздух, но дыхание было поверхностным, воздух не проникал в грудь: кто-то, кто был не вполне тождествен ему самому, поместившись слева, позади него, равнодушно наблюдал судороги этой агонии. Так дышит, достигнув цели, обессиленный бегун. Стало темно, но он не знал, где эта тьма — внутри него самого или в комнате: мраком оделось все. Но и во мраке происходило движение, одни сумерки сменялись другими, бездна — другой бездной, темная тол-

ща — другой темной толщей. Однако эта тьма, не похожая на ту, какую видишь глазами, искрилась разноцветьем, порожденным, так сказать, самим отсутствием цвета: чернота становилась мертвенно-зеленой, потом оборачивалась чистой белизной, бледная белизна переходила в багряное золото, хотя при этом первородная чернота не исчезала — так свет звезд и северной зари мерцает в ночи, все равно остающейся непроглядной. На мгновение, которое показалось ему вечностью, алого цвета шар затрепетал то ли в нем самом, то ли вовне, кровавая море. Словно летнее солнце в полярных широтах, сверкающий шар, казалось, колеблется, готовый склониться к надиру, но вдруг незаметным рывком он поднялся в зенит и наконец истаял в ослепительном свете дня, который в то же время был ночью тьмою.

Он больше ничего не видел, но внешние звуки еще долетали до него. Как когда-то в убежище Святого Козьмы, в коридоре слышались торопливые шаги — это тюремщик заметил на полу черноватую лужицу. Случись это немного раньше, умирающего охватил бы ужас при мысли, что его силой вернут к жизни и ему придется умирать еще несколько часов. Но теперь все тревоги отступили — он свободен; человек, который спешит к нему, — это друг. Он попытался — а может, ему показалось, что он пытается, — подняться, не вполне сознавая, ему ли пришли на помощь или это он должен кому-то помочь. Звон ключей и скрежет отодвигаемых засовов слились для него в один пронзительный скрип открываемой двери. И тут наступает предел, до какого мы можем следовать за Зеноном в его смерти.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ю. Давыдов. Послевоенные романы Маргерит Юрсенар.</i>	<i>5</i>
<i>ВОСПОМИНАНИЯ АДРИАНА. Перевод М. Ваксмахера.</i>	<i>27</i>
<i>ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. Перевод Ю. Яхниной.</i>	<i>201</i>

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

Избранное

Составитель Мария Владимировна Добродеева

ИБ № 828

Редактор М. Финогенова
Художник В. Алексеев
Художественный редактор А. Купцов
Технический редактор Е. Фонченко
Корректор Г. Иванова

Сдано в набор 23.02.84. Подписано в печать 19.07.84.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман.
Печать офсетная. Условн. печ. л. 23,72. Усл. кр.-отт. 47,43.
Уч.-изд. л. 30,77. Тираж 100000 экз. Заказ № 357.
Цена 3 р. 40 к. Изд. № 506.

Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском
полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Можайск, 143200, ул. Мира, 93.